А. Вельтман

Приключения почерпнутые из моря житейского

А. Вельтман

Приключения почерпнутые из моря житейского



Александръ Вельтманъ

А. Ф. Вельтман

Приключения, почерпнутые из моря житейского

Саломея

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Художественной Литературы
МОСКВА — 1957

Вступительная статья, подготовка текста
и примечания
В. Ф. ПЕРЕВЕРЗЕВА

Оформление художника
В. Максина

А. Ф. ВЕЛЬТМАН

Автор «Приключений, почерпнутых из моря житейского» Александр Фомич Вельтман в 30-х—40-х годах прошлого столетия был популярнейшим писателем, произведения его читались нарасхват, каждый его новый роман ждали с нетерпением. Современная Вельтману передовая критика и особенно Белинский с большой похвалой отзывались о его произведениях, видели в нем писателя, одаренного ярким и самобытным талантом.

Биография Вельтмана еще не написана, о его жизни и деятельности мы имеем лишь весьма скудные сведения. Родился Вельтман в Петербурге 8 июля 1800 года в семье беспоместного служилого дворянина, стоящего на низших ступенях чиновной лестницы, типичного «бедного чиновника». Когда Александру было три года, отец его переводится на должность квартирного комиссара в Москву, где и остается до конца своей жизни, занимая разные должности: то казначея винного завода, то квартального надзирателя, то смотрителя долговой тюрьмы. Все это были мелкие, плохо оплачиваемые службы, едва обеспечивавшие существование семьи.

Здесь, в Москве, в атмосфере патриархального мелкочиновного быта, среди разговоров о трудностях службы, о недостатках, о необходимости терпения и надежды на бога да начальников протекли детские годы будущего писателя. Уже ставши на свои ноги, будучи взрослым человеком, Вельтман все еще слышит жалобы отца о долгах, которые не позволяют оказывать денежную помощь сыну, о «великих трудах» и малом жалованье; «обожай начальников», советует он в одном из писем сыну. В эту чиновничью атмосферу вносила струю оживления мать Вельтмана, женщина, по-видимому, остроумная. Отец в одном из писем сыну называет ее «великой говоруньей», утешавшей его тяжелую жизнь. Сын очень тепло вспоминает о ней, как о своей первой учительнице и воспитательнице. С большой симпатией и благодарностью писатель говорит о своем дядьке Якове, искусном и неутомимом сказочнике, ознакомившем Вельтмана в раннем возрасте с чарами поэтического вымысла, научившем его любить сказку.

Первоначальное образование Александр Вельтман получил в пансионе Гейдена, куда попал по недоразумению, принятый за ребенка из неимущей лютеранской семьи. Одиннадцати лет отец переводит Александра в благородный пансион при Московском университете, но Отечественная война 1812 года оборвала это ученье. Вместе с другими жителями семья Вельтманов бежала от вступивших в Москву французов и до освобождения города от неприятеля приютилась в Костроме. Возвращение в сожженную, разрушенную Москву произвело на двенадцатилетнего Александра сильное впечатление, о виденном он рассказал в своих художественных произведениях, в частности, в романах «Лунатик» и «Емеля, или Превращения».

С 1814 года Вельтман отрывается от родного очага, поступив для продолжения образования в петербургский пансион братьев Терликовых, а оттуда — в корпус колонновожатых. Сохранились ученические тетради Вельтмана, показывающие, что он усердно и с любовью занимался языками, математикой, увлекался поэзией и уже на школьной скамье исписывал ученические тетради стихами. Еще школьником Вельтмана в равной степени влекут к себе и поэзия и наука. Это сочетание различных интересов останется в нем на всю жизнь: работу поэта он будет чередовать с работой ученого.

В 1817 году Вельтман был выпущен из корпуса и получил назначение в Бессарабию для работ по военно-межевой части. Он горячо отдается своему делу, вносит в него элементы научного исследования. Плодом его топографических изысканий явился напечатанный в 1828 году труд: «Начертание древней истории Бессарабии».

Среди своих служебных и научных занятий Вельтман не забывает и о поэзии. Он пишет стихи, но не печатает их. Стихи нравятся, и о Вельтмане в бессарабских гостиных начинают говорить как о талантливом литераторе. Когда Пушкин в 1820 году был в Кишиневе, ему представляли Вельтмана как поэта. С 1828 года его стихи начинают появляться в столичной прессе. Так, в «Сыне отечества» за этот год напечатаны: «Юная грешница» и «Ожидание». Стихи эти не поднимались над уровнем посредственной стихотворно-романтической продукции того времени и не доставили автору популярности, но самый факт напечатания их укреплял в нем веру, что он не лишен поэтического дарования. Движимый этой верой, он мечтает о перемене жизненной карьеры. Вельтмана тянет в Москву, где его талант мог бы расправить крылья. Усиливали это тяготение и семейные обстоятельства: в 1821 году умер отец Вельтмана; оставшиеся сиротами на руках опекуна сестра и брат настойчиво звали писателя в Москву.

Вельтман мечется, жалуется на судьбу, не находя возможности вырваться из бессарабского «плена». Вспыхнувшая в 1828 году война с Турцией заставила его остаться в Бессарабии до конца кампании.

Но с окончанием войны обстоятельства сложились весьма благоприятно для осуществления давнишней мечты о возвращении в Москву: в 1830 году началось печатание романа Вельтмана «Странник». Роман сразу обратил на себя общее внимание и выдвинул его автора в ряд первых беллетристов того времени. Окрыленный литературным успехом, уже уверенный теперь в прочности своего положения как писателя, Вельтман хлопочет об отставке и в 1831 году получает ее в чине подполковника.

Москва не обманула надежд Вельтмана. «Странник», вышедший в 1831 году отдельным изданием, доставил его автору популярность. Он стал модным писателем, заметным человеком в литературном мире, за ним гонялись издатели, его сотрудничества искали редакторы журналов.

«Странник» — роман-путешествие. В русской литературе этот жанр был не нов. После «Писем русского путешественника» Карамзина на читателя в первой четверти прошлого века обрушилась лавина литературных путешествий, написанных в подражание Карамзину: «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии» П. Сумарокова, «Путешествие в полуденную Россию» Вл. Измайлова, «Письма из Лондона» И. Маркова и др.

Вельтман порвал с традицией карамзинского сентиментализма, его герой не любитель сердечных излияний, не поборник прав сердца, не поклонник «любезной натуры», а мечтатель, фантазер, для которого путешествовать — значит отдаться полету своего воображения. «Собираясь в дорогу,— говорит он,— я еще должен осмотреть свое воображение. Подобного коня должно гладить, чистить и холить, кормить мозгом, а поить жизненными соками. Зато едва только ногу в стремя... распахнулись крылья, хлоп задними ногами в настоящее... Глядишь,— он уже в будущем или в прошедшем, на том или другом полюсе, на небе или под землей, везде и нигде,— чудный конь!»

На этом крылатом коне герой Вельтмана совершает воображаемое путешествие, скользя взором по географической карте. «Потрудитесь, встаньте, возьмите Европу за концы и разложите на стол! Садитесь! Вот она, Европа!.. Итак, вот Европа! Локтем вы закрыли Подолию!.. сгоните муху! вот Тульчин».

Дав волю своему воображению, писатель рисует вызываемые игрой его фантазии лица, события, сценки, связанные с той или другой точкой географической карты Бессарабии. Но будучи героем воображаемого путешествия, странник Вельтмана вместе с тем является и героем реальных скитаний по Молдавии, Валахии и Добрудже; он в поток видений своего воображения искусно вплетает поток реально пережитых им встреч и переживаний. Благодаря двуплановости роман приобрел особую оригинальность и новизну. Это был своеобразный тип романа-путешествий, с интересом встреченный читателями и критикой. «Московский телеграф» приветствовал его как явление «своенравное, неожиданное и радостное»; Полевого это произведение «восхитило оригинальностью, свежестью мыслей». Белинский о нем писал:

«В «Страннике» выразился весь характер его таланта, причудливый, своенравный, который то взгрустнет, то рассмеется, у которого грусть похожа на смех, смех на грусть, который отличается удивительною способностию соединять между собою самые несоединимые идеи, сближать самые разнородные образы, от кофе переходить к индийской пагоде... от перочинного ножичка к Байрону, из настоящего перелетать в прошедшее и из всего этого лепить какую-то мозаичную картину, в которой все соединяется очень естественно, ничто друг с другом не ссорится, словом, все принимает на себя какой-то общий характер. «Странник» — это калейдоскопическая игра ума, шалость таланта; это не художественное произведение; а дело и шутка пополам; вы и посмеетесь и вздохнете, а иногда и освежи-

тесь более или менее сильным впечатлением творчества. Как бы то ни было, по крайней мере вы не утомитесь, не соскучитесь от этой книги, прочтете ее от начала до конца, без всякого усилия, а это, согласитесь, большое достоинство. Много ли книг, которые можно читать — *без скуки, добровольно?»* (Полн. собр. соч., т. II, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 116).

Жанр путешествий ненадолго приковал к себе внимание Вельтмана. После «Странника» в 1833 году он печатает свой первый исторический роман «Кащей Бессмертный», в котором обращается к прошлому России. Роман далек от исторической правдоподобности, Вельтман основное место уделяет здесь авантюрному развитию интриги.

Герой романа Ива Олелькович — такой же необузданный мечтатель, смешивающий фантастический мир с реальностью, как и герой романа «Странник». Явления действительной жизни он переводит в фантастический план. Так, бегство своей супруги Мирианы Боиборзовны с любовником, паном Воймиром, он воспринимает как похищение ее Кащеем Бессмертным и пускается в погоню за похитителем на манер сказочного витязя. Он выглядит нелепым чудаком, Дон-Кихотом. Но это чудачество особого рода. Ива живет своей внутренней жизнью в мире, созданном его фантазией. Оттого он так невнимателен к речам окружающих, оттого и сам молчалив, ограничивая свою речь короткими, отрывочными словами и междометиями: «ой!», «да», «нетути» и т. п. Ива Олелькович вовсе не так смешон и глуп, как кажется, и в его наивности есть своя мудрость. Он напоминает «дурака» народной сказки, который оказывается мудрее своих умных братьев. Образ Ивы двоится — то он становится лукавым и обманчивым, то серьезным,— так же как двоится сама действительность в романе; сквозь самую замысловатую фантастику и необыкновенные чудеса в нем везде просвечивает самая нехитрая реальность и самая пошлая обыденность, из-за плеч Кащея лукаво выглядывает лицо польского пана, красавца Воймира.

Вельтман и на язык романа перенес смешение действительного с несуществующим и создал какой-то фантастический и вместе реальный язык. Лексику и синтаксис русской древности он смело вводит в современную речь; путем смелых реконструкций строит имитацию живого языка, в столкновении с которым архаическая фразеология приобретает комический оттенок:

«Не кори мене, господине богу милый читатель, за то, что я не везде буду говорить с тобой языком наших прадедов. И ты, цвете прекрасный читательница, дочь Леля, тресветлое солнце, словуцюю! Взлелеял бы тебя словесы Бояновы, пустил бы вещие персты по живым струнам и начал бы старую повесть старыми словесы: да боюсь, уноет твое сердце жалобою на меня, и ты пошлешь меня черным вранам на уедие».

Появление в историческом романе оригинального героя с чертами народного русского характера выделяло «Кащея» среди других произведений этого жанра. Впечатление от романа было огромное и восторг критиков единодушен. Для Белинского «Кащей Бессмертный» был одним из лучших романов Вельтмана. В 1836 году в рецензии на другой роман писателя «Предки Калимероса» он писал про «Кащея»: «Кому неизвестен талант г. Вельтмана?.. Кто не жил с ним в баснословных временах нашей Руси, столь полной сказочными чудесами, столь богатой сильными, могучими бо-

гатырями, красными девицами, седыми кудесниками... Кто не помнит Ивы Олельковича с его «нетути» и кривыми ногами, кто не помнит Мильцы и Младеня?.. кто перечтет все эти фантастические полуобразы, эти пестрые картины русского сказочного мира?.. Да, все это носит на себе печать истинного неподдельного таланта... талант г. Вельтмана самобытен и оригинален в высочайшей степени; он никому не подражает, и ему никто не может подражать. Он создал себе какой-то особенный, ни для кого не доступный мир; его взгляд и его слог тоже принадлежат одному ему» (Полн. собр. соч., т. II, изд. АН СССР, М. 1953, стр. 114).

Выделяя «Кащея» среди других исторических романов того времени, Белинский вместе с тем заметил и слабые стороны произведения. В той же рецензии он указал, что таланта Вельтмана не хватило «на что-нибудь целое, полное и стройное», что изображенный в романе мир предстоит не в отчетливо зарисованных образах реальной жизни, а в «фантастических полуобразах», в которых гораздо больше «фантазии и фантасмагории», чем реально-исторического содержания. Изображая древнюю Русь, автор «не дает нам видеть ее так, как она была, а дает нам чуять ее в каком-то призраке».

За «Кащеем Бессмертным» последовал ряд новых исторических романов: «Лунатик» (1834), «Святославич вражий питомец» (1835), «Предки Калимероса» (1836), «Генерал Калимерос» (1840). Все они после «Кащея Бессмертного» не внесли ничего нового в творчество писателя, хотя и встречали хороший прием критики и читателей.

К концу 30-х годов наступает новый период в творчестве Вельтмана, существенно отличный от предыдущих. До сих пор писатель строил свои художественные создания на материале истории и этнографии. Теперь он пользуется для создания своих художественных полотен материалом современной ему действительности. Исторический роман в творчестве Вельтмана уступает место социально-бытовому роману.

Пользуясь новым материалом, Вельтман не сразу находит соответствующие ему сюжетные построения. Сначала он пытается применить испытанные ранее приемы, вмешивает в реальный быт современной ему действительности мифические силы. Так, в романе «Сердце и думка», опубликованном в 1838 году, действие развертывается в близкой Вельтману действительности — в чиновничьем мире провинциального города и в светских гостиных тогдашней Москвы, но узел событий завязывается вмешательством нечистой силы: Ведьмы и Нелегкого. Их махинациями девушка Зоя, родившаяся с простым сердцем и гордой думкой, раскалывается на два физически раздельные существа, две Зои. Из них одну оставляют с гордой думкой жить в провинции среди тупых и пошлых обывателей — городничего, судьи, лекаря, которые надоедают ей своими ухаживаниями, а другую — с простым сердцем, сорока уносит в Москву, где она, став светской девушкой, гибнет от бессердечия волокит и интриганов. Сорокою же простосердечная героиня возвращается в провинцию и, вселившись в Зою, покинутую думкой, готовится окончательно погибнуть, сочетавшись браком с тупым Эбергардом Виллибальдычем. Только чудесное воссоединение сердца с думкой дает счастливую развязку: героиня сочетается в браке с прекрасным князем Юрием, давно в нее влюбленным и любимым ею.

Но если мифологическая трактовка сюжета была закономерна в «Кащее Бессмертном», где основой служил легендарный мифический материал, то в реально-бытовом романе такая трактовка становилась фальшью, приводила к антихудожественности. Правда, роман давал много отдельных художественно выполненных зарисовок быта. Картины провинциальной городской жизни, фигуры провинциальных чиновников и обывателей особенно удались Вельтману, и это свидетельствовало о новом начале в его творчестве. Однако в целом роману «Сердце и думка» не хватало внутренней слаженности, внутреннего единства.

Те же недостатки присущи и второму произведению Вельтмана «Емеля, или Превращения» (1845), написанному в жанре реалистического романа. Действие его относится ко времени Отечественной войны 1812 года, однако реальным событиям автор дал такую же сказочную трактовку, как приключениям в «Кащее Бессмертном». Белинский резко отзывался о романе. «Емеля, или Превращения»,— писал он,— ...решительно напоминает собой блаженной памяти «Русалку» — волшебную оперу, которая так забавляла наших дедов своими превращениями. Тут ничего не поймете; это — не роман, а довольно нескладный сон. Даровитый автор «Кащея Бессмертного» в «Емеле» превзошел самого себя в странности и прихотливости своей фантазии; прежде эта странная прихотливость выкупалась блестками поэзии,— о «Емеле» и этого нельзя сказать».

С 1846 года началось печатание «Саломеи», первого романа из цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского».

Во второй половине 40-х годов, когда писался роман, на Западе прокатилась волна революций, в России резко обострилась классовая борьба, небывалых размеров достигли крестьянские восстания, усилилась идейная и политическая борьба с крепостничеством. Внимание передовых писателей было привлечено к новым социальным вопросам: роли народа в истории, своеобразию положения в России, роли в ней многомиллионных масс крестьянства, об отношении к народу передовой интеллигенции и др.

В эти годы Д. Григорович пишет «Деревню» (1846) и «Антона-Горемыку» (1847), И. Тургенев — «Записки охотника» (1847—1852), А. Герцен — «Кто виноват?» (1847) и «Сороку-воровку» (1846), И. Гончаров — «Сон Обломова» (1849) и «Обыкновенную историю» (1847) и др. Изображая картины жизни и быта привилегированных слоев общества крепостнической России, давая резкие характеристики лиц, представляющих этот быт, передовые писатели приводили читателя к выводу, что не исправление «злодеев», не воздействие на отдельную личность, а изменение всего социального строя может изменить жизнь народа.

Вельтман хотя и не принадлежал к тому кругу писателей 40-х годов, которые сознательно шли по пути критического реализма, но под влиянием передовой литературы и общественной мысли он создал в эти годы крупное произведение, многими своими сторонами сближающееся с произведениями прогрессивной литературы. Социально-бытовой роман «Саломея» вобрал в себя весь жизненный и творческий опыт писателя, все наблюдения, собранные им в Бессарабии, Подолии, Волыни, на юге России, который он исколесил в качестве военного топографа, и в родной ему Мо-

скве, где протекало его детство и с которой была связана вся зрелая полоса его жизни.

Не случайно автор назвал свой роман «Приключениями, почерпнутыми из моря житейского». «Море житейское» — это в представлении художника окружающая его действительность, в которой собираются, как бесчисленные ручейки и потоки, берущие свое начало в разных социальных слоях общества,— человеческие судьбы.

Роман резко выделялся оригинальностью художественного содержания и формы среди других произведений этого жанра. Здесь Вельтман шел не проторенной, а своей особой дорогой, развертывая картины еще не тронутой никем русской действительности 30-х — 40-х годов.

Социальный мир, из которого черпается материал для романа, это прежде всего мир городского мещанства и мелкого служилого люда, мир военной и чиновной «мелкоты». Авантюрист Дмитрицкий, неудачник армеец Яликов; бедные чиновницы — приживалка Марья Ивановна и сваха Василиса Савишна; семья лекаря Увальня; квартальный Чесменко; городничий Щепиков; семья бедной чиновницы — тетки Дмитрицкого и т. д. «Современник» (1851, т. XXV, стр. 43) отметил это как положительное явление: «Не можем не похвалить намерение автора... обнять по возможности во всей полноте круг той действительности, с которою соприкоснулись приключения двух главных героев». В обрисовке этой огромной массы лиц, которые толпятся вокруг главных героев, писатель проявляет наибольшую проникновенность. С тонким пониманием их психологии и глубокой симпатией рисует он тетку Дмитрицкого Дарью Ивановну с ее дочкой Наташей. Они отказываются от денег и от графства, обещанных Дмитрицким, и предпочитают трудовую жизнь простых людей, над которой с умилением останавливается взор автора. История полкового лекаря Ивана Даниловича Увальня и картина его семейной жизни с женой Машенькой, денщиком Филатом и кучей ребят — великолепная жанровая картинка «мещанского счастья», озаренная такой же умиленной улыбкой автора.

Капризная судьба сплела нить жизни простодушного, честного Увальня с нитью жизни светского эгоиста Чарова, и счастье «маленького человека» нарушено. Вельтман показал, что честность и благородство души человека в современной ему действительности становятся все более редкими, погибают вместе с Увальнями.

Сочувственно писатель относится к Лукерье, жене купеческого сына Прохора. Это единственная женщина в романе, которая находит в себе силы бороться за свое счастье, она, преодолевая все преграды, разыскивает своего мужа и уводит его от отца, которому сын боится признаться в своем «проступке» — женитьбе на бедной сироте. «Современник» в том же номере за 1851 год в первую очередь похвально отозвался о том, что «в «Приключениях» на первом плане стоит мастерская отделка некоторых эпизодов и второстепенных характеров... В этом отношении особенно замечательны изображения лиц, принадлежащих к простонародью, купечеству и бедному классу военного сословия». Об этом же писал Белинский: «Лучше всего даются ему изображения купеческих, мещанских и простонародных нравов» (Полн. собр. соч., т. X, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 349).

В «Саломее» вырисовывается широкая панорама и чиновно-бюрократического, помещичьего и купеческого быта; в романе изображены и разнообразные типы, представляющие эти социальные круги общества.

«Поэты и вообще писатели ужасно как много насочинили стихов и прозы о несчастных чиновниках, и за примерную честность их и благородство души поместили на открывшиеся вакансии героев поэм»,— говорит писатель в своем романе и в следующей главе, как будто возражая этим поэтам и писателям, создает неприглядную фигуру «счастливого чиновника» Нильского, типичного для 40-х годов представителя бюрократического тупоумия и жестокости.

В лице Степана Онуфриевича Нильского, сделавшего карьеру при помощи ловко использованной табакерки, которая доставила удовольствие начальству, автор изобразил распространенный на Руси тип чиновника-бюрократа.

«Из какого звания Степан Онуфриев сын Нильский поступил в звание чиновника, нам неизвестно... Во всех графах его формуляра написано было: не имеет; родового и благоприобретенного не имеет, жены и детей не имеет, словом, ничего не имеет, кроме двадцати лет от роду. В графе о познаниях стояло: грамоте знает; в графе о способностях следовало бы написать: пить и есть умеет; в графе о качествах души отметить: «примерной честности»; ни на какую черноту неспособен, даже неспособен писать бумаги начерно. Из всех этих данных, казалось бы, ничего невозможно вывести для будущности; но будь человек не человек, а так, бог его знает что такое, да будь у него только одна здоровая утроба, и этого довольно: он по инстинкту все переймет, все узнает, что необходимо для его утробы. Степан Онуфриевич благородный ex officio был, в сущности, благоутробным».

Жизнь дворянства для вельтмановского моря «случайный поток», представителям дворянского сословия писатель отводит в романе второстепенное место.

Начиная главу, вводящую в повествование новое лицо, аристократа Чарова, Вельтман пишет:

«В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и тающих снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское. У одного оно аксинское, у другого — эвксинское, белое, черное, красное, синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров».

Московский аристократ, светский повеса Чаров, не вызывает сочувствия у автора. Вельтман не скрывает своего враждебного отношения к этому блестящему представителю великосветского общества, он показывает, что стоило только на несколько дней соприкоснуться Чарову с семейством полкового лекаря Увальня, как разрушилось счастье этой семьи, а сам лекарь и его дети остались без средств к существованию. Как бы символом среды, в которой воспитывался и духовно рос Чаров, Вельтман дает салон. «Салон — это страна мало знающих, плохо знающих и ничего не знающих, но желающих казаться все знающими. Взаимное надувание, взаимная снисходительность — вот и все, и квит с дубинкой». Пуста жизнь другого аристократа, выведенного в романе,— Платона Васильевича Туруцкого. Дожив до

глубокой старости, он вздумал жениться и с этого момента все силы и средства тратит на то, чтобы молодиться и обставить дом будущей жены роскошью. Отец героини романа Саломеи — московский чиновник Бронин — показан разорившимся дворянином; доходы не обеспечивают ему богатой жизни, поэтому все свое будущее он связывает с выгодным браком дочерей.

Для изображения жизни и быта московских и провинциальных дворян, их мелких помыслов и страстей, их убогого существования, Вельтман не находит ярких красок. Образы дворян менее удались писателю, чем образы «простонародья», они написаны поверхностно, без глубокого знания жизни и быта светского общества. «Слабее всего у него картины большого света,— писал Белинский.— Так, например, у него важную роль играет великосветский молодой человек Чаров, которого вся светскость состоит в том, что он всем своим приятелям и знакомым говорит: ска...тина, у...род!.. (Полн. собр. соч., т. X, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 349).

Вельтман один из первых в русской литературе ввел в роман представителя нарождающейся буржуазии.

В «Саломее», рассказывая о Москве, писатель подводит нас к особняку в переулке, сохранившем «еще фамильное название вельможи, бывшего владетеля дома, который принадлежит уже чайному торговцу Захолустьеву. Не просто Захолустьеву, а Василию Игнатьевичу, который выкрасил дом снаружи и велел под щитом герба вместо вставленного года постройки выставить: возобновлен в таком-то году».

Образ Захолустьева, чайного торговца, мечтающего открыть «филатурную фабрику», купившего «за двести тысяч каменный дом, для постройки которого какой-то князь выписал из Италии архитектора, из Голландии — кирпич, из Англии железо, из Франции — обои и мебель, из Саксонии — фарфоровые вазы»,— чрезвычайно интересен и показателен. Писатель рассказывает, как этот богач настойчиво вытесняет аристократов из всех сфер жизни. Он захватил их дома со всей обстановкой; в зале благородного собрания в Москве «Василий Игнатьевич Захолустьев и супруга его Фекла Семеновна, счастливая чета, ходит под ручку. Он — седые волоса в кружок, гладко-прегладко расчесаны, борода — волос от волоса отделен, на плечах древний боярский кафтан с золотым шитьем, с петлицами, меч с темляком перепоясывает не просто талию, но огромное депо здравия и благоденствия. Она — в обшитом золотым кружевом гарнитуровом платье, которое спереди как следует приподнялось, на голове повязан золотошвейный платок, в ушах серьги бурмицкого зерна, на шее — жемчужное ожерелье ниток в пятьдесят, пальцы расперло от многоценных перстней».

Писатель показал, что с ростом промышленного капитализма на смену дворянству приходит новый общественный класс, которому принадлежит будущее. Захолустьев говорит о себе: «Я, брат, теперь уж не того... а почетный гражданин на правах господских». Сын Захолустьева «был в науке, очень удачно пошел по следам купеческих сынков, проникнутых насквозь западным ветром; носил фрак, пальто-сак и тому подобные вещи; начал было водиться со знатными людьми по воксалам и отелям, где реставрируется Вавилон». Сходен с Захолустьевым купец Селифонт Михеевич. Хотя в быту он держится старого русского обычая, но дочку Дунюшку воспитывает в пансионе, где она «училась говорить по-французски, танцевать, играть на

фортепьяно, которая не может выносить ни простого слова, ни простой пищи, ни простой одежды, ни простой жизни». Вельтман показывает купцов главным образом в быту; нарождающаяся русская буржуазия копирует обычаи и порядки домашней жизни дворян.

В образе героя романа армейского офицера Дмитрицкого Вельтман показал человека, не довольствующегося обычной жизнью, он полон необузданных желаний и дерзких надежд, которые не может удовлетворить, оставаясь самим собой. И вот он «вслед за другими не хочет быть тем, что есть», «выходит из себя», хватается за всякий случай, который посылает судьба, чтобы сыграть какую угодно роль, только бы не быть тем, что он есть.

Вместе с тем, мистифицируя окружающих своими несуществующими званиями и состояниями, Дмитрицкий действует не с преступным расчетом, не с заранее обдуманным злостным намерением, а подчиняясь обстоятельствам. Отсутствие сопротивляемости капризам судьбы и указывает на психическую неуравновешенность, моральную расхлябанность, отсутствие твердых нравственных принципов героя. Дмитрицкий все время находится на границе между невинной мистификацией и преступным шантажем, между невинной авантюрностью и уголовным авантюризмом. Не без основания заправский уголовный герой Трифон Исаев говорит о нем: «Голова да словно как будто недоделан; не выдерживает то есть характера».

Героиня романа, Саломея Петровна — страстная необузданная натура, подобно Дмитрицкому, не мирится со скромным жребием мещанского счастья, о котором мечтает ее кроткая сестра Катя, Саломея не хочет середины и готова на все авантюры лишь бы осуществить мечту о блеске и власти. То унижаясь до тюрьмы, то поднимаясь до аристократических чертогов, то униженная служанка городничего Щепикова, то владычица сердца аристократа и богача Чарова, она олицетворяет «гордость, в основании которой не лежит ни одного доброго, благородного, возвышенного чувства, могущего оправдать ее» («Обозрение русской литературы за 1850 год», «Современник», 1851, т. XXV, стр. 49). Анонимный автор этой статьи правильно указывает причины, породившие такой тип, как Саломея,— следствие дурного воспитания и безалаберного образа жизни в доме родителей составляет главную причину падения Саломеи».

«Саломея» — высшее достижение Вельтмана в области социально-бытового романа, вершина его творчества. Основная линия этого жанра была представлена в 30-х — 40-х годах романами, носившими название нравственно-сатирических, таких беллетристов, как Квитка, Загоскин, Симоновский, Бегичев. Предметом изображения в этих романах был широкий мир поместно-дворянского быта.

В «Саломее» Вельтман открыл перед читателем иной, новый, неотраженный в литературе мир российской действительности, порожденной нарождающимся капитализмом.

К концу 40-х годов Вельтман теряет былую популярность. Выпустив в 1849 году еще один роман из задуманного им цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского» — «Чудодей», он надолго откладывает в сторону перо художника. В течение 50-х годов не появилось ни одного его беллетристического произведения. В эти годы он публикует лишь статьи

и монографии по вопросам археологии и лингвистики: в 1856 году — «Индо-Германе и Сайване» и «О свевах, гуннах и монголах»; в 1858 году — «Аттила и Русь»; в 1860 году — «Маги и мидийские каганы тринадцатого столетия». В ученом мире эти работы Вельтмана не пользовались популярностью.

В 1852 году он после смерти Загоскина заступает его место директора Оружейной палаты. В 1854 году Академия наук избирает его своим членом-корреспондентом.

Казалось, что Вельтман умер для беллетристики. Но после тринадцатилетнего перерыва, уже на склоне лет, он снова делает попытку выступить на беллетристическом поприще и в 1862 году печатает третий роман из цикла «Приключений, почерпнутых из моря житейского» — «Воспитанница Сарра», а в следующем году четвертый и последний — «Счастье-несчастье». Ни один из последних романов не мог сравниться с «Саломеей» по широте бытовых картин и полноте разработки характеров. На появившиеся в 60-х годах романы критика откликнулась короткими, резко отрицательными рецензиями.

С 1863 года Вельтман перестает печататься и доживает свой век забытым литератором. Общественно незаметным событием была и наступившая в 1870 году смерть писателя.

* * *

Произведения Вельтмана, и особенно роман «Саломея», подвергались в современной писателю критике различным оценкам. Глубокий анализ романа дал Белинский в своих обзорах литературы за 1846 и 1847 годы. Критик видел в «Саломее» «много поразительно верных картин современного русского быта», достоверную летопись эпохи, а в ее авторе одного «из замечательнейших талантов» своего времени.

Вместе с тем Белинский указывал и на слабые стороны романа, проистекающие прежде всего из того, что у писателя было намеренное «желание доказать превосходство старинных нравов перед нынешними». Этот взгляд Вельтмана на современную ему действительность, любование прошлой патриархальной жизнью мешали писателю глубже понять современность, ослабляли обличительную направленность романа, мешали выработке наиболее плодотворного творческого метода критического реализма. Передовая критика все время упрекала Вельтмана за «натянутые положения» в романах, за то, что в них есть «неестественные лица», «за слишком запутанные узлы событий», которые развязываются «посредством deus ex machina». И тем не менее «Саломея» — лучший роман из «Приключений, почерпнутых из моря житейского», заслуживает внимания современного читателя. Он содержит в себе много живых картин и подробностей, характеризующих прошлую жизнь русского общества, а также обладает тем достоинством, что написан пером большого мастера слова.

В. Переверзев

Книга первая

Часть первая

I

У одного папеньки и у одной маменьки было две дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встречал где-нибудь Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо, зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия, служил и там и сям, был во всех войнах и походах, на суше и на море, во всех странах и землях, всех знает, со всеми знаком... Ничего не бывало! все это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь страницу из его жизни. Вот он едет в столицу искать счастья направо-налево — и все сердится.

— И тут тройка не везет! да ну, пошел! погоняй мужика-сипа!

— Мужик-сипа ест сыто, барин! — отвечал извозчик.

— Животное! и тот упрекает меня в недостатках! Пустяки, брат, у нас есть капитал.

И с этими словами Дмитрицкий отправил одну из своих рук в один из своих карманов, пошарил в нем, потом перенес в другой, в третий и, наконец, вытащив из недр бокового кошелек, потряс над ухом.

— Где ж он тут, собака?.. а!

Вытряхнув на ладонь ключик, потом единственный червонец, он погладил его, как зверка, по шерсти.

— Ключ от прошедшего и будущего богатства; а это — вот он, настоящий червонный! один-одинехонек. Где ж, брат, твои товарищи?.. ушли?.. экие какие! Ничего! зато какой простор тебе на дне кошелька. Ты, душа моя, у меня заветный, на разживу; ты не какая-нибудь последняя копейка, которую дурак ставит ребром. Тебя я не выпущу из рук; ты — мой аттестат, мое золото, рычаг, движущая сила: без тебя и этого осла не поворотишь с места. Эй! пошел! да ну же, погоняй!

— Да погоняю же, погоняю.
— Гони во всю ивановскую!
— Куда же еще гнать, барин! Погонишь, да загонишь; не на один поезд с тобой куплены лошаденки; кормильцев-то других у меня нет!
— Гони, говорю! А не то видишь? смотри!
Мужик обернулся; Дмитрицкий показал ему кулак.
— Экая диковинка: у нас у самих таких пара, барин!
— Ступай, говорю, а не то я тебе дам!
— Что дашь, барин? мы сдачи сдадим.
— А вот что! — сказал Дмитрицкий, показывая червонец,— видел?
— Видел. Эх вы, соколики!
И мужик раскачнулся на облучке, приударил легонько по всем по трем; кони прибавили рыси.
— Ну, видел? Червонный, целиком, без сдачи.
— Эх вы, золотые мои! — прикрикнул извозчик, замотав головой и приподняв пристяжных навскачь.
— Скажи пожалуйста! у него золотые кони! Верно, не все то золото, что блестит. Слышишь, червонный! Ну, во все лопатки, напропалую!
— Сперва поторгуй, барин, тройку-то; да на загон-то я еще и не продам.
— Скажи, пожалуйста! Да он лучше нашего брата знает цену золоту! У нас только то золото, что золото, будь оно чужое или свое; а у него все золото, что его. А хороша у тебя жена?
— Вестимо, что хороша.
— Молода?
— Да не стара.
— Золото?
— Золото-баба!
— Ну, а весело жить?
— Покуда весело.
— Золотые деньки выдаются?
— Слава богу!
— Ну, а барин каков?
— Барин — ничего.
— Золотой человек?
— Золотой, золотой, и сказать нечего.
— Ну, а приказчик каков?
— Приказчик? Приказчиком-то он пообмишулился.
— А что?
— Да так, ничего; про нас хороший человек.
— А не золото?
— Уж такое золото, что боже упаси!
— Вот тебе раз! Поди с ним! У него все золото; а я думал удивить его червонцем! Полезай, брат, со стыда в карман; посмотрим, как-то ты блеснешь в городе.

Дмитрицкий уложил червонец в кошелек, кошелек в карман; а извозчик, затянув обычную песню, поехал обычным шагом; иногда только покачнется на облучке, помотает головой и погладит кнутом пристяжных, чтоб натянули постромки.

Вот и город Москва заблестела на горизонте золотыми маковками; у заставы извозчик приостановился.

— Приехали, барин.

— Куда? — спросил Дмитрицкий, очнувшись от дремоты.

— Да к заставе.

— Неужели?.. Ах ты, скверность!.. Ну, ступай, что ж ты стал?

— Пожалуйте подорожную,— сказал часовой.

— Какую подорожную? Ведь подорожную записали; сколько еще раз записывать?

— Когда записали?

— А генерал-то проехал.

— Какой генерал? Никакого генерала не проезжало.

— Вот тебе раз! Не может быть! Что ты это говоришь! Куда ж он девался? Я — его камердинер... отстал... бричка сломалась генеральская; я тороплюсь догнать его... Тут нечего разговаривать!.. Ступай!

— Нет, постой, я доложу дежурному.

— Я сам пойду к дежурному,— сказал Дмитрицкий,— посмотрю в книге; как это можно, чтоб генерал еще не проехал?

И Дмитрицкий, выскочив из повозки, пошел в караульню.

— Да я тебе говорю, что никакого генерала не проезжало! — твердил ефрейтор, следуя за ним.

— Позвольте, ваше благородие, взглянуть в книгу; вот, говорит, что не проезжал мой генерал, а я знаю, что проехал...

— Какой генерал? Как его зовут? — спросил писарь.

— Да вот, извольте посмотреть, вчера или сегодня,— продолжал Дмитрицкий, взяв книгу и просматривая фамилии проезжих.— Бричка сломалась, починили было, опять сломалась, принужден был нанять телегу, да такие лошаденки попались... а генералу что ж без меня делать... мундиры все со мной... я думаю, ждет не дождется... еще прибьет, что я замедлил.

— Да как фамилия твоего генерала? — спросил офицер.

— Ну, вот, вот; вот генерал от кавалерии... а тут говорят, что не проезжал. Я знаю, что проехал; вот, с будущим, а будущий-то я, его камердинер... Сделайте одолжение, ваше благородие, пожалуйте солдатика проводить меня к нему для удостоверения, что я действительно его камердинер.

— Это для чего?

— Меня не пропускают через заставу; а его превосходительство, верно, сказал на заставе, что я еду вслед за ним.

— Говорил генерал? — спросил офицер ефрейтора.

— А бог его знает; ведь не мы были, ваше благородие, в карауле; а при смене никто ничего не говорил.

— Так позвольте солдатика, ваше благородие; я же и не знаю, где генерал остановился.

— Можешь и сам отыскáть; здесь караул не для рассылки.

— Нечего делать! прощайте, ваше благородие,— сказал Дмитрицкий, выходя.— Подавай тройку! — крикнул он извозчику.

Заставу подняли, Дмитрицкий сел в телегу и на вопрос извозчика: «Куда прикажете ехать?» — отвечал: «Ступай покуда прямо!»

— Насилу отделался! — продолжал он про себя,— спасибо тузу: при тузе и валет много значит; поставил темную — и повезло.

Начав дело с конца, все-таки не уйдешь от начала; а потому мы должны хоть слегка просмотреть первые страницы жизни Дмитрицкого.

Вследствие уроков своего наставника эмигранта почтенный родитель его имел следующие правила: люди добрые — овцы, которых умные стригут; люди честные — ослы, которые за умных людей возят тяжести; а люди трудолюбивые — лошади, на которых умные люди верхóм ездят. Матушка его не имела никаких правил и в подражание своему супругу думала, что женщина с правилами — дура, что любовь не что иное, как спиртуозное чувство, от которого пьянеют только дураки. Дмитрицкий в доме родительском был баловень; в какой-то гимназии или в бурсе — шалун и лентяй; на службе — разбитной малый, сорвиголова. Служил он или, лучше сказать, служил-не-служил в уланском полку корнетом. У него была совсем не служебная организация. Кивер набекрень, сабля при колене, темляк до земли,— он любил сначала побушевать; но истинное призвание его было не в одну сторону, а *направо-налево*. С первой попытки он так ловко держал в горсти книгу судеб, называемую колодой, так ловко, по-юпитерски, метал, что вся собратия подрывающих банк восклицала: «Славно мечет! чудно мечет!»

Эти возгласы заложили навсегда банк в голове Дмитрицкого. Для него просто была мýка, когда отрывали его *от дела,* не только службой, но и глупым обычаем закусывать, обедать, пить чай и ужинать.

Бросая с досадой карты, он всегда восклицал, вставая из-за стола: «Только и думают, что набивать пузо! точно голодные собаки бегут к корму! как будто нельзя тут же перекусить чего-нибудь!»

Счастье ли не везло Дмитрицкому, или бедовая страсть метать банк до тех пор, покуда он не лопнет, только Дмитрицкий постоянно был оборван. Он не сердился на то, что жалованье его всегда было проиграно вперед за треть; не горевал и о том, что в гардеробе его оставался только старенький мундир с мишурными принадлежностями, годный только для манежа; но

он сердился, что явный недостаток в деньгах прекращал игру и ему ничего не оставалось делать, кроме как сказываться больным и, завернувшись в шинель, лежать врастяжку на одре тоски. Сидеть бездельником подле стола, смотреть, как играют другие, и спокойно покуривать трубочку — на это Дмитрицкий был не способен. Когда он начинал жаловаться на голову, то это значило, что у него на квартире чистота и опрятность. На деревянном диване разостлан старый вальтрап; [1] в головах кожаная подушка, вылощенная головой; у стенки еловый столик; на окне продутая трубка, а подле нее в жестяной сахарнице табачные окурки, как воспоминание счастливых дней изобилия в табаке. Тут уже нет ни чемодана, ни разбросанного платья, ни рассыпанного повсюду вахштафу, ни дыму, в котором можно коптить окорока, ни кухенрейтерских пистолетов, ни солингенских сабель, ни лазарининского ружья, ни охотничьей собаки. Тут только Дмитрицкий, расслабленный душой и телом, наполняет собою пустоту; то положит руки под голову, глаза в потолок; то вскочит, набьет табачных окурков в трубку, затянется, плюнет и снова заляжет. И в самом деле, возможно ли Дмитрицкому показываться на белый свет в полном здоровье и тишине души: что стал бы он отвечать на вопрос: «Чтó ж, брат, банчику?» Не отвечать же: «Что, брат, денег нет!» Да это такой стыд, что ужас. После этого никуда глаз не показывай, чтоб не спросили с сердечным участием: «Что, брат, денег нет? чтó ж, брат, дудки есть».

К получению жалованья Дмитрицкий выздоравливал; но однажды, во время болезни своей, он надумался и решил, что глупое счастье надо заменить чем-нибудь умным. И вот все время болезни он стал посвящать на изучение волшебной науки, по части превращения *листов*. Эксперименты постоянного совершенствования в науке он производил над помещиками, и, по пословице: «бей сорóк, бей ворóн, добьешься и до белого лебедя», он зашиб однажды изрядный куш у одного юного агронома. Деньги развивают фантазию и в прохладных душах, с ними непременно хочется летать. Ремонтерство — пресоблазнительное поручение для кавалериста: подорожная на все четыре стороны, а главное — в Бердичев. Отправился и наш герой в Бердичев. Счастлив. Там-то, в Бердичеве, тьма казначеев, тьма ремонтеров, тьма понтеров, тьма Эстерок или Эсфирей, Лий, Рахилей, которых называют Рохлями, жидов — евреев — иудеев — факторов, контрабандистов и талмудистов, панов, панн и панёнок, шляхтянок и гардеробянок. Чудо! Корчмы, бильярды, карты, коханки, мазурки, панские реньчки [2] и ножки, сто тысенц дьяблов и цо éще? — больше ничего не нужно, всё есть. Дмитрицкий прибыл благополучно; по обычаю, остановился в корчме, потому

---

[1] Попона, покрывало для лошадей.
[2] Ручки (*польск.*).

что где живет израиль, там нет домов, а есть корчмы: это ряды длинных заездных мазанок с крытыми дворами напролет из грязной улицы в вонючий переулок. Переднюю часть корчмы составляет комната для приезда вельможных панов. Здесь можно присесть на стул, прилечь на канапе, посмотреться в зеркало, выглянуть на улицу, раскинуть ломберный стол, побеседовать с какой-нибудь Рифкой, угодливой хозяйкой в жемчужных мушках, или с Пейсой, ее сестрой, или дочерью, с распущенными кудрями до плеч. И Рифка и Пейса смотрят в глаза и неугомонно допрашивают, не потребно ли чего-нибудь пану: «А может быть, пан покушает чего-нибудь? а может быть, пан чай будет пить?.. пан с ромом пьет?.. а может быть, пан желает что купить?» Только что пан заикнулся, Пейса уже исчезла, прокричала в нос на дворе: «Хаймэ, Хаймэ!» — и еще что-то по-своему, и жидок Хайм бежит в ряды. Глядь, из какой-нибудь лавки крадется Хайм, а за Хаймом из всех лавок бегут Хаймы, Мошки, Иоски, Абрамки и Шлёмки с узлами. Хайм в двери, и все за ним. Напрасно и Рифка и Пейса застановили двери, хотят припереть на крюк: жиды ломят, проталкиваются, кладут на пол свои узлы, торопятся развязывать, и каждый, бранясь по-жидовски со всеми прочими и охуждая чужие товары, расхваливает свои и сует их в руки панские.

Этой картины, не только живой, но и писаной, не найдешь даже и в Москве, где некогда, по татарскому обычаю, купцы держали при себе таких сидельцев, которые тянули покупщиков к лавке за ворот.

Но мы еще не кончили описания корчмы. Рядом с приемной меблированной комнатой *лежит* небольшая *штуба* хозяйская; здесь две кровати, подле окна стол, в углу печка, подле печки лавка, в другом углу шкаф с посудою, по стенам по́лки с горшками и плошками. Под закорузлыми перинами ложе Рифки и Пейсы с братьями и сестрами; на печке ложе старой жидовки, а на лавке *наймочки.*

Все остальное протяжение корчмы, от улицы до переулка, разделяется на отделения для заезжих — вход прямо со двора; каждое отделение разделено надвое печкой, которая таким образом и составляет стену, или перегородку, очень удобную для топки камышом и бурьяном. Втащат несколько связок длинного камышу, разложат в грубе огонек, воткнут один конец связки, камыш вспыхнет, затрещит, и по мере того, как огонь пожирает, камыш вдвигается в печь. Проглотив связок десять камышу, груба раскалится как нельзя лучше, и вы до самого вечера имеете полное право жаловаться на нестерпимый жар, духоту и в случае слабой головы на угар; а ввечеру можете снова топить или почивать в прохладной комнате.

На дворе корчмы постоянное месиво грязи; это в одно и то же время и конюшня, и сарай, и хлев, и курятник, и помойная яма.

Город — не столица обширного размера, и потому экипажи — лишняя вещь; можно, не уставая, ходить из конца в конец пешком; по сторонам улиц грязь не так глубока, и всегда есть, вместо тротуара, пробитая тропинка; но если вы — смелый кавалерист, то можете оседлать какого-нибудь жида и переехать на нем чрез топь. Впрочем, в каждой корчме можно нанять пару кляч в бричке с дышлом, и какой-нибудь Шлёмка довезет вас и на бал и с балу.

Жидовское местечко — удивительная вещь: это шайка, но не разбойников и не воров. В этом случае каждый жид честен как черт: как черт не убьет, не украдет, но как черт — обманет, проведет, надует, обморочит, соблазнит, раззадорит, и вы почувствуете какую-то тяжесть в кармане и выбросите из него все деньги жиду за дрянь, как черту душу за земные наслаждения.

Кто не живал посреди израиля, тот не понимает достоинства картин *жидовской школы.*

Вот на лавочке у ворот одной корчмы сидит офицер, в шинели и фуражке; что-то очень смутен; облокотясь на колени, он запустил руки в густые кудри и, как будто насильно похилив голову книзу, заставил ее устремить глаза в землю. Сидит и молчит, не смотрит даже на Пейсу, которая, накинув капотик на одно плечо, стоит подле.

— Вы сердитые такие, не хотите говорить,— сказала она ему с участием.

Офицер молчит.

— Знаю я: пан Желыньски обыграл вас; сказала я, что не играйте с паном.

— Да поди прочь, пожалуйста!

— Зачем пойду прочь? я хочу здесь стоять.

— Ну, стой, да молчи.

— Я только жалею вас, больше ничего; а вы сердитесь.

— Ах ты, Песька! ну, поди сюда!

— Как это можно!

— Ну, поди прочь!

— Где тут квартирная комиссия? — крикнул улан, подъезжая к соседней корчме.

— Улан! какого полка? — спросил офицер.

— Татарского уланского, ваше благородие, ремонтной команды.

— Кто офицер?

— Поручик Дмитрицкий; вот не допрошусь, где квартирная комиссия: заготовить надо квартиру его благородию.

— Пустяки, брат; здесь и в месяц не добьешься порядочной квартиры; а твой офицер, верно, не остановится в мурье.

— Как можно, ваше благородие; он приказал, если не отведут хорошей квартиры, так нанять.

— Так нечего и хлопотать, вот здесь есть квартира, лучше и не найдешь.

— Поди посмотри, прекрасная, меблированная, с зеркалами комната,— сказала Пейса.

— Да уж, верно, понравится его благородию,— сказал улан, посматривая на Пейсу,— так я поеду, буду ждать его у заставы.

— Веди прямо сюда; да постой, служивый, ты посмотри, ты увидишь, какая прекрасная квартира, мы за постой дешево берем.

— Ну, посмотрю,— сказал улан, въезжая на двор и слезая с коня.

— Видишь, какая квартира для твоего офицера?

— Славная, славная!

— На-ко, выпей с дороги.

— И квартира славная и хозяйка славная!.. а уж мой офицер такой, что и квартиру ему подай славную и хозяйку славную... ох, да и водка какая славная! ...спасибо!

— Если понравилась, так выпей еще... Смотри же, прямо к нам веди, не слушай других...

— Небойсь; да закусить, брат жидовочка, дай чем-нибудь.

— Сейчас, сейчас; вот два бублика.

— Довольно одного. Так прощайте же покуда.

— Офицер твой любит играть, может быть, в карты, так мы ломберный стол поставим,— сказала Пейса.

— И играет, и гуляет,— отвечал улан, моргнув глазом.

— Женатый или нет?

— Какой женатый!

— А богатый?

— Да сорит деньгой; куда их беречь: и поигрывает, и вашу братью задаривает... щедрый, нечего сказать! Ну, поеду навстречу.

— Прямо сюда, да не ошибись. Я пошлю фактора на заставу... Хаймэ! гэ!

Пейса что-то пробормотала, и Хаймэ побежал за уланом.

— Хвалит своего офицера,— сказала Пейса, выходя за ворота,— в карты играет...

— Э?

— И богат; вот и играйте с ним.

— Э?

— Да; со своим братом офицером лучше вам играть; а эти паны в париках — шулерá.

— Э?

— Да, я вам говорила.

— Э? Сидоров, дай трубку.

— Трубку-то я подам, сударь, да пустую.

— Табаку нешто нет? Поди возьми у Соломона фунт.

— Поди возьми! — бормотал косолапый кавалерист-денщик про себя, отправляясь в лавку,— пожалуй возьму; мне

что!.. а поди возьми, так сам не будет отвечать... Эй, давай фунт табака барину.

— Фууунт?

— Да, фунт! сказано фунт, так фунт.

— У тебя карбованный али сто?

— Да, сто! как бы не так!

— Давай деньги.

— Поди у барина возьми, он тебе даст.

— Дааает? а у барина деньги есть?

— А у кого ж и быть деньгам, как не у господ? Ну, давай же или сам неси; барин велел фунт табаку принести; ну и ступай.

— Велел?

— Говорят, велел; ступай, он, чай, расплатится с тобой.

— Расплатится?

— Стало быть, расплатится, когда велел целый фунт приносить.

— Пойдем, пойдем.

— Пойдем.

Между тем офицер, не дождавшись табаку, отправился по соседству, корчем через пять, к пану Желынскому.

Пан Желынский был знатный игрок, старый пес в рыжем парике, с преотвратительной наружностью. Все знали его ремесло, говорили ему в глаза: «Ты, пан, шулер! с тобой нельзя играть!» Он на это издавал звук: «хэ, хэ, хэ, хэ?», садился за стол, высыпáл горсть червонцев, разламывал звучно обертку колоды, раскидывал ее, как веер, и, пропустив с треском карту в карту, клал тихо на стол и произносил: «Не угодно ли?» На это магическое слово ничего нельзя было отвечать, кроме: «Угодно!»

— Пан, реванж за тобой,— сказал офицер, входя в квартиру пана, который играл в это время на скрипке вариации Плейеля.— Отыгрываться я не хочу; а будем играть пополам.

Желынский, положив скрипку, посмотрел вопросительно на офицера.

— Ну, пан, хочешь вместе, идешь на половину?

Желынский отдул губы и сделал знак, что он не понимает этих слов.

— Послушай, пан, ты со мной не церемонься; ты меня обдул, а я тебя отдую, мне все равно; я проиграл тебе ремонтные деньги! Ты должен меня вывести из беды.

— На чужие деньги не должно было играть.

— Знаю я сам это; да ведь ты, бес, попутал меня; так и распутывай.

— Но... с кем же играть?..

— С кем?.. Э-гэ! колокольчик!..

В самом деле колокольчик звякнул, на улице хлопанье бича ближе и ближе.

Желынский и офицер бросились к окну.

Дмитрицкий катил в роскошной коляске, прислонясь к боку; белая фуражка, по обычаю, набекрень.

— Какая прекрасная венская коляска! Кто это такой?

— Вот выигрывай, пан, эту коляску.

— Хэ, хэ, хэ! не худо бы. Здесь, подле, остановился; надо бы узнать, кто такой. Яне! гей, Яне!

— Не беспокойся, это мой сосед. Хочешь с ним познакомиться?

— Почему ж не так, всякое новое *замечательное* лицо составляет особенно приятное знакомство.

— Так приходи же ко мне через полчаса, слышишь?

Желынский кивнул головой в знак утверждения, а офицер отправился к себе.

Дмитрицкий был уже встречен Пейсою и охорашивался в зеркале.

— Какая ты миленькая евреечка! а?

— Нравлюсь я вам?

— Да как же? чудо что за глазки! а?

— Вам, может быть, чаю угодно? у нас самый лучший чай.

— Чаю, чаю! о, какая хорошенькая! тебя как зовут?

— Пейса.

— Пейса!

— Позвольте, я сейчас принесу чай; как прикажете: с самоваром подать или просто?

— Как хочешь.

И Пейса вышла торопливо в свою комнату собирать чай.

— Чудо жидовочка! — повторил Дмитрицкий, расхаживая по комнате и крутя усы,— а городишко, кажется, не лучше Могилева... а я думал черт знает что!..

— Прикажете сливок и сухарей, или с ромом будете пить? У нас ром самый лучший, ямайской.

— С чем хочешь... Поди, поди сюда!

— Сейчас, я только приготовлю чай.

— Плутовка!.. Сергей! эй! Сергей!

— Сейчас. Самовар ставлю,— отвечал денщик со двора.

— Скорей!

— Самовар ставлю!

— Кто тебя просил? дурак!

— Да сами же сказали, чтоб сейчас же самовар был готов.

— Не нужно! здесь есть чай готовый...

— Не нужно! а я наставил... Готовый! какой тут жидовский чай — труха! а деньги дерут такие, что...

— Ну, молчи!

— Да зачем же изволили покупать самовар? Сами говорили, что от жидовского чаю с души воротит.

— Молчать!

— А по мне что — меньше хлопот! не я его пить буду!

Пейса принесла чай точно в таком же виде, как подают и в русских трактирах.

— Налей же, Песя; сама угощай меня!

— Вы сладко любите?

— Сладко, милочка; так сладко, как... понимаешь? Да сядь, хозяйничай как должно, а я сяду подле тебя...

— Как это можно!

— Ну, я не буду пить; мне скучно одному пить.

— Пейса! Пейса! — раздался голос подле дверей.

— Позвольте! постоялец наш пришел, верно, требует чаю...

— Кто такой постоялец?

— Драгунский офицер. Ему здесь отведена квартира.

— Экой счастливец!

— Он скоро едет; попросите его, чтоб он передал вам свою квартиру.

— В самом деле!

— Пейса! чаю давай! — крикнул офицер, входя в комнату, не обращая внимания на Дмитрицкого.

Надо сказать, что в корчмах приемная комната то же, что в гостиницах общая зала. Если в корчме есть какая-нибудь заманчивая Пейса и никто из приезжих не занимает этой общей залы, то офицерство на прогулках заходит в нее и требует у Пейсы чаю, кофе и поцелуев.

— Я вам пришлю чай в вашу комнату,— сказала Пейса,— здесь они стоят.

— Ах, извините,— сказал офицер Дмитрицкому,— я не знал, что у меня есть сосед.

— Сделайте одолжение, рад познакомиться, тем более, что я имею к вам просьбу. Мне вот жидовочка сказала, что вы скоро поедете отсюда и ваша квартира опростается. Я бы желал занять ее.

— И прекрасно! в самом деле, вам нечего хлопотать в квартирной комиссии; а признаюсь вам, это истинная комиссия добыть здесь порядочную квартиру.

— Сделайте одолжение, не угодно ли вам чаю?.. Я церемоний не люблю; прошу и со мной без церемоний...

— Это и прекрасно!

— С ромом изволите?

— Немножко.

— Может ~~быть,~~ вы любите пунш?

— Э, все равно. Вы надолго приехали?

И так далее, обыкновенный офицерский разговор, который был прерван приходом денщика Сидорова с Соломоном и с табаком.

— Вот, сударь, сам принес табак,— сказал Сидоров.

— Дурак! тебя кто просил сюда? не мог подождать? Покажи табак!.. Изрядный! Вот это изрядный табак! Верно, нового привозу; а то такой скверный отпустил, что я хотел тебя про-

учить, заставить сто раз прийти за деньгами. Завтра принеси еще три фунта этого же самого. Пошел!

— Васе благородие...

— Ну, пошел, нечего оправдываться!

— Что ж, васе благородие...

Слова жида были прерваны приходом Желынского.

— Я думал, что пана Рацкого дома нет,— сказал он, обращаясь к офицеру.— Я принес долг... кажется, пятьсот пятьдесят рублей?.. Вот три двухсотных.

— Что ж это? пятьдесят рублей сдачи? Ну, я сдачи не люблю давать: штос, на две карты — и кончено: четыреста или все шестьсот. Пойдемте ко мне; здесь их квартира.

— Ах, извините, я не знал,— сказал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Не угодно ли и вам ко мне?

— Да для чего ж, господа, переходить с места на место,— сказал Дмитрицкий,— я очень рад, что имел удовольствие познакомиться, прошу вас быть как дома; если угодно, я велю подать карты.

— Нет, я играть не буду,— сказал Желынский.

— Кто это такой? — спросил Дмитрицкий тихо у Рацкого.

— Помещик, богач каналья, я его немножко наказал... Я сам играть не хочу; но штос на квит — не игра.

— На квит, пожалуй.

— Пейса, подай карты.

— Вы откуда изволили приехать? — продолжал Желынский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Из-под Могилева.

— На Днепре или на Днестре?

— На Днепре.

— Я там не бывал.

— Маленький город.

— Ну, пан Желынский!

— Позвольте, я сам мечу́.

— Пожалуй!.. Идет на квит... Ах, проклятая десятка!.. идет на сто... баста!

— Это ужас! — вскричал Желынский, бросая карты.— Терпеть не могу этот штос!

— Зачем дело стало,— банчику!

— Нет! покорно благодарю! да еще против одного!..

— Извольте, я тоже приставлю,— сказал Дмитрицкий,— надо же что-нибудь делать: я смотреть не люблю.

— Охо-хо! гроши мои, гроши! — сказал вздыхая Желынский, высыпая на стол из кошелька сотни две червонцев.— Новые карты!

Началась игра. У Желынского точно как будто колода никогда в руках не бывала. Так глупо держит, что все карты видны. Дмитрицкий думает: «Такого олуха не трудно обыграть!» Под-

смотрит карту,— аттáнде! и поставит на хороший куш, да еще примажет. Разгорелся, подымает выше.

— Отвечаете? — вскричал он наконец, поставив темную.

— Отвечаю! — с досадой отвечал Желынский,— отвечаю до десяти тысяч!

— Аттанде! отвечаете?

— Отвечаю!

— На все!

Желынский приостановился, казалось, струсил, руки задрожали...

— Мечите!

Направо, налево, направо, налево... Ух! Дмитрицкий разбил кулак, ударив по проклятой карте, которая ему изменила; в глазах затуманило.

— Позвольте сосчитаться,— сказал Желынский, потирая руки и положив колоду на стол.

— Это черт знает что! —вскричал Дмитрицкий.— Ах, дурак! сам себя надул! так глупо ошибиться! — прибавил Дмитрицкий про себя,— это удивительно!

— Что ж тут удивительного, что из пятидесяти карт, которые я вам дал, выигрываю одну?

— Да эта одна стоит тысячи! — прибавил Рацкий.

— Нет, не тысячи, а восьми тысяч четырехсот,— отвечал хладнокровно Желынский, сосчитав выигрышные Дмитрицким тысяча шестьсот рублей и вычитая их из десяти тысяч.— Рассчитаемся.

— Нет, мы будем играть еще! — вскричал Дмитрицкий, потирая лоб.

— Нет, баста! за вами восемь тысяч четыреста.

— Что ж вы думаете, что у меня денег нет? — сказал с сердцем Дмитрицкий, схватив шкатулку и отпирая ее.— Вот ваши деньги!

Для уплаты восьми тысяч Дмитрицкий должен был прихватить сотни две из ремонтной суммы. Дрожь проняла его.

— От реванжа я не откажусь,— сказал Желынский, взяв деньги,— но завтра.

— Завтра не играю! — сказал Дмитрицкий.

— Как хотите, сегодня не могу, мне в голову ударило от удовольствия выиграть хоть одну порядочную карту: я так несчастливо играю. До свидания.

— Прощайте!

— Животное! обрадовался, что выиграл восемь тысяч! — сказал Дмитрицкий, когда Желынский вышел.

— Хм! да! ужасная скотина!

— Так глупо проиграть, как я проиграл, ни на что не похоже! Проиграл такому ослу!.. это ужас!.. Вы видели, как он держит карты?.. Все виднехонько! Его можно бы было обобрать

до нитки; но я не хотел пользоваться этим, в доказательство мой проигрыш, черт знает что!

— Да, да! — отвечал Рацкий, зевая.

— Давайте по маленькой, от нечего делать.

— Пожалуй, только мне нужно сперва сходить в дежурство... Я через полчаса приду.

Через полчаса Рацкий действительно возвратился; сели играть по маленькой, играли за полночь; но у Дмитрицкого тряслись руки, и пальцы не в состоянии были исполнять его требований. Игра кончилась ни на чем.

Дмитрицкому не спалось; всю ночь продумал он о глупом тузе, который лег вместо левой на правую сторону. На другой день он отправился отдать визит Рацкому и предложил ему пригласить олуха к себе.

— Надо же отыграться!

— И пусть он опять мечет банк.

— Да, да, да, именно!

Желынский не замедлил явиться; но, начав игру, долго не распускал хвоста у колоды. Игра не клонилась ни на ту, ни на другую сторону.

— Славная у вас коляска,— сказал Желынский.

— Не дурна.

— Что заплатили?

— Три тысячи.

— О-го! но стоит этих денег, бесподобная коляска!

— Хотите выиграть в четырех тысячах?

— Э, нет, в трех с половиною, пожалуй!

И Желынский, как будто невзначай, выказал валета, третью карту снизу. Дмитрицкий не упустил заметить ее, позадержал талию ставками и, когда три валета выпали, крикнул: «Аттáнде! мазу коляска!» Направо, налево...

— Черт знает! —вскричал Дмитрицкий,— вы, сударь, передергиваете!

— С вами играют, милостивый государь, благородные люди, вы забываетесь! Я с вами давно уже играю, господин Рацкий: заметили ли вы, что я передергиваю?

— Полноте сердиться! господин Дмитрицкий так только сгоряча сказал; кому не досадно проиграть два такие куша!

— Однако ж я не выходил из себя, когда проиграл вам третьего дня две тысячи.

— У вас характер, у господина Дмитрицкого другой.

Дмитрицкий исступленно ходил по комнате. Коляска ему нужна была для представительности...

— Милостивый государь, я коляску вам не отдам, я плачу вам за нее тысячу рублей, то, что сам заплатил.

— Это прекрасно! Вы сами заплатили за нее три тысячи; она шла в трех с половиной. Извольте, я за три тысячи отдаю назад, уступаю пятьсот рублей.

— Я у вас покупаю ее.
— Она стоит мне три тысячи пятьсот.
— Угодно тысячу двести? Вам никто за нее больше не даст.
— Она не продажная; я сам в ней поеду.
— Угодно полторы тысячи?
— Полторы тысячи деньгами, пенковую вашу трубку да шкатулку.
— Трубку? шкатулку? ни за что!
— Отдавай, пан, за полторы тысячи,— сказал Рацкий.
— Ну, так и быть.

Дмитрицкий со вздохом достал из шкатулки тысячу пятьсот рублей и бросил на стол. Это уже был второй заем без процентов и без всякого обеспечения.

Но читателю, верно, надоел Дмитрицкий. Оставим его покуда делать что хочет; расскажем что-нибудь другое.

II

У одного папеньки и у одной маменьки были две дочки. Точка. До них не дошел еще черед. Жил-был старик со старухой, в Москве, древнепрестольном граде, в котором житье старикам и старухам. Старик был отставной капитан, следовательно, старуха была отставная капитанша. Жили они со времен екатерининских пенсионом, состоявшим из двухсот рублей. В первые годы отставки старик и старуха считали себя обеспеченными навек.

— Слава богу,— говорила старуха в 1789 году,— двумястами рублей можно пожить в довольстве и роскоши: двадцать пять рубликов в год квартира, рублей по десяти в год нам на одежу, за пять рублей в месяц можно иметь сытный стол... Сколько это, батюшка, составит? Считай!
— Сколько ты, матушка, сказала?
— Экой какой! клади двадцать пять за квартиру.
— Постой, счеты возьму. Ну, двадцать пять за квартиру.
— Десять да десять на одежу.
— Куда ж мне, матушка, десять! Мундир мне прослужит еще лет пять; четыре рубахи в год не износишь — рубль шесть гривен; пара сапогов рубль — вот и все: два рубля шесть гривен; тебе — другое дело, мало ли: пара платья, салоп, чепчик...
— Пара платья! довольно и одного новенького в год. Ситцевое, например, или коленкоровое: пять аршин, ну, хоть шесть, в четыре полотнища, по шести гривен аршин — три рубля шесть гривен; а понаряднее, флоранской тафты — пять рублей. Салоп немногим чем дороже, да зато уж лет на десять сошьешь хорошую вещь — жаль носить.
— Ну, положим нам обоим двадцать рублей на платье. Еще что?

— По пяти в месяц на стол.

— Шестьдесят. Всего сто пять рублей.

— Кухарке в год восемь рублей.

— Восемь.

— Чаю и сахару в год много на пятнадцать рублей.

— Не много! Один Иван Тихонович выпьет рублей на пять, да и Матрена Карповна придет в гости, вторую не покроет!

— Ах, батюшко, жаль стало; да что бы мы стали делать, кабы добрые люди к нам не жаловали хоть на чашку чаю!

— Ах, матушка, слово молвится не в упрек. Всё?

— А сколько всего-то?

— Сто двадцать восемь; смотри-ко ты!

— А на говенье-то, священник с крестом придет — положил?

— Да ты, матушка, не сказала.

— О-ох, Иван Леонтьевич, ты словно не христианин. Клади смело десять рублев.

Вот таким-то образом рассчитывали старик со старухой пятьдесят лет назад.

Квартирка у них была такая приютная, что чудо! Так все установилось и улеглось в ней к месту! Как войдешь — кухонька, всё в исправности: горшки, ухваты, уполовники, чашки, посуда столовая; на печке спальня кухарки; из кухоньки в гостиную; в гостиной комод с шкафом — тут чайная посуда, серебро, чайные ложечки, счетом двенадцать, вставлены в местах на верхней полке. Тут канапе и дюжина стульев, обтянутых кожей. В переднем углу образ, пред ним лампадка. Стены оклеены зелеными обоями; по стенам в черных рамках картины: царь Иван Васильевич Грозный, четыре времени года и разные птицы, выделанные из перьев, наклеенных на бумагу. У стен большой сундук, ломберный столик, над столиком круглое зеркало; в двух окнах клетки с чижами, по сторонам коленкоровые с плетеной бахромой занавесы.

Из гостиной — спальня; общее ложе старика со старухой под миткалевыми занавесами; тут же лежанка, на которой сохнет запасная голова сахару; подле кровати, на гвоздях, платья, салопы и прочее, покрыты простыней; белье в комоде, шубы в сундуке, обвернуты также в простыни и переложены от моли табаком. Подле окна столик овальный с вырезом и бронзовой окраиной, перед столиком кресла Мавры Ивановны, в которых она обыкновенно сидит и вяжет чулок или перед праздником, надев очки, читает священные книги, а в праздник, если никого нет, раскладывает пасьянс.

Далеко они не распространяют свое знакомство; но со всеми соседями знакомы, не пренебрегают никем; Мавру Ивановну навещает и попадья, и дьяконица, и купчиха Акулина Гавриловна, и магазейная приставша, и иные; она их угощает и чайком, и орешками, и яблочками; зато и ей у них почет и угощенье всем

чем бог послал. У Ивана Леонтьевича также не без знакомых, то сам в гости пехтуром, то вместе с сожительницей. К обедне, к вечерне, ко всенощной, к заутрене,— смотришь и нет времени на скуку.

Надо знать, что Мавру Ивановну знала и старая княгиня — соседка и часто в церкви выговаривала ей, что редко у нее бывает. А когда приходила Мавра Ивановна к княгине, то, как свой человек, засидится у нее за́ полночь, и ее отвезут домой в княжеской карете.

Таким образом старик со старухой жили, не горюя ни о чем, до нового столетия. С новым столетием как будто что-то переменилось в их жизни, как будто стало недоставать двухсот рублей на год. Старый дьячок, у которого нанимали квартиру, умер; а новый дьячок говорит, что времена уж не те и нельзя отдавать трех покоев в год за двадцать пять рублей: что, дескать, ему дают пятьдесят рублей. Куда ни обернись — деньги как будто поусохли и рубль отощал, а на копеечку и на грошик никто и смотреть не хочет, подай, говорит, пятачок. Соседи повымерли, а новые соседи как будто и не соседи. С старухой и стариком никто слова не промолвит. Дотянули кое-как до двенадцатого года — с ним кончилось и благоденствие старика и старухи. Французы идут! Народ бежит из Москвы; побежали и они за народом. Где люди остановятся, тут и старики. Пенсии неоткуда получать, денег нет; что вынесли на плечах,— пораспродали. Пробились кое-как два месяца. Воротились в Москву, и ни у кого так не плакалась душа по Москве, как у них.

Уж бог только ведает, как прожили они до тех пор, покуда все поустроилось и Иван Леонтьевич получил сперва вспомоществование, а потом и пенсию. Да что ж, почти половину подай за угол; бывало,— не далеки времена,— копеечного калача и на сегодня и на завтра, да и на послезавтра достанет, а тут вдруг с девятью копейками — с денежкой и к лотку не подходи. Все во время нужды и беды выросло; а уж что выросло, того, верно, не понизить. С де́шева на дорого — нужда велит; а с до́рога на дешево никто не велит.

— Ну, матушка, доносил мундир, в котором родился, пора в чисту́ю,— сказал, наконец, Иван Леонтьевич, умаявшись жизнию, и — отправился на тот свет.

Оплакала, похоронила его старушка, да еще как похоронила! По сю пору рассказывает, как без копеечки похоронила своего сожителя и как, по милости божией, живет половиною мужниной пенсии. Как бы, кажется, прожить ста рублями целый год в довольстве, не нуждаясь в людях? Живет. Приходите в гости к Мавре Ивановне, она еще вас и чаем напоит, своим собственным, купленным из ста рублей пенсии. На эту же пенсию она содержит у себя и кота Ваську. Кот Васька — не пустая вещь, с ним также подчас можно провести время и побеседовать. Мавре Ивановне как-то веселее, когда Васька лежит у нее на коле-

нях и курнычет, или, проголодавшись, вскочит, вытянется верблюдом и мурлычет, ластится, трется около Мавры Ивановны, толкает ее под руку и не дает вязать чулок, или сядет на окно, начнет обмываться и захрапит песню.

— Для кого это ты моешься, Васенька?.. а?.. гости будут, что ли?.. Да кому быть-то?.. разве Степанида Герасимовна?.. Где ж ей быть в такую погоду... Видишь, распелся, и горя себе мало... Ну, ну, ну, брысь! не люблю, как ты начнешь толкать под руку, когда я чай пью!.. Того и гляди, обварю кипятком, и, избави бог, еще и чашку выбьешь из рук. Чашка-то покойного Ивана Леонтьевича!.. только и осталось памяти!.. о-хо-хо! от целой дюжины одна-одинехонька!.. Что, не думаешь ли, что молочка дам, как бывало?.. Нет, Вася! молочные-то дни уже повысохли!.. погулять захотел? ну, ступай, ступай!.. Чу! мяучит! Нагулялся? ох ты, проказник! Одно-то ты у меня утешение осталось; поди, я тебе щец налью. Не хочешь? Ну, честь приложена, от убытку бог избавил.

Мавру Ивановну можно было назвать молоденькой старушкой. На плечах лет восемьдесят, а она легко их носила, как будто это долгое время совсем ничего не весило. То ли дело в старину! Какое доброе чувство лежало на сердце, даже к окружающим вещам, не только что к людям. Язык еще не грубиянил, произносил: «Какой выдался нынче денечек; подвинь-ка, Дунюшка (Дунюшке леть шестьдесят), стулик-то ко мне; подай, голубушка, ложечку. Дай-ко стаканчик водицы, испить хочется».— «Не лучше ли кваску, матушка?» — «Нет, уж лучше чайку чашечку».

Таким-то образом Мавра Ивановна проводила день, если какая-нибудь старушка Гавриловна не навещала ее или если Саломея Петровна не присылала за ней. Иногда только она вяжет наобум чулок, да и задумается... да уж не об себе, а об Саломее Петровне, или Катерине Петровне, или об матушке их, или об Гавриловне: как это ей бог послал купить три кочня капусты на грошик?.. и об других добрых знакомых; о добрых умерших она не задумывается: они в царстве небесном,— жалеть об них нечего. О худых людях она и вспоминать боится, чтоб не помянуть недобрым словом.

Сто рублей она аккуратно распределяла на год. Нанимает у Гавриловны уголок за двадцать рублей; шесть рублей заплатит за фунтик чайку, да купит фунтика три в полгода сахарку; а ежедневных расходов у нее нет. Вовремя запасет она грибков рублика на три, капустки кислой, да крупки рубликов на пять. Два фунта говядины достает ей на все скоромные дни недели, а полфунта снеточков — на постные; полтора фунта хлеба на три дня. Таким образом у нее остается еще около двадцати пяти рублей; из них десять рублей на говенье, на свечи, на просвиры, на панихиды; а пятнадцать — на всякий случай, на приправу, на маслице да на пирог в праздник.

Одежда на ней уж не носится, не трется и не стареет.

Мы уже сказали, что у одного папеньки и у одной маменьки были две дочки: эти дочки назывались Саломеей Петровной и Катериной Петровной. Их папенька и маменька ничем не отличались от тех, которые не знают, что такое значит: папенька и маменька.

Катенька, меньшая дочка, была больше ничего, как миленькая девушка, которую очень приятно любить и которую все любили так, как будто бы ни зáшто, ни прóшто; старшая же сестрица ее была — Саломея Петровна — не иначе. Красавица в форме, с сознанием собственного достоинства; истинный доблестный муж в полдюжине юбок; настоящий юный чиновник министерства, приехавший из европейской столицы в азиатскую, со всем запасом важности, горделивости в походке, в посадке, в приемах, в движениях, в речах, во взгляде, в чувствах и даже помышлениях. Словом, это было существо великодушное, презирающее всех малодушных, слабодушных, тщедушных и радушных. В дополнение ко всем этим достоинствам она пела. Так как голос есть выражение души, а душа Саломеи была мужественна, то голос ее был яко глас трубный, не семейный, а, соответственно современному требованию, публичный. Она пела con fuoco [1], как поет на сцене какой-нибудь Mahometo, с выражением в лице игры страстей, со всеми уклонениями, возвышениями, понижениями, потрясением головы, то с наморщенным челом, то с закатившимся, умирающим взором и с сладчайшей конфетной улыбкой. Все люди века, вздутые, пузырные и бурчащие как пена, словом, дрожжи, поднявшиеся наверх, кричали рассеянно: браво, браво, удивительно!.. Похвала имеет цену не на устах, а в ушах! Это знают люди века. Папенька Саломеи был статский советник; маменька, разумеется, также статская советница,— больше об них нельзя ничего сказать. Они были очень обыкновенные супруги. Имущества у них было не через край. Для двух дочерей следовало бы по крайней мере скопить приданое; но оно не скоплялось; а между тем старшая уже *гадала* о том великом муже, который будет ее собственным мужем. Он воображался ей чем-то вроде Телемака, и потому все имеющие честь называться молодыми людьми, мужчинами, и в мундирах и во фраках, и вообще в одежде с куцым и длинным хвостом, казались ей сволочью, не стоящею внимания. Как ни покушались некоторые из них составить с ней свое счастие, но она была неприступна, как Телемахида. На Катеньку никто не обращал внимания, потому ли, что она еще была молода, или потому, что перед Саломеей Петровной Катенька была просто — ничто. «Катенька! подай мне скамейку под ноги!» Катенька и подаст. После этого как же можно было какому-нибудь кавалеру предложить руку и сердце такому послушному ребен-

[1] С огнём (*итал.*).

ку? Но вдруг отыскался некто Федор Петрович Яликов... Об нем однако же после.

Саломея Петровна ездила с маменькой к обедне, не иначе как в *шереметевскую*. Но однажды, против обыкновения, отправилась в приходскую церковь, к празднику, потому что служба была архиерейская.

Церковь была против самого дома; но пешком было неприлично идти; в четвероместной карете переехали они через улицу.

Человек в ливрее протолкал народ до мест, обитых сукном. Саломея Петровна нашла себе место, двинувшись на возвышение со взглядом, который говорил: «Прочь!» Она принудила отодвинуться от себя нескольких купчишек; но маменька принуждена была остаться у подножия своей дщери, не видеть ничего за толпою и изъявлять свою досаду жалобой на эту ужасную толпу.

— Не угодно ли вам, сударыня, встать на мое место? — сказала ей одна древняя старушка, занимавшая место на возвышении подле стенки.

— Ах, милая, как ты меня одолжила!

Старушка уступила свое место и стала подле, у подножия.

Софья Васильевна осмотрела ее с ног до головы — старушка как старушка: белый как снег коленкоровый чепчик, с накрахмаленной складкой, тафтяный салопец с коротеньким воротником, самой древнейшей формы, наживной горбик, лицо также очень давнее, но предоброе; словом — почтенная старушка.

Когда обедня кончилась, Софья Васильевна подошла к старушке поблагодарить ее.

— Чем могу служить вам с своей стороны, моя милая? — спросила она ее.

— Благодарю, матушка, что бог послал, тем довольна, ничего не нужно мне.

— У вас есть семья?

— Э, нет! живу одна-одинехонька, пенсией после мужа.

— А ваш муж где служил?

— В военной службе, сударыня; капитаном вышел в отставку; государь пожаловал ему пенсию, двести рублей в год.

— А теперь чем же вы живете?

— Пенсией же; сто рублей в год получаю; с меня довольно и предовольно.

— Что ж это мы стоим? Все вышли из церкви,— сказала с нетерпением Саломея Петровна.

— Как вас зовут, моя милая?

— Мавра Ивановна.

— Прошу навестить меня, Мавра Ивановна, мне очень приятно было бы чем-нибудь и вам угодить. Ведь вы, я думаю, здешнего прихода?

— Как же, матушка, здешнего.

— Так вы, я думаю, знаете дом статской советницы Брониной?

— Софьи Васильевны? как же, сударыня, как не знать: слухом земля полнится; а это не дочка ли ваша, Катерина Петровна?

— Нет, не Катерина, моя милая, ошиблась! — отвечала Саломея Петровна, вся вспыхнув.— Нас ждет карета! — прибавила она и пошла вон из церкви.

— Так прошу, Мавра Ивановна.

— Непремину, матушка.

— Лучше всего, завтра поутру я пришлю экипаж за вами.

— И... к чему, к чему! у меня, слава богу, ноги еще служат.

Софья Васильевна сначала думала только обласкать Мавру Ивановну своим приглашением; но когда Мавра Ивановна проговорилась, что в числе слухов, которыми полнится земля, не забыто и имя статской советницы Софьи Васильевны Брониной,— о, тогда Мавра Ивановна превратилась в листок газеты, в котором кое-что напечатано и *об нас.*

— Для чего это вы, маменька, всякую дрянь зовете к себе? — сказала Саломея Петровна матери, когда она села в карету.

— Прошу меня не учить, сударыня: молода еще делать матери замечания и наставления!

— Конечно дрянь, нищая, точно такая же, как Василиса Савишна.

— Молчи!

— Я с вами и без приказаний, кажется, всегда молчу,— произнесла Саломея, *фыркая,* как говорится по-русски.

Софья Васильевна непременно сказала бы на это еще кое-что; но карета остановилась уже у подъезда, дверцы отворились, и Саломея Петровна, не ожидая ответа, выскочила и ушла в свою комнату. Никогда еще самолюбие ее не было так раздражено, как теперь: об ее дрянной сестренке говорят, а об ней ни слова... Каков свет! каковы люди! Из двух сестер, различных между собою как две крайности, не умели выбрать лучшей по красоте, по душе, по образованию, короче сказать, по всему, не умели отличить дня от ночи!.. О, да это ночные птицы; для них там и свет, где тьма!.. Катю называют Катериной Петровной, обратили внимание на мякушку, на беленькую, смирненькую овечку, и тут же, подле, не заметили существа высокопарного, высокомерного, словом, исполненного всеми высокими достоинствами!

Нашей старушке Мавре Ивановне совсем не хотелось забираться в высокие хоромы, да нельзя: зовут, просят, как можно отказаться? Ведь это неучтиво: люди делают честь, не следует отказываться.

«Так и быть, пойду в воскресенье»,— думает Мавра Ивановна, пересматривая свой белый коленкоровый капотец, кото-

рый надевается только к причастью, в светло-христово воскресенье да в именины. Но Софья Васильевна сдержала слово: на другой же день прислала за ней дрожки. Нечего делать, пришлось в будни надеть праздничный чепчик и капот.

Мавра Ивановна сроду не знала такого почету себе. Софья Васильевна ласкова, а Саломея Петровна просто очаровывает ее своим вниманием и предупредительностью, усаживает ее помягче, спрашивает: сладок ли кофе, не прибавить ли сливок; ахает, слушая ее рассказы о походах с мужем; только что не плачет, слушая рассказ, как она похоронила его без копеечки.

Старушка вне себя, готова схватить руку Саломеи Петровны и расцеловать.

«О, я дам тебе понятие, моя милая, об истинной доброте и великодушии,— думает Саломея Петровна, видя, что Мавра Ивановна совершенно уже в восторге от нее,— ты узнаешь разницу между мною и сестрой, которую так тебе расхвалили!»

Есть какое-то особенное удовольствие в семейном женском быту иметь подчас подле себя собеседницу старушку говорунью. Это — живая книга былых повестей и рассказов. Софья Васильевна особенно полюбила с некоторого времени подобного рода старушек. Вскоре появилась в доме ее некая Василиса Савишна. Василиса Савишна жила также одна на квартире; пенсии не получала после мужа, но также имела старую служанку, которую она звала девкой и которая не смела иначе называть ее как барыней. Когда Василиса Савишна кричала: «Девка!» — то девка обязана была тотчас же откликнуться: «Что прикажете, сударыня?» — и немедленно предстать пред ней, а иначе: со двора долой! без всяких оправданий. Что было делать старой девке, которую, по душе, не принимали на казенные хлебы, а по наружности в порядочный дом. Она же привыкла с малолетства и к лохмотьям, и к грязи, и к черному куску хлеба с колодезной водой, и к послушанию, и к побоям ни за что́, ни про что́, и утвердилась уже в мнении, что, верно, иначе и быть не может.

Не получая после мужа пенсии, надо же было чем-нибудь жить Василисе Савишне. Чем она жила? трудно и решить, тем более, что Василиса Савишна была не из того роду старушек, которые промышляют жалобами и слезами на судьбу и людей и для которых благодетельные барыни не щадят ни старой подкладки, ни обрезков от домашнего шитья, ни изношенных башмаков, которые прослужили года два туфлями, ни протертых чулков, которых нельзя уже надвязывать, ни запасцу прогорклого маслица, ни промозглых огурчиков, ни протухшей дичинки, ветчины и тому подобного. Василиса Савишна не побиралась таким образом; она искала по городу не богомольных, жалостливых и благодетельных старушек, которые любят слушать патетические рассказы о грехах человеческих,— она искала по Замоскворечью, во-первых, товару, который продается с руками и с ногами; а во-вторых, купцов на этот товар. Таким образом

она жила, сочетавая судьбу двух существ. Чуть где явится судьба, готовая к сочетанию с другой, Василиса Савишна тут как тут. Таким ли образом или каким-нибудь другим образом она явилась в доме Софьи Васильевны, это неизвестно. Саломее Петровне был уже (между нами сказать) двадцать восьмой годок; Катеньке пятнадцатый, и, следовательно, об ней ни слова. Кажется, мы уже говорили, что Саломея Петровна, мечтая всегда о великом муже, никак не могла представить его себе обыкновенным человеком, за которого может выйти замуж и каждая обыкновенная девушка. Покуда цветуща была молодость Саломеи Петровны, навертывались искатели цветущей молодости; покуда цветуще было благосостояние Петра Григорьевича, навертывались искатели цветущего благосостояния, но когда молодость испарилась до капли, как розовое масло, а благосостояние ушло на светские приличия, тогда искатели, как ветры, подули в другую сторону.

Беды начались для Саломеи Петровны совершенно неожиданно. Она являлась в свет невестой миллионщицей, и вдруг, в один пасмурный день, когда должно было отдавать шить новое платье к великолепному балу, маменька говорит ей плачевно: «Друг мой, надо обойтиться без золотых кружев».— «Как! без модных золотых кружев? У папеньки недостало денег для дочери на какие-нибудь двенадцать аршин кружев по пятидесяти или много по семидесяти пяти рублей аршин! Да это просто варварство!» В самом деле варварство: не простыми же нитяными кружевами рублей в двенадцать аршин обшивать платье, когда на всех порядочных вóротах и подолах должно быть непременно чистое золото.

Ехать на бал нельзя, не можно, невозможно; и это был первый *невыезд* на бал.

Вслед за этим настал день рождения Саломеи Петровны. По обычаю, этот день, ознаменованный появлением на свет первого залога любви Петра Григорьевича и Софьи Васильевны, праздновался на весь мир родства и знакомства, год от году пышнее и торжественнее. Двадцать восемь раз уже Саломея Петровна совершила путь вокруг солнца. Всякий раз в первый день своего нового года она осыпалась подарками и желаниями; украшала собой великолепный обед, была царицей этикетного бала, с присутствием полиции для порядка приезда и разъезда. И вдруг папенька объявляет маменьке, что бала никак нельзя дать, потому что денег нет.

— Помилуй, что ты это! ты погубишь дочь! — вскричала маменька,— это срам для нас! За нее никто не посватается! Нам нельзя переменить образа жизни, покуда Саломея не выйдет замуж!

— Помилуй, матушка, да я десять лет тяну канитель в этом ожидании! Имение заложено, перезаложено; долгов тьма, платить нечем, все прожито на пиры да на балы! Кончено!

Сначала Софья Васильевна вспылила.

— Позвольте узнать, на какие балы? — вскричала она.— На пиры, может быть; это дело другое: у вас шампанское лилось рекой!.. Обед сто́ит пятьдесят рублей, а вин вы выпьете на пятьсот. Каждую неделю обед, пятьдесят обедов в год — вот вам и двадцать пять тысяч... А в карты вы сколько проиграли? Ежедневно проигрыш — положите хоть по двадцати пяти рублей — вот вам и десять тысяч в год, вот вам и ежегодный наш доход! Балы! каких-нибудь две, три тысячи на гардероб мне и дочери, вот вам и весь бальный расход!

— Ты хочешь, душа моя, доказать, что прожил все я? Положим, что и так; я, следовательно, все пропил и проиграл; ну, пропил так пропил, проиграл так проиграл; а все-таки наше имение продадут с публичного торгу: дом в залоге, денег нет, а занять не у кого.

— Вот до чего вы довели меня! — вскричала Софья Васильевна.— Боже мой, какой стыд! Бедная Саломея! что с ней будет! на ней никто не женится!

— Да, я надеялся на ее замужество, да где! разборчивая невеста! тот не по нас, другой не по нас! один не суженый, другой не ряженый! Позвольте спросить, сколько их проехало мимо?

— Кто это, кто, сударь? откуда? какие женихи? Этот гриб, что ли?

— Какой гриб? Платон Васильевич? Хоть он стар, но не худо бы, если б за него вышла Саломея: пять тысяч душ! Она бы просто царствовала.

— Во-первых, он еще не сватался, а во-вторых — это смешно и говорить. Еще какие же женихи: этот твой любезный человек, петух, генерал, или эта простокваша?

— Какая простокваша?

— Также твой любезный человек, Горлицын, или...

— Довольно и одного из этих двух; именно прекрасные люди: у одного восемьсот душ, другой наследник тысячи.

— Прекрасно! вы влюбитесь в какого-нибудь любезного человека, который необходим для вашего виста; а дочь выходи за него замуж!

— А Стрешников? играл в карты?

— Этого я уж и не знаю, почему вы называете любезным человеком.

— А потому, что за него вышла замуж Верочка Кубинская, которая получше, и поумнее, и побогаче Саломеи.

— Для тебя свое детище, я вижу, хуже последней девчонки! Нет, я не так думаю! Для меня дочь дороже, ближе всех! Для счастия дочери я готова пожертвовать жизнию!.. а для тебя все равно, существует она на свете или нет; счастлива или изнывает в своей каморке, как в тюрьме!.. Она же виновата, что родилась

на свет с чувствующей душой, с сознанием своего достоинства и не в состоянии пожертвовать собою против сердца, отдать руку без разбора первому, кто бы вздумал ангажировать ее на супружество. Это не кадриль-с!

— А вот потому-то, что не кадриль, я и думал, что не на балах надо искать пары.

— А позвольте узнать, где же? Где девушка может показать себя?

— Помнится, что ты показалась мне у себя дома.

Этот супружеский комплимент смутил несколько Софью Васильевну; она припомнила, как ее суженый прошел мимо окна, взглянул и — дело кончено.

— Теперь уже не те времена,— сказала она вздохнув,— суженых не высидишь и не заманишь через окно.

— Да, именно теперь и именно Саломее уж не только высидеть, да и не выездить на паркете в галоп человека по сердцу,— сказал Петр Григорьевич вздохнув.— Вот уж десять лет как она высматривает не в окно, а в лорнет, да никого не видит. Вот уж года с два как понадобилась приправа к девической красоте.

— Как тебе не стыдно!.. Лучше бы ты думал, как поправить наши дела. Как хочешь, а в именины Саломеи надо дать бал... некоторые почти уж званы... об нем уж говорят...

— Пусть говорят.

— Помилуй! я знаю, что почти все мои знакомые готовят уже наряды.

— Пусть готовят.

— Это страм! У Саломеи есть надежды на князя...

— Не договаривай! пустяки!

— Отчего пустяки?

— Ну, что говорить, когда ты сама это знаешь.

— Боже мой! что ж мы будем делать!

— Ничего; не дадим бала, и кончено.

— Как это можно!

— Не звать — и кончено!

— Как это можно! Многие приедут и незваные.

— Запереть ворота!

— Помилуй! тебе кажется все это забава.

— Нисколько. Кто приедет — отказать.

— Без причины!

— Сказать, что кто-нибудь болен.

— Я этого на себя не возьму, ни на себя, ни на Саломею! Я не хочу накликать болезни.

— Сказать, что я болен; я, пожалуй, залягу в постель и пошлю за доктором.

— Нет! я не в силах этого перенести! я продам все свои брильянты и жемчуги и непременно дам бал.

— Неси последнее со двора! — вскричал Петр Григорьевич с досадой,— и пойдем по миру!... Говорю тебе коротко и ясно, что если я не употреблю всех последних средств на уплату долга в Опекунский совет, то — мы нищие! Три года неурожай, вместо тридцати тысяч доходу именье съело меня, а все-таки одна на него надежда поправить свои обстоятельства. Теперь рассуждай как хочешь, что лучше: сберечь ли имение, или доканать его.

— Но неужели нет никаких средств на эту зиму? Я тебе ручаюсь, у Саломеи непременно будет жених, прекрасный человек, с состоянием...

— Я тебе говорю, выбирай: прожить последние средства и долететь на крыльях до нищеты или сложить крылья и сидеть у моря да ждать погоды.

— Я тебе говорю, что Саломея будет замужем,— сказала решительно Софья Васильевна,— по крайней мере я буду знать, что она пристроена.

— Хм! а если так не случится, тогда что будет? У нас не одна Саломея; надо подумать и об Катеньке. Для одной всё, а для другой ничего?

— Катеньке? ах, боже мой, да я ей найду тотчас жениха,— сказала Софья Васильевна, обрадовавшись этой мысли.— За ней дело не станет. Разумеется, такой партии она не может сделать, как Саломея; но лишь бы человек с состоянием, который мог бы и нас поддержать.

— О-хо-хо! на Катю у меня больше надежды; но все-таки званого бала у нас не будет.

— Ну, хорошо, я сделаю маленький вечер.

Петр Григорьевич согласился. Но когда Софья Васильевна объявила Саломее, что в ее именины будет *маленький вечер*, а не grand bal paré...[1]

— Ah! comme c'est mesquin![2] Какое мещанство! — вскричала она.

— C'est pour varier, ma chére[3], для разнообразия; ведь это тот же бал, но без особенных требований.

— Покорно вас благодарю! лучше не нужно ничего.

— Но, милая моя, мы не можем давать теперь балов, наши обстоятельства в самом худом положении. Мы прожили последнее в надежде, что ты выйдешь замуж за человека с состоянием, и это поддержит нас.

— В первый раз слышу это,— сказала Саломея с пренебрежением,— жаль, что давно не сказали об этом и не приискали мне жениха, необходимого для вас... во мне достало бы столько

---

[1] Большой парадный бал *(франц.)*.
[2] Ах, как это жалко *(франц.)*.
[3] Это для разнообразия, милая *(франц.)*.

великодушия, чтоб пожертвовать собою для благосостояния родителей.

— Но что ж делать, милая?

— Что вам угодно, то и делайте!.. на первый раз хоть маленький вечер!

Софья Васильевна как-то не умела оскорбляться дерзкими словами Саломеи; в отношении ее она была *детская раба*; неудовольствия свои на Саломею она вымещала на Катеньке. Боясь не угодить возлюбленной дочери, Софья Васильевна облекла маленький вечер в надлежащую помпу. Все пошло попрежнему; но она стала заботиться о судьбе Катеньки, избрала для этого старый, верный обычай.

В это-то время и явилась в доме Василиса Савишна, *очень милая и добрая женщина,* как выражалась Софья Васильевна в ответ на вопросы Саломеи, откуда она выписала такую пошлую дуру и что за знакомство с чиновницами-потаскушками. Вскоре вслед за Василисой Савишной явился в дом Федор Петрович Яликов, о котором и будем мы иметь честь вслед за сим держать речь.

III

Федор Петрович Яликов имел бедного, но, как говорится, благородного родителя, потому что Петр Федорович, произведя на свет сына, был уже коллежским регистратором и служил в одном из судилищ С... губернии. Лишившись первой жены, он женился вторично на каком-то случае, по которому сынишко Феденька был записан в корпус, а сам он получил место исправника где-то в другой губернии и забыл в служебных и семейных заботах не только свою родную губернию, но и родного сына. Как попугай, сперва прислушался он к словам жены, а потом и сам начал говорить: «бог с ним, пусть его учится», а через несколько лет,— «теперь он, чай, уже на службе; бог с ним, пусть его служит, пробивает себе дорогу, как отец! Вот, дело другое — дочь!»

Между тем как почтенный родитель, не любивший бесполезной переписки с сыном, оперялся насчет ближнего и дальнего, Феденька, одаренный от природы тупыми понятиями, никак не мог изострить их науками. Несмотря на это, за прилежание и благонравие выпущен был в офицеры в пехотный полк и долгое время служил с рвением и усердием; сроду не отличался, но зато также сроду ничего не пил, сроду карт в руки не брал, сроду не гуливал и в этом случае часто ставился в пример другим. Несмотря на то, что Яликов был примером *готовности, неуклончивости* и *ни малейших отговорок,* товарищи любили его за готовность идти без малейших отговорок вместо каждого в караул. Полк, в котором Федор Петрович проходил чины прапорщика, подпоручика, поручика и, наконец, штабс-капитана,

во все время его службы стоял то на границе, по пикетам, то близ границы, по деревням. Только и свету было для него, что бал подле жидовской корчмы. Когда, несмотря на постоянные занятия по службе, поспело сердце Федора Петровича для любви, ничто так не услаждало его, как пляска очаровательных русначек с льняными волосами, с курносенькими носами, ножки в чоботах. Одна так приглянулась ему, что он решился сказать ей:

— А що, Донечко, любишь ты меня?

— А що, паночко, жинысь на мни, так и буду любить,— отвечала она.

Федор Петрович и задумался. И чего доброго, быть бы *веселью,* да судьба готовила великого мужа для великой жены.

Был же анекдот, что один *любезный друг* одного *доброго приятеля,* которого он приучил не отказывать ему на «нет ли, брат, у тебя чего-нибудь серебра или какой-нибудь мелкой бумажки?» — узнав, что его доброму приятелю выходит огромное неожиданное наследство:

«А что, любезный друг,— сказал он ему,— если б ты получил огромное наследство, тысяч двести или триста, поделился бы ты со мной?»

— Двести тысяч! можно поделиться.

— Честное слово?

— Хоть два.

— Добрый человек! Вот как: я получу наследство — с тобой пополам; ты получишь — со мной пополам; руку!

— Это что называется: что есть — то вместе, чего нет — пополам.

— Чем черт не шутит: давай руку! будет или не будет, а все-таки две надежды лучше, чем одна.

Сегодня сделано условие, а завтра добрый приятель получает известие о наследстве, и от мысли, что ни с того ни с сего, а надо делиться с любезным другом, встали у него волоса дыбом.

Сам полковой адъютант прискакал к Яликову с известием, что ему вышло огромное наследство.

— Любезный друг,— сказал он ему, входя в хату,— во-первых, здорово, а во-вторых, убирайся в отставку!

— Что такое, Василий Петрович? — спросил Яликов, побледнев.

— Больше ничего, как пиши прошение в отставку по семейным обстоятельствам.

— Что ж такое я сделал, Василий Петрович? — проговорил с ужасом Яликов.

— Что сделал? Каков гусь: как будто не знает!

— Ей-богу, ничего не знаю... Я... право, ничего!

— Говори, говори! ничего! полковнику и всему штабу известно; а он ничего не знает!

— Господи! что такое я сделал? — проговорил Яликов сквозь слезы,— я поеду к полковнику... Скажите, Василий Петрович, что такое?

— Я говорю, что подавай в отставку; тут другого ничего не может быть.

— Это какая-нибудь клевета! Я ни в чем ни душой, ни телом не виноват, вот вам Христос!

— Как клевета? позвольте вас спросить: это вы мне говорите, что клевета?

— Нет, Василий Петрович, я сказал так, не касаясь вас; а потому, что кто-нибудь, может быть, несправедливый какой-нибудь донос сделал на меня...

— Донос? Нет-с, формальное отношение, за номером.

— Это просто несчастие... Да от кого же отношение?

— Из суда.

— Я, Василий Петрович, никакого преступления не сделал, бог свидетель!

— Нет-с, там сказано именно: Федор, Петров сын, Яликов.

— А черт знает, верно, какой-нибудь другой есть Федор, Петров сын, Яликов.

— А как вашего отца зовут?

— Зовут? Петром,— отвечал Яликов боязливо.

— Ну-с! надо знать имя и отчество.

— Отчество?.. да я родителя своего с малолетства и в глаза не видал.

— Так вы, стало быть, отрекаетесь от своего отца? Очень хорошо, так я так полковнику и донесу.

— Извольте донести, что я никаких сношений с ним не имел и не знаю, где он обретается; а потому по его делам суду не причастен.

— Непричастны?

— Непричастен.

— Очень хорошо-с; а знаете ли вы, что он умер?

— Умер?

— А! что, побледнел!

— Никак нет-с; что ж, не я в этом виноват...

— Точно не виноват?

— Ей-ей!

— Ну, а он оставил духовную, которая представлена в суд; так теперь извольте с ней разделываться!

— Да за что ж я буду разделываться, Василий Петрович? Если б я был прикосновенен к какому-нибудь делу...

— Да по духовной он вас сделал прикосновенным.

— Ей-богу, грех батюшке за то, что он делает сына своего несчастным!

Федор Петрович такую сделал горестную мину, что полковой адъютант не в состоянии уже был удержаться от хохоту.

— Смейтесь, Василий Петрович; если бы вам случилось так... посмотрел бы я!

— Нет, брат, со мной этого не случится!

— Бог знает!

— Мой отец умер и ничего мне не оставил.

— Счастье ваше!

— Сделай одолжение, возьми это счастье в карман, а мне уступи несчастье, которое навязывает тебе на шею отец. Хочешь?

— Говорить-то легко!

— Клянусь, давай только доверенность, что предоставляешь мне получить по духовной все наследие и распоряжаться им как угодно.

— Какое же наследие, Василий Петрович?

— Какое бы ни было; не твое дело; ты оставайся служить, а я выхожу в отставку.

— Так батюшка наследие мне оставил?

— Это уж не твое дело, ты служи себе, а я поеду.

— Как можно, Василий Петрович; батюшка оставил мне наследие, а вы поедете.

— А не сам ли ты отрекся от отца?

— Как можно отрекаться от отца; я говорил только, что не причастен ни к какому делу.

— Ну да, да; а дело-то и состояло в наследии.

— Нет, от наследия я не отрекался.

— Э, брат! губа-то у тебя не дура! А знаешь ты пословицу, что такому сыну, как ты, не в помощь богатство.

— Уж очень в помощь: не все же так жить... Я намерен жениться!

— Женись, да женись на какой-нибудь дуре.

— Это для чего?

— А для того, чтоб дети были умны.

— Это почему?

— Ты учился математике?

— Учился.

— Ну, так должен знать, что и минус на минус дает плюс.

— Не понимаю; математика давно уж из головы вышла.

Яликов разгулялся.

— Эй, Курдюков! — крикнул он.

— Чяво изволите? — спросил вошедший денщик.

— Вели-ка, тово...— сказал Яликов, ходя по комнате и потирая руки.

— Чяво?

— Вели-ка, тово...— повторил он.

— Чяво,— повторил денщик.

— Ну, как оно?.. тово...

Денщик стоял в ожидании решения, чего потребует его благородие.

— Барин твой с ума сошел,— сказал полковой адъютант,— покуда придет в себя, дай мне чаю.

— Да! чаю! — сказал Яликов.

— Насилу надумался!

Яликов был вне себя. В первый раз воображение его вырвалось из-под спуда привычных служебных понятий и начало строить ему мир вне службы; но так как матерьялов для этой постройки в голове Федора Петровича было очень недостаточно, то на первый случай матерьялы были заняты из сказочного мира. Федору Петровичу мерещилось, что он ведет Доню в свои волшебные палаты.

— А, Доня, каково?

И Доня дивится, говорит: «Ой, то квартырочка! який на пане червонный жупан!»

— Що, Доню, хочешь грошей? хочешь медвины? хочешь музыку слухать!.. Гей! — вскричал Яликов во все горло.

— Что ты кричишь во все горло? — прерывал мечты его полковой адъютант; а денщик вбегал и спрашивал: «Чяво прикажете?»

— Вели-ко... тово,— говорил Яликов, очнувшись от бреда.

— Чяво? — повторял денщик.

— Чяво! вылей ему ведро на голову! Ну, брат, ты спятил, Яликов.

— Да я все думаю, Василий Петрович, каким образом подавать в отставку? Я никогда не подавал, не знаю, как это делается.

— Верхового коня подаришь? так я тебя выпровожу, сперва в отпуск на двадцать восемь дней с отсрочкой, а потом в отставку.

— Подарю, ей-богу подарю!

— Ну, ладно.

Полковой адъютант устроил все как следует, и чрез несколько дней Федор Петрович Яликов отправился в путь.

Сам бы он не умел принять и наследства; но нашлись добрые люди, которые ему помогли в этом. За исключением разных расходов, Федору Петровичу очистилось более двухсот тысяч наличных да именьице душ в триста. Деньги лежали в Опекунском совете; и вот он отправляется благополучно в Москву.

Въезжая в Москву, Федор Петрович невольно смутился; что-то страшно стало; ему казалось, что он приехал в какой-то иноземный город, в тридесятое царство; а денщик его, Иван, дивясь на огромные домы, поминутно вскрикивал:

— Э! Федор Петрович, извольте-ко посмотреть, какие казармы! Э! еще больше! Э! коляска-то, словно полковничья!.. Народу-то, народу-то! А что, брат почтарь, ярмонка, что ли, здесь? а? Эвона! наш брат, солдатик!.. А что, брат служивый, здесь полковая квартира, что ль?

— А где ж барин остановится-то? — спросил ямщик Ивана.

— Разумеется, на постоялом дворе; где ж барину останавливаться-то, как не на постоялом дворе.

— Вестимо, у нас славный постоялый двор.

Прокатив через всю Москву, ямщик и привез Федора Петровича на постоялый двор, на другом краю Москвы.

Федор Петрович молчал от недоумения, куда он заехал; а Иван дивился вслух:

— Вот уж штаб-квартира, так штаб-квартира! Ехали, ехали! Да скажи ж, брат, кто ж это живет в больших казармах-то! Неужто все штабные?

— В казармах полковые живут.

— А вот в той, что со столбами-то? Да, да, и позабыл: ведь ты уж говорил, что там конская скачка, манеж то есть. Э! Федор Петрович, смотрите-ко, кони завезли на крышу зарядный ящик! Постой, постой! Федор Петрович, смотрите-ко!

— Да это киатер, то не настоящие лошади,— сказал извозчик.

— Да что ж это правит-то не солдатик, а трубочист? К чему ж это туда завезли? а?

— А кто ж их знает? чай вывеска, дескать: здесь на конях скачку производят.

— Вот что!

На постоялом дворе Федора Петровича угостили по-русски, чем бог послал: сперва чайком с московскими калачами, а потом предложили поужинать щец да жареной говядинки. Это все еще было нам с руки и привычно; но наутро предстояло Федору Петровичу отправиться в Опекунский совет отыскать там рекомендованного ему чиновника и при помощи его получить по билету часть денег.

Федор Петрович был вне себя, собираясь в этот поход.

— Да не прикажете ли, сударь, извозчика,— спросил хозяин,— пешком до города далеко; дрожки или коляску? у нас здесь славные извозчики.

Сначала Федор Петрович испугался было предложения коляски: ему и на дрожках еще не случалось ездить; а в коляске ездит только полковой командир; но потом одумался: эка беда, мы и сами в коляске поедем!

— Коляску!

— Как же, сударь, прикажете мне сзади ехать? — спросил Иван.

— Конечно уж; кто ж в коляске без человека ездит.

Вот и поехали. Денщик не привык на запятках стоять, ведь это не во фронте: обеими руками он вцепился в задок коляски и налег на него боком. Ему хотелось подивиться вслух на все необычайные встречи; но он боялся разинуть рот, чтоб не слететь. Только раз не вытерпел, толкнул Федора Петровича

сзади, вытянулся, чтоб сказать ему на ухо: «Генерал, сударь, какой-то едет!..» да чуть было не ввалился в коляску. Федор Петрович был объят каким-то страхом. Ему казалось, что все на него смотрят и кто-нибудь встретится да крикнет: «А! это вы, сударь! я вам дам разъезжать в колясках!»

Подъехав к Опекунскому совету, Федор Петрович с тайным трепетом в душе вышел из коляски. Войдя в залу, прежде всей толпы народу он увидел генеральские эполеты, вздрогнул и остановился у входа. Он не пришел в себя до тех пор, покуда не выбыли из толпы страшные чины и не остались только ходячие и сидячие фраки, кафтаны, бороды, салопницы и иное бабье.

— Вам что угодно? — спросил его один чиновник.

— Петра Кузьмича,— отвечал Федор Петрович,— письмо к нему-с.

— Пожалуйте сюда.

Петр Кузьмич явился, прочел письмо, очень обрадовался, что может служить Федору Петровичу, взял от него билет, и чрез несколько минут Федор Петрович, в поте лица, трясущимися руками считал огромную сумму денег.

— Да уж я верю-с! — повторял он, останавливаясь считать.

— Нет-с, лучше сосчитайте, чтоб не было недоразумений.

— Точно так-с,— сказал, наконец, Федор Петрович и набил деньгами все карманы.

Петр Кузьмич был добрый человек и угодливый; узнав, что Федор Петрович первый раз в Москве и совершенно не имеет знакомых, просил его к себе.

— Вы долго намерены здесь пробыть?

— Право, не знаю; надо подождать отставки; а потом поеду в деревню.

— Вам надо непременно познакомиться с Москвой,— сказал Петр Кузьмич и вследствие этого вызвался быть руководителем его.

Прежде всего повез он Федора Петровича позавтракать в московский трактир, угостил шампанским; но Федор Петрович не позволил ему расплачиваться. «Нет уж, позвольте! — сказал он,— не приходится так», и, вытащив из кармана пучок бумажек, отделил одну и бросил на стол. Потом Петр Кузьмич повез его к себе на чай, познакомил с женой и дочерью и, узнав, что московский гость остановился на постоялом дворе, с ужасом вскричал: «Как это можно, вас там оберут! Переезжайте в гостиницу, вот рядом со мною, тут прекрасный номер, стол, все удобства. Пошлите своего денщика тотчас же перевезти вещи; а мы между тем сыграем вчетвером по маленькой в вист».

Как сказано, так и сделано. Петр Кузьмич сам сбегал в гостиницу, выбрал номер, послал Ивана за вещами, а Федора Петровича усадил играть по маленькой в вист, о котором он

получил в полку некоторое понятие, потому что часто своя братия, за неимением четвертого, сажала его.

Федор Петрович со дня создания своего не вкушал еще такого радушия, каким обаяли его Петр Кузьмич, Аграфена Ивановна и Дашенька.

Петр Кузьмич поминутно повторял: «Будьте с нами, почтеннейший, без церемоний, как свой», а Аграфена Ивановна поминутно повторяла: «Не прикажете ли еще вареньица?», а Дашенька влюбилась в мундир и повторяла, что нет лучше и благороднее армейского мундира. Когда же Федор Петрович при сдаче подавал ей каждую карту в руки, она принимала ее с приличной этой учтивости сладостной ужимкой.

Угостив ужином, Петр Кузьмич сам проводил московского гостя на новоселье.

Федору Петровичу не спалось от приятного чувства, которым он упился.

На другой день Петр Кузьмич явился к нему пожелать доброго утра и напомнить, чтоб он не издерживался на трактирный обед.

— Обедайте у меня; по возвращении от должности я забегу к вам. А если вам скучно покажется, так милости прошу к жене, она дома; будьте с нами без церемоний, как свой.

Федор Петрович поблагодарил; но к Аграфене Ивановне не пошел. Не зная, что делать, он зевал в ожидании обеденного времени.

Вдруг к двери, какой-то усач в военном сюртуке, без эполет.

— Мое почтение-с, честь имею рекомендоваться: маиор Куриков; кажется, не ошибаюсь: Федор Петрович?

— Точно так-с,— сказал Федор Петрович, смутясь,— прошу извинения, что я в халате.

— Ничего-с,— сказал маиор,— сделайте одолжение, не беспокойтесь, что за церемонии между военными. Мы с вами свой брат; я потому-то и адресовался.

— Прошу покорно-с, я сейчас...

— Нет, нет, сделайте одолжение, ведь я сам к вам пришел попросту.

— Не прикажете ли трубочку?

— Вот это так; почему же; да впрочем, не закусивши, я как-то не привык; натощак как-то горечь на языке очень чувствительна.

— Да вот сейчас придет денщик.

— Э, к чему большую закуску, рюмку водки да так чего-нибудь... Вы давно изволите находиться в службе?

— Давно-с,— отвечал Федор Петрович и начал читать наизусть свой послужной список.

— Довольно послужили; по времени вам бы надо быть уж по крайней мере маиором. Ей-богу, как приятно, как встре-

титься с своим братом военным! Я ведь здесь, надо вам сказать, пенсию получаю. На днях получать, а у меня вышли деньги; я и обращаюсь к одному знакомому, к чиновнику, в казенной палате служит: думаю, ведь все-таки человек же и еще с достатком, верно, таких пустяков не откажет: всего-то красненькую... Что ж вы думаете?

С этим словом маиор хлопнул рукою по столу.

— Дал или нет?

— Уж конечно-с, как же отказать,— сказал Федор Петрович.

— Нет-с! А вам ведь, чаю, известно, каково честному и благородному человеку слышать отказ в десяти рублях, а? согласитесь сами.

— Да-с, это ужасно.

— Как же не ужасно; я просто плюнул ему в глаза, да и пришел к вам; свой брат, военный, не то что кто-нибудь!.. Мне ведь только на три дня, до получения пенсии.

— С величайшим удовольствием; вот сейчас придет Иван, я пошлю его разменять бумажку.

— Да у вас что?

— Двадцатипятирублевая.

— Пожалуйте, я сам принесу вам сдачи. Помилуйте, платить еще за размен собаке лавочнику! Мне при покупке разменяют. До свидания! Право, такие мерзавцы эти приятели, у меня из головы не выходят!.. Эх, кажется, дожжичек накрапывает; а мой человек черт знает куда со двора ушел и ключ с собой унес... Нет ли у вас какой-нибудь шинели, я только в город съезжу,— сказал маиор, увидя в передней шинель.— Вот эту можно взять?

— Сделайте одолжение,— проговорил Федор Петрович,— вот я позову человека.

— Э, не беспокойтесь, я сам.

Маиор накинул на плечи шинель, сказал «до свидания!» и исчез.

Не прошло двух минут, вдруг Федор Петрович слышит:

— Пойдем, пойдем! ты не смей говорить, что я украл!.. пойдем!

Дверь отворилась, и самозванца-маиора ввели за шиворот двое трактирных прислужников и денщик Иван.

— Федор Петрович! — вскричал он,— ведь вы сами мне дали свою шинель съездить в город... Эти мошенники остановили меня и говорят, что я украл! представьте себе!..

— Я сам дал шинель,— сказал Федор Петрович.

— Что, видите, канальи! Я сейчас иду к квартальному! Как вы смеете обижать честного и благородного человека!

И с этим словом маиор рванулся, шинель осталась в руках Ивана и двух прислужников, а он в двери и исчез.

— А! собака, ушел! — сказал один из прислужников.— Ведь это, сударь, мошенник.

— Как ты смеешь называть маиора мошенником?

— Маиор? знаем мы его! Ходит по домам да просит то на похороны жены, то на родины. Что день, то родит или умрет. Экой маиор! Зачем вы шинель ему дали?

— Он у меня выпросил десять рублей взаймы, да красной бумажки не было, так он взялся сам сходить разменять.

— И деньги еще взял? ах он собака! Ну, хорошо, что шинель отстояли, а то бы и ей быть в кабаке.

Вскоре явился Петр Кузьмич и увел Федора Петровича к себе; и на следующий день к себе; а Аграфена Ивановна просит к себе на утренний кофе; после кофе Дашенька просит подержать моток шерсти; потом помочь перетянуть пяльцы. Потом Аграфена Ивановна посадит его с собой играть в пикет. Потом придет из совета Петр Кузьмич: «Не выпить ли перед обедом настоечки, Федор Петрович, а? как вы думаете?» День пройдет, а завтра опять то же, да не то.

Однажды, после обеда, Аграфена Ивановна стала подробно описывать Федору Петровичу счастие семейной жизни и «блаженство обладать благовоспитанной, доброй супругой»; вдруг откуда ни возьмись влетела в комнату Василиса Савишна:

— Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна.

— Ах, здравствуйте, Василиса Савишна,— отвечала, несколько смутясь, Аграфена Ивановна.

— А где ж... Дарья Петровна? — спросила Василиса Савишна, всматриваясь зорко в Федора Петровича,— а я ей приятную весточку принесла.

— Пойдем, пойдем, Василиса Савишна, ко мне в комнату. Извините, Федор Петрович.

— Чтой-то, матушка, за офицер?

— Приезжий, из полку; привез письмо Петру Кузьмичу от одного знакомого.

— А, вот что. Ну-с, могу поздравить, дело слажено! Он сказал, что ему Дарья Петровна уж и не знать как по сердцу пришлась и что согласен на полное приданое да три тысячи рублей деньгами; только просит, чтоб серебра прибавили: видите, говорит, у меня случится стол и на двадцать человек, так дюжины ложек мало, не занимать же стать.

— Вот тебе раз! — сказала Аграфена Ивановна,— пустяки! дюжина ложек — уж так водится; и почище его — да больше не дают.

— Что вы это, Аграфена Ивановна, не в первый раз мне свадьбу править; случалось отпускать и пудик серебра, не то что дюжину столовых да полдюжины чайных.

— Ну, может искать невесту богаче!

— Что ж это вы, матушка, Аграфена Ивановна, хулить

стали нашего жениха? Не понравилась бы Дарья Петровна, пяти тысяч бы не взял.

— Даша не на придачу идет к тысяче! Не тому, так другому понравится.

— Дай ей бог вашими устами мед пить; да не о том дело: стоит ли того, чтоб из полдюжины ложек разводить дело! Я же от вашего имени просила его сегодня к вам на чашку чаю.

— Не могу принять, нас не будет дома, сегодня мы званы на вечер в гости.

Василиса Савишна посмотрела искоса на Аграфену Ивановну, на лице которой выражалось уже нетерпение скорее выжить от себя сваху.

— Так это что ж такое значит, сударыня?

— Надоело мне, мать моя, торговаться. Да что тут долго говорить: не по нутру мне этот жених.

— Вот как! Нет уж, сударыня, так не водится. Я к вам в свахи не навязывалась! поставила вам жениха не с *вольного места*, не с площади!

— Так и его навязывать нечего!

— На то был сударыня, смотр,— не понравился — и в дом бы не приглашать, не завязывать дела, не ставить бы меня...

— Довольно, довольно!..

— Нет-с, позвольте, я не дура вам досталась скакать всякой день то от вас к нему, то от него к вам да тратиться на извозчика.

— За извозчика мы платили.

— Полтинник-то пожаловали один раз? покорно вас благодарю! а время и слово-то мне дороже ваших денег: я обманщицей прослыть не хочу! Нет, уж так не водится, Аграфена Ивановна.

Василиса Савишна так громко начала причитать, что Аграфена Ивановна, при всей охоте побраниться, не надеясь на стену, которая разделяла ее комнату с гостиной, где Федор Петрович играл в свои козыри с Дашенькой, не решилась на крупный разговор.

— Извини, Василиса Савишна, у нас гость, да и пора мне одеваться; приходи как-нибудь на днях.

— Покорно благодарю! — отвечала злобно Василиса Савишна.

Аграфена Ивановна вышла в гостиную, а Василиса Савишна в девичью, где также имела кой-какие делишки.

На другой день, только что Федор Петрович встал, денщик Иван доложил ему:

— К вам, сударь, пришла какая-то барыня, говорит, что ей дело до вас.

— Какая барыня?

— В чепце.

«Не Аграфена ли Ивановна?» — подумал Федор Петрович,— ах, господи, а я еще не одет! давай одеваться!

Иван бросился за платьем; но дверь уже приотворилась — показался чепец.

— Извините! — вскричал Федор Петрович, выбежав в другую комнату,— я сейчас! покорнейше прошу садиться.

Надев наскоро *все* и *сверх всего,* Федор Петрович вышел, и ему представилась почтенная Василиса Савишна в чепце и салопе.

— Извините, ваше высокоблагородие,— сказала она,— что я вас потревожила. Вы, я думаю, признали меня?.. Вчера у Аграфены Ивановны вы изволили быть, и я приезжала к ней в гости.

— Ах, точно так-с; покорно прошу садиться.

— У меня до вас маленькое дельцо; только уж сделайте одолжение, между нами... Изволите ли видеть: один родственник мой, регистратор в суде, по знакомству видался часто с дочкой Аграфены Ивановны, Дарьей Петровной, и склонил ее на любовь к себе. Вот, как водится, по родственным связям, я взялась посватать, дело пошло на лад; Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна с радостью приняли предложение, об Дарье Петровне и говорить нечего — чай вам известно: человек по сердцу, половина венца. Сладили о приданом. Уж, конечно, небольшое, да и родственник-то мой небольшой человек; например, вашему бы высокоблагородию и стыдно было взять за себя какую-нибудь секретарскую дочь в ситцевом платьишке — люди бы стали пальцем указывать; ну, а ему ничего: по Сеньке и шапка. Так вот, как я уж вам докладывала, оставалось благословить, да и к венцу. Приезжаю вчерась, смотрю, Аграфена Ивановна оглобли воротит. Что, думаю, такое значит? Что-нибудь да не даром. И точно, сама Дашенька прислала мне сказать через девку, как вы думаете, ваше высокоблагородие, что бы такое?

— Право, не знаю,— отвечал Федор Петрович.

— Не знаете?

— Ей-ей, ничего не знаю!

— Ну, слава богу, что еще недалеко ушли замыслы Аграфены Ивановны! Позвольте узнать, каким образом вы познакомились с Петром Кузьмичем?

— Да я брал деньги в Совете.

— Собственные?

— Собственные.

— Ну, так, так! Чай, большая сумма?

— Нет, я часть только взял: тысяч двадцать пять.

— О-го-го, да чего ему больше! Вы, чай, в первый раз в Москве?

— В первый.

— Ну, так! он, чай, вам и квартирку предложил подле себя;

чай, так и ухаживает около вас. Знаем! так вот оно что! оно то есть ничего: вздумал выдать дочь за высокоблагородного.

Лицо Федора Петровича сравнялось цветом с воротником, он откашлянул и отер градины рукой.

— Как узнала я причину, так и бросилась к вам; перепугалась: думала, что уж Аграфена Ивановна обошла вас кругом: у-у-у, хитрая баба! да как взглянула я на вас, так и поуспокоилась: нет, этого человека не приманишь мокрой курицей; и по красоте, и по высокому званию, и по великому состоянию ему подавай белую лебедь. А Дашенька, правду сказать, мокрая курица; я было и родственника отговаривала, да уж, верно, пришлись друг другу по сердцу... Так вот какие дела, ваше высокоблагородие, здесь у нас подчастую губят людей. Заведут, умаслят, упоят, да и женят, да уж и не спрашивай на ком.

— Скажите пожалуйста! — проговорил Федор Петрович.

— Ей-ей, так! Пронюхают у человека деньги, тотчас и с головой его в кошель... Я уж одной милости буду просить у вашего высокоблагородия... дайте мне честное слово...

— Сделайте одолжение, что такое?

— Только одной: не расстроивать свадьбу Дашеньки с моим родственником.

— Да у меня, ей-богу, и в голове не было.

— Э, сударь, нальют в горло, бросится в голову: приворожат.

— Слыхал я.

— Да такие ли еще вещи бывают! Одного, также богатого человека, завели, напоили шампанским с каким-то зельем, верно с дурманом, да и женили черт знает на ком; да мало этого: пьяному дали подписать бумагу, что все имение отказывает жене, обобрали, да и из дому выгнали. Ходит теперь по улицам да просит милостыню.

Федор Петрович вытаращил от ужасу глаза.

— Сделайте милость, прекратите это знакомство; не по вас оно, ваше высокоблагородие: унизительно, да и к добру не поведет. Аграфена Ивановна — настойчивая женщина, что задумает — из-под земли выроет. Себя погубите да еще и свадьбу расстроите — грех. Послушайтесь моего совета.

— Да я... позвольте узнать имя и отечество?

— Василиса Савишна.

— Я, Василиса Савишна, и не думал; что мне, бог с ними! Да и Дарья... как бишь...

— Петровна.

— Мне бог с ней! И шагу в дом не сделаю.

— Вот благородного-то человека и видно. Да позвольте уж доложить, что по званию вашему неприлично и стоять-то в этой гостинице. Везде здесь, в Замоскворечье, всякой сброд останавливается. Здесь как раз мошенники оберут.

— Правду сказать, третьего дня один стянул у меня двадцать пять рублей, да еще шинель в придачу.

— Изволите ли видеть. Право, тотчас же переезжайте в гостиницу, где останавливаются одни господа. Лучше всего к Шевалдышеву на Тверской. Чай, вы здесь знакомство сделаете, так чтоб не стыдно и принять к себе.

— Как вы изволили сказать?

— К Шевалдышеву.

— Позвольте записать.

— Или нет, лучше к Печкину. Какие там машины! Как играют, чудо! Против Кремлевского сада.

— Против Кремлевского сада?

— Уж я вам столько благодарна, что и сказать нельзя! Из благодарности сама буду хлопотать о невесте. Есть у меня на примете: вот бы парочка. Молоденькая, первая красавица в Москве, ей-ей! С большим состоянием, свой огромный дом в Москве, именье в Московской губернии; отец и мать знатные люди; а какие добрые! Вот им такой бы зять по сердцу.

— Помилуйте-с, что ж особенного? — сказал Федор Петрович.

— Как что? В Москве, сударь, таких женихов немного. Да вот, если б только бог дал, вы увидели. Я уж найду случай показать вам. Из благодарности все сделаю!

— Покорнейше благодарю, Василиса Савишна.

— Вперед не благодарите. Там заводить не будут: то сами благородные люди, сами денежки-то считают тысячами. Как живут!.. Да сами, бог даст, увидите. Пора уж мне... Я вам советую скорее съезжать отсюда, да еще и не сказывать куда, а то Петр Кузьмич... Не извольте ничего пить, чем потчевать будут,— прибавила Василиса Савишна шепотом.

— Нет! — отвечал Федор Петрович,— я сейчас же расплачусь и уеду отсюда.

— И лучше всего! Прощайте, ваше высокоблагородие. Так вы уж к Печкину переедете?

— К Печкину.

— Я буду непременно к вам, если позволите, завтра же, с хлебом-солью, с кренделем: уж так водится.

— Очень много буду обязан.

— Уж как вы меня обязали, что и себя и других в грех не ввели. А все деньги, деньги! Не будь у вас их, Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна и на чин бы не посмотрели. Прощайте, батюшка!

Василиса Савишна, после десяти прощаний, отправилась. Федор Петрович задумался.

— Каковы шутки задумали! — сказал он, наконец.— Меня женить на своей шлюхе-дочке! Уж я бы скорее женился на Доне... будь она не просто мужичка, ей-богу, поехал бы, да и женился! Вот посмотрим, что за невесту предлагает Васи-

лиса Савишна?.. Эй! Иван!.. найми извозчика переезжать отсюда да кликни хозяина.

Иван вышел и тотчас же опять воротился.

— Девка пришла. Петр Кузьмич и Аграфена Ивановна, говорит, кланяться приказали и звать к себе кофе пить.

— Скажи, что я уехал.

— А если спросят куда?

— Скажи просто, что не знаю.

— Да ведь я уж сказал, что дома.

— Э, дурак, зачем ты сказал?

— Да кто ж их знал?

— Ну, скажи, что мне некогда; сейчас еду по службе. Эх скверно! Петр Кузьмич сам прибежит.

— Ну, а я скажу ему, что барин уехал.

— Будет он смотреть на тебя! прямо сюда придет.

— Так вы извольте пойти покуда в трактир, где чай пьют.

— В самом деле. Приведи же скорее извозчика да укладывайся.

Федор Петрович оделся и вышел в бильярдную. Иван исполнил его приказание, передал ответ девке, сбежал вниз, нанял извозчика и, воротившись, начал укладываться. Петр Кузьмич действительно прибежал сам.

— Где барин?

— Уехал-с.

— Куда?

— А бог его знает, по службе.

— А ты для чего укладываешься?

— Да едем.

— Куда?

— А бог его знает, верно в полк.

— Как в полк? Да ведь Федор Петрович ожидает здесь отставки?

— Нет,— отвечал равнодушно Иван.

— Ай-ай-ай! Скоро воротится?

— Откуда?

— Да я не знаю, куда барин твой уехал.

— И я не знаю: пошел да сказал: укладывайся скорей!

— Как воротится, попроси его, пожалуйста, ко мне хоть проститься.

— Скажу.

— Не забудь же.

Петр Кузьмич ушел, повторяя про себя: «Что за чудеса!»

Между тем Федор Петрович расплатился с хозяином, Иван взвалил чемодан на дрожки и отправился вслед за барином, который велел своему извозчику ехать к Печкину.

Федор Петрович получил уже некоторое понятие о трактирной жизни. Заняв номер в пять рублей в сутки, он вышел в общую залу обедать и слушать, как машина музыку играет.

Когда Петр Кузьмич, прибежав домой, рассказал Аграфене Ивановне о неожиданном отъезде Федора Петровича, она пришла в ужас.

— Да ты, мой батюшка, верно, наврал, что у него свои собственные деньги. Верно, он казенные принимал... да еще какой-нибудь игрок, гуляка.

— Помилуй, какие казенные, его собственные: наследство, на двести тысяч билетов.

— Уж что-нибудь да не так; тут какое-нибудь плутовство!

— Что за черт! Надо посмотреть, не фальшивые ли билеты... Что, как фальшивые! Ведь я сам хлопотал о выдаче... Да нет, он у меня не уйдет! Я сам пойду караулить его!

И Петр Кузьмич побежал опять в гостиницу. Но номер уже был пуст.

— Где офицер, который здесь стоял?

— Уехал-с.

Петр Кузьмич воротился, запыхавшись, домой.

— Что?

— Какое-нибудь плутовство! Просто, тайно уехал! черт знает: сегодня заперто присутствие!.. Ах, я дурак! верно, фальшивые билеты!.. Пропал!.. Постой, где письмо?.. ведь Григорий Карпович рекомендовал мне его... верно, подложное... вот... читай!.. верно, подложное!.. Черт ее знает, как поверить руку!..

— Вот тебе, сударь, и жених-богач!.. Хороша и я, ни с того ни с сего, поверь словам твоим, что на дурака напала, протурила от себя Василису Савишну.

А Василиса Савишна легка на помине.

— Здравствуйте, матушка, Аграфена Ивановна!

— Ах, Василиса Савишна! а я только что с мужем говорила о вчерашнем. Он согласен.

— Поздно уже, сударыня; вот ваша роспись приданому, теперь уж этот лист не нужен.

— Послушайте, Василиса Савишна, с чего вы это взяли разводить дело?

— Я? разводить дело? что вы это, Аграфена Ивановна! Сами вы изволили сказать, что вам не по нутру жених; да еще и ни во что поставили мои хлопоты. Вот вам, сударыня, извольте.

— Полноте, Василиса Савишна, совсем не так было. Я подосадовала только на твое требование. Да после одумалась: конечно, стоит ли расходиться за какую-нибудь дюжину ложек серебряных; пожалуй, хоть и две можно прибавить.

— Теперь уж хоть три прибавляйте.

— Где ж взять, Василиса Савишна, рады бы в рай, да грехи не пускают; и то последнее отдаем. Легко ли: пошить приданое, отсчитать три тысячки, да вам, за хлопоты, рублей сто; а свадьба-то что станет?

— Извините, пятисот не возьму начать снова дело.

— Зачем же начинать снова, Василиса Савишна?

— Как зачем? Просивши от вашего имени пожаловать на вечер, да вдруг обмануть? Ведь я сама хотела заехать за ним; а он напрасно прождал. Да что ж я ему скажу?

— Ах, матушка, да скажи, что заболела, не могла быть.

— Покорно благодарю, болезнь на себя наговорить! Да и в таком-то случае следовало бы послать сказать.

— Вижу, Василиса Савишна, ты думаешь, что уж тебе и за труды ничего не будет? Нет, не такие мы люди: последнее продам, а в долгу не буду. Чтобы ты не сомневалась, вот тебе задаток двадцать пять рублей.

— Покорно благодарю! мотала хвосты по вашим делам, да упустила не сотню какую-нибудь. Вчера прислала за мной Арина Карповна Кубикова, а я, сдуру: некогда теперь, завтра поутру буду. Пришла сегодня, ан уж нашлись дельцы.

— Уж поверь, что не обижу, Василиса Савишна: вот тебе двадцать пять на извозчика, не в счет благодарности.

— Нет, сударыня, Аграфена Ивановна, этим уж дела не поправишь! не стоит и хлопотать.

— Да что ж тебе, Василиса Савишна?

— Через вас потеряла я по малой мере триста.

— Где же взять нам таких денег?.. мы сами жалованьем живем.

— Что ж делать! Была охота — даром готова была все делать для вас; охоту отбили — так извините.

— Не обижайте же и нас, Василиса Савишна.

— Сами себя обидели: угодно двести пятьдесят рублев, так и быть, пойду, хоть побои перенесу.

— Что ты это, Василиса Савишна, побойся бога!

— Да уж так, сударыня, ведь вы же говорили сейчас, что и две дюжины ложек ничего не стоит прибавить вам. Так полдюжинки в приданое, а за полторы-то мне сверх ста рублей. Ваши же слова: вам все равно, туда или сюда отдавать.

— Так зови сегодня на чай Бориса Игнатьича; а я уж поговорю с мужем; может быть, он согласится.

— С ним когда угодно разделывайтесь, а со мной теперь же кончим счеты.

— Да неужели ты не веришь?

— Для чего же не верить! Теперь вы пожалуйте мне сто рублев, а после сговора остальные полтораста.

— Как это можно, вперед сто рублей! Бог знает, еще пойдет ли дело.

— Уж об этом не беспокойтесь.

— Ну, так и быть,— сказала, наконец, Аграфена Ивановна, долго жавшись. Раз десять пересчитывала она четыре беленькие бумажки, щупала и терла их, как будто колдовала, чтоб распластать каждую надвое.

IV

Устроив одно дело, Василиса Савишна положила деньги в карман и — себе на уме — отправилась устраивать судьбу двух других существ.

«Терять времени нечего»,— думала она; по дороге завернула в хлебню, купила большой крендель, усаженный изюмом и осыпанный миндалем, и — прямо к Печкину.

Между тем Федор Петрович на новоселье накушался досыта, наслушался органа вдоволь, пошел в свой номер и ничего лучше не придумал, как успокоиться после дневных забот. Но так как сон не вдруг принял его в свои объятия, то Федор Петрович долго осматривал комнату, в которую привела его судьба.

— Иван!

— Чяво изволите?

— А ведь здесь, брат, получше.

— Да хоть бы и в казармах такая фатера,— сказал Иван, стоя в дверях.

— Мебель-то не хуже полковницкой.

— Мебель знатная!

— Знатная, нечего сказать,— проговорил Федор Петрович, рассматривая молча и с удовольствием мебель. Глаза его, наконец, остановились на одном из стульев, мысли куда-то отправились. Иван постоял у дверей и также отправился в переднюю, присел на диванчике. Скука ужасная взяла Ивана:

— То ли дело в полку, в деревне!

Прилег со скуки и не хуже барина захрапел.

Вдруг стук-стук в двери.

— Кто там? — крикнул Иван спросонков.

— Пожалуйте, отоприте.

— К полковнику, что ль?

— К полковнику.

Иван вскочил, трет глаза, которые совсем слиплись, кинулся в комнату к барину.

— Ваше благородие! а ваше благородие!

— Уф! что такое? — спросил Федор Петрович с испугом.

— К полковнику пожалуйте, вестовой пришел.

— Давай скорее одеваться!

Иван бросился за мундиром, а Федор Петрович вскочил с дивана, смотрел вокруг себя как помешанный и не понимал, что это все значит: ему казалось, что он в полковничьих комнатах.

Между тем стукнули опять в двери.

— Кто там опять?— повторил Иван и с досадой отпер двери.

— Здравствуй, мой любезный,— сказала Василиса Савишна, входя в комнату.

— А я думал, что вестовой,— проговорил Иван.

— Не почивает барин?

— Нет-с.

Федор Петрович не успел еще прийти в себя, вдруг слышит женский голос.

— Полковница! — подумал он с ужасом, бросился в двери, столкнулся с Василисой Савишной и стал в пень.

— Добрый знак, сударь, Федор Петрович, жить вместе!

— Ах, это вы... извините!

— Нет, уж прошу покорно, оставайтесь так, как есть, со мной не для чего церемониться... честь имею поздравить на новоселье... прошу принять хлеб-соль.

— Покорнейше благодарю!

— С чайком вам очень хорошо... свеженькой...

— Так вот, кстати, не прикажете ли чаю... Иван! чаю спроси.

— Есть кого угощать! экую харю! — пробормотал про себя Иван.

Василиса Савишна не хуже какого-нибудь краниолога понимала людей, знала, кому с какой песни начинать и чем кончать.

— Извините, Федор Петрович, что я так к вам поторопилась; во-первых, с радости: представьте себе, как только Аграфена Ивановна потеряла вас из виду, тотчас образумилась.

— Ну, слава богу! я очень рад!

— Всем обязана вам. Другой бы назло расстроил дело, а вы — благороднейшая душа. Ну-с, во-вторых, я еду сегодня к господам, о которых я вам говорила; мне хотелось им что-нибудь пообстоятельнее об вас сказать. Так мне нужно было бы знать, в чем все ваше достояние заключается: в душах ли, в капитале ли...

— Да вот, можно видеть из бумаг после покойного родителя.

Федор Петрович достал из чайного ларца, заменявшего у него шкатулку, бумаги.

— Не угодно ли прочесть?

— Потрудитесь уж сами, я ведь плохо грамоте знаю.

Федор Петрович прочел копию с духовной, от которой разгорелось лицо у Василисы Савишны.

«Тут будет пожива!» — думала она.

— Билеты я получил, а в имении еще не был.

— Я как отгадала, что вы ровня по состоянию с своей суженой. Ей-богу! вперед говорю, что этому делу быть. Что за ангел суженая ваша! Да вот, бог даст, увидите. Только уж когда пойдет все на лад, позвольте мне, Федор Петрович, на ваш счет колясочку нанимать, потому что состояния я не имею, а просто на дрожках от вашего имени ездить мне в дом непристойно.

— Так вот, не угодно ли на расходы, какие случатся, двести рублей.

— Нет, нет, нет! Как это можно! ни с того ни с сего да за деньги, как будто наговорилась: вы бог знает что подумаете!

— Сделайте одолжение!

— Нечего делать. Оно, конечно, все равно, теперь или после; нельзя же без маленьких расходов. Так я уж медлить не буду: сегодня же легкой день; еду туда. Завтра в эту пору извещу обо всем. Прощайте, Федор Петрович!

Когда Василиса Савишна ушла, Федор Петрович долго ходил по комнате, потирая руки, посматривая на диван с боязнью прилечь на него, чтоб опять не испугал денщик внезапным требованием к полковнику. В иную минуту он готов был раздать все свои деньги, чтоб только увериться, что они действительно ему принадлежат; но вдруг находило на него сомнение: «Черт знает, не полковые ли это деньги и не потребуют ли в них отчета? Постой-ка, сколько я истратил?»

И начнет считать; но бумажки так и липнут друг к другу,— толку не доберешься.

Очень естественно, что Василиса Савишна не медлила явиться запыхавшись и к Софье Васильевне.

— Ну, матушка-сударыня, Софья Васильевна, клад вам бог посылает!

Надо вам сказать, что Софья Васильевна решительно принялась за попечение поправить дела свои выдачей которой-нибудь из дочерей замуж. Она Василисе Савишне прямо сказала:

— Послушай, мать моя, тысячу рублей и ежегодно пенсия хозяйственными припасами: муки, круп, капусты, грибов, всего вдоволь, только скорее отыщи жениха с хорошим состоянием.

Василиса Савишна поняла по-своему, в чем дело.

— Кто ж он такой? как же его видеть? — спросила торопливо и Софья Васильевна на радостное извещение о кладе.

— Полковой, сударыня, чином высокоблагородный, молодец собою, только что получил в наследство триста душ, да чистыми деньгами, матушка, двести пятьдесят тысяч!

— Как же бы на него посмотреть?

— Да прямо у вас в доме, чего ж лучше? Мы устроим дело: нет ли у вас чего-нибудь продажного в доме?

— Продажного... право, не знаю.

— Экипажей, лошадей или чего-нибудь, лишь бы была причина приехать в дом, как будто для покупки.

— Ах, в самом деле! Петр Григорьевич думал продать дорожную коляску да пару лишних лошадей.

— Ну, вот вам и казус.

— Когда ж?

— Без отлагательства, завтра же; это такой человек, что мешкать нельзя. Да позвольте же узнать, которую дочку вы прочите вперед выдать?

— Да если таков он, как ты описываешь, так старшую.

— Ну, конечно, уж, сударыня, старшую,—сказала Василиса Савишна значительно,— ей след выходить замуж. Меньшая ваша дочка еще ребенок, пусть себе еще понагуляется да потешится.

— В которое же время? я думаю, перед самым обедом.

— Конечно, кстати можно пригласить и обедать. Пожалуйте же мне записочку, что вот там-то и там, у таких-то господ продается коляска и лошади.

Софья Васильевна пошла к Петру Григорьевичу в кабинет.

— Ты хотел продавать коляску и пару лошадей, я нашла купца; напиши только адрес; завтра он будет.

— Я и свою карету бы кстати продал, и все лишнее.

— Ну, тем лучше; но сперва напиши только, что продается хоть коляска; а потом, смотря по купцу, увидишь, что можно сбыть ему с рук.

На другой день около обеда Петр Григорьевич и Софья Васильевна похаживали вдоль по комнатам и посматривали в окна вдоль по улице. Только что какой-нибудь офицер пронесется в экипаже, то или Петр Григорьевич, или Софья Васильевна, кто прежде вскрикнет: «Не это ли он?»

— Да это не может быть! — повторял, между прочим, Петр Григорьевич.

— Отчего не может быть?

— Да оттого, что пустяки! Ну, возможно ли, чтоб человек с таким состоянием... вот едет!.. Ну, именно, дрянь какая-то, в скверной шинелишке, в измятой шляпе, вместо султана дохлая курица воткнута. Эй!.. вон приехал офицер, так проси!..

Вот явился Федор Петрович налицо. Воротник как петля задушил его, так что глаза выкатились; мундир перетянут в рюмочку. Но Федор Петрович прост, а не робок. Шаркнул поклон.

— Покорно просим! — сказал Петр Григорьевич довольно сухо. Где ж мужчине понимать людей. Софья Васильевна, напротив, очень приветливо повторила: «Покорно просим!»

Федор Петрович присел на кончик стула, вынул прежде всего платок и обтер лицо.

— Вам угодно купить коляску и лошадей? — спросил опять сухо Петр Григорьевич.

— Так точно-с, имею желание.

— Так можно посмотреть.

— Вы, верно, недавно здесь? — спросила приветливо Софья Васильевна.

— Так точно-с, по делам.

— По делам службы?

— Так точно-с. Нет-с, виноват, я приехал по наследству-с.

— Вероятно, тяжба?

— Никак нет-с, получить деньги.

— Из Совета?

— Так точно-с.

— И не встретили затруднений? Кажется, большие суммы на некоторое время приостановлено выдавать.

— Точно так-с. Выдали покуда двадцать пять тысяч: вдруг, сказали, нельзя такой большой суммы выдавать.

— Вы намерены продолжать службу или останетесь жить в Москве?

— Ожидаю отставки-с.

— Да, здесь можно домком завестись,— сказал улыбаясь Петр Григорьевич.

— Так точно-с, думаю и дом купить-с.

— А вот, нравится ли вам этот дом?

— Очень-с, прекрасный дом.

— Да, дом не дурен, барский дом, я бы его продал.

— Ей-богу-с?

— Полно, Петр Григорьевич, что это ты шутишь; зачем нам продавать дом?

— Ах, матушка, затем, чтоб другой купить. Я бы его дешево отдал.

— А как-с, позвольте узнать?

— Да за пятьдесят тысяч, со всею мебелью.

— Что ж, если позволите, я куплю.

— Очень рад, что нашел такого скорого покупщика; остается вам осмотреть его.

Софья Васильевна просто пришла в отчаяние и готова была вцепиться в мужа. В ней кипело какое-то чувство ревности, как у купца, у которого отбивают покупщика: она пригласила человека, чтоб сбыть ему которую-нибудь из дочерей, а Петр Григорьевич воспользовался случаем и сбывает ему втридорога дом.

Извольте, господа, решать тяжбу между Софьей Васильевной и Петром Григорьевичем. Вопрос: имеет ли право так поступать Петр Григорьевич с Федором Петровичем? Но прежде надо определить, под каким именем вызвать Петра Григорьевича к суду: как хозяина дома или как отца дочери, которая могла выйти замуж за Федора Петровича.

Вызовем как того, так и другого.

— Извольте, Софья Васильевна, отвечать: для какой цели вы пригласили в дом Федора Петровича?

— Как человека, который мог составить партию моей дочери, как жениха.

— Хорошо-с; теперь вы, Петр Григорьевич, отвечайте: с какой же стати, вместо жениха, вы приняли его за купца?

— А с такой стати, что он приехал в дом под видом купца, а не жениха, торговать коляску и лошадей. Кстати началась речь о покупке дома, я и предложил ему купить мой дом. Он с радостью согласился; а жена только что в волоса мне не вцепилась и расстроила дело.

— Слышите, Софья Васильевна? Какое ж право имели выйти из себя и расстроить дело?

— Слышите! человек обирает будущего своего зятя, а я молчи! Отец будет пить кровь своих детей, а мать — молчи!

— Что вы скажете на это, Петр Григорьевич?

— А то, что он мне не зять.

— Но он мог быть зятем, а ты расстроил дело; у тебя в голове были только свои собственные выгоды, а не счастие дочери!

— Как хозяин дома, я и должен был заботиться прежде об общем благе, а не о счастии одной дочери.

— Прежде всего надо быть отцом, а потом хозяином дома!

— Гм! если б ты была, кроме доброй матери, и хорошей хозяйкой, мне бы не нужно было думать о продаже дома.

— Гм! если б ты был, вместо дрянного хозяина, добрый отец...

Софья Васильевна не договорила, слезы хлынули градом; она зарыдала.

Судьи пожали только плечами. Тем и кончился воображаемый суд. Петр Григорьевич и Софья Васильевна сели за стол. Петр Григорьевич был очень доволен собою, а Софья Васильевна несколько сердита. Но чтоб успокоить читателей и уверить, что продажа дома не развела дела, затеянного Софьей Васильевной,— дорогой гость, купец и вместе жених, Федор Петрович, сидел за столом на почетном месте; подле него сидел хозяин проданного дома, напротив — Саломея и Катенька, две невесты на выбор или какую бог пошлет.

V

Когда ухаживают за деньгами, тогда гладят и мешок, который заключает их в себе. Не удивительно, что и Федор Петрович, который был чрезвычайно мешковат, показался Петру Григорьевичу и Софье Васильевне оригинальным человеком, с своими собственными манерами, с своими причудами казаться простяком и необразованным, и даже с своим собственным наречием. Катенька не рассуждала, каков он, но смиренно и внимательно слушала, что говорят папенька, маменька и что отвечает им гость. Саломея Петровна, напротив, не слушала ни папеньки, ни маменьки, но прищурясь, с сухою усмешкою осматривала председящего гостя и иногда только прерывала русский разговор французским вопросом у матери: «Что это за человек?» «Это какой-то медведь; откуда он приехал?» Или приказывала сестре налить себе воды.

Когда зашел разговор о баштанах и огородах, она спросила по-русски шепелявым языком на манер французского:

— Из чего делаются огородные чучелы?

Софья Васильевна покосилась на дочь, хотела замять ее вопрос каким-нибудь другим вопросом, но Федор Петрович, как учтивый кавалер и знающий, что такое чучело, не упустил отвечать:

— Огородные чучелы разные бывают-с: ворону дохлую вешают, или кафтан распялют на палке.

Без Софьи Васильевны положение Федора Петровича было бы затруднительно. Саломея Петровна загоняла бы его; Петр Григорьевич, как мужчина, своими рассуждениями поставил бы его в тупик, и Федора Петровича не заманить бы вперед и калачами; но Софья Васильевна так умела ловко спрашивать, подсказывать ответы, а иногда и отвечать вместо гостя; так умела внушить в него доверенность, что он мил, любезен, умен, остер; так умела поджечь душевное довольствие самим собой и всем окружающим, что Федор Петрович разгуторился, разговорился и так легко себя чувствовал, как будто в обществе своей собратии офицеров. О, это совсем не то, что у Петра Кузьмича, где он сидел как связанный, не зная что говорить с Аграфеной Ивановной и с ее жеманной дочкой. Там ему все как будто стыдно было, неловко, все хотелось уйти домой, да не пускают. Только Саломея Петровна как-то мешала ему: он на нее и смотреть боялся, смотрит только на Катеньку. После обеда предложили Федору Петровичу сесть в вист. Катенька села подле маменьки. Саломея Петровна ушла в свою комнату и занялась беседой с Маврой Ивановной, которую, вы помните, она решилась очаровать своим умом, добротой и великодушием, чтоб доказать ей, как глупы люди, которые хвалили дочку Софьи Васильевны, Катеньку, а не Саломею. Это чувство ревности к слухам глубоко затронуло ее, и она умасливала старушку своими ласками и вниманием донельзя, затерла в глазах ее Катеньку, не даст Катеньке слово промолвить с старушкой, не только что чем-нибудь угодить ей. Подобная предупредительность, при которой все другие остаются назади, имела свое влияние. Катенька перед Саломеей Петровной казалась девочкой самой обыкновенной, только что не деревенской. А Саломея Петровна, осыпая то ласками, то подарками, поневоле вызывала восклицание: «Какой ангел!»

Как ни удивлялась старушка Мавра Ивановна доброте Саломеи, как ни приятна ей была сначала эта доброта, в которой она видела уважение к своей старости, но вскоре что-то тяжелы стали Мавре Ивановне ласки Саломеи Петровны; точно как будто бы старушка становилась рабой прихотливой девочки: смертельно хочется домой отдохнуть,— «нет, нет, нет, не пущу вас, Мавра Ивановна!» — Мавра Ивановна и оставайся. Мавра Ивановна и ночуй, когда то угодно Саломее Петровне.

— Матушка, мне надо завтра рано вставать к заутрене; а вы долго изволите почивать: чтоб не потревожить вас.

— Нет, нет, нет! Я сама рано встану! — И уложив Мавру Ивановну подле себя, проговорит с ней целую ночь и уснет перед заутреней.

Мавра Ивановна и слышит колокол, да встать не смеет, чтоб не потревожить сладкого сна Саломеи Петровны.

Все это так тяжко Мавре Ивановне; да что будешь делать: за оказываемые ей ласки нечем платить, кроме повиновения.

Иногда Мавра Ивановна утомится, сходит к празднику к обедне, рада бы соснуть; да Саломея Петровна карету прислала, просит к себе пожаловать, и поезжай! Совестно: как можно, чтоб даром карета прокатилась!

На другой же день Василиса Савишна успела побывать у *обеих сторон*.

— Ну, что, сударыня, Софья Васильевна, как вам понравились?

— Бог знает, милая, как тебе и сказать. Только уж во всяком случае это не жених Саломее. Катеньке — дело другое.

— Не понимаю, а кажется кавалер на редкость.

— Да не для Саломеи; ей избави бог и сказать об этом; она скорее умрет.

— Вот, сударыня, Софья Васильевна, и затруднение! Сами вы говорили, что старшую наперед отдадите, я так и дело вела; о Катерине Петровне и слова не было. Уж знать бы, так Саломею Петровну и не показывать на первый раз. Катерина Петровна красавица, нечего сказать, да очень молода и не кидается в глаза.

— Ты, Василиса Савишна, перерви как-нибудь дело.

— Право, сударыня, я уж и отчаиваюсь, уж знаю вперед, что такой человек, как Федор Петрович, прельстился Саломеей Петровной; и как заберет в голову, так не скоро выбьешь.

— Гм! — грустно произнесла Софья Васильевна,— правда твоя,— при Саломее Кати не заметишь. Я же ее по сю пору ребенком держу.

— Вот то-то и есть! Поеду, узнаю, что и как.

— Поезжай, да тотчас же приезжай сказать мне.

— Не буду медлить. На всякий случай придумаю какую-нибудь штучку, чтоб отклонить его от Саломеи Петровны.

— Зови его сегодня на вечер к нам; я Саломею куда-нибудь отправлю.

— Уж, конечно, матушка: нет солнца, и месяц светёл. Прощайте покуда, сударыня.

Федор Петрович мечтал, расхаживая по комнате, когда Василиса Савишна явилась к нему.

— Здравствуйте, батюшка, Федор Петрович! По лицу вижу, что вы веселы и радостны. Как изволили ночевать, не было ли чего в думке, не приснился ли кто-нибудь? Довольны ли, сударь, знакомством?

— Очень-с! Не прикажете ли чайку?

— Не лишнее. Ну-с, как же вы провели время?

— Очень, очень хорошо-с, прекрасные люди! Уж видно, что знатные.

— Что ж вам особенно-то понравилось, Федор Петрович?

— Все понравилось! Признательно сказать, что уж тут похулить нечего.

— Да особенно-то что?

— И дочка понравилась! такая миленькая! Не понравилась мне только француженка, гувернантка, что ли.

— Какая францчуженка?

— Да все по-французски говорила: мадам Саломэ, кажется.

— Мадам? Что вы это, Федор Петрович, это старшая дочка.

— Неужели? Так которая ж невеста-то?

— Обе невесты, да вам бог верно судил и само сердце избрало меньшую.

— Меньшую? Катеньку? славная девочка! а правду сказать, и та хороша, на вид еще авантажнее. Ну! какого же я промаху дал! Вообразил, что она француженка.

— Э, ничего, Федор Петрович, что за беда такая.

— Как что за беда! как-то стыдно.

— Ведь я не перескажу.

— Пожалуйста, не сказывайте; а то я в глаза не взгляну, право!

— Не бойтесь. Так дело решенное. Софья Васильевна просит вас сегодня на чашку чаю.

— Да как же, Василиса Савишна, за которую же вы будете меня сватать?

«Вот тебе раз! — подумала Василиса Савишна,— уж я знаю, что он привяжется к Саломее Петровне!..»

— Помилуйте, Федор Петрович, не на обеих же вам жениться! Ведь вам понравилась Катерина Петровна; чай, вы уж и присматривались в нее...

— Оно так, да та повиднее, и голос-то какой! уах!

Федор Петрович совершенно смутил этими словами Василису Савишну; она боялась противоречить ему и отклонять его воображение от *повиднее*. Совет ни к чему не вел с таким человеком, а начать хулить Саломею и расхваливать Катеньку также неудобно: подумает, что хотят Катеньку насильно навязать на шею.

— Насчет выбора невесты, Федор Петрович... Не мы выбираем, а сердце, говорю вам.

— Оно так, Василиса Савишна, да как узнать-то: кто ее знает, которая лучше приходится... Нечего сказать, Катенька хороша, да не так видна.

— Молода еще, молода; посмотри-ко, как она выправится, как выйдет замуж!

— Дожидай, покуда выправится; а та уж выправилась,— царицей! А голос-то какой! уах!

— Что правда, то правда,— отвечала Василиса Савишна, которая видела, что плохо дело,— зато рассматривайте сами: одной семнадцатый годок, только что расцвела; а другой, Софья Васильевна говорит, двадцать пятый, ан и все двадцать восемь. По годам-то, может быть, и старенька уж для вас. Вам сколько лет?

— Тридцать пять.

— Вот видите ли! десяток еще пройдет, вы-то будете во всей красе мужчина; а супруга-то ваша в сорок-то лет бабий век кончит.

— Гм! — произнес Федор Петрович, задумался и начал гладить затылок.

— Лучше всего положимся на божию волю. Вот побываете еще разика два, три, увидите сами. Чему быть, тому не миновать: увидите, которой и вы понравились. Нельзя же жениться без обоюдной любви.

— Так!.. да черт знает, как же заметить, которой из них понравишься? А если той и другой?

— Этого не бывает.

— Как не бывает! — вскричал Федор Петрович,— да у нас в полку было: в прапорщика Душкова влюбились две сестры. Да еще как подрались-то за него!

— Ах, батюшки, казус какой!.. Ну, верно уж это случилось где-нибудь на городке.

— На городке! нет, не на городке, а в поместье.

— Этого, Федор Петрович, здесь не случится: надо вам и ту правду сказать, что старшая-то дочка Саломея Петровна, кажется, и не расположена замуж выходить, потому что двум женихам уж отказала.

— Вот видите ли! — сказал Федор Петрович,— что ж за охота свататься; а как она и мне откажет?

— Катерина Петровна не откажет.

— Это все уж не то: наверняка не так забирательно.

— Вот опять не то; ну, увидим, как будет,— сказала Василиса Савишна, чтоб скорее отделаться от нерешительности Федора Петровича, в семь часов вас ждут, ровнехонько в семь часов. Пожалуйста, не промешкайте; в таком случае не годится промешкать. А теперь съездите-ко к Иверской да отслужите молебен, так дело-то будет лучше. Или, уж позвольте, я за вас отслужу.

— Сделайте одолжение, Василиса Савишна!

— Да не скупитесь, сударь: всякой раз, как приедете в дом, жалуйте людям на чай,— лучше прислуживать вам будут.

Василиса Савишна, не распространяя вдаль разговора, поскакала с вестями к Софье Васильевне и напугала ее.

— Я Саломею отправлю на вечер к тетке,— сказала она.— И всякий раз, когда буду приглашать его, Саломеи не будет в доме, чтоб он из головы ее выкинул. А Катю принарядим; наложу ей локоны, чтоб не казалась слишком молода.

Как сказано, так и сделано. Когда Федор Петрович явился, его засадили тотчас же за вист, и в продолжение целого вечера он не видал *мадам Саломэ*, а Катенька, в накладных огромных локонах, но разрумянившись живым румянцем молодости,

просидела весь вечер подле матери, просмотрела от нечего делать весь вечер на гостя, не зная того, что он ей суженый.

Несколько уже вечеров Федор Петрович провел в доме, не видя Саломеи Петровны и не заботясь о ней, потому что Катенька так показалась ему хороша в локонах, что уж лучше нельзя быть.

— Что ж это вы мало говорите с невестой? — повторяла Василиса Савишна.

— Да как-то все еще не пришлось. Сегодня непременно пущусь в разговоры с ней.

— Пора решить дело; Софье Васильевне неловко начинать самой. Сперва покажите ваше внимание дочери, а потом и к маменьке подсядьте, да без больших церемоний, Федор Петрович: отказа не будет.

— Да что ж это старшая-то, как бишь ее?

— Об ней нечего и говорить. Между нами сказать, Софья Васильевна объявила сначала ей, что вот бог посылает жениха — она и слышать не хотела и не хочет показываться на глаза.

— Э, да что она мне! я так, из любопытства.

— Так вы просто скажите Софье Васильевне, что, дескать, вам известно, Софья Васильевна, мое желание,— она уж поймет.

— Я долго не буду откладывать,— сказал Федор Петрович,— чем скорее, тем лучше!

Так бы и сделалось, да не сделалось так.

Сперва домашняя челядь между собою: шу-шу, шу-шу! Потом спальные девушки нашушукали Мавре Ивановне, что, дескать, у нас, сударыня, в доме жених; хотя невзрачен, да очень богат. Всякой раз, как ни приедет в дом, бросит в передней двадцать пять рублей. За него прочат Катерину Петровну, потому что Саломея Петровна отказалась и видеть его не хочет: как приезжать ему, так она и вон из дому.

Мавра Ивановна при первом же случае, оставшись ночевать у Саломеи Петровны, проговорилась ей.

Саломее Петровне спать не хотелось.

— Расскажите что-нибудь, Мавра Ивановна.

— Да что ж рассказать-то вам, сударыня моя?

— Ну, хоть как вы замуж вышли.

— Что ж тут рассказывать-то, вышла да и вышла; а вот вы-то не выходите.

— Это не так легко.

— Да что ж тут и трудного-то; вот меньшая-то сестрица выйдет замуж, а вы опять будете сидеть в девках, сударыня; э-хе-хе! разборчивы оченна!

— Нисколько не разборчива; да, слава богу, и выбирать не из чего.

— Полноте говорить, Саломея Петровна! к вам небось никто не присватывался?

— Присватывался! — произнесла с презрительной усмешкой Саломея Петровна.

— Ну, вот видите ли, зачем же отказываться от того, что бог посылает? Вот сестрица-то, наверно, не откажется; невзрачен, да зато очень богат.

— Кто? — спросила с удивлением Саломея Петровна.

— Чай, вам лучше известно.

Этих слов достаточно было для Саломеи Петровны, чтоб понять, в чем дело.

«А! так это жених Кати! — подумала она с чувством озлобления,— от меня скрывают!.. чтоб я не помешала!.. Хорошо! Мне в десять лет не нашли жениха... а любимая дочка, только что из пеленок, уж ей и жених готов!..»

— Вам кто сказал, Мавра Ивановна, что он очень богат?

— Кто ж скажет, как не люди; говорят, так и сыплет деньгами.

— Счастье Кате: не всякой удастся выходить замуж без приданого.

— А дом-то, сударыня, не много не приданое да сорок тысяч деньгами.

— О, так вы всё знаете! — проговорила Саломея Петровна дрожащим от досады голосом.

— И, сударыня, что от людей укроется: при них ведь водили по всему дому и показывали все углы.

— Покойной ночи,— сказала Саломея Петровна Мавре Ивановне.

В душе ее громовые тучи ходили, вся внутренность бушевала.

«Вот как! для меня нет ничего, а для Кати дом в приданое и деньги нашлись!»

Злоба сосала сердце Саломеи; она беспокойно проворочалась на постели остаток ночи. Все утро просидела она в своей комнате, жалуясь на головную боль; вышла к обеду, и как будто ни в чем не бывало.

— У княгини сегодня вечер, так ты, душа моя, поезжай опять с теткой и извинись, что сама я никак не могу быть; скажи, что с неделю мне очень нездоровится.

— Да не лучше ли и мне дома остаться?

— Что тебе делать дома, будешь скучать. Поезжай, поезжай, друг мой!

— Хорошо, я поеду! — сказала Саломея.

И точно, поехала.

Часов в семь явился Федор Петрович. Катенька, разряженная, ожидала уже его с трепещущим сердцем: маменька объявила ей уже, что Федор Петрович жених ее и потому она

должна принять его как можно ласковее, говорить с ним как можно приветливее, а если он объявит ей желание свое, то сказать, что это зависит от папеньки и маменьки и что с своей стороны она готова принять с удовольствием предложение.

Сердце и рассудок Катеньки не умели прекословить воле родительской.

Федор Петрович явился. Дверь в залу распахнулась перед ним с возгласом: «Пожалуйте». Федор Петрович вошел тихонько в гостиную; в гостиной только Катенька сидит уединенно с книгой в руках, разряжена, в локонах, только что не при пудре.

Вся вспыхнув, она встала и с трудом проговорила:

— Маменька скоро войдет, покорнейше прошу.

Федор Петрович сел, откашлянулся, хотел говорить, да чувствовал, что надо обождать немножко, потому что вся кровь вступила в лицо и совсем задушила — слова нельзя сказать не откашлянувшись.

— Жаркое время,— сказала Катенька.

— Очень-с,— отвечал Федор Петрович.

— Сегодня, кажется, в воксале бал?

— Не могу знать... наверно-с.

После этого краткого вступления в разговор пролетел, как говорится по-русски, *тихий ангел.*

— Вы видели эти картинки? — спросила снова Катенька, взяв со стола тетрадку видов Рейна.

— Нет-с, не видал,— отвечал Федор Петрович, взяв тетрадку в руки.

— Прекрасные картинки.

— Кто это делал-с?

— Это в Англии гравировано.

— В Англии-с? Это удивительно!

— Бесподобная гравировка!

— А позвольте узнать, что они представляют?

— Разные виды.

— Виды-с? — сказал Федор Петрович значительно,— в первый раз вижу-с, бесподобно.

Но Федор Петрович смотрел и ничего не видал; наконец, положив книгу как вещь, которая была не по его части, уставил снова глаза на Катеньку и снова стал откашливаться; а Катенька снова потупила стыдливый взор в землю. Живой румянец играл на ее щеках, она была очень мила.

От головы Федора Петровича прилив отхлынул, он стал смелее осматривать смущенную Катеньку и, наконец, собрался с духом.

— Вы, я думаю, также изволите петь? — начал он.

— Да, я пою немножко,— отвечала Катенька.

— Чудный голос у сестрицы вашей, такой звонкой, что... как бы это сказать-с...

— Да-с,— отвечала Катенька.

— Вы, я думаю, слышали, Катерина Петровна,— начал снова Федор Петрович, помолчав немного и откашлянувшись.

— Как сестрица поет? Как же не слыхать,— сказала Катенька простодушно, не вникая в вопрос.

— Слышали-с?.. Да я не то хотел сказать, Катерина Петровна, я хотел сказать, изволили ли вы слышать, вот насчет того-с...

— Насчет чего? — спросила Катенька.

— Насчет того-с, что вот я-с... если б был столько счастлив...

Федор Петрович приостановился, чтоб собраться с духом.

Вдруг послышались чьи-то шаги; зашумело платье, кто-то вошел.

Федор Петрович смутился, взглянул... Саломея Петровна уже в гостиной.

— Ах, сестрица! — вскричала Катенька.

— А ты меня не ожидала? — ответила Саломея, кланяясь Федору Петровичу, который встал с места и расшаркался.

— Ты, Катя, кажется, куда-то собралась?

— Нет, никуда, сестрица!

— К чему ж это ты так разряжена? Что-то такое в тебе странное! Ах, боже мой, накладные локоны!.. Ах, как ты смешна в них!.. Что это маменьке вздумалось позволить тебе нарядиться шутихой?.. Вы давно уж у нас?

— Сейчас только-с,— отвечал Федор Петрович.

— Очень приятно! Сделайте одолжение, садитесь!.. Катя, подай, милая, мне скамеечку под ноги!.. Как вам нравится Москва?

— Очень нравится-с... Нельзя не понравиться-с, такой город...

— Не удивляюсь, здесь очень приятно можно проводить время, особенно у кого есть состояние. Вы, я думаю, уже осмотрели все редкости Москвы?

— Признаюсь, времени не было-с... все ездил по делам-с... переезжал с квартиры на квартиру-с...

— Ах, пожалуйста, осмотрите, здесь столько любопытного, столько интересного!

— Непременно-с! при первом же случае...

— Непременно осмотрите, это стоит вашего внимания. Вы здесь на время или проездом?

— Нет-с, я хочу выйти в отставку-с... хочу пристроиться... так чтобы уж... основаться, то есть, здесь...

— Ах, как умно вы делаете; ну, что служба! я думаю, вам надоела?

— Да-с, немножко, нельзя сказать, чтоб... уж, конечно, служба всё не то-с...

— О, я верю вам; прослуживши, надо испытать и удоволь-

ствия жизни, посвятить себя семейству, не правда ли? — спросила с нежной улыбкой Саломея.

— Совершенно так-с,— отвечал Федор Петрович, подтянув галстух повыше.

— О, я с вами согласна. Куда ты, Катя?

— Я сейчас приду, сестрица.

— Вас, я думаю, не заняла сестра, промолчала все время.

— Ах, нет-с, они изволили говорить со мной.

— Говорила? вот чудо! от нее слова не добьешься! Почти двадцать лет, а по сию пору смотрит ребенком, не правда ли?

— Да-с, они очень молоды.

— Но в эти годы стыдно уже быть ребенком. И вам не жалко будет расстаться с мундиром?

— Что ж делать-с, конечно, привычка — вторая натура, да что ж делать-с!

— Именно. Я откровенность очень люблю. Вы не поверите, как мало откровенных мужчин!

— Неужели-с?

— Уверяю вас, а потому разговор с ними так связан, так скучен. Мне кажется, военные люди всегда прямее, откровеннее и бесцеремоннее статских.

— Это точно так-с, истинная правда! — сказал Федор Петрович и невольно приосамился.

— Очень рада, что сошлась с вами в мнении; я ужасно как не люблю церемоний, люблю говорить и действовать прямо... Я думаю, и вы также?

— Вы угадали-с.

— Кажется, маменька идет... Очень жаль, что наш откровенный разговор прерывается.

— Ах, Саломэ, ты уж воротилась? каким это образом?.. Очень приятно, что вы пожаловали к нам,— сказала Софья Васильевна, обращаясь к Федору Петровичу с принужденной улыбкой, между тем как досада, что Саломея воротилась очень некстати домой, ясно выражалась у нее на лице.

— А где же папà?

— Его нет дома, мой друг. Что ж ты не поехала на вечер к княгине?

— Ах, скука какая эти вечера, maman; я приятнее проведу время дома. Вот, может быть, мы сядем в вист: я буду играть за батюшку,— сказала Саломея, обращаясь к Федору Петровичу.

— Очень приятно-с,— отвечал Федор Петрович,— с великим удовольствием-с, если угодно, я всегда готов-с.

Хоть это распоряжение Саломеи было очень неприятно Софье Васильевне, но нечего было делать, гость изъявил свое согласие играть. «Впрочем,— думала она,— лучше заняться игрой, нежели разговором».

Стол поставлен; сели; играют; но Софья Васильевна не замечает, что делает Саломея. Взгляды ее на Федора Петровича не просты. Федор Петрович сроду не чувствовал такого влияния глаз. Эти глаза вызывают его на вист. Он бы, наверное, проиграл, но Саломея Петровна с намерением втрое проигрывает. Наконец, игра кончена — считаются. Саломее следует платить.

— Заплатите за меня, maman,— говорит она матери по-французски.

Софья Васильевна идет за деньгами.

— Позвольте за вами оставить до другого разу,— говорит учтивый Федор Петрович.

— Ах, боже мой, да удастся ли мне с вами играть? — отвечала Саломея грустно.

— Почему же-с?

— Когда вы у нас будете?

— Как прикажете-с.

— Завтра будете? Завтра батюшки опять не будет дома, и я буду играть вместо его.

— С особенным удовольствием.

Саломея Петровна знала, что на завтра взят уже билет в концерт и никого не будет дома.

Поутру Василиса Савишна явилась к Федору Петровичу, чтоб узнать, чем решилось дело; но Федора Петровича не было уже дома, он отправился на почту, справиться, нет ли известий из полка. Потом, исполняя данное слово Саломее Петровне, отправился осмотреть московские редкости.

— Где тут московские редкости? — спросил он извозчика,— ступай туда!

— Редкостные вещи? Какие же, ваши благородие?

— А почему я знаю, я их еще не видал.

— Стало быть, пушка большая да колокол?

— Что ж тут удивительного в пушке? пушки я видал и осадные.

— А такую видали — с дом?

— С дом? Эво!

— И Ивана Великого не видали, ваше благородие?

— Кто такой Иван Великий?

— А колокольня-то в Кремле.

— Да отчего ж она Иван?

— Как отчего? оттого что диковинка. На ней, чай, два ста колоколов. Как во все ударить, так по всей земле слышно; да указом запрещено. Как были здесь французы, да и ударили было во все, чтоб, видишь, дать знать в свою землю, что им плохо приходится, ан все стены так и посыпались, словно песчаные, и Палевона-то задавили было. А про большой колокол и говорить нечего. Как вылили его, повесили да легонько раскачали язык, как заревел: земля так и заходила. Все перепугались, и не приведи господи как! Да три лета гудел, пока совсем утих.

Нельзя было Федору Петровичу не поверить этим рассказам, когда он увидел Ивана Великого, большой колокол и царь-пушку. С двенадцати часов до вечера смотрел на них Федор Петрович и дивился. В дополнение рассказов своих извозчик прибавил, что и часовой подле пушки стоит для того, чтоб из нее никто не стрелял.

Между тем как Федор Петрович рассматривал редкости Москвы, Василиса Савишна снова приехала к нему в обеденное время,— Федора Петровича нет как нет. Долго ждала она его с беспокойством, но не вытерпела: любопытство, как и что происходило, повлекло ее к Софье Васильевне. Софья Васильевна рассказала ей, как Саломея помешала переговору с Федором Петровичем, и велела просить его на следующий день на вечер.

— Сегодни мы в опере. Медлить нечего, я вижу, что он вне себя от Кати, и сама вложу ему в уста, что говорить; потому что он неловок и долго не соберется с духом высказать свое предложение.

— И лучше,— сказала Василиса Савишна,— он — простая душа, с ним нечего церемониться.

От Софьи Петровны Василиса Савишна заехала кой-куда, также по важным делишкам; а часу в восьмом вечера думала наверно застать Федора Петровича дома. Но Федор Петрович скакал уже на званый вечер.

Саломея Петровна, сказавшись не так здоровой и отправив родителей и сестру в театр, отдала приказ по передней, что если кто-нибудь приедет, не отказывать.

Федор Петрович не долго заставил себя ждать. По обычаю, в передней возгласили: «Пожалуйте!» Когда он вошел, Саломея Петровна громогласно пела какой-то чувствительный романс.

— Ах, это вы? — сказала она, оставляя рояль.— Papa и maman скоро возвратятся, покорно прошу! Как вы провели время со вчерашнего дня?

— Очень приятно-с, смотрел редкости московские.

— И, вероятно, нашли много достопримечательного.

— Удивительные вещи: пушка особенно!

— Ах, вам понравилась большая пушка! — сказала Саломея улыбаясь,— да ведь она не годится ни на какое употребление.

— Как-с, ведь из нее, говорят, стреляют.

— Нет! где ж столько взять пороху.

— Пороху-с? что ж такое: почему же... порох — ничего-с.

— Впрочем, не знаю, вам это лучше известно... Были вы в театре?

— Нет-с, не был, все как-то еще не пришлось быть.

— О, так вам еще многое предстоит осмотреть в Москве: театр, благородное собрание... Здесь часто бывают концерты, маскарады; время проходит очень приятно; вы увидите, какой рай Москва, и не расстанетесь с ее удовольствиями. Летом на дачу, беганье, игры... Ах, какая у нас деревня! и невдалеке от Москвы...

Саломея Петровна насчитала столько удовольствий, предстоящих Федору Петровичу, что у него проявилась жажда скорее ими воспользоваться; она выспросила у него все его вкусы, все, что ему нравится, и привела его в совершенный восторг восклицаниями: ах, это и мой вкус! ах, и я ужасно как это люблю! ах, я совершенно согласна с вами!

— У вас живы еще родители?

— Нет-с, волею божиею скончались.

— Так вы совершенно располагаете собою? Вероятно, у вас много родных?

— Ни одного человека-с.

— Ах, боже мой, как вам должно быть скучно! — произнесла Саломея Петровна, изменив вдруг мажор голоса на минор,— не иметь никого, кто бы привязывал вас к жизни! Что может заменить сладость семейной жизни: в ней только и живут удовольствия. Верно, этот недостаток очень чувствителен для вас?

— Очень-с, очень-с! — сказал Федор Петрович, проникнутый до глубины сердца этим недостатком, которого он до сих пор и не чувствовал.

— Ах, я понимаю, как это должно быть для вас горько; своя семья — это такое счастие!.. Взаимная любовь! О, я не удивляюсь теперь, что вы еще не пользовались удовольствиями Москвы. Вы, верно, и посреди людей чувствуете свое одиночество, не правда ли?

— Совершенно так-с! — произнес растроганный Федор Петрович. Никто еще в жизни не говорил с ним так сладко и с таким участием.— Я несчастный человек-с! — прибавил он.

— Отчего ж вы несчастливы? Вы располагаете сами собою; ведь ваша судьба вполне от вас зависит. Девушка — совсем другое: девушка не может собою располагать.

— Отчего же, Саломея Петровна?

— Очень натурально; например, вы, как свободный человек, можете составить свое счастие по желанию, можете жениться на той, которую изберет ваше сердце; а не на той, которую стали бы вам навязывать на шею,— не правда ли?

— Совершенно так! могу сказать! Нет, уж мне не навяжут-с! — В мыслях Федора Петровича родилось подозрение, что ему хотят навязать Катеньку.— Нет-с, если уж жениться, так по выбору-с,— прибавил он.

— О, без сомнения, благородный человек так и думает. Представьте себе несчастие: навяжут какую-нибудь бессловесную дурочку, у которой нет ни сердца, ни души... Целый век прожить с таким существом! это ужасно!

Федору Петровичу опять представилась Катенька, стыдливая, скромная и молчаливая Катенька.

Он задумался, откашлянулся, проговорил:

— Совершенно так-с! — и опять замолчал.

Саломея Петровна поняла эту беспокойную задумчивость и в душе радовалась успеху своего замысла.

— Вы задумались; как бы я желала знать, о чем? — сказала она очень нежным голосом, но с улыбкою, которую понял по-своему Федор Петрович.

— Я-с...— начал Федор Петрович, но не мог продолжать, вынул из шляпы платок и отер лицо.

— Я люблю откровенность,— сказала простодушным голосом Саломея.

— Позвольте узнать, Саломея Петровна, правда ли, что вы никогда не выйдете замуж?

— Это кто вам сказал? — спросила с удивлением Саломея.

— Сказали-с...

— Я прошу вас сказать мне, кто и по какому случаю,— вы, верно, от меня не скроете, потому что вы благородный человек!

— Саломея Петровна,— отвечал робко Федор Петрович,— действительно, не могу скрыть от вас... потому что...

Федор Петрович остановился и не смел продолжать.

Но Саломея Петровна поддержала его.

— Говорите, пожалуйста, прямо,— сказала она,— вы можете быть уверены, что все, что вы скажете, останется между нами.

Федор Петрович откашлянулся, снова отерся, как утомившийся до поту лица и принимающийся снова за тяжелую работу. Он придумывал, как бы красноречивее выразиться и вставить в свою речь судьбу.

— Потому что судьба-с,— начал он,— когда я увидел вас, зависит от этого... я тотчас же... но мне сказали, что вам и слышать не угодно...

Саломея Петровна поняла.

— Вам это сказали? — вскричала она,— какая низость!

— Сказали и предложили вашу сестрицу...

— А, теперь я понимаю! Вас хотели женить на моей сестре и потому-то находили предлоги удалять меня из дому, когда вы приезжали к нам... как вам это нравится?

— Помилуйте-с, как можно, чтоб это нравилось; я желаю получить вашу руку, Саломея Петровна, а не сестрицы вашей... Что ж мне сестрица!.. Если смею надеяться...

— Что-с? — произнесла Саломея с взволнованным чувством самолюбия. Оказанное простодушное предпочтение приятно польстило ей. «Он не так глуп, как я себе воображала,— подумала она,— он богат, его можно образовать».

— Получить вашу руку! — едва проговорил Федор Петрович.

Саломею Петровну, казалось, смутило неожиданное предложение, но сердце ее прыгало от самодовольствия; в мыслях вер-

телось: «Да, да, я выйду за него... меня хотели провести; но я скорее проведу вас!.. Да мне же и надоели эти четыре стены и эта вечная зависимость!.. еще, чего доброго, обнищаем... поедем на заточение в деревню!.. Нет, лучше быть за уродом... и мало ли мужей дураков: скольких я ни знаю, все дураки... а он очень сносен; не светский человек — что за беда! я его образую! Да! и пусть все думают, что я вышла по страстной любви! не иначе! Не умели ценить меня,— пусть жалеют!..»

Федор Петрович ждал с трепетом ответа.

— Вы мне сделали честь,— сказала она,— я от нее не отказываюсь: вы мне нравитесь...

— Саломея Петровна! — вскричал было Федор Петрович.

— Ах, тише!.. Я вас прошу не говорить об моем согласии маменьке: это все расстроит. Вы когда опять будете к нам?

— Завтра же, если позволите.

— Вам назначали время?

— Нет, не назначили.

— Так сделайте так, как я вам скажу. Когда вас позовут на вечер, может быть и завтра, потому что, верно, торопятся навязать вам на шею мою сестрицу. Вы приедете... Да... нет, это не годится. Я знаю, что меня за вас по доброй воле не выдадут...

— Отчего же, Саломея Петровна?

— Отчего? оттого, что от меня требуют, чтоб я вышла за другого, а я лучше убегу из дому... я не могу против желания выйти замуж!..

Саломее Петровне непременно хотелось по крайней мере кончить девическое поприще романическим образом. Если б она была Елена и явился вторично Парис, готовый ее похитить, она бежала бы с ним только для того, чтоб снова возгорелась Троянская война и она имела бы право сказать: «Я причина этой войны».

— Да! мне только остается бежать из дому с тем, кого люблю! другого средства нет! — прибавила она голосом томного отчаяния.

Федор Петрович был хоть и не из числа героев, но он слыхал, что страстным любовникам почти всегда случается увозить своих милых.

— Что ж, Саломея Петровна, я вас увезу, если позволите,— сказал он расхрабрясь.

— О, я на все согласна! Но куда мы бежим?

— Куда угодно-с.

Саломею Петровну, казалось, затруднил этот вопрос, и она задумчиво спросила:

— Ваше имение далеко отсюда?

— Близёхонько, верст сто с небольшим; у меня там и дом, и все есть, и церковь, и все-с... Сделайте одолжение, Саломея Петровна...— сказал Федор Петрович, кланяясь.

— Я решилась... но каким же образом?

— Уж это как прикажете,— отвечал Федор Петрович, не зная сам, каким образом увозят.

Это покорное предоставление права распоряжаться было в духе Саломеи Петровны. Она подумала и сказала:

— Медлить нельзя; завтра в шесть часов вечера я приеду в галицынскую галерею... экипажу своему велите остановиться со стороны театра и ждите меня у входа. Только приезжайте в крытом экипаже, чтоб меня не узнали.

— Непременно-с, в шесть часов подле театра.

— Подле галицынской галереи.

— Непременно-с! — повторил Федор Петрович и замолк, не зная, что ему дальше говорить.

— Теперь нам должно расстаться: я думаю, maman скоро возвратится,— сказала Саломея, вставая и подавая руку.

Федор Петрович не умел пользоваться правами героев романа и не смел выйти из границ форменного поцелования руки; поцеловал, шаркнул, поклонился и отправился.

Быть героем, хоть и не настоящим, а романическим, очень приятно. Федор Петрович, несмотря на неопытность свою по части приключений любовных, чувствовал однако же наслаждение и какую-то торопливую деятельность во всех членах. В продолжение всей ночи перед ним развивался сказочный мир и похищение царевен.

Рано поутру озаботился он о найме кареты в четыре лошади рядом и приказал денщику укладываться.

— Вчера три раза прибегала, вот эта, как ее... Василиса Савишна. По часу сидела, ждала вас, хотела сегодня поутру опять прийти.

— Не пускай ее, скажи, что дома нет.

— Да она ворвется, сударь, в комнату. Скажет, что подожду!

— Ну, не пускай, да и только! вот тебе раз!

— Уж если вы приказали, так не пущу!.. Чу, вот прилетела, стучит.

Федор Петрович молча присел в угол, а Иван подошел к двери и спросил:

— Кто там?

Ответа нет, а в дверь кто-то постукивает.

— Что за черт, кто там? — спросил Иван, приотворив дверь.

— Я, Иванушка,— проговорила Василиса Савишна и сунулась в дверь.

— Позвольте-с, дома нет.

— Как дома нет?

— Изволил уехать.

— С кем же ты тут разговаривал?

— С кем разговаривал, я ни с кем не разговаривал.

— Вот прекрасно, я ведь слышала.

— Что ж что слышала? Я бранился на деревянную ногу, что из сапога вон не лезет; вот и все!

— Так я подожду.

— Нет, уж извините, мне надо идти, я запру.

— Ну, хорошо, я после приду; позволь мне только поправиться перед зеркалом.

— Нет-с, позвольте.

Иван торопливо припер двери из передней в комнату. Василиса Савишна удивилась, но ей никак не пришло на мысль, что ее выживают.

— Ну, ну, не буду мешать. Верно, гости! — прибавила она шепотом, усмехаясь.— Я приду часа через два.

Она ушла.

— Что?

— Опять хотела прийти.

— Черт какой неотвязчивый! Давай одеваться; я поеду на почту. Как придет эта баба, так скажи ей, что в шесть часов я буду ждать ее.

Федор Петрович отправился. Василисе Савишне переданы были его слова. Она прибежала в третий раз; но и след Федора Петровича уже простыл. В пять часов сел он в дорожную карету и приказал ехать в галицынскую. Его привезли в галицынскую больницу.

— Это театр? — спросил он, выходя из кареты.

— Какой театр, сударь; это галицынская больница.

— Да где ж театр? ведь подле театра галицынская, как бишь ее...

— Так это галерея, сударь, так бы и сказали; эх, барин, сколько мы крюку сделали!

Это однако же не помешало Федору Петровичу приехать вовремя на назначенное место, потому что героиня романа любила во всяком случае заставить себя ждать. Как удивился Иван, когда великолепно разодетая дама, в роскошном манто, в шляпке с пером, вышла из галереи, подала руку Федору Петровичу, села с ним в карету и поехала.

Между тем Василиса Савишна прибежала в шесть часов вечера в гостиницу, стукнула в дверь номера, занимаемого Федором Петровичем,— никто не отзывается. Приложила ухо к двери, посмотрела в замочную скважину,— никого нет!

— Опять нет! что за чудеса!

Поскакала к Софье Васильевне.

— Не у вас?

— Нет еще.

— Что за диво такое, все дома нет да дома нет! сейчас была, сам велел сказать мне, что будет ожидать меня в шесть часов.

— Что это? моя карета едет! — сказала Софья Васильевна.— Саломея воротилась домой! Опять помеха! И лучше, если он не будет сегодня.

Вошел слуга.

— Что ты? А где же Саломея Петровна?

— В галицынской галерее; приказали ехать домой и сказать, чтоб ее не дожидали-с.

— Как не дожидали? с кем же она поехала?

— Не могу знать-с! как приехали к галицынской галерее, они изволили выйти из кареты, а мне велели ехать домой да изволили сказать: «Скажи маменьке, чтоб меня не дожидала».

— С кем же она поехала?

— Не могу знать-с.

— Не дожидала! Куда не дожидала? ты, верно, переврал.

— Никак нет-с; как приказано сказать, так я и докладываю.

— Не может быть! верно, кто-нибудь там был из знакомых.

Часов до двух за полночь беспокоило Софью Петровну только недоумение: с кем поехала Саломея? Пробило два, пробило три, началась суматоха. Саломеи нет, а не знают, куда послать за Саломеей. Призывают опять лакея, переспрашивают, бранят, что он, вероятно, переврал и что, верно, Саломея Петровна велела куда-нибудь приезжать за собой. Он божится, что нет. Призвали кучера, не слыхал ли он, что приказывала Саломея Петровна? Он подтвердил слова Игната, а больше ничего не слыхал.

— Она, верно, принуждена была где-нибудь остаться ночевать! Теперь уж и посылать поздно, да и куда посылать!..

Чем свет карета отправилась по всем родным и знакомым и возвратилась домой с известием, что Саломеи Петровны нигде нет.

Софья Васильевна в отчаянии и в слезах, а Петр Григорьевич ходит по комнатам, ломает себе руки и гремит на весь дом:

— Прекрасно! прекрасно! достойная дочь заботливой, разумной матушки! Осрамили, зарезали, убили! Это ни на что не похоже, это ужас! это поношение! Туруцкой звал на вечер, я дал слово... на Туруцкого все мои надежды... О, да я знаю, что это вы с намерением, чтоб... это черт! она не скажет просто: «я бы не желала»; она выкинет назло какую-нибудь штуку... насмеется над отцом, поставит его в дураки! Эй! кто там? скотина, что ты нейдешь, когда тебя зовут! Пошел к Платону Васильевичу Туруцкому, кланяйся и скажи, что Саломея Петровна заболела и что мы не можем быть у него на вечере... Ну, что ж ты стоишь?.. Постой! скажи, что я очень-очень сожалею... слышишь?..

Отправив человека к Туруцкому, Петр Григорьевич снова начал ходить по комнатам и греметь.

А между тем Василиса Савишна и не подозревает, что у Софьи Васильевны пропала дочь. Ранехонько она торопится в

гостиницу Печкина, проведать о Федоре Петровиче, опять постукивает в дверь, прикладывает ухо и смотрит в скважину,— никого нет.

— Кого тебе, матушка? — спрашивает ее прислужник, проходя по коридору.

— Да вот мне нужно видеть господина, который здесь стоит.

— Это пустой номер, здесь никто не стоит.

— Как пустой? Неправда, здесь стоит военный.

— Вчера уехал.

Василису Савишну как водой обдало. Она всплеснула руками.

— Уехал? ну!

— А что?

— Гусёк!

— А что?

— Что уж и говорить! надул!

— Чем надул?

— Ну, да уж... тьфу!

И Василиса Савишна побежала вон из коридора; но к Софье Васильевне побоялась идти проведать о Федоре Петровиче.

Часть вторая

I

Рассказав, по принадлежности, кто такая Саломея Петровна, мы оставим ее в покое до первой встречи. Обратимся к Дмитрицкому, который, как вам уже известно, проиграл сполна собственные деньги и частию прихватил деньги ремонтные. Не для чего было говорить ему, что это сделано не только неосновательно, но даже безрассудно: все знал он это сам и бранил себя, как собаку. После *нагоняя* самому себе, он стал обдумывать, как поправить дело, и ничего лучше не выдумал, кроме новейшей гомеопатической пословицы: Similia similidus curantur — или древнейшей русской пословицы: *чем обжегся, тем и лечись.*

— Но здесь, в поганом Бердичеве, не буду лечиться: поеду поправлять здоровье посреди сельской жизни. И вот, в прекрасных долинах Подолии, под именем ремонтера разъезжает он от помещика к помещику, играет для «препровождения времени». Но во всяком случае он был не более как Schüller [1] в сравнении с Schulmeister-ом [2] Желынским. Желынский, проведав, что он в его заветных полях красного зверя ловит, тотчас же разместил засады, и с бедного, с живого Дмитрицкого сняли кожу.

Между тем время проходит; в полку о Дмитрицком нет и известий. Полковой командир менее заботится о нем и о деньгах, нежели о команде, и отправляет другого офицера отыскивать Дмитрицкого и принять команду и ремонт. Офицер, недолго думав, едет в Бердичев. Там находит он команду, которая преспокойно живет по квартирам в ожидании своего командира; в числе команды и денщик Дмитрицкого.

[1] Ученик (*нем.*).
[2] Школьный учитель (*нем.*).

— Где Василий Павлович?

— А бог его знает; он меня оставил у одного помещика, я там жил-жил, ждал-ждал барина, покуда выгнали; помещик сказал: «Ступай, брат, барин твой, верно, умер; я держать тебя не хочу». Я и пришел сюда.

— А что, в самом деле не умер ли он?

— Верно, что умер; помещик недаром говорил.

Офицер доносит в полк, что команда состоит благополучно налицо, а сам ремонтер пропал без вести и, вероятно, умер.

Дмитрицкого означили в списках умершим.

Таким образом кончил Дмитрицкий жизнь служебную.

Между тем новый ремонтер, приехав к одному помещику для покупки лошадей, входит в гостиную и видит — ни дать ни взять Дмитрицкий, в венгерке, в гусарской жилетке, сидит за картами.

— Дмитрицкий? — вскрикивает он, всмотревшись в него.

— Ах, любезный друг! — вскричал и Дмитрицкий, вскочив из-за стола и обнимая товарища своего.— Вот неожиданно встретились!

— Что ты здесь делаешь?

— Тс! скажи, пожалуйста! вот встреча! Как давно не видались!

И он потащил его за руку в другую комнату.

— Что ты здесь делаешь? где ты пропадал?

— И не думал пропадать, братец; а видишь, *по маленькой*, отыгрываюсь.

— Да знаешь ли что, ведь ты исключен из списков и показан в числе умерших?

— И очень хорошо сделали. Я действительно убитый человек; а потому и не могу уж явиться в полк.

— Ах, чудак! Да что ж ты будешь делать!

— Что ж, братец, мертвому делать, кроме как скитаться тенью.

— Ах, чудак!

— Только, братец, не говори никому, что и тень мою видел, а то, пожалуй, кол в спину вколотят.

— Где ж ты живешь?

— Теперь здесь гощу.

— Не советую тебе, однако ж, проживать в этих местах; если тебя узнают — беда!

— И не напоминай, сам уеду; черт знает, здесь нет мне счастья. Поеду искать невест, попробую жениться.

— Ах, чудак! да как же ты будешь жить без всякого вида?

— Вот тебе раз! попробуй кто от меня требовать вид, поставлю ему на вид вот что!

Дмитрицкий показал свой кулак.

— С этим видом не далеко уедешь.

— Не далеко уеду, так далеко уйду. Однако ж меня ждут; извини, брат, я к тебе приду на квартиру.

— Нет, спасибо, отложи попечение: со мной команда.
— Да, да, да! ну, хорошо! Так до свидания на том свете.
— Прощай, брат!
— Присядь, хоть по маленькой.
— Нет, спасибо.
— Ну, хоть карточку, на мое счастье.
— Нет, благодарствуй.
— Экой чудак!

После известия, сообщенного новым ремонтером, Дмитрицкий понемногу стал подвигаться с юга на север. Он был некогда в Москве, и Москва ему нравилась; выезжая из нее, он думал: когда-то бог приведет опять побывать. Эта старая мысль пришла ему в голову, когда он задумался, куда ему ехать.

«Э! да вот прекрасный случай ехать в Москву! Там же всегда тьма невест. Именно! там открою свой новый карьер... Скверная вещь без денег! Я уверен, что без денег я могу завлечься во все страсти. А с деньгами я совершенно смиренное существо: засел где-нибудь в уголок, бросил пук ассигнаций или горсть золота на стол. «Господа! банчику!» Смотришь, тянутся со всех сторон искатели земного блага, обступают фараона, как рыбы, и ждут подачки. Иному дашь *туза* — счастлив! иного оборвешь — молчит! Судьба! Добродетельный муж и отец семейства не с намерением пролил чашу довольствия своего. Он только хотел дополнить ее последним глотком бедняка, да черт подтолкнул под руку, чаша вверх дном, а наш брат подставил горсть и богат. Но для того, чтоб иметь право стоять там, где черт подталкивает под руку, надо иметь случай при нем. А кто ж может доставить этот случай как не жена, входящая в дела своего мужа и способствующая его успехам в свете? Что за роскошь иметь такую заботливую, умную помощницу!.. «Душа моя! заинтересуй, пожалуйста, мосье такого-то, чтоб ему у нас не было скучно. Умная жена тотчас поймет пользы мужа. О, она должна быть непременно привлекательна в отношении интересных людей. Одного только боюсь, чтоб не попасть на такую, которая вздумает тебя вывести в чины, или на такую, которая только ночует дома; или на такую, которая пришпиливает мужа к хвосту... Да еще боюсь, чтоб не влюбиться в аплике, в дрянное сердчишко, которое разрядится в любезность, в сладость, в нежность, подобьет все свои недостатки пуховой прелестью, раздушится благовонными вздохами, разукрасится алмазными взорами, разрисуется узорными приемами...»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий ехал в Москву на огромном чемодане, набитом сеном. Хоть у него и осталось только одно носильное платье: венгерка да шинель, но он знал, что ездить без чемодана — нельзя: почтут за нищего.

По приезде в Калугу в кошельке у него остался один только червонец и ключ от чемодана. «Этого *скакуна* я ни за что в свете не отдам: это у меня заводчик. Лошадей найму вплоть до

Москвы; а что касается до насущного пропитания: есть что есть, так есть, а нет, так мы не взыщем; впрочем, глупость! возможно ли умереть с голоду там, где люди завтракают, обедают, полдничают, ужинают и, словом, целый день едят?»

Следуя этому правилу, Дмитрицкий не голодал. В первой же деревне, где его извозчик остановился кормить лошадей, он застал хозяина, хозяйку и всю семью за столом: они хлебали из огромной чаши жирные щи.

— Что это? квасок? дай-ко, брат, ковшичек... ух как славно щами пахнет!

— Да не угодно ли, сударь, покушать? — сказала хозяйка,— у нас щи, жаркое есть, если угодно, рыба есть.

— Нет, благодарствуй, милая, боюсь обед испортить... я только попробую... Славные щи!

— Да что ж, пообедайте у нас, сударь.

— Нет, милая, меня ждут обедать, отсюда недалеко.

Таким образом наш путешественник везде пробовал то щи, то кашу; но на половине дороги ему захотелось хорошо пообедать. Проезжая в обеденное время чрез одно село, он спросил:

— А что, здесь живет сам помещик или управляющий?

— Сам помещик.

— А есть у него продажные лошади?

— Как же, большой завод есть.

— Прекрасно! Проводите-ко меня к нему.

Барин-заводчик рад покупщику.

Нечего рассказывать, как явился Дмитрицкий к помещику, к Григорью Тимофеевичу Мискину, покупщиком и знатоком в лошадях; как, осматривая завод, проморил плотного барина, и тот пригласил его откушать вместе, потому что уже было время, а после обеда предложил испытать лошадей в упряжке. Все проделки были исполнены как нельзя лучше, лошади в упряжке ходили очень хорошо, помещик назначил им цену прекрасную и расстался с Дмитрицким, как с таким покупщиком, каких ему надо было и по самолюбию и по расчетам.

Пообедав очень хорошо и даже выпив за здоровье гнедых, Дмитрицкий решился не обедать до самой Москвы, если только не представится какого-нибудь особенного случая. Но особенного случая не представилось.

Я думаю, памятно вам, как счастливо он миновал заставу.

— Покуда прямо,— отвечал он, а между тем думал: «Куда ж теперь ехать? приехав в Москву, разумеется, теперь следует ехать в «Европу»; во всех лучших городах должна быть «Европа»: без «Европы» нельзя обойтиться, особенно приезжему человеку».— Эй! послушай, любезный, где тут «Европа»?.. Спасибо! ступай!

Приехали в «Европу». Дмитрицкий повелительно крикнул у крыльца на швейцара и лакеев, чтоб помогли вылезти ему из повозки.

— Первый номер готов для меня? а?

— Первый номер занят-с.

— Как?.. Фу! бока разбило! Животное! заставил меня прокатиться в телеге! Пять тысяч заплатить за экипаж и сесть на половине дороги!.. Как занят?

— Занят-с.

— Как занят! Ах, дурак! что ж это он здесь делал? он, верно, занял в другой гостинице.

— Третий номер свободен-с, прекрасный номер! три комнаты-с, мебель красного дерева, фортепьяны, все есть-с, все принадлежности, как следует, сейчас только очистился.

— Три комнаты! какие-нибудь скверные! Экое животное! Ну, веди!.. Что за гадкие коридоры! тьма кромешная! Это ни на что не похоже! то ли дело в Париже.

— В Париже-с? Помилуйте, что Париж! Уж лучше нашей гостиницы в целом городе нет.

— Я ничего не вижу!

— Пожалуйте, пожалуйте сюда.

— Ну, что тут такое?.. Это-то? Фу! да покури, братец, скорее! Кто тут стоял?

— Только что сегодня изволил уехать один сочинитель из Петербурга.

— Сочинитель? Именно какими-то сочинениями пахнет! Покури, да не какой-нибудь смолкой, а по крайней мере лавандом... Да чаю, чаю скорей!.. Один из вас, порасторопнее, чтоб здесь дежурил, покуда мои люди приедут! Да есть ли тут сарай хороший, поставить коляску, а?

— Как же-с, сколько угодно.

— Ну, чаю!

— В повозке есть вещи-с?

— Какие вещи? вещи в экипаже. Да! кажется чемодан положили со мной. Внести его! Адрес-календарь есть?

— Есть-с.

— Принеси! тебя как зовут?

— Иваном-с.

— А тебя?

— Алексеем.

— Так ты, Иван, ступай за календарем, а ты за чаем, да живо! Лентяям ничего, кроме *простого туза,* не даю; а кто услужит мне тому *червонный,* слышите?

— Будем довольны-с! Кому ж и угождать, как не доброму барину.

— То-то же!.. А! Чемодан; хорошо! Поставь его, да осторожнее, не перемни у меня там. Тебя как зовут?

— Петром-с.

— Петр, спроси бутылку лучшей мадеры! скорей!

Петр бросился за мадерой; а между тем Дмитрицкий раскинулся на диване и стал зевать, как изнеженный помещик, с до-

роги. Приказания его живо были исполнены. Алексей принес, с вывертами, на подносе аплике, чайник, сливочник и чашки — пестрый фарфор *рококо* с позолотой, в корзинке сухари, на блюдечке сахар. Иван прибежал с адрес-календарем, а Петр с бутылкой мадеры.

— Первый номер мадера?

— Самая старая-с.

Дмитрицкий налил стакан, выпил залпом и потом плюнул.

— Дрянь!

— Самая лучшая-с!

— Самая лучшая! почем бутылка?

— Пять рублей-с.

— Ну, может ли быть здесь настоящая мадера в пять рублей, когда она и на острове Мадере дороже пяти рублей. Скажи хозяину, что я мадеру пью настоящую и чтоб он достал мне самой лучшей, хоть по червонцу бутылку. Слышишь? Возьмите эту себе. Теперь ступайте все вон, я отдохнуть хочу.

— Позвольте узнать чин и фамилию, да подорожную надо записать в книгу-с.

— Успеешь! приедет мой камердинер с экипажем, так спросишь у него; ну, марш!

— Черт знает, я без чаю похудел в эти три дня,— сказал Дмитрицкий, принявшись пить чай.— Надо отыскать какого-нибудь знакомого... Черт знает, сколько в календаре фамилий! Ну, как тут не найти знакомых или дураков, которые рады будут моему знакомству?..

В это время послышалось, кто-то вошел в переднюю комнату.

— Кто там?

— Извините,— сказал вошедший молодой человек, очень щегольски одетый, в очках, с улыбающимися устами, с сладостными и изгибистыми манерами, с ногами, имевшими привычку шаркать, с ушами, похожими на крылья у шапки Меркурия.

— Извините...

И так далее... а дальнейшее мы изложим впоследствии; покуда означенный молодой человек не познакомился с Дмитрицким, мы познакомим вас с ним самим.

II

Его зовут Михайло Памфилович Лычков. Молодой человек, как бы вам описать его?.. Молодой человек, если хотите, очень с хорошими свойствами. Молодой человек, который делает около ста визитов по годовым праздникам, которого встретите в обществе и в театре, где отвечают на поклон его замечательные люди, иногда протягивают руки и говорят: «bonjour, monsieur

Лычков!»[1], которого встретите в канцелярии, где он сам подойдет к вам и скажет, что он по особенным поручениям при его превосходительстве; которого встретите в каком-нибудь комитете о тюрьмах и в каком-нибудь благотворительном или ином обществе... которого встретите верхом, и он предупредит похвалу своей лошади и скажет, что она орловского завода, но что у него есть лошадь собственного завода, гораздо лучше этой... Молодой человек, которому вы, верно, понравитесь, если послушаете его рассказы и который, верно вас позовет к себе.

Михайло Памфилович вступил в службу в кацелярские служители по протекции самого начальника канцелярии, которому он понравился по какой-то особенной, природной *готовности служить*. И действительно, Михайло Памфилович служил ему чем только мог и, между прочим, приезжал в канцелярию на положении дела не делающих, а от дела не бегающих, которых начальник канцелярии встречал, протягивая руку, принимал как гостей и увлекался от своих скучных занятий приятной их беседой.

Так как настоящий век изобилует обладающими даром поэзии или, все равно, обладающими даром поэзиею, и так как в канцелярских, кроме размашистых перьев, необходимы иногда перья красноречивые, то в числе сослуживцев Михайла Памфиловича, кроме молодых людей высокого полету, было много неоцененных еще поэтов и прозаиков. Из салонов спускаться в канцелярию было низко, а от истоков Ипокрены ходить в канцелярию было далеко и утомительно; и потому все эти прихожане ужасно зевали и рады были какому-нибудь развлечению. Одни читали наизусть свои поэтические вдохновения, другие с восторгом выслушивали декламации стихов о каком-нибудь Демоне или о какой-нибудь Демонессе, у которой, вместо волос, спускается на плечи лава; вместо взоров — стрелы или метательные копья, на ланитах пламень, на устах огонь, на груди дым, а в груди— что-то неизъяснимое.

Михайло Памфилович ахал больше всех, и потому признан был за человека со вкусом. По этому вкусу он был приятелем поэтов, а по изрядному состоянию, по возможности ездить на конях, быть одетым с иголочки и природной способности перенимать светские манеры был приятелем с некоторыми из верхолетов. Вследствие моды на литературные вечера между означенной рассадой светской деятельности завелись также литературные вечера. После нескольких опытов распределить дни Михайлу Памфиловичу достался вторник, и все сослуживцы в один голос решили: «Завтра все к тебе, Лычков!»

Чтоб придать тону своему вторнику и сделать его известным целой Москве, Михайло Памфилович обдумал, что для этого надо залучить к себе и известных московских литераторов. На

[1] Здравствуйте, господин Лычков *(франц.)*.

первый вторник, в который так неожиданно должен был совершиться литературный вечер у Михайлы Памфиловича, нельзя было никак распорядиться насчет известных литераторов; но все-таки он решился сделать визиты всем, с которыми кланялся в обществе. Но прежде всего надо было предуведомить папеньку и маменьку, которые были в восторге от успехов сына в свете и потворствовали ему елико возможно.

Папенька Михайлы Памфиловича, Памфил Федосеевич, был, казалось, человек простой и добряк, по крайней мере на старости лет; но несмотря на простоту, он умел, со вступления на поприще житейское, сколотив изрядный капитал, купить именье и величаться помещиком. Так как это достоинство досталось ему довольно уже поздно, то он и не успел войти в круг знакомства, соответственный властителю двухсот душ и обладателю капитала, дающего около десяти тысяч процентов. Большой круг требовал новых привычек; а расставаться с старыми, с которыми сжились душа и тело, было и жалко и трудно. Чувствуя невозможность самому почваниться в свете и показать, что мы, дескать, сами с усами и не последние из личных дворян, Памфил Федосеевич сосредоточил свое честолюбие на успехах в свете единственного и возлюбленного сына, Мишеньки. Мишенька не изменил надеждам отца.

Пожилая супруга Памфила Федосеевича, Степанида Ильинишна, несмотря на толстоту свою, так и лезла в гору и, без сомнения, взобралась бы на нее и завела знакомства и с графинями и с княгинями, потому что она сочувствовала своему достоинству и всегда говорила: «Эка невидаль, графство!» Но, к несчастью, она не знала *по-французскому;* а без этого, *черт знает чего,* невозможно было показаться в русской гостиной, как с непричесанной головой. Не являясь в свете, Степанида Ильинишна сосредоточила свое высокое достоинство в своем дому да в кругу старых знакомых — губернских и коллежских регистраторш и секретарш, с которыми издавна она покумилась и без секретов которых, гаданий и сплетней, не могла уже обходиться. Сверх того и привычная, бессменная партия бостончика или вистика сроднила ее с ними. Но, как боярыне, ей нельзя уже было не нежиться, не чувствовать боли в какой-нибудь части тела и не лечиться *лопатией* [1] или *гамепатией* [2]. И то и другое не приносило ей пользы, особенно после за̀говенья или ро̀зговенья. Отлежав однажды бок, она почувствовала онемение. Призванный медик вообразил, что это следствие полноты и излишества крови и немедленно же предписал, кроме следуемых микстур, приставить к боку, на первый раз, не менее пятидесяти пиявок; пиявки исполнили свое дело как следует: выпили кровь да еще про запас притянули к боку достаточное ее количество.

---

[1] Искаженное — аллопатия.

[2] Искаженное — гомеопатия.

С тех пор обиженный бок стал беспокоить Степаниду Ильинишну. Она почла за долг проклинать лопатию и призвать в помощь гамепатию; но бесконечно малые приемы не нашли дороги из желудка к боку и воротились на белый свет без пользы. Прослышав про чудеса магнитизирования, Степанида Ильинишна расспросила, каким это образом лечатся новым способом? Кумушка Арина Ивановна тотчас же объяснила ей, что, дескать, есть два способа: первый способ самому магнитизироваться: доктор начнет водить руками по всему телу, покуда сон наведет...

— Нет, нет, нет, матушка, этого-то я с собой не позволю делать! Скажи, какой другой?

— А другой способ: доктор возьмет да намагнитизирует какую-нибудь девушку, да и спросит у сонной, какое лекарство он должен дать больной. Всю подноготную скажет! Удивительное дело! Что-то уж и не верится!

— Верится или не верится, отчего же не попробовать! Я попробую: велю намагнитизировать Дуньку да расспросить у ней, какое, дескать, для барыни лекарство нужно? Глупа только, где ей сказать! Ну, да не велика беда попробовать.

— Уж кстати бы и я полечилась, Степанида Ильинишна.

— Пожалуй, матушка, убытку мне от этого не будет.

— Так пришлите мне сказать, как будут магнитизировать.

— Изволь, пришлю.

Степанида Ильинишна в самом деле послала Сидора искать по Москве иностранного доктора, что магнитизирует. Сидор тотчас же отыскал иностранного доктора, что мозоли сводит.

— Здравствуйте, батюшка,— сказала Степанида Ильинишна.— Эй, Дунька... Вот, намагнитизируйте, пожалуйста, девчонку да расспросите у ней, чем лечить от бока? у меня бок болит... Вот она.

Дунька явилась, стала в дверях и смотрела исподлобья на мозольного мастера, не понимая, зачем ее представляют ему.

— Вот она, сделайте одолжение; а я уж уйду, не могу смотреть... извините!

Степанида Ильинишна вышла, а мозольный мастер показал Дуньке стул, помог ей разуться. Дунька не смела противиться.

Кончив операцию, в ожидании вознаграждения он походил по комнате, кашлянул несколько раз. Степанида Ильинишна со страхом взглянула в двери.

— Что, уж кончено?

— Ага! — отвечал доктор по части мозолей.

— Что ж, какое же лекарство-то мне предпишете?

Он подал ей скляночку и сказал по-немецки, жидовским наречием, что она увидит на опыте, как хорошо это лекарство сгоняет мозоли.

— Как же, батюшка, принять это или намазывать? — спросила Степанида Ильинишна, подавая в вознаграждение десятирублевую ассигнацию.

Вместо ответа оператор поклонился и вышел.

— Что ж это он не сказал мне, что надо делать с этим? да уж верно намазывать... это мазь. Дунька! расскажи мне, что он с тобой тут делал? Да, смотри, говори сущую правду.

— Да бог его знает, сударыня, посадил на стул, велел разуться, да чем-то помазал пальцы.

— Только? Что ж ты, заснула?

— Никак нет, сударыня.

— Коли не спала, так что ж он тебя спрашивал?

— А бог его знает! он ничего не спрашивал.

— Врешь, дура; сама не помнишь, верно спала.

— Ей-богу нет-с!

— Врешь, глупая; ведь он тебя магнитизировал.

Дунька, не понимая, молчала.

— То-то, заставишь дуру что делать, сам не рад! Что ж, намазывать этим или принять?

— Да вот он этим, кажется, и мазал.

— Попробую; беды, чай, не будет,— сказала Степанида Ильинишна и Дуньке же велела растирать мазью бок.

Оказалось, что мазь лучше действовала от боли в боку, нежели от мозолей; у Дуньки разболелись ноги, так что она ступить не могла; а у Степаниды Ильинишны на другой же день боку стало гораздо лучше. Она решилась всегда лечиться магнитизированием и вспоминала об обещании, данном Арине Ивановне. Арина Ивановна страдала головной болью; и от головной боли мазь помогла, только волосы полезли страшным образом.

— Нет, уж, матушка, Степанида Ильинишна, покорно благодарю за нее: лучше останусь с головными болями, чем быть плешивой.

— Напрасно, Арина Ивановна, в волосах-то, верно, и сидит твоя боль. Есть чего жалеть! вырастут другие. Я вот полечилась, да пан теперь. И вперед случись что, тотчас же велю Дуньку магнитизировать.

Такова была маменька Михайлы Памфиловича.

— Папà, у меня сегодня будет литературный вечер,— сказал однажды Михайло Памфилович, войдя, по старому обычаю, к отцу пожелать ему доброго утра.

— Это что такое значит, Миша? Что за литературный вечер? — спросил отец.

— Ведь я вам сказывал, папà, что я познакомился с литераторами.

— Так что ж такое?

— Я бываю у них на литературных вечерах, нельзя же и мне не *сделать* литературного вечера.

— В самом деле! Ну, я поговорю с матерью. Надо же посоветоваться.

— Помилуйте, как это можно откладывать; все условились быть у меня сегодня, и вообще по вторникам.

— Помилуй, всякой вторник у тебя будут литературные вечера!

— А как же иначе; уж это так водится; все приедут, мне не больным же сказаться.

— Да кого ты звал?

— Московских литераторов.

— Да кого именно?

Этот вопрос затруднил несколько Михайла Памфиловича.

— Как кого, папенька, мало ли литераторов; некоторые вместе со мной служат...

— Ну?

Михайло Памфилович высчитал имена всех известных и неизвестных литераторов; но если б не прикрасил сиятельными и чиновными, то славные имена не произвели бы никакого влияния на Памфила Федосеевича.

— Неужели? — сказал он,— и князь будет?

— Да, вероятно, будет... он...

— Да ты говоришь, еще главный сочинитель будет?

— Да, папа.

— Черт знает, Миша, ты, право, лжешь!

— Ей-богу, я у него был, он такой очаровательный человек... я с ним коротко познакомился.

— Хм! удивительно! Ведь он, брат, действительный статский советник.

— Что ж такое? мало ли поэтов в чинах; например, Глинка и Дмитриев также действительные статские советники.

— К тебе в гости? Ну, брат, Миша, высоко ты забираешь! Надо подумать! ведь все-таки они не к тебе, а ко мне в дом будут.

— Помилуйте, папà, когда тут думать? ввечеру они все приедут.

— Что ж ты не сказал прежде? ведь это ни на что не похоже: зовет гостей не спросившись?

— Когда же мне было сказать вам; вчера ввечеру все согласились быть сегодня у меня.

— Поди-ну!.. Надо подумать, как принять! я поговорю с матерью.

— Да ничего не нужно особенного; только надо попросить maman, чтоб вместо булок и сухарей к чаю, купить английской соломки... продается в кондитерских...

— Ну, это уж не мое дело.

— Да мне нужно, папà, пятьсот рублей.

— Помилуй, Миша! давно ли ты взял пятьсот рублей?

— Ведь я говорил вам, что я пожертвовал их на человеколюбивое заведение... Нельзя же мне было... ведь я член.

— Да! ну! черт знает, братец, накладно!.. На что ж тебе еще столько денег?

— Мне непременно надо купить библиотеку: мне стыдно будет перед литераторами, что у меня нет ни одной книги.

— Что, брат, говорил я тебе: береги, Миша, свои книги,— пригодятся.

— Да что ж мне в учебных книгах! Мне по крайней мере необходимо иметь сочинения литераторов, которые у меня будут.

— Ты совсем обобрал меня!

— Что ж делать, папа̀.

— То-то, что делать!.. На!

— Удивительный мальчишка! — сказал Памфил Федосеевич про себя, смотря вслед сыну, который, оправив перед зеркалом волосы, платок на шее и булавочку на манишке, вышел вон.— Удивительный мальчишка!.. Скажи, пожалуйста, только что из яйца вылупился, а с какими людьми уж свел знакомство!..

— Степанида Ильинишна!.. Эй! кто тут!.. провалились! Варька! Иван!

— Что ты, батюшка, раскричался! опять нога, что ли?

— Какая нога! что за нога! совсем не нога, а Миша. Ей-богу, это удивительный мальчишка!

— Что он тебе сделал? что не по-твоему?

— Не по-моему; разумеется, что не по-моему!

— Так и надо кричать?

— Да кто кричит? помилуй!

— Да ты! посмотри, из себя вышел!

— Ах ты, господи, слова не даст сказать!

— Да говори, кто тебе мешает!

— Я хотел сказать тебе, что это удивительная вещь; представь себе! что еще он — мальчик, молоко на губах не обсохло... Куда ж ты?

— Да что мне слушать брань...

— Откуда брань? Кто тебе сказал, что брань? дай окончить-то!

— Ну?

— Я хотел сказать, что, что еще он? мальчик, а ведет знакомство с какими людьми!

— Ну, что ж? молод и знакомится с молодежью; а тебе не по сердцу?

— Ну, кто говорит что не по сердцу? ты не дашь выговорить! Какая молодежь!.. вельможи, матушка! вельможи к нему назвались на вечер!

— Полно, пожалуйста, вздор молоть! с какой стати назовутся к Мише вельможи?

— Я тебе говорю! из студентов-то он в сочинители хватил! Вот и назвалась вся братья сочинителей к нему на вечер; да какие люди-то — все известные!.. в каких чинах! А? каков Миша-то? а? Степанида Ильинишна!

— Что ж, слава богу, недаром мои заботы были об нем.
— Ты! все ты! а уж я ничего!
— Хорош бы он был хомяк, если б пошел в тебя! Не сам ли ты говорил ему: не водись с людьми, которые тебе не по плечу.
— Да! в старину это было так, а теперь — другое дело. В старину кошки мышей ели, а теперь не едят — вишь, подай молочка да говядинки.
— Это все на Ваську ты метишь!
— Э, поди ты с своим Васькой; не о том дело; надо подумать, как принять, ведь сегодня ввечеру все у нас будут.
— Как сегодня ввечеру?
— Да так! назвались, как хочешь и принимай!
— Ты шутишь, что ли?
— Какая шутка; нагрянут человек двадцать.
— Миша с ума сошел! назвал гостей; да еще все незнакомых; а у нас ничего не готово, комнаты не прибраны... Господи! когда ж я обернусь! Надо самой ехать заказать мороженое, купить провизии; нельзя без ужина или, по крайней мере, закуски... Ничего не успеешь сделать! Я думаю, все, что куплено к обеду, оставить к вечеру, а сами чего-нибудь перекусим.
— За винами надо послать; да уж я распоряжусь в этом... А! вот кстати!
Вошли Григорий Иванович и Лукьян Анисимович. Это были старые сослуживцы Памфила Федосеевича на службе по откупам.
Григорий Иванович был в старину кос и сохранил этот недостаток и в старости.
Лукьян Анисимович и в молодости и в лета мужества был рыж; но под старость лишился прекрасных волос своих, а клочки на висках поседели.
Григорий Иванович жил уже домиком, а Лукьян Анисимович не умел сберегать нажитого и потому продолжал службу по части *хождения по делам.*
— Вот кстати пришли! здравствуйте, Григорий Иванович; садись, брат, Лукьян Анисимович... Иван! наложи Лукьяну Анисимовичу трубку.
— Я сам наложу-с, Памфил Федосеевич.
— Ну, накладывай. А что, Григорий Иванович, ведь вы, кажется, продолжаете читать книги?
— Не засну, сударь, без чтения. Вчера, например, прочел очень занимательный журнал. Ах, как ругается! да еще кого ругает-то: Александра Петровича Сумарокова! такую экзекуцию задал, что ужас!
— Уж чтоб теперь был такой сочинитель, как Сумароков, да уж я не знаю! — сказал Лукьян Анисимович, закурив трубку и подсев важно к Памфилу Федосеевичу, с желанием принять участие в разговоре.— У меня, правда, только одна часть его

сочинений: ну, да уж наслаждение! уж надо сказать! Чуть свободное время — я и читаю; тысячу раз перечитал, ей-богу-с. А уж чем больше читаешь, тем как-то все лучше. Что нынешние книги! мой Ваня таскает их на дом кучу. Вот журналы-то, журналы, что вы говорите, Григорий Иванович, да я в толк не возьму: писано как-то без расстановки, да всё слова какие-то особенные.

— Нет, Лукьян Анисимович, не говорите. Правда, есть слова, что вдруг и в толк не возьмешь, а как подумаешь хорошенько, так это то же слово, да по новому правописанию; примером, по-нашему был *Кишот,* а теперь пишут — *Кихот:* гораздо нежнее; в наши времена *Невтоном* называли одного астронома, а теперь — *Ньютоном,* так-то и прочие все слова: примером, вот я вчера начитал: *Пафос,* что бы это значило? Думал, думал, наконец, догадался, что это тот же *Бахус.*

— Да что ж нового-то в журналах?

— Как что?

— Намедни развертываю, дай, думаю, прочту что-нибудь новенькое. Ай да новость: Колумб открыл Америку!

— Не знаю, верно вам какой-нибудь старый журнал попался.

— Нет, не старый!

— Постой, Лукьян Анисимович! Ну, что ты споришь; знаешь ли ты хоть кого-нибудь из сочинителей?

— Где ж их знать, Памфил Федосеевич: сроду не видывал; да и где ж их видеть? Они в люди не показываются. Слава богу, вот уж двадцать лет в Москве живу, а нигде, просто нигде в глаза не видал сочинителя.

— Ну, а я тебе покажу всех до единого! Хочешь?

— Не знаю; а любопытно было бы посмотреть.

— А, знаю,— сказал Григорий Иванович,— у Памфила Федосеевича, верно, ихная книга с портретами.

— Нет, брат, живьем покажу!

— Да где же?

— Отгадай!

— А! говорят, что выдумали какие-то особенные вечера, где их собирают сочинять стихи.

— Литературные?

— Та-та-та, именно!

— Не знаю,— сказал Григорий Иванович,— а я не так слышал; я слышал, что на литературные вечера для того собирают сочинителей, чтоб издавать журналы.

— Уж в этом извините, Григорий Иванович: журналы издают не сочинители, а редакторы.

— Да! ну, об этом не спорю: ономедни, был я по делу у Степана Васильевича, вдруг приезжает к нему какой-то молодой человек, щеголь, платье сидит, точно как на нем самом утюжено. Степан Васильевич и спрашивает: «Ну, как вы провели время

на литературном вечере?» — «Очень скучно, по обыкновению»,— говорит. «Что ж делали там?» — «По обыкновению, ничего». Степан Васильевич захохотал; а потом стали говорить по-французски.

— Что-нибудь да не так, Григорий Иванович,— сказал Памфил Федосеевич,— а главное, хотите быть на литературном вечере?

— Если куда-нибудь ехать, так не знаю...

— Шагу не сделаешь с места, братец! — сказал торжественно Памфил Федосеевич,— всех без исключения здесь, у меня, увидишь!

— Не знаю,— сказал Лукьян Анисимович.

— Да, всех увидишь; назвались к сыну; ты знаешь ли, что и Миша сочинитель? Да какие люди-то будут!.. генералы! Ввечеру, вот здесь.

— Любопытно! вот что любопытно, так любопытно!

— А? каков у меня сынишко? с какими людьми ведет знакомство! Давно ли перестал учиться? Думал, вот надо хлопотать об определении на службу, просить добрых людей, кланяться... ан он сам себе добыл место; да еще какое! по особенным поручениям! и как пошел-то!.. Кажется, я говорил вам, что он на днях сделан действительным членом общества любителей садоводства?

— Как же, Памфил Федосеевич, знаю: я уж просил его, чтоб он для моего садика снабдил меня разными семенами.

— Э-гэ! вишь ты какой! Даст, братец, не бойся; я сам ему напомню.

— Уж как одолжите-то!

— На всех литературных вечерах бывает; не из последних: недаром все сочинители назвались к нему на вечер.

— Когда ж это?

— Сегодня.

— Ей-богу? Это... я вам скажу!

— А? Как ты думаешь, Григорий Иванович?

— Да, любопытно взглянуть на сочинителей; я хоть и много читал, почти все сочинения; но читать все не то. Я читал вот и Полевого, Булгарина читал, читал вот Кота бурмосеку, как бишь его? Сейчас припомню... а вот не знаю, кто переводит Поль-де-Кока... Это штука! Возьмешь книгу — не оставишь.

— Так если, господа, хотите видеть сочинителей — милости прошу, мы их вам покажем. Миша поехал уж покупать библиотеку.

— Библиотеку для чтения?

— Э, нет, брат, нет, Григорий Иванович: ты возьмешь книгу, другой возьмет, третий — шкаф и пуст. А сыну нельзя без книг. А вот что я тебе скажу, уж извини; как соберутся, я тебя вперед и выставлю; ты заводи с ними разговор о книгах: ты в этом деле знаток, так и мне ловчее будет слово приставить.

— Нет, Памфил Федосеевич, как-то конфузно заводить разговор.

— Нет, сделай одолжение!

— Нет, право, конфузно; пожалуйста, не заставляйте!

— Нет, уж как хочешь!

— Не знаю, отставной ли мундир надеть, или просто в партикулярном фраке?

— Генералы, братец; я думаю, пристойнее в мундире; я сам надену мундир; с коронации не надевал, да нечего делать.

— Так прощайте покуда, Памфил Федосеевич: мне надо купить еще темляк, да и шляпенка очень стара...

— Ах ты, господи! — вскричал Памфил Федосеевич,— совсем из головы вышло!

— Что такое?

— Степанида Ильинишна уехала; а я и позабыл сказать ей, чтоб купила английской-то соломки!

— Для чего вам английская солома?

— К чаю, братец!

— Как, к чаю?

— Как, к чаю! ну, просто к чаю, вместо хлеба и сухарей.

Лукьян Анисимович пожал плечами и посмотрел на Григория Ивановича с выражением: не сошел ли Памфил Федосеевич с ума?

Григорий Иванович понял и покачал головою.

— Уж лучше с мякиной, чем с соломой, Памфил Федосеевич,— сказал Лукьян Анисимович, ставя трубку на окно и взявшись за шапку.

— И этого-то ты не понимаешь! Едал пирожное *кудри?*

— Это знаю.

— Ну, так царские кудри похожи на кудри; а это на солому.

— А! стало быть, это пирожное?

— Не пирожное, а просто из теста или из муки сделана солома, а ее едят с чаем.

— Что не выдумают; а все англичане. Я и чай с маслом чухонским однажды попробовал — очень недурно. Так прощайте, Памфил Федосеевич.

— Прощайте, Григорий Иванович.

— До свидания.

— До свидания, Лукьян Анисимович.

Между тем как Памфил Федосеевич занялся рассматриванием своего мундира, сынок его приехал в книжный магазин и потребовал сочинения *всех русских литераторов.*

— Вам, верно, составлять библиотеку? — спросил книгопродавец, человек с книжным смыслом, который понимал достоинства литературных произведений и, вероятно, знал, что и книги, как людей, по платью встречают, а по уму провожают; что рост

и дородность есть достоинства более всего замечательные; что самая занимательная и *ходкая* книга есть или шут, или забавник, или враль, или любезник, который говорит очень мило пошлости; или рассказчик-сплетник, который выносит сор из избы и взводит на всё и на всех небывальщину; или выглядывающий колдуном, падшим ангелом, на которого находит стих, смущающий душу; или, наконец, какой-нибудь модник, который *весь не свой.*

— Вам, верно, составлять библиотеку?

— Именно.

— Так вот Ломоносова сочинения, Державина, Сумарокова.

— Э, нет, мне этих не нужно.

— Так какие же сочинения всех литераторов? Может быть, «Сто литераторов»? Вышел только один том.

— Дайте мне сочинения всех московских литераторов: Загоскина, Погодина, Полевого.

— Полные сочинения?

— Полные.

— Налицо всех нет теперь, в палатке; да вам, чай, нужны в переплете; так дня через два будут готовы.

— Нет, мне сегодня нужно.

— Так не угодно ли взять, что есть налицо. Да ведь московского нынче нет ничего нового. Вот не угодно ли новый роман К.?

— Нет, К....а мне не нужно.

— Прекрасный роман, в четырех частях. Он теперь здесь, в Москве.

— В Москве? неужели? Ах, мне надо с ним видеться; где он стоит?

— В гостинице «Европа».

— Так положите и роман К....а; да поскорее, мне некогда.

— Сию минуту; да уж позвольте иные *в бумажке* положить: это все равно-с лучше переплести, когда поизорвутся.

— Хорошо; или нет... Впрочем, пожалуй.

Книгопродавец понял, с кем имел дело. Он навязал огромную кипу московского литературного хламу, подкрасил несколькими романами и повестями известных писателей, составил счет на двести пятьдесят рублей; взял деньги, низко поклонился доверчивому покупщику и сам вынес книги в коляску.

Михайло Памфилович заехал еще во французский магазин, купил несколько изданий illustrés с политипажами, и потом помчался в «Европу».

— Здесь стоит господин К...?

— Извольте посмотреть, на доске записано.

— А! в третьем нумере; где третий нумер?

— Извольте идти наверх: там покажут.

Михайло Памфилович, входя на лестницу, снял шляпу, поправил гребеночкой волоса, отыскал сам третий номер, потому

что в коридоре никого не случилось. Дверь не заперта; вошел в переднюю — никого нет; но в комнате кто-то распевает.

Михайло Памфилович приотворил легонько двери и вздрогнул, когда раздалось:

— Кто там?

Раскинувшись с ногами на диване, лежал довольно еще молодой человек, с истощенным уже лицом, с впалыми глазами, но в которых блистал огонь. Венгерка нараспашку, руки по карманам широких шаровар.

— Извините,— проговорил Михайло Памфилович, сделав современный реверанс головой вперед и поправляя очки,— в передней никого нет... и я не мог предупредить карточкой... Узнав, что вы посетили Москву, я, как почитатель вашего таланта...

— Покорнейше прошу! — сказал Дмитрицкий, окинув быстрым взглядом Михайла Памфиловича.— С кем имею честь говорить?

— Я так люблю русскую литературу,— отвечал Михайло Памфилович, подавая карточку,— я наслаждался чтением ваших сочинений и не мог отказать себе в желании видеть известнейшего нашего литератора.

«О-го! я сочинитель! прекрасно! Я думал поискать со свечой такого знакомца, а он сам явился: *Михайло Памфилович Лычков*»,— подумал Дмитрицкий, прочитав визитную карточку.

— Очень рад познакомиться, сказал он вслух,— вы мне делаете много чести.

— Помилуйте, я так уважаю гениальность.

— Вероятно, и сами сочиняете? Кажется, я что-то читал...

— Ах, нет, я еще совсем неизвестен на этом поприще...

— Вы постоянный московский житель?

— Постоянный.

«Ну, о чем же мне еще с ним говорить?» — подумал Дмитрицкий, смотря на Михайла Памфиловича, который почтительно устремил на него свои очки и ожидал нового вопроса.

— Москва — бесподобный город!

— Вам понравилась? Но как вы ее находите в сравнении с Петербургом?

— О, я нахожу, что Москва гораздо обширнее... Вы имеете здесь собственный дом?

— Как же-с, мой батюшка имеет свой собственный.

— Чем же вас потчевать?.. Эй, кто тут? Что-нибудь закусить да бутылку шампанского!.. да сыру! Ведь я сказал, чтоб кто-нибудь здесь дежурил! Представьте себе, я здесь один-одинехонек, даже человека нет со мной.

— Вероятно, приехали в дилижансе? Человек — совершенно лишнее.

— О, как можно, я не привык ездить без своего человека. Но у меня, верст за пятьдесят отсюда, сломался экипаж, два колеса вдребезги, а ось пополам; я оставил коляску, людей, чтоб

как-нибудь починили, а сам поскакал на почтовых, приезжаю в дом к одному знакомому, а он уехал из Москвы. Что делать? принужден был остановиться в гостинице.

— Это, точно, неприятно.

— Очень, очень неприятно! Вы трубку курите или сигары? Эй! подай сигар, да лучших!.. Не угодно ли отведать сыру... Откупорь! Это не кислые щи?

— Как можно-с; самое лучшее шампанское.

Дмитрицкий налил стакан, хлебнул.

— Изрядное!.. Покорно прошу!

Михайло Памфилович знал приличие, что от шампанского не отказываются, и потому взял стакан и прихлебнул.

— Это что такое? нет, извините, мы чокнемся! Как бишь ее... Кастальскую воду пьют залпом, чтоб не выдохлась.

В восторге от приему и дружеской простоты обращения Михайло Памфилович не умел отказаться от второго стакана.

— А я хотел просить вас,— сказал он,— сделать мне честь.

— Все, что прикажете.

— У меня сегодня литературный вечер, соберутся несколько московских известных литераторов... Надеюсь, что и вы не откажете быть у меня. Все так рады будут с вами познакомиться.

— На литературный вечер? — сказал Дмитрицкий, рассуждая сам с собой: «За кого этот мусье принимает меня? за какого-то известного литератора, которого никто еще в глаза не видал? Да это прекрасно! Отчего ж не сыграть роль известного литератора?.. Он же меня ни по имени, ни по фамилии не величает, и я не скажу, кто я; из этого выйдет при развязке славное кипрокò!» [1]

— Очень бы рад, да не знаю, как это дело устроить; я теперь совершенно в затруднительном положении.

— Да не угодно ли вам переехать ко мне? — сказал Михайло Памфилович.

— К вам?.. «хм!..— подумал Дмитрицкий,— и это прекрасно!..» Но представьте себе, я здесь без платья и без денег, со мной только ключи от шкатулки... у меня недостанет даже денег здесь расплатиться. А скоро ли приедет Сенька с коляской! Остановясь в доме у приятеля, я не нуждался бы в деньгах; но вот, что хочешь делай!

Дмитрицкий вынул кошелек и вытряхнул из него ключик и червонец.

— Сколько вам нужно, я могу служить,— вызвался Михайло Памфилович. Самолюбию его льстила возможность служить известному литератору; притом же ему очень хотелось уже сказать всем и каждому: «У меня остановился К...»

— Со мной есть около двухсот рублей,— сказал он, вынимая бумажник.

---

[1] Недоразумение, путаница *(франц.)*.

— О, это еще с лишком, я думаю столько и не нужно будет,— сказал Дмитрицкий, взяв деньги.— Эй!.. счет!.. да! призови сюда ямщика!

— Дорога, я думаю, прескверная.

— Прескверная; а хуже всего было то, что нечего было есть.

— А гостиницы по дороге?

— Помилуйте, это ужас!.. Ну, сколько?

— Тридцать два рубля-с.

— Вот вам пятьдесят, да с тем, чтобы всех обсчитывали так же, как меня... А тебе, мужик-сипа, кажется, следует шестьдесят рублей? да червонец на водку, не так ли?

— Если милость ваша будет.

— Ну, вот тебе от моей милости семьдесят пять рублей, кланяйся!

— Много благодарны.

— То-то же, я не богат, да тароват. Ступай! кажется, со всем распорядился... Не угодно ли получить семьдесят пять обратно? За мной сто двадцать пять.

— Так точно. Мы можем ехать?

— У вас есть чем побриться?

— Все, что вам угодно.

— У меня и бритв с собой нет; дурак Сенька положил чемодан в телегу, чтоб мне мягче было сидеть; а ключи оставил у себя.

— Чтоб перевезти чемодан, можно приказать нанять извозчика, а мы сядем в коляску.

— Конечно. Эй! найми извозчика и перевези мой чемодан к ним, по адресу.

— Недалеко отсюда.

Михайло Памфилович сказал адрес. Все устроено. Дмитрицкий сел с ним в коляску, и отправились.

— Я уж у вас буду без церемоний, в чем есть.

— К чему же церемонии!

— Я их и не люблю. Приедете ко мне, воздам вам сторицею; за хорошую игру в простых сдам вам игру в сюрах. А что, кстати, говорят, что в Москве ведут огромную игру?

— В английском клубе.

— В банк?

— Нет, банк запрещен; здесь играют преимущественно в палки.

— Что ж, палками можно также отдуть.

— Как вам нравится Москва в сравнении с Петербургом? — повторил опять старый вопрос Михайло Памфилович, которого постоянно улыбающаяся физиономия от двух стаканов шампанского и чести ехать вместе с известным свету человеком приняла вид важный, ожидающий со всех сторон предупредительных поклонов.

— Как нравится Москва? в каком отношении? — спросил Дмитрицкий.

— В отношении общего вида, в отношении наружности?

— О, мне все равно, в каком сосуде ни заключаются люди, лишь бы они были такие, какие мне нужны. А что, здесь много хорошеньких?

— О, вам непременно надо быть в благородном собрании или в театре; вы увидите бо-монд [1] московский и всех красавиц; если хотите, мы поедем вместе.

— Мне кажется, напротив, где много красавиц, там не увидишь ни одной. Приятнее знакомство: в доме хорошенькая хозяйка, миленькие дочки, и тому подобное; но чтоб особенно дочки не были опасны для сердца.

— Это каким же образом? Хорошенькие всегда опасны.

— Совсем не всегда: что за опасность, например, влюбиться в девушку, которая может принести тысяч сорок доходу? Это все равно, что влюбиться в тысячу душ и взять их за себя, или влюбиться в значительный капитал и перевести билет на свое имя.

Эта философия поразила Михайла Памфиловича: он уважал любовь всем сердцем.

— Вы поэт, а судите так прозаически,— сказал он.

— Это так вам кажется, потому что вы в восторге. Во время восторга я совершенно иначе думаю; я думаю, что рай только *с нею* или *в ней.*

— Вот мы и приехали,— сказал Михайло Памфилович.

Коляска въехала на двор и остановилась перед крыльцом.

— Прекрасный дом! — заметил Дмитрицкий, выскочив из коляски вслед за Михайлом Памфиловичем, который провел его через переднюю на антресоли.

— Рекомендую вам мою обитель; а вот... покорнейше прошу, ваша комната.

— Я вас не стесняю?

— О нет, это мой маленький кабинет; у меня здесь достаточно комнат.

— Прекрасно! очень мило! вы очень мило живете!

— Не прикажете ли сигар? я сейчас велю подать огня.

И Михайло Памфилович побежал вниз.

«Славный дом! очень порядочно живет! верно, хороший достаток! — рассуждал Дмитрицкий, засев на диване и рассматривая комнату. Шелковые занавески, столик, накрытый салфеточкой, на столике зеркальцо, раскрытый напоказ несессерец,— несколько баночек помады, разные душки, щеточки и гребеночки, все как следует!.. Между окон бюро, на бюро Наполеон да два каких-то старикашки... По стенам в рамках раскрашенные красавицы... Прекрасно... Перед диваном столик, на сто-

---

[1] Высший свет *(франц.)*.

лике лампа на бисерном коврике... Очень мило!.. Несколько визитных билетов разбросано по столу... с нами, дескать, знаются люди!.. Князь ***... О-го!.. Однако ж я не вижу ни одного ломберного столика... Это невежество, которого я и не ожидал от молодого человека; дело другое говорить, что совершенно не умеешь играть в карты; но не играть — это глупо!»

Между тем как Дмитрицкий рассуждал таким образом, рассматривая свое новоселье, Михайло Памфилович сбежал вниз, поцеловал у папеньки и у маменьки ручку.

— С кем это ты приехал, Миша? — спросила мать.

— Это, маменька, известный литератор К...

— Помилуй, Миша, с чего это ты взял, не сказываясь отцу и матери, сзывать в дом гостей? да добро бы хоть за день сказался: у нас здесь не трактир, ничего готового нет!

— Да что ж делать, маменька, сами назвались.

— Не отказывать же стать, друг мой, когда такие люди называются,— сказал в защиту сына Памфил Федосеевич,— известные люди, вельможи делают честь...

— Честь! да эту честь надо поддержать! не в грязь же ударить лицом! да что ж, этот, что спозаранку приехал?

— Господин К... остановился у меня.

— Как остановился?.. Скажи, пожалуйста, остановился у него!

— Постой, матушка, дай слово сказать.

— Кто ж он такой, Миша?

— Он только что приехал из Петербурга.

— Поди ты: у него уж и в Петербурге знакомые! Что ж он, служит там?

— Он, кажется, служит при министерстве.

— Скажи, пожалуйста! при министерстве?

— Ах, господи, боже мой! я думала вместо обеда велеть ужин готовить для гостей, ан вот и обед готовь! Просто, сударь, суматоху поднял в целом доме! Когда же успеет повар и обед и ужин готовить?

— Да зачем, маменька, ужин? просто закуску, à la fourchette![1]

— Поди ты с модными своими фуршетами! Терпеть не могу гостей отпускать голодными, угощать только фаршами, вот вздумал!

— Совсем не то, маменька: так называется, когда на стол не накрывают, а просто подают кушанье.

— Как просто?

— Каждый возьмет себе чего-нибудь.

— Чего-нибудь у меня не будет, а будет ужин.

Михайло Памфилович, как покорный сын, никогда не спорил

---

[1] Легкая закуска (*франц.*).

с родителями, но всегда делал по-своему. Когда противилась маменька, его сторону держал папенька, и наоборот.

Снизу Михайло Памфилыч побежал опять к себе на антресоли, несколько раз спросил гостя своего: не угодно ли ему чего-нибудь? и наконец, извинясь, что на минутку отлучится, поскакал с визитами к двум-трем литераторам, обдумывая дорогой все средства, которыми можно было бы залучить к себе какую-нибудь известность.

Литераторы по большей части не жесткий и простодушный народ. Слабая струна у них всегда наруже: человек хоть не дальний, да похитрее и посмелее тотчас может произвести на них впечатление, только не затрогивай ничем гордость. Звать просто ни с того ни с сего к себе, зòвом их не соблазнишь; но на каждого есть приманка и особенно страстишка к каким-нибудь редкостям искусств, к древностям, к ветхостям, к собраниям каких-нибудь автографов великих людей и прочее.

Приехав к первому, Михайло Памфилович, усладив его вступлением о славе его, стал ахать и удивляться редкой библиотеке, а особенно маленькому собранию редких монет.

— Ах, какие редкие монеты! — повторял он без умолку,— у меня есть одна монета, но не знаю, какая она, должна быть очень древняя.

— С каким изображением?

— Изображен царь, а надпись... я не заботился разбирать: я мало в этом знаю толку; но, кажется, надпись славянская.

— Это очень любопытно.

— Завтра хотел приехать ко мне один знаток...

— Очень, очень любопытно бы видеть ее.

— Я вам могу служить ею... Если пожалуете ко мне сегодня ввечеру...

— Постараюсь быть непременно.

Взяв слово и рассказав свой адрес, Михайло Памфилович поехал от литератора прямо в меняльную лавку.

— Есть древние монеты?

— Редчайшие-с.

— Что стòит эта?

— Эта дорога-с; монета римского императора Антония. Вот с другой стороны и Клеопатра.

— Ну, что ж стòит?

— Сто рублей, без торгу.

— О, как дорого, нет! А эта?

— Это сибирский грош... Теперь уж и они редки.

— Ну, хочешь за обе пятьдесят рублей?

— Как можно!

— Больше не дам.

— Для первого знакомства, извольте!

Заплатил деньги, отправился к другому литератору, который между прочим похвастался собранием редких автографов.

— Ах, у меня есть собственноручные записки всех великих людей прошлого столетия и, между прочим, кажется, письма царевны Софии.

— Как это любопытно! позвольте мне взглянуть.

— Сделайте одолжение! Да не угодно ли вам посетить меня сегодня ввечеру, я бы вам показал кстати альбом рисунков одной дамы: все лучшие живописцы Европы рисовали для нее.

— Сегодня, право, не могу; завтра, если можно...

— Как жаль, завтра она уезжает. Хоть на минутку заезжайте.

— Очень хорошо.

Вот Михайло Памфилович поскакал к одному знакомому за автографами, а в один знакомый дом за альбомом.

Этот знакомый дом был дом Софьи Васильевны, в котором мы не были со времени бегства Саломеи Петровны. Петр Григорьевич, убедившись, что дочь бежала, плюнул и сказал жене:

— Вот твое воспитание!

Но Софья Васильевна была в отчаянии.

Желая утешить себя по крайней мере устройством судьбы Катеньки, она послала на третий день за Василисой Савишной.

Василиса Савишна явилась, словно подернутая туманом.

— Слышала, Василиса Савишна? — сказала Софья Васильевна, залившись слезами.

— Слышала, сударыня! да это чудо какое-то; знаете ли, почему я к вам и идти не хотела?

— Что такое?

— Федор Петрович сквозь землю провалился.

— Как?

— Да так и так.

Эта новость совершенно убила Софью Васильевну. Два несчастия совершились; надо было ожидать третьего. Но вместо ожидаемого несчастья через несколько дней перед домом на улице остановилась роскошная карета, запряженная чудной четверкой гнедых; человек в ливрее вбежал в переднюю и спросил, дома ли господа?

— Кто такой? — спросила нетерпеливо Софья Васильевна.

Ей подали два билетика, на одном напечатано было: «Федор Петрович Яликов», на другом: «Саломея Петровна Яликова».

— Петр Григорьевич! — вскричала Софья Васильевна, бросаясь в кабинет к мужу,— Петр Григорьевич!..

— Что такое, матушка?

Но Софья Васильевна *без памяти, без слов* упала в кресла, а билетики упали на пол.

— Что такое? — повторил Петр Григорьевич, поднял билетики, взглянул на них и онемел.

— Это что за штуки! — вскричал он, наконец.— Насмешка над отцом!

— Зови их! — произнесла слабым голосом Софья Васильевна; я умираю...

— Их? чтоб нога их здесь не была! — вскричал снова Петр Григорьевич.

Софья Васильевна ахнула и повисла, как мертвая, на креслах. Петр Григорьевич от испугу позабыл о своем гневе, кричит во все горло:

— Эй, люди! воды! Зовите Саломею Петровну!..

Вскоре явилась и вода и Саломея Петровна, разряженная в пух, как говорится по-русски.

Чувствуя всю неприличность броситься в таком наряде помогать матери прийти в себя, она остановилась, потом присела, между тем как Петр Григорьевич, ничего не чувствуя и ничего не видя, кроме помертвевшей своей жены, спрыскивал ее водой, натирал виски спиртом, подносил к носу *четырех разбойников* и, наконец, возвратил к жизни.

Саломея Петровна смотрела на все это, понюхивая надушенный платок с улыбкой. Мысль ее была полна радости, что она успела перехитрить мать.

«Я ожидала этой сцены,— думала она,— так жестоко рушились планы на счастье Кати! От этого можно упасть в обморок!»

— Здравствуйте, папа! — сказала она наконец, подходя к отцу.

Петр Григорьевич взглянул было грозно, хотел что-то сказать, но Софья Васильевна вскрикнула:

— Саломея!

— Здравствуйте, maman.

— Зачем ты это сделала? Ты меня совершенно убила! — проговорила слабым голосом Софья Васильевна.

— Гм! — произнесла, улыбнувшись, Саломея.

— Где муж твой?

— Он в зале, если позволите... Федор Петрович!

Федор Петрович вошел в кабинет... Но это был уже не тот Федор Петрович в усах и в мундире. Это был мужчина без усов, наряженный по последней моде, в таком хитро скованном фраке с принадлежностями, который шьется не по скверной какой-нибудь талии, а по изящным формам болвана.

Петр Григорьевич хотел было встретить зятя строгим взором; но видит незнакомого мужчину, разряженного, завитого, в белых перчатках, с изумрудной булавкой на груди, с драгоценной палкой в руках. Петру Григорьевичу ничего более не оставалось делать, как сконфузиться и почтительно поклониться.

Но женщины скорее узнают мужчин.

— Боже мой, неужели это Федор Петрович? — вскричала Софья Васильевна.

— Я бы никак вас не узнал,— сказал и Петр Григорьевич.

Федор Петрович бросился к нему в объятия и потом подошел к ручке к Софье Васильевне.

— Ах, сестрица! — вскричала Катенька, вбежав в комнату с радостным чувством, и хотела броситься в объятия к Саломее.

— Здравствуй! — сказала Саломея Петровна, воздержав ее от восторга, и вспыхнула, когда Федор Петрович с восклицанием: «Катерина Петровна!» — бросился к руке Катеньки.

— Ах, я вас насилу узнала! — сказала Катенька — как вы вдруг переменились.

— Очень ошибаешься, нисколько не переменился! — сказала Саломея Петровна тоном двусмысленности.— Федор Петрович и прежде считал и теперь считает тебя ребенком.

Эти слова для всех показались обидными, но никто не сказал ни слова.

Федор Петрович с жалостью посмотрел на Катеньку; он уже чувствовал, как тяготела над ним начальничья воля супруги. С первых дней бракосочетания проявилось в нем сознание, что он попал в какую-то нового рода службу, хуже бессменного караула за наказание. Саломея Петровна сначала занялась учением Федора Петровича манерам и приличию, чтоб не стыдно было показать свету *предмет своей страсти,* которую она в кругу знакомых называла прихотливой, причудливой, но обдуманной.

— Я искала,— говорила она,— человека не для света, но для счастия семейной жизни, который бы во мне видел все и жил для меня одной. Я и замужем не хотела терять свободы.

Эту мысль поняли и сознали справедливой почти все без исключения дамы, знакомые Саломее; многие даже завидовали ее выбору; но девушки смеялись над счастьем без оков любви.

Просвещать Федора Петровича, однако ж, скоро надоело Саломее Петровне; она не видела в нем ни grace [1], ни *чего-то,* что, несмотря на удовлетворение ее полной свободой, одно только могло наполнить давно чувствуемую ею пустоту и в доме, и вне дома, и в мыслях, и в груди, и наяву, и во сне.

Между тем как Саломея Петровна повсюду искала этот *икс,* с домом ее родителей познакомился Михайло Памфилович и страстно влюбился в Катеньку. Для нее он хотел непременно сделаться поэтом, пробовал тысячу раз написать стихи *к ней,* и написал уже первый стих:

О милая Катенька!

сидел над ним по целым ночам, засыпал над ним и просыпался; но кроме *милой Катеньки* ничего не приходило в голову. Однако же стихи необходимы для альбома. Михайло Памфилович знал, что в стихах главное мысли, и потому обратился с этими мыслями к одному из поэтов-товарищей, и вышли стихи

---

[1] Грация (*франц.*).

такого-то с мыслей Лычкова. Таким образом под своими мыслями можно было подписать свое имя. Катенька была охотница рисовать, рисовала порядочно. Одна из знакомых, путешествовавшая по Европе, одолжила ей свой довольно замечательный по рисункам альбом для скопирования некоторых видов. Этим-то альбомом и хотел похвастаться Михайло Памфилович и приехал просить его у Катеньки *на минутку*.

Тут застал он Саломею Петровну и, разумеется, объявил, что у него сегодня *литературный вечер;* между прочим похвастался и тем, что у него остановился К...

— Ах, как это интересно! Я к вам приеду, и вы меня познакомите с ним,— сказала Саломея Петровна, продолжавшая и в замужестве искать идеала мужчин.

Михайло Памфилович помчался домой; а между тем знакомцы его родителя, Лукьян Анисимович и Григорий Иванович, прежде всего отправились по своим знакомым похвастаться той честью, которая их ожидает.

— Да-с, бог приведет,— говорил Лукьян Анисимович,— сегодня ввечеру мы увидим всех сочинителей в лицо.

То же говорил и Григорий Петрович, но с прибавлением, что его просил Памфил Федосеевич позанять их своим разговором.

— Я, конечно, не ударю лицом в грязь, случалось мне и с самими сенаторами разговаривать; но представьте же мое положение: взять на себя хозяйскую обязанность занимать гостей в чужом доме! «Помилуйте, Памфил Федосеевич,— говорю я,— как это можно!» — «Сделай, братец, одолжение, я ни словечка не буду уметь сказать про литературу!» Нечего делать, согласился!

Из числа знакомых Григория Ивановича была одна девица, занимавшаяся в доме родительском не вязаньем чулков и не вышиваньем по канве, но плетением стихов. Кто ее призывал к поэзии, бог ее знает; известно только то, что она, помимо чистописания, правописания и здравописания, начала прямо с стихописания и многописания. Без сомнения, что все это было *вдыхновение,* как она выражалась в одних стихах без препинаний и без *цезуры* или, как она выражалась, без *цензуры.* Она даже написала стихи к своему цензору в подражание Пушкину, в которых объясняла ему, что ее стихи — свободные птицы, которых она ни за что не посадит в клетки.

Эта гениальность истекала, разумеется, из чувств, которыми она была преисполнена и которые, как известно, истекая не на чье-нибудь сердце, а на бумагу, кристаллизуются в стихи.

Дева-поэт, очень естественно, захотела узреть мужей-поэтов и потому сказала Григорию Ивановичу, чтобы он непременно доставил ей случай быть на литературном вечере у Памфила Федосеевича.

— Каким же образом? Я, ей-богу, не знаю,— сказал Григорий Иванович.

— Ах, боже мой, скажите просто, что такая-то сочинительница также желает познакомиться и быть на литературном вечере.

— Конечно, Григорий Иванович, ведь моя Домаша также известна публике: вы знаете, что ее стихи напечатаны в журнале.

— Как же-с, оно, конечно-с, без сомнения... только... впрочем, я, пожалуй, скажу.

— Вы предуведомьте, теперь же съездите, скажите, что я приеду с вами.

Григорий Иванович, разумеется, отговориться не умел, и его немедленно же прогнали предуведомить о приезде на вечер девы-поэта.

— Сделайте одолжение, за честь себе великую поставим,— сказали Памфил Федосеевич и супруга его.

— У нас, батюшка, и из Петербурга гость, известный сочинитель, да также не из маленьких людей, рука у министра.

— Такие хлопоты, Григорий Иванович, что уж и не знаю,— прибавила Степанида Ильинишна,— тут за обедом нельзя же чем-нибудь накормить, а того и гляди, что начнут собираться; встречай, принимай гостей да в то же время думай о чае, об угощенье, об ужине!

— Маменька,— прервал Михайло Памфилович, прибежав сверху,— он не сойдет вниз, потому что утомился с дороги; прикажите наверх подать кушанье.

— Вот! все труды и подвиги пошли под ноги! А тут уж на стол накрыто! Да что ж, он сойдет ли по крайней мере хоть в глаза плюнуть хозяину и хозяйке? Для чего ж я спозаранку разрядилась?

— Нельзя же мне ему сказать, чтобы он сейчас шел; он сам знает приличия.

— Уж так, у вас теперь у всех какие-то приличия; не в первый раз уж ездят к тебе такие бонтоны [1], в дом ездят, а хозяина в глаза не видывали. Какие-то приличия знают, а обычая не ведают.

Михайло Памфилович, не оспаривая матери, побежал наверх занимать гостя, который, развалясь на диване по-хозяйски, расспрашивал его про обычаи московские. Парадный обед Степаниды Ильинишны очень позапоздал; и потому после обеда осталось только времени на туалет к приему гостей.

---

[1] Благовоспитанные люди (От франц. Bon ton — вежливое, светское обращение).

Часть третья

I

Часов в семь вечера, проезжая мимо дома Памфила Федосеевича, можно было подумать, по необыкновенному освещению комнат, что тут, верно, дело готовится к балу; бумажные люстры, *изобретение Воронова*, были во всем своем блеске; по углам — лампы на треножниках, по столам — подсвечники. Разодетая Степанида Ильинишна то пройдется по комнатам и смахнет белым своим носовым платком там и сям, по столам и стульям пыль; то побежит в девичью, которая в экстренных случаях обращается всегда в буфет. Сам Памфил Федосеевич, в каком-то павловских времен мундире, похаживает взад и вперед в беспокойном ожидании, осматривается и охорашивается в зеркало. Не должно забыть, что в подражание престарелым вельможам былого времени на нем плисовые сапоги; в одной руке огромная золотая табакерка, в другой — пестрый носовой платок. В этом беспокойстве ожидания гостей — вельмож нового века, и сверх того литераторов, он почувствовал всю необходимость ассистента и досадовал на себя, что не сказал Лукьяну Анисимовичу, чтоб приехал пораньше. Но Лукьян Анисимович, легок на помине, явился вовремя, также в мундире, но девятнадцатого столетия, с двумя коротенькими, разъехавшимися и оттопырившимися острыми фалдами сзади, в один ряд пуговиц спереди, с удушливым воротником.

— Ну, рад, что вы приехали, Лукьян Анисимович, а то меня уж скука взяла.

— Э, как вы примундирились, Памфил Федосеевич. Да ведь я бог знает с каких пор не видывал вас в мундире!

— А что, а? Тряхнул стариной!

— Славно, ей-богу, славно; а правду сказать, прежние мундиры как-то гораздо почтительнее.

— Чу! Кто-то, кажется, приехал!

— Кто-то приехал!

— Где ж Миша? Что он нейдет сюда? Иван, позови, братец, Мишу!

— Сейчас-с, фрак изволят надевать.

— Степанида Ильинишна! Кто-то уж приехал!

— Неужели? Встречай же! Да где же Миша? Скажите ему!

Степанида Ильинишна села в гостиной, а Памфил Федосеевич вышел в сопровождении Лукьяна Анисимовича в залу.

В передней раздалось вдруг несколько юношеских голосов:

— Дома Лычков? — А! и ты приехал? Куда ж к нему? — Сюда, наверх? — А! здравствуй. Не рано ли? Я прямо из канцелярии: дело, братец, черт бы драл, думал до полночи задержит!

— Что ж это? Кто это? где ж Миша? — повторял Памфил Федосеевич, слыша, что восклицания вперебой все глуше и глуше, и только крикливые голоса и топанье стали раздаваться над потолком.

— Да что ж это за дурак Миша? Увел их к себе вверх,— продолжал Памфил Федосеевич, воротясь в гостиную.— Вверх ушли, матушка!

— Ах, батюшка, да придут!

— Чу! Кто-то еще приехал!

Снова в передней шум, говор, и снова все ушло вверх.

Еще кто-то приехал, и еще, и еще; над залой и гостиной такая топотня, что ужас.

Степанида Ильинишна не усидела, выбежала в залу, где Памфил Федосеевич и Лукьян Анисимович стояли в недоумении.

— Это бог знает что! — вскричала было Степанида Ильинишна,— там черти возятся!

Вдруг кто-то подъехал, Степанида Ильинишна бросилась в гостиную, дверь отворилась.

— А! Григорий Иванович!..

Вслед за Григорьем Ивановичем вошла, в огромных белокурых локонах, полная томная луна, водруженная на гибкий, зыблющийся стан, в раздутом шелковом платье, на крепко накрахмаленной шумящей юбке.

— Домна Яковлевна,— сказал Григорий Иванович,— известная по своим сочинениям...

— Ах!.. За счастье поставляем, что вы сделали честь пожаловать; покорнейше прошу... Степанида Ильинишна!.. Вот... Григорий Иванович сделал нам удовольствие...

— Я желала познакомиться с вами... Я так много слышала...— произнесла дева-поэт, приседая перед Степанидой Ильинишной.

— Очень приятно, очень нам приятно... Покорнейше прошу... Вы проводите также время в стихотворениях?

— Да-с, это любимое мое занятие.

— Это очень приятное занятие...

— Да-с, имея способность, нельзя жертвовать ею для каких-нибудь пошлостей...

Домна Яковлевна не успела кончить речи, как вошел Иван и дал знак барыне, что, дескать, кое-что нужно сказать.

— Извините,— сказала Степанида Ильинишна, выходя.— Что тебе?

— Михайло Памфилович приказал подавать чай.

— Это что! Чай? Кому?

— Да там много гостей у Михайла Памфиловича.

— Что ж это он туда их завел? А?

— Не могу знать-с; только там их очень много; такие все бойкие господа.

— Скажи Мише, что здесь...

— Кто-то приехал! — сказал Иван, побежав в переднюю.

Приехали Гуровы, знакомые, а потом еще знакомые, а вслед за этими знакомыми Саломея Петровна.

— У вас вечер литературный, Степанида Ильинишна? У вас будет известный поэт,— сказала Саломея.

— Да-с, литературный.

— Неужели? Ах, боже мой, мы и не знали!

— Ах, Памфил Федосеевич! Что это значит, что вы в таком параде?

— Да как же, нельзя иначе.

— Так прикажете подать чай, сударыня? — повторил вопрос слуга.

— Подождать! Здесь подадут.

— Да барин три раза уже присылал.

— Где же Михайло Памфилович? — спросила Саломея Петровна.

— Позови Мишу!

В гостиной происходило уже тара-бара. Дева-поэт смотрела на всю толпу молча, презрительно и, видя, что тут дело идет не о поэзии, подозвала Григория Ивановича и спросила его: «Это-то литераторы?»

— Нет-с, они все наверху.

— Что ж мы туда нейдем?

— Как можно-с!

— Да что ж, они придут?

— Я полагаю-с.

Появился Михайло Памфилович, всем раскланялся в гостиной.

— Помилуй, что это ты загнал всех наверх? — спросила его шепотом мать.

— Прикажите, маменька, подавать чай ко мне,— сказал он, не отвечая на ее вопрос.

— Где ж, братец, литераторы-то? — спросил шепотом Памфил Федосеевич.

— Ах, папенька, что это вы в мундире? — отвечал Михаил Памфилович, взглянув на отца.

— Да как же, братец! Что ж это...

— Михайло Памфилович, где ж ваш поэт? — спросила Саломея Петровна.

— Наверху,— отвечал он.

— Приведите его сейчас сюда и познакомьте меня с ним, слышите ли?

— Непременно-с, позвольте только,— отвечал торопливо озабоченный Михаил Памфилович.

— Вызовите, Михайло Памфилович, сочинителей сюда,— говорила одна пожилая знакомая.— Ну, что они там попрятались от людей; нам хочется хоть взглянуть на них.

— Я предложу... но нельзя же...— отвечал Михайло Памфилович, не зная, как вырваться из гостиной наверх, где действительно происходил литературный вечер: один поэт читал свои стихи, в которых описывал портрет дьявола.

— Браво, браво! Живой дьявол! Вот дьявол! — восклицали канцеляристы, не обращая внимания на Дмитрицкого, который сидел в углу на диване, курил сигару и в свою очередь дивился.

«Ай да литераторы!» — думал он.

Один из восторженных слушателей сидел подле окна, где на столике горела лампа. Окно было отворено, дым валил в него, как из трубы.

— Браво! Вот дьявол! — вскричал он и в восторге так ловко размахнулся рукой, чтоб аплодировать поэту, что стоявшая лампа, как ракета, полетела в окно и бух на перилы заднего крыльца. А на крыльцо в это время вышла Степанида Ильинишна, вызванная девкой послушать, что происходит вверху; осколки стекол, брызги масла обдали ее.

— Господи! Что это такое? — вскрикнула она, опомнившись от ужасу.— Миша! Миша! Убили меня... Господи! Это собрались какие-то разбойники!

— Ах!.. Извините, сударыня, ей-богу, ненарочно,— отвечал голос из окна антресолей, и вслед за этим раздался хохот как будто нечистой силы.

Михайла Памфиловича тут уже не было; он предложил мнимому поэту сойти вниз, соблазнив его прекрасной дамой.

— Не хотите ли познакомиться с одной из замечательных московских красавиц? Вам, верно, она понравится,— сказал он ему.

— Кто она такая?

— Саломея Петровна Яликова.

— Большого круга?

— Большого.

— Богата?

— Очень богата; как поет! Я попрошу ее спеть что-нибудь.

— Пойдемте знакомиться с дамами: мне ваши литераторы не понравились,— сказал Дмитрицкий.

И сошел вниз вслед за Михаилом Памфиловичем, который мимо отца (маменька в это время была на крыльце) подвел его к Саломее Петровне.

Побрившись, пригладившись, в венгерке, Дмитрицкий был хоть куда мужчина; статен, смел в движениях, с метким взглядом, за словом в карман не полезет, прикинется чем угодно, словом, человек с надежной внутренней опорой.

С первого взгляда он поразил Саломею Петровну так, что у ней заколотило сердце.

Войдя в комнату и обратив на себя общее внимание, он устремил на нее какой-то непреклонный взор, и ей казалось, что он уже обнял ее и она не в силах ему противиться.

— Я очень счастлив,— сказал Дмитрицкий подходя,— что первое мое знакомство в Москве так лестно для моего самолюбия.

— Без сомнения, это взаимно,— отвечала Саломея, вспыхнув,— такой у нас гость должен быть всеми встречен с радушием.

— Всеми? Избави бог, одному всех не нужно! — возразил Дмитрицкий по сердцу Саломее.

— Мне приятно, что и мои мысли согласны с вашими.

Дмитрицкий сел подле Саломеи, и они, не обращая ни на кого внимания, продолжали разговор, между тем как все прочие отдалились от них, как от жениха с невестой; говорили шепотом, посматривая на счастливую чету; только дева-поэт почувствовала в себе столько смелости, чтобы сесть подле Саломеи и принять участие в разговоре с поэтом.

Эта соседка очень не понравилась Саломее; окинув ее проницательным взглядом, она сказала Дмитрицкому:

— Пересядемте, пожалуйста: здесь так неловко, на этих креслах.

И с этими словами она пересела на маленький двухместный диванчик в углу гостиной и предложила Дмитрицкому сесть подле себя. Это была позиция, к которой ни с какой стороны нельзя было уже подойти неприятелю.

— Москва, может быть, вам понравится,— продолжала Саломея,— но люди — не знаю; до сих пор я не встречала этого... этого... великодушия, которое так свойственно человеку.

— Великодушие? О, это пища души! — перервал Дмитрицкий, поняв, что это слово должно играть важную роль в словаре Саломеи.— Великодушие! Я не знаю ничего лучше этого!.. Как бы его определить?

— О, великодушие есть рафинированное[1] чувство!

«Именно, рафинад, душа моя!» — сказал Дмитрицкий про себя.— Именно... О, я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать людям!

— Да, я очень чувствительна.

— И не говорите, это видно; я уверен, что все недостатки их вы бы готовы были пополнить собою.

— Ах, как вы проницательны; я в первый раз встречаю такого человека.

— О, не говорите; знаете ли, я рад, что люди не совершенны; если б все женщины были хороши, я бы не встретил лучшей.

Эта фраза проникнула глубоко в сердце Саломеи, и оно заговорило: вот человек, которого я так долго и безнадежно искала. После этого, разумеется, невольно высказалась жалоба на судьбу, что судьба бросает человека в зависимость, не соответствующую ни его уму, ни его сердцу.

Все это Дмитрицкий очень хорошо понял и, разумеется, стал доказывать, что если судьба есть такое существо, которое бросает человека не туда, куда ему хочется, то и человек есть такое существо, которое может подниматься на ноги и выходить из трущобы...

В заключение разговора Саломея, чтоб совершенно очаровать Дмитрицкого, присела за фортепьяно, взяла несколько аккордов, но почувствовала, что фортепьяно недостойно прикосновения ее руки.

— Ах, спойте,— сказал Дмитрицкий.

— Не могу,— отвечала Саломея,— это какие-то древние клавикорды! Я спою вам, когда вы будете у меня.

И разговор кончился тем, что Саломея Петровна предложила Дмитрицкому на другой же день быть у нее. Рассказав ей историю ломки экипажа, и что он здесь в ожидании своих людей без всего, Дмитрицкий извинился, что в подобном наряде он не решится делать визиты.

— Вы будете приняты без церемоний, *как свой,* и я вас непременно ожидаю.

— Вы так снисходительны; но муж ваш может принять это за невежество.

— О нет, за него я могу поручиться. До свиданья.

Саломея Петровна уехала, Дмитрицкий остался посреди гостиной без компаса. Он вспомнил, что тут есть хозяева дома, а между тем затруднялся узнать их. Из стариков мужчин Памфил Федосеевич более всех походил на гостя; из почтенных дам, хоть Степанида Ильинишна явно суетилась и часто выбегала из гостиной по хозяйству, но одна старуха более ее походила на настоящую хозяйку, хлопоча об висте и предлагая всем

[1] Утонченное *(франц.)*.

сесть по маленькой. Однако ж Степанида Ильинишна сама вывела его из затруднения. Несмотря на озлобление свое против всех московских сочинителей, которые забрались к сыну и бушуют у него, и на досаду за невежество приезжего поэта, который, не рекомендовавшись еще хозяйке, любезничает в гостиной, Степанида Ильинишна подошла к Дмитрицкому.

— Очень благодарна, что вы почтили вашим расположением моего Мишу,— сказала она ему.

— Но я могу показаться вам невежливым,— прервал Дмитрицкий,— приехал в дом и по сию пору не представлен вам и супругу вашему; я по крайней мере просил вашего сына познакомить меня...

— Ах, какой он! Извините его рассеянность... Памфил Федосеевич, вот наш гость желает познакомиться с тобою.

Дмитрицкий повторил свое извинение и перед хозяином, который в свою очередь стал извиняться, что это следовало бы исполнить ему, но что Миша не предупредил, и тому подобное.

Дмитрицкий в несколько минут очаровал всех и даже старуху, которой хотелось не терять времени и сыграть партию в вист.

Чтоб хоть взглянуть на карты, он сам вызвался вистовать, если только найдется партия. Партия составилась из пожилой старушки, Дмитрицкого, Лукьяна Анисимовича и самой хозяйки. Хотели уже разносить карты, но, к несчастию, литературная дева, долго выжидая случая побеседовать с известным литератором, решилась, наконец, обратить на себя его внимание чтением последнего своего произведения наизусть. Она без церемонии привязалась к Лукьяну Анисимовичу, увлекла его в литературный разговор, и, только что он сказал, что ужасно любит ее стихи, особенно с рифмами, она тотчас же предложила ему прочесть стихи, откашлянулась и начала декламировать о том, что чувства чувствуют, что душа жаждет, а сердце просит.

— Ах, как прекрасно! — сказала хозяйка, из должного приличия.

— Это ничего,— произнесла смиренно литературная дева,— если вам угодно,— продолжала она, обращаясь ко всем,— я прочту вам маленькую поэму, которая будет занимательнее.

Пожилая старушка закашлялась от досады; Дмитрицкий сказал что-то про себя и хотел было проходиться по комнате, но литературная дева обратилась к нему с предисловием.

— При вас,— сказала она,— мне совестно читать; я надеюсь, вы будете снисходительны к маленькому моему таланту.

— О, помилуйте,— отвечал было просто Дмитрицкий, но подумал, что, верно, эта дева должна быть какая-нибудь литературная известность, и потому почел за долг прибавить: —

Все ваши известные произведения так прекрасны, что мне остается заранее восхищаться и новым вашим произведением.

— Вы, вероятно, в рукописях читали мои стихотворения: я еще не решалась ничего печатать,— отвечала дева,— я не знаю, что такое печать, это пустяки; что прекрасно, то отпечатывается в памяти каждого.

— О, конечно! — отвечал Дмитрицкий нетерпеливо,— непременно! Так позвольте прослушать.

— Я вас должна предуведомить, что поэма, сочиненная мною, взята из истинного случая, из жизни одной моей знакомой... Судьба ее была удивительна, вы увидите сами.

Литературная дева откашлянулась, сделала движение вроде *польки*, и произнесла:

В одной из деревень губернии Тамбовской...

— Я должна предуведомить,— сказала она остановясь,— что происшествие случилось в Московской губернии; но я отнесла его к Тамбовской; это было необходимо, потому что все лица поэмы моей еще живы... сверх того, я переменила имена...

В одной из деревень губернии Тамбовской...
Жил некто, коего мы имя умолчим,
А назовем примерно: Полозовской...

— Полозовской? Верно, Денис Иванович,— сказала почтенная старушка.— Любопытно послушать про него. Вы, стало-быть, знакомы с ним?

Литературная дева смутилась.

— Я никак не думала,— сказала она,— что выдуманная мною фамилия существует, я ее заменю...

Итак, рассказ свой продолжим.
Он был женат; его супруга
Была подобие и ангела и друга...

— Ну, в этом прошу извинить, я их коротко знаю: всегда жили как кошка с собакой.

— Ах, боже мой, я не о том Полозовском пишу, который вам известен; это не Полозовский, а положим, хоть Зимовский.

— Такой и фамилии нет во всей Тамбовской губернии; все помещики до одного мне известны; может быть Сановский, да он холостяк.

— Я повторю известный стих: «Но что нам нужды до названья, положим, что звалась Маланья».

— Кто? Жена-то Дениса Ивановича?... Извините!

— Это не мои стихи-с и не относятся к поэме,— отвечала презрительно литературная дева,— это стихи Дмитриева.

— Дмитриева? Так кто ж их не читал?.. Прощайте, матушка Степанида Ильинишна!

— Что это? Куда ж вы?

— Пора, пора!

— Да ведь вы хотели в вистик сыграть?

— Да когда ж, матушка, мы сядем? В полночь? Если играть, так играть; золотое время терять нечего!.. Вы играете?

— С величайшим удовольствием,— отвечал Дмитрицкий.

Между тем вся публика, совокупившись в гостиную слушать поэму, во время возникшего спора чинно разбрелась по комнатам; в гостиной осталась партия виста да озлобленная литературная дева.

Хозяйка из приличия сказала было ей: «Уж извините, до другого разу»; но она, ни слова не отвечая, крикнула:

— Григорий Иванович, поедемте! — присела и вышла из гостиной.

— Что это за халда, матушка, выдает стихи Дмитриева за свои?

— А бог ее знает! Григорий Иванович привез за сочинительницу стихов.

— Сочинительница! Я тотчас вывела ее на чистую воду; вздумала выдавать историю, что случилась с Денисом Ивановичем, за свою! Ведь, как вы думаете, она уверена была, что здесь никто его и не знает; а я как назло тут.

— Какая ж история случилась с этим помещиком?

— И это соврала: Денис Иванович совсем не помещик, а чиновник. Жена его, которую она назвала Маланьей, совсем не Маланья, а Матрена; история вышла пасквильная — разошлись; а причина-то смеху достойная. Поехал Денис Иванович в Москву, пробыл там, кажется, с месяц да повредился там, что ли, бог его знает; только, возвратившись, вдруг ни с того ни с сего, еще и не поздоровавшись, говорит: «Скажи, Матрена Петровна, слава тебе господи, мужик лапотки сплел».— «С чего ты взял, что я буду говорить»,— сказала Матрена Петровна.— «Сделай милость, скажи!» — «Вот пристал!» — «Да скажи же, Матрена Петровна, скажи!» — «Не скажу!» — «Эй, говорит, говори, а не то плохо будет» — «Пошел ты к черту!» — прикрикнула с досадой Матрена Петровна.— «Кто, я к черту? Так пошла же ты сама к черту!» И пошел дым коромыслом; слово за слово — ссора! Насилу усовестили. Дело-то все вышло в том, что в Москве Денис Иванович начитался какой-то книги, как узнавать, любит жена мужа или нет.

— Какая ж это книга? — спросил Памфил Федосеевич.— Я не слыхал о такой книге.

— Не знаю,— прибавил Лукьян Анисимович.

Послали наверх за Михайлом Памфиловичем: он водится с литераторами, так должен знать; но и Михайло Памфилович не имел об ней понятия и побежал справиться у гостей своих.

— Так вот видите ли, помириться помирились; да в первый же день опять поссорились. Денис Иванович из Москвы же вывез какое-то новое кушанье: вишь, черепаховый суп из телятины, и велел повару приготовить; ест да похваливает: «Попро-

буй,— говорит Матрене Петровне,— чудо!» — «Поди ты, пожалуйста, с своим супом!» — «Сделай милость, отведай! Это такая роскошь, прелесть, что на удивление!» — «Ни за что не отведаю; я и подумать не могу о черепахе: это такая скверность, так с души и воротит!» — «Ну, сделай одолжение, попробуй! Для меня! Ведь это из телятины, только называется черепаховым».— «Ни за что!» — «Так ты не хочешь даже и отведать?» — «Не хочу!» — «Так черт же с тобой!» Да как хлоп по тарелке, тарелка вдребезги, а весь суп в лицо Матрене Петровне. Ну, тут уж и средств не было примирить; твердит одно: «Как, для меня даже дряни какой-нибудь не хочет в рот взять; да добро бы есть, а то просто — отведать!»

Продолжение рассказа было прервано приходом Михайла Памфиловича, который объяснил, по сделанной справке, что о том, как перебранились мужья с женами за лапоть, напечатано не в книге, а в журнале, называемом «Наблюдатель», и что повесть о том, как мужик лапоть сплел, сочинил казак Луганский. Начались суждения, зачем сочинять такие журналы, за которые можно ссориться, и для чего варить такие французские супы из всякой гадости, от которых порядочного человека может стошнить.

Между тем наверху происходили литературные прения; кроме двух самобытных поэтов, тут была всё образованная молодежь, читавшая ежемесячные журналы и почерпавшая из них ту премудрость, которая основывает все на своем собственном убеждении и на своем внутреннем чувстве. Один из них вместо пошлого русского слова *восторг* говорил все по-гречески: *пафос!* и это придавало его речи какое-то особенное возвышенное значение; другой перебивал его вопросом: позвольте, позвольте! Какой же из этого результат? Третий говорил, что всё это пустяки и что рассуждать не так должно! Четвертый остановил бегающего то вниз, то вверх Михайла Памфиловича словами: «Что ж, братец, не едут твои литераторы? Мне бы хотелось прочесть моего Демона!» Михайле Памфиловичу ужасно как хотелось объявить, что один из известных литераторов есть налицо; но он дал слово молчать до времени.

Литературный вечер кончился вверху шумной беседой канцелярских служителей, а внизу вистом.

На другой день Дмитрицкий просил Михайла Памфиловича, чтоб послать ему нанять извозчика: Михайло Памфилович предложил ему свой экипаж, но он никак не согласился на это и отправился в фаэтоне осматривать Москву и ее достопримечательности, только не по части археологии.

Это было на другой день; но в тот же день Саломея Петровна, воротясь домой, завела разговор с своим Федором Петровичем о доходах имения и предложила ему воспользоваться хорошей погодой и, нимало не откладывая, съездить в имение, покуда не начались осенние дожди. Но Федор Петрович так

разленился, что и думать не хотел о поездке. Упрек, что он мало занимается хозяйством имения, не подействовал. Других средств нельзя было употребить.

— Я уж чувствую, что и с твоим имением будет то же, что с батюшкиным: деньги растранжиришь, как батюшка, и хоть по миру иди.

— Чем я транжирю, Саломея Петровна?

— Да мало ли, и не пересчитаешь пустяков, которые ты покупаешь поминутно!

— А например?

— Я уж не говорю о твоей птичьей охоте, о брошенных деньгах на канареек и соловьев, которых ты развел как в птичнике; положим, что это составляет твое единственное удовольствие; но зачем мы занимаем такой огромный дом, зачем накупил ты эти пустые, но дорогие вещи?

— Да ведь это всё... сами вы, Саломея Петровна, говорили мне, что нужно купить.

— Я же виновата! Кому же быть расчетливым, как не мужу! Вдруг шаль заплатил четыре тысячи рублей!

— Да ведь она вам понравилась.

— Положим, что мне понравилась; но я ли платила деньги; вещь, которая стоит много тысячу рублей, а платишь четыре!

— А я почему знаю, что стоит.

— Зачем же ты берешься сам покупать?

— Ну, покупайте сами, выйдет все равно.

— Нет, не все равно; если б я сама располагала деньгами, я бы берегла их и не желала бы того, что не по состоянию.

— Да кто ж вам мешает располагать; мне легче. Возьмите и деньги на расход.

— Давай, это гораздо будет лучше.

Федор Петрович отпер бюро, выдвинул ящик с деньгами.

— А это что ж за деньги? — спросила Саломея Петровна.

— Это... взяты из Опекунского совета...

— Зачем это? давно ли ты взял?

— Да нужно было.

— Да я желаю знать; я уверена, что между нами нет тайн.

— Да батюшка ваш просил на короткое время взаймы.

— Папá? Прекрасно! Да он оберет тебя совсем! Папá! Не только мне приданого не отдал, да еще хочет меня обобрать! Нет, этого не будет! Этого я не позволю!

— Да как же, Саломея Петровна, я обещал.

— Скажи, что деньги у меня; пусть ко мне обратится с просьбой! Где билеты? Я их к себе спрячу: я вижу, что у тебя они недолго належат, придется идти по миру!

— Я билеты отдам; а уж эти, ей-богу, Саломея Петровна, надо дать батюшке: он очень нуждается, говорит, что опишут все имение, если не отдаст долгу; уж куда ни шли пятьдесят тысяч.

— Пятьдесят тысяч! Что ты это! Никогда! Прожил свое состояние, да за мое хочет приняться! Никогда этого не будет!

И с этими словами Саломея Петровна взяла пук ассигнаций и билеты и вышла из кабинета.

— Этот дурак кожу снять с себя позволит на заплату чужого кафтана! — говорила она, запирая деньги и билеты в свое бюро.

Этим день кончился; новый день Саломеи Петровны начался заботой о туалете. В одиннадцать часов она была уже в гостиной убрана очень пленительно. Предчувствуя, что Федор Петрович будет только мешать умной и интересной беседе ее с поэтом, она выживала его из дому. Он съездил за ее необходимостями, воротился, и хоть снова выдумывай необходимости; потому что Дмитрицкий еще не приезжал. Саломея Петровна успела найти еще поручение, но гость на двор, и он на двор. Можете себе представить ее досаду!

Дмитрицкий влетел в гостиную, не обращая внимания на приехавшего в одно время с ним и вместе вошедшего в гостиную.

— Федор Петрович, наш известный литератор, желал с нами познакомиться, и я просила его сделать нам эту честь.

— Очень приятно, покорнейше прошу,— сказал Федор Петрович, всматриваясь в сабельку с рядом разных крестиков на груди Дмитрицкого.

— Да-с, я так много слышал от общего нашего знакомого об вас, что желал непременно познакомиться с вами, тем более что и вы служили в военной службе.

— Как же-с. А вы где изволили служить?

— На Кавказе, потом вышел в отставку и занимаюсь моим любимым искусством.

— Федор Петрович,— сказала Саломея Петровна,— ты бы приказал подать закуску.

— Сейчас, сию минуту,— отозвался Федор Петрович и вышел.

Дмитрицкий понял, что присутствие мужа тяготило Саломею Петровну, и не предвидел никакого удовольствия провести время между двумя супругами.

— Я хотел раньше быть к вам; но меня задержал странный случай... На свете, должно быть, очень много угнетенных нищетой.

— Что такое с вами случилось?

— На улице остановила меня девушка просьбой купить у нее разные женские рукоделья, ридикюли, снурочки и прочее. «Мне, милая моя, не нужно это».— «Купите, сделайте одолжение! — сказала она умоляющим голосом,— вы спасете от голоду целую семью нашу. Мы трудимся, работаем, чтоб добыть кусок хлеба; но никто не покупает у нас, и хуже еще: дают такую цену, дороже которой стоит материал».— «Велико ваше

семейство?» — спросил я.— «Матушка и четыре сестры». Чувство сожаления проникло меня, и я пожелал видеть это несчастное семейство. Я был там.

— И убедились в их бедности?

— О, очень. Без сострадания нельзя смотреть. Я отдал все, что имел с собою.

— Как вы великодушны!

— Это обязанность каждого человека; о, если б вы видели это семейство!

— Сейчас подадут,— сказал, входя, Федор Петрович.

Саломея Петровна вскочила, встретила его в дверях и сказала на ухо:

— Пожалуйста, не заводи разговора, извинись, что тебе надо ехать; а то он бог знает сколько просидит и меня задержит; а я собралась к Радужиным.

— Да вы поезжайте, а я с ним останусь; мне еще будет приятно провести время с военным человеком.

— Хорошо! — отвечала с досадой Саломея Петровна и вышла в залу.

Человек внес завтрак; Федор Петрович стал потчевать; Дмитрицкий выпил, закусил, и от нечего говорить стал расспрашивать Федора Петровича, где он служил, долго ли, счастливо ли, давно ли вышел в отставку; а между тем Саломея Петровна, проникнутая какой-то ревностью, что муж отбивает у нее гостя, с которым ей так хотелось наговориться, душой которого хотела бы она пополнить, напоить свою душу, алчущую света ума и пламени сердца, стояла, ломая руки, в зале у окна и, казалось, искала и внутри и вне себя оружия, чтоб не только изгнать противника из гостиной, но даже согнать со двора.

— Столяр принес диванчик, который изволили заказывать,— сказал вошедший человек.

— А! где?.. хорошо... вызови Федора Петровича: пусть он посмотрит и заплатит деньги,— сказала Саломея Петровна и пошла в гостиную.

— Федор Петрович, к тебе кто-то пришел.

— Сейчас! — отвечал Федор Петрович, занятый рассказом,— так вот-с, я сижу, вдруг входит в военном сюртуке... человек, рекомендуется, говорит, что маиор в отставке...

— Федор Петрович, там ждут тебя!

— Да вот я сейчас доскажу.

И Федор Петрович досказал проделку мнимого маиора и, наконец, извинившись, вышел в залу, где встретил его человек с извещением, что столяр принес диванчик.

— А мне то что! нешто я заказывал! Скажи барыне.

— Да барыня приказала вам сказать.

— Вот тебе раз! где?.. Ну, пусть поставят в кабинет Саломеи Петровны,— сказал Федор Петрович и пошел обратно в гостиную.

Саломея Петровна воспользовалась и мгновением.

— Не можете ли вы доставить адрес этой несчастной фамилии,— сказала она Дмитрицкому по выходе мужа,— я хочу посетить ее и помочь, чем только могу.

— Адрес сегодни же доставлю вам чрез Михаила Памфиловича. Если вы намерены посетить их завтра, то я предуведомлю.

— Пожалуйста, я буду тотчас после обеда, часов в шесть. Вы уже едете?

— Сделайте одолжение, прошу покорнейше вперед,— сказал Федор Петрович, встретив гостя в дверях.

— С особенным удовольствием.

— Вам, Саломея Петровна, покойный диванчик привезли,— сказал Федор Петрович, проводя Дмитрицкого до передней.

— Знаю,— отвечала Саломея Петровна невнимательно.

На другой день... Но не угодно ли и читателю посетить бедное семейство, мать с четырьмя или пятью дочерьми, которые трудятся день и ночь и не могут выработать для себя необходимого.

Вот, на самой стрелке между двух главных улиц, стоит одноэтажный дряхлый домишко. На углу лавочка; с одной улицы ворота на двор и калитка.

К этому-то домику подъехал на другой день в шесть часов вечера Дмитрицкий и, приказав извозчику отъехать в сторону, вошел во двор; в сенях встретила его девушка.

— Ах, это вы? — сказала она.

— Это я,— отвечал Дмитрицкий, входя в комнату, где встретили его с распростертыми объятиями еще четыре девы, с восклицанием: «А! наш благодетель!»

— Здравствуйте, сударь! — сказала сидящая в другой комнате пожилая женщина.

— Это что! это что за роскошь! — вскричал Дмитрицкий, взглянув на дев.— Смывай румяны! прочь наряды! А ты, матушка! что ты не смотришь за дочками! разве такая бедность бывает? Ну, хорошо, что я не запоздал! Да прошу у меня глядеть смиренницами!.. сидеть за работой! А вы, сударыня, Улита Роговна, насурмились? Это что за прическа?

— Это *урики.*

— Ну, ну, ну, прочь урики!

— Эх вы, благодетель! — сказала одна из девушек, которую Дмитрицкий очень неучтиво поторопил переодеваться в другую комнату.

— К чему наставили столько свечей? прочь! одной с вас довольно. Э-ге! совсем просмотрел было картинную галерею! Долой!

И Дмитрицкий сам сорвал с гвоздей разные картинки в рамках и побросал их под постель; стекла летели вдребезги.

— Что ж это вы все бьете! ведь это денег стоит! — сказала, разгневавшись, пожилая женщина.

— Помилуй, матушка, прилична ли здесь притча о блудном сыне! с ума ты сошла! Ай, ай, ай, трубки!.. Чу! кажется, приехала? встречай!

Маленькая новомодная колясочка на плоских рессорах, без задка и, следовательно, без человека, остановилась подле калитки. Дама вошла в калитку, ее встретила мать семейства на крыльце, а Дмитрицкий в дверях.

— Ах, и вы здесь? — сказала Саломея Петровна.

— Я хотел сам представить вам бедное семейство.

— Тем приятнее мне, что мы общим участием поддержим несчастных.

— Вот та несчастная женщина, которую кормят своими трудами эти девушки,— сказал Дмитрицкий.

— Это все ваши дочки? — спросила Саломея Петровна, смотря в лорнет на девушек, которые встали и, потупив глаза, присели,— как труд истомил их! — продолжала она,— ах, бедные!.. Вы давно уже в Москве?

— Ах, давно, сударыня, ваше сиятельство,— отвечала с глубоким вздохом плачевным голосом мать пяти дочерей, отирая глаза платком.— Муж помер, оставил меня в бедности, кормись, как хочешь!..

— Вы найдете во мне помощь, милая; на первый раз... прошу принять.

— Позвольте поцеловать ручку! Благодарите!

Четыре из девушек бросились также к руке Саломеи Петровны; но одна, едва воздерживаясь от смеху, выбежала в другую комнату.

— Чего вы боитесь, миленькая? — сказал Дмитрицкий, кинув на нее грозный взгляд.

— Вот тебе раз! буду я руку целовать! — тихо проговорила девушка.

— Одна из них немного помешана,— сказал Дмитрицкий, склонясь к уху Саломеи Петровны.

— Ах, я думаю, они все близки к этому; на них страшно смотреть: какие бледные лица с впалыми щеками, какой мутный взор, губы синие... Это ужасно! — отвечала Саломея Петровна тихо.— Но как здесь чисто, опрятно,— продолжала она, осматривая комнату и потом входя в другую.

— Позвольте вас, сударыня, хоть чайком попотчевать.

— В угождение тебе я выпью чашку,— сказала Саломея Петровна, садясь на стул и заводя разговор с Дмитрицким об отчаянных положениях, в которые люди могут впадать.

Между тем как старуха и девушки хлопотали о самоваре, бегали в лавочку, то за водой, то за сухарями, то за сливками, Саломея Петровна могла свободно вести с Дмитрицким разговор, никем не нарушаемый.

— Что страдания бедности,— говорит Дмитрицкий,— ничего! Эти люди живут все-таки посреди своих грязных привычек, сыты и счастливы; истинные несчастия не посереди этого класса людей, а в высшем сословии, посереди довольствия животного... там истинная бедность — бедность духа, и недостатки — недостаток сочувствия, недостаток любви.

— Ах, как вы знаете сердце человеческое! — сказала вне себя Саломея Петровна,— и этим недостаткам ничем нельзя помочь!

— Да, кто слаб душой, о, тот не вырвется из оков, в которые его могут бросить обстоятельства... Но знаете ли... я буду с вами откровенен, как ни с кем в мире... но, между нами.

Румянец довольствия пробежал по лицу Саломеи Петровны.

— О, верно, во всяком случае эта откровенность будет вознаграждена взаимной,— сказала она.

— Я искал любви и сочувствия; но отец и мать требовали, чтоб я женился на девушке по их расчетам — я женился...

— Вы женаты?

— Да, я женился; но у меня нет жены, ну, просто нет! Есть какое-то существо, которое ест, пьет, спит, ходя и лежа ничего не чувствует, ни об чем не мыслит; я уехал и изнываю без пристанища сердцу! Кто теперь достоин более сожаления — я или эти всеперевариваюшие желудки?..

— О, я вас понимаю! — произнесла Саломея Петровна, едва переводя дыхание и подавая руку Дмитрицкому,— я вас понимаю, и никто вас так не поймет!

— Как дорого это сочувствие! — сказал Дмитрицкий, прижав крепко руку Саломеи Петровны к устам.

— Ах, теперь я не в состоянии; но в следующий раз, когда мы увидимся, я открою вам и мои сокровенные тайны и мои страдания.

— У вас в доме наш разговор не может переходить в излияние откровенности,— сказал Дмитрицкий задумчиво.

— Ах, да! вы это поняли.

— Понял. Здесь, сочувствуя угнетенным несчастиями, мы можем сочувствовать и друг другу.

— Ах, это правда,— произнесла Саломея, вздохнув глубоко и остановив томный взор на Дмитрицком.

Допив чашку чаю, она встала.

— Завтра я посещу вас опять; я позабочусь об вас. Не утомляйте себя, милые, трудами, отдохните.

Бросив прощальный взгляд на Дмитрицкого, она вышла.

— Фу! свалилась обуза с плеч! Ну, прощайте, и мне пора! — сказал Дмитрицкий потягиваясь.

— Конечно, чего ж еще более! — сказала горделиво отвергнувшая честь поцеловать руку Саломеи Петровны.

Дмитрицкий вышел.

II

Дмитрицкий — разбитная голова; об этом и спору нет. Бо́льшая часть читателей, вероятно, уже догадались, для каких причин, пользуясь чувствами великодушия, про которые так много говорила Саломея, возбудил он в ней сострадание к несчастному семейству, погруженному, как говорится, в пучину бедности. Может быть, догадливые читатели полагают, что он, пленившись Саломеей, желал сам воспользоваться ее великодушием? Нисколько. С первого взгляду он ее возненавидел и, осмотрев с головы до ног, назвал по-латыни зверем. Когда же она заговорила о великодушии, которое так свойственно человеку и которого ни в ком нет, разумеется, кроме ее, тогда, вы помните, он воскликнул: «Великодушие? о! это пища души! Я не знаю ничего лучше этого! я понимаю вас! Вы должны сочувствовать всему, сострадать о человечестве!» Саломея скромно отвечала: «Да, я очень чувствительна».

«Ах ты, великодушный, чувствительный демон!» — подумал Дмитрицкий.

— Скажите, пожалуйста, что за человек муж этой прекрасной дамы, с которой вы меня познакомили? — спросил Дмитрицкий у Михайла Памфиловича по окончании литературного вечера.

— Федор Петрович очень добрый, прекраснейший человек,— отвечал Михайло Памфилович,— он из военных.

— Неужели? открыто живет?

— О, как же!

— Она меня звала завтра к себе, да людей моих нет; а мне нельзя же свиньей явиться в гостиную.

— Попробуйте, не впору ли будет мой фрак.

— В самом деле. Может быть, чуть-чуть узок; но ведь портные говорят, что все, что широко — ссядет, а что узко — раздастся.

— Поедемте вместе.

— Вместе? нельзя: мне надо завтра сделать несколько визитов, и потому не могу определить именно время, когда попаду к ней.

— Будете у кого-нибудь из здешних литераторов?

— Разумеется.

— Вы знакомы с Загоскиным?

— Вчера только первый раз видел его у вас.

— Ах, нет, вы ошиблись,— сказал Михайло Памфилович покраснев,— он обещал быть, но не был.

— А кто ж это такой из известных литераторов московских был у вас, причесан а ла мужик, и все читал стихи о демоне?

— Ах, это Зет; это его поэтическая фамилия, он подписывает Z под стихами своими. Как понравились вам стихи его? Я хочу их поместить в альманахе, который издаю.

— Не дурны, очень не дурны.
— Не правда ли, что много огня?
— Тьма! да и нельзя: демон без огня — черт ли в нем.
— Я хочу обратиться и к вам с моей просьбой; я уверен, что вы не откажете украсить своим именем мой альманах: все литераторы участвуют в нем... что-нибудь, хоть маленькую повесть.
— Пожалуй, пожалуй, извольте; какую вам угодно повесть?
— Да какую-нибудь.
— Нет, для чего же какую-нибудь, вы просто скажите, какую вам хочется?
— Что-нибудь в русском духе.
— Пожалуй, с величайшим удовольствием, отчего ж не сочинить.
— Какие условия угодно вам будет назначить? Я на все согласен.
— Какие условия?
— С листа ли угодно будет назначить цену, или за все сочинение?
— Разумеется, за все. Загоскин, кажется, взял за роман сорок тысяч.
Михайло Памфилович побледнел.
— Ведь это роман,— сказал он.
— Да, я роман вам и напишу.
— Ах, нет, в альманах нельзя поместить романа: какую-нибудь маленькую повесть... листа в три печатных.
— Ну, за повесть можно взять дешевле, за повесть можно взять половину.
— Нет, уж, сделайте одолжение, по листам; мне иначе нельзя.
— Вы что ж полагаете за лист?
— Двести рублей.
— Только? Двести рублей за целый лист кругом? Вы думаете, что легко исписать целый лист? Да я не возьму тысячи рублей.
— Как это можно, я не могу столько заплатить.
— Вы не можете? Позвольте не верить! Составляет ли это счет для вас! Неужели вы перебиваетесь?
Самолюбие Михайла Памфиловича затронулось словом *перебиваетесь;* он ужасно боялся, чтоб про него не только не сказали, но и не подумали, что он бедный человек.
— Помилуйте,— отвечал он с выражением, что ему нипочем деньги,— я не потому говорю, чтоб мне составляло это какой-нибудь особенный счет, но...
— Ну, вот видите ли,— прервал Дмитрицкий,— я уверен, что вы сами не решитесь иначе за перо взяться. Не правда ли?
Если б Михайло Памфилович был уже сам лично сочинитель и если б он поместил уже какую-нибудь статейку в какой-ни-

будь ежемесячник, то, верно бы, подумал с значительной улыбкой: «Да, я — это дело другое»; но он только еще писал разные проекты и мнения об разных улучшениях по разным частям человеколюбия, писал, как пишут великие люди, поручая писать за себя людям, умеющим писать и знающим дело. Проекты эти он читал сперва своему родителю, удивлял его всеобъемлющим умом своим и брал с него деньги на переписку проектов отличной рукой для представления высшему начальству.

— Помилуй, братец,— говорил родитель его,— неужели ты платишь за переписку так дорого?

— Да как же, папенька, ведь этого нельзя поручить какому-нибудь писарю; мне переписывает чиновник.

— А, это другое дело,— говорил папенька и выдавал ему на переписку какой-нибудь тетради ту сумму, за которую сочинялся проект, например, о том, как искоренить нищих.

Написав проект, Михайло Памфилович давал обед, приглашал всех своих сослуживцев и всех сочленов и читал проект. За прекрасный обед и предварительные угощения все находили проект вообще очень замечательным; но в частях один советовал то исправить, другой — другое, третий — третье; а Михайло Памфилович находил, что замечания каждого очень справедливы, что проект действительно по мнению одного должно исправить, по мнению другого пополнить, по мнению третьего сократить, по мнению четвертого пояснить и распространить. Но свести эти мнения было гораздо труднее, нежели выдумать новый проект; и потому все проекты Михайлы Памфиловича после обеда, данного сочленам, поступали в портфель для хранения.

Все это было причиной, что Михайло Памфилович умел ценить чужие сочинения и был необыкновенно как доволен замечанием известного петербургского литератора, который, будучи известным литератором, взял его в сравнение с собою.

— Я ничего еще не издал в свет,— отвечал он скромно,— я писал по бо́льшей части проекты и мнения, которые, я уверен, пойдут в ход, особенно проект о распространении просвещения во всех сословиях народа.

— О, я понял тотчас, что вы государственный человек: проект о распространении просвещения во всех сословиях — это не шутка! это все равно, что одно сословие вылечить от куриной слепоты, другому снять с глаз катаракты, третьему спустить темную воду, и так далее,— это не шутка! Так мы дело кончили?

— Я согласен; по напечатании книги я немедленно вам доставлю, что будет следовать.

— Э, нет, лучше вперед; так я уж и присяду.

— Мне, впрочем, все равно; но теперь у меня налицо нет столько денег; покуда позвольте отдать половину.

— Хорошо; повесть в четыре листа; так четыре тысячи.

— Нет, не более двух листов; потому что уж и так альманах слишком велик.

— Полноте, пожалуйста! Книга чем толще, тем лучше; это известное дело. Так четыре тысячи.

Михаил Памфилович не умел отговориться.

На другой день он объявил отцу, что купил для своего альманаха у петербургского известного литератора чудесную повесть за пять тысяч рублей, и что ему тотчас же надо заплатить.

— Помилуй, Миша, что ты это, с ума сошел? За повесть пять тысяч рублей! да ты меня разорил совсем!

— Что за дорого, папенька; вы знаете, что значит имя известного литератора; я напечатаю тысячу двести экземпляров, по десяти рублей — вот вам и двенадцать тысяч; да я еще думаю напечатать два завода — их тотчас расхватают; а это составит двадцать четыре тысячи!

— Ой? Правда ли?

— Ей-богу!

— То-то, брат, в таком случае пять тысяч не брошенные деньги; да у меня теперь налицо только и есть, что три тысячи; разве билет Опекунского совета.

— Это все равно.

Получив деньги, Дмитрицкий, как вы помните, отправился обозревать Москву в наемном фаэтоне, распорядился богатой экипировкой в магазине готового платья на Тверской, завился на великой фабрике париков, расспросил извозчика кое о чем, съездил кое-куда и познакомился с семейством, погруженным в бездну нищеты, и наконец, часу в третьем, прибыл, как вы помните, с визитом к Саломее Петровне.

Супруг ее, Федор Петрович, ему очень понравился.

«Эх, брат, черт тебя женил на Саломее Петровне,— думал он, слушая рассказы его про службу,— я готов прозакладывать голову, что ты с удовольствием проиграл бы мне в банчик тысяч десяток, если б не помешала жена. Худо, брат, сделал, что женился. Жаль! Эта баба изведет тебя, так изведет, что умирать нечему будет... Нет, друг, уж извини, я этого сносить не могу! Я ее приберу к рукам, я ее вышколю!..»

Эти мысли прервала приходом своим Саломея Петровна, и вы помните, как и куда направил он ее благодетельное, великодушное сердце. После первого свидания с ней у несчастной матери, имеющей на руках пять дочерей, Дмитрицкий имел второе свидание. На втором свидании назначено было третье; но уже не у несчастного семейства. Отправляясь домой, Дмитрицкий был вне себя от досады.

«Негодная бабенка! — говорил он,— ну, глуп, брат, ты, Федор Петрович! иметь такой капитал и положить его вместо Опекунского совета в Саломею Петровну! Лучше бы поставить на карту, по крайней мере риск благородное дело; а то черт знает что: Саломея Петровна!.. Нет, душа моя, Саломея Пет-

ровна, этого я не перенесу; это просто бесит меня, взбунтовало всю желчь!.. Извини, тебя поздно учить, а надо проучить! едем со мной, едем, непременно едем!.. В Москве нам делать нечего, я тебя прокачу на юг... Там, радость моя, чудо что за природа: какие там дыни-мелоны, что за виноград, роскошь!.. Скажи, пожалуйста! В полгода от двухсот пятидесяти тысяч не осталось и половины. Каково? Дурак, Федор Петрович! в остальные полгода она похерит и остальные! Нет, мечта! не позволим!.. Денег Федору Петровичу, так или иначе, а уж не видать в своем кармане; но по крайней мере у него останутся души в целости. Едем, Саломея Петровна, едем!»

Рассуждая таким образом, Дмитрицкий распорядился насчет дорожного дормеза [1], найма лошадей, а, главное, верного и надежного человека, непременно из иностранцев.

— Вы уезжаете? — спросил его Михайло Памфилович.

— Да, мне давно пора ехать, насилу дождался моего камердинера с экипажем. Повесть вы получите в скором времени по почте.

Распростившись с Михайлом Памфиловичем, Дмитрицкий, подобно Федору Петровичу, в один прекрасный вечер подъехал к галицынской галерее, подал у подъезда руку какой-то даме в вуали, подсадил ее в карету, сел сам и — наши поехали.

— Не забыла ли ты, душа моя, подорожную? — спросил он прежде всего у дамы.

— О нет, я ничего не забыла.

— И сердце, полное любовью, с тобой?

— О, вот оно, вот! чувствуешь, как бьется?

«Худо уложено, возлюбленная моя! — подумал Дмитрицкий,— в дорогу должно так укладывать все, чтоб не билось».

На заставе записали подорожную: Федор Петрович Яликов, с супругой, в свое поместье.

III

До сих пор мы познакомились с сносными людьми; теперь познакомимся с несносным человеком — с жилой. Знаете ли вы людей, которых называют жилами. В самом зарождении своем это полипы в человеческой форме. Только что выклюнутся из яйца, мозглявые с виду, как сморчки, они уже тянут жилы неестественным своим криком; спокойны только тогда, когда сосут грудь, сосут досуха. Глаза и руки у них тянутся ко всему, все подай или беги от крику. Избави бог быть братом или сестрой жилы, не приведи бог быть товарищем и сослуживцем жилы, отклони бог всякую быть женой жилы и всякого быть детищем жилы.

---

1) Спальная карета (*франц.*).

Из этого числа людей был Филипп Савич, помещик Киевской губернии. Имея самую слабую и хилую комплекцию, он выжилил, наконец, себе тучное здоровье; не имея в себе ничего, что бы могло нравиться женщине, он выжилил любовь; не имея состояния, выжилил жену с состоянием. Когда нечего ему было жилить, душа его наполнялась каким-то беспокойством, озлоблением, и тогда он привязывался к жене, детям, к людям и жилил спокойствие всех домашних. Но наконец, по каким-то актам, он привязался к соседскому имению и посреди удачи тяжебных забот оставил в покое жену, детей и домочадцев; и была в доме тишина ненарушимая и всему воля. Стали даже завидовать счастию Любови Яковлевны, несмотря на то, что по болезненному состоянию здоровья она была уже сидень. Она одна, своим умом и сердцем, заботилась и о детях.

Естественные и, следовательно, законные гувернеры и гувернантки — сами родители; исключая, разумеется, случаи неизбежной необходимости заменения — смерть и болезни; но к числу болезней приписались и лень, и беззаботность, и навык к безделью, и привычка загребать жар чужими руками, и, наконец, приятность застраховать себя тысячи за две, за три в год от труда воспитывать детей и наблюдать за их телом и душой.

Следуя потребностям времени, Филипп Савич для французского языка принял на хлебы мадам Вожѐ, старую француженку, болтовню, современницу того времени, когда во Франции все *загуляло,* перепилось, передралось и все перебило. От ужасов вакханалий она эмигрировала; но впечатления ее сосредоточены были на счастливом времени первого разгула.

Мадам Воже также вкусила от сладости плода, внушающего побуждение любить, и несмотря на то, что прибыла в Русь, что называется, уже под исход дня и приняла на свое попечение Георгия, не более как двенадцатилетнего мальчика, она восчувствовала к нему особенную нежность и стала откармливать для себя сладкой пищей. Присоветовав Филиппу Савичу учить и воспитывать сына дома, она угодила этим чувству матери, которая, как и все, не любила мысли о разлуке с единственным и любимым сыном. Приняв все заботы об управлении воспитанием Георгия на себя, мадам Воже постепенно распаляла воображение юноши понятиями о какой-то любви и неге. Холодный отец не умел ласкать, болезненная Любовь Яковлевна любила сына, но в ней чувство нежности давно завяло; и потому нежность и ласки мадам Воже, передаваемые вместе с французским языком, для него были соблазнительны.

Отец и мать считали Георгия ребенком; но мадам Воже развивала в нем чувства возмужалости, льстила самолюбию юноши, и между тем искусственным образом час от часу молодела и снова принялась за образование своей немного распущенной талии посредством корсета.

Когда Георгий вступил в возраст юноши, мадам Воже приступила к последнему курсу; он хорошо уже говорил по-французски; но еще не знал разговора о любви.

Сначала, лаская его страстно, она говорила:

— Вот как должна тебя любить мать!

Приобретя материнское право целовать его, она говорила ему:

— О, как ты пламенен, сколько в тебе нежности! Знаешь ли ты, что я сама любима в первый раз так, как ты меня любишь!

И она отирала глаза платком и жаловалась на судьбу, что первая ее молодость погибла в бурях и неведении истинной любви.

— У меня не было друга; будь ты моим другом, но втайне, чтоб никто не позавидовал моему счастию.

Эта высокая оценка чувств юноши и вызов на таинственную дружбу приятно возмутили наклонную к мечтательности душу Георгия. Не понимая еще вопиющего неравенства лет, он видел в этой дружбе сочувствие душ.

Возбуждая в молодом сердце Георгия жажду любви, пожилая фея превращалась в источник и выжидала минуты, когда юноша бросится в него утолить палящую внутренность. Это желание было уже в ней непреодолимой страстью.

Когда, в пылу своих замыслов, она думала, что уже время заменить нежность дружбы и ласки нежностью любви и порывами страсти, Георгий, как испуганный, не знал куда бежать от нее.

Природу можно обмануть только один раз. Этого не рассчитала мадам Воже. Она сначала думала, что только девственная скромность заставляет юношу убегать от нее. Нежными и томными взорами покоренной невинности смотрела она на Георгия, как на победителя, и, казалось, говорила: «Я — твоя!»

— О, как ты хорош, мой Георгий! — произнесла она однажды, тихо склонясь на плечо Георгия.— Георгий, взгляни на меня! — прибавила она, взяв его за руку,— улыбнись мне... о, как ты очарователен!

Она хотела обвить его рукою; но Георгий вспыхнул, оттолкнул руку, вскочил с места и вышел вон.

Это было первое невнимание к словам воспитательницы и первая дерзость, оказанная ей учеником; но она перенесла ее, пошла вслед за ним, зовет его к себе. Георгий как будто не слышит.

— Это что значит, Георгий? За мои попечения, за мою любовь ты огорчаешь меня?

Георгий проходит мимо.

— Георгий, ты меня терзаешь! Ты приводишь меня в отчаяние!

Георгий вырвал руку, которую она схватила, чтоб удержать его.

— Ах, умираю! — вскричала она, наконец,— Георгий, я умираю! доведи меня...

Но Георгий уже ушел.

Все эти сцены происходят, как говорится, под носом отца и матери и всего дома; но никто не знает об них.

Мадам Воже в отчаянии, не понимает причины внезапной перемены в Георгии, хочет принять тон строгой воспитательницы; но боится, что раздраженный молодой человек откроет ее замыслы отцу и матери.

«О, тут есть какие-нибудь посторонние причины! — думает она,— он так был очарован, так любил меня!»

И мадам Воже начинает замечать за Георгием. Одна старая девушка, Юлия Павловна, подруга молодых лет Любови Яковлевны, часто бывая в доме, более всего наводит подозрение мадам Воже.

— О, недаром эта нежность к Георгию и поцелуи... она целует его как ребенка!.. А между тем этот ребенок очень понимает, что такое значат поцелуи... и я так была глупа, что меня провел молокосос!..

В понятиях мадам Воже Георгий представлялся самым утонченным демоном соблазна.

Решив таким образом, мадам Воже вспыхнула ревностью к Юлии Павловне, которая все-таки была двадцатью годами моложе ее.

Когда Юлия Павловна приходила в гости или гостила, мадам Воже тайно следила за каждым шагом Георгия, наблюдала взоры его, прислушивалась к разговорам; право Юлии Павловны ласкать Георгия давно уже сердило мадам Воже, и она всегда говорила ему, что неприлично позволять себя целовать девушке, что он уже не ребенок. Это было причиною, что Георгий, чтоб избежать ласк Юлии Павловны, избегал самой ее. Но когда, напротив, по собственному чувству отвращения, он стал избегать мадам Воже, тогда как будто назло ей он рад был присутствию Юлии Павловны и почти не отходил от нее; то предлагал мотать ей шерсть, то предлагал читать ей книгу, то звал ее играть с собой в пикет.

Подобные небольшие перемены погоды в отношениях между обычными членами семейства никому не заметны, потому что на них не обращает никто внимания. Нет опасения, нет и стражи. Никто в доме, так сказать, и не чувствовал уклонения четырнадцатилетнего Георгия от ласки Юлии Павловны; только она несколько заметила, потому что это до нее касалось и потому что она любила детей подруги своей молодости, с которой некогда, мечтая о замужестве и о будущем, условились — если бог даст детей — породниться. Оставшись навек заштатной девой, она любила Георгия, как жениха воображаемой своей дочери.

Часто в беседах с Любовью Яковлевной она вдруг прослезится и начинает жаловаться на свою судьбу, что Виктор Андреевич (предмет ее первой и последней любви) непременно женился бы на ней, если б ее папенька принимал его ласково в дом.

— Пришла же охота горевать бог знает о чем! — говорила ей всегда Любовь Яковлевна.

— Да, хорошо тебе, как ты замужем! — всегда отвечала с укором Юлия Павловна.

— Что ж, счастлива ли я?

— Ты хоть чем-нибудь счастлива; у тебя дети; какое же еще нужно счастие?

— Какое? — произносила вздыхая Любовь Яковлевна,— э-хе-хе! не знаешь ты горя... так надо его выкопать из-под спуду; да добро бы это верно было, что Виктор Андреевич женился бы на тебе; а то, бог знает, и думал ли он.

— Нет уж, очень думал! — возражало обиженное самолюбие Юлии Павловны.— Я знаю, что думал; охота бы ему набиваться на знакомство в доме: и лучше бы нашего дома нашел, да не хотел; стало быть, было намерение. Да и я, как будто такая еще дура была, что не могла понять намерения человека!.. Вольно ж было папеньке отучить его от дому!.. Это ужасно!.. Потому что молодой человек, так и никакого внимания не должно оказывать!.. Только и компании что старики!.. Поневоле останешься в девках!..

— Правда, что отец твой очень мало в этом случае был расчетлив.

— Да как же, у меня бы теперь непременно была дочь, Людмила... Невеста твоему Георгию... Помнишь, ты сказала: «У меня непременно будет первый ребенок — сын Георгий». Ты сдержала свое слово; а я...

Тут Юлия Павловна принималась проливать слезы.

Вот история ее отношений и ласк к Георгию.

Когда после долговременного невнимания Георгий вдруг стал садиться подле Юлии Павловны, разговаривать с ней, ходить по саду, прислуживать и, словом, находить около нее приют от преследований мадам Воже, тогда в мадам Воже заговорило чувство исступленной ревности. А Юлия Павловна, замечая, что Георгий угождает ей, почти не отходит от нее, вообразила, что он в нее влюбился.

«Ах, боже мой,— думала она,— неужели в нем так рано развилось чувство любви?»

Надо заметить, что Юлия Павловна провела свою молодость с старым суровым отцом, и сроду не случалось ей испытать на себе, как любят мужчины и как волочутся за девушкой; рассказы и женские *поверья* не составляют опытности. Она была вполне невинна и душой и телом; но часто мысль о любви тревожила, томила ее, как жажда; ей хотелось любить. Внезапное

внимание Георгия и желание его быть с нею поразило ее своею новостью, тем более что в продолжение двух лет равнодушия он вырос и далеко ушел от того Георгия, которого она на четырнадцатом году возраста миловала еще как ребенка.

«Боже мой, боже мой! — думала она,— это удивительно! Каким же это образом вдруг такой неожиданный переворот?.. Он только и находит удовольствия что быть со мною... Кажется, мадам Воже это заметила... она так странно смотрит, улыбается, когда застанет Георгия со мною; а он поминутно краснеет... Теперь только начинаю я все припоминать... он, верно, давно влюблен в меня, и скрывал, боялся, чтоб не заметили этого, и убегал от меня?.. Точно!.. припоминаю; он вдруг переменился ко мне... я этого тогда не поняла... но, наконец, страсть развилась в нем... Бедный Георгий!.. Ах, это предназначение! сердце его ищет во мне Людмилу... Когда он смотрит на меня, мне кажется, что глаза его говорят: подай мне дочь свою, мою суженую Людмилу, или я влюблюсь в тебя!..

Чем более Юлия Павловна думала, тем более убеждалась, что Георгий влюблен в нее, и ей стало страшно.

После этого открытия при первой встрече с Георгием она вспыхнула, не знала что говорить, чувствовала неловкость, боялась с ним остаться наедине, краснела, когда мадам Воже входила в комнату, и, наконец, не зная, как скрыть свое смущение, ушла домой, жалуясь на головную боль.

Постоянно веселое расположение духа Юлии Павловны вдруг исчезло. Бывало, с восстанием от сна до сна грядущего она языка не положит, всех в городе обойдет рундом, справится о здоровье и о делах каждого, изведает всю подноготную, кто как думает, что говорит, что все думают и говорят об этом, и как бы она думала, словом, соберет преинтересную журнальную статью и издает ее изустно в свет. Несмотря на строгий критический взгляд на предметы, ее все любили, особенно Любовь Яковлевна, и по старой дружбе и по удовольствию разделять с ней свое время.

Состояние ее заключалось в оставшемся после отца небольшом домике, который она отдавала внаймы, занимая сама мезонин; небольшого дохода с дома ей было очень достаточно, тем более что она, можно сказать, постоянно жила у Любови Яковлевны; Любовь Яковлевна не могла без нее дня провести.

Когда роковая тайна сердца Георгия заставила Юлию Павловну уйти домой, друг ее перед вечером прислала к ней проведать о здоровье и просить к себе; но Юлия Павловна как изнеможенная лежала уже в постели; ее пожирали сладостные и горестные думы о любви Георгия.

Старушка Ивановна ужасно как надоела ей,— не дает ни минуты уединения, все пристает, чтоб она выпила хоть чашечку липового цвету.

— Да выкушайте, барышня, пропотеете немножко, и все пройдет. Уж я вижу, что у вас лихорадка, верно простудились как-нибудь; вчера ввечеру сыренько было, а вы, верно, в саду чай пили. Да выкушайте же, барышня! как рукой снимет; а то — избави бог — привяжется...

— Да отстань, Ивановна! Сказала, что не буду пить! Дай мне спокойно полежать, поди себе!

— То-то и есть, что вы упрямы стали, а уж это худой знак!

Чтоб отделаться от Ивановны, Юлия Павловна должна была притвориться спящею; но она забылась только перед светом. Сон ее был страшен: ей снилось, что снова отец и мать лелеют ее юность, и она не отходит от зеркала, все любуется на красоту свою и наряд невесты. Вдруг является молодой человек, ее жених — это Георгий, она хочет подойти к нему, но отец, в образе мадам Воже, говорит вдруг: «Позвольте! что это значит? извольте садиться по углам!» Бедная Юлия садится в угол, со слезами украдкой смотрит на сидящего в другом углу Георгия и терзается всеми мучениями страшной разлуки. Но мать сжалилась над дочерью, и в то время, как отец отвернулся, берет руки Юлии и Георгия и соединяет их. «Позвольте, это что такое?» — восклицает отец.— «Молодые»,— отвечает мать. «А, это дело другое»,— говорит отец и предлагает Георгию понюхать табачку. Георгий отказывается, уверяет, что не нюхает; но Юлия Павловна шепчет ему: «Понюхай, друг мой, не отказывайся, а не то папенька рассердится и выживет тебя из дому!» Георгий нюхает. «Вот люблю,— говорит отец,— люблю покорность! Если есть нос, отчего ж не понюхать, особенно когда старшие предлагают». Между тем сбираются со всех сторон гости и поздравляют Юлию Павловну с счастливым вступлением в брак; начинаются танцы с котильона; молодые танцуют вместе и в то же время поминутно выбирают друг друга. Юлия Павловна счастлива, носится по воздуху. Георгий то и дело подходит ее ангажировать. После танцев наступает внезапно ночь. Юлия Павловна боится потерять Георгия, крепко держит его в объятиях и с нетерпением ждет рассвета. Вот рассветает, рассвело; Юлия Павловна смотрит — на руках у нее не Георгий, но прелестная девушка, совершенное подобие Георгия, точно как Георгий, переодетый в женское платье.

— Ах, боже мой, я тебя не узнала! — говорит Юлия Павловна, целуя девушку.

— Неужели, маменька, не узнали? свою Людмилу не узнали?

— Людмила! — с содроганием повторяет Юлия Павловна,— а где же Георгий?

— Он дома, я сейчас была у Любови Яковлевны.

— Вы виделись? — вскрикивает Юлия Павловна.

— Виделись.

— О, боже мой, что я сделала! зачем я дала клятву

Любеньке утвердить нашу дружбу союзом Людмилы с Георгием!.. Нет, этого не может быть!..

— Как, маменька, вы сами желали...

— Нет, нет, нет! этого не может быть!

— Да почему же, маменька? Я умру,— сказала Людмила, залившись слезами.

— Лучше умри! Этого не может быть!

— Да почему же? маменька, душенька!

— Это тайна, страшная тайна!

И Юлия Павловна, всплеснув руками, бежит к Любови Яковлевне; Людмила бежит вслед за нею... Вот прибежали в дом. Любовь Яковлевна и Георгий бегут навстречу им. Георгий бросается в объятия Людмилы, а Любовь Яковлевна обнимает, целует без памяти Юлию Павловну.

— Пусти, пусти меня, а не согласна! этого не может быть! — кричит Юлия Павловна, вырываясь из объятий, но не в силах вырваться; Любовь Яковлевна оковала ее руками; а между тем Георгий целует, обнимает Людмилу.

— О, пусти, союз их не может состояться... Прочь, Георгий, от Людмилы!

— Как прочь! — говорит Любовь Яковлевна,— это почему, а клятва?

— Этого не может быть!

— Почему не может быть?

— Это страшная тайна! пусти меня! они уйдут! они уходят! Георгий! Георгий! Людмила — дочь твоя!.. Они ушли! О, я погибла!

Юлия Павловна вырвалась из объятий Любови Яковлевны, хочет бежать за Георгием и Людмилой; но ноги ей не служат, и она падает на колени перед матерью Георгия и умоляет догнать его, вырвать из объятий Людмилы.

— Догони, догони!—повторяет она, ползая на коленях пред нею,— я тебе все открою: твой Георгий — муж мой, Людмила— дочь его!..

— Матушка, барышня, что с тобой? — кричит Ивановна, вбегая в комнату Юлии Павловны и обхватив ее руками.

— О, пусти, я сама умру; только догони их, догони! — повторяет в бреду Юлия Павловна.

Ивановна плачет над ней.

— Говорила я, чтоб выпить липового цвету!.. Вот и горячка! Барышня! голубушка!

Юлия Павловна вздохнула, очнулась; холодный пот покатился по лицу ее, мутный взор ходит кругом.

— Что с тобой, барышня?.. Вот, в озноб теперь кинуло!.

Юлия Павловна зарыдала.

Утолив безотчетное свое горе слезами, она поуспокоилась; и наконец, после долгой думы, взор ее просветлел.

«Какие пустяки забрала я себе в голову,— думала она, увлекаемая желанием по привычке отправиться к Любови Яковлевне,— право, сама не знаю, чего я испугалась; ну что за беда, что ребенок любит меня... я сама его так люблю, как своего родного сына... Я уверена, что ему надоела эта мадам Воже с своим французским языком... Только и разговоров что про грамматику! Не удивительно, что он стал бегать от этой грамматики; со мной все-таки о чем-нибудь можно поговорить. Молодому человеку необходимо рассеяние».

Поток этих успокоительных мыслей остановлен был присылкою от Любови Яковлевны узнать о здоровье и просить к себе. Человек вошел так неожиданно и так крикнул, что Юлия Павловна вздрогнула с испугом, и в ней задрожали все жилки.

— Не могу, не могу,— проговорила она,— кланяйся Любови Яковлевне.

Человек ушел; а Юлия Павловна, успокоясь, подумала: «Для чего ж это я наклепала на себя лихорадку?.. Смех какой! испугалась человека! я пойду».

И она, полная мыслей о глупости, которая пришла ей в голову, надела, не замечая того сама, новенькое платье с шитой пелериночкой и, стоя перед зеркалом, десять раз переделывала прическу волос.

Вдруг входит Георгий.

Юлия Павловна так и обмерла, завитые локоны распустились от страху.

— Ах, Юлия Павловна,— сказал Георгий, целуя по обычаю ее ручку,— а мы думали, что вы в постели!

— Да, я очень нездорова, Георгий,— проговорила Юлия Павловна, взволнованная новою неожиданностью.

И она не могла докончить, села, держась за руку Георгия; Георгий сел подле нее.

— Слабость такая... всего пугаюсь... Я не знаю, что со мной делается.

И Юлия Павловна заплакала; Георгий придержал ей голову, которая клонилась и наконец припала на плечо юноши.

— Что с вами, Юлия Павловна? — сказал он с чувством.

Юлия Павловна еще сильнее зарыдала.

Любовь Яковлевна, рассердясь на человека, который возвратился от Юлии Павловны и не мог сказать, чем она больна, хотела посылать его в другой раз.

— Позвольте, я сам схожу, маменька,— вызвался Георгий и побежал к Юлии Павловне.

Это слышала мадам Воже. В ней страшно уже кипело чувство ревности. Подозревая условленное свидание, она не вытерпела.

— Бедной Юлий Павловна больна, очень больна,— сказала она,— и я пойду сама к ней.

— Сходите навестите ее, мадам Воже.

Мадам Воже хотелось застать любовников врасплох; торопливо дошла она до дому Юлии Павловны, тихонько прокралась в сени, на лестницу, приотворила двери в переднюю — все тихо; подле, в кухоньке, никого нет — Ивановна ушла на базар.

Тихонько приотворила дверь в гостиную, пробирается на цыпочках, заглянула в спальню и вместе уборную — тишина. Но какая картина для нее: безмолвно сидит Георгий на канапе, к плечу его припала головою Юлия Павловна, глаза ее закрыты, она, казалось, сладко забылась после горьких слез, локоны ее распались, щеки горят, наряд совсем не говорит в пользу болезни.

— Браво, браво, Юлий Павловна, у вас прекрасной болезнь! — вскричала мадам Воже, вбежав в комнату с злобной радостью.— Мосьё доктёр у вас очень хорошей, очень хорошей!

Это был третий внезапный приход для Юлии Павловны; она вскрикнула и упала без памяти.

— Вы испугали ее! — вскричал Георгий, бросившись помогать Юлий Павловне.

— Monsieur le docteur [1], извольте идти домой! — сказала мадам Воже гордо, указывая Георгию двери.

— Что? — проговорил Георгий с презрением.

— Monsieur George [2], я вам приказываю!

— Прочь! — крикнул Георгий, оттолкнув мадам Воже, которая схватила его за руку.

— Дерзкой мальчишка! я пойду все рассказать отцу и матери!

— Иди, рассказывай, я сам все расскажу!.. все, дочиста!

— Георгий, извольте идти домой! — закричала во весь голос Воже. И она, как демон, исступленно, бросилась на беспамятную Юлию Павловну; но Георгий, обхватив ее, вытащил за двери, вытолкнул и припер их.

— Постой же, мальчишка! — вскричала мадам Воже, погрозив в дверь кулаком.

Бегом побежала она домой, скрежеща зубами.

— Что вы бежите как сумасшедшая, мадам Воже? — спросил Филипп Савич, сидевший у открытого окна, видя ее бегущую мимо дому с разъяренным лицом.

— Я вам скажу, я вам скажу! — вскричала мадам Воже.

«Что там такое? — подумал Филипп Савич, выходя навстречу в залу,— где ж она?»

В нетерпении узнать причину, он пошел через сени в комнату гувернантки, но раздавшиеся слова на крыльце остановили его.

---

[1] Господин доктор *(франц.)*.
[2] Мосье Жорж *(франц.)*.

— Ах, старая чертовка, да ведь она околевает!

— Кто околевает? — спросил равнодушно Филипп Савич у вбегающей в сени девки.

— Мадам, сударь, убилась до смерти.

— Что-о? Какая мадам?

— Наша, сударь, убилась до смерти! вон лежит у ворот.

Филипп Савич вышел на двор. В воротах лежала распростертая на земле мадам Воже без дыхания, с раскроенным лбом, пена бьет изо рта. Вся дворня и народ, собравшийся с улицы, стояли около нее.

— Что это с ней случилось? — спросил Филипп Савич.

— Прах ее знает,— отвечал один купец,— подхожу я к воротам вашего благородия, смотрю, бежит она, да что-то бормочет по-своему, да, словно слепая, как хватится в воротах об запор! так, как сноп, и свалилась: ни словечка не молвила!

— Какой запор?

— А что ворота запирают,— отвечал конюх,— вы изволили приказать пустить вороную по двору на травку; так, чтоб не ушла со двора, я и засунул запор, чем ворота-то совсем запирать.

— Дурак! для чего ты не запер ворота? — вскричал Филипп Савич.

— Да как же проходить-то, сударь; у калитки еще зимой петли сломались, так ее покуда заколотили, я докладывал тогда еще.

— Когда докладывал? врешь!

— Как же, сударь, раза три докладывал; а вы ничего не изволили сказать.

— Врешь!

Филипп Савич не любил выдавать деньги на разные требования своих людей,— он подозревал, что эти мошенники нарочно сломают да скажут — втридорога стоит починка, чтоб выгадать себе на вино. Посылать людей своих за кузнецами, плотниками, слесарями он также не любил, подозревая, что они сговорятся и обманут его. А потому он всегда ждал поры и времени, когда накопится в доме порчи и ломи, и тогда подряжал сам починку гуртом. За этот, с позволения сказать, скаредный расчет он платил за все не втридорога, а вдесятеро: потому что искру тушить не то что пожар.

Между тем как Филипп Савич спорил с кучером о петлях калитки, мадам Воже лежала на земле. Любовь Яковлевна и Георгий стояли также над ней с ужасом.

Наконец ее внесли в ее комнату, призвали медика, который застал ее уже в сильном бреду горячки; выпучив глаза, она лезла с постели и, уставив пальцы, как когти, скрежетала зубами. Она была страшна.

Георгий рассказал матери, как она напугала Юлию Пав-

ловну, и Любовь Яковлевна подтвердила его мнение, что болезнь в ней давно уже скрывалась и что она только в беспамятстве могла удариться о перекладину.

— Я ее дома лечить не намерен! — говорил Филипп Савич,— черт с ней! пусть в больнице умирает.

— Помилуй, друг мой, за что ж мы бросим бедную женщину, которая у нас как своя в доме уже несколько лет,— говорила чувствительная Любовь Яковлевна.

— Вот тебе раз! я нанимал ее для того, чтоб учить детей; а она тут больная лежать будет!.. Мне что за дело, что она больна! Сама ты говорила, что у ней горячка поутру была; объелась, я думаю, чего-нибудь! Я видел сам, как она бежала с пеной у рта! Какая это горячка; она просто сошла с ума.

Убеждения Любови Яковлевны лечить больную дома не подействовали на Филиппа Савича; он отправил ее в Киев, в больницу. Чем она кончила свои похождения, умерла, больна по сию пору или выздоровела и отправилась в отчизну свою, Францию, бог с ней, не наше дело; она, как говорится по-турецки, пришла-ушла, а между тем это имело большое влияние на судьбу героев нашего сказания.

Так как для двенадцатилетней дочери Любови Яковлевны нужна была еще мадам, и еще такая мадам, которая бы, кроме французского языка, учила ее и на фортепьянах играть, а если можно, и петь, то Филипп Савич, отправляясь на контракты в Киев, решился, более по просьбе дочери, нежели матери ее, приискать сам потребную мадам, хотя он и считал французское воспитание, по польскому выражению, непотребным.

IV

Обратимся теперь к нашей героине, которую, может быть, читатель успел уже невзлюбить и согрешил. Душа человека, как почва, которую можно не возделывать совсем, и тогда она будет технически называться *пустошью;* можно возделать и засеять пшеницей и чем угодно. Урожай от бога, а без ухода и уменья ухаживать добро прорастет чертовым зельем. К этой старой морали прибавим то, что человеку дан разум и право самому себя возделывать. Он и может себя возделывать, преобразовывать к лучшему. Но каково выполоть из самого себя какое-нибудь чертово зелье, которое пустило корни во все изгибы сердца? И хочется вырвать, да смерть больно! А иной неверующий разум подумает: да к чему? будет ли от этого лучше, успею ли я выполоть душу, возделать снова, возрастить сладкий и здоровый плод и вкусить от него? Подумает, да так и оставит. Человеку нужно *добро,* как насущный хлеб. Не имея собственного добра, он непременно *заест* чужое добро. В пример ставим

Дмитрицкого и Саломею Петровну, которые скачут теперь из Москвы, по мыслям Дмитрицкого в Киев, а по словам его покупать имение на чудных берегах Тавриды и там поселиться.

— О, мы будем вкушать там рай! — говорит Саломея Петровна, пламенно смотря ему в глаза.

— Как же! именно, радость моя; мы так будем счастливы,— держит ответ Дмитрицкий.— Именно, радость моя, уж если жить — так жить! Однако что-то теперь поделывает твой муж?

— Ах, не напоминай мне о нем! — произносит Саломея Петровна с чувством.— Если б ты знал, какие ухищрения были употреблены, чтоб выдать меня за него замуж!

— Ах, это любопытно; расскажи, пожалуйста,— проговорил Дмитрицкий зевая.

— Я как будто предчувствовала, что мне суждено было встретиться с тобой, и, несмотря на все искания руки моей, я отказывала...

— А ты веришь предчувствиям?

— О, как же! а ты?

— О, без сомнения! я по предчувствию ехал в Москву.

— Неужели? по какому же?

— Во-первых, я торопился в Москву совершенно как будто влюбленный уже в тебя; мне казалось, что у меня ничего нет, кроме сладостной надежды встретить в Москве то, чего душа моя требует... И вот я нашел, что мне нужно было.

И Дмитрицкий приложил левую руку к шкатулке, а другою обнял Саломею.

— Это удивительно!

— Чрезвычайно!

Между тем наши путешественники приехали в Тулу. Дмитрицкий велел ехать в гостиницу.

— В трактир? — спросил ямщик.

— Ну, да!

— Ах, пожалуйста, наймем лучше квартиру! Как можно в трактире останавливаться, это отвратительно!

— Помилуй, что тут отвратительного; в гостиницах все проезжие останавливаются.

— Нет, нет, как это можно! неравно еще я встречу кого-нибудь из знакомых.

— Так что ж такое? тем лучше! пожелаешь им счастливого пути в Москву и велишь кланяться всем знакомым и извиниться, что уехала не простившись с ними.

— Ах, нет, я не могу перенести стыда!

— Это что такое? стыд со мной ехать? Этого я не знал!.. Если стыдно ехать со мной, так зачем и ехать.

Пррр! Карета остановилась подле гостиницы; наемный человек из иностранцев отворил дверцы.

— Этого я не знал! — продолжал Дмитрицкий,— так я избавлю вас от стыда ехать со мной.

И Дмитрицкий полез вон из кареты.

— Николай! — вскричала Саломея, схватив его за полу сюртука.

— Позвольте мне идти!

— Не сердись на меня! делай как хочешь, мой друг! помоги мне выйти из кареты.

— Вот это дело другое; я противоречий не умею переносить; так, так так! а не так, так — мне все нипочем: у меня уже такой характер.

— Ах, Николай, как ты вспыльчив! — сказала Саломея, когда они вошли в номер гостиницы.

— От этого недостатка или, лучше сказать, излишества сердца я никак не могу отучить себя. У меня иногда бывают престранные капризы, какие-то требования самой природы, и если противоречить им, я готов все и вверх дном и вверх ногами поставить.

Дмитрицкий приказал подать обедать и, между прочим, бутылку шампанского.

— Мы, душа моя, сами будем пить за свое здоровье; это гораздо будет лучше; ты знаешь, как люди желают? На языке: «желаю вам счастия», а на душе: «чтобы черт вас взял». Мы сами себе пожелаем счастия от чистого сердца, не правда ли?

— О, конечно!

— Ну, чокнемся и поцелуемся; ты — моя надежда, а я — твой друг!

— За твое здоровье, ты мои желания знаешь.

— Что ж, только-то? прихлебнула?

— Я не могу пить, Николай.

— Хм! Это худая примета! — сухо сказал Дмитрицкий.

— Ты сердишься, ну, я выпью, выпью!

— Вот люблю! — сказал Дмитрицкий.— Для взаимности, душа моя, необходимо иметь одни привычки.

После обеда Дмитрицкий вышел в бильярдную. Бильярд был второклассным его развлечением; за неимением партии застольной, он любил испытать свое счастие с кием в руках, а иногда играл так, для разнообразия, и даже для моциону.

Покуда хватилась и нашла его Саломея, он уже успел вызвать на бой одного ротмистра, по червонцу, и играл преинтересную партию. У противников было по пятидесяти девяти, и дело было за одной билей, которая долго не давалась ни тому, ни другому.

— Идет пари! — вскричал Дмитрицкий.

— Пожалуй, бутылка шампанского.

— И мазу к ней пятьсот рублей: эта биля стоит того.

— Много! — сказал ротмистр.— Господа, отвечаете за меня?

— Отвечаем! — вскричали прочие офицеры, заинтересованные партией.

— Идет! Ну, прищуривай, Агашка, на левый глаз! — крикнул ротмистр, которому был черед играть.

Все шары стояли подле борта; ротмистр решился делать желтого дублетом; ударил — шар покатился к лузе. У Дмитрицкого ёкнуло сердце, он стукнул уже кием об пол. Но шар остановился над самой лузой.

— Стой, друг! Отдаете партию? — вскричал Дмитрицкий, видя, что ротмистр с досады бросил кий.

— Извольте играть! — сказали офицеры.

— Не верите? да это стыдно играть! — сказал Дмитрицкий и наметил в шар, который стоило только задеть, чтобы он свалился в лузу.

В это самое время Саломея, закрытая вуалем, взглянула в двери и, не зная, что Дмитрицкий в таком положении, когда *под руку* опасно звать, крикнула нетерпеливым голосом:

— Николай!

— Промах! партия! — вскричали офицеры.

— Пьфу! — вскричал Дмитрицкий, швырнув кий на бильярд.

— Пора ехать,— сказала Саломея.

— Да что мне пора ехать! Черт знает что! Кричать под руку! Да подите, пожалуйста!

Саломея вздрогнула: так прикрикнул на нее Дмитрицкий.

— Эта партия не в партию, господа,— сказал он,— надо переиграть!

— Нет, очень в партию,— сказал ротмистр,— если хотите, новую.

— Извольте! — сказал Дмитрицкий,— на квит!

Руки его тряслись от досады; с ним не опасно было играть.

Он проиграл три раза на квит и, ясно чувствуя, что не может играть, бросил кий.

За пазухой у него было только три тысячи, отложенные из шкатулки, на дорогу; целой тысячи недоставало. Это для него было хуже всего: ключ от шкатулки был у Саломеи, надо было просить у нее денег.

— Остальные сейчас принесу, господа,— сказал он, уходя в свою комнату.

Саломея сидела на диване, закрыв глаза руками. В ней боролись две страсти — молодая любовь с старой гордостью.

— Помилуй, друг мой, что ты сделала со мной! — сказал Дмитрицкий, подходя к ней.

Саломея ничего не отвечала.

— Я, впрочем, тебя не виню, ты не знаешь условий бильярдной игры; но ты могла меня осрамить.

— Чем я вас осрамила? вы меня осрамили!

— Хм! теперь у меня вспыльчивость прошла, и потому я тебе объясню, в чем дело. Ты не знаешь, что на бильярде есть такая легкая биль, что тот, кто не сделает ее, должен лезть под бильярд. Ты крикнула под руку, я дал промах и должен за неисполнение условия или драться на дуэли, или откупиться суммой, которую с меня потребуют. Под бильярд, разумеется, я не полезу, платить четыре тысячи из твоего капитала также не хочу, так прощай покуда.

— Николай! Николай! — вскричала Саломея, удерживая Дмитрицкого за руку,— я тебя не пущу!

— Нельзя, душа моя, честь выкупается кровью или жизнью.

— Ты меня не любишь! ты не считаешь моего своим!..

— О, теперь я вижу, что ты моя, что твоя любовь беспредельна!.. прости же за недоверчивость!

— Сколько же тебе нужно, друг мой, денег? вот ключик от шкатулки... отдай им поскорее!

— Да, и поедем поскорее отсюда! Мерзавцы, рады, что получили право содрать с меня сколько хотят! — сказал Дмитрицкий, вынимая из шкатулки деньги.

— Это я виновата.

— Полно, пожалуйста; ну чем ты виновата, что не знала условий; да и такие ли есть: например, я бы сел играть в карты — а ты, из удовольствия всегда быть со мною, вздумала бы сесть подле меня или даже стоять подле стола — просто беда: тотчас подумают, что ты пятый игрок и крикнут: «Под стол, сударыня!» Вот и причина дуэли.

— О, я уверена, что ты не играешь в карты!

— Напротив, играю и большой охотник.

— Нет, cher [1], я не верю тебе; ты поэт, известный литератор, ты не бросишь время на карты, ты посвятишь его любви и вдохновению.

— Нет, душа моя, об литературе мне больше ни слова не говори; а о поэзии ни полслова,— я тебе запрещаю.

— Почему же, друг мой?

— Ни почему, так, запрещаю без причины.

— Это странно! мне ты не хочешь сказать.

— Чтоб сказать, надо объяснить причину, а причины нет: что ж я тебе скажу?

— Не понимаю!

— Ну, и слава богу.

— Такой известный поэт и так вооружен против литературы.

---

[1] *Милый (франц.).*

— Известный? неправда! Ты что читала из моих сочинений?

— Ах, да мало ли... я и не припомню заглавий...

— Да, конечно, заглавия произведений известных сочинителей очень трудно припоминать, потому что у них всегда какие-нибудь мудреные заглавия; ну, а не помнишь ли так что-нибудь, какую-нибудь тираду из моей поэмы?

— Ты таким тоном говоришь, что я, исполняя твое запрещение говорить о литературе, умолкаю.

— Увертка бесподобная, истинно светская! Видишь ли, душа моя, что причина сама собой объясняется: ты не читала моих сочинений, потому что я ничего и никогда не сочинял.

— Ах, оставим, пожалуйста, разговор о литературе!

— И прекрасно: взаимное запрещение. Едем, едем, путь далек!

До Киева особенных происшествий с нашими беглецами не случилось. В Киеве Дмитрицкий остановился в гостинице у жида. Тут он дышал свободнее, как человек светский, который приехал домой, где имеет уже право сбросить с себя все одежды приличия и быть тем, чем он в самом деле есть: сбросить все прикрасы с грешного тела и посконной души, все чужие перья, несвойственную любезность, принужденную улыбку, терпимость и угодливость, мягкий голос, все признаки ума, познаний и свойств человеческих, и — явиться в своих четырех стенах, с успехом или неуспехом, с сытой или проголодавшейся душой. Тут, как ловчего кречета, кормит он ее сырым мясом всего окружающего. Она клюет сердце всех домочадцев и всей челяди. От этого корму ему убытку нет; сердце каждого человека, как у Прометея, выклеванное днем, заживает во время ночи. А кто же из окружающих какого-нибудь жирного или желчного Юпитера не Прометей? Кто похитил, хоть ненароком, миг его спокойствия, тот и Прометей.

У Дмитрицкого не было ни чад, ни домочадцев, у него в зависимости была только Саломея Петровна; но она была такое грандиозное или, по-русски, великолепное существо во всех своих приемах, такое тяжелое, натянутое, надутое, напыщенное, приторное, что Дмитрицкий во время дороги часто вскрикивал:

— Фу! какая обуза! мочи нет! — и, расправляя свои члены, потягивался.

— Ты устал, mon ami [1], от дороги? — повторяла нежным голосом Саломея.

— Устал, душа моя, всего разломило, голова одурела!

Приехав в Киев, он вскрикнул:

— Фу! здесь надо отдохнуть; ты покуда распорядись всем, а я пойду похлопочу о найме дома, потому что действительно неприятно стоять в трактире.

---

[1] Мой друг (*франц.*).

— Ты всегда поздно соглашаешься с моими словами,— заметила Саломея,— но зачем же тебе идти самому, пошли кого-нибудь — я умру со скуки.

— Кстати, я озабочусь о поваре, который бы умел готовить для тебя французский стол.

— Ах, да, я совсем не могу кушать того, что здесь подают.

— Знаю, знаю; я видел, что ты только из угождения мне не умерла, друг мой, с голоду. Но я распоряжусь, чтоб сделать твою жизнь раем. Прощай, мой ангел, на минутку.

Минутка тянулась за полночь. Саломея в отчаянии; она разослала всех факторов, состоящих при гостинице, и всех жидков, предлагающих путешественникам свои услуги с улицы, через окно.

Жиды-факторы такой народ — на дне моря отыщут все что надо и кого надо.

Все они по очереди отыскали Дмитрицкого в одном из номеров другой гостиницы, в честной компании; все по очереди докладывали ему, что, дескать, барыня, васе благородие, прислала за вами.

Всем было ответ:

— Убирайся, проклятый жид, да если ты скажешь, что нашел меня, так я тебе вместо вот этого полтинника рожу переверну на затылок, слышишь? Ну, пиль, собака!

Жид брал деньги и возвращался к Саломее Петровне с докладом, что не нашел барина.

Десятому посланцу, прибывшему уже около полуночи, Дмитрицкий велел сказать барыне, что барин в гостях у графа Черномского, ужинает и сейчас воротится.

Саломея успокоилась; но, верно, ужин долго продолжался, потому что Дмитрицкий воротился перед рассветом.

— Ну, душа моя,— сказал он входя,— я здесь нашел целый полк товарищей, сослуживцев и тьму знакомых. Граф Черномский, старый сослуживец, затащил к себе, засадил в карты, я отговаривался — куда! Да вот что хорошо: знаешь ли, что я покупаю в Крыму Алушту — это рай! Самое лучшее и богатейшее имение, приносит доходу от одних грецких орехов сорок тысяч, да виноградные сады дают двадцать пять тысяч, да крымских яблоков тысяч на десять, не считая апельсины, фисташки, персики, дыни, арбузы, бесподобный меблированный дом со всеми принадлежностями... на самом берегу моря.

— Ах, как это очаровательно!

— И это по случаю; я дал уже задатку пять тысяч.

— Но как цена?

— Миллион.

— Миллион! помилуй, где ж нам его взять? у нас только сто тысяч.

— Помилуй, душа моя, да ты не знаешь, что значат сто тысяч наличных в руках оборотливого человека. Ведь это то же,

что храбрая стотысячная армия, которою можно не только разбить миллион войска, но покорить весь свет.

— Ah, cher [1], как ты поэтизируешь!

— Нет, пожалуйста, о поэзии ни слова; ты знаешь, я не люблю противоречий; да и вообще теперь уж поздно рассуждать о делах: утро вечера мудренее... Уф! напоили меня крымским шампанским разных сортов, из виноградных лоз нашего имения,— я пробовал, пробовал... пьфу! кисел виноград! покойной ночи, друг мой.

Искание квартиры продолжалось несколько дней; а между тем к Дмитрицкому с визитом являлись разные лица, которых он рекомендовал Саломее как помещиков Киевской губернии. Манеры их были не ловки, но смелы и бесцеремонны, польское наречие странно; Саломея смотрела на них, как на необразованных провинциалов, и, сохраняя свое достоинство большого света, обошлась очень сухо и не могла скрыть неудовольствия, что Дмитрицкий не пощадил ее от этого знакомства.

Повертевшись несколько на стульях и отпустив несколько комплиментов Саломее, вроде «барзо есэм сченсливы, цо мялэм хóнор видзець такэ вельке дамэ!..» [2] — они все заключали прощанье с Дмитрицким словами: «террас юж время до косцёлу; до зобаченья пане, у пáна грабе Черномского! так есть?» [3]

— Да, да, да, я надеюсь,— отвечал Дмитрицкий.

— Я не понимаю, как тебе вздумалось знакомить меня с этими уродами!

— Здесь уж такой тон, моя милая: простота и бесцеремонность. Тебе надо привыкать. Впрочем, это чудаки, деревенщина, но я тебя познакомлю с графом Черномским; в нем ты увидишь человека образованного.

— Сделай одолжение, избавь меня от всех знакомств; мне нужен ты и больше никого!

«Пьфу, обуза какая!» — сказал Дмитрицкий про себя.

— Вместо того чтоб отвечать на мои ласки, ты молчишь, надулся... Это меня убивает.

— Да невозможно, милая! ты хочешь все по-своему.

— Что ж я хочу по-своему? То, что не желаю никаких знакомств?

— Я также имею отношения к людям; мне нельзя их разорвать. Взял да поехал в Крым, поселился на чистом воздухе, да и прав, этого нельзя: не орехами питаться, надо чем-нибудь жить.

— У нас есть средства: будто недостаточно ста тысяч, чтоб прожить век вдвоем счастливо и спокойно.

— Скажи, пожалуйста! сто тысяч! огромный капитал!

---

[1] Милый *(франц.)*.

[2] Весьма счастливы, что имели честь видеть такую знатную даму.

[3] Теперь уже пора в костел, до свиданья, пан, у пана графа Черномского *(польск.)*.

В Крыму, где на первое обзаведение нужно вдвое. Я не могу жить по-татарски, под деревом, да и ты, я думаю, этого не захочешь.

— Откуда же взять нам миллионы? Впрочем, я не знаю, как велико твое собственное состояние: ты собираешься покупать имение в миллион.

— То-то и беда, что не знаешь, а говоришь; и куплю в миллион! но без Черномского я не могу этого сделать.

Грабе Черномский верно легок на помине.

— Ба! Черномский! — сказал Дмитрицкий, увидев в окно подъезжающие дрожки к крыльцу.— Сделай одолжение, будь с ним как можно приветливее; он — приятель мой и один из богатейших помещиков; от него я надеюсь получить сумму для покупки имения в Крыму, которое приносит тысяч сто... виноградных лоз... А! граф, мое почтение! очень рад! Рекомендую вам жену мою.

Грабе Черномский удивился, видя перед собою статную, прекрасную женщину, богато одетую, и что-то вроде Беллоны.

— Я не знал, что вы женаты,— сказал он,— и что такая прекрасная особа осчастливила вас. Извините, сударыня, что явился к вам так неавантажно... это не моя вина.

Саломея села, немножко смутясь, сделала приветливое движение головой, просила садиться, предложила несколько светских вопросов, чтоб оказать внимание гостю, но таким тоном, который воздерживал привычное с женщинами любезничанье Черномского и притуплял меткие взоры черных его глаз, привыкших пожирать красоту.

«О, какая строгая! — подумал он.— Верно, в первом еще пылу любви!»

— Я у вас отниму на сегодняшний день вашего супруга,— сказал он Саломее.

— Вы меня лишаете удовольствия быть вместе с мужем,— отвечала она сухо,— каждая минута разлуки с ним для меня потеря.

— Вы очень счастливы,— сказал Черномский, обращаясь к Дмитрицкому.

— Совершенно счастлив,— сказал Дмитрицкий, взяв руку Саломеи,— мы живем душа в душу.

— А давно уже женаты? — спросил значительно Черномский, устремив прищуренный взор на Саломею.

Она вспыхнула с выражением негодования.

— Довольно давно,— отвечал Дмитрицкий,— после нашего свидания у Савицкого я вскоре поехал в Москву, влюбился, и она моя.

— Стало быть, около года?

— Да, месяцев с восемь.

Смущенная Саломея хотела выйти в другую комнату, но вдруг вошел офицер, произнес: «Ах-с», и подошел к ручке.

Саломея еще более смутилась.

Этот офицер незнаком читателям, но знаком был уже Саломее Петровне. Это был товарищ мужа ее, Федора Петровича Яликова, казначей полка, в котором он служил. В бытность в Москве для приема комиссариатских вещей он навещал Федора Петровича и, следовательно, имел честь познакомиться и с его супругой. Робкий от природы, он всегда смущался перед новыми лицами и не умел управлять ни движениями своими, ни мыслями, ни словами.

— А супруг ваш-с? — спросил он, поцеловав ручку Саломеи.

— Я, к вашим услугам,— торопливо вызвался Дмитрицкий, видя, что Саломея смутилась.

— Как-с, кажется Федор Петрович Яликов,— сказал казначей, смутясь и сам.

— Так точно-с,— отвечал Дмитрицкий.

— Нет-с, вы шутите,— сказал казначей,— я знаю их супруга.

— А, вам Федора Петровича, первого ее мужа! — вскричал Дмитрицкий, спохватившись,— он умер-с.

— Умер! ах, боже мой!— проговорил горестно казначей,— стало быть, недавно: потому что не более двух недель, как я получил от него письмо.

— Да-с, очень недавно, перед нашим отъездом,— отвечал Дмитрицкий, сбившись в свою очередь с толку.

— Как это жалко! — сказал казначей, не зная, что более сказать на молчание Саломеи и на резкие ответы Дмитрицкого.

— Да-с, очень жалко! — отвечал сухо Дмитрицкий, желая скорее отделаться от гостя и смотря ему в глаза, как будто в ожидании, что ему еще угодно будет спросить. Пан грабе также пристально и с сардонической улыбкой уставил на него взор. Казначей совсем потерялся; он бросился снова к ручке Саломеи Петровны и, по привычке, забывшись, просил ее свидетельствовать свое почтение Федору Петровичу.

В смущении, в забывчивости и она по привычке проговорила:

— Покорнейше вас благодарю.

Казначей отретировался. Пан грабе, а вслед за ним и Дмитрицкий захохотали.

Саломея Петровна, закусив губы, вышла в другую комнату.

— А цо то за та́ка мизерна гистория? — спросил Черномский.

— А то, пане, не гистория, а интродукция в гисторию,— отвечал Дмитрицкий.

— Разумем, пане, то штука! Я мыслил же — панья в самом деле жо́на пана. Да ходзим же, ходзим, юж время!

— Сейчас,— сказал Дмитрицкий.

Он вошел в комнату Саломеи. Она лежала на диване, скрыв лицо свое в подушке.

— Спит! — проговорил тихо Дмитрицкий, торопливо выходя из комнаты.

— О нет, не сплю! — сказала Саломея; но Дмитрицкий уже исчез.

Саломея в первый раз почувствовала тоску разочарования и не в состоянии была облегчить себя слезами. Плакать казалось ей всегда низко. Она чувствовала, что в Дмитрицком чего-то недостает для нее; но самолюбие не дозволяло сознаться ей, что недостает в нем любви. Женщина с сердцем сказала бы вслух сама себе: он меня не любит! и залилась бы слезами. Но Саломея была горда, она терзалась втайне от самой себя. Ввечеру вдруг дверь отворилась, вошел Черномский.

— Извините, сударыня,— сказал он,— сожалея вас, я пришел спасти вас от человека, который вас погубит.

— От какого, сударь, человека? — гордо спросила Саломея.

— От того, который уже вас обманул мнимой своей любовью, от мерзавца, от игрока!

Саломея остолбенела.

— Я увидел вас и не мог не пожалеть об вас: вы так прекрасны, вы такой ангел... Этот подлец, которого, я уверен, вы не можете любить, проиграл все и теперь поставил вас на карту... Я не мог этого перенести, побежал к вам умолять вас предаться моему покровительству...

— Вон! — вскричала Саломея, долго молчавшая, и показала рукой двери.— Вон! покуда я не позвала людей!

Черномский вышел.

Как истукан просидела Саломея весь вечер и почти всю ночь, не двигаясь с места, в ожидании Дмитрицкого, чтоб сказать ему что-то грозное; но... стало рассветать, двери хлопнули, он быстро вошел, бледный, растерзанный. Саломея испугалась.

— Что с тобой? Николай, друг мой! — вскричала она.

В другой комнате раздались голоса, дверь приотворилась, несколько знакомых уже Саломее лиц показались в дверях.

— Прочь отсюда! — вскричал Дмитрицкий, ухватив стул.

— Отдавай, любезный, деньги, так мы и пойдем! — сказал один высокий здоровяк, красная рожа, рекомендованный Саломее помещиком, прекрасным человеком.

— Ждите, собаки! сюда ни шагу! — крикнул Дмитрицкий, захлопнув дверь.— Саломея, эти подлецы обыграли меня! Это шайка мошенника Черномского!.. Есть у тебя еще деньги?

— Нет! — отвечала Саломея трепещущим голосом, закрыв лицо руками.

— Нет? ну, кончено! Денег нет, так дудки есть!

И Дмитрицкий схватил со стены пистолет.

— Николай! — вскричала Саломея,— возьми мои брильянты, возьми всё!

— Давай! где они? скорее!

Саломея вынула из чемодана ящик. Дмитрицкий схватил его и выбежал в другую комнату.

Саломея слышала только: «Извольте идти за мной!» Чувства ее оставляли.

Когда она очнулась, подле нее была только хозяйка, еврейка Ганза.

— Куда ж это вы переезжаете, сударыня? — спросила она ее.

— Куда я переезжаю? Кто переезжает? — вскричала Саломея, окинув взором комнату и не видя ни одной из вещей своих.

— Ваш человек забрал все вещи и сказал, что барин за вами приедет и расплатится за квартиру и за все; я вошла сюда, а вы почиваете.

— Dieu! je suis trahie! [1] — вскричала Саломея, всплеснув руками и как будто желая скрыть от еврейки свою несчастную участь.

— Чего ж вы так испугались, сударыня? — спросила Ганза.

Саломея закрыла лицо руками и ничего не отвечала. Ганза села против нее на стул и, смотря на безмолвное отчаяние Саломеи, казалось, поняла, в чем дело.

— Мне очень жаль вас, сударыня,— сказала она ей.

Саломея не отвечала.

— Вот, кажется, кто-то идет сюда, не барин ли?

Саломея бросила взгляд на двери; но это был не Дмитрицкий, а Черномский.

— Извините,— сказал он,— что я решился посетить вас опять, я хотел вас предупредить, вы мне не верили. Теперь все ясно; и, кажется, что Дмитрицкий не воротится, чтоб испытать ваше презрение к себе... Он скрылся... Осмеливаюсь повторить вам свое предложение, чтоб вы предоставили успокоение вашей участи мне, как человеку, который умеет ценить вашу красоту.

— Оставьте, сударь, меня! — вскричала Саломея,— я вам повторяю то же, что давеча!

— Переношу вторично незаслуженный гнев ваш,— сказал, зло улыбаясь, Черномский,— и думаю, что, когда успокоятся ваши чувства, вы обдумаете, что вы брошены без покровительства.

Он дал знак Ганзе, которая вышла вслед за ним в другую комнату.

— Послушай, милая, постарайся уговорить ее, чтоб она не отказывалась от моего предложения, слышишь? ты получишь от

---

[1] Боже, я обманута (*франц.*).

меня хороший подарок... мне она нравится. Все, что издержишь на нее, я плачу вдвое. Она, верно, согласится, но не вдруг. Вот покуда червонный.

— О-го, великие гроши! А кто ж заплатит мне за постой их почти за неделю, за кушанье, за чай и мало ли что брали они?

— А много ли нужно заплатить?

— Червонных десять, а ма быть и больше.

— О! ну; за тэго вахлака Дмитрицкого юж я не буду пла́тить.

— Ну, як зволите, пане; а юж я эту панью француржа́нку не выпущу с хаты, покуда не выплатит кто али сама не заработает.

— А она француржа́нка? а! Ну, я половину заплачу, только уговори ее скорей.

— Нет, не половину, а десять червонных.

— Ну, ну, ну, перестань!

Черномский ушел, а хозяйка вошла опять к Саломее.

— Жалко мне вас, сударыня,— начала она,— да не плакайте, вы такие хорошии, уж я знаю, что будете и счастливыи... а вы уж знакомы с паном Черномским? он такой богатой, щедрый...

— Не говори мне об нем! — сказала Саломея повелительно.

— Пан, который вас привез, сударыня, уехал, а не заплатил мне по счету; а пан Черномский свои деньги хочет заплатить, и вам что угодно будет потребовать, все заплатит.

— Боже, какое несчастие, какой срам! — вскричала Саломея по-французски.— Я тебе повторяю: не смей мне говорить об этом мерзавце! вот в заплату тебе.

И Саломея хотела сдернуть с руки богатый брильянтовый перстень; но перстня нет: она вспомнила, что Дмитрицкий, примеривая его, оставил у себя.

— Что, сударыня, и перстень украли у вас?

В Саломее стеснилось дыхание от ужаса положения.

— Прошлого года так же один военный привез сюда и бросил панну; молоденькая, да не так хороша собой. Я продержала ее с месяц у себя.

Саломея была в каком-то онемении чувств; глаза ее были устремлены на Ганзу, но она ее не видела. Долго Ганза рассказывала про разные случаи соблазна, но она ничего не слыхала.

Кто-то дорожный подъехал к трактиру. Ганза побежала узнать и оставила Саломею одну в полном самозабвении. Но в эту страшную минуту как будто ожило в ней сердце, слезы брызнули из глаз, а душа с прискорбием и участием спросила: что ж ты будешь делать теперь? жизнь перед тобой обнажилась, тебе нечем уже обмануть самое себя. Теперь ты знаешь, что ты такое, и нечем уже гордиться и тщеславиться тебе перед другими!

Приезжий, которого Ганза побежала встречать, был наш знакомец Филипп Савич, ласковый с чужими, бирюк в семье.

— А, хозяюшка, здравствуй, душа моя! — сказал он, вылезая из коляски при помощи двух лакеев.— Я уж так к тебе, знаю, что для меня всегда место есть.

— Есть, сударь, есть, пожалуйте!

Ганза повела Филиппа Савича прямо в тот номер, откуда только что выбрался постоялец, забрав все нужное и оставив только хлам, в числе которого была и Саломея.

— Пожалуйте,— повторяла Ганза,— это самый лучший номер, только что очистился.

— Э, тут какая-то дама,— сказал Филипп Савич, заглянув в другую комнату.

— Это, сударь, иностранка; я отведу ей другой покой. Извините, сударыня, я вас попрошу перейти, потому что эти комнаты займет вот этот господин.

— Это что такое? куда я пойду? — спросила Саломея, вспыхнув и горделиво возвысив голову.

— Что ты, что ты, как это можно беспокоить их для меня? — сказал Филипп Савич.— Извините, сударыня, что вас побеспокоила она; я никак на это не соглашусь; сделайте одолжение, не беспокойтесь. Отведи мне другие комнаты.

И Филипп Савич, поклонившись Саломее, вышел.

— Какая прекрасная особа! а ты вздумала ее беспокоить! Кто она такая?

— Французжа́нка, кажется...

— Неужели? ах, братец ты мой! да не мадама ли? не пойдет ли она ко мне жить? мне ужасно как нужна мадам.

— Ее завез сюда какой-то господин, да и бросил.

— Неужели? ах, какой каналья, бросить такую прекрасную женщину! что ж это, муж ее был или...

— А почему я знаю, какой муж.

— Ну, да мне что ж до этого за дело; кто не грешен; лишь бы по-французски хорошо говорила с детьми, я бы с удовольствием взял ее, я бы дорого дал, чтоб иметь такую мадам. Подико, поди, спроси ее, предложи ей; скажи, что она у меня на всем на готовом, как водится, экипаж, хорошее жалованье.

— Я скажу ей, только заплатите ли вы всё, что она зажила здесь?

— Уж разумеется; ах, братец ты мой, она мне очень понравилась.

Ганза отправилась к Саломее.

— Вот, сударыня,— сказала она,— какие вы счастливые; этот господин предлагает вам наняться к нему в мадамы, учить детей по-французскому.

Саломея вздрогнула от негодования.

— Жалованье какое угодно, все предлагает вам, вы ему

очень понравились... Уж это такое счастье вам... он заплатит и мне за вас.

— И мне это говорит жидовка! — произнесла горделиво Саломея. — Oh, Dieu, Dieu! [1]

— Что ж такое что жидовка, сударыня, я честная жидовка! Я жидовка, а вы француженка! Угодно вам — для вас же я стараюсь, а не угодно, как угодно, вы такие гордые; не знаю чем вы заработаете, чтобы заплатить мне; а этих комнат я за вами оставить не могу.

— Уйду, уйду! — вскричала Саломея.

— Кто ж вас пустит уходить, — сказала Ганза, — заплатите, а потом и ступайте куда хотите; а не заплатите, так я пошлю в полицию... Бог еще вас знает, кто вы такие.

— Где этот господин? позови его сюда! — проговорила исступленно Саломея.

— Вы понапрасну сердитесь на меня, сударыня; я для вас же стараюсь, сердиться не приходится, — сказала Ганза, выходя от Саломеи.

— О, боже мой, что мне делать! — с отчаянием проговорила Саломея, бросясь на диван.

Слезы снова брызнули из глаз ее; но едва послышались шаги Филиппа Савича, наружность ее приняла обычную величавость.

Филипп Савич вошел; желчное его лицо оживилось и прикрасилось улыбкой удовольствия.

— Я вам имел честь сделать предложение, мадам, — начал он.

— Милостивый государь, я вам не могу рассказать своего несчастия; но я вас прошу помочь мне, избавить меня от унижения, заплатить этим жидам все, что они требуют, и дать мне угол, покуда мои родные мне вышлют деньги.

— Сделайте одолжение, зачем же вам беспокоиться о деньгах. Я вам предлагаю свой дом, экипаж, жалованье какое угодно...

Самолюбие Саломеи затронулось снова; но она воздержалась.

— У меня, изволите ли видеть, сын лет пятнадцати да дочь лет десяти, так с ними по-французски только говорить, для упражнения — больше ничего. Жена у меня очень добрая женщина, но больная; я бы уж вам весь дом в распоряжение отдал, как... как хозяйке, если только угодно бы было вам... а если в тягость, так это будет от вас зависеть... деньги ли, или экипаж понадобится, для туалета, может быть, что-нибудь... всё к вашим услугам.

Саломея слушала все эти предложения задумавшись.

— Я согласна! — сказала она вдруг решительно.

---

[1] Господи, боже (*франц.*).

— Очень, очень рад! и счастлив, что это так прекрасно устроилось! — сказал Филипп Савич, подходя к Саломее и целуя ее руку.— Позвольте же узнать ваше имя и отчество.

— Мое имя... Саломея.

— Саломея, какое прекрасное имя. Вы из каких мест Франции?

— Я... из Парижа.

— Так сегодня позвольте мне распорядиться насчет некоторых дел, а завтра мы поедем; покорнейше прошу приказывать здесь все, что вам угодно...

— Мне нужно здесь пробыть по крайней мере еще несколько дней.

— Как вам угодно,— сказал, поцеловав еще ручку Саломеи, Филипп Савич и вышел; а Саломея припала на диван и предалась своему отчаянию, которое прерывалось частым приходом хозяйки с предложениями: не угодно ли ей чего-нибудь?

На третий день Филипп Савич с своей стороны спросил ее, не угодно ли ей ехать? но она отвечала:

— Ах, нет, я еще чувствую себя не так здоровою.

Саломея еще надеялась, что ее Николай воротится, упадет на колени, в объятия, с раскаянием в своем поступке. Ей казалось, что только одна совесть показаться ей на глаза удалила его, но любовь воротит.

«О, я готова жить с ним в хижине и питаться трудами рук!» — думала она.

Целую неделю не решалась она ехать; наконец презрение заступило место иссякшей надежды, и Филипп Савич сам, своими руками, подсадил ее в коляску.

Филипп Савич в продолжение дороги без сомнения желал научиться по-французски. Он все расспрашивал, как по-французски: что прикажете, как вам угодно, мое почтение и тому подобное.

Ожесточенные чувства Саломеи против любви рады были какой-нибудь жертве.

«Хм! тебя, старый дурак, надо свести с ума! — думала она, злобно улыбаясь на надежды Филиппа Савича.— Влюбленный старик! это, должно быть, очень забавно! Это меня по крайней мере рассеет... О, я вас научу, подлых мужчин, понимать женщину с сердцем!»

— Чудный французский язык, Саломея Петровна! какая приятность! особенно как вы говорите! У нас жила старая француженка; да мне не верится теперь, француженка ли она: совсем другое произношение. Или она из простого французского народа, из какого-нибудь французского захолустья. Теперь я вижу, какая разница и в обращении и во всем. Клянусь вам, что впервые вижу в вас настоящую француженку; что наши русские женщины!

Саломея невольно забыла и свое горе и свою привычную важность и засмеялась на похвалу француженкам.

— Каким образом сказать, например, по-французски: как вы милы?

— Je suis un vieux fou [1].

— *Жу сви зын ве фу,* как это прекрасно! а: я вас люблю?

— Je suis une bête à corne [2].

— *Жу сви зын бетакор,* мадам, так?

— Совершенно так!

— Вот, видите ли, и я выучился по-французски.

— Ну, Любовь Яковлевна,— сказал Филипп Савич, приехав домой,— я нанял такую француженку для детей, что на удивление! это уж не какая-нибудь прачка мадам Воже; это, братец ты мой, только по счастливому случаю.

Простодушная Любовь Яковлевна испугалась, взглянув на вошедшую мадам француженку. Светская важность и какая-то великолепная наружность Саломеи смутили ее. Она почувствовала себя такой ничтожной перед нею, что не знала, как встретить ее и что начать говорить.

— Извините меня,— сказала она, приподнявшись,— я не знаю по-французски.

— Я знаю по-русски,— отвечала Саломея, сев подле дивана на стул.

Все в доме также смотрели на нее, как на приехавшую с визитом, как говорится, принцессу ингерманландскую. Только Филипп Савич не боялся ее важности, потому что он никого не боялся, кто хоть сколько-нибудь подпадал под его зависимость. Он боялся только тех, от которых сам мог в чем-нибудь зависеть. Не испугался ее и Георгий, на которого она бросила пленительный взор с чарующей улыбкой, когда отец представил ей сына.

Покуда Филипп Савич сам заботился насчет убранства комнаты, предназначаемой для мадамы, Любовь Яковлевна решилась сделать ей несколько вопросов, и рада была, когда она, наконец, пошла в свою комнату.

— Помилуй, Филипп Савич, откуда ты взял такую бонтонную француженку? Такая важная особа, что это ужас!

— А! такую-то я и хотел иметь мадам для дочери! — сказал Филипп Савич.— Это не из простых, а из настоящих француженок, с которых берут тон все наши княгини и графини.

Любовь Яковлевна не умела противоречить и замолчала.

Без сомнения, не всем известно, что значит «чертова гостья». Подробности значения этого слова надо спросить в передних, в

---

[1] Я старый дурак *(франц.)*.
[2] Я рогатая скотина *(франц.)*.

девичьих и вообще в людских. Это вообще гостья, от которой бросает всех то в пот, то в озноб. Не прошло недели, Саломея прослыла у всей прислуги Филиппа Савича и Любови Яковлевны чертовой гостьей. Филипп Савич строго наблюдал, чтоб все оказывали новой мадаме особенное уважение. Если Саломея Петровна скажет: «Человек, подавай мне воды», все наличные должны были бежать за водой, а все прочие знать, что мадам просит воды: иначе беда! До нее зачастую люди ходили без церемоний, по-домашнему, замарашками, и подавали всё голыми руками. Саломея Петровна только проговорилась, что не может видеть человека, который похож на чумичку, не может смотреть без отвращения на лакейские руки, Филипп Савич, что называется, оборвал всю людскую за малейшую нечистоту и неопрятность и приказал всем обвертывать свои скверные руки в салфетки. До Саломеи Петровны идет себе людской говор по целому дому с раннего утра до поздней ночи. Саломея Петровна спросила раза два-три: где это такой шум? и настала в доме тишина. Никто не смей говорить между собою вслух, а не то Филипп Савич *зажмет* рот. Саломея почивала до полудня, иногда отдыхала и после обеда: во всем доме знают, что мадам почивает. По коридору, мимо ее комнаты, никто и на цыпочках не ходит, из девичьей в переднюю и обратно бегают через двор.

Если за столом какое-нибудь блюдо Саломея Петровна попробовала, но не стала кушать,— повара самого жарили. Если прачка худо выпарила белье, девка худо вытюжила, и Саломея Петровна, развернув чистый платок, посмотрит и поморщится — прачке быть пареной, а девке утюженой. Если Саломея Петровна, подойдя к зеркалу, скажет: «ах, как я сегодня скверно причесана!» — приставленной к ней горничной не пройдет без прически.

Любови Яковлевны как будто не существует в доме; на ее попечении осталась только выдача прачке черного белья да прием чистого. Во все время замужества она сама заказывала стол по своему вкусу, и Филипп Савич не причудничал, все было и ему по вкусу; но вдруг то не по вкусу, того недостает, всякой день выговор Любови Яковлевне, и при первой ее болезни повар поступил в распоряжение Саломеи Петровны.

На стороне начали покачивать головами, а дворня и деревня поняли, что на́большая в доме — Саломея Петровна и к ней следует ходить с поклонами, у нее обо всем спрашиваться.

Для Любови Яковлевны только и осталось отрады, что Юлия Павловна — шепчутся, шепчутся, наплачутся вдвоем, да и разойдутся. У Юлии Павловны, кроме горя друга, и свое есть горе. Георгий не только что не обращает на нее внимания, но даже забывает иногда и кланяться: так пристально занялся он французским языком, науками и искусствами — Саломея Петровна его учит и рисованью и музыке, географии и истории. Са-

ломея сама все плохо знала, и ее учили наукам и искусствам по методе отучения от наук и искусств, посредством учителей, не умеющих учить. Учение ее также было не что иное, как сидение за книгой, как будто для того, чтоб ребенок *занимался делом,* не шалил. Танцы — это дело другое, это неизбежное познание, немножко музыки — также; нельзя в большом свете не уметь стучать по фортепьяно; а французский язык — о, без него человек, а особенно русский, совершенно бессловесное существо. Французская мода, французский тон, дух и духи, жеманство, французские слабости и пороки и, словом, все французские добродетели необходимы; уменье о том говорить, чего не знаешь, схватывать вершки — все это надо изучить, перенять, подделаться. Саломее никто не сказал: ты, душа моя, человек русской, для чего же тебе французить: нас с тобой перерядили, да не переродили, что ж толку? не смешно ли целый век играть чужую роль, быть бездушной копией живых оригиналов. Подумай, о чем ты думаешь с утра до вечера? о том, чтоб оживить в себе журнальную моду. Что делаешь целый вечер? Тайно сравниваешь себя с другими. Когда ж тебе подумать о себе самой, о внутреннем своем мире, о душе, которая сидит в тебе без дела, голенькая, без одежды, без прикрасы, молчит, не смеет вымолвить ни словечка по-своему.

Георгий очень понравился Саломее Петровне. «Я образую его ум и душу, я сделаю из него образец мужчин!» — думала она, смотря на него во время занятий. Эта мысль, как сладкое чувство, быстро овладела ею; никакое рассеяние не помогло бы так скоро изгнать из памяти Дмитрицкого и отвлечь от всех воспоминаний.

Она начала его учить на фортепьяно; Георгий страстно любил музыку. Фортепьяно из залы было перенесено в комнату Саломеи Петровны; во все время уроков, так же как и во время сна, никто не смел не только войти в двери, но и пройти по коридору. Георгий и Розалия учились по очереди. Успехи Георгия были необычайны. Но вместе с этим для чувств его настала новая жизнь. Наставница была для него опасна; когда голубые, томные глаза ученика встречались с ее черным, пасмурным взором, он краснел.

За прилежание она целовала его в голову; но какую разницу чувствовал Георгий между лаской старой Воже и лаской женщины, пылающей жизнью и еще не испытавшей любви тихой, скромной, возгорающейся от взоров и постепенно раздуваемой задумчивым воображением! Но у Саломеи не чисто было уже воображение; она скоро почувствовала жажду приковать Георгия к себе. И не будь Георгия, гордость ее не перенесла бы ни значительных взоров Филиппа Савича, ни многозначительных его намеков.

Вероятно, в подтверждение пословицы: «Седина в бороду, а бес в ребро», Филипп Савич стал сходить с ума от Саломеи

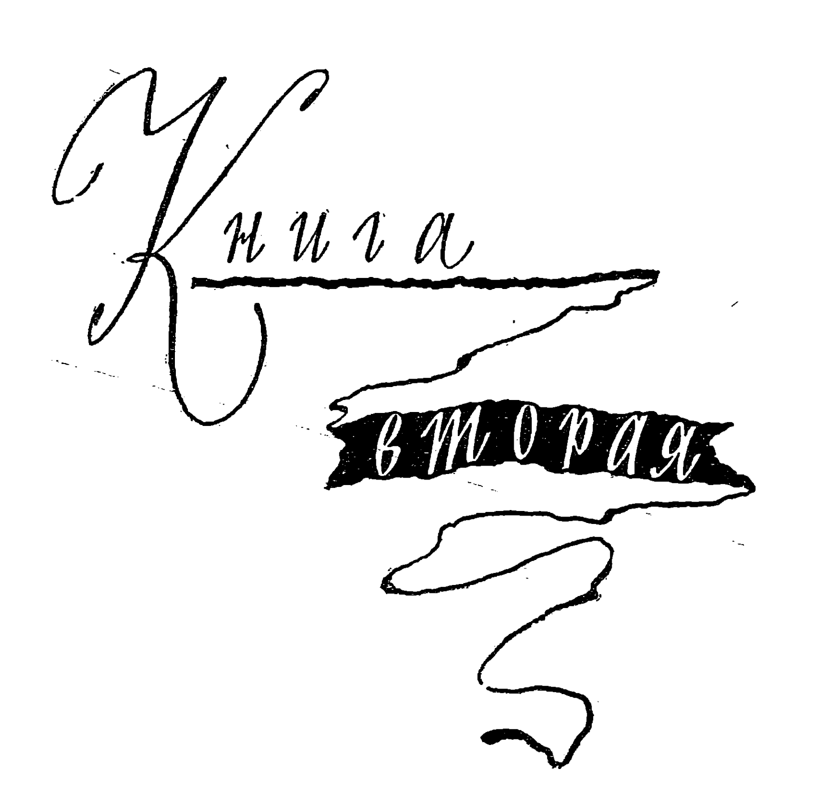
Петровны и всеми возможными неудовольствиями выживать бедную Любовь Яковлевну, если не с белого света, так из дому. О тяжбе он и думать забыл.

— Саломея Петровна,— сказал он однажды,— вы лучше родной матери для детей моих; с тех пор как вы здесь, весь дом у меня стал на ногу; вы — полная хозяйка в нем, для вас у меня нет ничего заветного: распоряжайтесь по вашей воле и мной и всем, что мне принадлежит...

— Вы слишком много даете мне прав, Филипп Савич: у вас есть супруга,— сказала Саломея голосом простоты и великодушия.

Эти слова, сказанные с намерением только что-нибудь сказать для воздержания порыва Филиппа Савича, имели плохие последствия для Любови Яковлевны. Филипп Савич понял их по-своему. Ему казалось, что Саломея отвечала:

— Я бы приняла ваше предложение, если б у вас не было супруги.


Книга
вторая

Часть четвертая

I

Послушай, брат Ваня,— сказал старик Алексей, служивший еще батюшке и матушке Любови Яковлевны верою и правдою,— учиним, брат, совет, как помочь горю.

— А что такое, Алексей Гаврилович? — спросил его кучер Иван.

— Как что? Ты, чай, видишь, что француженка-то села всем на шею.

— Уж и не говори!

— Барин-то совсем, брат, тово.

— Да так, ей-ей так!

— Смекаешь ты, барыню-то в гроб вгонит.

— Да уж смекаю, что не даром взял подставку. Я уж и в Киеве догадался, что добра не будет. Свел там с ней знакомство. А ведь кто она, знаешь ли ты? просто, брат, потаскушка; я расспросил у жидка. С каким-то игроком, видишь, приехала, да свела знакомство с другим; а тот ее прибил, да и бросил в одном платьишке, вот что на Дуньке теперь. Барин накупил ей всего, надарил; целую неделю обшивали ее.

— Ах ты, господи! грех какой на старости лет! Лет двадцать прожили душа в душу. Сегодня отдал приказ не пускать Юлию Павловну в дом.

— Ой ли? За что ж это?

— За что? а за то, что она вслух говорила, что мадам мало что самого барина с ума свела, да и Георгия-то Филипповича не добру учит.

— А что ты думаешь; вот как я ездил с ним гулять, Георгий-то Филиппович все под ручку с ней ходил, да так умильно себе что-то по-французскому всё говорили; а барышня-то что понимает!

— Ох ты, господи, грех какой! Так вот, Дунька, верно, и пересказала мадаме, что говорит про нее Юлия Павловна.

— И! да уж это так! продаст отца и мать родную. Недаром она ее нарядила. Смотрико-сь, теперь словно барышня ходит: свои платья ей отдает. Прежде и на босую ногу в честь, а теперь в башмачках да в косыночках; а косу-то как заплела, да распустила кудри — словно мадам. Дрянь такая! еще навязывается, чтоб женился на ней!

— Да это что! Барышню в грош не ставит: третьева-с нагрубила ей, а та смолчала, вздохнула только. Юлия Павловна прикрикнула было на нее: «Как ты смеешь барышне грубить!», а она: «А вы-то что?» Юлия Павловна разбранила ее; а она плюнула, да и ушла. Юлия Павловна заплакала, хотела жаловаться барину, а барин-то и на двор не велел ее пускать.

— Ах ты, господи! Да я отломаю бока Дуньке, ей-ей отломаю!

— Полно, брат Ваня. Не то!.. Ездил я к лесничихе, Власьевне, чтоб она поворожила; говорю ей: «Есть у нас горе, как сбыть его, бабушка?»

— Что ж она?

— Да что: горе, говорит, не море, выпьешь до дна.

— Ну, а ты что?

— Что! я ей сказал, что этого горя и мертвой чашей не запьешь.

— Ну, а она что?

— Да что, глупая баба! Привези ты, говорит, ко мне это горе, а уж я знаю, что делать с ним. Привези! Уж если б можно было вывезти ее из дому, давно бы в трущобу ее свез.

— Да что ж ты, брат Алексей Гаврилович... как ты думаешь?..

— А что я думаю... ее и домовым не выживешь из дому!

— Да что ж, коли лесничиха говорит «привези», что ж, брат, за штука привезти.

— Поди-тко ты, сперва увези, да потом привези.

— Увезти-то, брат, штука.

— Уж если правду говорить, Ваня, так что за штука увезти мадам,— сказал Алексей Гаврилович.— Помогай! увезем!

— Увезем; по мне, пожалуй, увезем, черт с ней! Да как увезем-то?

— Э! как увезем, так и увезем!

— Увезти-то не штука, да как вызовешь из дому? разве как обманом?

— Нет, Ваня, такого греха на душу не возьму; обманом — избави бог, век попрекать будет да каять, что вот, дескать, мошенник, обманул! Нет, просто, как бог поможет.

— Разве Дуняшу подговорить? Я, пожалуй, дам слово жениться на ней, пусть только выдаст ее руками.

— Нет, Ваня, нет, брат, не годится; бог с ней, зачем ее

обманывать. Вдвоем-то мы просто руками возьмем, да и в лес с ней.

— А там-то что, на осину?

— Тьфу ты, окаянный! черт знает что говорит!

— Да почему ж я знаю, Алексей Гаврилович: ведь что ж с ней в лесу-то делать? Сказал бы, так я бы и знал.

— А вот что: ты, брат, выезжай ввечеру покосить траву-то за сад к роще, да парой; а я буду караулить, как мадам в сад пойдет прогуливаться. Лошадей-то ты привяжи да жди у калитки.

— Да калитка-то, кажись, заколочена; а всё при ней; не смей, вишь, ходить через сад, когда она изволит прогуливаться; а поди ты, какой обход кругом на реку.

— Калитка будет отперта, это не штука; а вот штука: в господском платье-то ее не повезешь, неравно кто встретится, лесничий с командой или кто.

— Да, Алексей Гаврилович, того и гляди, да ведь она и сама нас признáет.

— Пусть себе признает. Я еще сам ей скажу, что я по господской воле все делаю. Что, небойсь не правда? Да, брат, по господской. Если б она, чертова змея, не соблазняла барина, он и не подумал бы ее держать у себя. Уж я тебе говорю, что не барин, а нечистая сила держит ее в доме.

— Домовой небойсь? А что как он рассердится на нас с тобой? Тогда что, Алексей Гаврилович?

— Сердись на меня сколько хочешь, мне плевать. На мне немного возьмешь!

— Да и мне что: я только боюсь, чтоб не изъездил коней.

— Уж, брат, лучше пусть всех коней домовой изъездит, чем этот черт мадам; на всем доме верхом ездит.

— Так, истинно так; да если он и подпакостит что, лесничиха заговóр знает.

— А насчет платья-то я придумал штучку... Я тебе после скажу; пойду, чай уж встали все.

Алексей отправился в дом; но там еще все спали, и он пошел в сад к калитке. Алексей был один из тех людей, которые по любви, по угодливости и преданности к господам своим из рабов делаются семьянинами, которых как-то совестно кликать по имени, но невольно зовешь по имени и отчеству.

Саломея, увлеченная мыслью создать из Георгия образец мужчин, предалась ей как материнскому чувству любви, с тою только разницею, что в сердце матери готовится и любовь к будущей подруге сына; а в сердце Соломеи, при мысли, что Георгий должен со временем принадлежать не ей, а другой, вскипала кровь, и она чувствовала ревность и ненависть к будущей жене Георгия. Зная женщин по самой себе, передавая на их долю всю худую сторону самой себя и оставляя за собой лучшую, Саломея во всей половине человеческого рода не ви-

дела достойной того мужчины, в которого она перельет свою душу и которого образует для *счастия женщины*.

Бессознательно она внушала в него те высокие нравственные правила сердца, которые были необходимы, собственно, для нее и тайный смысл которых заключался в том, чтоб поселить в Георгии страшное понятие о всех женщинах и остаться одной на белом свете, к которой прибегнуло бы его сердце с юношеской жаждой любви.

Несчастный Георгий, испытав и детскую привязанность и юношеское отвращение к мадам Воже, находил в изображениях женщин большое сходство с ней и верил словам Саломеи. Он уже приучен был к нежным ласкам, чувства его быстро поняли разницу между циническими ласками Воже и платоническими Саломеи. От тех он бегал, этих сам готов был искать.

Между тем Филипп Савич, что называется, смотрел в глаза Саломеи со всею почтительностью. Чувства его высказывались только угадыванием и предупреждением ее желаний. Малейшее чье-нибудь невнимание к мадаме было уголовным преступлением: без воли ее ничего не делалось; сам Филипп Савич без ее совета ничего не предпринимал, а ее совет был закон. Это льстило самолюбию Саломеи и наклонности ее господствовать. Тихо, величаво, как будто по убедительной просьбе распоряжаясь всем домом, она нисколько не трогалась судьбою бедной Любови Яковлевны, которая заперта была и болезнью и ею в четыре стены своей спальни. Саломея считала ее дурой и потому почувствовала в себе все право первенствовать в доме.

Мысли ее были заняты благородными чувствами забот о душе Георгия, высокое мнение о себе питалось общей боязнью не угодить ей, начиная с Филиппа Савича до последней шавки, которой тогда только давали есть, когда она простоит в продолжение всего обеда на задних лапах перед Саломеей Петровной; в сердце ее был уже зародыш какого-то наслаждения, с которым она ни за что бы не рассталась, как мать с первенцем страстной любви, взлелеивала и предвкушала его как будущее блаженство.

Это была не пылкая страсть, но сильнее нежной страсти матери, которая утешается и гордится сыном: мать не для себя взлелеивает его; а Саломея жаждала взлелеять Георгия, как дух соблазна, который обаяет душу, с расчетом, что ее уже ничто не искупит из его челюстей.

Но на Георгия быстро действовал тайный, безотчетный замысел Саломеи. Однажды, довольная успехами его в музыке, она забылась, долго смотрела на него с внутренним волнением и вдруг, приклонив его голову к груди своей, пламенно поцеловала в чело и, только опомнившись, произнесла:

— Как ты понятлив, Георгий! я от тебя в восторге.

Саломея не предвидела, чтоб ее пятнадцатилетнему ученику понятно было подобное невольное излияние восторга и чтоб

он отвечал на него не так, как ученик, усиленным прилежанием, а так, как юноша, полный жажды любви.

Он припал к груди, как олень к потоку, и глотал вскипевшие волны его.

Нежданное соответствие чувствам помутило память Саломеи, она, казалось, ничего не понимала в эту минуту, и глаза ее как будто говорили: пей, пей, Георгий! в груди моей стеснилось дыхание; отпей моего дыхания!

Георгий как будто слышал этот призыв, и он припал к истоку дыхания и впился в уста Саломеи.

Это еще ничего до тех пор, покуда женщина имеет время опомниться и свести порыв своей страсти на шутку; но если она очнется испугом и вскрикнет: «боже мой, кто-то идет!» — тогда шутки кончены: это уже значит, что питомица Евы, играя запрещенным плодом, сорвала его невзначай, в испуге и, не зная куда с ним деться, прячет его в карман потомку Адама; он уже поверенный ее тайны; а тайна состоит только в том, что она его любит.

Так случилось и с Саломеей; испуг был напрасный; но взволнованная мыслью, что Георгий преждевременно, по одному инстинкту, понял, в чем заключается вся музыка любви, не изучив гаммы, запел романс, она задумалась, ей досаден был скорый и необъятный успех ученика, как учителю, который хотел бы продлить уроки на несколько лет, во-первых, по известному расчету профессии, а во-вторых для того, чтоб, устранив природные способности ученика, иметь право сказать: без меня он бы был дурак, мне бог знает какого труда стоило внушить в него наклонность к науке.

«Что мне делать с Георгием,— думала Саломея,— в нем так страстно высказались чувства привязанности ко мне... Я сама так неосторожно предалась очарованию... Он, точно, очарователен!.. первая любовь!.. первая женщина, которую он любит!»

Самолюбивая мысль пролилась бальзамом на сердце Саломеи, довольствие блистало в глазах, лицо горело.

— Я не внушала эти чувства, они родились сами собою... без всякого с моей стороны...

Саломея не договорила. Не видя ничего перед собою, кроме блаженства, она наткнулась на Филиппа Савича, который также прогуливался в саду и долго следил за Саломеей, боясь встретиться с ней.

— Ах, мадам,— сказал он,— как вы задумались!

— Ах, это вы? — сказала Саломея с досадой, что вместо воображаемого Георгия перед ней стоял несносный его отец.

— Я,— отвечал Филипп Савич.

Саломея молча шла далее.

— Прекрасная погода,— проговорил Филипп Савич, следуя за ней.

Саломея не отвечала.

— Не правда ли?

— Что вы говорите? извините, я не слыхала, я привыкла ходить одна и задумываться.

— О чем вам задумываться: вы так молоды, прекрасны, мадам Саломея; все, что только вам угодно, всё к вашим услугам... Я уважаю вас, ей богу! Вы у меня настоящая хозяйка в доме, ей-богу! всё, что вам угодно...

— Очень вам благодарна; но извините, хозяйкой я не могу быть у вас,— хозяйство не мое дело: я взялась образовать ваших детей и исполню...

— Помилуйте, нет, я всем вам обязан, у меня теперь дом на дом похож; а прежде вы сами видели, что за беспорядок... жена больная, да еще... сами вы видите — капризна и глупа... При вас я только и начал жить... все в порядке, и дом и люди... вам всем обязан!.. откровенно скажу, я с вами откровенен... если б...

Саломея начинала понимать, что нерешительный, смущенный голос Филиппа Савича не к добру клонился; чувства ее взволновались при слове «если б»... «О боже мой,— подумала она, вспыхнув,— я до сих пор не поняла замысла этого мерзавца!»

— Извините,— сказала Саломея, прерывая речь Филиппа Савича,— откровенности между нами быть не может, я не могу входить в ваши семейные дела!

— Помилуйте, не то: какие у меня семейные дела? никаких! Жена... бог с ней... все равно, что ничего... Дети у вас на руках... вы им родная мать... ей-богу!.. Всё, что вам угодно... как угодно, так и будет...

— Мне угодно теперь остаться одной! — сказала Саломея, гордо вскинув голову и остановясь.

— Если угодно,— проговорил тихо озадаченный Филипп Савич, остановив пылкий порыв сердца к излиянию чувств.

Саломея скорыми шагами пошла от него прочь.

Долго стоял Филипп Савич, смотря вслед за нею, и, наконец, заговорил сам с собой:

— Что это значит?.. рассердилась, кажется?.. или сконфузилась?.. Эх, черт знает, не знаю, как и подступиться к ней... истинная добродетель!

Саломея была в отчаянии; она поняла, как опасно было ее положение в доме. Занявшись Георгием, она забыла Дмитрицкого и мысль свою мстить мужчинам, сводить с ума от мала до велика и наслаждаться их страданием. Первой жертвой своей хотела она избрать самого Филиппа Савича; но почтительное уважение, оказываемое ей Филиппом Савичем, присутствие Георгия и новая мысль образовать из прекрасного юноши образец мужчин заглушили замысел, создавая будущее

блаженство. Намек Филиппа Савича потряс все здание этого мечтательного блаженства.

«Что мне делать?» — спрашивала сама себя Саломея, но не в состоянии была отвечать сама себе.

На дворе уже смерклось совершенно, а Саломея ходила еще по саду торопливым, беспокойным шагом. Давно уже старик Алексей и Иван сидели в засаде и выжидали, когда мадам приблизится к ним. Несколько раз она уже проходила мимо; но они, как испуганные близостью хищного зверя, затаивали даже дыхание.

— Идет, идет! — шептал Иван, толкая под бока старика Алексея.

— Идет? — спрашивал Алексей.

— Идет.

— Тс!

— Прошла, брат Алексей Гаврилович.

— Прошла? ах, проклятая! с кем это она разговаривает?

— С кем, вестимо с кем!

— Что-то разговаривает про господ... про старого да про молодого барина.

— Верно, брат Алексей Гаврилович, продаёт черту душу их.

— Крестная с нами сила!

— Пойдем, брат Алексей Гаврилович.

— Нет, брат Ваня, уж что будет, то будет! а надо дело покончить.

— Эй, брат Алексей Гаврилович, худо будет... Идет, идет!

— Идет?

— Идет.

— Тс.

В самом деле, Саломея Петровна, разговаривая сама с собой отрывисто, то по-русски, то по-французски, то шепотом, то вполголоса, то довольно громко, в сердцах на Филиппа Савича называла его старым чертом, а в умилении сердца называла Георгия чистой душой.

Когда Иван в третий раз толкнул Алексея под бок и шепнул: «Идет!» — Саломею успокоила какая-то мысль; вероятно, опасения страсти Георгия и замыслы Филиппа Савича ее уже не тревожили; она шла, по обыкновению, величаво, тихо, молча.

— Господи, благослови! — произнес Алексей перекрестясь, и, выскочив из-за куста, он набросил на Саломею полость, обхватил ее и понес.

Саломея вскрикнула, но восклицание ее замерло от испуга.

— Не бойтесь, сударыня, не бойтесь, ничего не будет! — повторял тихо Алексей.— Садись, Ваня! подгоняй живо!

— Помогите! помогите! — вскричала Саломея, переводя, наконец, занявшееся дыхание; но слабые звуки стесненного ее голоса заглушены были стуком колес и скоком лошадей.

— Не кричите, сударыня, к чему кричать: вас ведь не режут! — сказал Алексей, стянув полость на лицо Саломеи.

— О, дай мне вздохнуть, я кричать не буду... Кто ты, злодей? куда ты меня везешь? скажи мне, скажи! — произнесла она умоляющим голосом.

— Куда следует, туда и везем, сударыня... Погоняй, брат Ваня, пошел опушкой-то леса.

Голос Алексея был знаком Саломее, но она не могла понять, кто это говорил.

— Кто ты, злодей? — повторила она.

— Не злодей, не бойтесь, сударыня; худого ничего не будет.

— Ну что ты разговариваешь! — сказал Иван, толкнув Алексея.

— О господи! куда меня везут! скажите мне, бога ради! — вскричала снова Саломея.

— А! теперь господи! — пробормотал Иван.

— О, остановитесь, пожалуйста, дайте мне слово сказать вам, только одно слово!

— А вот сейчас на станцию приедем,— сказал Алексей.— Пошел, тут дорога гладкая!

— Эх вы, соколики! — крикнул Иван и запустил коней скоком и летом.

Глухие стоны Саломеи были тише и тише; она не могла понять, зачем и куда ее везут; но, казалось, предалась судьбе своей и умолкла.

«Меня похитили!» — подумала она, и эта мысль развилась цепью романических происшествий и догадок, кто этот дерзкий похититель. Но голос Алексея, что-то знакомый, кого-то напоминающий, навел Саломею на странную мысль, что ее везут через полицию к мужу. «Он объявил повсюду о моем побеге, разослал повсюду людей своих искать меня... и меня нашли... везут как беглую!» Ей представился весь позор, который ее ожидал.

— Остановись, остановись! — вскричала она, схватив руку Алексея,— будь моим благодетелем, остановись!

— Постой, брат Ваня, что ей нужно?.. Ну, что, сударыня?

— Послушай,— произнесла умоляющим голосом Саломея,— я узнала, кто ты... я знаю, куда вы меня везете... вы везете меня к мужу... но я не могу ехать, я не поеду... Если у тебя есть еще уважение к твоей барыне, если есть сожаление, то отпустите меня, я останусь здесь... я лучше умру здесь!.. Ты, верно, это сделаешь для своей барыни, ты такой добрый, я знаю тебя!..

Алексей не понимал, о каком муже она говорит и о какой барыне; его навел кучер Иван:

— Что, брат,— шепнул Иван,— узнала тебя; да еще созналась, что барин-то ей муж.

— Для барыни-то, сударыня, я все и делаю; а барин-то с ума сошел от вас, да и весь дом вверх дном пошел от вас, всех замучили; нет, уж вам у нас не житье!.. воротитесь — беда нам будет...

— О нет, я ни за что не ворочусь, лучше останусь посреди леса!..

— Да уж так, конечно,— отвечал Алексей,— да платье-то скинуть надо господское... да надеть вот крестьянское, у меня здесь есть... да и бог с вами. Мы скажем, что вы купались да утонули... чтоб уж так и исков не было; а то, пожалуй, барин искать пошлет.

— О боже, боже! — проговорила Саломея, не понимая ни чужих слов, ни своих мыслей,— я согласна, ни за что не ворочусь... лучше умереть, нежели идти на позор!

— Уж так, конечно, сударыня, извольте — вот тут все: сарафан, кичка, чулки и чоботки; да извольте скорей, скоро рассветать будет.

— Смотри ты, пожалуй, шелковая какая,— шепнул Иван.

Саломея, напуганная воображением, готова была на все, чтоб только избежать позора и стыда. Но самолюбие и здесь польстило ей: торопясь перерядиться в костюм крестьянки с головы до ног, она как будто исполняла собственную волю и видела в людях, которые ее везли, уважение к себе, покорность и желание спасти свою барыню.

— Так счастливо оставаться, сударыня,— сказал Алексей, скомкав в узелок наряд Саломеи.

— Ах, постой, постой! — вскричала она,— боже мой, мне страшно здесь; нет, я не останусь одна!

— А кому ж здесь прикажете оставаться с вами? — спросил насмешливо Иван.

— Нет, что ж мне в лесу оставаться. Довезите меня до какой-нибудь деревни, там я напишу к моей матери письмо, и вы доставите его; а мужу не говорите.

— Нет уж, сударыня, вашей матушки мы не знаем, и где она живет, и что; а Филиппу Савичу уж, конечно, говорить не станем. Наше дело было представить вас сюда; в нашем доме вам не годится жить; соблазн, сударыня; а вот извольте идти, куда вам благоугодно будет, а назад в дом не ворочайтесь: сами знаете, позор будет.

— О, постойте, я не понимаю, что говорите вы.

— Да где ж мадаме французской по-русски все понимать. А коротко и ясно: оставайтесь с богом!.. пошел!

— Прощай, мадам! — крикнул Иван и приударил коней, понесся по извивающейся дорожке глушью лесной.

— Постойте, постойте,— вскричала опять Саломея, протягивая руки и побежав вслед за телегой; но страшная тишина как будто обдала ее посреди мрака ночи, и она упала без памяти на землю.

II

Жил-был в Москве господин Брусницкий; в сан губернского секретаря в отставке облеченный, разбитной малый, славный товарищ, весельчак, любезник, светский пустомеля, дум не думающий, о высоких и глубоких вещах рассуждающий, легкий как пард[1], смелый наездник, коней и собак любитель, жен и прекрасных дев почитатель, мостовой гранитель, нескольких душ обладатель.

В некоем из его имений, аки при стаде, пастыря не обреталось, но была дворовая собака. Эта собака — Дорофей Игнатов, бывший его барский камердинер, в звание управляющего облеченный.

Вот в один прекрасный день, уже перед вечером, ехал Дорофей из одной деревни в другую, в тележке, сам правил, ехал он через лес, заключавший в себе нашу забытую судьбой, оставленную людьми и роком преследуемую героиню Саломею.

Вдруг слышит он чей-то голос.

Дорофей вздрогнул, подумал — не леший ли?

Он подогнал было конька; но близ его раздалось в стороне: «Постой, постой, добрый человек!»

Он было хотел еще придать рыси коньку; но вдруг видит бегущую к нему крестьянку. Дорофей успокоился и приостановил конька.

«Это,— думал он,— не леший; это какой-то славный леший!..»

— Что тебе, моя милая?

— Добрый человек, вывези меня из лесу,— проговорила задыхаясь Саломея.

— Что, заблудилась, верно? Пожалуй, изволь, лебедка, садись.

— Ты ошибаешься, мой милый, я не крестьянка,— произнесла вдруг с достоинством Саломея, затронутая слишком ласковым голосом Дорофея,— я ехала на поклоненье в Киев... меня ограбили разбойники, оставили мне только крестьянское платье...

Дорофей посмотрел на нее недоверчиво; но наружность, взгляд и голос Саломеи, казалось, убедили его, что это действительно должна быть барыня, а не крестьянка.

— Извольте, я довезу,— сказал Дорофей,— наша деревня отсюда недалеко; а вы откуда же ехали в Киев?

— Из Москвы.

— Там наш барин живет,— сказал Дорофей,— так, стало быть, вы знаете Александра Ивановича Брусницкого?

— Нет, не знаю.

— Как же это, не знаете Александра Ивановича Брус-

---

[1] Барс.

ницкого, да его кто не знает, ведь он со всеми господами знаком.

Саломея молчала. Дорофей посмотрел на нее и моргнул глазом.

— Александра Ивановича нельзя не знать.

Проехав версты три, Дорофей приостановился подле корчмы.

— Я забегу только напиться,— сказал он.

— Спроси, пожалуйста, и мне воды: у меня страшная жажда,— проговорила Саломея.

Дорофей отправился в корчму, выпил там известную меру, взял копченых сельдей и булку и вынес напиться Саломее.

— Дай мне кусочек хлеба,— сказала она дорогой.

Дорофей, уплетая селедку и булку, возбудил в ней голод.

— Изволь... извольте,— сказал Дорофей, отняв от рта булку и разломив оставшийся кусок пополам.

Саломея поднесла ко рту, но с отвращением поморщилась и не стала есть хлеба: он заражен был водкой.

— Э, да ты... вы, барыня, брезгаете, сударыня?

Саломея ничего не отвечала.

— Ну, как изводите... Ну, ты, сивая! пошла! Приедем домой, чем угодно накормлю, у нас все есть... суп сварим, пожалуй... вот уж недалеко... тут будет корчма... да вот она... а тут, версты две, и деревня Александра Ивановича... Пррр! стой! Не прикажете ли тут булочку взять? тут славные булки... я возьму... а может напиться не угодно ли?

И с этими словами Дорофей остановил коня и побежал в корчму. Выпил известную пропорцию водки, взял булку и вынес воды Саломее.

— Изволь... извольте.

— Благодарствуй, я не хочу пить,— отвечала Саломея, очнувшись из задумчивости и содрогаясь при взгляде на свою одежду, экипаж, корчму и Дорофея, угощающего водой.

— Ну, булочки,— говорил он,— я не кусал, ей-богу... Ну, честь приложена... а... Ну! собака! пошел! близко!

И Дорофей начал жарить лошадь кнутом. Сивая понесла во всю прыть, тележка по неровной дороге запрыгала, Саломею бросало во все стороны; бледная и трепещущая, она вскрикивала на всяком скачке тележки.

— Прокачу! — кричал Дорофей,— прокачу! небойсь! ничего! Эх ты, сивая!

— Остановись, остановись! ай!

— Ничего!.. вот она, и наша корчма!

Около корчмы стояла толпа мужиков; все они по проезде Дорофея Игнатьича сняли шляпы и поклонились.

— Гей, староста! — крикнул он, проскакав мимо.

Староста побежал вслед за ним.

Наконец тележка остановилась подле флигеля дряхлого господского дома, миновав развалившийся забор.

— Вот и приехали,— сказал Дорофей.— Эй, Маланья!

Из дверей выбежала старуха крестьянка.

— Помогай, старая карга!.. не мне, а вот... барыне-то...

Саломея была почти без памяти, едва переводила дух.

— Ну, что ж ты? — крикнул Дорофей на старуху, которая подошла к тележке и смотрела на Саломею, которая, приклонив голову на руку, безмолвно, неподвижно сидела, отдыхая от испуга.

— Где ж мне ее стащить с телеги-то, ишь, какая грузная! Ноги-то, верно, ей уж не служат!.. Слезай, голубушка!

Саломея вздохнула глубоко и с ужасом посмотрела на старуху, на Дорофея и на всё ее окружающее.

— Сударыня, говори!.. барыня это, говорю я тебе... Ну, покорно просим!

И Дорофей сам взял за руку Саломею, потянул ее с телеги.

— Оставь, пожалуйста, я сама пойду,— сказала она и сошла с тележки.

— Покорно просим! — проговорил Дорофей, взяв под руку Саломею и едва стоя на ногах.

— Готово что есть, а? ты! тебе говорю! Маланья!

— Ну, что, что прикажешь, Дорофей Игнатьич?

— Отворяй двери!.. ну!

Пьяный Дорофей и истомленная Саломея показались старухе не лучше один другого.

— Э-эх! добыл! — бормотала она,— наклюкались!..

Саломея вошла в людскую горницу, которая была пуста, кругом стен лавки, в углу стол, на котором лежало множество бумаг; вправо другой покой с русской печкой, подле стены койка, на лавке самовар, чайник и чашки.

— Самовар ставь, Маланья; покорно просим! Чайком сейчас попотчую...

— О боже мой! — проговорила Саломея, садясь подле стола и приклонив голову на руки.

— Подай подушечку!.. Извольте... если угодно отдохнуть... Ну! живо самовар!.. ты что? пошел вон! ты видишь, здесь барыня!

Староста, сунувшийся было в двери с огромной клюкой, вышел вон; за ним вышел и Дорофей.

— Ну, ты, Тарас, дурак! ты думаешь, это черт знает что? а?

— Что ж, не наше дело, Дорофей Игнатьич,— отвечал староста.

— Не наше дело! так и уважения нет! ты думаешь, что просто крестьянка... что уж я взял, да и привез... что глядишь?

— Ничяво, Дорофей Игнатьич.

— Небойсь сыну-то твоему Василию не черед? Нет, брат, забрею!

— Да за что ж прогневалась милость ваша, Дорофей Игнатьич?

— То-то, ты думаешь, я на свой счет угощать буду?

— Да мы представим что угодно.

— Угодно!.. Это барыня, а ты думал баба?

— Да что ж думать... уж как барин приказал... так и будет; вам господская воля лучше известна.

— Так пошел! ведь запас есть про заседателя?

— Да есть же, есть... сладкая водка есть, закуска есть, изюму, чай, прикажете...

— Неси!

Староста побежал на село; а Дорофей важно прошелся по двору и повелительно останавливал и подзывал к себе всех идущих и едущих с поля крестьян, баб, мальчишек и девочек, спрашивал, допрашивал, гневался и кончал словом: «Ну, пошел!»

— Эй, ты, постой! поди сюда!

— Дорофей Игнатьич, доброго здоровья вашей милости.

— Ты где был?

— В поле, батюшка.

— Завтра тебе в лес ехать, с Семкой, привезете лесу на забор... Слышишь?

— Дорофей Игнатьич, помилуйте, уж дозвольте поприбраться с хлебом. Забор-то, сударь, не к спеху...

— Ну, молчать! Учить стал!.. Как велю, так и делай!..

— Кто ж ослушаться будет вашей милости; оно не то что бы... да завтра же мед снимать хотел... уж такой мед, Дорофей Игнатьич!... Если дозволите, представлю...

— Мед... ну, разве... привози, попробую.

— Такой мед, Дорофей Игнатьич, что и не бывало такого! а уж как приберемся, в день забор новый поставим, ей-богу!

— То-то, я долго ждать не буду. Ну, пошел!.. Поди-ко ты сюда, поди! в кузовке-то что?

— Черника, батюшко.

— А где ты набрала? В поле небось?

— В лесу, батюшко.

— А лес-то чей?

— Вестимо, что господской.

— То-то!

— Извольте, батюшко, отсыпать на здоровье.

— Отсыпать! Захочу и все возьму... Что ж ты мало набрала? а?

— Да неколи было; только и набрала что вот дорогой.

— А орехи поспели?

— Нет еще, сударь.

— На! пошла!

Отсыпав в картуз черники, Дорофей пошел к себе и высыпал чернику на стол перед Саломеей, которая, прислонясь к

стене, сидела с поникшей головой и закрытыми очами, как опьяневшая от горя.

Есть сердца, которые знают испуг, страх, боязнь, но в беде, вместо смирения и терпения, ожесточаются. Это именно те высокомерные сердца, которые не сознают в себе ничего, кроме высоких достоинств и великих совершенств, а во всех других ничего, кроме глупости и подлости. Саломея, предавшись горьким думам о судьбе своей и унижении, в которое она поставлена, обвиняла, во-первых, виновников своего рождения: они не умели руководить ее к счастию жизни, не умели обставить ее тем, чем ее красота, ум и высокие чувства должны были быть обставлены; потом обвиняла дураков молодых людей, которые не умели *найти в ней;* потом обвиняла свинью Федора Петровича, которого черт принес в дом свататься на девушках, которых он и подметки не стоит; потом обвиняла мерзавца Дмитрицкого, который соблазнил ее невинную душу, жаждущую истинной, безмерной, высокой любви; потом досталось Филиппу Савичу, сморчку, который осмелился думать сделать из нее вторую хозяйку в доме; потом, припоминая слова Алексея, она разобрала их и убедилась, что, верно, мерзавка Юлия Павловна и мать выведали у глупого Георгия что-нибудь и рассказали Филиппу Савичу; а Филипп Савич из ревности так низко поступил с нею. Никому не было пощады, и лицо Саломеи Петровны выражало какое-то озлобление и совершенно походило на опьянелость, в которой подозревала ее старая Маланья. Дорофей, взглянув на нее, скорчил маску, поусумнился и подумал:

«Врешь, мать моя, какая ты барыня... чай, просто, тово... девка, вот и все».

— Эй, сударыня, чернички покуда!.. Ну, Маланья, что ж чаю? налила? подавай сюда на стол; а староста принес что?

— Да вот же, принес два полуштофчика, да изюму, орехов, яблоков.

— Ставь сюда на стол... постой-ка, я попробую...

И Дорофей попробовал из каждого полуштофчика по рюмочке.

— Маланья, ступай, изготовь к ужину яичницу, да что-нибудь еще... покушать вот им... что ж, сударыня, извольте!

— Я ничего не хочу, благодарю! — отвечала Саломея, вздрогнув, когда Дорофей прикоснулся к ней рукой, потчуя чаем.

— А отчего ж так?

— Пожалуйста, дай мне покой!

— Ну, как угодно... я сам выпью...

И Дорофей отпил до половины чашку, долил сладкой водкой и стал прихлебывать с наслаждением.

— А смею спросить, сударыня моя, какие разбойники ограбили вашу милость?.. Сударыня, а сударыня! Э, какая спеси-

вая! когда говорят — не отвечает!.. Добро бы еще кто, а то черт знает!.. Да я знать не хочу... вот барыня отыскалась какая! нашла тут разбойников! Так и поверили! черт ограбил...

— О боже! — вскричала Саломея, вскочив с места и бросясь к двери.

— Нет, пррру! — сказал Дорофей, вскочив вслед за ней и схватив ее за сарафан.

— Мерзавец! — вскрикнула Саломея вне себя.

— Ах, ты! да я тебя, знаешь! — сказал Дорофей, подняв кулак над Саломеей и потом толкнув ее на скамью.

— Помогите, помогите! — закричала Саломея.

— Молчать! — крикнул и Дорофей, размахнувшись снова.

Саломея присела от ужаса и замолкла.

— О боже! — произнесла она тихо.

— Что, выкричала? то-то... ну, помиримся... выпьем... ну, пей! это дамская... сладкая...

Глаза Саломеи загорелись вдруг безумным исступлением; казалось, что она готова была вступить в борьбу, как львица.

— Прочь!

— Фу ты, страшная какая! ну, пей, говорят тебе!

— О, он убьет меня! — вскрикнула она трепещущим голосом.

Дорофей стоял над ней, как некий герой драмы стоял над героиней драмы с кинжалом и требовал, чтоб она выпила яд.

Саломея, как эта героиня, испугавшись кинжала, пила яд.

— До дна! — крикнул грозно Дорофей,— а! вот теперь вижу, что барыня! Ну, теперь с чайком, я не даром для тебя самовар ставил... Нет, брат, меня не надуешь!.. Ну... что ж чайку, брат... а? небойсь, не трону... э! свалилась... слышь?..

У Саломеи закружилась голова, она без памяти упала на лавку и не чувствовала, как пьяный Дорофей тянул ее за рукав.

— Что ж, брат, надо пить... Эки разбойники... пррру!

И Дорофей повалился сперва на лавку, потом на пол.

— Держи, держи! — кричал он — Маланья, держи!

Маланья вбежала, посмотрела и на Дорофея и на Саломею, покачала головой и плюнула.

— Насосались! — проговорила она и, присев подле на лавке, выпила водочки из полуштофа, потом стала пить чай, потом стала все прибирать, а, наконец, и сама свалилась на лавку подле печки и захрапела.

III

В некотором уездном городе, при городской части, жил квартальный надзиратель Иван Иванович Тесьменко, отличнейший человек, преисправнейший по службе, вернейший муж Авдотьи Матвеевны и попечительнейший отец пяти сыновей и шести до-

черей. При всех своих достоинствах он часто страдал невинно и в жизнь свою переменил по крайней мере двадцать родов службы. Из одной вытеснен, из другой уволен, из пятой сам вышел, из седьмой обстоятельства заставили выйти, из восьмой болезнь, из девятой жена, из десятой начальник, из которой-то, кажется по лесной части, леший, просто пришел к нему и говорит:

— Иван Иванович, извольте выходить в отставку, а не то я истреблю весь лес, вверенный вашему благоусмотрению и надзору.

Собственно Иван Ивановичем все были довольны как нельзя больше, но женой его никто не был доволен; даже леший, служивший с Иваном Ивановичем по лесной части. Авдотья Матвеевна была очень хорошая женщина; но по недоверчивости к мужу она всегда входила в его дела по службе и распоряжалась всем очень умно и заботливо, однако ж это не нравилось ни начальникам, ни подчиненным ее мужа. Леший же недоволен был тем, что она называла всех, на кого рассердится, сперва лешим, а потом свиньей. «Стало быть, и я свинья?» — подумал леший и обиделся. Долго терпел, наконец, не зная чем отмстить, начал рубить лес. По ночам такая рубка, что чудо; глядь на утро — сотни самых лучших дерев как не бывало. Иван Иванович, смекнув, что плохо и придется отвечать, принужден был подать в отставку.

В звании квартальной надзирательши Авдотье Матвеевне как-то удобнее было мешаться в разные распоряжения.

Однажды Авдотья Матвеевна, уложив детей спать, гадала в карты, что за причина, что так долго Иван Иванович не возвращается от городничего; вдруг доложили ей, что приехал управляющий Брусницкого.

— А! зови-ко, зови его!.. Здорово, Дорофей Игнатьич.

— Здравствуйте, сударыня Авдотья Матвеевна; как вас бог милует?

— Слава богу, слава богу, как видишь; а ты-то, батюшка, запал! Забыли свой дом; а городских-то повинностей не мало накопилось... стыдно! ведь это всё на ответе Ивана Ивановича... Барин гуляет в Москве, а ты-то где гуляешь, батюшка?

— Какая гульба, сударыня... такой год вышел, что избави боже!.. зиму всю проболел...

— Так! у кого нет отговорок в запасе!

— Прикажите, сударыня, матушка Авдотья Матвеевна, принять кому: куль мучки, две четверти овсеца да там еще разное кое-что... яичек, маслица, того-сего...

— С зимнего-то пути на летний свел, да тем, чай, и заговеемся?

— Помилуйте, сударыня, всё в свое время будет...

— То-то! дичь-то еще за тобой, а тонкий-то холст?..

— Привез, сударыня.

— Разве?

— Прикажете на двор въезжать?

— На двор, на двор.

— Да к Ивану Ивановичу дельцо у меня есть...

— Что такое?

— Да вот какой казус случился. Еду я четвертого дня из Саньковцев через лес, эдак перед закатом солнца,— смотрю, бежит ко мне какая-то бабенка да кричит: «Батюшка, помоги, разбойники режут! батюшка, гонятся за мной!» Я и оторопел: «Садись скорей», говорю: взял ее к себе, да и припустил коня, думаю, вправду гонятся. Приехал домой, уж ночь на дворе.

«Покорми,— говорю Маланье,— бабенку-то, да пусть переночует»; а сам пошел по хозяйству. Как воротился, а Маланья и говорит: «Что, батюшка, Дорофей Игнатьич, какую ты привез, безумную али пьяную?» — «А что?» — «Да вот смотри на нее, все буянит! говорит, что она барыня, а не крестьянка».— «Ты что, голубушка? — спросил я ее,— откуда ты? Какие разбойники тебя ограбили?» — «Как ты смеешь, говорит, называть меня голубушкой; ты знаешь, кто я?» — «Нет, не знаю, сударыня».— «А вот я тебе покажу!» — да как ухватит бутылку со стола да в меня было, я так и обомлел, насилу выскочил в двери; безумная, думаю, и велел припереть двери да стеречь до утра. Как рассвело, отворили двери, а она лежит без памяти, вся, как огонь, красная. Ну, думаю, как умрет,— беда! Пойдут следствия: откуда взялась да кто уморил. Я скорей ее на воз, да и сюда. Хочу просить Ивана Ивановича, чтоб в часть ее взяли.

— Вот то-то, Дорофей Игнатьич, бог-то и попутал тебя; ведь если б не такой случай, ты бы и не подумал приехать.

— Помилуйте, матушка, у меня уж и подвода была готова, а тут вот как черт навязал обузу. Да уж будьте уверены, что то само по себе, а это само по себе; я только буду вас просить, чтоб Иван Иванович приказал взять ее у меня с рук долой.

— Дунька! — крикнула Авдотья Матвеевна,— сбегай-ко скорей... Э, да вот он идет.

— Это что за человек? — спросил Иван Иванович, входя в комнату.

Мы не станем описывать наружности Ивана Ивановича, чтоб читатель сам себе вообразил в мундирном сюртуке добрейшую наружность, не совсем уклюжую, на которой время исказило уже все черты доброты, так что с первого разу можно было подумать, что Иван Иванович и сердит, и привязчив, и невесть что еще. Дорофей низменно поклонился, а отвечала за него Авдотья Матвеевна:

— Ты не узнал управляющего имением Александра Ивановича Брусницкого.

— А! ну, что скажете?

— Ничего, сударь Иван Иванович; привез кой-что гостинцу вашей милости.

— Спасибо, спасибо; а чего привезли?

— Ну, что привез, то и привез; а вот лучше поговори-ко с ним, у него просьба до тебя.

— Да, батюшка Иван Иванович, не оставьте вашей милостью: вещь пустая, да я больно перепугался.

— Что такое? говори.

— Изволите ли видеть, ехал я третьёва-сь или, бишь, четвертого дня..

— Постой, постой, я расскажу, что тебе трудиться в другой раз; вот видишь, Иван Иванович, Дорофей Игнатьич ехал себе в деревню через лес, где разбойники водятся...

— И не думают водиться! — пробормотал Дорофей про себя.

— Вдруг бежит баба какая-то и кричит: «режут!»

— Постой, матушка,— перервал Иван Иванович,— нечего и продолжать, я вижу, что тут дело касается до исправника, а не до меня.

— Да дай, батюшка, кончить! так и рвет с языка!

— А пожалуй, говори, только я вижу, что дело до меня не касается.

— Вот видите ли, сударь, я вам доложу в коротких словах,— начал было Дорофей.

— Позволь уж мне досказать: не люблю, начав слово, не кончить... Изволишь видеть, он спас бабу от разбойников да привез домой, а оказалось, что она сумасшедшая, не ест, не пьет...

— Все-таки надо освидетельствовать; а что, я, что ли, поеду в уезд свидетельствовать?

— Да дай кончить! — сердито произнесла Авдотья Матвеевна.

— Она, сударь, умерла было! — начал было Дорофей.

— Свидетельства-то, или, как бишь, следствия-то, он и боится,— перервала Авдотья Матвеевна,— так для этого и привез ее сюда.

— Куда? — спросил Иван Иванович.

— Куда! сюда, говорят тебе!

— То есть к нам? ко мне? пошел, брат, пошел, а не то я проводить велю!.. мертвую привез из уезда в город, в мой квартал, свалить беду на мою шею!

— Помилуйте, живехонька, сударь, она только больна.

— Все равно!

— Выслушай прежде, да потом кричи!

— Позвольте уж мне, матушка Авдотья Матвеевна, рассказать, в чем дело.

— Рассказывай! ты думаешь, он тебя лучше поймет!

— Только не извольте гневаться, батюшка Иван Иванович... дело, сударь, пустое...

При этих словах Дорофей вынул из кармана бумажник, отвернулся немножко из учтивости в сторону.

— Дело, сударь, пустое...

И Дорофей рассказал, что спасенная им женщина, верно, какая-нибудь беглая или сумасшедшая, заболела опасно, и он, из боязни, чтоб она не умерла и не завязалось из этого следствие, привез ее в город с тем, чтоб попросить Ивана Ивановича взять ее в часть.

— Нельзя, любезный друг, нельзя! — сказал Иван Иванович.

— Ах, батюшка, да отчего ж нельзя? — крикнула Авдотья Матвеевна.

— Ты, матушка, с ума сошла! тело поднято в уезде, а не на улице, да если б и на улице, да не в моем квартале, так мне плевать на него.

— Помогите, батюшка, посоветуйте, как мне быть... да если б тело, а то не тело, ведь она еще живехонька...

Дорофей положил что-то на стол и низко поклонился.

— Чудные вы люди,— сказал Иван Иванович, смягчив голос,— добро бы это случилось в моем квартале, ну, тогда бы знали, как поступить.

— Ах, боже мой, да она теперь в твоем квартале и есть! Кто ж знает, что она привезена,— сказала Авдотья Матвеевна, удивляясь, что муж ее из пустяков делает затруднения.

— Лежи она на улице, дело другое, дозор бы поднял — и прямо в часть!

— Слушаю, Иван Иванович. Так уж я исполню, как изволили сказать... потороплюсь.

— Ну, ну, ладно; да смотри, брат, мы только про то и знаем.

— Уж известное дело,— сказал Дорофей, поклонился и вышел вон.

Подвода стояла у ворот, он велел въезжать ей на двор; а его собственная тележка стояла в отдалении.

— Ты ступай, Кузька, да помоги Петрухе сложить с воза куль и мешки; а я сам сдам ее в больницу. Ступай.

Кузька пошел помогать Петрухе, а Дорофей вскочил на тележку и погнал коня в переулок, потом через улицу и опять в переулок. Тут была глушь; с обеих сторон заборы тянулись до другой части.

Дорофей приостановился, посмотрел, нет ли кого, выскочил из тележки, вытащил из нее бедную Саломею, сложил подле забора и — был таков.

Иван Иванович, утомясь после дневных трудов, понесенных на пользу ближнему, по выходе Дорофея стал раздеваться и, ложась уже в постелю, вспомнил, что надо послать дозор в глухой переулок, нет ли там чего-нибудь, и велел кликнуть к себе хожалого.

— Ты, братец, обойди же квартал дозором, чтоб все было в исправности, да глухие-то переулки обойди хорошенько, слышишь?

— Слушаю, ваше благородие, уж это известно,— отвечал хожалый и действительно прошел дозором по кабакам, прикрикнул, что пора запирать.

— Сейчас, сударь, сейчас, только гости уберутся,— отвечали целовальники.

— То-то, сейчас!...

— В глухие переулки! — пробормотал хожалый, отправляясь к себе на дом,— а черта ли там есть!

Таким образом беспамятная Саломея лежала без призору в глухом переулке. Одр ее широк, она разметалась, горит, внутренний жар раскалил ее; с глухим стоном хватается она руками за одежду и, кажется, хочет сбросить ее с себя... Язык что-то лепечет, уста алчут... да нет никого, кто бы походил за больной и подал ей испить.

Но вот кто-то идет, говорит сам с собой.

— Мне что,— говорит,— пошел, да и утопился! житья нет! бил-бил, бил-бил, а за что?.. вишь, я виноват, что, надевавши, у мундира рукав лопнул... а теперь по ночи достань ему где хочешь... Э! кто тут?.. охает кто-то... Ах, батюшки, женщина какая-то... умирает!.. Побежать сказать в будке, чтоб подняли.

И прохожий побежал к будке, которая была против длинного глухого переулка, на другой стороне улицы.

— Эй! будочник! слышь!

— Кто идет? — крикнул будочник, сидевший в дверях, прислонясь к стенке.

— Пошли, брат, скорей, поднять женщину, вон лежит тут в переулке, пьяная или что, бог ее знает.

— Где в переулке?

— Да вот тут недалеко.

— Ладно; поднимут и без тебя,— отвечал будочник.

Вскоре в глухом переулке раздались голоса хожалого с командой.

— Ну, где тут?.. эка невидаль! проспалась бы и здесь! тащи ее покуда в будку.

Хожалый, отдав приказ, отправился домой, а будочники перетащили беспамятную Саломею к будке.

— Вот тебе раз, еще в будку! — сказал один из них,— брось ее в загороду.

На другой день Иван Иванович донес, что во вверенном квартале, в Переезжем переулке, поднята женщина в нетрезвом состоянии, а по освидетельствовании оказалось, что она же и в горячечном состоянии; никакого вида при ней не оказалось, кроме носильного крестьянского платья, почему, вероятно, она в бегах обретается, и куда благоугодно будет ее отправить,— не благоугодно ли в острог в больницу?

— Без сомнения, отправить в острог в больницу.

— Слушаю,— отвечал Иван Иванович.

IV

Обратимся теперь в Москву, к родителям и супругу Саломеи Петровны.

В тот самый день, когда она отправилась по своим надобностям из Москвы, около полуночи Федор Петрович, очень хорошо зная, что Саломеи Петровны нет еще дома, так, для большего убеждения, спросил у слуги:

— Что, Саломея Петровна еще не возвращалась?

— Никак нет-с.

— Ах, ты, господи!.. Нет уж, как хочет, а я спать лягу,— сказал Федор Петрович и лег спать.

По обыкновению, всякое утро приходил человек и будил его, докладывая, что чай готов и что Саломея Петровна изволили уже встать.

Против обыкновения, на другой день после отъезда Саломеи Петровны по своим надобностям человек не приходил будить Федора Петровича и докладывать, что Саломея Петровна изволили уже встать.

Был уже час третий пополудни, Федор Петрович отлежал бока, удивляясь, что Саломея Петровна так долго спит.

«Верно, поздно приехала домой,— думал он.— Вот жизнь собачья!» — прибавил он вслух и крикнул:

— Эй!

— Чего изволите, сударь? — спросил лакей.

— Барыня встала?

— Никак нет-с.

— Ах ты, господи! — сказал Федор Петрович,— в котором часу приехала барыня?

— Барыня не приезжали-с.

— Как, барыня еще не возвращалась домой?

— Никак нет-с.

— Ах ты, господи! — вскричал Федор Петрович,— да где ж она?

— Не могу знать-с; Петр ездил с барыней, они изволили послать его из галереи за афишкой в театр; он взял афишку, а в галерее уже барыни не было, так он и велел кучеру ждать у театра; а сам ждал в галерее в бельэтаже, подле нашей ложи. Театр-то кончился, все пошли вон, а Петр ждал-ждал, покуда свечи потушили. Петр хотел было еще немножко подождать, да капельдинер прогнал его: ступай, говорит, вон; кого ты ждешь? все разъехались, и лампу потушили. Петр и пошел, спросил кучера Игната: «Что, барыня не выходила?» — «Да не выходила же», говорит...

— Ах ты, господи! — вскричал Федор Петрович,— да где ж она?

— Не могу знать. Карета стояла подле театрального подъ-

езда до рассвета, какое до рассвета — уж солнце высоко было, когда они воротились домой.

— Кто, барыня?

— Нет, Петр и Иван.

— А барыня?

— Ее так и не дождались.

— Ах ты, господи! Это ни на что не похоже! Давай чаю!

— Ключи у барыни.

— Тьфу! Давай одеваться.

Федор Петрович оделся и отправился к Петру Григорьевичу. Петра Григорьевича не было уже дома; Софья Васильевна куда-то сбиралась ехать, только Катенька была в гостиной.

— Ах, Федор Петрович! — вскричала она радушно, бросаясь к нему навстречу,— как давно вы у нас не были!

У Федора Петровича забилось сердце от какого-то тайного, горького чувства; несмотря на строгое запрещение Саломеи Петровны не подходить к ручке Катеньки — *молоденькой девчонки,* он в забывчивости подошел к руке.

— Что вы такие смущенные?

— Ничего, Катерина Петровна, так, устал, жарко!

— Вы пешком пришли?

— Пешком.

— Как же это вы осмелились? Сестрица не позволяет вам пешком ходить,— сказала шутя Катенька,— постойте, вот я ей скажу!

«Господи! — подумал Федор Петрович,— если б Катенька-то была моей женой!..»

— Вы что-то все думаете, не отвечаете.

— Отвечать-то, Катерина Петровна, нечего. Как на душе скребет, так бог знает что и отвечать.

— Что за несчастие такое с вами случилось?

— Помилуйте, встанешь в семь, жди до полудня чай пить!

— Кто ж вам велит?

— Кто? да это уж жизнь такая, неприятно же врозь пить чай... да добро бы в полдень, а то сегодня я по сю пору чаю еще не пил!

— Отчего ж это? Хотите, я велю поставить самовар.

— Сделайте одолжение... Ключи у Саломеи Петровны, а она еще, бог знает, со вчерашнего дня по сю пору не возвращалась домой.

— Как! — вскричала Катенька.

— Да так. Я уж этой жизни и не понимаю!

— Коляска готова? — раздался голос Софьи Васильевны; и с этими словами, она, разряженная, вышла в гостиную.— А! Федор Петрович.

Федор Петрович подошел молча к руке.

— Что это вас давно не видать, вы как чужой стали! Что Саломея делает?

— Да я пошел, ее еще не было дома,— отвечал Федор Петрович, стараясь говорить спокойным голосом.

— Маменька, Федор Петрович еще не пил чаю, я велела поставить самовар.

— Где ж вы были все утро?

— Дома.

— Напой, Катенька, Федора Петровича чаем; а мне нужно ехать. Прощайте, Федор Петрович, поцелуйте за меня Саломею.

— Покорнейше благодарю! — отвечал Федор Петрович по модному выражению, переведенному с французского диалекта.

Софья Васильевна поклонилась довольно сухо и уехала. Софья Васильевна сердита была на Федора Петровича, потому что Саломея, не позволив давать отцу своему денег взаймы, на него же свалила отказ.

Катенька напоила Федора Петровича чаем, и он пошел домой.

— Что, приехала барыня?

— Никак нет! — отвечали ему в передней в несколько голосов.

В ожидании Саломеи Петровны он сжег десяток пахитосов, потому что Саломея Петровна трубку ему запретила курить; потом ходил, ходил по всем комнатам, смотрел на часы и, наконец, вышел из себя.

— Шесть часов! Эй! что ж не накрыт стол?

— Да кушать не готовлено. Барыня с вечера ничего не изволили заказывать.

— Тьфу! Это черт знает что за жизнь! — крикнул Федор Петрович и прибавил сквозь зубы: — Таскается день и ночь...

Федор Петрович, не зная, к кому прибегнуть с горем своим, снова пошел к Петру Григорьевичу, застал его с женой, дочерью и двумя гостями за столом.

— А! обедали, Федор Петрович?

— Нет еще,— отвечал Федор Петрович,— Саломеи Петровны нет дома.

— Так садитесь,— сказал Петр Григорьевич и стал продолжать разговор с гостями. Софье Васильевне также некогда было с ним говорить, а потому он молча, торопливо догонял кушающих уже десерт.

— Куда ездила сегодня Саломея? — спросила, наконец, Софья Васильевна.

— Никуда,— отвечал Федор Петрович.

— Как же вы давеча говорили, что ее нет дома?

— Ее по сю пору нет дома,— отвечал Федор Петрович,— она вчера поехала в театр... и не возвращалась... я не знаю...

Софья Васильевна, вероятно, догадалась, наконец, что что-нибудь да не так, прервала слова Федора Петровича и сказала, захохотав:

— Бедный муж, не знает, где жена!.. а я знаю.

— Она мне ничего не говорила,— начал было Федор Петрович.

— Не говорила? да разве вы не помните, что она сбиралась с Малютиными в Вознесенск?

С этими словами Софья Васильевна встала из-за стола.

— Хотите трубку? — сказал Петр Григорьевич, взяв за руку Федора Петровича.— Пойдемте ко мне в кабинет... Федор Петрович,— продолжал он,— вы почти сами вызвались дать мне взаймы сорок тысяч, которые мне необходимы, чтоб поправить свои дела; для чего ж вы вместо исполнения слова нажаловались на меня своей жене, что я выдал нищую дочь свою за вас для того, чтоб обобрать вас? скажите пожалуйста?

— Я? я это говорил? вот вам Христос! — сказал Федор Петрович.

— Вот записка, полученная женою третьего дня от Саломеи; извольте читать:

«Папá просил у моего мужа сорок тысяч взаймы. Это крайне его удивляет, и мне слишком неприятно слышать упреки, что мои родители не только что не дали мне никакого приданого и выдали как нищую, но еще требуют от зятя, чтоб он для поправления их состояния отдал свое. По доброте своей муж мой не умел отговариваться; но, чтоб избежать вечных упреков, я ему сказала, что папá не нуждается уже в его деньгах».

— И не думал, и не думал этого говорить, Петр Григорьевич, клянусь богом! Я не знаю, что Саломее Петровне вздумалось про меня так писать... и не понимаю! Я уж и деньги приготовил для вас; она взяла их к себе и сказала, что вы от нее получите.

Петр Григорьевич закусил губы.

— О! бог ей судья! Мне только жаль, что я доброму человеку навязал на шею такого черта! — сказал он, задыхаясь от досады.— Где она?

— Я не знаю, Петр Григорьевич, где она; со вчерашнего дня еще не возвращалась домой; Софья Васильевна говорит, что она уехала в Вознесенск.

— Врет она! — вскричал Петр Григорьевич.— Эй! кто тут? позови барыню.

— Что тебе, друг мой? — спросила Софья Васильевна и испугалась, увидя, что Петр Григорьевич весь вне себя ходил большими шагами по комнате и поминутно набивал нос табаком. Это был худой признак.

— Где Саломея? — крикнул он.

— Я почему ж знаю,— отвечала Софья Васильевна,— кажется, мужу ее лучше знать об этом.

— К чему ж ты выдумала, что она поехала в Вознесенск?

— Я знаю, что она хотела ехать с Малютиными и без всякого сомнения уехала с ними.

— Я сегодня был у Малютиных; она, верно, уехала с чертом.

Софья Васильевна побледнела. Федор Петрович стоял безмолвно и смотрел на Софью Васильевну как на виноватую и как будто произнося с упреком: «Вот видите, Софья Васильевна, что вы сделали! Зачем вы сказали, что Саломея Петровна уехала в Вознесенск, когда она не уезжала туда».

— Любезный Федор Петрович,— сказал Петр Григорьевич,— грех не на моей душе, а на бабьей.

— Ох ты! — произнесла Софья Васильевна и торопливо вышла из комнаты.

Федор Петрович стоял молча посреди комнаты, в одной руке держал фуражку, другою приглаживал волосы на голове, потому что они становились у него дыбом в смутное для головы время.

— Что делать! — сказал Петр Григорьевич, глубоко вздохнув и пожав плечами.

— Я не понимаю, куда это уехала Саломея Петровна,— сказал, наконец, Федор Петрович.

Петр Григорьевич набрал снова глубоким вздохом оксигену [1] и пахнул азотом, как турок, затянувшийся табаком.

— Позвольте трубочку,— сказал Федор Петрович.

— Сделайте одолжение,— отвечал Петр Григорьевич, расхаживая взад и вперед по комнате.

— Поди, пожалуйста, посиди в гостиной с Иваном Федоровичем и Степаном Васильевичем, мне совсем не до них,— сказала Софья Васильевна, входя встревоженная в кабинет.

— А мне до них? — отвечал Петр Григорьевич.

— Вы посылали, Федор Петрович, узнать, к кому поехала Саломея?

— Не посылал,— отвечал Федор Петрович, затягиваясь длинной струей вахштафу, как утоляющий жажду.

— Ах, напрасно; как же это вы так беззаботны, не знаете, где жена и что делается с нею?

— Куда ж послать-то мне, Софья Васильевна? Если б она поехала да сказала, куда едет,— дело другое; я пошлю искать ее.

— Ах, нет, лучше не посылайте... Вы не поссорились ли с ней?

— Как это можно! Когда ж я ссорился?

— Может быть, огорчили чем-нибудь?

— Ей-богу, и не думал огорчать. Признаться сказать, она только посердилась на меня за то, что я взял деньги из ломбарда.

— Вот видите ли, она вам советует беречь деньги, а вы сделали ей неприятность; будто это ничтожная причина; я уве-

[1] Кислороду.

рена, что она от огорчения уехала с кем-нибудь из знакомых на дачу или в деревню.

— Как будто я бросать хотел деньги; я по просьбе Петра Григорьевича взял сорок тысяч...

— Так за что ж она сердилась? — спросила Софья Васильевна с негодованием, поняв оскорбительный для матери поступок Саломеи.

— А бог ее знает! — отвечал Федор Петрович,— так, я думаю, жалко стало денег.

— Для отца и матери жаль! — произнесла с огорчением Софья Васильевна.

— Я говорил, да что делать, уж у ней такой странный характер.

— А сама мотает, бросает деньги! Сколько вы прожили в полгода?

— А бог ее знает, я как-то не люблю считать.

— О, вы чересчур добры, Федор Петрович! вам надо было держать ее в руках.

— Так уж... и сам не знаю как... нет, уж жизнь такая... Я, правда, не привык, да что ж делать, ведь это не в полку.

— Федор Петрович, вы не разглашайте об ее отъезде... она, вероятно, скоро воротится... она, верно, уехала в деревню к Колинским... Конечно, это глупо уезжать не сказавшись, да уж это такой нрав.

— Уж такой нрав, я знаю,— повторил и Федор Петрович.— Я, однако ж, пойду домой, может быть она воротилась.

— Я ввечеру к вам приеду, прощайте, Федор Петрович.

Федор Петрович пошел домой; но Саломея еще не возвращалась.

На свободе Федор Петрович закурил трубку, сперва в кабинете, отворив окно; а потом стал с досады, что Саломея Петровна долго не возвращается, ходить с трубкой по зале и по гостиной; по всем комнатам разостлались дымные облака.

В десять часов вечера приехала Софья Васильевна и, после вопроса: приехала ли Саломея, ужасно раскашлялась.

— Ах, как вы накурили! — вскричала она,— да это поневоле уйдешь из дому!

— Это так уж, от скуки... я ведь совсем не курю,— сказал Федор Петрович и хотел поставить в угол трубку; но, закурившись, он, как опьянелый, пошатнулся и чуть-чуть не упал.

Софья Васильевна посмотрела на него подозрительно и бог знает что подумала.

— Нет, не могу выносить; это бог знает что за табак! мне дурно! — сказала она и торопливо вышла.

У Федора Петровича кружилась голова, он с трудом добрался до своего кабинета и лег.

Между тем Софья Васильевна приехала домой, открыла мужу тайну, которую она только что узнала.

— Ну, друг мой, не удивляюсь, что Саломея уехала куда-нибудь от мужа!

— Что такое?

— Федор Петрович пьет мертвую чашу!

— Не может быть!

— Приехала я к нему, только вошла, слышу — так и разит водкой, по всем комнатам накурено табачищем, а сам он едва на ногах стоит. И бедная Саломея скрывала это несчастие!

— Ну, сама избрала себе горькую долю! а, правду сказать... ну, да нечего и говорить!

— Отчего ж не сказать!

— Э! лучше не спрашивай!

Это был обыкновенный приступ к обвинению Софьи Васильевны; она поняла; но, понимая, никогда не могла воздержаться, чтоб не высказать, что она поняла, и не убедить мужа, что она не дура и все понимает.

— И не хочу спрашивать, знаю, что у тебя в голове; надо на кого-нибудь свалить всю вину: на кого же сваливать как не на меня!

С этого иногда завязывался длинный разговор; Софья Васильевна поднимает из-под спуда все прошедшее свое горе, повыкопает из могил все прошедшие неприятности и супружеские междоусобия; поставит волос дыбом на голове Петра Григорьевича, расплачется, уйдет и дуется на него несколько дней.

Чтоб убедиться в истине слов Софьи Васильевны насчет Федора Петровича, Петр Григорьевич поехал на другой день к нему и, разумеется, вошел без доклада. В дверях навстречу ему раздались слова Федора Петровича.

— А где ж я возьму теперь! вот возвратится Саломея Петровна, деньги у нее; тотчас же и заплатим.

— О чем дело, Федор Петрович? Здравствуйте!

— Да вот управляющий домом пришел и требует сейчас же деньги; деньги мои все у Саломеи Петровны; а ее нет дома.

— Господа не беспокоили вас и не требовали денег вперед,— сказал управляющий,— по уверенности, что все равно, у них деньги лежат или у вас; но вдруг пришла крайняя необходимость в десяти тысячах, так они и просят уплатить за весь год.

— А сколько? — спросил Петр Григорьевич.

— Восемь тысяч пятьсот.

— Но можно подождать, любезный, несколько дней.

— Одного дня, сударь, невозможно; я бы и не беспокоил.

— Что за крайность такая?

— Такая крайность, сударь. Господа убедительно приказали просить сейчас же вручить мне эту сумму.

— Как же быть, деньги спрятаны у Саломеи Петровны; вот возвратится, тотчас же заплатим,— сказал Федор Петрович.

— Когда ж оне изволят, сударь, возвратиться?

— Кто ж вас знал, любезный, что вам вдруг понадобятся деньги,— сказал Петр Григорьевич,— не сидеть же дома да ждать, когда вы за ними придете!

— Притом же нанимала дом сама Саломея Петровна,— прибавил Федор Петрович.

— Ну, да это все равно,— сказал Петр Григорьевич,— приходи, любезный, завтра поутру.

— Господа приказали просить убедительнейше...

— Говорят тебе, приходи завтра, вероятно, дочь моя завтра будет из деревни,— прибавил Петр Григорьевич.— Да все равно, возвратится или не возвратится, завтра получишь.

— Я доложу господам.

— Прощай!.. Да неужели вы все наличные деньги отдали Саломее?

— До копейки все у нее.

— Какие вы, Федор Петрович; ну, кто отдает капиталы на руки женщине?

— Почему ж я знал, Петр Григорьевич, я не виноват, уж это такая жизнь.

— Где у нее лежат деньги и билеты?

— Она к себе спрятала мой бумажник и шкатулку; верно, в бюро.

— Надо послать за слесарем.

Покуда пришел слесарь, Петр Григорьевич и Федор Петрович, закурив трубки, ходили по комнатам и пыхали дымом. Если б в это время приехала Софья Васильевна, то, верно, подумала бы, что и муж ее подгулял вместе с Федором Петровичем.

Слесарь, наконец, пришел, открыл бюро, открыл все шкафы, шкафчики, комоды — нигде и признаку нет каких-нибудь сокровищ, денег, драгоценностей, даже золотых колец.

«Чисто!» — подумал Петр Григорьевич.

— Бог ее знает, куда девала, верно с собой взяла,— сказал Федор Петрович.

— Вероятно! — произнес Петр Григорьевич значительно.

Отправив слесаря, Петр Григорьевич и Федор Петрович сидели в роскошном кабинете Саломеи Петровны на креслах, курили трубки и молчали. Бюро, шкафики, комоды были растворены, раскрыты, как во время сборов в дорогу или укладывания по возвращении с пути.

Надумавшись, Петр Григорьевич сказал:

— Вам надо заложить скорее деревню; хоть эти-то бумаги у вас ли?

— Кажется, у меня.

Федор Петрович пошел в кабинет и принес купчую.

— Давайте, я сам поеду и обделаю скорее дело... Э, батюшка, да это именье продано с переводом долга в Опекунский совет! У вас нет никакого свидетельства об уплате долга и процентов?

— Никакого.

— Поздравляю! Да вы совсем не понимаете дела, не заботитесь о выкупе. Я еду сейчас в Опекунский совет; поедем вместе.

— Сейчас, я только чаю напьюсь,— сказал Федор Петрович.

— Какой тут чай, когда чай пить, мы опоздаем! Едемте! Одевайтесь, пожалуйста, скорее!

Федор Петрович оделся на скорую руку. Поехали. Знакомый Петру Григорьевичу директор велел навести справку, и по справке оказалось, что уплата просрочена и что имение включено уже в список продающихся с публичного торгу: что надо уплатить немедленно же сорок тысяч или проститься с ним.

У Петра Григорьевича облилось сердце кровью, а Федор Петрович слушал, слушал и по выходе от директора спросил:

— Когда же можно будет получить сорок тысяч, Петр Григорьевич?

— Вы, кажется, слышали, что дело идет не о «получить», а об «уплатить».

— Я не понял,— сказал Федор Петрович.

— Я вижу... извольте ваши бумаги... Вы куда теперь?

— Да куда же?.. Домой.

— Так прощайте, мне надо ехать по делу.

Петр Григорьевич сел в коляску и поехал; а Федор Петрович отправился пешком домой.





I

Что ж делается с Саломеей? Грустно описывать.

Наутро будочники *преставили* ее в часть, что, дескать, поднята на улице пьяная или больная, бог ведает.

Городской лекарь, молодой человек, только-что из академии, призванный для освидетельствования, взглянув на нее, подумал: «Ух, какой славный *субъект!* Черты какие, что за белизна, склад какой славный! Жаль, бедная, в сильной горячке».

— В горячке? Так отправить ее поскорей в острог, в лазарет! — сказал Иван Иванович.

— К чему же,— сказал с сожалением лекарь,— я буду лечить ее, она, может быть, скоро выздоровеет.

— Нет, уж извините, я здесь горячешных держать не буду.

— Да позвольте, я возьму ее к себе на квартиру.

— Как-с, колодницу отдать вам на руки? она убежит, а я буду отвечать!

— Какая же она колодница: ее подняли на улице, больную...

— Беглая, беспаспортная: все равно.

Молодой лекарь, соболезнуя о славном субъекте, ничем не убедил Ивана Ивановича; ее отправили в лазарет и положили на нары в ряд с больными бабами, в какую-то палату, куда проникал свет сквозь железные решетки и потускневшие стекла.

Каждое утро тут обходил тучный медик, кряхтя допрашивал больных и назначал лекарства.

— У тебя что, матушка?

— Все голова болит, ваше благородие, ничего, лучше.

— Голова-то у тебя, верно, похмельная.

— С чего опохмелиться-то, сударь, ишь вы подносите какую настойку!

— Ну, а ты чем больна? Спит! толкни ее под бок.

— Никак нет, это вчера привезли, в горячке,— отвечал фельдшер.

— Не в гнилой ли? — спросил медик, проходя.

После нескольких дней совершенного беспамятства Саломея очнулась; но голова ее была слаба и чувства не могли дать отчета, где она и что с ней делается.

Бессознательно смотрела она в глаза медику, когда он подошел и спросил ее:

— Ну, ты что, матушка?

— Пить,— проговорила она.

— Дай ей той же микстуры, что я прописал вон энтой.

— Ты, мать моя, откуда? — спросила ее соседка, заметив, что она устремила на нее глаза.

— Где я? — тихо произнесла Саломея вместо ответа.

— Где? уж где ж быть, как не в лазарете тюремном. Ты, чай, беглая аль снесла что?

Саломея вскрикнула и впала снова в беспамятство.

Страшная весть как будто перервала болезнь: слабость неподвижная, чувства возвратились, но взор одичал, желчная бледность заменила пыл на щеках Саломеи. Ее нельзя было узнать. Она смотрела вокруг себя, боялась повторить вопрос и стонала.

— Уж какая ты беспокойная, мать моя, расстоналась! да перестань! побольнее, чай, тебя, да про себя охаешь!

Саломея замолкала на упреки; но, забываясь снова, стонала.

— Ну ты что, матушка? — спрашивал по обычаю медик.

Саломея закрывала глаза и молчала.

— Да что, сударь, надоела нам, только ворочается, да охает, да обливается слезами.

— Э, что ж ее тут держать,— сказал медик,— на выписку!

— Горячки нет, да слаба еще,— заметил фельдшер.

— Так дни через три.

— О боже, что со мной делается? — вскрикнула Саломея, когда вышел медик.

— Э, голубушка, верно, впервые попала сюда,— проговорила лежавшая с другой стороны баба, которой покровительствовал сторож и принес тайком штофик водки.— Послушай-ко,— тихо произнесла она,— жаль мне тебя, на-ко откушай глоточек, это здоровее будет.

Какой-то внутренний жар пожирал Саломею, ничто не утоляло его, и жажда томила; она готова была пить все, что предлагали ей.

— Э, довольно, довольно, будет с тебя, голубушка,— тихо проговорила баба, отдернув полуштофик от уст Саломеи.

Она заснула; сон был крепок и долог. Проснувшись, она чувствовала в себе более сил и какое-то равнодушие ко всему.

Но это не долго продолжалось — дума, тоска, страх стали томить ее снова, и снова ей хотелось забыться, впасть в то же бесчувствие, которым она насладилась и за которое обязана была соседке.

Просить она не решилась; не могла победить чувства стыда.

В это время какой-то благодетельный купец вошел в лазарет и роздал больным по рукам милостыню.

Саломея получила также на свою долю гривенничек.

— На тебе, голубушка, моли бога о здравии Кирилы и Ирины...

Саломея содрогнулась.

«Я нищая!» — подумала она и не знала, чем убить горделивое чувство самосознания.

— Послушай-ко, сложимся на кварту,— сказала ей соседка.

Саломея молча отдала ей гривенник.

Чрез несколько дней фельдшер пришел со списком выписываемых из лазарета.

— Ну, убирайся, выходи! — сказал он, подходя к Саломее, которая в это время забылась тихим сном.

— Куда? — проговорила она очнувшись.

— Куда? на волю,— отвечал с усмешкой фельдшер.

— Я не могу, я еще слаба...

— Ну, ну, ну! не разговаривай! вам тут ладно лежать-то, нечего делать,— ну!

Саломея с испугом вскочила с нар.

В числе прочих выписанных колодников ее вывели на двор. Смотритель тюрьмы стал всех принимать по списку.

— А это что ж, без имени? Как тебя зовут? ты!

— Я... не помню...— проговорила Саломея дрожащим голосом, и на бледном ее лице показался румянец стыда и оскорбленного чувства.

— Ты откуда?

— Не помню,— ответила Саломея, смотря в землю.

— Экая память! ха, ха, ха, ха! Постой, я припомню тебе!

— А за что ты попала сюда?

— Я сама не знаю!

Слезы хлынули из глаз ее.

Смотритель посмотрел и, казалось, сжалился.

— Гони их покуда в общую. Постой! отправить к городничему двух из беспаспортных на стирку; да нет ли из вас мастерицы шить белье тонкое?

Все промолчали; Саломея хотела вызваться, ей страшно было оставаться в тюрьме; но унижение быть работницей показалось еще ужаснее.

— Да! прочие-то пусть стирают здесь колодничье белье.

Саломея содрогнулась.

— Я могу шить,— произнесла она торопливо.

— Что ж ты молчала? — спросил смотритель,— так отправить ее к городничему.

Солдат повел Саломею вместе с другой женщиной. Проходя по улицам, она закрыла лицо рукой; ей казалось, что все проходящие узнают ее, останавливаются и рассуждают между собою о ней без всякого сожаления, смеются, называют беглой. Смятение в душе Саломеи страшно; но унижение не в силах побороть спесивых чувств; вместо смирения они раздражаются, вместо молитвы к богу клянут судьбу. Без сознания высшей воли над собой и без покорности человек — зверь.

Саломею привели на кухню к городничему.

— Вот, смотритель прислал двух баб, для стирки,— сказал солдатик кухарке.

— Ладно,— отвечала она.

— Кому ж сдать-то их?

— А кому, сам оставайся; я их стеречь не стану.

— Сам оставайся! у меня, чай, не одни эти на руках; у вас тут свои сторожа есть.

— Конечно, про тебя; вестовой-то то туда, то сюда, дровец наколоть, воды принести... есть ему время!

— А мне-то что! извольте вот доложить, что я привел двух баб.

— Подождешь! помоги-ко лахань вынести.

— Как бы не так! сейчас понесу, держи карман!

— Ах ты, тюремная крыса!.. Неси-ко, мать моя, со мной,— сказала кухарка, обратясь к Саломее...— Ну, что ж ты?

— Я, моя милая, не для черной работы прислана! — отвечала вспыльчиво Саломея, бросив презрительный взгляд на кухарку.

— Ах ты, поскудная! тебя в гости, что ли, звали сюда?

— Солдат, запрети этой твари говорить дерзости! — вскричала Саломея, дрожа от гнева.

Вызванный на покровительство солдат приосамился.

— Да,— сказал он,— не смей бранить ее! я не позволю! вишь, взялась какая!

— Поди-ко-сь, посмотрю я на тебя! пьфу!

— Ах ты, грязная кухня!

— Как ты смеешь браниться, гарниза, свинопас! вот я барину скажу, он тебя отдует!

— За тебя? падаль проклятая! нет, погоди!

— Так и шваркну мокрой мочалкой! — крикнула кухарка.

— Попробуй! — сказал солдат, наступая на нее.

— Разбойник! — вскричала кухарка и, швырнув в лицо солдату мочалку, выбежала из кухни во внутренние покои. Вслед за ней полетела скалка.

Солдат не успел еще прийти в себя от нанесенной ему обиды, как вошел в кухню городничий, человек лет за тридцать, не более, простой наружности, но взрачный собою, в отставном егер-

ском мундире, перетянутом и гладенько сидящем. По всему было видно, что щегольство ему еще в новость, что душа его еще не нагулялась вдоволь, глаза не насмотрелись. Поступив на службу, он очень счастливо был ранен и только в бытность в Яссах для излечения раны начал пользоваться жизнью и вкушать ее блага. Он стоял на квартире у куконы[1] Катиньки, вдовствующей после двух мужей: *капитана де-почт* и *капитана де-тырк*[2]. Кукона Катинька еще в кампанию 1810 года полюбила русских офицеров, учила их по-молдаванcки и сама выучилась по-русски. Соболезнуя о раненом постояльце своем, она посылала к нему почти всякий день разных *дульчецов* и *плацинд*[3], то с бараниной, то с миндалем на меду. Это заочное участие породило в благородном сердце, еще не испытавшем любви, какое-то особенное, нежное чувство. Молодой штабс-капитан Щепиков начал мечтать о благодетельной фее и беседовать о ней с старой *фатой,* то есть с девушкой, которая приходила с подносом сластей и говорила:

— *Пуфтим боерь*[4], куконица прислала узнать о здоровье.

— Очень благодарен куконице; здорова ли куконица?

— *Сэнатос, сэнатос! Слава луй домнодзеў!*[5]

— А что, хорошенькая куконица? — спросил наконец штабс-капитан.

— *А! таре формос! таре бун!*[6]

Штабс-капитан понимал, что это значит «очень хороша, очень добра».

Когда ему можно было уже прогуливаться по комнате, куконица часто являлась на бельведере крыльца. Сначала он испугался ее *доброты,* но скоро привык. Румяное, полное лицо, черные глаза под густыми бровями, черные, как смоль, косы, перевитые на голове с жгутом шитого золотом кисейного платка с золотой бахромой, бархатная на горностаях кацавейка, словом, все пленило его. При первой возможности натянуть на плеча мундир наш штабс-капитан явился к куконе Катиньке с подвязанною рукою и с благодарностью за ее внимание и ласки. Кукона Катинька усадила его на широкий диван, немедленно же вынесли на подносах ликер, дульчец, кофе и трубку. Щепиков не мог отговориться от убедительного *пуфтим*[7] и очень был счастлив.

Кукона Катинька объявила ему, что она не позволит, чтоб он имел свой стол, и предложила обедать вместе с ней. После

---

[1] Госпожи, барыни (*молд.*).
[2] Начальника почты и городничего (*молд.*).
[3] Сладостей и пирожков (*молд.*).
[4] Пожалуйста, сударь (*молд.*).
[5] Здорова, здорова! Слава богу (*молд.*).
[6] А! Очень красива! очень хороша (*молд.*).
[7] Пожалуйста (*молд.*).

обеда и вечер проводились очень занимательно; постоялец и хозяйка играли в карты, в *кончину*. После трудов службы, после болезни и тоски уединения это привольное препровождение времени показалось Щепикову высочайшим благом; он так привык к куконице Кати́ньке, к ее угощениям и к ее заботам о себе, что когда война кончилась, войска возвращались в матушку Россию и ему следовало расставаться с негой жизни, он пришел в отчаяние. Кукона Кати́нька также в отчаянии сказала, что она умрет без него. Этого нельзя было перенести. Щепиков предложил ей руку и женился. На другой день свадьбы привезли с хутора трех куконашей и куконицу.

— Сандулаки, Петраки, Иордаки, Зоица, целуйте своего тату,— сказала кукона Кати́нька, подводя детей к молодому своему супругу.

— *Чи есть аста?* [1] — крикнул он с удивлением по-молдавански.

— Это мои,— сказала радостно кукона Кати́нька, гладя по голове Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу.

— Ты мне не сказала,— проговорил Щепиков запинаясь.

— Ты шутишь, верно, как будто ты не знал? — отвечала кукона Кати́нька.

— Ей-богу, не знал!

— Какой ты смешной! Как же мне не иметь детей, когда я была замужем за куконом Тодораки, а потом за куконом Семфераки,— сказала нежно кукона Кати́нька.

— Право, не знал!

— Как же, вот они.

Щепиков приласкал Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицу, которые смотрели на него исподлобья.

Таким образом, не думая, не гадая, обработав без забот и хлопот свои дела, Щепиков сперва в дополнение упрочения своей будущности подал в отставку, а потом, продав хутор и дом, отправился с огромным семейством в Россию очень важно: он и супруга в венской *будке,* а все дети и люди в брашеванке. После походных путешествий с полком ему это действительно казалось очень важно, только воздух окружающей его атмосферы как будто стал тяжелее для дыхания да как будто Катерина Юрьевна, сиречь кукона Кати́нька, держала его за хвост, чтоб не ушел. Щепиков привык ходить тихим, скорым и вольным шагом; но куконе Кати́ньке и тихий солдатский шаг был непомерно скор; она поминутно вскрикивала:

— Куда ж ты торопишься? Я не могу так скоро ходить!

— Ах, боже мой,— говорил Щепиков — да как же мне еще идти?

Щепиков ехал в Россию. Но куда ж он ехал в Россию? У Щепикова ни в границах России, ни за границей не было ни

---

1 Что это? *(молд.)*

роду, ни племени, ни кола, ни двора, ни тычинки. Отец его также был не что иное, как полковой походный человек, на походе женился, на походе родил его, на походе вскормил, записал в полк и в заключение на походе похоронил жену и сам умер, предоставив дальнейший поход совершить сыну и благословив его служить верой и правдой.

Катерина Юрьевна, судя по молдавским капитанам, никак не воображала, чтоб у русского капитана не было какой-нибудь *мошии с курте бояреск,* с огромной *градиной,* с толпой *служиторов* [1], со всем хозяйством, со всеми принадлежностями. Мысленно представляла она себе, что за отсутствием хозяина управляет этой мошией какой-нибудь *ватаман,* что все в беспорядке и она приведет в порядок.

Желая подарить себя внезапностью исполнения своих ожиданий, кукона Катинька не расспрашивала своего мужа о его именье, ни как велико оно, ни в каких палестинах обретается. Но после долгого пути по России она, наконец, утомилась и спросила: да скоро ли же мы приедем?

— А вот постой, душа моя, приедем,— отвечал Щепиков, обдумывая, куда ему приехать: в Тверь ли, где была некогда полковая квартира полка, в котором служил папенька, или в Подольск, где была полковая квартира полка, в котором сам служил. Подольск, по некоторым приятным воспоминаниям, был предпочтен родине,— и вот приехали, остановились в гостинице.

— Ах, как надоела дорога! — сказала Катерина Юрьевна, вылезая из будки,— да скоро ли мы доедем?

— Приехали,— отвечал Щепиков торжественно, думая обрадовать свою супругу постоянной квартирой.

— Как приехали? Это гостиница.

— Гостиница; мы в гостинице остановимся, покуда найдем квартиру.

— Квартиру? как квартиру? да зачем же квартиру?

— А как же, мы здесь будем жить; это прекрасный город.

— У тебя хутор или имение здесь подле города?

— Какое имение? нет, именья нет.

— Да что ж тут такое?

— Ничего, просто город.

— Да зачем же мы будем жить в нем?

— Как зачем? так; где ж жить-то?

— Так у тебя нет именья?

— Какое ж именье, кто ж тебе сказал, что у меня именье?

Катерина Юрьевна точно так же удивилась неименью даже собственного хутора, как Щепиков удивился явлению Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицы.

— Что ж мы будем здесь делать? — вскричала она.

---

[1] Имение с барским двором, с огромным садом, с толпой слуг *(молд.).*

— Как что? жить будем.

— Да для чего ж мы здесь жить будем?

— Как для чего? я тебя не понимаю.

— Да что ж у тебя тут есть своего? зачем мы сюда приехали? Отец и мать, что ли, есть или родные?

— Нет, тут родных у меня нет.

— Да где ж они?

— Родных у меня нет.

— Что ж у тебя есть-то?

— Как что? я тебя не понимаю.

— *Сараку ди мини!* [1] — вскричала Катерина Юрьевна,— ничего и никого нет! Да что ж ты такое?

— Как что, Катинька, я тебя не понимаю.

— Цыган, что ли, ты? землянки своей нет! Сараку ди мини!

Щепиков задумался было: что ж он в самом деле такое? Но когда Катерина Юрьевна назвала его цыганом, он обиделся, надулся и вскрикнул:

— Извините-с, я не цыган, а офицер, капитан.

— Только-то? что ж из этого? ну, капитан, где ж у тебя капитанство-то? а?

— Как где?

— Да, покажи мне его!

— Извольте-с! — сказал Щепиков откашлянувшись,— извольте-с!

И он полез в портфель и, вынув лист бумаги, подал его своей супруге.

— Извольте-с!

— Это что такое?

— Указ об отставке.

— Только? только-то у тебя и есть за душой?

— Чего ж больше?

— Сараку ди мини! зачем я поехала?.. дом и хутор съедим: что мы будем потом есть?

Щепиков призадумался было снова, смотря на отчаяние своей жены; но когда она опять раздосадовала его, повторяя тысячу раз: «Что мы будем есть?»,— «Ешьте меня!» — вскричал он, наконец, в сердцах и ушел проходиться с горя по городу и насладиться воспоминанием; но город как будто опустел; та же улица, вымощенная плитняком и как будто встряхнутая землетрясением, те же дома, да что-то все не то, что было. Подле города тот же крутой берег, долины, каменоломни, лесок на горе, да что-то все не так мило, как бывало.

— В самом деле, зачем мы приехали сюда? — спросил сам себя Щепиков,— да куда ж ехать-то?

Не привыкнув управляться сам собою и не зная, что с собой делать, отставной капитан стал тосковать по полку своем как

---

[1] Бедная я *(молд.)*.

по родине; вне полка все ему было чуждо. Там не было забот, не о чем было задуматься: что велели и как велели — исполнил и прав; посреди постоянных занятий как-то не скучалось: то на смотр, то на ученье, то в караул; а радость-то, радость какая на душе, когда все пригнано, выравнено, все чисто, исправно, шаг-ровный и твердый, выправка — загляденье, темп — заслушаешься; а как грянет: «спасибо, ребята!» — в сердце так и закипит радостное чувство. «Что, брат, каково?» — скажешь товарищу.— «Славно, брат! пойдем обедать».— «Нет, брат, есть не хочется». И до еды ли, когда душа сыта удовольствием: все сошло с рук благополучно, генерал доволен и благодарил и полковой командир сказал только: «В третьей шеренге, слева четвертый, сбился с ноги! во всем взводе заметно колебанье!..»

Теперь же что делать Щепикову с женой и с четырьмя детьми своих предшественников на брачном ложе, с Сандулаки, Петраки, Иордаки и Зоицей? Начал было он их учить становиться во фронт и по слову налево кругом делать, да такие увальни, что ужасть, толку не добьешься; а наказывать Катерина Юрьевна не позволяет.

После долгих дум и частых упреков жены Щепиков набрел на мысль: просить о назначении куда-нибудь в городничие. В добрый час подал просьбу, долго не было ответа; Катерина Юрьевна девять сот девяносто девять раз повторяла уже:

— Ну, как это можно, чтоб тебя назначили *капитаном де-тырк,* статочное ли это дело! Кукон Семфераки, бывши капитаном де-тырк, нажил дом, хутор да две деревни имел на посессии,— где ж тебе такое счастье?

Только что произнесла в тысячный раз эти слова с разными подробностями Катерина Юрьевна, как вдруг с почты конверт о назначении Щепикова городничим некоего уездного града. Хотя Катерина Юрьевна вдвойне была тяжела, но вспрыгнула от радости.

— Что? — сказал Щепиков.

— Да! — отвечала она и тотчас же начала сбираться в дорогу.

И вот Щепиков городничий. Сшил себе новый отставной мундир вперетяжку, купил шляпу с раскидистым пером, приколотил сам к сапогам шпоры и защеголял. Катерина Юрьевна не в первый раз за капитаном де-тырк, и потому завела кое-какие молдаванские порядки в отношении снаряжения дома и снабжения его всем бесспорно необходимым, и наставляла мужа, как ему обделывать свои дела и по службе и по дружбе; но держала его в руках; он мог как душе угодно важничать; но ухаживать и любезничать — избави боже! Катерина Юрьевна знала каждый его шаг. С почтенными дамами дозволялось ему садиться рядом и беседовать; но чуть помоложе, даже с наружностью оттиснутой начерно, Катерина Юрьевна подымала дым коромыслом.

— Вижу, вижу, что это значит, к чему это ведет! Шашни! да я не дура! — нередко случалось слышать Щепикову.

— Помилуй, душа моя, с чего это ты взяла?—восклицал он.

— И не говори! Если еще что-нибудь замечу, и тебя осрамлю и ее.

Таким образом природная любезность Щепикова с женским полом была на привязи. Смерть бы хотелось иногда бросить пленительный взгляд, сказать сладкую речь, словом, приволокнуться, да того и гляди, что жена увидит, заметит, узнает и сочинит целую историю.

Ужасно как горестно вздыхал Щепиков, что ни на ком нельзя было изострить своего сердца, притупившегося об жесткую, подозрительную любовь Катерины Юрьевны.

Большая часть смертных так уж устроена: чего не велят, чего нельзя, об том и тоска. Казалось бы, чего еще Щепикову: кукона Катинька такая *добрая,* что из нее можно было выкроить по крайней мере трех существ субтильных, пару худощавых и на придачу одно существо сухопарое. Одной косы ее достало бы на дюжину головок светских, не нуждающихся в привязных косах и накладных локонах, и на другую дюжину головок, у которых вместо кос мышиные хвостики, а локоны так жидки, как борода Конфуция.

При таком-то благосостоянии и богатстве телесного здравия супруги своей Щепиков вздыхал часто о существах худеньких, жиденьких и нуждающихся в здоровье и вате.

Когда по жалобе кухарки Щепиков вышел в кухню, наружность Саломеи, несмотря на крестьянскую одежду, так его поразила, что он, собравшись было прикрикнуть: «Как ты смел драться?» — крикнул только: — Как! ты это ко мне привел, для стирки?

— Так точно, ваше высокоблагородие,— отвечал солдатик.

— Пришел, да и начал ругаться такими пакостными словами,— прокричала кухарка.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, сама она... я говорю, что, дескать, вот я привел к его высокоблагородию двух баб для стирки...

— Я не люблю, чтоб у меня ругались, слышишь?

— Кто? я ругала его?

— А как же? я говорю, вот я привел к его высокоблагородию двух баб для стирки...

— Тебя как зовут, моя милая? — спросил Щепиков, подходя к Саломее.

Саломея вспыхнула, опустила глаза в землю и молчала.

«Какая стыдливость, скромность, приятность в лице,— подумал Щепиков,— это удивительно!» — Что ж ты не отвечаешь, моя милая? За что ты содержишься?

Саломея вздохнула глубоко, но ничего не отвечала.

— Говори откровенно, не бойся.

— Не могу...— проговорила тихо Саломея, окинув взорами направо и налево.

— «А! понимаю!» — подумал Щепиков.— Ты, моя милая...— начал было он снова, но за дверьми раздалось: «Палагея!» Щепиков вздрогнул и как по флигельману[1] быстро обратился к солдату и проговорил: — Да, хорошо, так ты ступай! И с этими словами исчез.

— Куда ж идти? — спросил солдатик у кухарки.

— А я почему знаю? — отвечала она.

— А тебе-то как не знать, ведь ты здешняя.

— То-то здешняя, а давича ругаться?

— Вот уж и ругаться; так к слову пришлось.

— То-то к слову!

— Дай, брат кухарочка, напиться.

— И то сказать, слово на вороту не виснет. Что тебе, квасу, что ль? Садитесь, бабы.

— Хоть кваску, утолить тоску. Ай, спасибо! вот теперь вижу, что крещеная. А что, пойдешь замуж? — сказал солдат и, отставив ножку, он затянул шепотком, отбивая рукой такту, как запевало:

Вый-ди за-а-муж за-а меня-а.
За свицка-а-ва ка-а-раля-а...

— Тс! что ты распелся!

А не вы-ый-дешь за-а меня-а...

— Авдотья, которая швея-то? — спросила кухарку старая служанка, высунув голову в двери.

— А вот она; ступай, голубушка, в девичью.

— Не в девичью, в светелке барыня приказала посадить ее. Ты и мужские рубашки умеешь шить?

Что отвечала на это Саломея, не слыхать было за затворенными дверьми.

II

Теперь мы можем обратиться к Дмитрицкому, проведать, что он делал, с тех пор как расстался с Саломеей и исчез, предоставив ее покровительству всех языческих богов.

Как он кончил этот день, не ведаем. Ночь была темная, не астрономическая, немножко прохладная, роса пала на землю; но, несмотря на это, Дмитрицкий, вероятно, наслаждаясь ночной красотой киевской природы, лежал на траве, на вершине горы над Крещатиком, и бурчал, проводя рукой по лицу, по шерсти и против шерсти, или как делают маленьким детям, приговаривая: «вот эта дорога в Питер, а это из Питера». Эта экзерциция продолжалась до самого рассвета; иногда только для

[1] По команде.

разнообразия он раскидывал ноги, барабанил ими по скату и повторял губами звук: брр! и посвистывал. Наконец, как будто вдруг очнувшись, приподнялся и крикнул:

— Эй ты, свинья темная, куда ушла?..— потом оглянулся на восток и, смотря на восходящее солнце, поклонился ему: «А, здорово! мое почтение! что, видишь, каков я? чай, удивительно: что, дескать, сделалось с Дмитрицким: поднялся до свету, натощак прогуливается да посвистывает себе? Ничего не сделалось... Просто маленькая перемена в обстоятельствах. Помнишь, какой богач был Дмитрицкий? а? помнишь преданье старины глубокой? Давно, очень давно это было: вчера! целая ночь прошла с тех пор, добрые люди легли и выспались; а я поклоняюсь восходящему солнцу, как тот... как бишь его?.. Это что-нибудь да значит? Пьфу! ничего не значит, просто спать не хочется, нездоровится: карман переполнил, стошнилось... А всему причиной Саломея Петровна. Скверная баба, нельзя было не взять в руки, разорила бы всех... По крайней мере цель действий возвышенная... А вот этот, грабе Черномский... грабитель, мошенник, низкая душа, шулер!.. Уа! Экой мерзавец: напустил на меня своих собак,— оборвали! совершенно опустело... и тут пусто и тут пусто. И желудок-то глупый какой: вчера, когда я мог дать ему обед на тысячу персон — нет! покорно благодарю, нет аппетиту, а сегодня: пожалуйте чего-нибудь закусить: а где, брат, взять! Дурак ты, вот и все, молчи! Не хочешь ли похлебать свежего воздуху? не сытно? ну, так не хочешь ли еловых шишек, вон там их много! Нет? ну, так честь приложена, а от убытку бог избавил. Чем же теперь заняться поприятнее?.. погулять по берегу Днепра?.. Пойдем... Гуляй сколько душе угодно. Иной бы отдал по крайней мере половину имения за эту свободу, за здоровье, за этот желудок, который просит есть... а мне они нипочем. Не знаешь, куда деться с этим семейством: воля просит денег, желудок пищи, здоровье просит черт знает чего... Где ж мне взять? я не казначей, не провиантмейстер и не фактор... Нет, здесь скучно гулять, пойдем ходить по городу... Э, да как славно эта жирная свинья испивает чай! как привольно расположился в халате у окна,— набил за обе щеки хлеба с маслом и чавкает себе, ни о чем не думая!»

— Чего тебе, любезный? — спросил толстый господин у окна, против которого Дмитрицкий остановился и рассуждал вслух.

— Ничего,— отвечал Дмитрицкий,— мне хотелось посмотреть, как вы пьете чай.

— Мерзавец какой! — пробормотал про себя толстый господин, вставая с места и отходя от окна.

— Мерзавец какой! — сказал Дмитрицкий вслух,— ни на грош нет не только что восточного, даже и русского гостеприимства!.. Не следовало ли ему сказать: не угодно ли, милостивый государь, чашечку? Чашка чаю шелега не стоит, а я бы помо-

лился, чтоб бог воздал ему за нее сторицею... Пойдем далее, что там есть?

Долго ходив по городу, Дмитрицкий остановился против одного двухэтажного с колоннами дома; архитектура дома, казалось, ему очень понравилась.

— Желательно знать,— сказал он,— человек или животное живет в этом доме? Войдем-ко. Послушай, брат, чей это дом?

— Казинецкого,— отвечал слуга, вышедший из передней.

— Григория Петровича?

— Никак нет, Ивана Львовича.

— Да, да, да! Иван Львович, я его-то и ищу. Доложи-ко, у меня есть дело до твоего барина.

— Какое?

— Казусное.

— Да барин теперь кушать изволит; едет в деревню.

— Мне ждать, любезный, некогда; мне нужно только слово сказать.

Человек пошел докладывать и вскоре воротился и сказал:

— Пожалуйте!

В зале целая семья сидела за столом. Осанистый, важный господин встал из-за стола, встретил Дмитрицкого у входа и, осмотрев его с головы до ног, спросил:

— Что угодно?

Дмитрицкий поклонился подобострастно и начал причитать:

— Наслышавшись о вашем великодушии и изливаемых благодеяниях на всех несчастных, угнетаемых судьбою; зная, что сердце ваше отверзто, а душа открыта для блага человечества, что ваша рука изливает щедроты, а чувства преисполнены милосердием, я осмелился прибегнуть к стопам вашим и просить о помощи... Заставьте несчастного отца, отягченного огромным семейством и умирающего с голоду, молить бога о ниспослании вам...

— Любезный друг,— отвечал барин, не дав кончить рацеи,— чем шататься по дворам да просить милостыню, лучше бы ты принялся за какое-нибудь дело да честным образом добывал хлеб...

Дмитрицкий низко поклонился.

— Извините, что побеспокоил; я бы и не осмелился, да иду мимо, вижу такой прекрасный дом, только что построен, чудо, думаю, если уж дом такой, что ж должен быть хозяин... удивительный дом!

— Ха, ха, ха! понравился?

— Ужасно! если б только не колонны... совершенно лишние! Ей-богу, я бы советовал прочь их.

— Не нуждаюсь, любезный, ни в чьих советах! — сказал барин.

— Да и я также ни в чьих советах не нуждаюсь; черта ли в советах, мне в ваших, а вам в моих? Я только так, к слову ска-

зал о колоннах; иду да думаю: к чему эта глупая подпора? что эти столбы поддерживают? Ничего, так себе стоят... от хозяина также нечего ожидать подпоры... Задумался, да и зашел. Извините, что побеспокоил!

С этими словами Дмитрицкий поклонился — и в двери.

— Ну, теперь куда? — спросил он сам себя,— постой-ко, пойду к игрецкому атаману Черномскому; вчера он так изливался в дружбе ко мне и от чистого сердца почти заплакал, когда я проигрался шайке его. Я даже уверен, что ему жаль было меня; уж это такая каналья: будет резать, проливая слезы; «Господи, скажет, я хотел только легонько уколоть в бок, а кинжал попал прямо в сердце! Какой несчастный случай!» Это уж такая каналья!.. Вот посмотрим, что он скажет теперь?

Дмитрицкий вошел в гостиницу, где стоял грабе Черномский. В коридоре спросил он у фактора, дома ли он.

— А дома же, дома, пане; сейчас посылал Иозку искать себе нового слугу: его Матеуш заболел.

Дмитрицкий, не слушая жида, пошел к номеру, занимаемому Черномским, и постучал в двери.

— А цо там еще?

— Я, пане грабе [1].

— Почекай! [2]

Спустя несколько секунд Черномский отворил двери и удивился, увидев Дмитрицкого.

— Пан Дмитрицки!

— Я, пан.

— Что пану угодно?

— Ничего, пан, так, в гости пришел.

— Пан меня извинит: мне нужно идти из дому,— сказал Черномский, стоя в дверях.

— Нет, не извиню, пан; потому что мне хочется чего-нибудь пофриштикать.

— Столовая, пан, не здесь, а на том конце коридора.

— Знаю я, где она; да ведь я не в трактир к пану и пришел.

— Но... и у меня, пане, не трактир.

— Знаю, знаю, пан; потому-то я без церемоний и пришел; есть ужасно хочется; иду да думаю: где же мне поесть? Ба! да ведь у меня есть друг, пан грабе Черномский! он мне удружил, так, верно, и накормит с удовольствием, и прямо к пану.

— На хлебах, пане, я держу только своего слугу.

— И прекрасно; если на словах и на письме можно иметь честь быть покорнейшим слугою пана, отчего ж не на деле? Что за унижение.

— У меня слуги по найму, пане.

---

[1] Я, пан граф (*польск.*).

[2] Подожди (*польск.*).

— Что ж такое; я, пожалуй, и наймусь, у меня уж такой обычай: пан или пропал; вчера я был пан, а сегодня пропал; судьба разжаловала из пана в хама, что за беда. Ей-богу, я наймусь, холопская должность мне не новость.

— А где ж пан служил холопом?

— Сам у себя; а ведь я строгий был господин: избави бог худо вычистить сапоги, или платье, или даже туго трубку набить, тотчас в рожу, не посмотрю, что она моя собственная. А за верность поручусь: мало ли у меня было тайн на руках. И не пьяница — пьяным меня никто от роду не видал; и не вор, избави бог на чужое добро руку наложить.

Черномский, прислонившись к стене, заложив ногу на ногу и поглаживая рукой подбородок, слушал, прехладнокровно улыбаясь и не сводя глаз с Дмитрицкого.

«Лихой каналья,— думал он,— из него может выйти чудный подмастерье».

— Пан не шутит? — спросил он, наконец, серьезно.

— Ей-ей, нет!

— Так мне нужен слуга; мой Матеуш заболел; а мне надо сегодня же непременно ехать.

— Куда угодно, ясновельможный мосци пане грабе [1].

— А что пан требует в месяц за службу свою?

— Из хлебов, пан, за деньги я не служу. Деньги — черт с ними, деньги подлая вещь, у меня же карман с дырой, что ни положи, все провалится; а потому я кладу деньги на карту и спускаю их в чужие карманы. Пан знает об этом, нечего и говорить.

«Лихой каналья, жалко с ним расстаться,— думал Черномский,— боюсь только...»

— Если пан хочет мне верно служить, у нас будут свои условия, и вот какие: мне уж скоро под шестьдесят, пора на покой. Год еще употреблю на приведение моих дел к концу, куплю имение, и если пан хочет быть мне и слугой и правой рукой, то в вознаграждение я передам пану секрет мой... понимаешь, пан?

— Понимаю.

— Так по рукам, клятву, что будешь мой, и ни шагу от меня!

— И рука и клятва: чтоб черти распластали на мелкие части, а волки обглодали кости, если я с паном расстанусь!

— Ну, с сего часу будь Матеуш; уж я привык к этому имени.

— Матеуш так Матеуш.

— Ну, Матеуш, ступай теперь обедай на мой счет, а после обеда за почтовыми лошадьми по дороге на Минск, чрез Могилев.

---

[1] Ваше сиятельство господин граф *(польск.)*.

— Слушаю, вельможный пане; пообедаю, а потом за лошадьми. Подорожная есть или без подорожной?

— Разумеется; как же можно без подорожной.

— Как, как можно? Да ведь, я думаю, пан и по подорожной двойные прогоны везде платит?

— Не только двойные,— тройные.

— Так подорожная лишний расход.

— Нет, с подорожной все-таки несколько важнее.

— А! конечно, без всякого сомнения.

— Ступай же, Матеуш, вот подорожная, а я пойду обедать к одному приятелю; в четыре часа мы едем.

— Добже [1], пане!

Дмитрицкий отправился в буфет и потребовал себе обедать на счет Черномского, объявив, что он новый камердинер его сиятельства. После обеда побежал с подорожной на почту.

Когда Черномский возвратился к четырем часам, почтовые лошади были уже запряжены в его коляску, а Дмитрицкий-Матеуш сидел в коридоре в ожидании своего господина и разговаривал с молоденькой гардеробянкой одной проезжей паньи.

— Ну, скорее укладываться! Матеуш, выноси сундук и ларец.

— Мигом, пане.

И в самом деле, Дмитрицкий, как будто *урожоный* хлопец, так был расторопен, предупредителен, догадлив, исполнителен по части камердинера, что пан Черномский не мог надивиться. Уложил, доложил, подсадил своего господина в коляску, захлопнул дверцы, вскричал: «Пошел!», вскочил на козлы, засел и, в дополнение, снял шапку и перекрестился; словом, лихой и благочестивый слуга.

На станциях хлопотал, чтоб скорее запрягали лошадей его сиятельству, сам помогал ямщикам запрягать, покрикивая: «Живо, живо!» — и все, как-будто возбуждаемые примером его, суетились. Подъезжая к станции, Дмитрицкий-Матеуш, как-будто бог знает с кем едет, соскочит с козел и, не отдавая еще подорожную, начнет толкать ротозеев ямщиков, чтоб скорей отпрягали, прикрикнет потихоньку: «Шапку долой!» Смотришь, ямщики, сбросив шапки, заходят, побегут за лошадьми, смотритель струсит, и тогда только осмелится спросить подорожную, когда Дмитрицкий крикнет: «Готово, ваше сиятельство!»

Черномский, несмотря на свои лета, растет от уважения, которое во всех возбуждает к нему его новый камердинер. Выходя из коляски или садясь в коляску, он уже не может ступить без того, чтобы его не вели под руки.

---

[1] Хорошо (*польск.*).

— Ну, что ж ты думаешь! — шепнет повелительно Дмитрицкий на смотрителя; и смотритель, оторопев, также подхватит его сиятельство под руку с другой стороны.

Приехали в местечко Гомель около вечера, остановились близ станции подле корчмы.

— Матеуш,— сказал Черномский,— я пробуду с час у моего приятеля, чтоб лошади были готовы.

— Добже, пане грабе.

Черномский пошел к приятелю, а Дмитрицкий в ожидании его возвращения прохаживался на улице подле коляски.

— Черт знает, где эту рожу я видал,— рассуждал он сам с собою.— Иногда такую знакомую гримасу сделает ртом, таким проговорит голосом, что, мне кажется, я вижу и слышу не Черномского, а кого-то другого... припомнить не могу!

Желание допытать свою память так заняло Дмитрицкого, что он не заметил, как прошел час, другой, совершенно уже смерклось, настала ночь; а Черномского нет; наконец раздался его голос издали:

— Гей! Матеуш!

«Вот, вот, знакомый голос, совсем не его!..» — Здесь, пане грабе.

— Да ходь же скоро, свйнья!

— Э, брат! — проговорил Дмитрицкий,— о-го!.. Что пану потребно?

— Ну!

Дмитрицкий догадался, что надо вести пана грабе; он шел нетвердым шагом.

— Пан уж не поедет сегодня?

— Хм! пан поедет пóночи! — отвечал Черномский, переступая через порог и сбрасывая с головы картуз вместе с париком.— Ну, раздевай! халат!

— Э, брат!.. Халат в сундуке, пан не велел выносить вещей из коляски.

— Як не велел? свйнья не велела... ну!

— Я сейчас принесу важи [1],— сказал Дмитрицкий,— садись, пан.

— Ну! — повторил нетерпеливо Черномский, сбрасывая с себя пальто. Мутные глаза его слипались; он был бледен и едва мог сидеть.

— Скоро ли поедем? — спросил ямщик.

— Когда поедем, тогда и поедем; за простой заплатят.

— Да я бы лошадям корму дал.

— Ну, давай.

Дмитрицкий внес важи и подушки.

Черномский обыкновенно сам отпирал сундук и вынимал из него что нужно; он не вверял ключа никому из слуг. На ночь

---

[1] Кладь, багаж (*польск.*).

сундук ставился в головах у него; под подушку клал он всегда на всякий случай пару заряженных пистолетов.

— Не угодно ли пану отпереть сундук,— сказал Дмитрицкий, поставив его на стул подле дивана.

— Ну, держи! — отвечал Черномский, стараясь наклониться, чтоб отпереть замок ключом, который у него был на цепочке; но наклониться никак не мог, его качало во все стороны.

— Ну! — повторил он,— держи! — Скинул с себя цепочку и долго метил, бранясь, но никак не мог попасть в скважину; а наконец повалился на диван и начал стонать с каким-то диким бредом.

— Яне! пить!.. аттанде! я зàбью тэго пшеклентэго хлапа!.. пить, пане!

— Черт знает, у него белая горячка! — сказал Дмитрицкий, перерывая в чемодане,— черт знает, чего тут нет!.. рыжий парик! шкатулка с чем-то... тяжела!

— Пить! — вскричал снова Черномский.

Дмитрицкий пошел в хозяйскую, взял кружку воды и поднес ему, приподняв его немного.

Черномский с жаждою глотал воду; рот его влез с усами в широкую кружку. Напившись, повалился он снова без памяти на подушку, провел кулаком под носом и стер себе один ус на щеку — другой слез на нижнюю губу; он отплюнул его.

— Эге-гэ! — повторил Дмитрицкий про себя,— так вот он, грабе Черномский-то!.. постой-ко, попробуем, как пристанет к тебе рыжий парик.

И он вытащил из сундука рыжий парик, приподнял голову Черномского и надел на нее.

— Ба! откуда это взялся вдруг пан Желынский, старый знакомец?.. Желынский!

— Бррр! аттанде! — проворчал Черномский.

— Изволь! верно идет темная! Постой-ко, брат, каков-то я буду грабе Черномский?

Дмитрицкий напялил на себя перед зеркалом парик Черномского, приклеил усы и вскричал:

— Браво! Черномский, да и только!.. Да! надо надеть мое платье, а дрянную венгерку отдам этому пьянице, моему камердинеру Матеушу Желынскому.

Дмитрицкий, сбросив свою венгерку, натянул пальто Черномского; ощупав карман, он вынул из него большой бумажник, развернул его, пересчитал пук ассигнаций.

— Три тысячи двести; это, верно, на обиход... А вот бумаги, верно документы на графство... Все это должно быть в законном порядке; после пересмотрим; обратимся теперь к тому, что заключается здесь.

Дмитрицкий, вынув из сундука две шкатулки и портфель, отпер их ключами, которые висели на часовой стальной цепочке. Одна шкатулка была набита разными драгоценными вещами:

тут были золотые табакерки, перстни, цепочки, фермуары, булавки и прочее; кроме всего этого, несколько свертков золотых монет. Дмитрицкий развернул два свертка и насыпал червонцев в карман. В другой шкатулке в разных отделениях были пачки ассигнаций, карты, заемные письма, закладные и разные бумаги.

— Это все хорошо, пересмотрится после,— сказал Дмитрицкий, отложив пачку в двадцать тысяч в карман и укладывая все на место.— Это гардероб... Ба! приятель! Бердичевский знакомец! помнишь меня или забыл? Здорово!..

И Дмитрицкий вытащил серый старинный фрак, с большими решетчатыми пуговицами; из бокового кармана высунулась какая-то бумага.

— А! это документ, относящийся к рыжему парику и серому фраку.

— Матеуш! — вскричал Черномский, приподнимаясь с дивана и смотря вокруг себя мутными взорами.

— Проспался, наконец! — сказал Дмитрицкий, запирая сундук.

— Фу! — произнес Черномский, отдуваясь и уставив глаза на Дмитрицкого.

— Ну, вставай! ехать пора! Экой дурачина! что ты смотришь? Неси сундук в коляску!

— Что такое? — проговорил Черномский,— вы, милостивый государь, что такое?

— Совсем одурел! Ты, Матеуш, не узнаешь барина?

— Что такое? — повторил Черномский, вскочив с дивана; но ноги у него подкосились, и он осел снова на диван.

— Насекомое! на ногах не стоит! Что мне с тобой делать?— сказал Дмитрицкий захохотав.

— Что это, пан, значит? — вскричал Черномский.

— Дурак! как ты смеешь говорить мне просто пан! Ты не знаешь, что я пан грабе, вельможный пан? Говори мне не иначе, как ваше сиятельство, а не то я тебе пулю в лоб!

И Дмитрицкий взял пистолет со стола.

Черномский затрясся.

— Цо то есть! [1] — проговорил он, задыхаясь.

— А вот цо то есть: смотри на себя, безобразная рожа! на кого ты похож?

И Дмитрицкий стащил Черномского с дивана, схватил за оба плеча и поставил против зеркала.

— Смотри, урод, на кого ты похож?

Черномского забила лихорадка, зубы застучали: он застонал, взглянув на себя в зеркало.

— Узнал? — спросил Дмитрицкий,— да врешь, друг, ты думаешь, что ты пан Желынский? Нет, погоди! Я за заслуги только произведу тебя в пана Желынского, а до тех пор...

---

[1] Что это! *(польск.)*.

И Дмитрицкий сорвал с головы Черномского рыжий парик и положил к себе в карман.

— До тех пор ты лысый Матеуш, мой слуга, холоп, лакей, хамово отродье!

— А, дьявол! — проговорил Черномский.

И он повалился на диван, схватил себя за голову, заскрежетал зубами, забил ногами.

— Тише! — крикнул Дмитрицкий.

— А, дьявол, обманул! — простонал снова Черномский и вдруг вскочил с дивана, бросился на Дмитрицкого; но тот очень хладнокровно приподнял пистолет и сказал:

— На место!

Черномский со страхом отскочил назад.

— Послушай! — проговорил он дрожащими губами,— послушай, пан Дмитрицкий...

— Пан грабе Черномский, слышишь? Покуда на голове моей этот парик,— сказал Дмитрицкий, приподняв на себе парик, как шапку,— и покуда под носом эти наклейные усы, до тех пор я граф Черномский, шулер, подлец, который с шайкой своей наверняка обдул бедного Дмитрицкого. А ты, до тех пор, покуда я не награжу тебя рыжим париком и серым фраком, до тех пор ты хлап Матеуш.

— Одно слово, пан! — сказал пан Черномский, задыхаясь и кусая губы,— бесчестно это, это низко, воспользоваться моею доверенностью! Я полагал, что пан Дмитрицкий благородный человек!..

— А кого ж обманул пан Дмитрицкий?

— Меня!

— А ты кто такой?

— Кто?.. я пан...

— Ну, ну, ну, договаривай скорей!

— Пан грабе Черномский.

— Врешь! ты знаешь ли кто?

Черномский побледнел.

— Пан грабе Черномский вот этот парик,— продолжал Дмитрицкий,— а пан Желынский вот этот парик; а пан Дмитрицкий нанялся на службу к вельможному пану Черномскому, а не к тебе, не пану, а лысому болвану! Как же ты смеешь говорить, что пан Дмитрицкий тебя обманул?

— Пан Дмитрицкий,— сказал Черномский,— не я обыграл пана, даль буг же [1] не я; но я готов из своих денег возвратить пану десять тысяч.

— Скажи пожалуйста, какой богач!

— Будь ласковый, пане, кончим шутки... Отдай, пане, мои ключи.

— Да ты кто?

---

[1] Ей-богу (*польск.*).

— Перестань, пане, шутить... получай десять тысяч, и бог с тобой.

— А я с тобой вот как шучу: хочешь ты у меня служить Матеушом? Я люблю это имя: у меня, пана грабе, все люди назывались Матеушами... хочешь? а не то — убирайся!

— Я прошу пана оставить шутки; а не то я объявлю полиции, что пан хочет ограбить меня и убить.

— Так ты ступай в полицию скорей, а не то я уеду... Ну, пошел же!

— Пане, я двадцать тысяч дам.

— Ба, уж рассветает! Пора ехать мне! Эй! кто там?

— Пане! — вскричал Черномский.

— Прочь!

— Что угодно пану? — спросил вбежавший хозяин.

— Вот тебе за постой,— сказал Дмитрицкий, бросив красную бумажку на стол.— Неси сундук в коляску.

— Пошел, я сам понесу! — вскричал Черномский, совершенно потерявшись,— ступай вон!

— А, мерзавец, одумался! Жид, помоги ему; где ему дотащить до коляски.

— Караул! грабят! — вскричал Черномский как сумасшедший, оттолкнув жида и обхватив сундук,— караул!

— Хозяин, ступай к городничему, чтоб прислал солдат взять этого пьяницу! Скорей!

— Не буду! — проговорил Черномский, задыхаясь,— я понесу! Ступай, мне нужно поговорить с паном.

— Ни слова!

— Пане!

— Ну!

— Я понесу, понесу!

— Жид, тащи вместе с ним!

Черномский и жид понесли сундук в коляску. Черномский нес и стонал.

Вслед за ними вышел и Дмитрицкий.

— Ну, живо! — вскричал он, садясь в коляску.— Ты так и поедешь без фуражки, в одной рубашке? дрянь! ну, пошел, надень сюртук и фуражку!

— Панья матка бога! — проговорил Черномский жалобным голосом, держась обеими руками за коляску.

— Ну, долго ли будешь думать? Ямщик, пошел!

Ямщик приподнял кнут.

— Караул! — вскричал Черномский, ухватясь за коляску,— постой, постой, еду! Вынеси, хозяин, картуз да сюртук мой.

— Ах ты, дурак, трус; боится, что я уеду, брошу его!

Черномский охал, держась за коляску.

Жид вынес венгерку и картуз.

— Не мой сюртук,— сказал Черномский,— это венгерка пана.

— Не узнает своего платья! вот нализался! Долго ли я буду ждать? Куда? на козлы!

— Нет, этого уж не будет! — вскричал Черномский,— я не хлап какой-нибудь.

— Так оттащи его, жид; прощай, пан!

— Еду, еду!

И Черномский взобрался со стоном на козлы.

— Пошел! — крикнул Дмитрицкий,— болван! думает, что я с ним не справлюсь! Нет, брат Матеуш, заикнись только у меня, ступи не так,— не пожалею медного лба! мне, брат, все равно, семь бед один ответ... Хочешь служить верой и правдой — служи, а вздумаешь проказить, грубиянить, пьянствовать, подниматься на какую-нибудь штучку, чтоб опять парик надеть; так тогда уж извини — *на все пойдет!*.. Слышишь ты там?..

Черномский в ответ простонал.

«Э! да куда ж я еду? — спросил Дмитрицкий сам себя,— куда ж мне ехать? а? вот вопрос».— Эй, ямщик, куда идет эта дорога?

— Да в Могилев же, в Могилев.

— А что ж я буду делать в Могилеве? А еще куда?

— Из Могилева в Минск, да на Смоленск.

— А что ж я буду делать в Минске и в Смоленске? Мир велик, а прислониться негде, и ни одной души, которой бы можно было сказать откровенно: послушай, душа моя, поверишь ли ты мне, что я ужасная свинья. «Неужели?» — Ей-ей! черт сбил меня с пути, и вот, сам не знаю, что делать на белом свете.— «Женись». Да не знаю, где живет невеста,— куда к ней ехать? Родилась ли она, жива, или умерла, ничего не знаю. Другим как-то счастье: все само ладится. Уж если влюбится и навяжется на шею, так по крайней мере девушка, а не чужая жена, как, например, Саломея Петровна. Уверила, что я создан, собственно, для нее, а она для меня, я и поверил, да и увез ее. Что ж из этого вышло? она на стороне, я на другой... А желательно было бы знать, что с ней делается: где она? что она?.. Удивительный характер! Поскакала от мужа, от отца, от матери, черт знает куда, точно как из гостей домой!.. Отец и мать!.. Господи боже мой, отец и мать!.. Я бы поехал теперь к отцу и матери... «Здравствуй, Вася, здравствуй, сынок!» У Васи сердце бы порадовалось, Вася бы заплакал. «Это что у тебя? где это ты нажил?» — «Бог дал».— «Ах ты мое нещечко»,— сказала бы матушка и заплакала бы с радости. «Врешь, брат,— сказал бы отец,— верно, ты черту служишь!» — и заплакал бы с горя... Да это все мечта: батюшка умер давным-давно, а матушка недавно скончалась... Э! Да у меня есть тетка и сестра невеста... Верно, в бедности живут... Вот случай осчастливить Наташеньку... прекрасно!..

Дмитрицкий стал развивать и лелеять эту мысль в голове.

Приехали на станцию.

— Матеуш! — крикнул Дмитрицкий,— распорядись скорей о лошадях.

— Нет, пан,— отвечал Черномский, соскочив с козел,— лошадей успеют запрячь; прежде всего надо решить, кому пановать на этом свете; если пан благородный человек, то не откажется на мой вызов.. пара пистолетов есть...

— Изволь, брат, пойдем! вот тут же в рощице. Только не иначе, как оба заряда в один пистолет; а потом выбирай любой; но подлецу я в руки не дам пистолета, а сам, одним дулом себе в пузо, а другим тебе.

— Нет, я на это не согласен!

— Так пошел, записывай подорожную! ну!

— Это, пан, бесчестно!

— Ну!

Черномский бросился от Дмитрицкого.

— Постой, поди сюда! Вот что я тебе скажу: хочешь, чтоб я возвратил тебе название плута грабе Черномского, и все, разумеется, кроме того, что у меня выиграли мошенники? Хочешь?

— Пан обязан воротить мне все!

— Ну, это мечта; ты слушай, что я тебе говорю; во-первых, отвечай, женат ли ты?

— Женат, пане, имею шесть человек детей, на руках моих все родные; все, что нажил трудом, нажил для обеспечения своего бедного семейства; а пан хочет лишить меня всего, пустить по миру по крайней мере двадцать человек!

— Так ты женат? Ну, черт с тобой, ступай, да чтоб скорее лошадей.

— А пану для чего знать, женат я или нет?

— Дело кончено, так нечего и говорить условий, на которых я бы тебе возвратил парик с усами и имущество Черномского.

— Да я прошу сказать мне, пане, какие условия, может быть, я их исполню.

— Нет, уж кончено; ты женат и мне не годишься.

— Я пану нарочно сказал, что я женат.

— Подлец! думал разжалобить; теперь уж я не поверю.

— Ей-ей, не женат!

— Так хочешь жениться на моей сестре? девочка чудо, с хорошим состоянием, умна; ну, просто, отдаю ее тебе, как свинье апельсин, для того только, чтоб исполнилось мое предсказание, что она будет графиня.

— Пан все отдаст мне?

— Все, кроме выигрышных у меня.

— То есть восемь тысяч?

— Нет, любезный, сто восемь.

— Э, нет, пане, не могу согласиться.

— Ну, не можешь, так оставайся холостым Матеушем.

— Но какие ж выигранные сто тысяч у пана? Я и не знаю об них.

— А вот те, что шайка твоя выиграла у меня.

— Пан обижает меня!

— Ну, обижаю, так оставайся холостым Матеушем.

— Я готов двадцать тысяч из своих кровных прибавить к восьми, а больше не в состоянии.

— Ты дурак: изо ста тысяч я шестьдесят назначил твоей будущей жене в приданое.

— Восемьдесят, пан, и мне отдать в день свадьбы.

— Торговаться? так ни жены, ни копейки! убирайся!

— Пан сдержит свое слово свято?

— Еще спрашивает!

— Ну, так и быть, я согласен. Вот рука моя.

— Пошел к черту с своей грязной рукой!

— Прошу пана отдать мне ключи.

— Нет, приятель, это будет все сделано следующим образом: теперь мы поедем в Шклов; там я кое-что куплю к свадьбе,— там, говорят, все есть у жидов, и дешево; а потом поедем в Путивль, где живет моя тетка. До тех пор ты будешь Матеуш, слышишь?

— Пан не верит мне, что я исполню данное слово? Я не могу унижать себя, ехать на козлах.

— Врешь, поедешь и на деревянном козле, на котором вашу братью мошенников кнутом дерут.

— А если, пан, свадьба как-нибудь не состоится?

— Если только не ты в этом будешь виноват, получишь все, как сказано.

— И условленное приданое?

— Половину.

— Ну, так и быть!

Лошади были запряжены; Черномский, понимая нрав Дмитрицкого, верил ему на слово, и как низкая душа обратился в совершенного холопа. Прикрикивал в подражание Дмитрицкому на ямщиков, на смотрителей, называл барина его сиятельством; но только портил дело.

— Поди-ко-сь какой! — говорили ямщики,— экой страшный! расхрабрился! запрягай сам скорее!

— Еще прикрикивать вздумал! так нет же лошадей, все разошлись, а курьерских не дам! — говорили и смотрители станций.

Дмитрицкий платил тройные и четверные прогоны, сидел по нескольку часов на станциях и ехал как на волах.

Приехав в Шклов, он расположился в гостинице у жида, потребовал почтовой бумаги и написал следующее письмо к тетке:

«Любезная тетушка Дарья Ивановна. С год тому назад вы писали ко мне в полк, жаловались на недостатки и просили прислать хоть рублей сто; тогда у меня, ей-ей, ничего не было. Теперь очень рад служить вам: ведь вы да Наташенька только и родных у меня. Наташеньке я везу жениха, моего приятеля, гра-

фа. Только вы, пожалуйста, наймите богатый дом, со всей роскошью, да нашейте моей сестричке, будущей графине, модного платья и разных уборов, чтоб все было на знатную ногу, чтоб не стыдно было принять сиятельного. На расходы посылаю двадцать тысяч, а сам привезу все приданое, шалей, материй, драгоценных вещей и всего. Поторопитесь все устроить, недели через две я непременно буду.

Любящий вас племянник В. Дмитрицкий».

Вложив в конверт двадцать тысяч, Дмитрицкий запер свою комнату и сам отправился с письмом на почту, отдав приказ Черномскому привести жидов с товарами. Почта была в двух шагах, и потому Дмитрицкий скоро возвратился; но жиды пронюхали богатого покупщика, набежали со всех сторон с узлами и ящиками, разложили свои товары на полу и перебранивались. Жид Мошка с узлом полотна уверял жида Иоску с ящиком янтарных колечек, сердечек, мундштучков, игольников и прочее, что пану не нужны его игольники, что пан не шьет; а Иоска твердил, что пан не такой дурак, чтоб стал покупать у Мошки миткаль вместо полотна.

Старый жид Соломон отталкивал ногой узел другого Мошки и говорил ему, чтоб он добром шел домой, покуда барин взашей его не выгнал.

— Ты, голова углом, разве не знаешь, что вельможный пан в бумажные платки не сморкается?

— А что ж, он в твое гнилое сукно будет сморкаться? Славное сукно, седанское! с бумагой пополам!

— Не трогай руками! — вскричал Соломон, ощетинясь.

— Не толкайся! — вскричал Мошка.

Жид Хайм притащил дюжины три одеял и готовился, только что войдет вельможный пан, раскинуть одно на всю комнату по головам и товарам и крикнуть:

— А вот зе, вельмозный пан, самые луццие покрывала, двухспальные, каких луцце не бывает! усь если пан хоцет иметь покрывала, так усь пан будет ласков: купит вот это.

Но Шлем, посматривая в окно, говорил Хайму:

— Видишь, офицер приехал к Ханзе, ты бы шел туда; он скорей купит одеяло, а вельможному пану не нужно одеяло; вельможный пан хочет купить материй на жилетки.

— Дз, эх! узнал он, что у тебя есть жилетки, каких и даром никому не надо!

— Дз, эх,— повторял и Черномский,— промотает та каналья Дмитрицкий у меня все деньги!..

Только что вошел Дмитрицкий, жиды в один голос начали высчитывать свои товары.

— Ну, что у вас есть, показывай,— сказал он, садясь на диван.

Жиды полезли на него толпой, давят, толкают друг друга; крик страшный. «Сукно седанское, пане! какого цвету прика-

жет пан? Полотно голландское! Перчатки, пан, французские! Платки, пан, материи разные, атлас, бархат, тафта!.. Перчатки, пан: какую прикажет пан вырезать?.. Ситцы!.. Колечко пану?.. цепочки, серьги брильянтовые!»

— Вон! — крикнул Дмитрицкий.

Все вдруг умолкли.

— А что ж пану угодно? — вызвался Соломон.

— Молчать!.. Ты! показывай серьги брильянтовые!.. Скверные!..

— А вот зе лучше! работа какая! брильянты с бирюзой.

— Гадкие! что стоют?

— Дешево, пан, для пана триста червонцев.

— Сто хочешь?

— Да помилуй, пан, как это можно покупать такую дрянь! им вся цена десять карбованных! Камни фальшивые! — вскричал Черномский.

— Тебя спрашивают? — прикрикнул Дмитрицкий.

— Пан только деньги бросит; у меня есть брильянтовые серьги, я пану уступлю их за сто червонных, не такие,— сказал Черномский.

— Свои подаришь сам невесте... Это что, мундштуки? что этот стоит?

— Двадцать червонных.

— Десять.

— Ах ты, свента матка Мария! Это композиция!

— Мне все равно, композиция или янтарь, я покупаю, что мне нравится.

— У пана денег много! пану деньги нипочем! пан их не наживал трудом!

— Ни трудом, ни мошенничеством: по наследию достались; и потому молчи! Что это, шали? Показывай.

— Аглецкие, самые лучшие! бур де суа! [1]

— Что голубая?

— Пятьдесят червонных.

— Дорого! возьмешь и половину.

— Видно, пан знает толк,— сказал Черномский, ахнув,— сшивная, середина от старой дрянной шали, девки носят! Возьми, пан, за эту цену мою тибетскую.

— Пустяки! Ты свою подаришь сам невесте; а эту я подарю ей.

— Чтоб моя невеста носила такую поскудную шаль! фи!

— Не хочешь? Ну, так я подарю ей турецкую, выпишу из Одессы.

— Турецкую пану! у меня такая турецкая... Дз, эх! — вскричал жид и, оставив свой узел и шали, разложенные по полу, схватился за шапку и побежал вон

[1] Сорт шелковой материи *(франц.)*.

— У пана много денег, что пан так бросает их! — сказал Черномский с страдальческим выражением лица, как будто у него жилы тянут.

— А тебя кто просит сожалеть о моих деньгах?

— Нельзя, пане, нельзя не жалеть; деньги не легко достаются.

— Пóтом и кровью: оттого-то ты такой худой и бледный. Трудно переводить деньги из чужого кармана в свой! Вели-ко подать мне бутылку шампанского — я выпью за твое здоровье.

— Пану шутки!

— Вот, васе сиятельство! вот настоящая турецкая! — вскричал запыхавшийся жид, вбежав в комнату с новым узлом.

— Показывай!

— Ганц фейн![1] Дз-эх! вот шаль! у султана турецкого нет такой!

— Что стоит?

— Пятьсот червонных; только десять червонных и наживаю барыша.

— Я тебе дам за нее...

— Пан! — вскричал Черномский,— для бога, позволь мне торговаться и покупать пану! Пан не знает толку в товарах!

— А тебе-то что?

— Не могу! панья матка бога, не могу!

— Ну, изволь, покупай!

— Что просишь ты за шаль? а? — спросил Черномский, уставив глаза на жида.

— Пятьсот червонных.

— Берешь восемьдесят?

— Пан покупать не хочет,— сказал жид, складывая шаль.

— Тут тебе ровно десять червонных наживы.

Жид, ни слова не говоря, сложил шали в узел, укрутил его тесьмой, взвалил на плечи и сказав... «прощайте, пане!» вышел.

— Ты с ума сошел, вместо пятисот даешь восемьдесят! Мне шаль нравится, я дам ему двести пятьдесят червонных.

— Завтра шаль будет у пана за семьдесят пять червонных. Не хотел брать десяти барыша,— возьмет пять.

В тот же день жид пришел снова.

— А что ж, пане, шаль? Деньги нужны, в убыток продаю; извольте, беру четыреста червонных.

— Восемьдесят.

— Триста пятьдесят, угодно?

— Ни копейки.

— Ну! будь пан так счастлив! отдаю за триста!

И жид хотел развязывать узел.

— И не хлопочи! Больше восьмидесяти сегодня не возьмешь, а завтра отдашь за семьдесят пять.

[1] Верх красоты *(евр.)*.

— Пану не угодно покупать? — сказал жид; долго завязывал узел и, наконец, ушел.

Через час явился снова, сбавил цены на половину.

Через час снова пришел и, положив шаль на стол, сказал:

— Эх, что делать! Пан такой счастливый! Уж я знаю, что пан сам что-нибудь прибавит.

— Как же это ты, жид проклятый,— сказал Дмитрицкий,— запросил пятьсот червонных, а отдал за восемьдесят?

— А что ж, я виноват,— отвечал жид,— коли нет счастья!

III

Дмитрицкий давно не был на родине, в славном Путивле, где некогда на городских забралах горько плакала Ярославна, молилась ветру, чтоб он вздул паруса милого друга Игоря Всеволодовича на обратный путь из стран половецких; молилась Днепру, чтоб он взлелеял на себе насады (корабли) его, молилась тресветлому солнцу, чтоб оно не палило в безводном поле жаждою дружину храброго князя.

Но этой ограды Путивля, с которой Ярославна встречала взорами своего милого князя, давно уже и следа нет. И тут, как и везде, давно русские терема и светлицы стали щебнем, а жизнь черноземом — до материка не дороешься.

Тетка Дмитрицкого, Дарья Ивановна, была замужем за мелким чиновником, который волею божиею помре, оставив ей и дочери Наташеньке в наследие маленький домик. С этого домика Дарья Ивановна получала около трехсот рублей, а иногда и поболее доходу. Наташенька, в коленкоровом платьице, была миленькая девочка. Курс учения ее был не велик. Имея хорошие от природы способности, она выучилась, можно сказать, сама читать и писать, выучилась шить платьица, корсеты и юбочки, вязать и штопать чулки, выучилась завивать себе на ночь волосы, а поутру расчесывать и разглаживать по щеке, распускать локонами, заплетать косу, свертывать ее жгутом и затыкать гребнем, следуя моде, то на макушке, то на затылке; выучилась учтиво приседать и смотреть умильно глазками на молодых людей — этому выучила ее природа; выучилась смотреть скромно и равнодушно на пожилых,— и этому выучила ее природа. Сверх всего этого она переняла у одной подруги играть на гитаре и петь целых три романса: двух соловьев да, кажется, канареечку.

Покуда домик Дарьи Ивановны не требовал починки, крыша не текла, стены и балки не подгнили, до тех пор Дарья Ивановна и думать не думала ни о чем; приход с расходами был верен.

— Чего ж более, слава тебе, господи,— говорила она всему городу (потому что со всем городом была знакома),— ни в чем не нуждаюсь.

Злые языки длинны, никак не обойдутся без того, чтоб не

сосчитать, что в чужом кармане, не переверить чужого приходу с расходом, не вывести сомнений: возможно ли прожить целый год в довольствии тремястами рублями,— ну, положим, хоть и тремястами пятьюдесятью? и не заключить: уж, конечно, что регистратор Фирс Игнатьич живет лет восемь в деревянном домишке Дарьи Ивановны *не даром.*

— Уж, конечно, не даром: платит за квартиру триста рублей в год.

— Нет, уж вот даром! Триста рублей платит за развалины; мы свой мезонин отдали бы за двести. Я и намекала: плохонек дом-то Дарьи Ивановны; чай, у вас и сквозит и протекает, Фирс Игнатьич? — «Да, немножко, Палагея Ивановна».— «Что ж это вы не подумаете нанять другую квартиру: ведь вы можете ревматизм получить, у вас здоровье такое хилое».— «Место удобно, близко от судебных мест, да и привычка!» — «Знаю, батюшка, знаю, подумала я сама себе: кошки привыкают к месту, а люди к людям: живмя живешь на другой половине, которая покрепче!»

Эти толки не доходили до Дарьи Ивановны; Фирс Игнатьич привык к своей квартире, где подчас было и холодненько; а Дарья Ивановна привыкла к древности дома своего; привыкла и к постояльцу — все-таки мужчина в доме, да и притом же такой добрый, угодливый, что ни попроси, все сделает: совершенно уже как свой человек. Как ни привык, однако ж, Фирс Игнатьич к течи, но, верно, кто-нибудь стал сбивать его с толку. После одной бури, которая чуть-чуть не разнесла по бревну дом Дарьи Ивановны, Фирс Игнатьич пришел к ней и говорит:

— Дарья Ивановна, уж извините, а мне приходится нанять другую квартиру.

— Что такое, Фирс Игнатьич? что так вам моя не понравилась? Жили-жили столько лет да вдруг расходиться; нет, Фирс Игнатьич, это грех!

— Да помилуйте, течет так, что места не найдешь, где присесть и прилечь.

— Да потерпите, Фирс Игнатьич, все исправлю; что делать, напишу в полк племяннику; совестно, а попрошу у него; вот и Наташа подросла, авось найдется жених, выдам замуж, уступлю вам эту половину — эта крепенькая,— сама перейду на вашу.

— За эту-то половину вы потребуете прибавки, чай.

— Нет, ни копеечки не набавлю; для вас за ту же цену, только не сходите с квартиры.

— Да, ведь, бог знает, когда еще это будет.

— Ах, батюшко, да нет ли у вас в суде женишка? вот письмоводитель-то, что к вам ходит, кажется порядочный человек.

— Славный человек!

— Ведь вы с ним, чай, приятель: что бы вам повести словом, привести бы его к нам...

— Хм! — произнес, улыбнувшись, Фирс Игнатьич.

— Чему вы усмехнулись?
— Сам он просил, чтоб я познакомил его с вами.
— Зачем же дело стало?
— Да я думал, вам еще не понравится, что молодой человек ухаживает за Натальей Павловной; состояния же он не имеет.
— И! лишь бы был дельный человек — наживет!
— Я, пожалуй,— сказал Фирс Игнатьич, и в тот же день ввечеру привел с собой Андрея Павловича Илиадина.

Наташенька была вне себя от радости, потупляла глаза в землю и все краснела. Андрей Павлович также, что ни слово к ней, то вспыхнет. Дарья Ивановна заметила, что что-нибудь да уж есть между молодыми людьми, и сначала рада была, что дело скоро может сладиться; а потом задумалась.

— Господи, да что ж я буду делать одна-одинехонька без Наташи?.. домишка развалится, где я буду жить, чем я буду жить? Отдам я за бедного, а сама ступай по миру!.. а еще и сама из веку не выжила: сорока еще нет; кроме куска хлеба, нужно и платьице и чепчик порядочный, салопчик, и мало ли что...

Дарья Ивановна совершенно раздумала выдавать дочь за бедняка, когда Андрей Павлович явился с предложением, уверенный, что отказа не будет, потому что Фирс Игнатьич намекнул, что он нравится и самой Дарье Ивановне.

— Благодарю, Андрей Павлович, за честь, которую вы мне делаете; но вот обстоятельство: вы бедны, да и у дочери моей нет ничего,— отвечала она.

— Дарья Ивановна! — сказал Андрей Павлович,— я не требую ничего, кроме руки Натальи Павловны; осчастливьте меня! с нас двух жалованья моего достаточно будет.

— Андрей Павлович,— отвечала Дарья Ивановна,— положим, и так, да я должна подумать и о себе: я в дочь положила все; хоть у ней нет приданого, а зато всему выучила ее, она и поет у меня, и хозяйка на редкость — рукодельница, надо же, чтоб за материнское попечение она обеспечила старость мою...

— Неужели вы думаете, что мы вас оставим?

— Кто говорит; да у вас-то что ж есть, чтоб меня прилично содержать; а мне ведь еще с добрыми людьми жить; и к себе прими и в люди поди. Нет, Андрей Павлович, уж, верно, этому не быть.

— Дарья Ивановна! — повторил Андрей Павлович,— осчастливьте!

— И рада бы... человек вы прекрасный, парочка дочери моей, да, верно, богу не угодно... Дело другое, если б я сама была пристроена... замужем... и горюшка бы мало, еще вас бы наградила... а то... домишка провалится и весь доход мой с ним... Фирс Игнатьич и то грозится уж съезжать... Как съедет... что я буду делать?..— Дарья Ивановна прослезилась.— Я привыкла к нему, как к родному! — прибавила она и зарыдала.— Обо мне муж так не заботился, как он...

— Он не съедет, ей-богу, не съедет! — сказал Андрей Павлович в утешение Дарье Ивановне,— он так привык к вам...

— А вы почему знаете?..

— Да это видно, Дарья Ивановна.

— Что ж он говорил про меня?

— Он говорит, что вы такая прекрасная хозяйка, каких он сроду не видал.

— Неужели? голубчик мой!.. Какой он добрый, не правда ли?

— Необыкновенный человек.

— Необыкновенный человек!.. Восемь лет стоит у меня, хоть бы поморщился! Смирный, учтивый, господи боже мой! ведь знаю я мужчин, и муж у меня был человек хороший, да все не то... Восемь лет под одной кровлей живем, Андрей Павлович,— что-нибудь да значит! и не к такому человеку привыкнешь! — Дарья Ивановна снова прослезилась.

— И он как привык к вам, Дарья Ивановна!

— Да что ж, все это не прочно!.. ведь он не муж мне — сегодня у меня, а завтра взял да и переехал: а я-то что тогда?.. умру с горя, да и только!

— Да я уверен, Дарья Ивановна, что он ни за что не оставит вас,— сказал Андрей Павлович.

— А вы порука за него? Поручитесь, да и берите Наташу... а без того не могу, ей-ей не могу! кому-нибудь и со мной надо остаться... Это теперь общее наше дело, а потому-то я и говорю вам откровенно... О, да будь Фирс Игнатьич муж мой, какая бы и для вас-то выгода, как бы я вас-то пристроила: у меня дом, у него есть капиталец,— домик-то поправили бы. Здесь сами, а другую-то половину вам с Наташей — живите себе да поживайте.

У письмоводителя сердце ёкнуло, взор просветлел.

«В самом деле,— подумал он,— это прекрасно!..» — Так Наташенька моя, Дарья Ивановна, если я устрою дело?

— Только устройте, нечего и говорить.

Андрей Павлович поцеловал руку Дарьи Ивановны и побежал к Фирсу Игнатьичу, который смиренно занят был какими-то отчетами.

— Ну что,— спросил он,— говорили?

— Нет еще, Фирс Игнатьич.

— Э, какой! чего боитесь, Дарья Ивановна такая добрая женщина.

— Как-то страшно!

— Вот еще, что тут страшного.

— Да, вы когда-нибудь сватались?

— Я? Нет.

— То-то и есть, что о других-то как-то легко говорить, а извольте-ко о самом себе!

— Оно правда,— сказал Фирс Игнатьич, задумавшись,— испытал я это... черт знает, никак язык не поворотится... Придешь, думаешь, вот скажу, да и ни слова; а время-то уходит да уходит! годы! хм! я бы давно уж женат был, да смелости нет!..

— А вы также влюблены в кого-нибудь, Фирс Игнатьич?

— Нет, что за влюблен; а хотелось бы судьбу пристроить: состареешься холостяком — и души не с кем будет отвести в четырех стенах.

— О чем же вы думаете, Фирс Игнатьич?

— Подумаешь, любезный!

— Вот бы вы женились на Дарье Ивановне.

Фирс Игнатьич покраснел.

— Нет, брат,— сказал он, вздохнув.

— Что же? Какая прекрасная женщина!

— Я сам думал... да нельзя; она по сю пору так любит покойного мужа, только и говорит что о нем... что ж тут делать?

— Хм! да я сейчас об вас говорил с ней... Она говорит, что и не видывала такого прекрасного человека, как вы, что муж у нее был хороший человек, а что уж вам и подобного нет...

— Неужели она говорила это? — спросил, вскочив со стула, Фирс Игнатьич.

— То ли еще говорила; да что ж вы так смутились, Фирс Игнатьич?

— Как же, братец, не смутиться,— отвечал Фирс Игнатьич,— что ж она говорила? скажи, пожалуйста.

— Просто, она влюблена в вас.

— Полно, братец, этого быть не может!

— Ей-богу; она сказала, что если вы переедете на другую квартиру, так она умрет.

— Голубушка моя! — вскрикнул Фирс Игнатьич, употребив любимое слово Дарьи Ивановны; но ему стало стыдно молодого человека, при котором он так забылся,— полно, брат, ты только смущаешь меня!

— Ей-богу, нет! клянусь вам, что Дарья Ивановна без памяти от вас.

— Полно, брат, полно! черт знает что говорит! как это можно!.. Ей-богу, я рассержусь!

— Не верите, Фирс Игнатьич? так я вам скажу, что от вас зависит и мое счастье!

— Это как?

— Так! Обещайте, что вы не будете противиться моему счастию.

— С какой стати я буду противиться? я-то что такое?

— А вот то же, что без вас я не получу руки Натальи Павловны.

— Ты, братец, Андрей Павлович, загадки говоришь! что ж я такое? верно, в посаженые отцы хотите меня взять.

— Да, в посаженые отцы! Посмотрели бы вы, как Дарья Ивановна плакала.

— Плакала? да о чем же, братец?

— Она проговорилась мне насчет вас...

— Да говори, любезный друг Андрей Павлович.

— Когда я сделал предложение, она заплакала и сказала: что ж со мной будет, как я отдам дочь замуж, а Фирс Игнатьич съедет с квартиры...

— Да с чего она взяла, что я съеду с квартиры?

— Поневоле съедете, как дом развалится, а чинить ей не на что.

— Никогда не съеду, ни за что! на свой счет починю, да не съеду!

— Я и уверял ее, что вы не съедете, но она и верить не хотела, расплакалась, да и проговорилась: говорит, вы не порука мне за Фирса Игнатьича: дело другое, если б он был муж мне, тогда, говорит, я и не задумалась бы выдать за вас дочь, починила бы дом, на одной половине сами бы жили, а другую вам бы отдали.

Фирс Игнатьич ходил по комнате как помешанный; лицо его горело, глаза моргали; то тер себе подбородок левой рукой, то лоб и все лицо правой; то, запустив обе руки в хохол, приподнимал его горой, и, наконец, ни слова не говоря вышел и пропал.

«Верно, пошел к Дарье Ивановне»,— подумал Андрей Павлович. Но Фирс Игнатьич ходил по саду в раздумье и проходил до полуночи.

На другой день Фирс Игнатьич прислал сказать в суд, что по болезни он не может быть у должности. Андрей Павлович побежал к нему и застал, что он продолжает ходить по-вчерашнему из угла в угол, но лицо его бледно, руки устали работать около подбородка и лба и висят как плети.

— Что с вами, Фирс Игнатьич?

Фирс Игнатьич вместо ответа провел над головой круг рукою.

Андрей Павлович испугался.

— Голова кружится? — спросил он.

Фирс Игнатьич только кивнул в знак подтверждения.

— Вам надо чего-нибудь принять; у Дарьи Ивановны есть разные домашние лекарства, я схожу к ней.

И Андрей Павлович побежал к Дарье Ивановне. Через минуту она, бледная, перепуганная, явилась с стклянočками в руках.

Фирс Игнатьич вспыхнул, ноги его подкосились; он присел и взялся за голову.

— Воды, воды! — вскричала Дарья Ивановна и сама побежала в кухню за водой.

— Выпейте скорее гофманских,— сказала она, возвратясь,

и начала было отсчитывать капли; но руки ее дрожали.— Не могу, руки трясутся; Андрей Павлович, налейте пятнадцать капель... Успокойтесь, голубчик, Фирс Игнатьич, это все сейчас пройдет... Отсчитали? давайте... выпейте, голубчик, Фирс Игнатьич... Господи, благослови!..

Фирс Игнатьич выпил и поцеловал ручку Дарьи Ивановны.

— Вы бы прилегли,— сказала она,— прилягте, голубчик! успокойтесь.

Фирс Игнатьич прилег на диване, Дарья Ивановна и Андрей Павлович сели подле него и молчали. Через несколько минут утомленные глаза Фирса Игнатьича закрылись.

Дарья Ивановна дала знак пальцем, что теперь надо дать уснуть Фирсу Игнатьичу, и на цыпочках вышла из комнаты; Андрей Павлович вслед за ней.

— Что это с ним сделалось?

— Мне кажется, и вчерашнего дня он был нездоров; мы разговаривали об вас.

— Обо мне?

— Да. Он, Дарья Ивановна, вас очень любит и сказал мне, что ни за что от вас с квартиры не съедет, хотя бы, говорит, чинить дом пришлось на свой счет.

— Голубчик! да что ж с ним сделалось вдруг?

— Да заговорили о том, что вы покойного супруга очень любите... это, кажется, подействовало на него... он думает, что вы никого уж так любить не можете...

— Это кто ему сказал?

— Ему так кажется, потому что как ни начнет говорить с вами о себе, а вы сведете разговор на покойного супруга.

— Ах, батюшки, да как же мне его из головы выкинуть, согласитесь сами.

— Оно, конечно, да все лучше бы не упоминать.

— Право, не знаю, что может это мешать, если б я еще его не добром поминала.

— Все как-то неловко.

— Да, пожалуй, я постараюсь ни слова не говорить с ним о покойном муже.

Несмотря на данное слово, Дарья Ивановна не могла сдержать его. От гофманских капель Фирс Игнатьич совершенно оправился.

— Она воскресила меня! — говорил он Андрею Павловичу,— не приди она, я бы умер.

Собравшись с духом и подстрекаемый Андреем Павловичем, он, наконец, решился объявить Дарье Ивановне задушевное желание сочетать судьбу свою с ее судьбою.

«Теперь прекрасный случай,— думал он,— начну с благодарности за участие ко мне и за оказанную помощь, а потом и объявлю... Ну, с богом!»

И вот Фирс Игнатьич, разодевшись и прихолившись, отпра-

вился на половину хозяйки. Вошел и смутился, поцеловал ручку, сел и молчит. Дарья Ивановна, предчувствуя решительную минуту, также была смущена и тяжело дышала.

— Дарья Ивановна,— начал, наконец, Фирс Игнатьич,— я столько вам обязан, что уж и не знаю как благодарить.

— Помилуйте, Фирс Игнатьич, какая благодарность, вы как родной у меня,— отвечала Дарья Ивановна.

Фирс Игнатьич глубоко вздохнул.

— Если б я был так счастлив,— начал он; но на беду Дарья Ивановна чихнула.

— Желаю здравствовать!

— Покорно благодарю! Вот видите ли, что правда? Покойный мой муж необыкновенно как... Ах, дура, что это я? — прибавила про себя Дарья Ивановна, спохватившись.

— Что изволили сказать? — спросил Фирс Игнатьич.

— Ничего... так, я вспомнила... Ах, ты господи! — И Дарья Ивановна смутилась.

Приятная наружность Фирса Игнатьича вдруг обратилась в суровую. Это заметила Дарья Ивановна. «Ах, дура я, дура! — подумала она,— все дело испортила!»

И на глазах ее невольно выступили слезы.

Фирс Игнатьич посмотрел и вздохнул.

— Не угодно ли в пикет? — сказала Дарья Ивановна, желая отвлечь разговор от всех возможных воспоминаний.

— Если прикажете!

Но о предложении Фирс Игнатьич уже ни слова.

— Нет, брат,— сказал он на другой день Андрею Павловичу,— какое тут предложение, когда по сию пору только что вспомнит о муже, тотчас и слезы на глазах.

— Ей-ей, вы ошибаетесь!

— Нет, любезный друг!

— Ну, позвольте мне за вас объясниться с Дарьей Ивановной.

— Нет, это неловко! Спасибо, брат, у меня у самого язык есть, да дело не в том!

После усильных просьб и убеждений Фирс Игнатьич согласился, наконец, чтоб Андрей Павлович был его сватом. Дело решилось; однако же и тут, в минуту объяснений, Дарья Ивановна дала промаху: некстати упомянула о муже и заплакала; но по простоте души тотчас же призналась, что она плачет не об нем, а с досады на себя.

Когда душа в человеке расцветает, все вокруг него начинает цвести. Домик Дарьи Ивановны как будто снова оделся цветом: крыша покрылась железным листом, стены законопатились, снаружи обились новым тесом, внутри обклеились обоями. Помолодели и Фирс Игнатьич и Дарья Ивановна, точно как будто кто обшил их новым тесом, обклеил алыми обоями — весело смотрят, как все приходит в порядок, строится

по общей их мысли. О Наташеньке и Андрее Павловиче нечего и говорить. Наташенька тралла-ла, тралла-ла по комнате от радости, а Андрей Павлович то и дело: голюпцик мой, потялуй меня! Словом — *День веселия настал, все утехи прилетели, птички громче все запели.*

А в городе не одна уже, а все дамы говорят: «Я говорила, что Фирс Игнатьич не даром стоит на квартире у Дарьи Ивановны!»

Вот уж назначен и день свадьбы. Вдруг почтальон приносит Дарье Ивановне повестку: письмо со вложением *двадцати тысяч.* У Дарьи Ивановны подкосились от ужаса ноги. «Господи, боже мой, откуда такой клад?» — повторяет она, торопясь в почтовую экспедицию.

Там сам почтмейстер встречает и принимает ее под руки, помощник провожает, а почтальоны почтительно кланяются.

— Изрядная сумма! из Шклова! — сказал почтмейстер, разрезывая толстое письмо с пятью печатями и вручая ей.

— Господи, боже мой! от кого ж это из Шклова?.. «Любезная тетушка... с год назад вы писали ко мне... просили прислать... тогда у меня, ей-ей, ничего не было... Теперь очень рад служить вам...» — Вася!.. ах дорогой мой Вася! — проговорила Дарья Ивановна, едва переводя дыхание.

— Верно, вам на свадьбу подарок?

— От племянника,— отвечала Дарья Ивановна.

— Наташа, Наташа! — вскричала она, прибежав домой.— Смотри-ко! читай!

Наташа стала читать письмо.

— Голубчик мой! — вскричала Дарья Ивановна, когда Наташенька прочла: «Вы да Наташенька — только и родных у меня!» — Кто бы подумал, что из такого повесы выйдет порядочный человек? ну?

— «Наташеньке я везу жениха...» Черт с ним! — вскричала Наташенька,— вот еще!

— Ах, да читай, Наташа, навязывать не буду!

— «Моего приятеля, графа...»

— Графа! — вскричала Дарья Ивановна,— вот тебе раз!.. Ах, голубчик мой! графа!.. скажи, пожалуйста!.. вот, кто бы ожидал!

— Черт с ним, маменька, с графом! — сказала Наташенька, бросив письмо и заплакав.

— Что ты это, с ума сошла? — вскричала Дарья Ивановна, подняв письмо с полу. «Пожалуйста наймите богатый дом, со всей роскошью, да нашейте моей сестричке, будущей... графине... модного платья... и разных уборов... чтоб все было на знатную ногу...» Голубчик мой! слышишь, Наташа?.. «На расходы посылаю двадцать тысяч...» На расходы двадцать тысяч! «...а сам привезу все приданое, шалей, материй... драгоценных вещей...» Господи! да он, верно, в миллионщики попал!.. Слы-

шишь, Наташа, везет тебе какое приданое?.. шали, бральянты... ах, ты, мой отец!.. «Поторопитесь все устроить... недели через две непременно буду...» Через две недели! да можно ли в две недели справиться!..

Наташенька, вслушиваясь в слова матери, вдруг зарыдала.

— Что ты это, моя милая, воешь?

— Как же мне не плакать... Бог знает, что это такое будет!.. дали слово Андрею Павловичу... все готово к свадьбе... а тут вдруг...

Наташенька не могла кончить, всхлипыванья стеснили ей дыхание, она закрыла лицо руками, бросилась ничком на диван и разливалась горючими слезами. Мать испугалась.

— Наташа, Наташа, душа моя! — вскричала Дарья Ивановна,— ах, дура я, в самом деле! у меня ведь и из головы вон... крестная с нами сила!.. Ах, господи! что ж я буду делать?.. прислал двадцать тысяч на приданое... везет графа в женихи... что я буду делать?.. Вот не было горя, пришел мат! Наташа, да хоть скажи ты словечко!

— Что ж буду я говорить? просили братца мешать моему счастию!..

— Ну, кто просил его? я просила, что ли?

— Черт просил!

— Так бы ты и говорила; подлинно не вовремя такое счастие... Граф! что ж мы будем делать, как он приедет? ведь нельзя же не приготовиться!

— Приготовляйтесь как хотите, маменька, а я умру!

— Это что такое? ты думаешь, что я взяла да так тебя и отдам графу?.. да мне будь он хоть разграф, я ему скажу: «Извините, ваше сиятельство, за счастие бы почла иметь такого зятя, да уж дочка сговорена, а слово не берут назад!»

— Конечно, не берут,— сказала Наташенька, приподнявшись с дивана и отирая слезы,— мало ли графов да князей, не за всех же выходить замуж... пусть себе ищут графиню; а я не графиня, да и ничего в свете не возьму, чтоб быть графиней-то.

— Не знаю, что делать мне с этими тысячами, что прислал Вася?

— Бросьте их, маменька, да и только!

— Скажи пожалуйста! а Вася приедет, скажет: «Что ж это, тетенька, вы в лачужке живете?»

— Что братцу за нужда, в чем бы мы ни жили, хоть в курятнике?

— Какая ты глупая! ведь ему стыдно будет показать графу нас... в таком наряде... в каких-нибудь ситцевых платьишках.

— Пусть его стыдится, а нам не стыдно,— сказала Наташенька,— где ж нам взять лучше?

— Так для этого-то он и прислал двадцать тысяч, чтоб мы пристойно, как следует по моде принарядились.

— Ни за что! — вскричала Наташенька,— я и не выйду к нему.

— Скажи пожалуйста! коли прикажут, так выйдешь!

— Ни за что!

— Как? ослушаться матери? Так такова ты дочь?.. Хорошо! прекрасно! за мои труды и попечения! спасибо!

Наташенька залилась снова слезами, опять зарыдала.

— Я чувствую,— сказала она,— что вы меня хотите выдать за графа, бог с вами!

— Господи! — вскричала и Дарья Ивановна прослезясь,— в этих тысячах черт сидит!.. Нет, бог с ними! запру их до приезда Васи и отдам назад!.. Не хочу я их, проклятых! не нужны они мне!

И Дарья Ивановна спрятала конверт с деньгами в комод, приласкала Наташу и помирилась с ней.

До Фирса Игнатьича и Андрея Павловича дошли слухи, что Дарья Ивановна получила двадцать тысяч от племянника; но они ни слова об них. И Дарья Ивановна молчит.

Через несколько дней совершилась свадьба матери и дочери.

— Фирс Игнатьич, голубчик,— сказала Дарья Ивановна,— возьмите, пожалуйста, спрячьте к себе двадцать тысяч, деньги моего племянника, Васи.

— Он к вам, душа моя, прислал их на сохранение?

— На какое сохранение! прочитайте письмо, бог знает что пишет, да я... бог с ними!.. Приедет, пусть возьмет назад.

Фирс Игнатьич прочитал письмо и покачал головою.

— Что ж вы, голубчик, ничего не говорите? неужто я худо поступила?

— Нет, вы, душа моя, поступили как следует быть: бог с ними, приедет, пусть возьмет назад.

Прошли две недели, три недели, месяц, год; а племянник Дарьи Ивановны не является с графом.

Об нем почти забыли и думать, а деньги лежат в сохранности в шкатулке у Фирса Игнатьича.

И Фирс Игнатьич и Дарья Ивановна посмотрят иногда, тут ли пакет с надписью *«двадцать тысяч* В. П. Дмитрицкого», и скажут: «Бог с ним, приедет, возьмет назад».

А Наташенька так счастлива за Андреем Павловичем, что позавидовать не грех.

Она уж нянчит миленькую Леночку на руках; а братца ее нет как нет. Иногда она говорит Андрею Павловичу, целуя его и дочь:

— Когда братец приедет, я спрошу его: что лучше: графство и богатство или вот эта радость?.. Агу! Леночка! агушеньки-агу!

— Дай-ко мне ее на руки,— скажет Андрей Павлович.

— Извини, не дам! пошел прочь! нянчись с своими бумагами!

Часть шестая

I

Какие же противные судьбы помешали Дмитрицкому приехать на родину? Вот какие: он уж был на пути к Путивлю; но дорога лежала как раз через тот самый город, где Щепиков был городничим и где бедная заключенная Саломея приведена была в дом его благородия для шитья белья. Сначала посадили было ее работать в так называемую *девичью,* а правильнее *бабью;* потому что Катерина Юрьевна никогда не держала у себя в доме девок, зная, что этот народ балуется; но когда сама Катерина Юрьевна вышла в девичью и взглянула на Саломею, то тотчас же отдала приказ посадить ее работать в мезонине.

Щепиков, возвращаясь из полиции домой, вошел к себе не с парадного подъезда; но, считая необходимым заглянуть по хозяйственной части в конюшню, в сарай и в людскую, вошел со двора через кухню и девичью. Тут он приостановился и спросил у старой Маланьи:

— А где ж колодница, которую привели из острога шить белье?

— Барыня приказала посадить ее в мезонине,— отвечала Маланья.

— А! а для чего?

— Да кто ж здесь будет стеречь ее? А там запер дверь снаружи и стеречь нечего.

— Да, конечно,— сказал Щепиков, подумав что-то.

Этот мезонин был не что иное, как светелка на чердаке, ход из сеней. Здесь обыкновенно вешали сушить белье. Окно светелки выходило не на улицу, а на сторону к каменной высокой стене, которая разделяла деревянный одноэтажный дом, занимаемый городничим, с заездным двухэтажным домом. Против светелки были два окна, и расстояние так было близко, что оби-

татель светелки мог разговаривать шепотом с постояльцем, занимающим на постоялом дворе комнату для ночлега проезжих, откуда можно было наслаждаться видом и светелки и крутой деревянной крыши, которая проросла мохом и уподоблялась зеленому лугу на скате горы.

По приказу барыни, Маланья, что-то вроде ключницы и ларечницы в доме, отвела Саломею наверх и омеблировала светелку стулом с перевязанными ногами и старым матрасом, который за негодностью, съеденный молью, валялся на чердаке.

— Работай себе, мать моя, тут тебе будет хорошо; уж все не то, что в тюрьме. Как смеркнется, я тебе и поужинать принесу.

Поселив таким образом Саломею, Маланья вышла, приперла дверь, наложила пробой и заткнула колышком.

Среди людей человек самый несчастный как-то всегда спокойнее: наружные впечатления чувств развивают думы, которыми питается горе. В кругу веселых печальный смотрит на них, или удивляется с сожалением нелепой их радости, или завидует им, или презирает их, забывая самого себя; в кругу заботливых, хлопотливых, суетливых, дорожащих каждым мигом жизни, человек, потерявший цену жизни, опять-таки смотрит на суету сует, думает: «Чего эти люди хотят, чего ищут?» — и забывает себя. Но в уединении все чувства сосредоточены в самом себе, нет для них развлечения; нет пищи взору видеть, уху слышать, нет настоящего; куда ж скрыться от пустоты, как не в прошедшее и не в будущее? В прошедшем пища — горе воспоминания, в будущем — тоска ожидания.

Оставшись наедине, Саломея не могла приняться за работу, она бросилась на матрас с отчаянием и лежала как беспамятная. Настал вечер, дверь отворилась, вошла Маланья с чашкой.

— А ты уж спишь? На-ко щец.

— Благодарствуй, мне не хочется есть.

— Ну, как изволишь, спи себе.

Маланья вышла и приперла дверь.

Саломея рада была бы забыться, но не могла; ей душно, она мечется, срывает с головы платок, открывает окно, садится подле, и мысли ее полны отчаяния, глаза вымеряют высоту. Посреди тишины послышался колокольчик, все ближе и ближе, и вот коляска остановилась подле заездного дома. Поднялся говор и шум; это развлекло Саломею, она прислушивалась; но вскоре все снова утихло, кругом тишина; Саломея снова предалась мыслям; облокотясь на окно и склонив на ладонь голову, она смотрит на яркую луну, которая, кажется ей, быстро катится по волнам облачков. Вдруг одно окно заездного дома против светелки с шумом растворилось, и отдернулась занавеска.

— Фу, жара, духота какая! скверность! — раздался голос в окне.

Саломея вздрогнула. Этот голос был очень знаком ей.

— Фу! Что за гадость эти городишки с своими растеряциями! Хоть бы из окна окатило свежим воздухом! — продолжал, высунувшись из окна, какой-то мужчина, в котором трудно было не узнать Дмитрицкого. Он сдернул с головы парик и начал им прохлаждать себя как веером.

Саломея устремила на него глаза, и вдруг взор ее дико загорелся, бледное лицо жарко вспыхнуло, из взволновавшейся груди готово было вырваться восклицание; но она как будто подавила в себе женскую слабость, задушила звук и сжалась, припала как тигрица, чтоб одним прыжком прянуть на близкую жертву. Выкатившаяся луна из-за тучи осветила слегка Саломею. Дмитрицкий заметил ее. В окошечке терема горячее женское личико, пламенные очи, распавшиеся по открытым плечам волоса... все это озарено луною — воображение разыгралось. «Чудо!» — подумал он и послал рукой поцелуй.

— Это он, он! — прошептала Саломея с злобною радостью,— не узнал меня!

Она поотдалилась немного от окна.

— Куда ж ты? душенька! хорошенькая! о ты, кто бы ты ни была, простая смертная или богиня. Послушай! я перепрыгну к тебе!

Саломея не сводила глаз с Дмитрицкого, дрожащие уста ее как будто шептали:

— Поди, поди сюда, блаженство мое! Поди сюда, низкая душа! Я обовьюсь около тебя змеей, я задушу тебя в своих объятиях!

— А! что говоришь ты? — продолжал Дмитрицкий, давая знак руками, что он во что бы ни стало, а преодолеет все преграды, разделяющие его с таинственной заключенной в тереме красавицей.— Можно? Ты одна?

Саломея кивнула головой.

«Наша! — подумал Дмитрицкий, и, вымеряв глазом расстояние окон, он также кивнул головой и подал знак: — «Сейчас же буду твой!»

Потом, задернув занавеску, крикнул:

— Эй! молодец! я на этом проклятом диване с клопами спать не буду; принеси мне две доски и положи на стульях.

— Да будьте спокойны, ваше сиятельство, клопов у нас не водится,— сказал трактирный молодец.

— Что велят, то делай! — крикнул Дмитрицкий.

— Есть доски, да длинноваты.

— Ну, тем лучше, неси!

Длинные доски были принесены и положены на стулья. Черномский, или, вернее, Желынский, в должности Матеуша, стал стлать постель.

— Да ну, скорее! я, мочи нет, спать хочу.

— А пан заказал ужин.

— Не хочу, ешь сам. Ступай.

— А раздеваться, пан?

— Не буду; так лягу, чтоб не заспаться. Ступай!

Желынский вышел, а Дмитрицкий торопливо отдернул занавеску, послал поцелуй к таинственной деве и принялся потихоньку, без стуку, разбирать постель. Одну доску перекинул он мостом чрез пространство между окном и забором, с другой отправился по этому мосту и устроил переправу до окна светелки:

Саломея затрепетала, когда он прыгнул в окно и тихо проговорил:

— Душенька!

В это самое время Щепикова мучила бессонница; он приподнялся тихонько с ложа, на котором покоилась уже добрым сном Катерина Юрьевна; но она была чутка.

— Куда ты? — спросила она сквозь сон.

— Никуда, душа моя, спи! — отвечал Щепиков, надевая халат.

И он пошел дозором; выбрался в сени и потом, едва дотрогиваясь до ступеней, на четвереньках, как кошка, взобрался по крутой лестнице на чердак, сделал несколько шагов к светелке и вдруг присел от ужаса.

— Чудо, роскошь, восторг! да ты просто наслаждение! — раздавалось там вполголоса.

— Постой, постой! — послышался женский голос.

— Чего стоять, радость моя...

— Постой! — И вдруг что-то грохнулось с страшным стуком, и задребезжало разбитое стекло.

— Что ты это? — кто-то вскрикнул.

— Ничего,— отвечал женский дрожащий счастием и блаженством голос,— я только сбросила доску!..

— Ах, безумная! что ты сделала! Как же я отсюда выйду?

— Зачем уходить? Ты не уйдешь отсюда, не оставишь меня! Теперь ты мой, душа моя, друг мой! Обними свою богиню, ласкай... а я вопьюсь в тебя!..

— Ах, черт, да это в самом деле богиня или безумная!

— Куда? Нет, я тебя не пущу! Не пущу, жизнь моя!

— Прочь! вцепилась когтями! с ней не сладишь!

— Какое счастие! Какое благо!

— Тс! Что ты кричишь! Ах, проклятая!.. Кто-то идет!..

— Ничего!.. Это шум... Это сюда идут... Куда? Нет! Ни шагу от меня! Теперь ты мой!

— Шутки!

— Нет! Не шутки!.. Я блаженствую, пользуюсь минутой счастия, обнимаю тебя, целую!

— Караул, караул! — закричал Щепиков, услышав страшную борьбу и крик, поднявшийся в светелке.

— Идут.. Пусти, дьявол!

— Нет! не пущу!.. Мои руки крепче оков, они так и окостенеют! Чувствуешь ли ты колодку на шее?.. Это я, твоя Саломея, любовь твоя....

— Саломея?.. о...: проклятая! демон!

Между тем как эта сцена происходила в светелке, весь дом поднялся уже на ноги. Доска, которую Саломея столкнула с окна светелки, ударилась концом в окно спальни, где покоилась Катерина Юрьевна. Она вскочила с испугом, хватилась мужа — его нет, подняла крик, выбежала в девичью, перебудила своих баб, послала будить людей и дворню, послала в полицию; а между тем ходит со свечой по всему дому и ищет мужа,— внизу нет.

— Посмотри-ко в светелке! — говорит она Маланье,— ведь там колодница?

— Там, сударыня.

И вслед за Маланьей Катерина Юрьевна взбирается на лестницу, а Щепиков навстречу.

— Что это такое, сударь? Это что?..

— Караул! Людей сюда! Послать в полицию! — кричит Щепиков,— скорее!

— Слышишь? — раздался громкий голос Саломеи в светелке, слышишь,— «Людей, полицию!» Нас хотят разлучить!..

— Сюда, сюда! — кричит снаружи Щепиков. Отворяй светелку!

Дверь отворилась; несколько полицейских солдат, а за ними Щепиков, жена его, люди вошли в светелку.

— Помогите! — вскричал Дмитрицкий, около шеи которого обвилась Саломея, как змея,— помогите, безумная душит меня!

— Берите их, берите! — кричит Щепиков.

— Позвольте,— сказал Дмитрицкий, освобождаясь от Саломеи,— я граф Черномский, остановился подле, окно против окна; вдруг вижу эту безумную, которая кричит: «помогите, помогите!» Я думал, что пожар, бросился в окно, спасать ее...

— Не верьте, не верьте сказкам! Это мой любовник, душегубец! Мы вместе с ним грабили и душили людей! — вскричала Саломея.

— Вяжите им руки! — вскричал Щепиков.

— Позвольте,— сказал Дмитрицкий,— справьтесь в заездном доме, там мой экипаж и человек, я в ночь приехал...

— Тащите его в полицию! — вскричал Щепиков.

— А эту-то, а эту-то? — вскричала Катерина Юрьевна,— здесь оставить, что ли? Вяжите и ее, тащите и ее вон!

— Постой! Обыщите его! — сказал Щепиков своей команде.

Приказание городничего тотчас же было исполнено; десять рук полезли шарить по карманам и, вынув бумаги и довольно толстый конверт, передали городничему.

— Теперь я спокойна, мы неразлучны с тобой! — проговорила, задыхаясь, Саломея, когда ее повели вместе с Дмитриц-

ким. Глаза ее пылали, лицо горело; с распущенными, разбросанными волосами она казалась безумной.

— Вы будете отвечать! — сказал Дмитрицкий Щепикову.

— Хорошо, приятель! — отвечал Щепиков.

Саломею и Дмитрицкого с связанными руками препроводили в полицию. Допрос отложен был до утра, а до допроса сонные будочники толкнули их в арестантскую избу с разжелезенными окнами и заперли.

На нарах лежало несколько колодников в оковах и без оков. Так как прибыль постояльцев была не новость для них, то они сквозь сон взглянули на прибылых и захрапели снова.

На бледном лице Саломеи выражалось то злобное равнодушие к судьбе своей, которое составляет противоположность отчаянию.

— Я теперь вполне счастлива! — сказала она, садясь на пустое место нар.— Мое желание исполнилось, я опять с тобой!..

— Проклятая баба! — отвечал Дмитрицкий, ложась на нары,— попутал черт связаться!

— Не черт, мой друг, а пламенная любовь,— сказала спокойно, но язвительно Саломея,— ты слишком был ветрен, я тебя опутаю оковами любви.

И она потрясла оковами лежащего подле нее колодника.

— Молчи, проклятая баба! я спать хочу!

— Спи, дитя мое, я убаюкаю тебя, спою колыбельную песню.

И Саломея запела:

У кота ли, воркота,
Колыбелька хороша!

— Вот чертов певец явился! — проговорил один из колодников.

Саломея еще громче запела; она, казалось, была очень счастлива, и ей как будто невольно пелось.

— Я заткну, брат, тебе глотку! — крикнул опять сквозь сон колодник, подле которого сидела Саломея.

— Не тронь ее; пьяную бабу не уймешь, как расходится,— прохрипел другой.

Дмитрицкий, казалось, крепко спал.

— Уснул,— сказала Саломея,— ты спишь, мой друг? — И она подошла к Дмитрицкому, дернула его за рукав.

— Послушай, ты спишь?

— Поди ты прочь! бес! — вскричал он, очнувшись.

— Ну, спи, спи! я тебя не беспокою; я буду гонять мух от тебя; здесь тьма мух. Ш-ш!

— Пьфу, черт какой! — вскричал Дмитрицкий, соскочив с нар.

— Что ж ты не спишь, друг мой? Может быть, тебе жестко лежать? Ничего, можно привыкнуть.

— Послушай, Саломея Петровна, знаешь ли что? — сказал Дмитрицкий.

— Что?

— Ты очаровательное существо; ей-ей! Я от тебя всегда был в восторге, а теперь еще более. Я вполне понимаю тебя: в тебе не просто человеческая природа... Постой, постой, дай кончить!.. Я не шучу. Знаешь ли что?

— Что? — спросила презрительно Саломея.

— А вот что: между животными есть ядовитые животные, между растениями ядовитые растения, так и между людьми есть чертовы зелья, которые всё отравляют; понимаешь?

— А ты что такое?

— Я? я антидот; [1] то же, да не то: ты similia, а я similibus...[2]

— Ледяная душа! холодное существо! — вскричала Саломея,— ты погубил меня!

— Погубил? Чем? Будто ты погибла? напротив, ты лучше стала, чем была, ты усовершенствовалась!

— Забавляйся моим несчастьем, злодей. Но и тебе выхода отсюда не будет! Я тебя скую в железо, наряжу в колодки.

— Э, помилуй, еще молоды; износим и эти наряды; да что об этом говорить, расскажи лучше, каким образом ты здесь очутилась, а?.. Да, впрочем, догадываюсь...

В это время двери сибирки отворились, и слова Дмитрицкого были прерваны солдатами, которые вошли выгонять колодников на работу.

II

В то время, когда поднялся шум в доме городничего, Желынский, или, все равно, грабе Черномский, исправлявший должность Матеуша, только что стал трудно засыпать в комнате, рядом с занимаемой Дмитрицким. С тех пор как случилось с ним страшное превращение из пана грабе в камердинеры, строгий пан Дмитрицкий держал его в руках и так заботился искоренить из него вельможную спесь, вселить повиновение и расторопность, что в продолжение дня не давал ему минуты на думу о своей горькой участи. Ложась спать, утомленный, он также не мог ни о чем думать, потому что все члены его, исключая двух рук, привыкших метать банк и загибать углы, изнеженные беспечной жизнью, требовали покоя и сна. Таким образом в самое короткое время из шулера он обратился в скверного лентяя слугу. Боясь зоркого глазу и пистолетов Дмитрицкого, он забыл и думать о возврате прав своих на дипломы пана грабе и на приобретенный картежными плут-

---

[1] Противоядие *(франц.)*.

[2] Similia similibus — латинская формула гомеопатов: от чего заболевают, тем и лечатся. Выражение «ты similia, а я similibus», значит: ты то, от чего заболевают, а я то, чем лечат.

нями капитал иначе, как чрез женитьбу на сестре Дмитрицкого. Понимая нрав Дмитрицкого, он ему верил и вполне успокоился в ожидании приезда в Путивль.

Ложась спать на постоялом дворе, мнимый Матеуш размечтался об этой женитьбе.

— Моя ста̀ра пани Желынска не мыслит и не гадает, что я женюсь на панне Наталии! Женюсь себе, и кончена речь! Го! Что ж тут такого? То не женатый пан Желынский женится, а холостой пан грабе Черномский. Пан Желынский уж стар; а пан грабе, когда перукарж [1] уладит парик и умастит перфумами [2],— просто юноша...

Когда внезапный грохот и посыпавшиеся стекла прервали эти мечты, Желынскому показалось, что все это случилось в комнате Дмитрицкого.

— Панна матка бога, что там такое! — проговорил он с ужасом, вскочив с ложа своего.— Пане, а пане! Спит пан?

Ответу нет.

Желынский попробовал, заперты ли двери; двери свободно отворились. Боязливо взглянув в комнату, освещенную луной, он заметил, что пана нет, постель разбросана, в отворенном окне доска, на столе парик грабе Черномского, часы и пистолеты.

Боязливо Желынский осмотрелся снова кругом; послышавшийся шум в соседнем доме заставил его вздрогнуть и отступить к дверям; но вдруг, как кошка на мышь, он бросился на парик, нахлобучил его себе на голову, схватил пистолеты, часы и стоявшую в головах постели шкатулку, и начал кричать:

— Караул, караул! ратуйте! хозяин! кто тут есть?

Хозяйка прибежала прежде всех со свечой, но, встретив в дверях Желынского, плюнула и побежала назад, с криком:

— Ах ты, страм какой! Да что он, с ума, что ли, сошел! Хозяин, ступай, что там приключилось ему!

— Что вы, батюшка, что с вами?

— Беги в полицию, хозяин! Дай знать, что мошенник Матеуш хотел убить меня и обокрасть... Меня, графа Черномского, слышишь? Скорей ловить его! Скажи, что он ограбил меня!.. Слышишь? А вы, ребята, подите сюда, стерегите меня и мои вещи! Ищите мошенника! Он где-нибудь спрятался!.. Он убьет меня!

Хозяин побежал в полицию, а между тем Желынский, обставив себя народом и повторяя: «Держите его, разбойника, если откуда-нибудь покажется, я вам дам красненькую на водку»,— с жадностью осматривал все ящики своей шкатулки и в то же время, вытащив из сундука новую пару платья, одевался в щегольской фрак.

---

[1] Парикмахер *(польск.)*.
[2] Духами *(польск.)*.

— Так и есть: тут нет моих бумаг и нескольких тысяч денег! Ах он, бестия!.. Стойте, братцы, не уходите никуда! красненькую вам... слышите?

— Слышим, ваше сиятельство,— отвечали работники постоялого двора, обращаясь к сбежавшимся проезжим ямщикам.— Вы, братцы, ступайте себе, вы не здешние!

— Так что ж что не здешние! Его сиятельство не вам одним посулил; да мы еще прежде вас поспели на помощь, вот что...

— Смотри-ко-сь! а черт вас просил! Ступай, говорят, здесь вам не место!

— Куда ты их гонишь? — вскричал Желынский.

— Да вот, что им делать здесь, это не наши, а проезжие.

— Нет! никто не смеет уходить, покуда полиция не придет!

— Да вот квартальный.

— А! вы господин квартальный? Очень рад!.. Прошу вас засвидетельствовать, что мой человек, Матеуш, каналья и пьяница, обокрал меня и ушел... вот в окно, изволите видеть? Хотел было убить!

— Так-с,— отвечал квартальный,— действительно! Он пролез в светелку к господину городничему; и тут должна быть стачка с женщиной, с колодницей... она ему помогала... это уж верно; я уж теперь понимаю!..

— С какой женщиной?

— С одной-с, нам она известна.

— Так сделайте одолжение, надо скорей в погоню; мошенник ограбил меня, хотел убить, унес бумаги мои и деньги...

— За кем в погоню-с?

— За этим разбойником, Матеушом.

— Не беспокойтесь, пойман-с.

— Как пойман?

— Пойман вместе с женщиной; они и городничего хотели обокрасть, да подрались, извольте видеть, и произвели шум; а дозорная команда и нагрянула... Поймали-с! Извольте, ваше сиятельство, подать в полицию объявление...

— Объявление? — проговорил Желынский, не понимая, что за благодетельная судьба вытащила Дмитрицкого в окно прямо в полицию.

— Как же-с,— продолжал квартальный,— объявление, что вот так и так, о чем градскую полицию и объявить честь имею... Просто-с; а уж там наше дело.

— Да это протянется бог знает сколько времени, а мне надо завтра чем свет ехать!... Нельзя ли теперь же отобрать у него бумаги и деньги...

— Все отобрано-с, хранится у господина городничего; уж до завтра; теперь невозможно.

— Ах, досада какая!

— Никак нельзя, ваше сиятельство.

— Так позвольте, я сейчас же напишу объявление; только я не знаю формы.

— Да не угодно ли, я напишу, ваше сиятельство.

— Сделайте одолжение; вот вам бумага и чернила.

— Извольте сказать приметы вашего человека или, лучше всего, пожалуйте паспорт его.

— Паспорт? Паспорта нет.

— Как же, ваше сиятельство, беспаспортного держать у себя?

— Нет, не то, я хотел сказать, что и паспорт он унес вместе с моими бумагами.

— Так позвольте приметы, имя и прозвище.

— Имя — Матеуш, то есть Матвей, а прозванье его я не упомню... я в самый день отъезда нанял его в Киеве.

— Без прозванья нельзя-с.

— Кажется... Дмитрицкий... именно! Матвей Дмитрицкий, лет тридцати, белокур, чист лицом, глаза серые, нос правильный...

— Нос правильный... росту... кажется, среднего; теперь что именно снес со двора?

— Бумаги, паспорт и подорожную на имя мое, то есть на имя графа Яна Черномского; пачку денег около трех тысяч... да в кошельке золотом червонцами более тысячи...

После долгих переспросов и повторений объявление было написано. Желынский подписал его и вручил квартальному с просьбою поскорее доставить ему бумаги и деньги.

— Это, ваше сиятельство, зависит от господина городничего,— сказал квартальный и удалился.

Все это происшествие Желынскому казалось сном; он протирал глаза, смотрел на себя в зеркало, отворял несколько раз шкатулку, при малейшем шуме хватался за пистолеты и становился в позицию против дверей и в этом тревожном состоянии пробыл до утра. Долго ломал себе голову соображениями, каким образом Дмитрицкий исчез из комнаты и очутился в полиции за воровство, Желынский, наконец, решил, что что-нибудь да не так; невозможное дело, чтоб Дмитрицкий вылез сам из окна и пойман был в воровстве... пустяки! Верно, воры влезли в окно, задушили Дмитрицкого, вытащили вон и куда-нибудь запрятали, чтоб отклонить подозрение от грабежа и чтоб местное начальство при исследовании события сделало заключение, что в ночь на такое-то число такой-то пан грабе Черномский неизвестно почему скрылся чрез окно такого-то постоялого двора и ныне неизвестно где находится; в городе же его по обыске не оказалось.

«Именно так! — утвердительно решил Желынский,— в полиции не он, а какой-нибудь из пойманных воров. Но тем лучше,— подумал он,— лишь бы отыскались бумаги и деньги».

Часов в девять утра явился снова квартальный и просил

пожаловать его сиятельство в полицию для удостоверения по форме, что действительно взятый под арест неизвестный человек есть его камердинер Матеуш.

Со всею важностью вельможного пана Желынский, облеченный в парик грабе Черномского, отправился в полицию, сопровождаемый квартальным и хожалыми. Перед ним почтительно отворились двери, и он вошел в переднюю комнату, где между просителями, колодниками и командой стоял и Дмитрицкий с связанными назад руками. Взглянув на него, Желынский обробел несколько, но не потерялся.

— А-га! вот он, молодец! — сказал он, приостановясь и смотря прищурясь на Дмитрицкого,— что, попал, любезный? Ну, не надеялся я от тебя такого поступка! Ты казался мне добрый малый... не надеялся...

— Ах, это ты, мерзавец! пьяница Матеуш, нарядился в мой фрак! Как ты смел, бестия! — крикнул Дмитрицкий, притопнув ногою и бросившись к нему.

— Ай, ай! ратуйте! — вскричал Желынский, отскочив от Дмитрицкого и вбегая в комнату, где присутствовал городничий,— помилуйте, этот мошенник убьет меня!.. Вы господин городничий?

— Так точно,— отвечал Щепиков,— с кем имею честь говорить?

— Я граф Черномский; вам уже известно по поданному объявлению, что слуга мой Матеуш обокрал меня и бежал, но пойман полицией... Я вас прошу заключить его в кандалы, а мне возвратить украденные вещи.

— Так точно, ваше сиятельство; но позвольте сделать ему допрос...

— Нет, прошу вас форму суда исполнять как угодно после моего отъезда; я еду по важным делам в столицу, что можно видеть из бумаг, которые при мне... Не угодно ли... я вам покажу их.

— Мы, ваше сиятельство, удерживать вас не можем,— сказал Щепиков,— но каким же образом насчет суммы денег, найденной у него?

— Я эту претензию оставляю, пожалуйте мне бумаги и остальные деньги,— сказал Желынский.

— Денег нельзя возвращать до окончания дела,— сказал заседатель,— оне должны быть при деле.

— Так уж извините, ваше сиятельство.

— Ну, так пожалуйте бумаги,— проговорил дрожа от нетерпения Желынский.

— И бумаг нельзя выдать,— заметил опять заседатель.

— Но я должен ехать сейчас! — вскричал Желынский.

— Что ж делать, ваше сиятельство.

— Но по крайней мере мой паспорт, без него мне нельзя ехать!

— Паспорт дело другое.— И городничий вручил ему паспорт, пожелав благополучного пути.

Не оглядываясь на Дмитрицкого и ни слова не говоря, Желынский, как говорится, шаркнул чрез переднюю, почти бегом добежал до постоялого двора, одним прыжком взобрался на лестницу, крикнул:

— Хозяин, скорей мне четверку почтовых лошадей! — и потом, отирая струящийся с лица пот, стал укладываться, собираться в дорогу.

III

Если вам в память один из обожателей Саломеи Петровны, старый холостяк Платон Васильевич Туруцкий, то мы обратимся теперь к нему.

Платону Васильевичу Туруцкому было уже около семидесяти лет, когда его однажды на пути к английскому клубу постигла внезапная любовь к Саломее Петровне.

В давние времена, не имея никакого еще чина, по огромности своего состояния он был избран в какую-то почетную должность, и его величали «превосходительством». Его превосходительству невозможно было не быть членом английского клуба. Как холостяк, в какой семье, лучше этой, проводил бы он время. Вследствие обычая, звания, должности и имеющегося дома в Москве, он и поступил в неизменные копья клуба. От должности получил он увольнение; но ни за что уже не хотел вступить в коронную службу, чтоб не лишиться титула. В клубе привыкли его величать «его превосходительством», особенно постоянные его партизаны в вист заметили, что когда они величали Платона Васильевича его превосходительством, тогда Платон Васильевич был занят более своею важностью, нежели игрою, необыкновенно как рисковал и щедро платил за воздаваемую ему почесть; просто же Платон Васильевич, без прилагательного, играл осторожно, скупо и ужасно счастливо.

Живя в большом кругу, Платон Васильевич повсюду был в числе званых и почетных гостей; потому что нигде нет столько нужды и крайней потребности в заимодавцах, как в большом свете. В хижине пусто, голо, нет куска хлеба; да можно ли это назвать бедностью? Если не подаст на хлеб добрый человек, так подаст бог, и послезавтра и до скончания века — перекрестится и сыт. А вот в этих отелях, во вкусе перерождения, где все рококо,— дело другое: там нужда в золоте, бедность великолепно разряжена, крайность рыщет черта ради — за куском хлеба и за копеечкой в карете на английских рессорах, на какой-нибудь четверке вороных — шея дугой, хвост трубой; но светский кусок и светская копеечка не простые: из куска хлеба можно насушить корабля два сухарей, а копеечку разменять на золото, на серебро, на ассигнации и на что угодно; потому что

она чертова бесценная копеечка, тратится без счета, берется в долг без отдачи.

Просто Платон Васильевич был скуп и не заимодавец; но у обязательности «его превосходительства» можно было знатным людям *перехватить;* это было причиной, что звание Платона Васильевича осталось при нем и в обществе, и его особе был нередко такой почет, что иногда можно было подумать, что он не просто «его превосходительство», а с мазом. Когда родитель Саломеи, Петр Григорьевич, почувствовал истощение внешних сил своих, тогда душа его восчувствовала потребность в Платоне Васильевиче и особенное уважение к нему.

Начав волочиться за ним, во-первых, он нашел случай предложить ему очень кстати понюхать своего табачку.

— Прекрасный табак... удивительно хорош! бесподобный! вот это табак! скажите пожалуйста, где вы покупаете его? чудный табак!

— Это просто рапе́; но я его особенным образом смачиваю; если вашему превосходительству угодно, то я открою вам этот секрет.

— Ах, сделайте одолжение; я с своей стороны открою вам отличный способ смачивать табак; извольте понюхать моего.

— Бесподобный! признаюсь вам, ваш превосходнее!

— Вам нравится? Секрет состоит в том, чтоб взять лучшего нюхательного испанского табаку, настоять его крепче в простой воде, и этим настоем смачивать — вот и все.

— Скажите пожалуйста! я употребляю точно то же средство, только вместо испанского русский табак.

— Неужели? русский?

— Русский.

Слово за слово, знакомство было сделано; очарованный отцом, Платон Васильевич пленился дочерью.

Как ни презирала Саломея Петровна старость, но титул превосходительства и привилегия богатства имели на нее какое-то обаяние. Сочувствуя в себе высокие достоинства, ей унизительно казалось уподобляться пестрой бабочке, за которой носится стая мотыльков; природа наделила ее какою-то сценической важностью, и она любила окружать себя величием и штатом людей значительных в свете: посреди их она воображала себя чем-то вроде Семирамиды.

Желая и Платона Васильевича приковать к подножию своему, она очаровала его своим вниманием и любезностью до того, что он едва не забыл о своей обязанности быть в клубе. Она даже спросила его: «Вы танцуете?» — и когда Платон Васильевич, несколько смутясь, отвечал, что в его лета танцы — анахронизм, Саломея очень мило высказала, что лета ничего не значат, что современная молодежь состарелась, одряхлела и съела зубы прежде отцов и что теперь уж юношей нет, юношеского возраста не существует.

— Действительно! — вскричал Платон Васильевич, — совершенная правда! теперь из *анфанов*[1] поступают прямо в madame и monsieur!

— Чтоб убедиться в этом, стоит только взглянуть вокруг нас, — отвечала Саломея, — посмотрите вот на этого monsieur Калякин, который ходит в сапогах с высокими, с отвалом каблуками, как на рогульках, движется как точеный из дерева и обклеенный сукном; носится со шляпой в руках за дамами и гласом величия говорит им глупости, — это современный отрок; а вот этот, проживший уже около двух десятков лет на свете, человек в чинах, лицо подернуто какой-то важной мыслью, которая пышно развивается в голове, занят также каким-нибудь преобразованием; а вот эта улитка, которая совсем вылезла из платья, — это кокетка в шестнадцать лет.

Саломея очень складно наговорила тьму пошлостей насчет юношей и юных дев, которые воображали, что они что-то такое экстренное на свете. Разумеется, что все это было сказано также от *сознания собственного своего достоинства* и ничтожества всех других. Саломее Петровне было уже за четверть столетия, и новый урожай общества, хоть и недоносок, но все-таки шел впереди ее.

Платон Васильевич в первый раз, вместо того чтоб говорить самому, слушал ее, подтверждал ее мнения и дивился глубине ее ума и замечаний насчет нового поколения. Платон Васильевич, как богатый человек, окруженный всегда людьми, оказывающими почтение и мешку, заключающему золото, как атмосферой, не примечал, что за этой атмосферой носятся молодые миры, как кометы, волосатые, с длинным хоботом, голова пуста, сквозит, но блеску тьма. Платон Васильевич по природе сам был некогда из числа комет, которые должны обращаться в спутников, в челядь планетную; но количество наследственной материальной магнитной силы — словом, злата — дало ему самостоятельность в системе планетного мира, титул превосходительства в обществе и звание члена в английском клубе. Но эта самостоятельность была бесплодна, ничего из себя не развивала, не производила, как мир, не возбужденный электричеством другого мира. В английском клубе он бы иссяк; но встреча с Саломеей возбудила в нем деятельность органических сил, и Платон Васильевич на старости лет вдруг зацвел, и в первый раз после свидания с Саломеей отправился в клуб не по желанию, а по навыку отправляться в известное время в известное место. В первый раз родилась у него в голове задушевная мысль, но в чем она состояла, нельзя было догадаться даже по наружности, потому что мускулы его лица позатвердели в ненарушимом спокойствии, а в глазах затянуло уже от времени продушины, чрез которые газы, образовавшиеся в

[1] Ребенок (*франц.*).

сердце, истекая, загораются от прикосновения воздуха. Когда Платон Васильевич приехал в клуб, на его лице выражалась какая-то заботливость, а в движениях торопливость.

— Иван Иванович,— сказал он без изъявления своего почтения первому встречному сочлену,— не знаете ли вы какого-нибудь известного по своему искусству архитектора?

Иван Иванович, вместо ответа, сделал с своей стороны обычный вопрос:

— Для чего это вам, Платон Васильевич?

— Для чего! Разумеется, для построек.

— А значительные постройки?

— Да, и очень значительные.

— Здесь, в Москве, или в подмосковной?

— Здесь,— отвечал с нетерпением Платон Васильевич.

— Здесь, а! Позвольте узнать, в чем они будут состоять?

— Об этом уж мое дело будет посоветоваться с архитектором; вас прошу только адресовать мне какого-нибудь известного, хорошего архитектора, в новейшем вкусе.

— Я, право, не знаю ни одного, потому что я сам...

— Так вы бы так и сказали! — сказал с сердцем Платон Васильевич, отходя от Ивана Ивановича.

— Да позвольте, Платон Васильевич... если вам нужно произвести какие-нибудь постройки, то я не хуже архитектора могу дать вам советы; я у себя в деревне произвел много построек: дом построил — хоть куда! вот хоть сюда перенести и поставить рядом с клубом... Я вам сейчас опишу его расположение — удивительное! Без плана, совершенно без плана! да что план — пустяки... Куда ж вы?

— Нет уж, извините, Иван Иванович, мне нужен архитектор!

— Как хотите... Странный человек!

— Что такое, Иван Иванович? — спросил некто Степан Федорович,— что такое?

— Да как же... чудак! хочет строить дом...

— Кто?

— Да вот Платон Васильевич.

— Туруцкий?

— Ну да; не имеет ни малейшего понятия о постройке и не думает посоветоваться с добрыми людьми. Видишь, архитектор лучше знает дело!

— А какой это архитектор?

— А черт его знает! что мне архитектор; я сам построил дом на пятнадцати саженях не хуже архитектора.

— Уж разумеется, если взять архитектора, так нужно человека, знающего дело... Жаль, что Туруцкий не посоветовался со мной, к кому в этом случае прибегнуть.

— Что такое? О чем дело, Степан Федорович?

— Да об архитекторе говорим.

— О Монферране?

— Нет, один из молодых русских архитекторов,— необыкновенная способность!.. Я готов каждому его рекомендовать.

— О, так вы любите отечественные таланты, придерживаетесь посредственности.

Из этого завязался современный спор между поклонником внешнего мира и любителем внутреннего. Целая толпа сочленов приняла участие и, разумеется, разделилась на две армии, заспорили как плоть и душа, обитающие в едином теле. Очень естественно, что представители плоти доказали, что внешний мир есть мир лучший, веселый, питательный, упоительный, и заключили, что и английский клуб есть произведение мира внешнего, а не внутреннего.

— Вы зачем пожаловали сюда, если считаете просвещение европейское и его формы нелепостью? Сидели бы у себя дома посреди патриархализма!

— Как зачем? — спросили представители внутреннего мира, не зная что отвечать, как уличенные грешники.

— Да, зачем? сидели бы дома.

— Э, mon cher, не всякий может сидеть дома; а между тем каждый хочет быть где-нибудь как дома. Теперь же домашний климат невозможно уравновесить: мужа от жены в жар бросает, а на жену от мужа несет холодом.

Платон Васильевич в другое время, по обычаю, наговорил бы с своей стороны в пользу если не внешнего просвещения, то по крайней мере в пользу клуба тьму сентенций; но он что-то был задумчив, молчалив и только во время игры повторял одному из своих партнеров: «Так не забудьте же, Иван Васильевич, прислать ко мне завтра вашего архитектора»; а другому: «Как, бишь, Петр Григорьевич, называется книга... кажется, «Архитектура всех народов земного шара»? Я к вам заеду сам за ней».

Из клуба он действительно заехал к Петру Григорьевичу, взял у него фолиант и, приехав домой, стал его рассматривать и искать в изображениях древних храмов храма любви; но все храмы любви были просто беседки, и Платон Васильевич начал сам сочинять план храма любви; к свету фасад был готов; расположение внутреннее составляло пустяки в сравнении с наружностью. Когда явился архитектор, Платон Васильевич положил перед ним свой чертеж и говорил так:

— Вот изволите ли видеть, вот план; мне хочется построить вот такой дом, то есть, не вновь построить, а переделать вот этот.

Архитектор посмотрел на бумагу, на которой была начерчена *трапеция,* изображающая фасад дома; два ряда маленьких ромбоидов представляли окна, а между каждым окном опущены были по два перпендикуляра, представлявшие колонны; на вершине каждой колонны посажено по грибу, представлявшему бюсты.

— Вот, видите ли, вот моя идея.

— Понимаю-с,— сказал архитектор.

— Вот это будут бюсты всех добродетелей.

— Понимаю,— отвечал архитектор,— только... раз, два, три... у вас назначено двенадцать окон, четное число...

— Непременно!

— Четное число окон — невозможно; это против всех правил архитектуры.

— Это отчего? помилуйте! Вы после этого скажете, что бог дал человеку четное число глаз против правил архитектуры; после этого надо один глаз выколоть или для нечетного числа подставить вместо третьего глаза фонарь!

— Мы сделаем двенадцать окон, а тринадцатое будет фальшивое.

— То есть, один глаз будет слепой, подернут бельмом — это очень красиво!

Опытный архитектор в своем искусстве, но неопытный на софистические возражения не знал, что сказать против аналогии лица здания с лицом человеческим. Это было причиною, что Платон Васильевич усомнился в его знании и, чтоб отделаться от него, сказал, что он, впрочем, подумает насчет лишнего окна, которое так необходимо для архитектуры и нисколько не нужно для хозяина дома.

Призванный новый архитектор был не классик, не знал искусства на деле, судил об архитектуре по-своему, с жаром, с чувством, и заступаясь за человечество, которое по милости классической архитектуры живет в сараях, украшенных великолепными входами и столбами. Не выслушав еще, какую имел до него необходимость Платон Васильевич, он объявил ему, что сохранившаяся греческая храмовая архитектура есть пустошь и нейдет ни к селу ни к городу; что искусство до сих пор занималось наружностью зданий для красоты города, а не удобством их для жизни человеческой; что здание должно быть расположено как тело человеческое, а одежда его соответственна климату и свойственному ему изяществу и так далее.

Платон Васильевич был очарован новым архитектором; но когда дело дошло до числа окон:

— Помилуйте! четное число окон! это невозможно!

Платон Васильевич привел было опять в пример фасад человеческого лица, с четным числом глаз, и что по правилам архитектуры вместо третьего глаза надо *подставить фонарь.*

— Прекрасно! прекрасное сравнение! — вскричал архитектор,— но в таком случае и фасад здания должен иметь нос или что-нибудь вроде носа,— и именно фонарь. Я вам и сделаю двенадцать окон, а в средине фонарь, который теперь в моде.

Платон Васильевич был в восторге. Дело было решено; старый небольшой дом ломать, а строить новый дом, большой, заняв весь двор и часть сада; да еще с условием: что

хочешь возьми, а к восемнадцатому ноябрю чтоб дом был готов.

Платон Васильевич перешел на время перестройки в маленькую комнатку во флигеле, где была людская и кухня. Постройка дома как будто стала целью его жизни. Покуда составлялся план, для выигрыша времени, приступлено было к ломке. От нетерпения Платону Васильевичу не спится, встанет чем свет.

— А что, Борис, работники пришли?

— Никак нет-с, еще не приходили.

— Что ж это они нейдут? Черт знает что за народ! никогда слова не держит! Пошли сейчас к подрядчику!

На другое утро опять та же история:

— А что, Борис, работники пришли?

— Пришли, сударь.

— Начали ломать?

— Никак нет, пошли за струментом.

— Да для чего ж они приходили без инструментов?

— Да они приходили посмотреть сперва, что ломать; потолковали тут, да и ушли.

— Экие скоты! Пошли сию минуту к подрядчику, скажи, что барин приказал сейчас же прислать работников; а не то, скажи, другого найму!

Когда начались работы, Платон Васильевич почти целый день на работе, то присядет посмотреть, как отваливают стену, то встанет, заведет разговор с поденщиком:

— Что, брат, что труднее, ломать или строить?

— А бог ее знает, какова кладка: новую кладку руками по камню разберешь, а хороший дождь размоет; а вот такую, как эта — лом не берет; смотри-ко, кирпич-то железняк!

— А отчего бы это так?

— А бог ее знает отчего; в старину, чай, дома строили, а теперь балаганы; вот и барин-то, чай, к какому-нибудь празднику торопится строиться; а потом хоть разбирай снова.

Платон Васильевич откашлянулся.

— Нет, любезный, я и для детей строю.

— Так-с; стало быть, у вашей милости семья-то большая, мал дом-то стал?

Платон Васильевич откашлянулся снова.

Работник принял это за подтверждение его догадки и продолжал:

— По-нашему бы пристроить, а уж такой здоровый дом грех ломать: не дать веку достоять. И дом что человек: построен на то, чтоб век дожить. Смотрите-ко, стены-то скипелись, пропитались духом жилецким; а жильцы-то кто были? чай, ваши же родители?

Платон Васильевич не дослушал сентенции мужицкой; он уже стоял подле раствора извести и кричал: «Это что? Я этого плутовства не позволю! в известку песок сыпать! мошенники!»

Тщетно ему представлял каменщик, что уж это так следует; он и слышать не хотел, потребовал к себе подрядчика, накричал на него; не поверил его убеждениям, послал за архитектором и архитектору не поверил.

— Все заодно! — ворчал он про себя. Потом привязался к кирпичу: подай ему железняк, да и только. «Да не годится, сударь, железняк для стройки»... Ничего знать не хочет, уверяет, что старый дом построен из железняку.

— Да кто это вам сказал, сударь?

Платон Васильевич велел позвать работника, с которым разговаривал.

— Из чего, брат, старый дом строен?

— Из кирпичу, батюшка.

— Из какого?

— Как из какого? из кирпичу.

— Да из какого? из железняку?

— Как это можно!

— Ах ты, мошенник! не сам ли ты мне сказал, что дома старинной постройки оттого и крепки, что построены из железняку?

— Чтоб меня разорвало, батюшка, если я это сказал,— отвечал мужик,— вот вам крест!

— Экие подлецы какие! ну уж народ! — вскричал Платон Васильевич.

— Да уж сделайте одолжение, не беспокойтесь, ваше превосходительство,— сказал подрядчик,— поставим вам дом на славу: не мешайте только нам; обманывать не будем; цены вы хорошие платите; уж дело другое, есть такие: строй, вишь, ему дом, а себе заказывай гроб.

Как ни просили Платона Васильевича не беспокоиться и не мешать, но он воображал, что без собственного его присмотра дело не пойдет. То вдруг велит пересчитывать при себе кирпич.

— Ваше превосходительство, уж известно, что тут по тысяче складено.

— Вы говорите, а я не верю! Борис! считай!

То найдет трещину в бревне и остановит складку леса.

— Да где же найти сухой лес без трещин, ваше превосходительство?

Но он не внимал никому, браковал материалы и постройку так, что и подрядчик и рабочие — хоть бежать.

Русский мастер не то что какой-нибудь немецкий мастер: тот начнет считать да высчитывать; подай ему и деньги по его смете, подай и время на его работу, да еще ему нужно тут же и спать в свое время, и есть в свой час, и трубку выкурить, и пиво выпить, да нужно еще ввечеру непременно в шустер-клуб; там ему надо непременно *свою* партию в вист сыграть, и съесть свой бутерброд, и выпить свой шнапс и кафе, словом, хоть лиз-

нуть барской спеси. Но русский мастер не таков: за словом дело; а как сказал, что «извольте батюшка, поставим! будет готово!», так уж один его день не уложится в немецкую неделю; на работе спит, на работе ест; распевает себе заунывную песню; мера на глаз, вес наугад, а все *ладно:* недаром говорится: горит работа! и точно,— он как огонь пожирает работу. Кончил работу, взял деньги — уж извините. Надо отгуляться, душу перевести да потешить: она вместе работала. Уж тут-то и принимается он то делать, что душе угодно.

К условленному времени дом готов. Отлегло на душе и у Платона Васильевича: дом готов! Три месяца просидел он безвыходно, не был в клубе, нигде не был, даже у Петра Григорьевича, чтоб насладиться лицезрением Саломеи Петровны. Некогда было — дом строил.

Кому из современных не известен современный вкус отделки дома. Платон Васильевич отделал его по вкусу современному, пышно, пестро, все *с рогульками,* то есть рококо. Залу в греческом вкусе, с колоннами и статуями; гостиную с камином во вкусе восемнадцатого столетия, салон в китайском, кабинет в помпейском, столовую в мавританском; а всю так называемую женскую половину во вкусе французского перерождения: это было несколько комнат истинной выставки производства мебельного, бронзовых дел, фабрик фарфора и хрусталя, фабрик зеркальных, часовых дел мастеров, переплетных, игрушечных и так далее. Что за роскошная спальня, что за ложе Венеры в виде перламутровой раковины на серебряных лебедях; что за удобства для неги, для сиденья, для леżанья, для омовения богини, для созерцания собственной красоты. Где ж это божество? его еще нет; а все уже готово к его приему. В передней поселены уже официанты, как парадные гороховые шуты в ливрее горохового цвета, с пестрыми аксельбантами на плечах, в штиблетах; в девичьей не горничные и служанки, а нимфы богини, в кисейных платьях на шести *жюпонах,* в пелеринках, с платочками на шее, все до одной говорят по-французски, все до одной были в Париже, жили в Палеройяле, заседали во всех magazin de Paris [1] и, следовательно, знают, что такое мода, и могут быть образцами *светскости,* любезности и приличия.

Когда все, по мысли Платона Васильевича, было готово, он возобновил и самого себя: надел новый парик, с каким-то особенным механизмом; вместо плисовых сапогов надел сапоги из лаковой кожи, вместо всего старомодного — все новомодное,— что делать: как ни безобразны, как ни смешны казались ему французские фраки вроде сюртуков с отчекрыженными наискось фалдами; но надо было последовать моде. Нарядившись, он отправился в маленькой новомодной карете на двойных рес-

---

[1] Парижских магазинах *(франц.).*

сорах, с английской запряжкой,— вместо кучера жокей,— прямо в дом к Петру Григорьевичу и Софье Васильевне.

Софьи Васильевны не было дома, а Петр Григорьевич так был рад его приезду, что не знал где усадить.

После вступительной беседы о здоровье личном и всех домашних, потом о влиянии погоды не только на здоровье, но даже на расположение духа, Платон Васильевич откашлянулся и сказал:

— Петр Григорьевич, у меня есть до вас просьба: прошу сделать мне честь посетить меня на новоселье вместе с Софьей Васильевной и Саломеей Петровной; я выстроил новый дом и желаю, чтоб вы и ваше семейство первые осчастливили его своим посещением. Ввечеру на чай, без церемоний, как родные; у меня никого, кроме вас, не будет; родных у меня нет; а завтрашний день я хочу провести, что называется, в семье. Вы мне ее замените.

Петр Григорьевич несколько смутился от внутреннего волнения. Он понял, что приглашение сделано недаром, что слово «родные» сказано недаром.

Все это происходило в то самое время, когда дела Петра Григорьевича висели на ниточке, когда Саломея, с досады на отца и мать, дала слово выйти замуж за кого им угодно и когда Василиса Савишна просватала было ей жениха, Федора Петровича; но маменька рассудила, что за подобного жениха Саломея ни за что не пойдет, и определила в невесты Катеньку.

— Так я надеюсь? — прибавил Платон Васильевич.

— Непременно, непременно, мы ваши гости, Платон Васильевич! Это приглашение доказывает ваше расположение к нам, а мы так им дорожим... я думаю, вас в этом уверять не нужно...

— Я не застал дома ни Софьи Васильевны, ни Саломеи Петровны,— продолжал Платон Васильевич,— я завтра готов повторить и лично им мое предложение... лично повторить приглашение,— прибавил Платон Васильевич, употребив по ошибке *предложение,* вместо *приглашения.*

— О, не беспокойтесь, я передам и вперед даю вам слово и за них,— отвечал Петр Григорьевич с чувством нетерпения скорее породниться и с боязнью, чтоб что-нибудь не нарушило мелькнувшей в голове его надежды, чтоб Платон Васильевич не раздумал, чтоб Саломея не заболела до свадьбы.

Платон Васильевич, возвратясь домой с помолодевшим лицом, немедленно же приступил к распоряжениям для приема дорогих гостей. Взяв с собой своего дворецкого Бориса, он обошел с ним дом и отдал необходимые приказания насчет освещения, обстановки лестницы деревьями и цветами и насчет угощения. Сто раз обошел он все комнаты, давая дворецкому наставления и повторяя тысячу раз: не забыть, где что поставить, как за все приняться, да непременно сделать опыт над солнеч-

ными и газовыми лампами; чтоб они хорошо горели, не коптились и не накурили в комнатах удушливым газом. Платон Васильевич терпеть не мог ламп, ему все казалось, что *лампой воняет;* но без ламп невозможно было обойтись,— освещение дома не солнечными лампами могло показаться непросвещением.

Утомившись распоряжаться, Платон Васильевич, задыхаясь и едва передвигая ноги, добрался до своего смиренного флигеля; от лаковых сапог сделалось у него что-то вроде подагры, от нового механического парика заболела голова; сбросив с себя модные притеснения, вспомнил он, что забыл распорядиться насчет дамской уборной — все ли там есть, что неравно понадобится Саломее Петровне. Хотел было идти снова в дом, но уже не мог. После обеда, призывая то того, то другого из официантов, он наказывал, как вести себя и что делать: не толкаться, не задевать за мебель, не нанести на сапогах грязи в комнаты, и прочие необходимые наставления для слуг, которые по милости же Платона Васильевича, до реставрации дома, жили свинтусами, ходили замарантусами, зимой в серой дерюге, а летом в пестряди. В первый раз нарядили их гороховыми шутами, как они сами выражались, осматривая друг друга; в первый раз обтянули их во все принадлежности костюма с штиблетами, так обтянули, что им как-то совестно было показаться в люди.

Ввечеру Платон Васильевич отправился ко всенощной, провел ночь без сна; а поутру, в день именин, поехал к обедне. Давно он не посещал храма; но ему нужно было успокоить дух. Возвратясь от обедни и накушавшись чаю, утомление усыпило его, и он, боясь уже заснуть,— заснул против воли; но задушевные мысли продолжали бродить по дому, заботливо устраивать все к приему гостей, встречать их, угощать и, наконец, высказывать им тайну свою. Сон был то тревожен, то сладок; то казалось, что сильный дождь размыл его дом, и на лице его изображалось отчаяние, досада, морщины становились совершенными промоинами от дождя, и он грозил подрядчику за мошенническую постройку дома; но подрядчик отвечал: не тревожьтесь, ваше превосходительство, будьте спокойны, мы вновь поставим, к вечеру все будет готово, это уж наш грех, кирпичами меня надули, худо прожжены. В самом деле, еще не смерклось, а дом снова уже готов к приему гостей, и Платона Васильевича уже беспокоит солнце, стоит себе на одном месте, не садится, да и только. Платон Васильевич опять в отчаянии, посылает за Борисом: «Вот, дескать, какой беспорядок, это ни на что не похоже».

— Помилуйте, ваше превосходительство,— отвечает Борис,— кажется, все в порядке! не угодно ли посмотреть на часы: изволите ли видеть, ваши двумя сутками с половиной вперед ушли. Смотрит Платон Васильевич,— точно! часы его черт знает куда зашли вперед.— «Стало быть, я еще после-

завтра буду именинник?» — и томительное нетерпение высказывается на лице его. Но вот прошло время, настал желанный вечер, дом освещен, все в порядке; Платон Васильевич ходит по зале, ждет гостей... Едут! едут! приехали! встречены, приняты радушно, угощены; Саломея Петровна смотрит с важностью на Платона Васильевича, кажется, как будто говорит ему: я поняла! На лице Платона Васильевича вылилось все блаженство души, он лежит как лысый юноша, который до времени одряхлел; но подгулял, кровь бросилась в голову, и он румян, как Бахус.

В этой неге сна, которую наяву ничто не могло заменить, Платон Васильевич проспал бы вечер и ночь; но заботливый Борис думал, думал: что ж это барин изволит почивать? чай, уж пора дом освещать да одеваться? — и решился будить барина.

Несколько раз почтительно дотрогиваясь до него, он повторял: «Ваше превосходительство!» — и, наконец, принужден был растолкать барина. Возвратить к суете сует от такого сна — просто нарушение земного блага. Платон Васильевич очнулся, взглянул кругом, и лик его потускнел, вдруг снова состарился.

— Не пора ли освещать, ваше превосходительство? Уж шесть часов.

— А? что такое? — спросил Платон Васильевич.

— Не пора ли освещать, да что прикажете одеваться? — повторил Борис.

— Зачем? нет, уж сегодня не поеду, утомился,— произнес Платон Васильевич беспамятно, сквозь сон, который снова стал его клонить.

— Да как же, ваше превосходительство, ведь вы ожидаете гостей; приказали, чтоб к восьми часам всё было готово.

— Что еще готово?

— Да как же-с, ведь гости будут?

— Какие гости?

— Я не могу знать... ваше превосходительство!

— Погоди! еще рано!

— Ваше превосходительство! Французу кондитеру спросить что-то нужно!

— Ну, спроси, что?

— Да что ж мне спрашивать его? — я говорил ему, что самовар еще рано ставить, вода перекипит, так он не слушает меня. А чай будет дрянь, на мне же изволите взыскать... Привез каких-то конфет к чаю, я говорю: что с конфетами чаю не кушают, что нужно белого хлеба, да он и слушать не хочет... Я ему говорю: не за свое, брат, взялся! уж где тебе знать вкус в чаю, не ваш, мусье, продукт...

— А? — произнес сквозь сон Платон Васильевич и очнулся вполне.— Который час?

— Я докладывал, что седьмой.

— Седьмой? Ах, боже мой, что это со мною сделалось! как я заспался! что ты меня не будил? Давай поскорей бриться и одеваться!.. велел зажигать лампы и люстры?

— Зажечь не долго, все подготовлено; сейчас велю.

— Чтоб сейчас зажигали! бриться, бриться поскорей! я опоздаю! приедут — дом не освещен и хозяина в нем нет!

Туалет Платона Васильевича обыкновенно очень долго продолжался, особенно с некоторого времени. Уходу над старой головой, которая хочет молодиться, ужасно как много; работа сложная: вырывание щетинистых волос из бровей, чистка зубов, ногтей, опыт, нельзя ли как-нибудь угладить морщины, долгое смотрение в зеркало, сперва прищурившись, потом вытаращив глаза — каков, дескать, я сегодня? пленительно выражение лица или нет? есть огонь в глазах, или они тусклы? и так далее.

Все это исполнил Платон Васильевич, но торопливо; торопливость, однако же, не мешала ему заметить, что каналья *perрюкье* [1] надул его: волоса под цвет, но гораздо толще, ужасно какие грубые, совсем не благородные волоса; для доказательства Платон Васильевич долго сравнивал свой волос с волосом парика на свет и бранился по-французски.

Но вот он нарядился, подали карету, и он переехал из флигеля к подъезду дома. Зорко глаз его обегал все предметы; казалось, все было в порядке: цветы на лестнице пахнут довольно сильно, освещение истинно солнечное, лучи от ламп и свечей, не зная куда им деться, бросаются снопом в глаза, колют зрение, нельзя выносить; а между тем Платону Васильевичу кажется, что все еще как-то темно в комнатах. Осмотрев себя в зеркалах, он пробрался в уборную, сделал французский учтивый выговор дежурной девушке, что она не должна ни на шаг удаляться от своего поста, спросил, есть ли шпильки и булавки, иголки и шелк... Всё есть. Довольный собою и всем, Платон Васильевич спросил себе стакан воды. Один из гороховых официантов побежал в буфет, принес на серебряном подносе.

— Это что такое? — вскричал Платон Васильевич,— лапы без перчаток?..

Только что он начал выговор Борису за эту неосмотрительность, вдруг слышен на дворе стук экипажа.

— Едут! — проговорил Платон Васильевич и торопливо пошел к лестнице.

— Здесь Платон Васильевич? — раздался голос у крыльца.— Прекрасно, прекрасно!

«Петр Григорьевич!» — подумал Платон Васильевич, готовый уже встречать гостя.

— Платон Васильевич! здравствуйте! Прекрасно! прекрасно! ей-богу, прекрасно!

---

[1] Парикмахер (*франц.*).

Платон Васильевич обомлел от ужаса: на лестницу взбирался толстый Иван Васильевич, клубный его сочлен, рекомендовавший ему архитектора.

— Бесподобно! видите ли, моя рекомендация! Каков архитектор! Я еду да вижу: что это значит, неужели дом Платона Васильевича поспел? и заехал. Смотри, пожалуй!.. Что, как ваше здоровье? а у нас сказали, что вы при смерти. Прекрасно!.. Вы одни, или у вас гости?..

— Нет, я так велел попробовать осветить,— отвечал с досадой Платон Васильевич.

— Бесподобно! вот ведь вы видели мой дом? гораздо хуже; а тот же строил! Ну, конечно, средства не те... Бесподобно!

— Не дурно,— отвечал Платон Васильевич, не зная, как ему отделаться от нежданного гостя.— Вы в клуб едете?

— Нет, еще рано; а вы?

— Да, да... я приеду.

— Так поедемте вместе,— сказал толстый Иван Васильевич, садясь на диван.— Лестница у вас, кажется, немного крута; что бы вам сделать отлогую... фу! устал.

— Я еще не могу ехать,— отвечал Платон Васильевич, не обращая внимания на замечание о крутизне лестницы.— Я приеду, а вы, пожалуйста, подготовьте партию... мне надо распорядиться да поехать сейчас кое-куда... Эй! человек! Карета моя готова?

— Распрягли, ваше превосходительство.

— Так покуда запрягут, и я подожду, потому что еще рано. Пойдемте-ко, пойдемте, покажите устройство комнат.

И Иван Васильевич, не обращая внимания на хозяина, побрел, переваливаясь, по комнатам, повторяя: «прекрасно, бесподобно!..» Он добрался уже до спальни и уборной; но Платон Васильевич поторопился вперед и, приперев двери, сказал:

— Здесь еще не отделано.

— Э, да ничего, я посмотрю вчерне... Мне любопытно знать расположение жилых комнат...

— Тут и пройти нельзя... свалена мебель... пойдемте сюда...

В это время притворенная Платоном Васильевичем дверь в спальню приотворилась, и из нее выглянуло женское личико...

— А! понимаю! — сказал улыбаясь Иван Васильевич — это женская половина... вещь необходимая... Вы бы так и сказали, Платон Васильевич, что тут скрываться, вещь обыкновенная...

Платон Васильевич готов был съесть дерзкую девчонку, которая осмелилась отворять двери.

— Извините,— сказал он Ивану Васильевичу,— это точно женская половина, но она приготовлена для моей сестры, которую я ожидаю... Эй! карета готова? Извините, мне надо торопиться... до свидания.

— Так вы будете в клубе?

— Я думаю.

— В котором часу?

— Это зависит от обстоятельств.

Платон Васильевич, провожая нежданного гостя, готов бы был столкнуть его скорее с лестницы; вдруг бежит официант.

— Человек от Петра Григорьевича; Петр Григорьевич приказал кланяться и извиниться, что не может пожаловать чай кушать: Саломея Петровна изволили заболеть.

— Ах, боже мой! — проговорил Платон Васильевич дрожащими губами.

— Ты, брат, от кого? — спросил Иван Васильевич, спустившись с лестницы.

— От Петра Григорьевича Бронина.

— Так не будет?

— Не будет-с по той причине, что Саломея Петровна не совсем чтобы так здоровы-с.

— Жаль, жаль, очень жаль!

Иван Васильевич уехал, а Платон Васильевич долго ходил еще по комнатам, сложив руки и склонив голову. Никогда еще не чувствовал он такой тоски. Устарев в привычке жить по произволу желаний, в зависимости от самого себя, ограничив все потребности души и тела удовольствиями, приобретаемыми за деньги, Платон Васильевич в первый раз почувствовал, что что-то над ним тяготеет, что он к чему-то прикован, что он весь не свой. В нем проявилась какая-то смертельная жажда, которая отбила охоту ко всему издавно-обычному, потушила все прочие желания, все ежедневные прихоти, которыми продовольствовался столько лет дряхлый холостяк, нарушила застой души, взволновала ее, возмутила.

— Туши свечи! — проговорил он, наконец,— или постой; где человек Петра Григорьевича?

— Он уже ушел, ваше превосходительство,— отвечал слуга.

— Зачем же он ушел, когда я ничего еще не сказал!..

— Не могу знать-с.

— Дурак! Где Борис?.. Борис!.. что ж ты нейдешь, когда кличут?.. Зачем отпустили человека без моего приказания?

— Кто ж его отпустил, ваше превосходительство. Он пришел, сказал, что велели, да и ушел.

— Что ж он сказал?

— Да то, что господа не могут быть, барышня, вишь, будто бы заболела.

— Будто бы!.. Я даже не успел спросить, чем заболела! А ты, дурак, не догадался?.. Карету!

— Давно готова-с.

Платон Васильевич прошелся еще по комнатам, потом спустился с крыльца.

— Куда прикажете? — спросил лакей.

— Пошел домой! — отвечал Платон Васильевич.

Дверцы захлопнули, лошади двинулись, сделали десять ша-

гов от подъезда дома к крыльцу флигеля, лакей перебежал вслед за ними, отворил дверцы кареты и принужден был крикнуть: «Приехали, ваше превосходительство!» — потому что Платон Васильевич успел уже забыться в горестных помыслах.

Молча он выбрался из кареты, вошел в свою комнату, сел и сидит, как гость в ожидании хозяина. Еще девять только часов; что ему делать до обычного второго за полночь часа возвращения из клуба? Бывало, с двух до двух, хоть плохо, но спится; потом визиты, потом обедать в клуб или на званый обед, потом на вечер, в концерт, в театр, а в заключение снова в клуб — сколько новых впечатлений, сколько разговоров о какой-нибудь грации театральной, сколько прений о том, кто с чего ступил и почему так ступил, с добрым или злым намерением пошел в вист, умно или глупо сыграл; сколько сладких воспоминаний об сам-пят, об удачной прикупке; сколько мыслей и дум о том, что ежели бы так пошел, а не так, так совсем была бы другая игра. Было чем занять время бессонницы, было чем позаняться и воображению во время сна, и вдруг — все стало нипочем! и клуб нипочем, и даже обед клубный нипочем! обед, который дороже цены своей, который переваривается в самом прихотливом желудке, обед, заставляющий о себе думать и говорить, который при одном воспоминании производит саливацию [1], как меркурий,— обед, которым можно начинить себя и уподобиться душистому блутвурсту... [2] и все это стало для Платона Васильевича глупо, бессмысленно, отвратительно, недостойно человеческой природы, пóшло, невыносимо... Он предпочел всему этому безмолвное, неподвижное сидение у себя в креслах, созерцание чего-то в мыслях своих, какие-то соображения о будущности.

Душа в человеке как поток, движущий органические колеса: приподними только *ставни,* сердце шестерней заходит. И в преклонном возрасте влюбиться и любить не трудно, но трудно уже выносить изменчивость погоды любви: ее жар наводит изнеможение, ее холод ломит кости, как ревматическая боль.

Не смыкая глаз в продолжение всей ночи от подобной же боли, Платон Васильевич рано поутру послал Бориса на лошади свидетельствовать свое почтение Петру Григорьевичу, узнать о состоянии здоровья Саломеи Петровны и спросить, можно ли ему навестить их. Борис не любил быть простым Борисом в кругу своей братьи, но любил быть Борисом Игнатьичем; а потому и вел себя соответственно этому сану. Если его куда-нибудь посылали, то он не бежал сломя голову, но сохранял и собственное свое достоинство. Придет, изъявит свое почтение, спросит по обычаю: «Как вас бог милует?» — «Слава богу, Борис Игнатьевич!» — «Слава богу — лучше всего... Что, господа,

---

[1] Слюноотделение *(лат.).*
[2] Кровяная колбаса *(нем.).*

чай, еще не вставали?» — и с этого заведет политичный разговор, как водится.

У Петра Григорьевича в дворне был все словоохотливый народ, да и было о чем поговорить,— историй в доме случалось не мало: барин вкось, барыня врозь, а Саломея Петровна всему наперекор; только Катериной Петровной не могли нахвалиться, да зато об ней и славы мало и слова нет: хороша,— ну и слава тебе, господи, о чем тут и говорить.

Нетерпеливо ждал Платон Васильевич возвращения Бориса; ему хотелось поскорее лично изъявить свое участие.

— Ну, что? — вскричал он, выбежав в переднюю навстречу Борису.

— Да ничего-с, все еще не так здорова.

— Ах, боже мой! ты видел самого Петра Григорьевича?

— Никак нет-с.

— Что ж, узнал, чем Саломея Петровна нездорова?

— А бог ее знает, что с нею приключилось.

— Дурак! бог ее знает! как говорит! не мог спросить основательно.

— Да у кого же спрашивать-то? В людской ни одной собаки — не самому же идти без докладу; в кухне только кухарка; я ждал, ждал; воротился Иван дворецкой да тотчас же поскакал опять...

— Господи, неужели так опасно больна Саломея Петровна?

— Да уж, верно, так; Федор попался навстречу: беда, брат, говорит.

— Ах, боже мой, я поеду сам! давай одеваться!

— Нет, уж не беспокойтесь, ваше превосходительство; дело-то никак не ладно.

— Умерла! — вскричал Платон Васильевич.

— Нет, хуже! изволила бы отдать душу богу, тело бы на столе лежало; а тут...

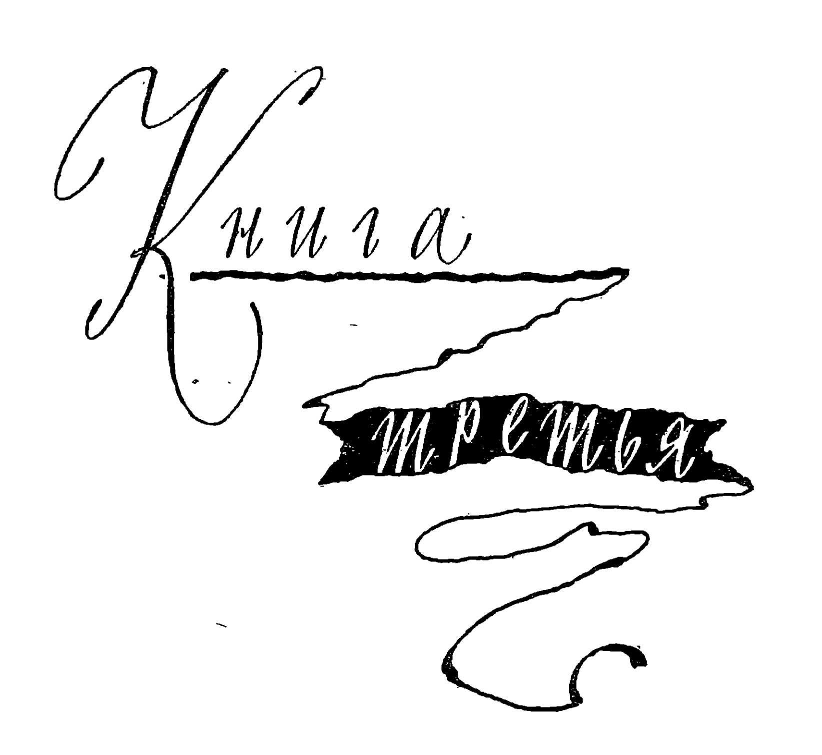
— Ну!

— Ни души, ни тела — пропала.

— Что такое? как пропала?

— Да как пропадают: всех людей разогнали искать по городу; так уж где искать...

Платон Васильевич покачнулся на месте; Борис едва успел подхватить его под руки и бесчувственного опустил в стоявшие подле вольтеровские кресла.


Книга
третья

Часть седьмая

I

Читатели, вероятно, имеют какое-нибудь понятие о Москве, из каких-нибудь «Voyages en Russie» [1], или из журнала *впечатлений.* Из первых вы, без сомнения, составили себе ясное понятие об ее наружности, а из вторых об ее жителях, нравах и обычаях. Вообще из этих описаний вам известно, что Кремль стоит подле Ивана Великого, что Сухарева башня у Тверских ворот, что Тверские ворота на Пречистенке, что Москва-река течет под самым Замоскворечьем, и тому подобное. Вам, следовательно, нечего описывать Москву, вы ее знаете настолько, насколько подобает знать русскому человеку.

Приступаю к рассказу.

В один туманный день августа в Крестовскую заставу прокатила коляска четверней. Часовой опустил было шлагбаум, но слуга крикнул:

— Из подмосковной! — и коляска свободно проехáла.

В коляске сидели два господина; один поплотнее, похожий на московского барина, прислонясь в угол, дремал; другой — сухощавый, лицо бледноватое, глаза прищурены, наружность значительна, похож был на петербургского начальника отделения или чиновника по особенным поручениям, словом, лицо значительное, а по личному мнению, даже государственное.

— Наконец я в Москве! — сказал *сей последний,* приложив к глазу лорнет,— посмотрим, что за зверь Москва! Вы, пожалуйста, указывайте мне на все любопытное.

Едва показалось вправо готическое здание, обнесенное зубчатыми стенами, с башнями, похожее на рыцарский зáмок сред-

[1] Путешествия в Россию *(франц.).*

них времен, молодой человек снова приложил лорнет к глазам и вскрикнул:

— Это Кремль?

— Кремль,— отвечал плотный барин, не раскрывая глаз.

Петербуржец промчался. Оставим петербуржца и последуем за толпой колодников, которых вели по улице. Вслед за ними везли на подводе женщину в простой крестьянской одежде. Когда весь этот *транспорт* приблизился к запертым воротам зáмка, перед которыми, однако же, не было подъемного моста, часовой подал знак в калитку с разжелезенным окошечком: сперва пропустили унтер-офицера, *препровождавшего* транспорт, а потом отперли адовы врата, которые, раскрывшись как челюсти апокалиптического зверя, поглотили весь транспорт и закрылись с скрежетом зубов.

На внутреннем дворе этого зáмка прохаживались в самом деле не люди, а мрачные тени. Не будем описывать человеческого образа, искаженного страстями и преступлениями. Отделясь от безобразной толпы, кто-то, в изношенном пальто, в картузе, заложив руки в карманы, ходил скорыми шагами вдоль двора. По лицу и взорам его можно было заметить, что и он ставил душу свою на кон, но в наружности его не было глубоких оттисков преступлений, в глазах не было ответа за чужую душу. Он был еще, казалось, новичок на этом новоселье, смотрел на окружающие его высокие стены и на «честнýю компанию» без удивления, но с каким-то особенным любопытством и как будто спрашивал сам себя: «Черт знает, куда я попал!»

Долго следил за ним глазами один из «честнóй компании», что-то вроде мещанина, с острой бородкой, ряб как кукушка, глаза как у ястреба; наконец крякнул и подошел к нему.

— Ты, брат, кто таков?

— Человек! — отвечал новичок, посмотрев на него.

— Крепостной то есть? Я думал, что какой барин, честной господин.

— Ну, хоть и барин, честной господин, а тебе что?

— Что? врешь, брат! не туда глядишь!.. А я тебе вот что скажу: ты за что попал? за воровство или за разбой?

— Да тебе-то что, борода?

— Нет, уж ты, брат, не кобянься, лучше будет, ей-ей лучше будет! а не то, брат, не выгородишься отсюда; уж я тебе говорю, я ведь не отстану от тебя — понимаешь?

Новичок посмотрел на плутовскую рожу с острой бородкой, которая так настойчиво делала ему допросы.

— Если *по делу* попал, так говори: доказательно или нет?

— Я, приятель, не по делу здесь, а по нáговору.

— Приятель еще не приятель, а будем приятелями; по нáговору, брат, хуже, чем по делу, я тебе скажу; примерно вот, я бы на допросе показал, что ты потчевал меня в трактире да

подговорил на какое *дело*... понимаешь? ведь я за тебя здесь сижу.

— Пьфу, дурак какой! Кто ж тебе поверит?

— Кто? кому следует, тот и поверит. А я тебе вот что скажу: хочешь на волю?

— Эй, ребята, смотрит-ко, француженку какую-то привезли! Пойдем! — крикнул один из заключенных.

— Триша, пойдем! — сказал он, проходя мимо острой бородки.

Толпа двинулась к воротам женской половины.

— Вот сейчас выйдет из канцелярии.

В самом деле, привезенную женщину вскоре вывели под руку из канцелярии. Несмотря на простую одежду, во всей наружности ее было что-то горделивое, хотя и страдальческое. Бледное лицо ее было нежно, впалые глаза не бессмысленны. Охая, она вышла, окинула взором безобразную толпу, и взор ее остановился на упомянутом нами человеке в пальто. Движением головы, взора и дрожащих губ она страшно погрозила ему.

— Что, она тебе знакома, что ли? — спросила новичка стоявшая подле острая бородка.

— Да, вот это-то и есть та безумная, которая привязалась ко мне и оговорила меня.

— А кто ее разберет, что она, безумная или нет, ведь она француженка, говорят; а ты-то сиди да посиживай; да еще как я поднесу тебе, так, брат, тебя, того, сперва распишут, а потом, знаешь куда?

Новичок содрогнулся.

— Черт! ты шутишь или нет?

— Нет, не шучу; а я тебе скажу вот что: хочешь по рукам?

— Вместе грабить или резать? Врешь, любезный! Что будет то будет, а я тебе не товарищ.

— Не бойся, тут худого ничего не будет, ей-ей ничего; а так, штука, багатель! [1]

— Говори.

— Давай руку! Не бойся, все будет честно.

— Что за руки, говори просто, в чем дело.

— Я, пожалуй, скажу; да скажу тебе и вот что: уж если повихнешься, так я на тебя горы взвалю; мне все равно пропадать. Вот видишь, смекай: я был у купца Василья Игнатьича Захолустьева приказчиком; а у него был славный *чайный завод,* да дрянной сынишка, Прохор Васильевич. Вздумал он заводить суконную да филатурную фабрику и вымолил у отца дозволение ехать в чужие земли машины заказывать; такие машины, каких в целом свете нет: сами овец стригут, сами шерсть на сорты де-

---

[1] Пустяки *(франц.)*.

лят, сами аглицкое сукно ткут, ну, словом, из машины выходят готовые штучки сукна самой лучшей доброты, всех колеров. А про филатуру и говорить нечего: бывало, красные девушки прядут, сами песни поют; а теперь всё самопрялки, всё с органами: под немецкую музыку, хошь не хошь ты, а пляши. Да дело не о том; а вот что я тебе скажу: поехал Прохор Васильевич, да и поминай как звали, вот уж другой год ни слуху ни духу. Понимаешь?

— Ну, что ж из этого?

— А вот что я тебе скажу: Василий Игнатьич за сына согнал меня от себя: виноват я, что Прохор Васильевич брал деньги без спросу; согнал меня, брат, без копейки, пустил по миру. Что ж тут будешь делать; надо было добывать. Да не о том дело; а вот что: как взглянул я на тебя — Прохор не Прохор Васильевич, а есть что-то, понимаешь? Этого, брат, уж довольно; лишь бы на первый взгляд похож был; а там мое дело будет снарядить как следует. Ладно?

— Ладно,— отвечал новичок.

— Коли ладно, так я тебе вот что скажу: ты конь, а поводья у меня в руках: вывезешь на славу, будет все ладно, а заноровишь — извини!

— Ах ты, шитая рожа, вязаный нос! Мало тебе зубов-то отец выколотил за меня! — крикнул новичок,— мошенник Тришка вздумал на мне верхом ездить!

— Да неужели это вы, сударь Прохор Васильевич? — проговорил, оторопев, озадаченный словами новичка, острая бородка, всматриваясь в него.

— Не узнал, плут?

— Признал, да не узнал... да нет! пьфу!

Новичок захохотал во все горло.

— Ну, брат, озадачил! да в тебе бесовская сила! как заговорил да замотал головой — живой Прохор Васильевич! Ах ты собака, да кто ты такой?

— Черт! — отвечал новичок.

— Ей-ей черт! с тобой можно дела делать!.. А в списках-то как ты значишься? Верно, ни роду ни племени не имею, откуда — не помню, имя и отчество позабыл: так?. Теперь, я тебе вот что скажу...

Зазвенел колокол, староста закричал: «По местам, на перекличку!»

— Эх, досада! — сказал острая бородка,— ну, до завтра, приятель!

— Торопиться не для чего,— отвечал новичок,— тише едешь, дале будешь; притом же здесь очень недурно: кормят калачами... «Вот она, нужда-то, где заставит калачи есть! Насилу понял пословицу! Ну, брат Вася Дмитрицкий, посмотрим, какая будет тебе доля дальше!»

Новичок, в котором мы узнаём героя повести, отправился на перекличку.

— Прибылых отдельно,— сказал смотритель, выходя со списком,— который тут *неизвестный, выдающий себя за графа Черномского?*

Никто не отвечал.

— Ну, ты, что ли?

— Нет, не я,— отвечал Дмитрицкий.

— Как не ты?

— Я никогда не выдавал себя за графа Черномского; я ехал с одним графом Черномским, а какая-то сумасшедшая женщина привязалась ко мне...

— Да это вы покажете на допросах; а теперь нам нужно внести в список имя и прозвище.

— При допросе скажу я и свое имя,— отвечал Дмитрицкий.

— Ну, в таком случае в общую!

— Ваше благородие, женщина, что привезли ввечеру, нейдет на перекличку, бормочет что-то по-своему, бог ее знает, хоть тащи за руки и за ноги,— сказал пришедший унтер-офицер.

— Верно, иностранка; перевести ее в особую!

— Ай да молодец, Саломея Петровна,— проговорил Дмитрицкий, уходя за прочими заключенными.

На другой день, когда уже вся честна́я компания за́мка, после раздачи калачей, которыми наделил всех какой-то почтенный купец, прогуливалась по двору, вдруг от ворот пошла весть: «Стряпчий приехал!» — и вслед за ней вошел, сопровождаемый смотрителем, какой-то в мундирном фраке щегольски одетый чиновник. Все заключенные затолпились около него с поклонами. Одна рыжая борода, растолкав прочих и выдавшись вперед, снова поклонился.

— Что ты?

— К вашей милости; поговорить нужно.

— После, погоди немного.

— Вот, ваше благородие, вот я совсем занапрасно страдаю,— начал было другой.

— Говорят — после!.. где француженка?

— А вот пожалуйте, она в особой.

— Я также буду просить вашей защиты, милостивый государь,— сказал и Дмитрицкий по-французски, выступив навстречу чиновнику, который невольно приостановился, услышав французский язык посреди русской речи.

— Кто вы, милостивый государь?

— Я только вам одним могу сказать,— отвечал Дмитрицкий,— странный случай лишает меня доброго имени.

— Очень хорошо, я займусь вами сейчас,— сказал чиновник, проходя в женскую половину.

— Где же француженка?

— А вот, пожалуйте.

В отдельном покое, на койке, приклонясь на подушку, сидела женщина в простонародном платье: платок с головы ее был сброшен, черные волосы раскинулись по плечам и осеняли истомленное бледное лицо; под густыми ресницами глаза ее опущены были в землю. В положении ее была какая-то сценическая грациозность; несмотря на место и одежды, каждый читающий романы и посещающий театры отгадал бы в ней героиню, которую судьба преследует и бросила на жертву несчастиям.

— Madame,— начал чиновник, садясь подле на деревянный стул,— вы француженка?

Женщина, как будто услышав родной язык и приветливый голос образованности, содрогнулась, вспыхнула и закрыла лицо рукой.

— Madame,— начал снова чиновник,— откройте мне вашу судьбу... Чем только в состоянии помочь вам... чем только могу успокоить вас... Вы можете надеяться... что я исполню... я уверен, что какой-нибудь необыкновенный, несчастный случай...

— О, если б вы знали!..— вскрикнула женщина по-французски.

— Сделайте одолжение, передайте мне, моя обязанность есть обязанность гуманическая: находить и извлекать несчастие из среды преступления... Вы позволите мне узнать ваше имя?

— О, позвольте мне хоть скрыть свое имя от этого поношения, в которое меня бросила судьба!.. несчастия мои невообразимы!.. Но нескольких слов достаточно, чтоб вы поняли все: я дочь одного из известных людей во Франции... В доме нашем явился один русский путешественник... образованность и наружность его меня пленили... он меня увез... Долго мы путешествовали... наконец приехали в Россию... и он бросил меня!.. Я должна была идти в гувернантки... к одному помещику... Красота моя была причиной ненависти ко мне жены его, и вот в одну ночь меня схватили и повезли сама не знаю куда... Очнувшись на мгновение, помню только, что была посреди лесу... в этой одежде...

— Скажите пожалуйста! — вскричал чиновник.

— Потом я уже не помню, что со мной было... больная, страждущая, я очнулась снова... О, я не в силах говорить!.. вы можете понять, вы видите!..

Женщина зарыдала.

— Какая страшная судьба! Я доведу это немедленно же до сведения! Это ужасно! несчастие не преступление, и будьте уверены, что вы сегодня же будете свободны... Вся Москва примет участие в вас!..

— О нет, не разглашайте, умоляю вас... в этом положении я не могу никого видеть.

— Но как же быть... для вас нужна будет помощь. Московские дамы...

— Нет, нет, нет; я прошу только покуда какой-нибудь приют, где бы я могла отдохнуть, скрыться от всех глаз.

— Очень жаль, что не могу вам предложить свой дом... но... во всяком случае, я озабочусь, чтоб исполнить ваше желание,— сказал чиновник, встряхивая табакерку.

— О, как вы добры! — сказала женщина, посмотрев нежно на него и взяв его за руку.

— Madame, такое существо, как вы, внушает все прекрасные чувства,— сказал чиновник с романическим выражением, *заинтересованный* и судьбой жертвы несчастия и самой ею.

Так как жертва несчастия — иностранка — в списках показана была только неизвестной беспаспортной, найденной в горячечном состоянии на улице, то нетрудно было исходатайствовать ей свободу.

Исходатайствовав свободу, стряпчий озаботился и о приюте ее. В английском клубе встретил он одного Ивана Ивановича и тотчас же к нему адресовался:

— Не знаете ли какого-нибудь хорошего места для одной француженки?

— Какого же места? В гувернантки?

— Нет, в гувернантки она не согласится: это женщина с образованием и с чувством собственного достоинства. По странному случаю, она теперь на моих руках.

— Например?

— После расскажу; долгая история.

— Какое же место?.. Та-та-та-та! Платон Васильевич Туруцкий... говорил мне что-то...

— Туруцкий? Что его давно не видать?

— Совсем охилел; в клуб не ездит. Я как-то на днях заезжал к нему... Какой славный дом отделал!.. Чудо! то есть меблировал хорошо; а что касается до архитектуры, то я вам скажу! Ни с кем не хотел посоветоваться. Жаль, что вы не были у меня в деревне: вы бы посмотрели, что за дом на пятнадцати саженях, что за расположение!.. Имею полное право сказать, что ни один архитектор своего ума не прикладывал,— все сам!

— Позвольте! — сказал гуманист, нюхая табак и подноcя табакерку Ивану Ивановичу.

— Вы думаете, что без архитектора нельзя и обойтись?..

— Нет, не то; меня заботит теперь эта француженка; вы что-то упомянули о Туруцком... Для чего же ему нужна француженка?

— А бог его знает! У всякого свои капризы, иногда и не по летам...

— О, если так, то я не намерен быть поставщиком этого рода увеселений.

— Ну, ну, ну, это шутка; я никак не думаю, чтоб в его лета... Да, я теперь вспомнил: он отделал дом для сестры своей; так кажется, что для нее и нужна француженка в компаньонки.

— Это дело другое. Так вы, Иван Иванович, скажите Туруцкому, чтоб он взял в компаньонки эту француженку.

— Хорошо, хорошо; непременно скажу!

— Вы не забудете?

— Как можно!

— Только скажите ему, чтоб он дал ей хорошее жалованье: тысячи две, три.

— Конечно, не меньше.

— И чтоб обходились с ней с некоторым уважением: savez-vous, que c'est une personne de dignité; [1] одной из лучших французских фамилий.

— Право?.. Каким же образом она очутилась здесь и соглашается идти в компаньонки?

— Обстоятельства, несчастный случай.

— Хороша собою, молода?

— Н-да, во всех отношениях замечательна.

— Можно ее видеть?.. Потому что, если не удастся определить к Туруцкому, я готов взять ее на свое попечение, устроить как-нибудь судьбу ее... Отчего же не помочь прекрасному существу...

— Да, да, конечно; это не худо; впрочем я сам побываю у Туруцкого.

— Да зачем же? К чему вам беспокоиться? Я сегодня же его увижу.

— Ah, bon jour! [2]—сказал ходатай нашей француженки Саломеи, обращаясь к одному из знакомых, чтобы отвязаться от Ивана Ивановича, который чересчур уж заинтересовался судьбой неизвестной особы, происходящей от одной известной французской фамилии.

II

Благородное собрание в Москве, если не восьмое, так по крайней мере девятое чудо света. Представьте себе огромную залу с колоннадой, поддерживающей хоры, представьте себе, что вся она штукатурена под белый каррарский мрамор, что между всеми колоннами висит по бронзовой люстре в двести свеч, разукрашенной хрустальной бахромою; что все это и бело и светло и что в этой белизне и свете шесть тысяч *персон* — эссенция древнепрестольного града. Представьте себе мужчин в полной военной, статской и светской униформе, а женщин в бальном наряде — шейки и ручки по плечо наголо́. У каждого наружность, как сам он, разряжена: взору щедро придано огня, устам улыбки, щекам румянцу, движениям ловкости, всему стану достоинства, важности, значения. Всё рисуется, все как

---

[1] Имейте в виду, что это достойная особа *(франц.)*.
[2] Ах, здравствуйте *(франц.)*.

живописные, как портреты, схваченные в счастливую минуту — когда душа выливается наружу. Вот съехались к полуночи, все не ходят, а как-то особенно двигаются, соблюдая приличие, не смотря смотрят, не слушая слушают, не говоря говорят и — не любя любят.

Во всем этом, может быть, нет ни радости, ни удовольствия, но есть *развлечение* — это необходимое для светского человека *развлечение,* это искусственное средство наполнить чем-нибудь пустоту времени и пустоту души.

Из всех шести тысяч персон тут только двое наслаждаются в душе каким-то райским наслаждением — Василий Игнатьич Захолустьев и супруга его Фекла Семеновна; счастливая чета ходит под ручку. Он — седые волосы в кружок, гладко-пригладко расчесаны, борода — волос от волоса отделен, на плечах древний боярский кафтан с золотым шитьем, с петлицами, меч с темляком перепоясывает не просто талию, но огромное депо здравия и благоденствия. Она — в обшитом золотым кружевом гарнитуровом платье, которое спереди как следует приподнялось, на голове повязан золотошвейный платок, в ушах серьги бурмицкого зерна, на шее жемчужное ожерелье ниток в пятьдесят, пальцы расперло от многоценных перстней. У Василия Игнатьича раскраснелось лицо и от самодовольствия и от жару; с трудом ворочая голову, подпертую шитым воротником, он отирает пестрым платком чело свое; из приличия не ворочает ее на стороны; взор его как навесный выстрел направлен через головы, чтоб кого-нибудь не задеть. Фекла Семеновна также не ворочает головой; но зато глаза ее как на пружинах, то вправо, то влево.

— Что, Фекла Семеновна, хорошо? ась? — произносит тихо Василий Игнатьич, проходя по опустевшему углу галереи между колоннами.

— И господи, как прикрасно! — отвечает Фекла Семеновна,— да что ж это такое, для чего господа-то собрались?

— Вот, спрашивает; ты смотри да примечай.

— Да уж у меня и глаза разбежались! Когда ж это они присядут? Ах, смотри-ко, смотри, что это сбежались все в кучу? Что там случилось? Пойдем посмотрим!

— Не приходится идти туда; знай честь. Вот посмотрим отсюда.

— Что ж это там, пляска, что ли?

— Тс! а ты смотри себе да примечай.

В первый раз бог привел Василию Игнатьичу и Фекле Семеновне быть в собрании, как же не подивиться всем диковинкам.

— Василий Игнатьич,— начала снова Фекла Семеновна,— если б Прохорушка был здесь, он, чай, также пошел бы в танцы?.. то-то бы посмотрела!

— Ну-у! — отвечал Василий Игнатьич.

— Что ну, ведь он, чай, не хуже господ, не тех вот, что в кавалериях, а вот этих штатских-то, право-ну!

— Тс! что ты это! — сказал Василий Игнатьич, толкнув супругу свою под бок.

— Поди-ко-сь, слова нельзя сказать! — заговорила Фекла Семеновна под ухо мужу,— лёгко ли.. добро бы я говорила про господ великих; а то, смотри ты, про эту голь слова не скажи! Вот он, тут же, писаришко-то, что тебе бумаги ходит писать... да поругался с тобой — мало, вишь, дал ему на чай...

— Где, матушка, где ты тут нашла писаришку?

— Да вот он, вот трется около благородных-то... вот увидал тебя...

— Пьфу, в самом деле!.. Пойдем, пойдем! осрамит еще, мошенник!

Надо сказать правду, что богатство и почести не по наследию и не даром достались Василию Игнатьичу; он нажил их трудом не с умом, а с грехом пополам. И потому, как ни поверни, бывало, Василия Игнатьича, с одной стороны как будто честный человек, богач, а с другой — старый плут, точно нищий, и не далеко ушел от того Васьки Игнатова, который лет зá сорок торговал в деревне бабками, потом служил в харчевне и угощал пьяных вместо вина винным запахом. Он и продолжал бы карьер свой по винной части, но судьба решила иначе. Его соблазнила чайная торговля. Он узнал, что, кроме китайского ван-сун-чо-дзи, есть русский Иван-сун-чо-дзи и стал торговать чаем, завел *магазин китайских чаев, сахару и кофе.*

Сахар и кофе — дрянные продукты, от них барыша десять, а много пятнадцать процентов... В сахарный песок можно бы подбавить самого лучшего белого песку, да не тает, окаянный! Про кофе и говорить нечего: ни один род бобов не подходит к нему.

Нужно ли говорить, что мелочная торговля чаем не удовлетворила Василья Игнатова, он пустился в оптовую, пустился сам на Кяхту; сам съездил в Дмитровский уезд, чтоб сделать оптовую закупку самого лучшего сорту Иван-сун-чо-дзи. Но для оптовой торговли чаем необходимо иметь свой дом, с запертыми воротами, на дворе лабазы, амбары, палатки и тому подобные заведения. Всем этим обзавелся Василий Игнатьич.

В производстве Иван-сун-чо-дзи помогал ему только сынишка Прохорушка.

— Это,— толковал он ему,— вот видишь, цветы чайные; а вот это лучший сорт, а вот это похуже; а вот как смешаешь того и другого, да вспрыснешь цветами-те, так и выйдет цветочный; а без цветов — семейный, а как приложишь щепоточку, так выйдет сквозничок... Понимаешь?

Таким образом, можно заключить, что эта торговля была впрок Василью Игнатьичу. Он подумал, подумал да купил за двести тысяч каменный дом, для постройки которого какой-то

князь выписал из Италии архитектора, из Голландии кирпич, из Англии железо, из Франции обои и мебель, из Саксонии фарфоровые вазы, еще из Италии картинную галерею и этрусские горшки, из Египта двух сфинксов на ворота, из Венеции гондолу для пруда, из Китая киоск для саду и так далее, словом, с целого света стащил тьму чудес. Все это стоило миллионов десять. Когда князь кончил жизнь, сын его, не получив в наследие ни вельможества, ни причуд вельможеских и не заботясь, откуда что папенька выписал и что ему все это стоило, тотчас же решился сбыть весь драгоценный хлам итальянского вкуса с рук и завести скорее всё рококо. Дом показался ему глуп, меблировка стара, масляные картины слишком замаслены и закоптели, и — вследствие этого обитель вельможи, со всей ее обстановкой, за двести тысяч поступила во владение Василья Игнатьича.

— Ну, что, Фекла Семеновна, каково? — спросил он у жены, проходя по комнатам купленного дома.

— И, господи, как прикрасно! — отвечала она,— позову в гости Домну Никитишну, то-то, чай, подивится.

— Позови, позови, да ты смотри, примечай: ведь все шелк, а не ярославка.

— Да шелк же, шелк.

— Каменные-то статуи черт знает что, я их в сарай велю снести али в сад поставлю; а вот золоченые-то по углам — хороши: из залы-то я их в гостиную.

— Что ж это у них в руках-то словно вербы?

— А тут все шкалики ставятся, вот примером, как в люминацию.

— Ух, страсти какие! на стенах все люди! а на потолке-то! ох, страм какой! Нет, Василий Игнатьич, вели замалевать! Словно выпарилась да в передбаннике отдыхает... и лебедя из рук кормит... экой соблазн!

— В самом деле,— сказал Василий Игнатьич, смотря на потолок, в котором вставлена была мастерская картина, изображающая Леду,— пришло же в голову намалевать такую вещь!..

— Да я в этом покое ни за что бы одна не осталась, право! Мне все бы казалось, что на стенах-то живые люди,— того и гляди; что вот этот бросится с шпагой-то да убьет... Христа ради, вели замалевать, да и то еще я буду бояться... велел бы совсем щекатурку сбить да снова ощекатурить.

— Щекатурка! Тут не щекатурка, а обои, смотри-ко-сь, тканье али вязанье, кто их знает?

— Ох, ты! знает толк! Это шитье по канве.

— Ааа! вот вишь ты; бывают же такие случаи, что и бабий ум пригоден. По канве шитые! чай, ведь дорого взяли вышить во всю стену-то? Чай, ста по два за стену?

— И уж! Как дашь свою шерсть, так рублей за двадцать

за пять швея сработает. Чай, видал ты в лавке у Трофима Кириловича подушки шитые? Из его шерсти берут по два с полтиной; а работа-то не такая, а мелкая.

Рассмотрев таким образом гобелены, Василий Игнатьич с Феклой Семеновной обошли весь дом, выбрали для жилья себе задние комнаты, где была гардеробная и жил камердинер. Входя в особую картинную галерею, новый хозяин вскрикнул:

— Вот славная кладовая будет у меня!.. Тут картины-то, верно, лишние развешаны — я их сбуду, да и всё дрянь какая: капуста намалевана, разная овощь да птица разная...

— Звери-то, звери какие! — вскричала Фекла Семеновна,— коровы-то, коровы! тьфу ты, окаянная! Вели ты, пожалуйста, выкинуть эту срамоту, да поскорей бы призвать батюшку со святой водой.

Обрадовался Василий Игнатьич и величине бывшего манежа:

— Вот,— говорил он,— лабазов-то мне не нужно строить — готовый да какой славный будет!

Поселясь в белокаменных палатах, Василий Игнатьич тотчас же потщился принести пользу казне; не собственно для пользы казны, а для получения звания именитого гражданина. После этого необходимо было подумать и об сыне Прохорушке и отдать в коммерческое училище. Сын Прохорушка был малый с способностями: он тотчас перенял и *тон* и *манеру* богатых купеческих сынков, которые в свою очередь переняли тон и манеру от юных конторщиков-негоциантов с тою разницею, что этим напели еще в пеленках:

«Смотри, mon enfant или mein Kind, ты в конторщиках веди себя честно и трудолюбиво, копи деньги, сколоти капиталец, приютись сперва к кому-нибудь в компанию, глядь, со временем сам будешь негоциантом; понимаешь? Следуй вкусу людей, угождай вкусу и прихотям людей, а с своим вкусом и прихотями не суйся. Ja, mein Kind, надо копить богатство: богатство — великая вещь! Когда накопишь значительный капитал, тогда можешь жить по своим прихотям: можешь завести комнатки три чистеньких, свою кухарку, свою собственную конфорку для кофею или шоколаду, и даже патэ-фруá[1] и бутылку вина для приятелей; а до тех пор показывай вид, что ты сыт; на чужой счет вместо завтрака хоть обедай, а на свой счет вместо обеда только завтракай. Даром ничего, никому и ни для кого; потому что: *за что ж* даром давать и кто ж даром дает?»

На Руси подобных наставлений купеческим сынам не дают, потому что на Руси коммерция не наука, а свободное искусство; успех и обогащение зависит не собственно от расчету, но от *талану*. У Прохорушки нисколько не было талану наживать, а,

[1] Холодный паштет *(франц.)*.

напротив, вдруг развился талан проживать нажитое отцовское. Василью Игнатьичу очень понравилось, что Прохорушка смотрит не купеческим сынком, а чем-то тово! Фекла Семеновна не могла на него нарадоваться.

— Смотри-ко, вот дал бог нам сынка: настоящий господин, да еще и лучше,— говорила она всегда, любуясь на сына своего.

— Нече сказать, залихватский сынишко! — говаривал и Василий Игнатьич,— да, тово... боюсь, офранцузится!..

— Поди-ко-сь, уж как так ведется у господ, так не отставать-стать; господа-то знают получше нас, что делать; да и невесты-то теперь всё ученые, словно француженки; вот, примером, у Селифонта Михеича дочь Авдотья Селифонтьевна — все *мадемазелью* величают. А уж как она, голубушка, переняла по-господскому-то манежиться? Перетянута вся в рюмочку — жалости достойно! Извелась, бедная; а хорошо! Как начнет: «Мáма, мáма!» — «Что, дитятко?» — «Мне что-то дурно!» — «Отчего же, дитятко?» — «Так!» — «Как так? за обедом-те в рот ничего не взяла, как не стошниться! Ты бы чего-нибудь покушала».— *«Но!»* — «Ничего не *вулэ?»*[1] скажет и Марья Ивановна по-французскому.— *«Но!»* И, господи, какая деликатная! Куда уж ударить за что-нибудь! Слово скажи с сердцем, так так голубушка и упадет без памяти!.. Вот бы невеста-то Прохорушке!

— И на струменте играет?

— Играет! уж как играет-то! Пальчики словно взапуски бегают!

— Ну, ладно, так я не продам струмента, что в зале-то стоит.

— Не продавай!

Таким образом поговорили, поговорили, да и решили, что *быть так*. Оставалось Прохору Васильевичу кончить только науку. По летам он уже был годков двадцати, по наружности — просвещение прикинуло ему несколько годков, и цвет лица его был матовый; по статьям он был до учения малый ражий, но когда *изучился,* то несколько похудел и вытянулся.

Покуда отец и мать выжидали времени и часу, чтоб женить Прохорушку, он успел *поизбаловаться;* отец осерчал было на него за забранные без спросу у приказчика Трифона и промотанные деньги, но Фекла Семеновна убедила, что нельзя же молодцу не погулять, успокоила пословицей, что *женится, переменится,* и принялась закидывать невод на Авдотью Селифонтьевну. Дело шло изрядно; да на беду заболела бедная Фекла Семеновна. Бывало, от *засорения желудка* поест редечки с кваском — и все снова ладно; бывало, простудится — сходит в баню, выпарится хорошенько да натрется медом с солью,— и снова

---

[1] Н о *(франц. non)* — нет; в у л е *(франц. voullez)* — хотите.

как встрепанная; но, поразнежившись в боярском дому на господскую стать, нельзя уже жить и быть по-прежнему, все делать попросту; господа лучше знают, что угодно господской натуре. Прохорушка же особенно озаботился, чтоб его *тятенька* и матушка не ударили лицом в грязь; он их учил, как все ставить на благородную ногу. Не только редька, обычное лекарство Феклы Семеновны от засорения желудка, но даже орехи и сырая репа,— до которых она была страстная охотница и которыми прежде засоряла желудок,— вывелись из употребления. Вместо четверика репы и мешка орехов, надо же было по привычке грызть, употреблять что-нибудь благородное; и вот Фекла Семеновна заменила их фисташками и каштанами. Они подействовали как нельзя лучше; без доктора облагороженный желудок и не думал переваривать фисташек и каштанов.

— Надо призвать доктора, тятенька,— сказал Прохорушка.

— Поди-ко-сь, доктора! — сказал Василий Игнатьич,— доктора-то кусаются!

— Что ж, умирать мне прикажешь, что ли? — простонала Фекла Семеновна.

— Выпила бы рюмочку водки с перцем, так и все бы прошло; а то еще доктора.

— Как это можно, тятенька. Я позову Степана Кузьмича,— сказал Прохорушка.

— Что, *тятенька!* небойсь я не знаю, как они морочат людей? Приедет, расшаркается, подержит за руку, да высуни ему язык *как дурак,* а потом взял да написал записку в аптеку — и давай ему красную ассигнацию. А в аптеках-то что? Не я, небойсь, отпускал в аптеки-то спирт? Подкрасят его чем-нибудь, вот-те и лекарство! Уж, брат, знаем!

— Умори, умори меня! — прикрикнула снова Фекла Семеновна.

— Да по мне, пожалуй, бросай деньги на аптечную настойку! Наживал, наживал, а тут возьми да и кинь!

— У меня есть приятель, отличный медик, тятенька, он ничего не возьмет; после можно ему будет подарить фунт хорошего чаю.

— Ну, за вылечку, пожалуй, и фунта два дадим китайской уборки.

Юный медик, приятель Прохорушки, явился в спальню к Фекле Семеновне. Сначала она пришла в ужас, увидев перед собой молодого человека.

— Что ты это, батюшка, какого ты молокососа ко мне привел? Это, верно, ученик докторской? — прикрикнула она было на сына; но он уверил ее, что наука и опытность наживаются не постепенно, а гуртом.

Хотя молодой медик следовал не русской пословице: *век живи, век учись,* но он убедился долговременным употреблением искусства над желудком Феклы Семеновны, что действи-

тельно ars longa, a vita brevis[1]. Желудочные деятели Феклы Семеновны пришли в недоумение от фисташек и от каштанов, подняли тревогу: «Это что такое? это черт знает что, а не репа! Пусть кто хочет варит эту дрянь, а мы не будем ее варить!» Бывало, бунт прекращался редькой, и все от боязни редьки принималось снова за работу; но когда вместо горькой редьки прибыла в желудок подслащенная венская микстура и стала уговаривать желудочных деятелей немецким наречием, они отвечали ей: «Извольте сами варить, сударыня, немецкие продукты!» — и отправились в голову жаловаться Фекле Семеновне, что вот так и так, дескать, посылают нам сверху черт знает что. Фекла Семеновна, вместо того чтобы по старому обычаю приложить к голове кислой капустки, в свою очередь пожаловалась медику, что вот так и так — голову смерть разломило! Медик не долго думал; тотчас же употребил решительное средство: обложил голову льдом, к ногам синопизмы[2], к животу катаплазмы[3],— всполошил всех жизненных деятелей, забросались они во все стороны, бегут жаловаться в голову, а в голове уж пожар,— плохо! И медик видит, что плохо.

— Надо,— говорит,— сделать консилиум.

— Что такое значит это, сударь? — спрашивает его Василий Игнатьич.

— Созвать докторов на совет.

— Эх вы, сударь! спалили дом, да собирать совет, как из головешек вновь его построить!

— Я чем же виноват? — сказал обидевшийся медик.

— Чем? Уж вестимо, что ничем: где ж вам пальцем искру тушить! Поехали за трубой!

Несмотря на отца, Прохор Васильевич собрал нескольких медицинских известностей, по желанию приятеля своего, который хотел, чтоб авторитет медицины подтвердил, что он употребил все известные средства, предписываемые наукой, для восстановления здоровья Феклы Семеновны, и нисколько не виноват в том, что они не помогают.

Известности явились, по призванию, перед смертным одром Феклы Семеновны; посмотрели на нее, подтвердили болезнь, понюхали лекарства, похвалили методу лечения и потом стали совещаться на латинском языке:

— Что, как вы находите?

— Да что ж тут находить?

— Конечно. Черт знает, от чего и чем лечил он ее.

— Теперь уж все равно.

— Конечно. Чем вы кончили вчера игру?

— Ничем. Это что за новое лицо, медик? вы знаете?

---

[1] Наука длинна, а жизнь коротка *(латинская пословица)*.
[2] Горчичники.
[3] Припарки.

— Гм! кажется, гомеопат.

— Предложите ему, чтоб он взялся ее поднять из гроба.

— В самом деле; не худо бы испробовать лечить гомеопатией.

— Я сам так думал,— сказал молодой медик, лечивший Феклу Семеновну.— Гомеопатия владеет средствами сверхъестественными.

— Нисколько не сверхъестественными,— отвечал затронутый гомеопат,— может быть, так думал Ганеманн, но мы так не думаем.

— Во всяком случае, мне кажется, что гомеопатия есть такая метода, которая уничтожает необходимость в медиках.

— Это почему?

— В ней так положительны признаки болезней, так положительно действие лекарств, что каждый может лечить и лечиться по руководству.

— Но для руководства нужно познание.

— Какое познание? Нужны только опыты над самим собою, принять, например, белладону; в таком-то делении она произведет все признаки жабы; в другом — все признаки различных родов сыпи — и довольно: similia similibus curantur.

— Позвольте, господа, я уверен, что Ганеманн не изобретатель гомеопатии; он только воспользовался русской пословицей: «чем ушибся, тем и лечись». Например: похмелье есть лекарство от расстройства, произведенного опьянением.

— Да, положим, что это и так,— сказал гомеопат, затронутый аллопатом,— но во всяком случае аллопатия сбилась с пути: вместо того чтоб помогать природе изгонять из себя вкравшуюся постороннюю силу, возмущающую ее, она насилует самую природу.

— Извините! в человеке две натуры: инстинктуальная и натура привычек. Натуру привычек должно насиловать, потому что она есть то зло, которое рождает вред.

— Извините! привычки истекают из развития самой натуры и из ее потребностей; и потому нет другой натуры.

— Извините! Стало быть, нарост есть развитие самой натуры?

— Без всякого сомнения; мнимое зло было уже в корне, в самом семени: каждый член организма может выйти из границ своего предназначения, по вкравшемуся влиянию наружных сил.

— Извините! оно просто благоприобретенное или, лучше сказать, прививное.

— Прививное? Извините! никогда! Черт его прививал.

— А зараза? Не прививное зло?

— И не думало быть прививным! Это опять-таки не что иное, как внешнее влияние на развитие какой-нибудь внутренней частной силы.

— Прекрасно! Это новость!

— Нисколько не новость! Отнимите внешнюю, или постороннюю силу, вкравшуюся в организм, и зло прекращено; но не трогайте самого организма, он не виноват. На этом и основана гомеопатия.

— Поздравляю!

— Нечего поздравлять. Так действует сама природа, так действует само провидение, сберегая организм государств. Представьте себе, что внешняя сила вкралась в организм как Наполеон в Египет; не явись другая воинственная сила — англичан, Египет бы преобразовался в новую жизнь. Здесь что? Честолюбие противоборствует честолюбию, слава славе, жажда к преобладанию подобной же жажде; да, конечно! вы даже любви не изгоните ничем кроме как любовью. А знаете ли, как действует аллопатия? Как турки: чтоб обессилить неприятеля, вошедшего в их землю, они все выжгут, обратят весь край в степь, выгонят жителей, словом, уничтожат страну.

— Извините! Вы говорите так, потому что не понимаете аллопатии!

— Нет, очень понимаю!

— Нет, не понимаете!

— Нет, очень понимаю, и знаю, что грубость также принадлежит к системе аллопатии!

Слово за слово, у аллопатии с гомеопатией чуть-чуть не дошло дело до аргументов фактических. Василий Игнатьич и сын его стояли в ожидании, чем решится совещание.

— О чем же, сударь, такой горячий спор у них? — спросил Василий Игнатьич у молодого медика.

— Они рассуждают, какое употребить решительное средство для помощи Фекле Семеновне.

— Ох, помоги, господи, наведи их на разум.

После долгого, жаркого бою на словах аллопат отвернулся от гомеопата.

— Что, сударь, решили? — спросил Василий Игнатьич.

— Решили; я сейчас пропишу.

— Что ж, они говорят, что Фекла Семеновна встанет?

— Конечно.

— Ну, уж если так, то я не пожалею ничего! Так она выздоровеет?

— Я надеюсь.

— Да что мне ваша надежда, я за нее ни копейки не дам; вы мне скажите наверно.

— Я вам наверно говорю.

— Вот это дело другое. Извольте, вот шестьсот рублевиков серебром; рассчитывайтесь с ними.

— Очень хорошо; вот рецепт; скорей пошлите за лекарством.

— Ладно. Проша, ступай, брат, пошли; да скорее, слышишь?

— Слышу! — отвечал, уходя бегом, Прохор Васильевич.

— Батюшки, родные, отцы мои! Фекла Семеновна, матушка! отходит! — вскричали вдруг в один голос две старухи, сидевшие около Феклы Семеновны.

— Что такое? — вскричал Василий Игнатьич, вздрогнув и бросившись к постели жены.

— Ох, отдает богу душу! умирает! Матушка, Фекла Семеновна! — завопили снова старухи.

— Ох, что вы это говорите! Фекла Семеновна! голубушка моя! — завопил и Василий Игнатьич, припав к жене.— Господа доктора! помогите! ох, помогите! что хотите возьмите, только помогите!... Степан Козьмич! Где ж он? и доктора-то ушли! Бегите за ними, они, чай еще не уехали!..

— Э, батюшка, Василий Игнатьич, какая уж помощь!

— Догони, догони их, матушка Василиса Григорьевна, догони!

Старая Василиса Григорьевна поплелась торопливо в переднюю; но и след консультантов простыл; Степан Козьмич также исчез как привидение.

Таким образом кончила жизнь Фекла Семеновна. После первого времени горя и печали Прохор Васильевич ни с того ни с сего вдруг стал упрашивать отца, чтоб дозволил завести ему суконную или филатурную фабрику.

— Э, нет, брат,— говорил ему Василий Игнатьич,— фабрика — пустое дело; торгуй-ко ты чаем, как отец, это повернее, да и повыгоднее.

— Нет, тятенька, уж прошли те времена; сами вы знаете: сколько кипрею-то в Москву-реку свалили.

— Правда, что не те времена; да все, брат, что ж, право, фабрика — пустое дело. Вот Иван Козьмич обанкрутился.

— А отчего обанкрутился: сам дела не знает, а полагается на прикащиков да на выписного мастера. Нет, уж я не так дело поведу, я сам поеду за границу, сам все узнаю, сам куплю машину,— меня уж не надуют.

— Пустышь ты говоришь.

— Ей-ей, тятенька, нет; да вот извольте посмотреть, как идут дела у Савелья Ивановича; а отчего? оттого, что он сам ездит за границу.

Василий Игнатьич нерешительно отнекивался. Ему самому принаскучила уже чайная фабрикация. У самого в голове уже было завести филатурную фабрику.

«А что,— подумал он, наконец, после усиленных просьб сына,— кажется, из него будет толк, да, верно, и *талан* есть,— во сне видит филатурную фабрику. Дать ему капитал, пусть себе заводит как знает: недаром в науке был».

Как поехал Прохор Васильевич в путь за немецкими самопрялками и что с ним приключилось, то будет впереди; теперь скажем только, что он уехал.

III

Проходит с полгода,— ни слуху ни духу о Прохоре Васильевиче.

«Верно, замотался!» — думает Василий Игнатьич.

Проходит еще несколько времени.

— А что, брат Трифон,— говорит Василий Игнатьич своему приказчику,— Прохор-то пропал! Как быть?

— Обождите, Василий Игнатьич,— не близко место: Англия-то, чай, ведь за морем. Теперь скоро надо ждать не самого, так письма.

В самом деле, на третий день явился какой-то Соломон Берка, комиссионером от сына. По письму следует выдать ему в счет уплаты за машины и за комиссию перевоза их пятьдесят тысяч.

Деньги выданы. Время идет да идет, а Прохора Васильевича нет как нет.

Василий Игнатьич горевал, горевал, да и горевать забыл.

— Ну, верно, толку не будет из него; пропали только денежки!

А между тем приказчик Трифон Исаев, вскоре после выдачи комиссионеру Прохора Васильевича, поссорился с хозяином и отошел от него. В Москве явился какой-то чайный комитет. Не до сына Василию Игнатьичу.

В это-то смутное время доложили ему, что какой-то чиновник приехал.

«О господи,— подумал Василий Игнатьич с ужасом,— верно, беда пришла! Боюсь я мошенника Тришки!..»

— Проси, проси покорнейше!

Чиновник вошел.

— Вы Василий Игнатьич Захолустьев?

— Покорнейше прошу, сударь, садиться, покорнейше просим, сделайте одолжение.

— Скажите, пожалуйста, у вас есть сын?

— Как же, сударь, в чужих краях теперь, поехал заводить филатурную фабрику,— отвечал Василий Игнатьич, вздохнув свободно.

— Давно ли вы от него имеете известия?

— А что, сударь? Вот уж более полугода... Бог его знает, что с ним сделалось,— сказал Василий Игнатьич с новым вздохом.

— Я привез вам об нем сведения.

— Какие же, сударь?

— С ним случилось маленькое несчастье при возвращении его в Москву.

— Несчастье? о господи! верно, он болен, или... ох!.. боюсь подумать!

— Не бойтесь, несчастье не так велико: должно полагать, что шайка мошенников сговорилась его ограбить и достигла до этого; а между тем его же по подозрению взяли в городскую полицию...

— В полицию! ох, страм какой!

— И препроводили сюда.

— Батюшка, сударь, где ж он теперь?

— Не тревожьтесь, пожалуйста; ему самому совестно своего положения, и потому он скрывал свое имя и мне только за тайну объявил его.

— Где ж он, сударь, где ж он?

— Он теперь в остроге.

— Ох, осрамил мою головушку!

— Не тревожьтесь, я вам говорю; это все может кончиться без огласки; он взят только по наговорам, и потому его отдадут вам на поруки. Я обо всем распоряжусь, и вам стоит только дать поручительство, что действительно такой-то, содержавшийся по подозрению, ваш сын.

— О господи, чем мне вас благодарить!

— Мне не нужна ваша благодарность; я исполняю свой долг. Ах, да! там содержится также бывший ваш приказчик, кажется Трифон Исаев.

— Был, был у меня этот мошенник!

— Мошенник?

— О, бездельник такой, какого свет не производил!

— В таком случае, об нем ни слова. Чтоб скорее решить дело, поезжайте теперь же со мной.

Василий Игнатьич отправился куда следует свидетельствовать, что содержащийся неизвестный в остроге, показывающий себя сыном его, действительно единородный сын его, Прохор Васильев Захолустьев.

В тот же день ввечеру квартальный явился к смотрителю острога с приказанием выпустить неизвестного на поруки почетного гражданина Василья Игнатьева Захолустьева. Смотритель велел старосте привести его к себе.

— Эй, ты, безыменный! — крикнул староста, подходя к Дмитрицкому.

— Что тебе? — спросил Дмитрицкий.

— На выписку!

— Неужели?

— Ну, брат, смотри же! держи слово честно! — шепнул рябой острая бородка, известный нам Тришка.

— Смотрю! — отвечал Дмитрицкий.

— То-то; а не то, брат... Знаешь?

— Знаю!

— Да помни урок, что твой тятенька-то не тово...

— Не бойся!

Дмитрицкий отправился за старостой к смотрителю; квар-

тальный взял его под расписку и отправился с ним в дом Василья Игнатьича.

— Как же это так вы изволили попасть в тюрьму? сын такого почтенного человека,— начал квартальный беседовать дорогой.

— Что ж делать! — отвечал Дмитрицкий,— ужасный случай! счастье, что еще не убили.

— Каким же это образом случилось?

— Как случилось! Подробностей, как и где, я вам не буду рассказывать; тут не просто шайка разбойников действовала... Представьте себе, что меня опоили чем-то, кругом обобрали, заковали как преступника, и я очнулся в тюрьме. Потом вывели на очную ставку с какой-то женщиной, которая доказывала, будто я вместе с ней грабил!... Просто сон! Я по сю пору очнуться не могу!

— Удивительное дело! — сказал квартальный.— Что ж, вы подадите просьбу?

— Просьбу! Мне шепнули, что если я задумаю искать, так чтоб уж заживо велел отпеть себя.

— Удивительное дело!

Удивление продолжалось до самого подъезда к огромному дому, у которого ворота были заперты. Насилу достучались.

— Кого надо? — спросил дворник.

— Иван, это ты? — крикнул Дмитрицкий.

— Кто спрашивает?

— Не узнал!

— Да кто такой?

— Ну, отпирай! — крикнул Дмитрицкий.

— А вот я доложу Василью Игнатьичу.

— Отпирай! не узнал Прохора Васильевича.

— Ой ли? Ах ты, господи!

Дворник отпер калитку и отступил перед квартальным.

— Здорово, Иван!

— Прохор Васильевич!

— Беги, скажи скорей тятеньке.

— Бегу, бегу!

Дворник убежал вперед, а квартальный с Дмитрицким вслед за ним вошел по темной лестнице.

— Куда ж тут, вправо или влево? — спросил квартальный,— вам известнее.

— Да тут такая темнота, что я не знаю, где право, где влево.

Но навстречу нежданным гостям вышел в сени кто-то вроде приказчика со свечкой в руках.

— Пожалуйте-с! — сказал он, освещая путь чрез переднюю в маленькую залку.

— Где тятенька? — спросил Дмитрицкий.

— А вот пожалуйте, пожалуйте в гостиную.

«Егор Лукич это или Антип Григорьич? или ни тот, ни другой? — подумал про себя Дмитрицкий,— что он меня не величает?»

— А где ж Егор Лукич?

— Они, сударь, на ярмарку поехали, а я покуда вместо их,— отвечал приказчик, ставя на стол свечку и кланяясь гостям.

— То-то, я вижу, не узнаешь меня.

— То есть, как не узнаю-с, с позволения доложить, батюшко?

— Да так, не узнал меня; ты у тятеньки, верно, недавно?

— Ах, господи! мне и невдогад! Простите, батюшко, Прохор Васильевич, не оставьте своими милостями... недавно, сударь, недавно...

— Как по имени и отчеству?

— Евсей Савельев, сударь... Прохор Васильевич... Ах, да вот и Василий Игнатьич.

— Тятенька! — вскричал Дмитрицкий, бросаясь на шею к вошедшему старику, которого седые волоса подстрижены были в кружок по-русски, лицо рыжевато-красное, глаза подслеповатые, сюртук до полу.

— Постой, постой, брат Прохор, постой! С тобой, брат, мы еще рассчитаемся!

— Тятенька! — повторил Дмитрицкий, сжав еще крепче в объятиях своих старика.

— Да убирайся, говорят! эка! задушил! Покорно прошу, извините, что шелопай-то мой побеспокоил вас,— сказал Василий Игнатьич, обращаясь к квартальному.

— Мне велено только отдать вам с рук на руки.

— Покорнейше благодарю; такой казус произошел, что стыдно сказать!.. Ты ступай, брат, в баню сейчас, благо затоплена; обмой грехи-те свои... а потом я тебя попарю... слышь?..— крикнул Василий Игнатьич сердито и не обращая глаз на мнимого сына.

— Пойдем, Евсей Савельич,— сказал Дмитрицкий.

— Пойдемте, пойдемте, батюшко.

— Да, пожалуйста, спроси чистое белье; да тут платье мое должно быть старое.

Покуда Василий Игнатьич побеседовал с квартальным, попотчевал его чаем и отпустил с благодарностью за доставление сына, Дмитрицкий возвратился из бани, разгоревшись, причесав волоса, как следует скромному купеческому сыну, и облеченный в английский сюртук из гардероба Прохора Васильевича.

— Тятенька!..— вскричал он снова, бросившись на шею старику.

— Эк ты, брат, отделал себя! В два года лет десять положил

на кости! Смотри-ко-сь, то ли ты был? смотри-ко-сь на портрет-то свой! а? Ну, рассказывай!

Дмитрицкий сел подле Василья Игнатьича, закрыл глаза рукою и молчал.

— Что молчишь-то? а? Экова балбеса уродил, а толку мало!.. Где девал деньги-то? а? говори!.. Машины-то привез? фабрику-то завел?.. Эка отличная фабрика! Напрял ниток с узлами! ай да сынок!

— Тятенька, если б вы знали, какая беда, тово... случилась со мной!.. Такие мошенники... надули меня!

— Надули? не морочь, брат!

— Ей-ей, тятенька! хоть образ со стены сниму!.. Я заказал машины в Англии, половину денег вперед отдал... сперва водили, водили с полгода: все еще не готовы, говорят; а тут вдруг пропал мастер... Я подал прошение, а мне говорят, что такого мастера в Лондоне нет... что мне делать, думаю: тятенька меня убьет...

— А сколько денег-то вперед дал?

— Пятьдесят тысяч.

— Фалелей, Фалелей! да ты, брат, пошлый дурак!

— Что ж делать, тятенька, там такое заведенье.

— Пьфу! пятьдесят тысяч!.. Ну, сто-то где?

— Что пятьдесят тысяч, уж пропадай бы они; да вы извольте послушать...

— Ну!.. Эк ты, брат, и голос-то прогулял, и рожа-то, как посмотришь, словно чужая!

— Что ж делать!.. Несчастие за нечастием; поневоле не будёшь походить на себя, тятенька!.. Вы извольте послушать... С мастером-то сделал я условие, а не просто заказал ему, да и на деньги, нет, тятенька, все по форме; да кто ж знает, что там и в судах-то мошенничают заодно... Условие было писано по-английски, а я по-английски не знаю. Как подал я прошенье, а ко мне вдруг полиция...— «Это ваша подпись?..» — «Моя...» — «Так заплатите долг господину Джону Пипу».— «Какой долг?» — «Вот по этому заемному письму в пятьдесят тысяч».— «Как, заемное письмо? Это условие по заказу машины с мастером Джоном Пипом: пятьдесят тысяч следует уплатить по получении и отправлении машин в Москву; а он не только не сделал машины, да еще и скрылся сам».— «То, может быть, другое условие,— сказал полицейской,— а это заемное письмо на имя Джона Пипа; извольте платить или идти за мною». Я так и обмер!.. Вот, тятенька, как обманывают-то там, не по-нашему...

— Ай да! Ну, как же ты отделался?

— Я боялся писать к вам, тятенька, правду, и просил только о присылке денег...

— Телячья голова!.. Да лжешь, брат, ты?

— Ей-ей, тятенька, что мне вам лгать: я просто упал бы в

ноги да попросил бы прощенья. Я вез к вам это мошенническое заемное письмо; да ведь вы знаете, что со мной случилось на дороге и как меня посадили в тюрьму.

— Нет, не знаю, рассказывай! Остальные-то прогулял?

— Как это можно, тятенька; я слишком в два года прожил на себя только триста рубликов! вот что!

— Ой! лжешь! этого и на чай недостанет: что ж, небойсь, там и чай-то дешевле, а?

— Чай? да там чай-то пить нельзя; там вместо чаю-то черт знает что продают!

— Ой ли? что ты говоришь?

— Ей-ей! да это ужас и подумать. Вместо чаю там ерофеич продают... Пьфу! какая гадость, я в рот взять не мог!

— Неужели? ах, собаки! Что ж, цельная копорка, что ли?

— Э! да я бы и копорскому чаю так обрадовался, что я вам скажу!

— Неужели? Что ж, уж будто так-таки и ни листочка китайского?

— Ни листочка! говорю вам, что просто набор разных трав: доннику, васильков, бузины, листу черной смородины... ну, разных, черт знает, каких!

— Да что ж полиция-то смотрит?

— Полиция? Полиция-то там в торговые дела не мешается, что хочешь продавай, надувай как душе угодно.

— Что ты говоришь?

— Ей-ей!

— Скажи пожалуйста!.. Нет, вот у нас, так, брат, не то.

— Да что ж, тятенька, чаем-то и торговать, если не поразбавить его копоркой. Важная вещь: осьмушку прибавить на фунт. Оно же и пользительно; потому что, уж если правду говорить, так китайский-то чай целиком вреден; вот недавно один ученый написал книгу, что китайский чай сам по себе все равно что опиум, а опиум-то — медленный яд.

— Неужели?

— Ей-ей!

— А вправду, ведь от цельного китайского страшная бессонница, я сам это по себе знаю, я как-то всегда не любил цельный китайский: с копоркой-то как будто помягче.

— Да вот что я вам скажу: отчего, вы думаете, у господ-то по ночам пиры, балы да банкеты? Оттого, что у всех у них бессонница от настоящего китайского чаю.

— А что ты думаешь, в самом деле: ведь цельный-то только и идет что к господам.

— Да как же: пей-ко они хоть пополам с копорским, походили бы на людей; а то что: тени, в голове только дурь; а отчего? от китайского чаю.

— Ей-ей так! — сказал Василий Игнатьич.

— Да как же,— продолжал Дмитрицкий,— припомните-ко,

тятенька: цельный, китайской укладки, чай пили только самые большие господа, князья да вельможи; у них только по ночам и пиры были; а теперь как стал всякой шушера распивать настоящий китайский чай, так и не спится ему, завели картеж по ночам, да попойку, да музыку, пляски,— все с ума сходят от бессонницы. А что будет, как все скажут: подавай, брат, мне настоящего, с подмесью-то я не хочу!-а?

— Ох, да ты, брат, штука стал, Прохор! говоришь как пишешь! любо слушать! Жаль полутораста тысяч; да я, брат, и рад, что не завел ты фабрику; ты слушай меня: торгуй чаем: ей-ей, прибыльнее фабрики.

— Слушаю, тятенька, во всем вас слушаю,— отвечал Дмитрицкий,— уж как я буду торговать чаем, так извини: у меня китайский пойдет только на подкраску.

— Нет, брат Прохор, этого нельзя: теперь, брат, за этим смотрят, понимаешь?

— Смотрят? да мы с смотрителями как-нибудь уживемся.

— Нет, брат Прохор, прошли золотые времена!

— Зато теперь, тятенька, мишурные времена; бывало, озолотят человека, а теперь обмишурят — вот и все.

— Э, да ты, брат, голова, Прохор!

— Вот, например, меня как славно обмишурили.

— Ах, да! расскажи-ко, как же тебя ограбили на дороге?

— А вот как, тятенька: еду я из-за границы... уж я вам всю чистую правду скажу...

— Ну, ну, ладно, говори.

— Еду я из-за границы да думаю: беда мне будет от тятеньки: «Врешь, брат, скажет, прогулял деньги!» как быть; такой страх берет, что ужасть; как показаться на глаза? Постой-ка, думаю, попробую счастья в карты, не выиграю ли?

— Ах ты собака! в карты играть! да я тебя, брат, знаешь?

— Да ведь это, тятенька, я с отчаяния.

— Ну, добро.

— Приехал в Киев; а там большая игра ведется, и я тово...

— Ах ты собака! проиграл и остальные?

— Какое проиграл! выиграл сто тысяч деньгами, да разных вещей тысяч на пятьдесят, да коляску...

— Ой ли? ах ты, господи! ну?

— Как выиграл, радехонек! душа не на месте! Поехал, еду себе да думаю: слава тебе, господи, капитал сполна привезу тятеньке, да еще и коляску в подарок.

— Ну, где ж она?

— А вот послушайте: обыграл-то я одного графа Черномского...

— Графа? скажи пожалуйста! врешь, брат, куда ж тебе с графом играть!

— Ей-ей, тятенька, я обманывать вас не буду. Да, вот что

надо вам сказать: как обыграл я его, так он и потребовал, чтоб я опять играл с ним; а я говорю ему: «Нет, ваше сиятельство, покорно благодарю, мы и тем довольны».— «Так не хотите играть?» — «Не желаю, ваше сиятельство».— «Не хотите?» — «Не могу; мне надо торопиться ехать».— «Ну, хорошо же! — сказал он,— постой, дружок, постой, не уйдешь от меня!» Я думаю себе: небойсь, не уйду, так уеду! поминай как звали! И тотчас же, не мешкая нимало, поехал. Кажись, скакал на почтовых день и ночь; да в самом деле не ушел от этого проклятого... Черномского. Уж я знаю, что это он со мной штуку сыграл: верно, подкупил моего слугу. Он, верно он, тятенька; после уж мне в голову пришло, да поздно.

— Да какую же штуку он с тобой сыграл?

— А вот какую: приехал я в один город; остановился в гостинице. С дороги потребовал себе галенок чаю, напился, вдруг что-то замутило меня, так все и ходит кругом; голова, как чугунная, отяжелела: как сидел я на лавке, так и припал без памяти. Что ж думаете вы, тятенька, где я очнулся?

— Ну, ну, брат, говори! Ах, мошенники, верно зельем каким опоили тебя?

— Да уж, верно, так! Очнулся я, кругом темно, кто-то душит меня да кричит: «Воры, воры!» Господи! Думаю, что это такое? Сбежался народ, полицейские, городничий. «Вяжи его!— кричит,— вяжи мошенника!» Взяли да и скрутили руки назад. У меня со страху язык отнялся. Привели в какую-то сибирку, да и бросили на нары, вместе с колодниками...

— Ах, сердечный!

— Да, тятенька, уж я плакал-плакал всю ночь, до самого утра. Поутру повели меня к допросу. «Кто ты такой, мошенник?» — спросил меня городничий. «Не извольте так обижать честного человека; вот мои бумаги, а в гостинице экипаж и слуги,— сказал я. Хвать в карман, за пазуху, ни бумаг, ни денег. Я так и затрясся. «Ах ты, господи! — крикнул я,— ваше высокоблагородие, меня ограбили!..» «Не прикидывайся, любезный! знаем мы вашу братью! Говори, кто ты?» — спросил снова городничий. А я-то кричу: «Батюшки, обокрали меня, погубили!» — «Врет, ваше высокоблагородие,— сказал хожалый,— в гостинице никакой коляски нет; с вечеру останавливался там какой-то граф, да чем свет еще уехал». «Так ты, брат, за графа себя вздумал выдавать!» — сказал городничий. Я так и обмер, и уж ничего не помню, что говорил и что со мной было. Больного представили меня сюда в Москву. Как сказали мне, что я в Москве, в тюремном замке... ой-ой-ой! Если б знали, тятенька, что мне пришло в голову!.. Ну, думаю, не буду страмить ни себя, ни тятеньку, не объявлю ни имени, ни отечества; лучше наложу на себя руки. Так и решил было; да вот усовестил меня господин стряпчий; ему я и сознался во всем.

— Ну, брат Прохор, недаром ты переменился! — сказал Василий Игнатьич,— как посмотрю я на тебя — совсем другой человек!

— Как не перемениться, тятенька, я сам чувствую, что я уж совсем не то, что был. Да если б вы знали, как я истомился; все думаю: не признает меня тятенька и родным сыном, проклянет, со двора сгонит!

— Ну, ну, ну, бог с тобой! и виноватого бог прощает; а ты ни душой, ни телом не виноват: что ж будешь делать с мошенниками?.. Вперед, брат, и тебе наука: слушай отца!

— Виноват, тятенька!

— То-то; теперь, брат, я тебя женю, так лучше дело-то будет. Невеста ждет не дождется тебя. Да ты не говори никому, что случилось с тобой; а просто скажи, что поехал за границу, да заболел, при смерти был, скажи.

«Вот тебе раз! — подумал Дмитрицкий,— мне уж и невеста готова!..»

— Тятенька, мне надо еще окопироваться; у меня порядочного платья нет: нельзя же показаться невесте лодырем.

— Ну вот, платья нет!.. Чай, и денег-то ни копейки нет?

— Уж конечно, тятенька.

— То-то и есть, кабы жил по-человечески, так все было бы... Ну, добро, ста рублей, чай, довольно будет на окопировку?

— Французская окопировка дорога, тятенька; а мне, право, жаль денег, я и в стареньком платье съезжу, не велика беда, не взыщут.

— Э, нет, брат; это уж не годится... невеста не тово... не лохмотница, а, чай, за ней также миллион будет!

— Ведь хорошо одеться очень дорого, тятенька; того и гляди, что тысяч пять издержишь.

— Ой-ой-ой! Нет, брат, жирно; а ты все закажи русскому портному.

— Так уж лучше знаете что, тятенька?

— Ну, что?

— Мне фраки-то мочи нет как надоели; такая нищая одежда, что совестно носить... Ведь как посмотришь, так нельзя не смеяться.

— Ну, нет, брат Прохор, господа-то лучше тебя знают, что пристойно, что нет.

— Господа? Право, господа-то ничего не знают: отчего, вы думаете, немцы и французы стали носить фраки, а не кафтаны? Оттого, что у их кафтанов локти истерлись, а передние фалды обшмыгались, так они их совсем обрезали да рукава починили; с тех пор и вошли в моду фраки. Ей-ей, это по истории известно. Я, тятенька, лучше по-русски оденусь.

— Как по-русски?

— Да так, бархатное полукафтанье, шапочку-огулярочку... о, да как бы я нарядился! А на зиму кожух на соболях!

— Нет, Прохор, извини! По-русски-то не след уж тебе одеваться: я, брат, сам теперь уж не тово... а почетный гражданин на правах господских! Понимаешь?

— Понимаю, тятенька.

— То-то; мне что господа: сын мой не хуже какого-нибудь господчика; господчику отец даст пять тысяч на окопировку, а мы десять дадим! вот что!

— Покорно благодарю, тятенька; право, мне жаль денег.

— Не твоя беда! Не жалей! уж в грязь лицом не ударим! Понимаешь?

— Понимаю, тятенька.

— То-то! Нам что: свадьбу-то мы сыграем такую, что держись только.

— Тятенька, невесте-то, чай, надо подарки свезти; скажу, что из Парижа, все французское да аглецкое...

— Ой ли? Ладно! Купи французскую шаль. У нас, брат, славно теперь делают французские шали: словно настоящие. Рублей в двести такая, брат, шаль, что я тебе скажу!

— Кто ж французскими шалями дарит: дарят турецкими, тятенька.

— Ну, как знаешь.

— Вот князь... как бишь его... подарил невесте в десять тысяч шаль.

— В десять тысяч! ого-го!

— Я куплю дешевенькую, тятенька: тысячи в две, в три.

— Нет, брат Проша, уж прах ее возьми, куда ни шло! Мне что князь! Десять тысяч так десять тысяч!.. Ну, однако ж, пора ночь делить; ступай с богом, спи.

— Покойной ночи, тятенька! — отвечал Дмитрицкий, облобызав Василия Игнатьича.

И он отправился в свою комнату.

«Ну,— думал он, ложась в постель,— судьба славно распоряжается моими делами. Пришло ли бы мне самому когда-нибудь в голову сделаться купеческим сынком, Прохором Васильевичем? Какая забавная вещь... Оно бы, казалось, не совсем благопристойно урожденному дворянину играть роль купчика, который в свою очередь играет роль дворянчика; да что ж делать, так судьбе угодно; хуже, если б мошенник Тришка записал меня в свои сообщники: поди, разыгрывай роль вора и разбойника. Экой плут, экой негодяй! принудил меня быть Прохором Васильевичем и жениться на его невесте! Экой бездельник!.. Да! Ведь надо еще упросить тятеньку взять его на поруки из тюрьмы да снабдить на первый случай двумя тысячами... Ну, утро вечера мудренее!..»

Дмитрицкий утонул в пуховой постеле, задремал; но смерть жарко! Перелег на канапе, обитое кожей,— смерть неловко! Стащил на пол перину и успокоился, наконец, на равен-

луке, которым обтянута была рама кровати, как в люльке, заснул и проспал допоздна.

Василий Игнатьич несколько раз уже присылал за ним.

Одевшись, он явился к нему, поздравил с добрым утром и облобызал три раза.

— Э, брат Прохор, какой ты стал! Ты совсем извелся!

— Ах, тятенька, знаете ли что? Ваш бывший приказчик содержится в тюрьме.

— Поделом ему, мошеннику!

— Он просит, чтоб вы взяли его на поруки.

— Я? Чтоб он сгиб там!

— Тятенька, ведь он меня узнал: он ведь расскажет всем, что я был в тюрьме.

— Гм! нехорошо! Как же быть?

— Надо похлопотать, чтоб выпустили его на поруки, попросить господина стряпчего.

— Нехорошо; ну, да нечего делать в таком случае; только, брат Прохор, не проси, чтоб я его опять к себе взял! Ни за что!

— Чтоб я стал просить за мошенника, тятенька! и не думайте того.

— То-то. Ступай же, ступай; вот тебе покуда пять тысяч.

— Покорно благодарю, тятенька.

— Да что покорно благодарю, ты сосчитай; а то, вишь, обрадовался! Ну, что? пять?

— Как раз пять.

— То-то. Ох, брат, как ты переменился, посмотрю я на тебя, совсем другой человек — и руки-то похудели, стали словно боярские; и ноги-то совсем похудели, как будто вполовину меньше. Какая у тебя нога-то была, с мою; а теперь...

— Это от парижских перчаток и сапогов; такие узкие, что боже упаси. Так я поеду, покуда куплю готовое платье.

Очень естественно, что такой сметливый малый, как Дмитрицкий, не мог дурно распорядиться пятью тысячами. На них можно было одеться в павлиные перья, не только что в какой-нибудь новомодный фрак со всеми принадлежностями. Через час времени Дмитрицкого нельзя было уже узнать. Когда он приехал в магазин, спросил самые лучшие часы и золотую цепочку и сказал, что он покупает потому только, что, заторопясь ехать с визитом, забыл свои дома, француз, вопреки условиям гордости своей великой нации, благоговейно посмотрел на него, и на вопрос «Что стоит?» — не смел произнести обыкновенную цену, но увеличил ее втрое, вчетверо, словом, в соразмерность ощущаемого благоуважения к русскому барину.

— Ну, брат Прохор,— сказал Василий Игнатьич, осматривая его с ног до головы,— ей-ей, графчик, да и только! Кабы еще очки на нос надел, так во всех статьях.

— А вот они, тятенька, и очки.

— Ой ли, смотри пожалуй! все дворянские ухватки! ах, со-

бака! Поди-ко-ты, как невеста увидит, так так и ахнет. Поедем, поедем к ней, я сам поеду с тобой... Смотри-ко-сь, и цепочка какая! А часы-то есть?

— А как же, тятенька! Вот они.

— Э-ге! ну! а у меня, кстати, какие дрожки на аглецких лесорах!

— Неужели, тятенька, мы в дрожках поедем с визитом к невесте?

— А что ж, велика беда: на чем приехали, на том и приехали; а впрочем, что ж в самом деле, мы, пожалуй, и в коляске махнем.

— Надо бы в карете, четверней, тятенька.

— Э-ва! да это в самом деле скажут, что его графское сиятельство приехал.

— Тем лучше, тятенька: вам следует задать тону; вы не кто-нибудь такой — так, ничего, а почетный гражданин, миллионщик. Если захотите только, так вас в немецкой земле в археографы пожалуют и с большой печатью диплом пришлют.

— Что ты говоришь это, брат?

— Ей-ей, позвольте только мне распорядиться; ведь это, тятенька, пустяки. Вам только стоит захотеть, так вас тотчас примут в почетные члены всех европейских академий и ученых обществ; а там уж до археографов недалеко.

— Эй! вели-ко у Колобашки взять четверку коней! — крикнул Василий Игнатьич,— да скорей, тово; а ты, брат Прохор, гиль несешь! За границей такой смелости набрался, что я тебе скажу!

— Не дураком же возвратиться, тятенька; ведь там все наши учители живут; так вот, чтоб не терять время, я и высматривал, как там всякая скотина отращает себе крылья.

— Как я посмотрю на тебя: офранцузился, брат, ты совсем!

— Как же иначе, тятенька; уж это такой народ: кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. В этом и вся штука.

— Сам ты, брат, штука! ну, да добро, дело-то надо начать порядком: заслать к невесте-то Матвевну.

IV

Покуда Василий Игнатьич с сыном сбираются в дом к невесте, мы отправимся вперед, за Москву-реку, ознакомиться с Селифонтом Михеевичем, с его супружницей, с прекрасной дщерью Авдотьей Селифонтовной и с их житьем-бытьем.

Вот, на одной из замоскворецких просторных улиц, не нарушаемой ни ездой экипажей, ни толкотней народа, вы сперва увидите длинный штучный забор и ворота хитрой работы, раскрашенные масляными красками пестро, но с большим вкусом. Над воротами врезан медный окладень. Войдете на двор — пе-

ред вами как нарисованы: вправо довольно большой дом с стекольчатым крыльцом; влево за забором, усаженным акациями: людские, конюшня и сараи; прямо за лужайкой зеленая решетка сада; подле калитки колодец с колесом, размалеванный на русский затейливый вкус. В саду, как водится, беседки, вход которых стерегут алебастровые раскрашенные китайцы; в глубине сада, как водится, баня, где в субботний день вся семья выпарится, вымоется, чтоб в чистоте и благочестии затеплить перед образами лампадки и встретить воскресный день молитвой. Сад тенист и цветущ, двор зелен, дом как новенький, все как будто сейчас построено. Ни в доме, ни на дворе ни шуму, ни стуку, ни людской брани, ни бабьего крику, ни беготни, ни толкотни. Всему время, всему место, во всем порядок, все просто,— кажется, ничего нет чрезвычайного, а как-то отрадно смотреть.

Вот идет опрятно одетая баба с кувшином на погреб, нацедить мартовского кваску к обеду. Погреб чист, все в нем ладно уставлено, бочки с медом и квасом, кадки с соленой капустой, огурцами, сливами, грушей, смородиной, крыжовником; банки с различным вареньем, крынки с молоком, маслом и сметаной; по стенам не растут грибы, плесень не портит запасов, нечистая рука ни к чему не прикасается, все берется с крестным знамением. Ничто не опрокинется, не разобьется, не вытечет; на кошек и мышей нет поклепу, Дарья не сваливает на Марью, никто хозяйского не возьмет, не лизнет.

Вот молодчик в долгополом сюртуке кличет кучера:

— Иванушко, а Иванушко!

— Ась?

— Запрягай гнедых в коляску!

— Гнедых? ладно!

И кучер Иванушко, плотный, здоровый, кровь с молоком, борода по пояс, в плисовом полукафтанье, картуз набекрень — идет в конюшню; там стоит шестерка тысячных; чмокнул Иванушко — заржали, оглядываются на него, вычищены, выхолены, как декатированные. Потрепал по крупам, вывел гнедых — заманерились как свадебные плясуны. В сарае экипажи, сбруя, как на выставке. Лошади запряжены, Иванушко идет одеваться.

— Э, Иван Савельич, куда ты сбираешься? — спрашивает его людская кухарка, прибирая все в кухне чисто-начисто и перетирая посуду к обеду.

— Еду с Селифонтом Михеичем.

— Да ты бы хоть перекусил чего-нибудь.

— Некогда, сейчас подавать.

— Так возьми хоть за пазуху ломтик пирожка.

— Нет, спасибо, Савишна. Уж я не люблю из пустяков рот марать.

— Ну, а как Селифонт Михеич останется где обедать?

— Так что ж; чай, лошадей-то отпустит домой, али там накормят. Вот был я в кучерах у нашего барина, так там порядок другой: как сядешь на козлы с утра, да вплоть до утра и проездишь.

— Ах ты, господи! целый день и лошади и ты так и голодаете?

— Как можно! Лошадей-то раза четыре переменишь. Поутру вот объездишь домов двадцать; потом приедешь — запрягай другую четверню — ехать в гости обедать; отобедают, опять домой, с барыней в кеатр аль на бал, так и стоишь до утра.

— Ни пообедать, ни поужинать некогда? ах ты, господи!

— Когда ж тут об обеде думать: барину-то, чай, не ждать тебя; а уж я не люблю на скорую ручку. Вот как в деревне господа, так другое заведенье: наедут гости — так и господам, и людям, и лошадям корм, всего вволю; бывало, на конюшне-то лошадей сто чужих... Эх, да пора, пора!

Иван Савельич на козлы; а мы отправимся в дом, по чистой, опрятной лестнице, не похожей на pente douce;[1] ну, да ничего: воображению и здоровому русскому человеку, в законной одежде, не трудно взобраться на круть, дело другое, une dame[2] в длинном платье, которое спереди надо приподнимать и нести перед собою обеими ручками, чтоб не наступить на него даже на гладком паркете. Взобравшись по лестнице на окончатое крыльцо, входишь без доклада в переднюю: тут ни швейцаров, ни официантов нет, а выбежит какая-нибудь старушка, спросит: «Кого, батюшка?» — «Селифонт Михеич дома?» — «Дома, сударь, пожалуйте».

В комнатах немножко пустенько покажется с первого взгляда, да зато никакой пустоши нет: в каждой в переднем углу образ с лампадкой или целый иконостас образов. Селифонт Михеич жил по старому русскому обычаю: чисто, опрятно, тепло, приютно,— красно не стенами, а пирогами. Он жил не на господскую ногу, как многие из его собратий, не украшал комнат ни тумбами с фарфоровыми вазами, ни бумажными люстрами и канделябрами, ни гипсовыми золочеными амурами, Венерами и гениями, ни масляными огромными картинами ученической бездарной фантазии и кисти; ни всем прочим хламом, столь необходимым уже для современного человека, у которого, как у бессмысленного ребенка, разбегаются глаза на пестроту и блеск, которого занимает только внешность, который тянется только к тому, чем можно играть и забавлять себя; который кричит, когда ему не дают хлопнуть по зеркалу, разбить часы, рвать книгу, для которого всё игрушки, всё забава и, наконец, который любит только тех, кто потворствует ему и гладит по голове: «Пай дитя!»

---

[1] Отлогий спуск *(франц.)*.
[2] Дама *(франц.)*.

Вообще никаких причуд не было у Селифонта Михеича; он не то, чтобы презирал их — нимало, но называл только вещами бесполезными. «Это, сударь, кажись ничего, говаривал он, да оно вот что, я вам скажу: оно хитро, очень хитро; аплике словно серебро; бронза словно золото; да по пословице: *на хитрость-то поднимается голь*, а не кто другой; так и извольте смекать».

Разумный человек был Селифонт Михеич, богобоязлив, а следовательно, и честен; хоть и говорят, что можно и иначе быть честным, да еще не доказано. Приняв в наследие торговые обороты отца своего, правдиво нажил он огромное богатство, не утратив веры в свое слово. Супружница его была также благочестивая женщина; два сына славные молодцы, надежные приказчики отца. Но, кроме двух сынов, была у него и дочка, Дунюшка. У Марьи Ивановны один грех пал на душу: страстная любовь к хорошенькой дочке. Все зло пошло от крестной матушки, жены закадычного друга Селифонта Михеича, Ирины Степановны. Она воспитывалась в пансионе и внесла в купеческий быт своего мужа всю изнеженность, все причуды барышни, которая училась говорить по-французски, танцевать, играть на фортепьяно, которая не могла выносить ни простого слова, ни простой пищи, ни простой одежды, ни простой жизни; которая алкала французской шляпки, французской материи на платье, французской прически, духов, помады; словом, всего французского, а не русского. Когда Григорий Андреевич стал свататься за Ирину Степановну, Селифонт Михеич говорил ему: послушай моего совета, Григорий Андреевич, женись лучше на француженке, чем на французской кукле. Но этот совет не помог, сначала даже развел друзей. Сначала Григорий Андреевич возвеличался было молодой женой; не прошло недели, как почувствовал он, что из хозяина приходится ему, для мира и спокойствия, обратиться в приказчики: виноват не виноват, а отвечай за все, даже за скуку и недоброе расположение духа Ирины Степановны; то то не так, то другое не так, то слишком крепко обнял, то больно ухватил, то бороды не люблю, то кухарки не терплю, найми повара. Ужасный переворот в доме; переворот к так называемому просвещению или, лучше сказать, к утончению, к рафинировке, к разнообразию, к быстрому прожитку, к раздроблению вещественных и невещественных капиталов, капиталов внешних и внутренних, денежных и производительных, капиталов ума и чувств, словом, к эксцентрическому стремлению и преломлению всех лучей для образования миражей и мнимых солнц.

Как ни тягостно было для Григория Андреевича преобразование, как ни тяжел был супружеский его быт с Ириной Степановной, но между мужем и женой все шито да крыто: на душе мыши скребут, а на лице такое благорастворение воздуха, такая ясная погода, что боже упаси. Если супружеское счастие похо-

роненo, так про него, как про мертвого: aut bene, aut nihil[1]. Так и делал Григорий Андреевич; зато всему соседству, всему знакомству и всем кумушкам нечего было сказать про Григория Андреевича и Ирину Степановну, кроме: «Вот чета! какой мир и согласие!»

Ирина Степановна, не имея собственных детей, полюбила крестницу свою как душу. Снаряжала маленькую Дунечку во всю роскошь детских нарядов с Кузнецкого моста; снабжала ее тьмой кукол и игрушек; откармливала ребенка всеми затейливыми сладостями кондитерских. Очень естественно, что родной маменьке это было по сердцу и не отстать же ей от крестной маменьки. И вот она привыкла нежить Дунечку, как нещечко, понемножку привыкла быть *детской рабой,* величать ее, в подражание крестной маменьке, генеральшей. Но будущей генеральше надо было знать непременно французский язык, танцевать и играть на фортепьяно. Эта мысль стала беспокоить и Марью Ивановну; а Селифонту Михеичу стало казаться, что Дунечка родилась под особенною какой-то счастливою звездой. По совету Ирины Степановны, на одиннадцатом году отдали ее в пансион под особенный личный присмотр и попечение содержательницы пансиона.

Хотя содержатели и содержательницы пансионов и обязываются условиями пансиона брать всех воспитанников до единого под личный присмотр и попечение; но у них существует еще какой-то особенный личный присмотр и особенное попечение. Эта особенность приобретается особенной суммой. Дунечка была особеннее всех прочих воспитанниц благородного пансиона. Для нее все особенное: комната, прислуга, чай, завтрак, и всякий день лакомства, особенное снисхождение к причудам, к лени, к привычке ныть, и даже к *я не хочу!* Добрым ее родителям не трудно было дать особенное понятие о ее необыкновенных способностях и успехах. Крестная маменька была надежный судья в ее познаниях французского языка: она всегда разговаривала с ней по-французски.

— *Коман-ву портеву*[2], Дунечка?

— *Фор-бьян, а-ссе-бьян,*— отвечала всегда Дунечка фразой заученных разговоров.

— *Иль фо-дир: фор-бьян, мадам,* Дунечка; *компрене-ву?*

— *Же-н-се-па.*

— *А, иль-фо-дир: мадам. Аве-ву-промене ожурдюи?*

— *Нон.*

---

[1] Или хорошо или ничего (*латинская пословица*).

[2] Как вы поживаете?
— Очень хорошо, вполне хорошо.
— Нужно говорить: очень хорошо, мадам, Дунечка; понимаете?
— Я не умею.
— Нужно говорить: мадам. Вы сегодня гуляли?
— Нет.

— *Пуркуа-нон?* [1]

— *Же-н-се-па.*

— *Иль-фо-дир: же-н-се-па, мадам.*

— Какой чудный язык! — повторяла Марья Ивановна, смотря с восторгом на дочь.

— Очень, очень порядочно говорит уж,— замечала Ирина Степановна.— *Жуэ кельк-шоз сюр фортепьяно,* Дунечка.

— *Но, же-н-се-па!*

— *Ну, ну, жуэ! вальц жуэ.*

Дунечка, покобенясь немножко, садилась за фортепьяно — трын, трын, трын,— *нон, же-н-се-па вальц, же-ублиэ.*

— Ну, кадриль.

— *Кель кадриль?* — спросит Дунечка, как будто и бог знает сколько кадрилей играет; и застукает клавишами единственную, на изучение которой иссякла вся ее способность к музыке.

Во время игры вся семья стоит за ее стулом и слушает с удивлением. Иногда и сам Селифонт Михеич посмотрит-посмотрит, да и скажет:

— Хитрый струмент придуман!

— Да ты слушай! — скажет ему Марья Ивановна, толкнув легонько рукою, чтоб молчал.

При чужих Дунечка ни за что не играла. Сама мать попросит-попросит ее, да и заключит просьбу словами: «Что с ней будешь делать, такая стыдливая!»

Матери очень хотелось, чтоб она выучилась играть русские песни; но мадам, которая учила Дунечку на фортепьяно, один раз навсегда сказала: «Фи! кто учит русские песни! мужик учит!» — а потому и Дунечка отвечала всегда на желание матери: «Кто ж, маменька, играет на фортепьяно мужицкие песни».

Для танцев природа Дунечки была не слишком гибка; но все-таки это искусство как-то больше всего дается девушкам, особенно же при современном падении танцевальной шагистики, когда *полька* вертит всем головы, когда вместо ног выделываются *па* головой, когда и без танцев у прекрасного пола голова кружится, а сердце не *ходит* в груди как бывало, а пляшет, по простонародному выражению, *трепака.*

Теперь ни девушки между собою, ни в разговоре о девушках не говорят уже о внутреннем приданом: о богатстве ума и чистоте души, о достоинстве свойств и о чистоте сердца; даже

---

1 — Почему?
— Я не знаю.
— Нужно говорить: не знаю, мадам.
— Сыграй что-нибудь на фортепьяно.
— Не хочется.
— Ну, сыграй! сыграй вальс.
— Нет, я не хочу играть вальс, я забыла.
— Какую кадриль? *(франц.)*

не говорят и не спрашивают вообще о здоровье существа, помышляющего о замужестве; но спрашивают только, как велико приданое, и по количеству денег выводят расчет о выгодах замужества. О чем не говорят, значит, что об этом нечего и говорить. О чем не спрашивают, значит, что то не нужно. Люди перестали верить в очарования, и женщина, чародейка по естеству, потеряла власть свою над мужчиной. Волшебный взор, пленительный голос, могучие слезы — стали бессильны. Мужчина подходит к ней смело, глядит ей прямо в глаза, говорит ей не запинаясь, как будто приглашая на мазурку: угодно вам? Ей одно остается: или радостно подать руку, или отвечать: engagée, monsieur! [1] Тем бал и кончен.

Нигде нет такой постоянной беседы о хорошеньких прохожих, о женихах с усами и без усов, о замужестве по любви, по сватовству, о приданом и о бесприданницах, как в женских пансионах. Здесь-то по части чувств, любви и замужества составляется винегрет понятий из наслышек, из сказок и романов. Здесь-то все промежутки времени между необходимостью выучить урок и *сдать* его, наполнены самыми очаровательными мечтами о суженых и ряженых.

Известно, что арифметика, до первых четырех правил, совершенно необходимая вещь при современном образовании девушки. Без арифметики девушка не могла бы ценить себя. Не зная еще этой хитрой науки, Дунечка сначала робела перед рослыми и перед толстыми подругами; но когда выучилась считать до миллиона и когда узнала, что во всем пансионе только она одна миллионная невеста, а все прочие, кто десятитысячная, кто тысячная, а бо́льшая часть просто «бесценных» существ, — тогда Дунечка поняла, что́ она такое, поняла причину особенного попечения о себе содержательницы пансиона и всей ее прислуги. Какою способностью своей круглой, с двумя вставленными серыми гляделками, головы она понимала — трудно решить; но верно поняла, что не только красота — прах, но и весь человек с своими внешними и внутренними достоинствами прах, и даже официальными оценщиками становится в числе тленных вещей, за которые никто не отвечает, потому что отвечать можно только за нетленное золото. Поняв это, Дунечка поняла без сомнения и то, что только в золотом окладе можно чваниться и кобениться; она это и исполняла в точности.

Когда ей совершилось пятнадцать лет, в купечестве начали поговаривать сперва о миллионе, а потом и об ней; свахи заглядывали в ворота как гробовщики, прослышав о больном богаче, и поговаривали: «Славная невеста! миллион приданого! а какая манежная!»... Сваха Матвевна, ходившая по делам женихов купеческого звания, готова была съесть сваху Сергевну, которая поставляла невест людям чиновным: кавалерам, инара-

---

[1] Я уже приглашена, мосье *(франц.)*.

лам, и прочим, и прочим, только не прапорщикам и не маиорам: неизвестно, почему все невесты терпеть не могут первого оберъ-офицерского и первого штаб-офицерского чина.

Припомните, пожалуйста, что Фекла Семеновна, супруга почетного гражданина Василия Игнатьича, повела было сватовство сына Прохорушки на Авдотье Селифонтьевне. Матвевна употребила все чары на ее отца и мать, а главное, на крестную матушку Ирину Степановну, во-первых, чтоб не пускать на двор Сергевну, а во-вторых, чтоб отклонить Дунечку от генеральства. «Сударыня ты моя,— говорила она ей,— что тебе генерал: я тебе просватаю графчика». И насказала она ей такие страхи про генералов, как они на войну ходят, как учат жен солдатской темп выкидывать и маршировать под барабан, и какую экзекуцию чинят над женами, и как вместо служанок держат при них денщиков, и прочее, и прочее, что Дунечка пришла в ужас.

— Неужели денщиков, Матвевна?

— Ей-ей! вот-те Христос! да ведь же и нельзя иначе по солдатскому быту: ведь женщины-то в поход не ходят, сударыня; ну, и служат генеральшам-то денщики: денщики и белье стирают, и детей нянчат, и всё, вот что; военные-то барыни ведь так уж и родятся, у них и стыда на то нет; а тебе, сударыня, такому нéщечку, такой неженке, где ж вести жизнь солдатскую, в лагерях? На тебя ветерок пахнет, так беды-то, беды! Нет уж, избави бог! Я тебя так полюбила, что и сказать нельзя! Не приведи бог прослышать, что ты за военного или за чиновника замуж идешь! руку наложу на себя! ей-ей!.. А чиновники-то, сударыня? Посмотри-ко-сь, как их под суд да под суд, а жизнь-то какой ни на есть чиновницы! Да будь ты, примером сказать, хоть бы и штатская советница, а над тобой-то начальницы и губернские секретарши, и асессорши, и регистраторши, и сенаторши, и действительные какие-то, да еще есть и тайные какие-то, бог их знает, все тебе начальницы по мужу; и изволь ездить с поклоном; а уж это, сударыня, не то что приехал в гости, да и сел, да еще и угощают — нет! настоишься и в передней, покуда позволят войти да с праздником поздравить! Присягну, сударыня, если все это неправда! Выведала я всю подноготную их. Да и отчего ж бы мне не сватать, как Сергевне, чиновных-то лиц? Сама скажи? еще и выгоднее; да бог помиловал, я не такая бессовестная!.. Нет, сударыня Марья Ивановна, дочке вашей я просватаю графчика!

— К чему нам графчик,— говорил Селифонт Михеич,— нашелся бы под стать купеческий сын, лучше бы было.

— Ах, нет, тятенька! — вскрикивала с обиженным чувством Дунечка.

— Что «нет, тятенька»? а?

— Ничего, тятенька.

— Ох, да не мешайтесь в наши дела, Селифонт Михеич, уж

не беспокойтесь, будет все и по-вашему и по-нашему,— возражала Матвевна.

И наговорила она короба с два про Прохора Васильевича, сына почетного гражданина. Дело шло уже к тому, чтоб показывать невесту; да Фекла Семеновна заболела, умерла, а Прохорушка отправился в Немечину. Прохорушка, взяв у отца деньги на покупку машин за границей, отправился из Москвы как раз перед Ростовской ярмаркой. Известный уже нам несколько приказчик Трифон поехал провожать его.

Прибыв на Ростовскую ярмарку на неделе, которую величают там второй неделей масленицы... Но оставим его покуда догуливать и обратимся к нашему герою, который в отсутствие Прохорушки играет роль его так искусно, что бог ведает, как в этом подсолнечном и подлунном мире отличить ложь от истины, мнимое от настоящего, и даже черное от белого.

Когда Василий Игнатьич радостно и горделиво насмотрелся на своего мнимого сынка, одетого по последней моде, тотчас же послал за Матвевной.

— Постой, постой, брат Проша, куда? не уходи, сиди! — сказал он Дмитрицкому, который, показавшись почтенному родителю, хотел было поцеловать у него ручку и шаркнуть вон.

— Постой, брат, постой, вот придет Матвевна, пусть-ко посмотрит на тебя да скажет, пригоден ли ты Авдотье Селифонтьевне.

— Матвевна придет, тятенька? — сказал Дмитрицкий, смекнув дело,—а я было хотел съездить к Иверской!

— Оно так и следует; да постой: что ты, брат, нанял за слугу такого? такая скверная рожа!

— У кого? у Конона? Помилуйте, тятенька; вы посмотрели бы, что за душа у этого человека! и что за верность, что за усердие! так и сторожит меня.

— Мне не нравится.

— Знаете, тятенька, я ведь забыл, как бишь Матвевну-то величают по батюшке? — спросил Дмитрицкий.

— Да Матвевна же и есть по отце; а зовут-то ее Соломонидой; ну, садись и нишкни. Слышишь?

— Слушаю, тятенька.

— Она тут близко живет.

Матвевна не заставила себя долго ждать.

Она вошла в дверь, обратилась к образнóй, перекрестилась и потом, низко кланяясь, возгласила:

— Здравствуй, батюшка, Василий Игнатьич, все ли вас бог милует, как изволите поживать?.. Ох, господи, так и замирает душа, как вспомнишь Феклу Семеновну.

Василий Игнатьич откашлянулся.

— Матвевна,— сказал он,— вот его графское сиятельство пожаловал ко мне...

— Ах, ваше графское сиятельство; извините; я такая дура, что мне и не в примету... что вы здесь изволите сидеть!..

— Так вот, Матвевна,— продолжал Василий Игнатьич,— их графскому сиятельству есть дельце до тебя.

— Какое, батюшка?

— А вот какое: их графскому сиятельству угодно жениться на Авдотье Селифонтьевне.

— На Авдотье Селифонтьевне? их графскому сиятельству? Ох, да вы меня, сударь, морочите.

— Ей-ей, так! — отвечал Василий Игнатьич, разгорясь от довольствия, что Матвевна в самом деле почитает его Прохора Васильевича за графа.— Вот что, Матвевна; оно, то есть, ничего, так себе, его графское сиятельство хочет отбить невесту у моего Прохора! Ась? Каков его графское сиятельство? Матвевна, а?

— Ох, да вы, Василий Игнатьич, морочите меня! — повторила Матвевна, всматриваясь в сидящего перед Василием Игнатьичем франта, в белых перчатках, с тросточкой, в зеркальных сапогах.

«Не узнает меня, Соломонида Матвевна,— подумал Дмитрицкий,— да и где ж узнать, мы уж с ней, чай, не видались с самого создания мира. Заговорю с ней по-вороньи, может быть догадается».

И Дмитрицкий откашлянулся, подернул головой и пожал неуклюже плечом.

— Оно, то есть, Соломонида Матвевна, не изволили признать меня,— начал он скороговоркой,— а мы, кажется, всегда со всяким почтением пребывали аккурат, то есть, как следует.

«Ох, да что ж это,— подумала Матвевна,— кто ж это такой? По перьям-то графчик, а по голосу-то сдается, не тово...»

— Ну, что ж задумалась, Матвевна,— сказал Василий Игнатьич.

— Ой, насмехаетесь надо мной, сударь Василий Игнатьич, сердце чует...

— Чует? да еще не расчухала? а? Матвевна, как ты думаешь?

— И думать-то не знаю что... да неужели уж...

— Уж нечего скрывать, тятенька, я вижу, что Соломонида Матвевна узнала меня,— сказал Дмитрицкий.

— Прохор Васильевич? Господи! да кто ж бы подумал? — вскричала Матвевна,— и в глаза смотрю, да не узнаю!.. да как переменился.

— А? Матвевна, вот он каков приехал из-за границы-то, сам на себя не похож! — сказал Василий Игнатьич.

— Что ж, сударь, действительно переменился, да к своему же авантажу.

— А?.. Прохор, встань-ко да перевернись на одной ножке, по-французскому-то.

— Извольте, тятенька,— отвечал Дмитрицкий. И он встал, прошелся по комнате en galant homme [1], перевернулся на одной ножке и сделал *приятную мину* Соломониде Матвевне.

— Ну, что скажешь, Матвевна? — спросил Василий Игнатьич.

— Ну, уж правду сказать, великатес, батюшка! уж такой стал графчик, бравой да гибкой, словно на пружинах!.. поопал в лице только, чай, с дороги? Когда пожаловал?

— Не о том дело, Матвевна, а вот что: ты побывай сейчас же у Селифонта Михеича, понимаешь?

— Понимаю, понимаю, сударь. Господи! да еще бы Авдотья Селифонтьевна не пошла за такого женишка! а с родителями-то ее был уж лад.

— То-то; так ты как знаешь, так и делай, чтоб до поста дело покончить. На-ко, вот тебе на гарнитуровое платье да на платок.

— Много благодарна, Василий Игнатьич, помню и прежние ваши щедроты; из одной доброй памяти милостей Феклы Семеновны я бы Прохору Васильевичу просватала царь-девицу, ей-ей!

— Ну, ну, не сули журавля в небе, дай синицу в руки.

— Добро уж, добро, прощайте, сударь! Ну, графчик, нéче сказать!

— Ах, да, тятенька; кстати Соломонида Матвевна напомнила: ведь я за границей приторговался к графству.

— Как к графству приторговался?

— Да так; там стóит только купить графство, то есть поместье, так и граф. Если пожалуете мне денег, я тотчас же покупаю.

— Ой? неужели? А много денег?

— Тысяч двести, не больше; чудное именье! Какие виноградные сады, какие вины! Да вот вы знаете вейн-де-граф?

— Как не знать.

— Ну, так вот именно; по этому графству и вино называется графским.

— А шампанеи там нет?

— Немного: тысяч пять кустов виноградных, на десять тысяч бутылок.

— Ей-богу?

— Не более.

— Слышь ты, это мало! В самом деле не худо бы!.. Слышь, Матвевна, ты покуда никому не говори!

— Ни слова, сударь!

— Ну, то-то, ступай, ступай себе с богом, да не мешкай!

— Уж я буду мешкать!

Матвевне не впервые пришлось возбуждать в девушке

[1] Как светски воспитанный человек *(франц.)*.

смертную охоту поскорее выйти замуж, восхищать ее воображение чудным женихом, поселять в сердце алчную к нему любовь, внушать страстное желание скорее быть просватанной и боязнь, чтоб дело не разошлось. Это был какой-то морок.

— Знаю я, сударыня,— говорила Матвевна, как Пифия,— что это твой суженый, не обойти его конем!

И омраченная девушка, при первом свидании с своим суженым, не спрашивала уже ни у одного своего чувства, по сердцу ли он ей, а потупив глаза только думала, как бы ему понравиться. Она готова уже была на веру в слова Матвевны *без смотру* стать под венец.

Авдотья Селифонтьевна была не царевна премудрая, Матвевне стоило только зайти в ее покой, всплеснуть руками, ахнуть и вскричать:

— Радость ты моя, Авдотья Селифонтьевна, какое счастье тебе выпадает! На днях гадала о тебе, выходит жених, на пути, да и только; ну вот выходит, хоть сто раз клади карты, не оттасуешься! А сегодня, сударыня... ох, дайте собраться с силами!.. запыхалась!

— Говори, душечка Матвевна!

— Вот дух переведу... Ох! какой бравой, какой приятной, какой богатой, что́ за щеголь! что наши здешние графы и князья!

— Да говори, душечка Матвевна, кто ж он такой?

— Уж вестимо, что не какой-нибудь голь-инарал!

— Да кто ж он такой? милочка Матвевна!

— Погоди, не вдруг... ей-ей! вот уж не ожидала!.. Видела я его и прежде, хорош был, красавец, вот и все; а теперь, как побывал во французской-то земле — ну! уж я и не знаю, что сказать. Купил там графство — вот слыхала ты про *графское вино,* что подают на стол?.. из его поместья... купил за двести тысяч... ей-ей!

— Голубушка Матвевна, да кто ж он такой?

— Кто такой! сударыня ты моя! готовь только подвенечное платье, а уж графиней-то будешь! И до отъезду-то его за границу, я уж видела, что за человек, и тебе же его прочила.

— Мне? да ты мне сватала сына Феклы Семеновны... а его не сватала.

— Не сватала?

— Когда ж ты сватала? разве с маменькой говорила... А почетной-то гражданин, эка великая вещь! мы сами почетные, что ж тут такого особенного?

— А то и особенного, сударыня, что права-то те же дворянские, хоть шестерку запрягай в карету иль коляску; а в кармане-то миллион; а у простого-то дворянина — шиш! Вот тебе и что особенного. Вот он купил себе графство, да и граф; ступай себе куда хочешь подбоченясь; а дворянин-то выслуживайся, да еще разве что до инаральства дослужится.

Авдотья Селифонтьевна задумалась, подставила одну ручку под локоток другой и опустила голову на ладонку, забыв, что мадам твердила ей всегда, что это *мушичка так делает.*

— Да неужели же это... как бишь... Прохор Васильевич?

— Ох, догадлива ты, Авдотья Селифонтьевна! и не видывала такой барышни! ей-ей! Зато уж и я тебя люблю! В старину какой-нибудь королевич увидел бы тебя в трубу у окошка, и быть бы тебе королевой; да теперь не те времена, перевелись королевичи, да и царств-то стало мало: вот только и есть что русское; да иноземные аглицкое, французское, да немецкое, да еще какое-то; да и те все едино, один у них царь был Аполион.

— Помилуй, Матвевна, а турецкое-то?

— Вот тебе раз; какое ж у турок царство, там просто султан сидит с усами по колено да с трубкой в руках; да и какие ж там женихи?

— Ты видела его, Матвевна? — спросила Авдотья Селифонтьевна, снова задумавшись.

— Гм! бежала бы я сюда опрометью, если б не видела!

— Так ты говоришь, Матвевна, что он в Париже купил себе чин графской?

— Что чин,— поместье с виноградными садами!

— Стало быть, он там и жить будет, как женится?

Этот вопрос смутил Матвевну; ей пришло в голову, что в самом деле Прохор Васильевич, купив во французской земле поместье, вздумает жить там, и это расстроит свадьбу. Селифонт Михеич и Марья Ивановна, подумала она, ни за что не отпустят дочки в чужую землю, да и Авдотья Селифонтьевна, верно, не согласится идти за французского помещика.

— И, бог с тобой! — вскричала она в ответ,— зачем же жить во французской земле, что там делать-то?

— Ах, нет, Матвевна; уж если я пойду за него замуж, так с тем, чтоб ехать жить в Париж, в свое именье, непременно!

Матвевна совсем перепугалась.

— Ах, друг ты мой сердечный, да избави бог! На этом условии ни отец, ни мать твои не согласятся отдать тебя замуж! Уж ты хоть до свадьбы-то не говори никому, что жених-то твой французской помещик. И! да старики и руками и ногами отбрыкаются от него! Не говори, ни за што не говори!

— Ну, хорошо, я не скажу; а уж это непременно; не то я и замуж не хочу идти. Теперь все ездят в Париж. Ведь все моды-то, Матвевна, идут из Парижа: там настоящие, а здесь что, дрянь, да и как дорого, если б ты знала: я видела у мадам Лебур настоящую шляпку, прелесть! да они еще и не продают настоящие парижские шляпки, а выписывают себе для образца да и шьют по ним: уж где ж так сшить, как в Париже. А перчатки-то французские, платки-то бур-де-суа, материи-то французские — прелесть! да и всё; а здесь-то что?

— Правда, правда, нечего и говорить,— отвечала Матвевна.— Ох ты, мое солнышко светлое! Как разрядит он тебя там графиней, что это будет! на удивление!

И с этим словом Матвевна расцеловала Авдотью Селифонтьевну: а у Авдотьи Селифонтьевны так заколотило сердце от желания сейчас же, сию минуту выйти замуж и ехать тотчас же от венца в Париж, что если б не Матвевна же принялась уверять ее всеми святыми, что это сбудется, то она, по русской поговорке, пошла бы да и утопилась.

V

На Матвевну можно было полагаться. Она предуведомила Василья Игнатьича, чтоб, пожалуйста, он до времени не говорил никому, что сынок его покупает во французской земле графское поместье.

— Ладно, ладно,— отвечал он,— помолчу, помолчу! Я уж и деньги выдал Прохору. Так завтра нас ждут?

— Завтра, сударь, чайку откушать.

— Да ты бы, Матвевна, намекнула, чтоб бутылочку вен-де-графцу приготовили, что, дескать, я очень люблю это вино, слышишь?

— Скажу, скажу, Василий Игнатьич; что ж им значит бутылочка белого; и шампанского поставят, если прикажете.

— Нет, до шампанского еще дело дойдет; а вот вен-де-графцу-то непременно! Ступай себе, мне надо ехать.

И Василий Игнатьич отправился к Сидору Яковлевичу, знакомому погребщику, прямо в его погреб *ренских вин,* и, не успев порядком разговориться о добром здоровье, потребовал бутылку вен-де-графу.

— Прикажете завернуть?

— Нет, брат, раскупорь,— сказал Василий Игнатьич.

— Извольте, сударь. Да что ж простого столового; не прикажете ли попотчевать вас шампанским?

— Что? простого столового? Нет, брат, настоящий-то венде-граф вино не простое, а графское, оттого и называется так.

— У нас, Василий Игнатьич, самое лучшее, подлогу нет, извольте откушать.

— Покажи-ко бутылку; здешней разливочки?

— Да как же, сударь; белое ренское привозится в бочках.

— Что? как бы не так!

— Ей-ей; да вот извольте спросить у Трофима: он жил у Леве.

Василию Игнатьичу раскупорили бутылку, налили вина в рюмку и подали на подносе. Василий Игнатьич хлебнул и поморщился.

— Нет, Сидор Яковлевич, извини; это, брат, не вен-де-граф!

— Помилуйте, Василий Игнатьич, буду ли я подавать вам другого вина; сами же изволили потребовать вен-де-графу. Что ж, вен-де-граф неважное вино из ренских: всего-то в полтину серебра бутылка, а для вас полтора рубля. У нас, сударь, всякие вина есть: бургонское самое лучшее, мадера-с, малага, что прикажете.

Василий Игнатьич задумался было, поверив на слово приятелю своему Сидору Яковлевичу, который уступал ему вина в полцены против Леве, и если б Прохор Васильевич был налицо, он бы тут же пугнул его за покупку дрянного поместья с кислыми винами; но, к счастию, ему кое-что пришло на мысль.

«Э! да какой я дурак!» — подумал он.— Знаю, брат, знаю, что есть у тебя и малажка и всякие иностранные вина, да русского изделия.

— Что-с? как-с?

— Да так, брат, чай бочки-то с ренским вином везут тебе из Крыма, а уж тут, брат, подсластить, да подкрасить сандальцом, да подпустить взварцу какого ни на есть не штука.

— Так что ж такое, Василий Игнатьич,— произнес с обидой Сидор Яковлевич,— уж коли в иностранных землях что делают, так нам и не делать; а на что ж, сударь, наука? Известное дело, что ренское вино цельное родится везде только белое да красное, а уж другого не бывает. Да куда ж, сударь, цельное-то годится? Если не фабриковать его, так что в нем? Ординарное или, так сказать, столовое, вот и все: и кисло и без всякого запаху, да и крепости никакой. Надо правду сказать, что французы мастера фабриковать: по сю пору все вина до единого идут под названием французских; «погреб французских вин», да и кончено-с; а тут и немецкие и италиянские, только вот аглецких вин совсем нет-с, потому что народ такой, способности нет. Портер аглецкой да пиво, вот их дело. Так изволите ли видеть, до сих пор французы в секрете держали, как фабриковать и малагу-с, и фронтиньян, примером сказать, и дремадеру-с, шампанское, и разные сорты, ну люнель и еще, как бишь его... да вот несколько лет случилась там революция-с, то есть вот как в животе бывает — перессорились все да передрались; вот-с и понесло их — кто куда. И развелись фабрики; секрет-то открылся; а теперь уж в книгах печатают; как и шампанское делать и малагу-с, а вен-де-граф....

— Нет, брат, нет, морочишь, Сидор Яковлевич! ей-ей не поверю. Вен-де-граф, брат, так уж вен-де-граф; его только на месте и делают; а это черт знает что!

— Как угодно, Василий Игнатьич; да извольте потребовать другого винца.

— Нет, нет, спасибо; прощай покуда!

— Да позвольте отпустить с вами бутылочку хоть вот венгерского.

— Нет, нет, брат, спасибо; прощай покуда!

— Да вам, может быть, дорого показалось? для вас мы за свою цену уступим: по рублю бутылка.

— Нет, нет, брат! Вен-де-граф по рублю бутылка! Настоящее французское вино по рублю бутылка! — прикрикнул Василий Игнатьич, остановясь вдруг в дверях,— пьфу! да я тебя знать не хочу! нашел дурака! надувай, брат, телячью шкуру, а не меня!

И Василий Игнатьич, гневный, отправился из погреба иностранных вин в магазин иностранных вин и потребовал бутылку вен-де-графа.

— Да послушайте,— сказал он, бросая ассигнацию в пятьдесят рублей серебром,— мне дайте настоящего, а не поддельного, что хотите возьмите, хоть сто рублей за бутылку, только уж настоящего!

Гордый *комми*[1] не отвечал ничего Василию Игнатьичу, а, приказав завернуть бутылку, вычел, ни слова не говоря, два рубля пятьдесят копеек за вино.

— Так в два с полтиной-то настоящее? — сказал Василий Игнатьич, сосчитав деньги.

— Настоящее,— отвечал комми.

Приехав домой, он нетерпеливо потребовал штопор и рюмку, раскупорил бутылку, налил рюмку, посмотрел на свет, хлебнул и плюнул.

— Где Прохор? позови его ко мне! — В это время наш Прохор Васильевич был в раздумье; получив билет на двадцать пять тысяч от Василия Игнатьича, он вздохнул, стал тосковать о Киевской и Подольской губерниях, где жизнь его текла привольнее, ничто не связывало, ни чин, ни звание, ни состояние, где просто величали его пан Дмитрицкий, и где как ласточки кружились около него панны, где паны предлагали ему ставить на карту деньги, а панны сердце.

«Раздолье! — подумал он,— что, не опять ли туда? а? Васенька, что скажешь? Говори же откровенно, что, хочется? Да нельзя, душа моя, ведь ты теперь Прохор Васильевич. Во-первых, мошенник Тришка приставил к тебе дядьку, который не выпустит добром из Прохоров Васильевичей, а во-вторых, тятенька такой добрый, так заботится о тебе. Вот женишься, дело другое: возьмешь в приданое миллион; тогда можно подумать об отставке, а теперь что: дал тятенька двадцать пять тысяч в задаток на покупку именья во Франции, а не знает того, что у тебя еще в России тьма необходимых расходов. Половину надо отдать бедному заключенному на расходы по делу его; а остальные в пользу бедного человечества; притом же надо как-

[1] Приказчик, продавец (*франц.*).

нибудь рассеять тоску; сам ты знаешь: не легко человеку, имеющему понятие о жизни, быть Прохором Васильевичем. На такую роль нельзя согласиться без полного бенефиса. На бенефис мы дадим *«свадьбу»,* а потом подумаем, что предпринять дальше. «Женишься — переменишься», пословица говорит; а я, любезный друг, душевно желал бы, чтоб ты остепенился, получил оседлость, заслужил у добрых людей честное имя, принес хоть какую-нибудь существенную пользу человечеству. Человечество, мой милый, бедно, любит существенную пользу и всякого рода приношения. Ты можешь и самого себя и всех ближних и дальних лишить чего угодно и облаготворить человечество, и это будет и честно и справедливо. И в самом деле, чего жалеть какого-нибудь гнусного, жирного, удобренного счастливца для несчастного, страждущего человечества? Не правда ли?..» — Эй! Конон! ты здесь?

— Да здесь же!

Из передней вошел слуга, вроде театрального черта, одетого в холопскую ливрею.

— Ты мошенник?

— Никак нет!

— Ну, так плут?

— Никак нет!

— Так ты, следовательно, честный человек?

— Отчего ж не честный-то, сударь: я у вас, Прохор Васильич, ничего не украл.

— Да отчего ж это, Конон, воры не любят, чтоб их называли ворами?

— Вор по улике; а как не уличишь, так какой же он вор. Да тот еще вор, кто не спросясь чужое берет; а я всегда спрашивался у своего хозяина. Как велит, так дело другое: я человек подвластный, кормлюсь жалованьем, что прикажет Трифон Исаич, то и делаю. Поди-ка у него не сделай, так он такую втулку подбоченит, что все сусло вытечет.

«Ого,— подумал Дмитрицкий,— с каким деловым народом черт свел меня!»

— Чу, Василий Игнатьич изволит спрашивать вас,— сказал Конон,— а Трифон Исаич приказал доложить, нельзя ли еще хоть столько же завтра получить.

— Скажи Трифону Исаичу, чтоб он до свадьбы не беспокоился.

И Дмитрицкий пошел к своему тятеньке.

— Пошел рыскать по Москве! Ох, Прохор, не люблю я этого! — сказал Василий Игнатьич,— что у тебя за поведенция такая!

— Напрасно, тятенька, не любите: я все хлопотал по вашему делу, насчет, то есть, покупки имения.

— Да что именья, черта ли именья. Я не хочу, брат, кислого графского вина! поди-ко-сь! десять тысяч бутылок, по два с

полтиной в продажу! Выкинь из них за выделку, за провоз из-за границы, за бутылки да за закупорку, так того и смотри, что наживешь по гривне с бутылки! пьфу! На-ко, попробуй!

— Это уксус, что ли, тятенька?

— Нет, брат, не уксус, а твой вен-де-граф.

— Это? это? помилуйте! Где это вы взяли?

— Купил в иностранном магазине.

— Гм! здесь вы хотите иметь настоящий вейн-де-граф! Да здесь и вкусу его не знают! По два с полтиной бутылка! Ха, ха, ха, ха! А на месте оно вдвое дороже. Знаете ли, за какое вино его продают здесь?

— Ну, не знаю.

— За лакрима кристи, потому что этого вина и самому папе на целый год недостает.

— Скажи пожалуйста! мошенники! то-то бессовестный народ! — воскликнул Василий Игнатьич с глубоким чувством негодования.— Так морочить добрых людей! Одно вино продавать за другое, да еще за какое! за лакрима кристи! Повесил бы, собачьих детей! ей-ей, повесил бы!.. Так ты говоришь, что вен-де-граф-то идет у них за лакрима кристи?

— Именно, тятенька; уж это я наверно знаю.

— Так достань, брат Прохор, попробовать. А почем продают они бутылку... как бишь?

— Лакрима кристи? Не меньше пятнадцати рублей крошечная бутылочка, не бутылочка, а пузырек.

— Да это вино, чай, как лекарство, пить можно по рюмочке от разных бóлестей?

— Разумеется, тятенька.

— А бутылка вен-де-графу-то что нам будет стоить на месте?

— На месте? не больше рубля серебром.

— Ну, да положим за провоз рубля хоть полтора с бутылки, всего-то пять рублей; а они катают пятнадцать! а? А сколько бутылок вина можно выделать в графском-то именье?

— Тысяч двадцать в худой год.

— Скажи пожалуйста! ведь двести тысяч в год доходу! рубль на рубль! Послушай, Прохор, ты, брат, не говори никому, что мошенники-то продают настоящий вен-де-граф за... как бишь?

— Лакрима кристи.

— Да; а за вен-де-граф продают простое ренское; не говори никому. Уж они, канальи, так опозорили его, что не продашь дороже двух с полтиной. Не нести же убыток; мы его так уж и будем продавать за... как бишь?

— Лакрима кристи.

— Да; так уж и будем. Не на нашей душе грех, черт с ними! А именья нельзя уступить.

— Разумеется, тятенька. Мы свой откроем погреб.

— Свой, непременно свой; не погреб, а магазин.

— А какое венгерское я умею делать из монастырского вина, знаете, что продается здесь по рублю бутылка,— просто чудо! Сам венгерский король не узнает, что не настоящее.

— Ой ли?

— Ей-ей! Еще не простое, а столетнее, которое продается червонца три за бутылку на месте.

— Что ты говоришь?

— Ей-ей!

— Ну, откроем, брат Прохор, магазин вин; я чайную торговлю брошу, черт с ней! От нее теперь нету никакой прибыли, а еще того и гляди, что беду наживешь: такая непомерная строгость, что боже упаси!.. Ну, да добро, молчи. Не пора ли нам к Селифонту Михеичу? Чай, ждут нас?

— Я готов.

— Ну, так поедем,— сказал Василий Игнатьич.— За невестой, Прохор, миллиона на полтора будет... Вот как женишься, так ты, брат, сам съезди опять за границу да поищи там, нет ли еще каких статей поприбыльнее.

— Я тоже об этом думал, тятенька. С деньгами там, знаете, каких секретов можно накупить!

— Хитрóй там народ живет, подумаешь!

— У, что наш народ против тамошнего,— овца!

— Овца, ей-ей овца!

— Овца, тятенька; а пора уж, кажется, чтоб чужие волки не драли с нас шкуры!

— Ей-ей так! — воскликнул Василий Игнатьич, разгораясь более и более злобой на промышленных иностранцев.

— Пора, тятенька, своим завестись.

— Ей-ей так, брат Прохор!

Рассуждая таким образом, Василий Игнатьич подъехал с сыном к палатам Селифонта Михеича.

VI

Прямая русская хозяйка сохранилась только в простом быту. Это не хозяйка-барыня и уж далеко не хозяйка-дама. Известно, что когда иная хозяйка-барыня готовится принимать гостей, тогда дым идет коромыслом: тот беги туда, та сюда, то подай, того не подавай; то поставь, другое вынеси; тут вычисти, здесь вымой, там подотри! И во все углы мечется она сама, хлопая истоптанными башмачками, которые служат вместо туфель. Иначе и нельзя: это шаг от так называемого невежества к так называемому просвещению. Новый порядок всегда смешной порядок. Бывало, в доме все вековое, каждой вещи своя честь и свое место, будни не мешайся с праздником; а теперь иной толк, иной вкус, как во времена татар. Как водится, недо-

вольные своим первые бросаются встречать и принимать чужое; собственно трусы торопятся подражать, а храбрецы бороться, по старой памяти: лучше пасть, чем идти в полон, даже к французам.

Хозяйка-дама, это уж что-то не свое, это уж, собственно, не хозяйка, а что-то такое, чему теперь на Руси и имени еще нет, а в старину, во время немецкого нашествия называли просто *фря,* откинув от gnädige Frau [1] прилагательное.

Марья Ивановна была хозяйка старого быта, но вчерне: у ней на все случаи были запасы; гостиные комнаты чистехоньки. Не только муха, но и пылинка не садись в них на почетную мебель, да и сама Марья Ивановна со всей семьей не присядет, из уважения к своим гостям, на гостиные кресла; она заботливо всех обходит, угощает чем бог послал, разве иногда присядет на кончике подле какой-нибудь сударыни-матушки Анисьи Ивановны, сложит ручки, поахает о чем-нибудь, да и снова пойдет обходить с радушным возгласом: «Да что ж это вы не изволите кушать, или уж нам счастья нет! да выкушайте на здоровье, да хоть пригубьте!»

А гости и гостьи чинно сидят и, по обычаю, отнекиваются от избытка угощений, уверяют, что уж душа не принимает, и все-таки кушают в угождение хозяину и хозяйке. Сроду в доме у Марьи Ивановны не было ни плясок, ни музыки; но когда выросла дочка да вышла ученой-преученой из пансиона, тогда и Селифонт Михеич и Марья Ивановна вздохнули; но один вздохнул о старом порядке вещей, а Марья Ивановна уже по новом; ей, по-старому влиянию просвещения на женщин, моченьки нет как хотелось сделать бал; но Селифонт Михеич решительно сказал, что он даст бал только на свадьбу дочери. Вследствие этого (что делать!) Марье Ивановне ужасть как захотелось скорее просватать Дунечку; но что она ни предпринимала, ничто не клеилось: Дунечка непременно требовала генерала. Когда Матвевна объяснила, что у ней есть графчик, тогда и у Дунечки и у Марьи Ивановны сердце пришло на место. За согласием Селифонта Михеича дело не стало; он не знал, что Прохор Васильевич — графчик, был радехонек, что отдаст дочь за купецкого сына, да еще и за такого же миллионщика, как сам. Вот и настал день ожидания жениха «на чашку чаю». Бог весть, что сделалось с Марьей Ивановной! она заметалась во все углы, как барыня. И кондитера-то ей подавай, и без повара-то нельзя обойтись; и лакеев-то для прислуги надо нанять, и жирандоли-то взять напрокат,— не подсвечники же поставить на стол; и сальные-то свечи — срам какой! и в комнатах-то курить не смолкой же.

— Владыко ты мой, господи! — воскликнул Селифонт Ми-

---

[1] Милостивая государыня *(нем.).*

хеич, посматривая на жену; но он не привык с ней ссориться и только терпеливо читал молитвы от наваждений бесовских. Однако же, когда Марья Ивановна вместо повязки гарнитурового с золотой бахромой платка примеряла перед зеркалом купленный при помощи кумушки на Кузнецком мосту чепчик, Селифонт Михеич плюнул и хотел идти вон.

— Селифонт Михеич, посмотри-ко-сь! — крикнула к нему Марья Ивановна.

— Что тебе, матушка!..— произнес он, остановясь, сердито.

— Посмотри-ко, душа, каково?

— Ну что ж тут есть хорошего-то: чепешница!

— Где ж тебе толк знать; а я тебе вот что скажу, Селифонт Михеич: куда как непригодно ходить тебе в долгополом-то чекмене; ты бы послушал меня, надел немецкий сертук.

— Тьфу ты пропасть! Ну, уж я вижу, что ты пошла на старости лет в сук расти! — сказал Селифонт Михеич, махнув рукою и уходя.

— Вот мужья! изволь на них угодить!..— проговорила Ирина Степановна, без которой никогда бы не пришло в голову Марье Ивановне изменять обычный свой порядок и носить чепцы.

— Да бог его знает, что он окрысился так,— сказала Марья Ивановна,— этого с ним сроду не случалось: бывало, и причуда какая-нибудь придет мне в голову — и то ничего; а теперь поди-ко-сь, как расходился!

— И! уж все таковы, кумушка; только до поры до времени. Ваш еще что, поворчал, да и ушел; а посмотрели бы вы, мой, бывало, как браниться начнет; да я в глаза-то не смотрела, на первых порах осадила.

— Что ж ты, вцепилась в него, что ли, Ирина Степановна?

— Вот, дура я на медведя лезть! Нет, кумушка, есть на все манера благородная.

— Да какая же манера, Ирина Степановна? уж когда пошло на спорное дело, так слово за слово, да и за святые власы.

— И, господи, полноте, кумушка, известное дело — в ком сила, в том и воля: оттаскал, да и поставил на своем; и в другой раз так и в третий; небойсь ждать, покуда умаится? покорно благодарю! Как высушит в лучину да переломает бока, так уж тогда к ляду и воля! Нет, кумушка, я не допущу сказать себе одного слова неприятного; не могу! со мной тотчас дурнота: так и покачусь без памяти.

— Дурнота? поди-ко-сь! — прервала Марья Ивановна с невольным сердцем,— попала, верно, твоя дурнота на дурака, кумушка!..

— Извините, кумушка, мой муж не дурак!..— возразила с обидой Ирина Степановна.

— Ну, дурак не дурак, а родом так: поверил бы разумный человек дурноте твоей!

— Поневоле поверит, как ляжешь в постелю мертвым пластом!

— Экое горе! ляжешь в постелю! Ты ляг, а тебя еще и привяжут: лежи, сударыня моя, сколько душе угодно! Посмотрела бы я, долго ли бы ты пролежала без памяти! Чай, тотчас бы: «Батюшка, помилуй! государь ты мой, помилуй! не буду французскую дурноту в голову забирать!..»

— Чтоб я стала просить прощенья за то, что меня же обидели? Чтоб я покорилась? Ни за что, ни за что, вот ни за что!

Ирина Степановна, в сердцах и обиде, расходилась по комнате, распетушилась. Дунечка также вспыхнула, как обиженная, и выразила нижней губой презрение к словам матери: понятия крестной матери были ей и по голове и по сердцу и вполне согласовались с приобретенными в пансионе, где она не раз слыхала глубокие рассуждения подруг о замужестве, о глупых мужьях, о злых мужьях, о распрях, о бранях и побоищах. Только что упомянула Марья Ивановна о святых власах, у Дунечки зазвучало в ушах затверженное наставление, как поступать с глупыми и злыми мужьями.

— Скажи пожалуйста, какая ты храбрая!..— продолжала Марья Ивановна с насмешливой улыбкой.

— Да, храбрая! Я не позволю, чтоб со мной неблагородно обходились!

— И, матушка, где ж всем набраться благородства-то; да и сама ты худо сделала, что вышла не за благородного...

— Прощай, Дунечка!..— сказала затронутая Ирина Степановна.

— Рассердилась? не на век ли? Если не на век, так и не уходя можно было бы помолчать, покуда уляжется сердце.

Ирина Степановна, не поклонясь куме, ушла; Дунечка надулась на мать, а Марья Ивановна, вздохнув и промолвив «о-хо-хо!», задумалась и, не зная, кого обвинить в ссоре ее с мужем и с Ириной Степановной, напала на чепчик.

— Черт, верно, сидит в нем, прости господи! — крикнула она вдруг, сдернув чепчик с головы и бросив на стол.— Ни за что не надену эту проклятую нахлобучку! В самом деле, пришло же в голову на старости лет в чепцы рядиться! Благодарить бы бога и за то, что дочь будет госпожой ходить! Возьми-ко, прибери себе, Дунечка, чепчик; выйдешь замуж, так наденешь его.

— Покорно благодарю! Очень нужен мне старушечий чепчик! — отвечала Дунечка, не двигаясь с места.

— Ах ты паскудная! брезгает матерью! Да ты знаешь ли, что я по сю пору берегу матушкину одежу? по праздникам только и надеваю. А?

— Еще бы из лубка пошили, да и мне бы приказали носить!

— Ах ты недобрая! Так вот чему учили вас в пансионах-то! Так-то вы по-французскому уважаете родителей?

Эти упреки нисколько не трогали сердца Дунечки, она с пре-

небрежением слушала их и ворчала про себя: да, так, уж конечно по-французскому, а не по-русскому!..

Марья Ивановна не умела выходить из себя, нисколько не была злопамятна, и потому все эти маленькие междоусобия кончились заботою о приеме жениха и долгими прениями Марьи Ивановны с кондитером. Марья Ивановна хотела все угощения, по обычаю, поставить на стол, разливать чай сама; а кондитер говорил, что это не годится, *не следует*.

— А почему ж, мой батюшко, не следует?

— Как почему ж, уж это известное дело-с,— отвечал он ей.

— Да что же тут известного-то?

— Да как же, сударыня: ведь уж известно, как гости пожалуют, так следует разносить чай; а потом часок спустя фрукты да конфеты, так оно так точно и будет.

— Да отчего ж не убирать стол?

— Я уж вам докладывал, что поставить все на стол-то, сударыня, не годится. Известное дело гости: ставим мы буфеты на балах; не наготовишься ничего: иная старая ведьма десять раз подойдет; платья-то теперь широкие, с карманами; полпуда уберет — в складках-то и невдогад никому; ей-ей! годовой запас привезет домой!.. Да, по мне, как угодно; мне еще выгоднее: вместо пяти фунтов конфет потребуется пять пудов; да еще и не пять: известное дело, что это выдумали французские кондитеры; им чего жалеть чужого кармана; а нам, сударыня, не приходится так делать.

— Ну, ну, будь по-твоему!

— Да как же, сударыня, не по-моему: известное дело, что на все нужен порядок: сперва чай подадим, а потом, часок спустя, десерт; так оно так точно и будет.

— Ну, ладно, ладно! — отвечала Марья Ивановна и от кондитера бросилась на кухню. Там-то она подивилась заморскому поваренному искусству.

— Это что, мой батюшко?

— Труфели.

— Что ж это, неужели едят эту дрянь?

— А как же, сударыня.

— Ну, привел бог видеть; а в рот не возьму!

Таким образом новые, чужие вкусы водворились между старыми своими, понемножку, как ложка дегтю на бочку меду.

Для приезда Василья Игнатьича с сыном весь дом нараспашку. Ворота отворены, у ворот караулит гостей дворник; на крыльце фонарь зеркальный в виде звезды, в тысячу огней. Два сынка Селифонта Михеича сбежали с лестницы навстречу гостям и, указывая руками ступени вверх, повторяли: «Пожалуйте!» В передней ожидал сам хозяин, в зале — хозяйка, в гостиной — дочь, из-за дверей спальни высунулась Матвевна и шепотом окуражива Дунечку:

— Не робей, сударыня; смелее с ним, да по-французскому, по-французскому с ним.

За Матвевной стояла толпа баб и девок.

— Здравия желаем, Селифонт Михеич! — возгласил Василий Игнатьич, входя в переднюю.— Вот вам гость, каков есть: дрянь, сударь, дрянь, не хвалить же стать свое дерьмо! Прошу любить и жаловать! Кланяйся, Прохор!

— Очень рад, батюшка Прохор Васильевич, что изволили пожаловать к нам!.. Покорнейше просим!

— Здравствуйте, матушка Марья Ивановна! — продолжал Василий Игнатьич, вступая в залу. Вот, сударыня моя, не один к вам приехал, а с помощию божией сынишку привез в благорасположение ваше.

— Благодарю покорно, Василий Игнатьич! наслышались много.

— Позвольте изъявить мое почтение-с,— сказал наш мнимый Прохор Васильевич, подходя к ручке Марьи Ивановны и кланяясь, закинув голову назад.

Марье Ивановне по сердцу было такое учтивство.

— Молодчик какой вырос сынок ваш, Василий Игнатьич,— сказала она,— покорно просим! пожалуйте! Рекомендуем вот дочку нашу!

— Авдотья Селифонтьевна! — продолжал Василий Игнатьич,— ну, благодать божия родителю и родительнице такой дочки.

Дмитрицкий ловко шаркнул и поклонился своей будущей, остановив на ней томный, как будто умирающий взор, пораженный ее красотою.

— Просим садиться! сделайте милость!

— Так вот так-то, батюшка Селифонт Михеич! — сказал Василий Игнатьич, садясь на указанное хозяйкой почетное место.— Благословен бог в начинаниях!

— Так-с, Василий Игнатьич,— отвечал Селифонт Михеич,— действительно так-с.

Василий Игнатьич хотел было продолжать свое начинание, но дверь распахнулась, и *мальчик* кондитера, малый лет двадцати, разряженный как парижский франт, явился в гостиной с огромным подносом. Мосьё, да и только! за него совестно, что прислуживает. Прическа головы модная, запоздалая только годом; галстук, манишка, жилет, фрак и так далее, белые перчатки, все это во вкусе времени, щеголевато, как на современном jeune premier;[1] даже сладкая *мина,* говорящая: не угодно ли вам чаю? была похожа на театральную мину предложения услуг и сердца.

«Что ж ты, братец Прохор Васильич, уселся, да и молчишь

---

[1] Первый любовник *(франц);* в дореволюционном театре сценическая роль, обычно — героя пьесы.

дураком? Поговори с будущим тестюшкой»,— сказал сам себе Дмитрицкий и пересел к хозяину.

— Какой прекрасный, приютный дом у вашей милости, Селифонт Михеич.

— И, помилуйте, что ж это за дом, это домишко, сударь; вот у вашего батюшки так дом — палаты; барской, убранство господское!

Дмитрицкий тотчас смекнул по ответу Селифонта Михеича, что неуместной похвалой задел его за живое. Селифонт Михеич не жаловал барства в купеческом быту и про Василья Игнатьича говаривал: «Залетела ворона в высокие хоромы».

— Что ж в этом барстве и убранстве, Селифонт Михеич? По мне, если позволите сказать между нами, не только тятенькин, да и всякий дом господской постройки, просто повапленный сарай; для житья непригоден, ей-богу-с! Под трактир отдать или фабрику завести в нем — так-с; для фабрики очень хорошо-с, и поместительно и все. Я был вот и во Франции и в немецких краях: там теперь никто не живет в палатах; например, вот-с в *Пале-ройяле,* то есть в королевских палатах, гостиной двор завели; а во всех *отелях,* то есть господских домах, трактиры; уж если скажешь, что живешь в отеле, так просто значит в трактире.

По сердцу было Селифонту Михеичу это известие.

— Вот, Прохор Васильевич,— сказал он,— радостно как-то и видеть рассудительного человека; и в чужих землях побывает, наберется ума, а не шàвели. А вот, сколько детей не только нашего брата, а господских, ездили во французскую землю, да что ж вывезли-то? что переняли-то? Срам сказать.

— Уж и не говорите, Селифонт Михеич! — проговорил со вздохом Дмитрицкий,— насмотрелся я.

— Очень, очень приятно, Прохор Васильевич, что вы в молодости так благорассудительны; очень, очень радуюсь знакомству; прошу только нас полюбить; мы, надо вам сказать, люди простые. Сынки у меня не учились наукам разным; ну, а могу сказать, не обидел бог — надежны.

Селифонт Михеич показал на двух молодцов, стоявших в сторонке, *гладких* и гладко причесанных, в немецких сюртуках.

— Сделайте одолжение, позвольте познакомиться! — сказал Дмитрицкий и тотчас же подошел к ним, пожал руки и просил благорасположения.

— Вот дочка у нас, благодаря бога, была в науке, тоже как у добрых людей, пофранцузилась немножко; что делать!

— Я слышал, что Авдотья Селифонтовна прекрасно поет,— сказал Дмитрицкий.

— А бог ее знает, училась у мадамы, поет, да не по-русски, так я и толку не разберу. Вот женщины сметливы: Марья Ивановна моя, в зуб толкнуть по-французскому не умеет, а говорит, что понимает все, что поет Дуняша.

— Без сомнения, французские романсы и итальянские арии: ах, как это хорошо!

— Вот вам известно это; так после чаю мы ее и спеть заставим.

В самом деле, после чаю Селифонт Михеич сказал что-то на ухо Марье Ивановне, а Марья Ивановна дочке своей.

— Не могу я, маменька, с первого разу, нет! — отвечала Дунечка матери также шепотом.

Долго продолжались переговоры, наконец она встала с места и произнесла жеманно вслух:

— Сегодня, маменька, у меня совсем голосу нет.

— L'appetit vient en mangeant et la voix vient en chantant, mademoiselle [1],— сказал Дмитрицкий, обращаясь к своей невесте.

— Вуй! — проговорила она, не поднимая глаз на своего жениха, и пошла к фортепианам.

— Извольте послушать, Прохор Васильевич,— так ли она поет,— сказал Селифонт Михеич.

— Послушаем, послушаем,— возгласил и Василий Игнатьич,— садясь по приглашению хозяйки на стул,— у меня точно такой же струмент стоит в зале, да играть-то некому; нет, мой не такой, а углом, и струн-то под ногами побольше, чем у этого. Как бишь, Прохор, называют струмент-то?

— У вас, тятенька, ройяль, а это фортепьяно.

— Фортепьяны, фортепьяны, настоящие фортепьяны,— крикнула Марья Ивановна в то самое время, как Дунечка, разместив очень удачно пальцы по клавишам, хотела было взять аккорд и промахнулась целой октавой.

— Ах, маменька, вы говорите под руку! — проговорила она тихо, но с досадой, начав снова прелюдию к арии.

«Хвали, братец Прохор Васильевич, свою невесту»,— сказал Дмитрицкий сам себе и потом крикнул:

— Браво, браво! ах, как хорошо! какой туш!

— Не говори, батюшка, ей под руку, не любит,— шепнула ему Марья Ивановна.

— Право, я не знаю, что петь,— сказала Авдотья Селифонтовна, начав снова ту же прелюдию.

«Господи, какое наслаждение быть Прохором Васильевичем и женихом такой невесты,— тихо проговорил Дмитрицкий, неосторожно зевнув,— надо быть животным, чтобы не чувствовать этого! Ну, как не порадоваться на такое существо? Как не поблагодарить сивилизацию за такие метаморфозы! Узнаешь ли Дунечку-дурочку, перетянута в рюмочку? барышня, да и только! подле фортепьян сидит, итальянскую арию поет — какова? Браво, браво».

---

[1] Аппетит приходит во время еды, а голос во время пения, мадемуазель *(франц)*.

— Тс, уж не мешайте, Прохор Васильевич. Слава богу, что начала.

— Не могу, матушка-сударыня, Марья Ивановна, ей-ей не могу! сердце заходило! Это такая сивилизация, что чудо!

— А что, во французской-то земле также, чай, поют?

— Кто ж теперь поет! Там сивилизация; поют только русские песни; а это называется *шантэ, мадам!* шантэ, шантэ!

— Ой ли?

— Ей-ей!

— Так же, кажется, и Дунечка говорила; вот, как вы, Прохор Васильевич, все знаете, так куда как приятно! да уж помолчим теперь, благо распелась.

— Извольте, помолчимте, матушка-сударыня Мария Ивановна. «Метаморфозы! — продолжал про себя Дмитрицкий, наслаждаясь картиной, которую стоило бы поставить в латунную рамку.—Посмотри, Прохор Васильевич, на тятеньку: вельможа! да и ты сам — кто узнает, что ты не Прохор Васильевич? Ну, была ли бы возможность без сивилизации так ухитриться, заставить дерево расти корнями вверх? Вот жена будет тебе, Прохор Васильевич! Что я говорю, какая же жена! Жена просто значит жена; всякая дрянь может быть женою; а это будет в своем роде Саломея Петровна, несколькими тонами пониже, правда, и весом не так увесиста; но вес может пополниться тягостью; а тону еще наберется: молода и в Саксонии еще не была».

— Что, каково, Прохор Васильевич?

— Чудо, чудо! просто оркестрино! бесподобно!

— Что, брат Прохор, а? — спросил Василий Игнатьич,— жаль только, что хоть вот немножко бы, так, то есть подпустить, как по-нашему: *«Я жила-была у матушки дроченое дитя!»* Эх, ты!

И Василий Игнатьич прищелкнул пальцем. Приливочка к чаю заговорила в нем.

— В старину-то бывало! а? Селифонт Михеич! Как думаешь! Оно и конечно, почет, нечего сказать, и превосходительные нам, то есть, нипочем... и палаты княжеские, да тьфу! все уж оно не тово... на душе-то как-то, ех-ма!.. Так вот изволите видеть... Марья Ивановна, Селифонт Михеич, пожалуйте-ко сюда!

Василий Игнатьич повел хозяев в гостиную, а наш Прохор Васильевич принялся очаровывать Авдотью Селифонтовну. Сроду не слыхивала она таких сладких речей, которые как газ наполнили пустой шарик, находившийся на ее плечах, вздули его, и Авдотья Селифонтовна, без малейших затруднений, вознеслась под самое небо.

В тот же вечер было решено: быть свадьбе.

Часть восьмая

I

Теперь следует слово о настоящем Прохоре Васильевиче. Припомните, мы уже сказали, что он был в науке, очень удачно пошел по следам купеческих сынков, проникнутых насквозь западным ветром, носил фрак, пальто-сак и тому подобные вещи; начал было водиться с *знатными* людьми, по воксалам и по отелям, где реставрируется Вавилон; но на все это нужна была полная воля и полная доля; а по природе своей Прохор Васильевич, как Телемак, не мог обходиться без Ментора. Привычный ментор его, отцовский приказчик Трифон Исаев, опасаясь заблуждений юноши посреди *чужи,* наводил его на родное: *погулять на славу* и посмотреть, как *«живут среди полей и лесов дремучих».*

Очень естественно, что тятенька Прохора Васильевича, нажив миллион *неисповедимым трудом,* был скуп, не любил, чтоб сын тратил деньги на *пустышь,* а на препровождение времени *как следует,* во всяком случае, и на свой лад и на чужую стать потребны были значительные суммы. Вследствие этого Триша объяснил Прохору Васильевичу, что слишком натягивать счеты в книгах тятенькиных — опасное дело: того и гляди, что лопнут; а что самое лучшее и скорое средство для приобретения капитала — английские машины; тем более что для Прохора Васильевича настало уже время пасть в ноги родителю и сказать:

— Тятенька, дозвольте слово молвить, не рубите неповинную голову! Вот уже третий раз вижу во сне, что вы, тятенька, пожалованы в советники коммерции, и изволите приказывать мне завести филатурную фабрику и ехать самому за море за английскими машинами. Дозвольте ехать, тятенька! Так уж, верно, богу угодно: чью же мне исполнять волю, как не тятенькину!

Василий Игнатьич усмехнулся от умиления; сон Прохорушки был ему по сердцу; потому что нельзя же не верить тому, что три раза во сне приснится, и вот он доверил сыну на первый раз с полсотни тысяч и благословил его в путь за машинами на волшебный остров.

Путь на волшебный остров лежал, по маршруту Триши, через Ростов, куда Прохор Васильевич в сопровождении своего ментора и прибыл в самый разгул ярмарки. Здесь началась его самобытная жизнь; молодецкая душа вдруг созрела, потребовала какой-нибудь питательной страсти и предложила на выбор три пути:

По первому идти — в полон прийти, по второму идти — мертвую чашу испити; а по третьему идти — нищету обрести.

У первого пути стояли всё красные девушки да молодушки, точно писаные: сами песни поют, добрых молодцов зовут: «Ах вы, милые мои, разлюбезные мои, не пригодно вашей братье мимо терема идти, не заглядывати, не захаживати!»

У второго пути всё разгульной народ, всё похмельной народ; кто прищелкивает, кто притопывает, никого не зазывают, никого не манят, а понравится, пожалуй, от товарища не прочь.

А у третьего пути словно княжеский почет: «Да пожалуйте, сударь, к нам в гостиные палаты, не приходится к разгульным да к похмельным вам идти!»

Сами под руки ведут, стопу меду подают. «Уж у нас ли здесь раздолья ваша милость не найдет? Жены честные, разлюбезные, в золотой стопе подносят не кабацкое вино».

Прохор Васильевич несколько стыдлив был от природы и как-то совестился подойти к красным девушкам и молодушкам; Триша зазывал его на второй путь; но купеческому сыну не под стать казалось сообщество приказчика; свой брат купчик как-то более был по сердцу; притом же ему с таким уважением свидетельствовала свое почтение ростовская купеческая знать, что он не в силах был отказаться жаловать на чашку чаю. Здесь ментор его не мог присутствовать даже невидимо, и потому Прохор Васильевич был на полной свободе от его влияний.

Прохор Васильевич знал и в Москве, что такое *горка,* но не пытал еще счастия в картах. Для горки также необходимо было быть капиталистом, потому что это тот же bank [1], только времен варяжских.

Первая чашка чаю стоила Прохору Васильевичу десять тысяч рублей; он поморщился, но прием, ласки, почтение, угощение Ильи Ивановича и особенно прекрасной его сожительницы так были радушны, любезны, обязательны, что Прохор Васильевич забыл о проигрыше и думал только о *знатных людях* и о том, чтоб скорее «пожаловать на чашку чаю, а лучше всего откушать хлеба соли», на другой же день.

---

[1] B a n k по-английски — возвышение, холм, горка. *(Прим. автора.)*

— Вам, сударь, Прохор Васильевич, надо беспременно поотыграться,— говорили ему,— нам, право, совестно, пренесчастный был день для вас.

Возвратясь домой, Прохор Васильевич ни слова Трифону ни о горке, ни о десяти тысячах; похваливает только доброту хозяина и хозяйки.

— И хозяйка добрая? То-то, смотрите, Прохор Васильевич, да нет ли еще, подобрее и их самих, дочки?

— Нет, никакой дочки нет.

— То-то, знаете, чтоб к хвосту не пришили. Да что ж вы там так долго делали?

— Всё разговаривали.

— Ой ли? Экие словоохотливые! Так только одна хозяйка? Чай, там в карточки играют?

— Э, нет! Так закормили меня, что по сю пору голова болит, и обедать не пойду. Ступай один, гуляй на мой счет.

— Да на свои деньги?

— Вот тебе сторублевая.

— Сторублевая? Ладно. Да, забыл было: Феня просила меня, чтоб подарили ей шелковой материи на платье.

— Возьми на мой счет в лавке у Ивана Савича.

— Нет, в долг не беру: еще припишут, а тут я же отвечай перед вами.

— Так вот еще сторублевая.

Отделавшись от Триши, Прохор Васильевич долго думал: обедать ли идти к Илье Ивановичу, или на чашку чаю? Идти обедать казалось ему как-то совестно: в гостях, за обедом, надо сидеть по-иноземному церемонно, а по-русски чинно, а как посадят подле хозяйки, так уж просто неописанное несчастие.

Около полудня однако ж явился от Ильи Ивановича посланец, чтоб пожаловать *беспременно* откушать. Нечего было делать, Прохор Васильевич отправился.

Илья Иванович и сожительница его, Лукерья Яковлевна, так приняли гостя, что застенчивость его осталась за порогом. Он чувствовал такую легкость, свободу и удобство, что казалось, будто хозяин и хозяйка сами за него сидели за столом, кушали и говорили: ему оставалось только глотать и сладкие речи и сладкие куски, подготовленные гостеприимными челюстями.

— Почтеннейший Прохор Васильевич,— сказал, между прочим, хозяин,— вчера еще пришло мне в голову: что ж это, вы, сударь, нанимаете квартиру; переехали бы к нам, у нас есть знатные упокои для вас, все угодья. Кушать-то также не приходится по трактирам такому благовоспитанному человеку; уж вы позвольте перевезти вашу поклажу.

— Ей-богу, не могу! — сказал Прохор Васильевич.— Добро бы я один был; со мной тятенька приказчика отпустил.

— Приказчика? Так! Стало быть, это не просто прислужник? Странное дело... нет веры к такому отличному сынку!

— Он только провожает меня, Илья Иванович,— сказал Прохор Васильевич в оправдание своего достоинства.

— Провожает? Было то же и со мной раз: тоже, на ярмарку, как будто по охоте поехал со мной отцовский приказчик; ан вышло дело-то, что для присмотру. Мошенник сам же надувал, а потом, чтоб подделаться к отцу, взвел такие на меня небылицы в лицах, что стыдно сказать!

Этих слов достаточно было, чтоб внушить в Прохора Васильевича подозрение к тятенькиному приказчику Трише, тем более что он свалил уже не раз растраченные конторские деньги на него.

— Ей-ей так, Прохор Васильевич; а у нас вы бы как родной пожили, покуда справите здесь свои дела,— сказал хозяин, выходя в другую комнату и мигнув одному из своих приятелей.

— Слушай, брат Степа: надо бы *угостить* его приказчика, подвести какое-нибудь *дельцо,* да препроводить на место жительства, а медлить-то нечего.

— К чему ж медлить, Илья Иванович.

— Так ступай-ко, пообработай тихонько.

— Уж знаем!

Степа отправился по поручению, а Прохора Васильевича засадили снова попытать счастия.

Сначала счастие как будто бы и не везло ему; но вдруг, ни с того ни с сего, так двинуло с места, что у Прохора Васильевича сердце дрогнуло от радости. И выиграл он полторы тысячи рублей, точно клад нашел, так глаза и блестят, расходился, давай еще играть, да и только.

— Нет, уж разве до завтра,— сказал Илья Иванович,— что-то голова очень болит.

В природе ужасная аналогия или, лучше сказать, по-своему, подобие между всем, что движется, действует и имеет влияние на действия посредством побуждения души к себе соблазном, приманкой, магнетизмом, а от себя электричеством, толчком, подзатыльником.

Русская пословица недаром говорит: *«Несчастлив в картах, счастлив в любви»,* и обратно. Это значит, что играть в карты и играть в любовь — одно и то же, потому что одно заменяет другое. Волнение, страдания, довольствие, утомление сердца — одни и те же, ни малейшей разницы. Вечно блуждающее воображение посреди надежд, соображений и выводов — одно и то же; словом, игра — ласкательница чувств, кокетка или, перефразируя это чужое слово, курочка, которая петушится. Ей дело до всех, кто только протянет ноги под ее жертвенный стол. Перетасовав свои чувства, как колоду, она, кажется, раздает всем поровну, нечего друг другу завидовать; но вскрой только — какая разница! Какая начинается деятельность, ка-

кое соревнование между играющими: один хочет взять умом, знанием своего дела, другой хитростью, терпением, замыслом *подсидеть* соперников; третий риском — пан или пропал. Но вы думаете, что счастие дается так, зря? Ошибаетесь: и у каждой колоды есть свой избранник, *мастак,* который посвятил себя *игре,* за которого соперничают все колоды, который надувает их самих, управляя по произволу тасовкой и богатея чужими чувствами.

Это все не касается до Прохора Васильевича, он существовал на сем свете не как человек — орудие божие, а как человек — орудие человеческое. Собственно, об нем не стоило бы мыслить, но во всяком случае он мог навести на мысль.

Прибежав домой с радостным чувством выигрыша, он долго ждал своего Триши; но не дождался и лег спать.

Перед рассветом уже кто-то толкнул его и крикнул на ухо:

— Прохор Васильевич!

Это был Триша, что-то очень не в себе.

— Ох, как ты, Триша, перепугал меня!

— Тс! тише! Беда, Прохор Васильевич! давайте пять тысяч, а не то меня скрутят, да и вам за меня достанется, если узнают, кто я такой!

— Да что такое? Скажи!

— Не спрашивайте, пожалуйста, давайте скорей деньги!

— Да что такое?

— Ах ты, господи! Ну, да черт знает что: приятели попотчевали, а какое-то рыло стало приставать, я и своротил его на сторону, да неосторожно. Как следует, связали руки назад, а я пошел на выкуп, с тем чтоб и духу моего не было здесь до рассвета... Вот и всё. Давайте деньги да прощайте. Ворочусь к тятеньке да скажу, что проводил вас до границы.

— Ох, Триша, да как же это я останусь один?

— Правда и то; что вам одному делать?.. Знаете ли что? Денька два спустя, ступайте-ко и вы назад в Москву; а там уж мы подумаем, как быть.

Кто-то стукнул в дверь.

— Сейчас, брат, сейчас! — подал голос Трифон.

— Кто там такой? — спросил испуганный Прохор Васильевич.

— Кто! разумеется, кто: меня торопят; давайте скорее!

Прохор Васильевич достал пачку ассигнаций, хотел считать, но стук в дверь повторился.

— Эх, до счету ли теперь! Давайте что есть, после сосчитаемся! — сказал Трифон и, схватив пачку из рук Прохора Васильевича, бросился в двери.

Прохор Васильевич остался как на мели.

В страхе и раздумье, он не знал, что делать. Отвага, которую возбудил в нем ментор его, ехать за границу, вдруг исчезла.

— Как я поеду один-одинехонек? — начал допрашивать он сам себя,— куда я поеду?.. В чужую землю... один... без Триши... Дорогой еще ограбят... О господи!.. Да как же мне воротиться теперь к тятеньке? Он убьет меня!

До рассвета Прохор Васильевич дрожал от ужаса, повторяя одни и те же вопросы. В этом отчаянном раздумье застал его и Илья Иванович.

— Ах, почтеннейший, а я полагал, что вы еще почивать изволите? Что ж, сударь, переезжайте ко мне. Право, вам не приходится в заездном доме стоять. Пожалуйте хоть с приказчиком; мы и ему место найдем.

— Приказчик тятенькин уехал в Москву.

— Что так?

— Да так; тятенька велел скорее ехать, да и мне также.

— А за границу-то, Прохор Васильевич?

— Из Москвы поеду.

— Вот что; так не угодно ли, пожалуйте покуда чайку выкушать.

Прохор Васильевич долго отнекивался; но Илья Иванович утащил его к себе и вместе с своей сожительницей возбудил в нем падший дух.

Никак не мог он отговориться и от предложения погостить хоть недельку; особенно когда Лукерья Яковлевна сказала ему тихонько:

— Уж если вы уедете, так я буду знать, что вы меня не любите!

— Уж если вам угодно...— проговорил Прохор Васильевич.

— Таки очень угодно: как я вас увидела в первый раз... Ох, господи!

Лукерья Яковлевна глубоко вздохнула; Прохор Васильевич смутился, взглянул на нее, она на него, и — невозможно уже было не остаться.

Ему отвели приютный покой. Ввечеру собралась та же честная компания, горка росла. Прохору Васильевичу снова повезло счастие; подымает все выше и выше; но вдруг оборвался.

— Ну, невзгодье! — повторял, вздыхая, Илья Иванович,— да не будет ли?

— Нет! — повторял разгорячась Прохор Васильевич,— мне что! Сдавайте!

Напрасно Лукерья Яковлевна щипала его сзади, стоя за стулом.

— Нет, батенька, надо сосчитать, было бы чем расплатиться,— сказал, наконец, Илья Иванович,— не на мелок играть!

— Отвечаю! — крикнул Прохор Васильевич, обливаясь холодным потом.

— Не разорять же вас при несчастье; надо честь знать: тут и то сто с лишком; разве вексель?

— Что ж, и вексель дадим!

— Так напишем сперва.

— Ну, до завтра,— шепнула Лукерья Яковлевна Илье Ивановичу,— дайте ему опомниться!

— Так! а тебе жалко, что ли?

— Ты смотри на него: весь не свой; как заболеет да умрет, тогда что?

— Эх, ты, баба!.. ну, да вправду... Нет, господа, на векселя сегодня не играю: им не везет. Лучше завтра сядем опять, пусть их отыграются; совестно, ей-ей!

Бледный, истомленный каким-то внутренним давлением — точно камень на сердце, пошел Прохор Васильевич в свой покой.

Уснуть он не мог. Какая-то особенная жажда мучила его: всех бы перебудил, всех бы созвал к игорному столу, чтоб утолить ее.

Вдруг что-то скрипнуло. Послышался шорох. Прохор Васильевич весь оледенел от ужаса; кто-то приближается к его постели.

— Кто тут? — крикнул он, вскочив.

— Тс! Душенька, Прохор Васильевич, не бойтесь! это я!

— Вы? — произнес Прохор Васильевич с чувством новой боязни.

— Я, душенька; мне надо сказать вам слово... Я не могла перенести, чтоб мошенник Илюшка, с шайкой своей, зарезал вас!..

— Зарезал! — проговорил Прохор Васильевич.

— Да, душенька; они условились вас обыграть до нитки... мне стало жаль вас! Давича так и обливалось сердце кровью... Хоть сама погибну, думаю, а вас спасу от погибели... Сама бегу с вами от этих душегубцев... Вы их не знаете еще... Душенька! медлить нечего, собирайтесь скорей да ступайте за мною...

Перепуганный, ни слова не отвечая, Прохор Васильевич торопился. Лукерья Яковлевна вывела его в сени, двором в сад и потом через калитку в темный переулок.

Там стояла наготове тройка запряженных лошадей в телегу.

— Гриша, тут ли ты?

— Тут, матушка, садитесь.

— Садитесь, душенька,— шепнула Лукерья Яковлевна.

Прохор Васильевич взобрался на телегу, благодетельный его гений с ним рядом,— и тройка сперва шажком по переулку, потом рысцой вдоль по улице, а наконец понеслась во весь опор по столбовой дороге.

— Куда ж мы едем? — спросил Прохор Васильевич, как будто очнувшись от сна.

— Покуда в Переяславль-Залесский; там у меня есть родной братец; а оттуда куда изволишь, хоть в Москву. Я тебя не покинула в беде, и ты не покидай меня, душенька.

— А муж-то ваш, Лукерья Яковлевна?

— Какой муж? Илья-то Иванович? чтоб я за такого мошенника замуж шла? Избави меня господи!

— Да как же, ведь он муж вам?

— Кто? он? Какой он мне муж! Он просто-напросто увез меня против воли от батюшки и матушки, да и держал за жену. Какой он мне муж! я сроду его не любила!

Прохор Васильевич молча выслушал целую историю похищения Лукерьи Яковлевны.

На другой день поутру тройка остановилась у ворот одного мещанского дома в Переяславле.

— Милости просим, Прохор Васильевич,— сказала Лукерья Яковлевна, слезая с телеги.— Как братец-то мне обрадуется! Вот уж три года не видалась с ним!.. Пойдемте, душенька.

Она взяла его за руку и повела в дом. Вбежав в горницу, Лукерья Яковлевна бросилась обнимать бабушку.

Старуха с трудом признала ее.

— Господи! ты ли это, Лукерьюшка? Какой была красной девицей, а теперь раздобрела как!

— А где ж братец?

— В рядах, чай; да что ж это молодец-то, муж твой? Кому ж иначе и быть,— милости просим; не знаю, как величать?

— Прохор Васильевич; да это, бабушка...— начала было Лукерья Яковлевна, но старуха перебила ее.

— Прохор Васильевич? к чему ж это ты, батюшко Прохор Васильевич, молодец такой, увез внучку-то мою, не спросясь благословения у отца и матери? Э! грех какой, господин!

Лукерья Яковлевна хотела было сказать бабушке, что она ошибается; но дверь отворилась, и ражий мужчина, огромного росту, вошел в горницу, снял шапку и перекрестился.

— Батюшко, братец, Петр Яковлевич! — вскричала Лукерья Яковлевна, бросаясь к вошедшему.

— Сестра, Лукерья! — проговорил он грубо, смотря то на нее, то на незнакомого молодца,— откуда пожаловала? за наследием, что ли? Это, чай, муж твой?

— Нет, батюшко, братец, это не муж,— отвечала, потупив глаза, испуганная грозным голосом брата Лукерья Яковлевна.

— Не муж! Так вы так еще себе живете?.. Нет, брат, погоди! я родной сестры срамить не дозволю! Ты, брат, что? кто таков? а?

И с этими словами распаленный гневом брат Лукерьи Яковлевны бросился к Прохору Васильевичу, который затрепетал и онемел от страху.

— Братец родимый! Прохор Васильевич не виноват, как свят бог, не виноват!

— Не виноват! постой, я допрошу его.

— Братец! — вскричала снова Лукерья Яковлевна, загородив собою Прохора Васильевича,— ты послушай меня...

— Слышу! — крикнул Петр Яковлев, оттолкнув ее и схватив за ворот Прохора Васильевича,— говори, кто ты такой?

Прохор Васильевич совсем оторопел, и ни слова.

— Это сын почетного гражданина Захолустьева... братец, он не виноват ни душой, ни телом.

— Захолустьева? почетного гражданина? А мне что, пьфу! Ты ответишь мне за сестру! убью как собаку! Пойдем в полицию!..

— Господи, он убьет его понапрасну! — вскричала Лукерья Яковлевна, упав на колени перед братом,— батюшко, братец, отпусти душу на покаяние! Ведь это не он меня увез, а мошенник Илюшка Лыков, а с ним я ушла от душегубца... Его хотели обобрать, загубить хотели!..

— Э, да мне все равно, с кем ты шатаешься! Где мне искать всех, через чьи руки ты прошла; кто попал, тот и наш!.. Сказок ваших я слушать не буду: ступай!

— Ох, помилосердуй! Чего хочешь ты от него! Выслушай ты меня, выслушай ради самого господа-бога! — повторяла Лукерья Яковлевна, бросаясь снова между братом и оцепеневшим Прохором Васильевичем.

— А, струсили! полиция-то, верно, не свой брат? Да уж не быть же ему живому на глазах моих, покуда отец-священник не простит вас да не благословит на брак! Пойдем к нашему батюшке! а не то убью!

— Прохор Васильевич, пойдем, душенька! Сжалься хоть ты надо мной! Ведь он тебя убьет, а я умру!

— Пойдем! — повторил Петр Яковлев.

И он потащил Прохора Васильевича за руку.

Лукерья Яковлевна взяла его за другую руку и, закрыв лицо платком, обливалась слезами.

Прохор Васильевич, как пойманный преступник, шел бледный как смерть и молчал.

— Вот, батюшка, сестра моя,— сказал Петр Яковлев, войдя в комнату священника,— а это ее прихвостень! Если вы простите их да благословите на брак, так и я прощаю; а не то я по-своему с ними разделаюсь.

Петр Яковлев был известный по честности прихожанин, прямой человек, но беспощадная душа. Так или не так, но что сказал, что решил, то у него было свято. Чужой правоты он знать не хотел. Священник давно знал семью и, соболезнуя о Лукерье Яковлевне, он стал увещевать Прохора Васильевича.

— Батюшка! — вызвалась было Лукерья Яковлевна,— он ни душой, ни телом не виноват...

— Молчать! — крикнул брат ее.

— Я и не знал ее...— начал было и Прохор Васильевич.

— Молчать, когда отец-священник говорит! — крикнул Петр Яковлев,— а не то, брат, не отделаешься!..

— Оставь его,— сказал священник, благочестивый и добрый старец,— оставь, не грози; он и по доброй воле согласится исправить грех браком. Ты согласен? говори.

Прохор Васильевич стоял как вкопанный; и боялся говорить и не знал, что говорить.

— Говори, душечка Прохор Васильевич, говори скорей; не погуби себя и меня... После венца дело объяснится лучше; увидят, кто прав, кто виноват!.. Батюшка, уж я знаю, что он согласен, и спрашивать нечего.

— Ну, так и быть; благословите их, батюшка, так уж я и ни слова,— сказал Петр Яковлев.

— Он добрый малый и раскаивается, я это вижу,— сказал священник, напутствуя благословением примиренных.— Готовьтесь к свадьбе!

— Свадьбу не отлагать стать,— сказал Петр Яковлев,— ну, теперь обними меня, сестра, и ты обними.

— О чем же ты опечалился, душенька Прохор Васильевич, голубчик мой! — твердила Лукерья Яковлевна, возвратясь в дом,— нешто я тебе не по сердцу?

— Нет, не то, Лукерья Яковлевна,— отвечал Прохор Васильевич, повеся голову,— я боюсь тятеньки, как он узнает...

— Что ж что узнает? Узнает так узнает! Мы вместе упадем к нему в ноги, так небойсь простит.

— Простит! — хорошо как простит.— Да вот что...

— Что еще такое?

— Вот что: оно бы ничего, да как-то не приходится; уж мне там сватали невесту.

— Велика беда; да плевать на нее!

«В самом деле,— подумал Прохор Васильевич,— что мне в ней; я без Лукерьи Яковлевны жить не могу!»

II

Попал в мрежу,— как ни ныряй, не вынырнешь. Женили Прохора Васильевича. Лукерья Яковлевна не намилуется им. И он как будто счастлив — жена по сердцу; да все что-то оглядывается назад: нельзя ли уйти от того счастья, к которому приневолили. Таковы уж люди: по охоте хоть в трущобу; а поневоле, будь ты хоть сама судьба со всеми своими будущими благами,— все нипочем. Дай им хоть вечное веселье,— «что ж, скажут, за радость: и погрустить-то не о чем!»

Прошел месяц, другой.

— Что это мы, Прохор Васильевич, не едем к твоему батюшке? — спрашивает его часто Лукерья Яковлевна.

— А вот, постой, я еще подумаю,— отвечал он ей.

— Да ты и то все думаешь; и смотреть-то грустно на тебя.

Прошло еще несколько времени в думе.

Строгий брат Лукерьи Яковлевны стал искоса посматривать на Прохора Васильевича да поговаривать сестре: «Мы на хлебы, что ли, взяли к себе этого дармоеда?»

Лукерья Яковлевна обиделась, прослезилась, идет к мужу.

— Что ж,— говорит,— когда мы поедем в Москву?

— А вот, погоди,— отвечает Прохор Васильевич в какой-то безжизненной дремоте, нерешительности и боязни показаться отцу на глаза.

— Послушай, почтеннейший! — сказал ему, наконец, сурово шурин,— ты когда поедешь на Москву, к отцу?

— Да я, право, не знаю, Петр Яковлевич! — отвечал Прохор Васильевич,— меня тятенька убьет; а я чем виноват?

— Убьет так убьет; а ты все-таки ступай да сознайся во всем; а не хочешь, так куда хочешь ступай; у меня тебе житья не будет!

Что сказал Петр Яковлев, то было решенное дело. На другой день Прохор Васильевич и Лукерья Яковлевна сели в повозку, запряженную в одну лошадь, и поехали шажком по дороге к Москве.

Время было холодное, ненастное; на первом же переезде дождь промочил до костей Прохора Васильевича; на второй же день занемог он опасно и долго был почти в безжизненном состоянии. Когда пришел в память, он увидел себя в темном углу черной избы; подле него сидела Лукерья Яковлевна. Ее нельзя было узнать: так похудела она от слез и бессонных ночей.

— А где Триша? кликни, голубушка, Тришу... Пора нам ехать...

И с этими словами Прохор Васильевич снова забылся; а Лукерья Яковлевна снова залилась слезами и начала причитывать скорбным напевом свое отчаяние.

Время летело себе, не заботясь, куда и зачем; а между тем Прохор Васильевич очнулся. Но сырость и холод избы успели напитать собой все его члены, и в продолжение нескольких месяцев он не мог двинуться с места. К счастью, какая-то старуха взялась поставить его на ноги, и поставила каким-то преглупейшим *снадобьем,* кажется *травкой фуфоркой,* об которой и помину нет ни в одном гербариуме.

Все, что имела у себя и на себе Лукерья Яковлевна, все было прожито; хоть милостыню побираться идти.

Однажды Прохор Васильевич почувствовал, наконец, в себе силы и бодрость духа.

— Лукерья Яковлевна, знаешь что? — сказал он жене.

— А что бы такое? — спросила она.

— А вот что: пойду я к тятеньке, упаду к нему в ноги — что будет, то и будет!

— Ах, душенька ты моя, Прохор Васильевич, насилу-то ты надумался! Я уж и напоминать тебе не хотела. Чего ты боишь-

ся? Ведь «чему быть, того не миновать»; а родной отец не дикой зверь — смилуется.

— Пойду!

— А я-то как же?

— Ты-то?.. ты побудь здесь.

— Без тебя?

— Отсюда до Москвы недалеко; я медлить не буду.

— Ну, так и быть. Денег у нас только три синеньких; возьми их с собой. Да купил бы ты какой-нибудь старенький кафтан получше; а то, посмотри, стыдно будет показаться отцу на глаза.

— И то правда. Э! да я у Триши возьму платье.

Простясь с женой, Прохор Васильевич отправился в Москву. На дороге нанял попутчиков и на третий день к вечеру приехал в Ямскую.

В самом деле, нельзя было показаться в нищенском виде не только отцу, но и кому бы то ни было в доме.

«Вызову,— думает,— Тришу, переговорю с ним, как быть»,— и послал хозяйского мальчика отыскать приказчика Трифона Исаева и попросить его пожаловать на постоялый двор, повидаться с одним приезжим.

Долго ходил мальчик и принес нерадостные вести: приказчик Трифон Исаев давно уже отошел от Василья Игнатьевича и неизвестно где пребывает.

В отчаянии Прохор Васильевич кое-как промаялся день; ввечеру пошел к отцовскому дому. Боязливо повернул в переулок, сохранявший еще фамильное название вельможи бывшего владетеля дома, который принадлежит уже чайному торговцу Захолустьеву.

Не просто Захолустьеву, а Василию Игнатьевичу, который выкрасил дом снаружи и велел под щитом герба, вместо выставленного года постройки, выставить: *возобновлен в таком-то году*. Вельможа и Василий Игнатьевич большая разница; но что ж такое? Если в каком-нибудь храме божества древней Греции водворилась теперь сова, символ мудрости, и не хуже оракулов вещает всем проходящим, что все проходит в мире, то отчего же Василию Игнатьевичу не водвориться в опустевшем подобии храма, не хлопать глазами и не говорить, что все Пантеоны ни на что не годятся, кроме как на фабричные заведения. Тогда вещали, теперь говорят; а в сущности говорит время, а не Василий Игнатьевич.

Прохор Васильевич остановился против отцовского Пантеона и вздохнул. Ворота заперты, в окнах темно, точно как будто и Василия Игнатьевича уже не существует, и снова все угасло, опустело.

Как нарочно, никто не пройдет мимо; а между тем темная ночь не только на дворе, но и на улице. Страшно стало Прохору Васильевичу в глухом переулке; выбрался поскорей на

большую улицу, где также замерла уже дневная жизнь. Долго бродил он сам не зная где, не смея возвратиться на постоялый двор: там требовали от него паспорта.

Где же приклонить голову? Чем утушить тоску? Город не деревня, где можно постучать в окно, попроситься на ночлег; где нисколько не удивятся, что человек идет по божьему миру сам не знает куда, ни в котомке куска хлеба, ни в мошне гроша. Бедного путника накормят и напоят, не допрашивая: кто он? и что допрашивать: по всему видно, что человек. Чего ж больше? Или мало этого? Но в городе непременно *допросят*.

Надо же где-нибудь приклонить голову. Да где ж приклонить? Кругом все каменные палаты; нет заваленки. На тротуаре не приляжешь; ведь это тротуар, а не что другое; тотчас подымут сонного под бока да крикнут: «Тащи его, пьяную собаку! вишь разлегся, благо мягко ему подостлали!»

Надо же напиться — жажда страшная; да у кого попросить? Кругом всё каменные палаты. В людских живут люди, да в доме-то привозной воды на стирку недостает.

Надо же, наконец, хоть приткнуться куда-нибудь? Неужели в целом городе нет гостеприимного угла? Как не быть; вот на углу улицы светит гостеприимный *фанал,* над входом в преисподнюю дома. Небольшая вывеска гласит, что здесь *распивочная.* Следовательно, здесь можно напиться.

Остановился Прохор Васильевич против дверей; долго стоял в какой-то нерешительности, прислушиваясь, что делается в этой преисподней. Кажется, все тихо, нет непозволительного разгулья.

— Ну-у!.. Где ж вы там, Федор Петрович? — раздался резкий голос подле Прохора Васильевича.

Он оглянулся; это была какая-то благородная, в набивном полумериносовом салопе и в чепце, сверх которого накинут был драдедамовый платок.

— Сейчас, Палагея Ивановна,— отвечал кто-то, выходя из-за угла и приближаясь ко входу распивочной.

Красный воротник длинного сюртука испугал было Прохора Васильевича, но жалкая, смиренная наружность неизвестного ему Федора Петровича успокоила его.

— Давайте деньги, надо взять полштофика ерофеичу,— продолжала женщина, входя в распивочную. Вслед за ней вошел и отставной сюртук, Федор Петрович.

«Зайду и я, попрошу напиться»,— подумал Прохор Васильевич, и также вошел, но боязливо, в закоптелый подвал, где в одном углу красовались фронтом на полках штофы и полуштофы; около стен лавки и столики, подле столиков кожаные стулья.

Распивающих на этот раз было мало.

У одного стола сидел хмурно сонный лакей, в модной ливрее — в гороховом фраке, в красных штанах и штиблетах.

Важно сложив руки узлом, вытянув ноги, развесив губы и моргая глазами, он воображал, что сидит на козлах новомодной коляски своей барыни и раздосадован, что «по сю пору в рот ничего не брал».

Подле другого столика уселся отставной сюртук, отирая пот с лица.

— Ну-у! пойдемте! — сказала женщина, взяв полуштоф от целовальника,— что засели?

— Нет уж, я выпью меду: мочи нет как хочется.

— Что-о! Вот тебе раз! Тратить деньги на мед! Лёгко ли! Пойдемте! А не то мне черт с вами!

— Нет уж, ей-богу, мочи нет! Я сейчас, Палагея Ивановна. Выпейте стаканчик.

— Мед пить? Нашли вкус! Знаете, что я его терпеть не могу.

— Ну, пивка. Подай бутылочку пивка.

— Пивка! Ну, ин подай бутылочку. Право, ни на што не похоже, Федор Петрович!

— И мне бутылочку пива,— сказал Прохор Васильевич, присев к столу в соседстве с Федором Петровичем и Палагеей Ивановной.

— Гордец, щипаная борода! — заговорил вдруг ливрейный лакей,— подико-сь! лошадей нельзя оставить!.. А у меня, небойсь, нет ничего на руках?.. И барынин манто на руках, и платок барынин на руках... да и сама барыня-то на руках: кто подаст салоп-то да наденет теплые сапоги, как выйдет с балуто? а? А кто сведет с лестницы-то? Да и экипаж-то кто, кроме меня, найдет? Сам черт не найдет! Вишь загнали куда!.. а?

— Только-то сегодня и понабрались, небойсь? — ворчала вполголоса Палагея Ивановна под непрерывный разговор с самим собою лакея.

— Ей-ей, только,— отвечал тихо Федор Петрович.

— Так и поверила! А куда изволили прогуливаться вместе с Матреной-то Карповной?

— Когда, Палагея Ивановна? Давича-то? Она шла к раздаче на бедных, и я туда же шел.

— Уж конечно! Шли по дороге! Чай, и угощенье медком было по дороге!

— Ей-ей, нет! С какой же стати, Палагея Ивановна.

— И не извольте говорить! знаю я: пошли к князю, да очутились в богоугодном заведении.

— У князя я был, ей-богу был!

— А что князь-то дал?

— Всего-то полтинничек.

— Так и поверила! Поди-ко-сь! Князь дал синенькую; а вы изволили ее на меду пропить!.. По дороге шли вместе, нельзя не угостить!.. Да я не потерплю этого!.. У меня будете стол держать, а угощать других? нет, уж этого не дозволю!.. Из-

вольте держать стол у своей Матрены Карповны, в подвале, на полатях!

— Помилуйте! — начал было Федор Петрович, но его прервал лакей.

— Чего изволите, сударыня? — вдруг крикнул он спросонков на возвысившийся голос Палагеи Ивановны,— к Карповым? Слушаю-с! Ступай к Карповым!..

Снова все утихло; и снова Палагея Ивановна накрыла *сурдиной* свой резкий скрипичный голос и начала напевать Федору Петровичу. Но Прохор Васильевич ничего уже не слыхал. Утолив жажду пивом, утомление его перешло в изнеможение, и он забылся, заснул под журчащий поток упреков Палагеи Ивановны. Чета, однако же, скоро убралась; ливрейный лакей также очнулся, провел рукой по лицу кверху, против шерсти, встал, пошатнулся, наметил было в дверь, да ударился в косяк, посердился, как Ванька, «что в свете так мало дверей», и ушел.

Было уже поздно, целовальник не ждал новых гостей. Он толкнул Прохора Васильевича и крикнул:

— Эй! господин! Пора запирать!

— Что?..— отозвался, очнувшись, Прохор Васильевич.

— Известное дело что: за две бутылки пива да за полштофика ерофеичу.

— Ерофеичу? — спросил с недоумением Прохор Васильевич.

— А как же! Чай, тут свидетели были.

— Когда ж я пил ерофеич?..

— Память маненько поотшибло! Опохмелишься, так оно и ничего.

— Голова болит, мочи нет! — проговорил Прохор Васильевич, взявшись за голову.

— Уж это так: выпей-ко покрепче настойки, я тебе поднесу. Подать, что ли?

— Нет, не могу!

— Так расплатись да ступай, брат... Э, да ты совсем обессилел! Ты послушай меня, выпей мерочку, а то не дойдешь до дому, на дороге ляжешь; заберут еще в часть.

Холод пробежал по членам Прохора Васильевича, он чувствовал, что не в силах был идти; тошно было на душе.

— Ну, дай чего-нибудь погорчее,— сказал он.

— Изволь. Э! глотка̀ и в рот не бери! Выпей разом; посмотри, как окуражит.

Целовальник почти насильно влил в Прохора Васильевича мерку *эр-фиксу,* который, вместо того чтоб поднять его на ноги, ударил в голову.

Но онемение чувств показалось ему сладко. Отхлынувшая кровь от сердца, истомленного горем и боязнью, подавила расстроенное воображение, облила собою мрачные, черные кар-

тины настоящего и будущего,— все осветилось как будто розовой зарей.

— Что, брат, хорошо?.. Эх ты, молодец! раскис! да здесь не место спать, ступай!

Голова Прохора Васильевича скатилась на грудь; на лицо выступил румянец и какое-то внутреннее довольствие.

— Да ступай же! — повторил целовальник.

— Нет! ей-ей, не пойду! — проговорил Прохор Васильевич.

— Скажи пожалуйста, нашел ночлег! За ночлег деньги платят... ступай!

— Не пойду, ни за что не пойду, Лукéрья Яковлевна,— продолжал Прохор Васильевич в бреду,— не пойду к тятеньке!.. Тятенька убьет меня!.. спросит, куда девал пятьдесят тысяч... Мне что его наследье... тьфу! и знать не хочу... я тебя только и знаю...

«Э-ге! прогулял пятьдесят тысяч! — подумал целовальник,— молодец-то, верно, знатной... Слышь!»

— Ну, ну, изволь... для тебя... пожалуй, поеду...— заговорил опять Прохор Васильевич,— поеду!..

— Да уж оставайся, оставайся, пожалуй,— сказал целовальник.— Оно же и тово... на улице подберут; а тебе, чай, не приходится...

— Пойду!..— повторил решительно Прохор Васильевич.

— Полно, куда тебе идти; я запру, а ты приляг себе; я и подушку подам.

Целовальник запер изнутри двери распивочной; потом принес подушку, положил на лавку подле Прохора Васильевича и без больших затруднений свалил его на это ложе.

Настало утро. Почти с рассвета прохаживались уже около капища побродяжки. Это первые прихожане. Целовальник слышал впросонках и говор, и шепот, и брань; но долго не вставал, бурча с досадой:

— Вишь, скареды! принесло спозаранку! Добро бы праздник какой!

Но в двери стали нетерпеливо постукивать; и он вскочил с сердцем, протер глаза и отпер.

Толпа ввалилась в распивочную.

— Что ж это ты, милостивец, вздумал маять нас у своих дверей! — крикнула одна старуха в отрепьях, с гневом,— раннюю обедню прогулять для тебя, что ли?

— Поспеешь еще к концу, к подаянью-то! — отвечал целовальник,— небойсь, не пропадет твоя денежка.

— Ах ты неумытой! По-твоему, не перекрестясь руку протягивать.

— Ну, ну! Протягивай!

— Ах ты безбожник! Да что ты думаешь, что только и вина, что у тебя? Так вот, плевать же на твою милость! *Куковинка*-то недалеко... Пойдемте, братия, туда!

— Давно я говорил, что там лучше,— сказал один нищий, похожий на длинного кривого черта, в истрепанном сюртуке и повисший на костылях,— там и мера-то в меру и вино-то вино, а не гусиное пойло с перцем!..

— Пойдем! — повторила старуха.

— Напрасно, Кирбитьевна, напрасно порочишь! — сказал целовальник, струсив, что вся братия нищих оставит его приход,— мера-то у меня для вас через край, а вино-то полугар. Сама всегда хвалила.

— Да, хвалила, как время было; а теперь вздумал томить нас да подносить *похмельного*. Нет, подноси-ко ты его похмельным!

— Кто? я? Напрасно! Изволь откушать, отведай, небойсь, пей! Я и денег не беру, пей на пробу! Да что!.. давай свой кувшинчик, я налью — по целой Москве таким тебя не угостят. Ей-ей, денег не возьму!

— Вишь, гладкой какой! Ну, добро; только ссориться не хочу, за то что по праздникам угощаешь.

— Эк голова-то свесилась, затечет,— сказал нищий, похожий на кривого длинного черта, поставив костыли в угол и подходя к Прохору Васильевичу.

— Не тронь, не тронь, не щупай, брат, его, не твое дело, ступай прочь! — крикнул целовальник.

— Не мое дело! Твое небойсь? Аль сродни? — отвечал нищий.

— Сродни.

— То-то так заступаешься!

— Сродни, да не мне, а сыщику,— прибавил целовальник.

Длинный кривой черт схватил свои костыли, подставил под руки и заковылял от Прохора Васильевича.

В это время он очнулся. На плечах голова как гиря. Приподнялся, посмотрел вокруг и не понимал, что за толпа страшных призраков окружает его.

Нищие оглянулись, примолкли и стали выбираться вон.

— Что, приятель, как тебя звать, верно пудовик в голове? — сказал целовальник.

— Сколько тебе? — спросил Прохор Васильевич, взявшись обеими руками за голову.

— А вот сочтем: за две бутылки пива, за полштофа ерофеичу... да еще... да за ночлег надо положить что-нибудь,— отвечал целовальник, выкладывая на счетах.— Всего-то пять рублев двадцать — давай синенькую.

В кошельке Прохора Васильевича оставалось серебра рубля на три не более.

— Ты поверишь мне остальные? Не сегодня, так завтра сам принесу.

— Да кто ты такой, верить-то тебе? Нет, брат, оставь что-нибудь под заклад.

— Что ж мне оставить? у меня ничего нет,— отвечал Прохор Васильевич жалостно.

— Что? А вот хоть жилетку; а я тебе, так и быть, поднесу на похмелье.

— Нет, спасибо, не хочу! — сказал Прохор Васильевич; но какой-то огонь жег внутренность его и точно как будто сама душа, требуя утоления, намекала, чем утолить ее, жадно обоняя спиртуозную атмосферу распивочного подвала.—Или уж дай,— торопливо прибавил он.

— Изволь. Что ж, в заклад или совсем? Если совсем, так я уж и буду знать, что за мной полштофика. Получай!

Небольшая мера зеленого оживила Прохора Васильевича. Расплатившись бархатной своей жилеткой, которой износу не было, он вышел на улицу и бодро пошел к отцовскому дому.

Но эта бодрость при повороте в переулок снова исчезла. Украдкой, торопливо прошел он мимо дома и, как испуганный, продолжал идти, ускоряя шаг и не оглядываясь. Казалось, что он бежал от прошедшего: какой-то призрак гнал его от дома, покрикивая вдогонку: «Проваливай, брат! Вишь какой Прохор Васильевич взялся! Прохор Васильевич был знатный малый, не такой лодырь, как ты! Прохор Васильевич не ночевал в кабаках, не опохмелялся сивухой! Проваливай, брат!..»

Нет ничего хуже, как бежать за своей мыслью и бежать от своей собственной мысли: одну сам держишь за хвост, а другая тебя держит за хвост.

В продолжение дня много можно уйти вперед. Но для Прохора Васильевича Москва была как лес: леший кружил его на одном месте. Измученный, голодный, жаждущий, он очутился к вечеру близ той же распивочной, из которой вышел поутру.

— А, здорово! Что, долг принес или за долгом?

Не обращая внимания на распивающих гостей, Прохор Васильевич присел на лавку близ стены, перевел дух и попросил ломтик хлебца.

— Здесь, брат, нет продажи съестного; вот если выпить — дело другое; а закусить — извини! Получай полштофа. Прикажешь раскупорить?

Не на чем приклонить голову — и в грязь ляжешь. Прохор Васильевич утолил и голод и жажду стаканом горькой настойки.

— Что уж, если говорить,— рассуждал подле него какой-то поварчук в колпаке и фартуке,— так, так-так, а не так, так так под красным соусом!.. вот и всё!.. Что ж такое, сказать примерно: ну, я виноват, положим... что ж, сердись, пожалуй! Эка беда!.. А все-таки сердце-то пройдет... ей-богу, пройдет! Как хмель пройдет!.. Вот, дело другое, злая скотина... у той не сердце... а что бы тебе сказать... ну, да не сердце... да и не говядина от филе... а так, потроха... да и не потроха... а знаешь, что в рубцах... тьфу!.. право! Неопрятная вещь, да как быть,

к слову пришлось... а не то, чтобы я сказал, да и не подумал, что сказал... нет, подумал... ей-богу, подумал... не подумавши ничего не скажешь...

Философ с кухни долго рассуждал таким образом, и это рассуждение не было бесплодно, имело влияние на Прохора Васильевича.

«В самом деле,— подумал и он,— сердись, пожалуй; а сердце-то все-таки пройдет... Эх, пойду! Ей-богу, пойду!»

И он налил еще стакан, выпил, хлопнул по столу, крикнул: «Прощай, брат!» — и вышел.

Бодрее, чем поутру, шел он к отцовскому дому. Храбро заворотил в переулок, смело приближается, заломя картуз набекрень. И видит он издали яркий свет во всех окнах; на тротуаре, по *пенькам* плошки, улица заставлена экипажами, толпа народу подле ворот.

«Господи, что это такое?» — подумал Прохор Васильевич.

— Послушай, голубушка... Что это там такое? — спросил он у бежавшей к дому девушки.

— Чай, сговор али свадьба,— отвечала она.

— Свадьба?.. Чья?.. Послушай, брат, чья это свадьба?

— Купеческая. Эх, дом-то какой!.. И у господ-то мало таких бывает... Смотри-ко, внутри-то словно пожар.

«Господи!.. Неужели тятенька вздумал жениться?..» — подумал Прохор Васильевич, перебираясь через улицу на тротуар, против озаренного дома.

— Послушай, бабушка, неужели Василий Игнатьич Захолустьев женится?

— Вот тебе раз! Сына женит!

— Сына? Какого сына?

— Как какого? Чай, у него сын есть.

— Какой сын? У него один только сын и есть.

— Да один же, один; кто говорит, что два.

— Быть не может! — вскричал Прохор Васильевич,— откуда взялся другой сын!

— А вот, что недавно приехал; такой знатный молодец.

— Приехал?.. откуда приехал?.. Черт разве приехал, а не сын!.. Какой там сын у Василия Игнатьича!

— Эй, послушай-ко,— сказала старуха, обращаясь к глазевшему подле мещанину с острой бородкой,— как зовут жениха-то?

— Прохором Васильевичем,— отвечал он оглянувшись.

— Прохором Васильевичем?.. Что?..— крикнул Прохор Васильевич,— Прохором Васильевичем?.. Не может быть!.. Лжешь ты! У Василия Игнатьича только один сын Прохор...

— Да один же, один, вот что женится,— отвечала старуха.

— Женится? Черт женится! — вскричал опять Прохор Васильевич. В глазах его весь дом ходил уже кругом, как роже-

ственский вертоград.— Черт жепится, а не я!.. Пойду к тятеньке! Пойду!.. Скажу, что не может быть, тятенька...

И он бросился с тротуара в толпу к воротам, но мещанин, острая бородка, догнал его и удержал за руку.

— Прохор Васильевич! Вы ли это? — шепнул он ему.

— Не дозволю!..— вопил Прохор Васильевич, вырываясь,— пойду, упаду в ноги при всех!..

— Тс! Что вы это кричите! Прохор Васильевич!.. Не узнаете меня, Тришу!..

— Ах, Триша!

— Тс!..

— Триша!.. Это ты, брат?.. Посмотри, что говорят...

— Что вы кричите! Ведь тут хожалый; того и гляди, что потащут в полицию!..

— А мне что, пусть тащут! Я скажу, что не может быть...

— Да полноте! Подите-ко сюда; я вам что скажу.

— Ну, говори.

— Пойдемте со мной; вот здесь близенько.

— Куда идти? Не пойду никуда; пойду прямо к тятеньке!..

— Что вы это, бог с вами! Как это можно! Вы посмотрите, что там делается...

— Ну, что? Что делается?

— Видите?

— Ну?

— Ну, пойдемте скорей, я вам что скажу.

— Куда идти? Нет! К тятеньке пойду!

— Ах ты, господи! Вот беда! Прохор Васильевич, послушайте-ко меня...

— Да, да, кто ж Прохор Васильевич, как не я?

— Тс! тише!

— Что тише, мне что тише!.. Пусти!

— Нет, не пущу!.. Там чертовщина идет, а я вас пущу!..

— Чертовщина?.. Какая, Триша? а?.. Что ж там такое?..— проговорил Прохор Васильевич плачевным голосом, между тем как Тришка Исаев тащил его дальше от толпы,— постой, пусти! Дай перевести дух... Что ж это такое, Триша?..— продолжал он, остановясь и отирая рукой слезы.— Да говори, что ж это такое?.. а? ведь я Прохор Васильевич?

— Кому же другому и быть, как не вам... Пойдемте-ко, пойдемте!..

— Постой!.. Сам ты скажи, кому же другому и быть... Так ли?

— Так, так; кто говорит,— отвечал Трифон Исаев, увлекая за собою Прохора Васильевича, под которым левая нога ступала уже за правую, а правая все как будто задевала за что-то.

С трудом привел он его на свою квартиру, на дворе какого-то огромного дома, в нижнем этаже, куда надо было спуститься

по нескольким каменным ступеням. В закоптелом покое со сводом была только печь да нары.

— Прилягте-ко, вам не так здоровится, прилягте!

— Что, брат Триша,— проговорил Прохор Васильевич, осматриваясь,— это где мы?

— У меня на фатере.

— А тятенькин дом-то где?

— Да там же, на месте.

— Ты правду говоришь?

— Правду, ей-богу правду.

— Ну, хорошо; а что, Триша, тятенька-то не поверит?

— Не поверит, не поверит. Прилягте-ко... Эх, Прохор Васильевич, хуже нашего брата стал!.. Прилягте; а я сбегаю, узнаю, что там делается.

— Нет, постой; поесть бы чего-нибудь, Триша... хоть огурчиков соленых...

— Сейчас принесу,— сказал Трифон Исаев и, уложив Прохора Васильевича на нары, вышел, запер двери и побежал к дому Василья Игнатьевича; пробился сквозь толпу на двор и в людской отыскал дворника.

— Голубчик, Ваня, сделай милость, вызови ко мне Конона.

— Как же вызвать-то его, ведь он там в прислуге, чай?

— Как хочешь, а вызови. Важное дело. Я его подожду у ворот.

— Ладно.

Конон не заставил себя долго ждать.

— Слушай-ко,— сказал ему Трифон, отводя его по тротуару от толпы,— сейчас же скажи ты своему барину, что мне до него дело есть. Дело важное.

— Да каким же образом? Как теперь его вызвать?

— Вот! Ты меня проведи к нему задним крыльцом; да я и сам найду дорогу; ты только скажи ему: важное дело. Ступай!

В это время гости только что приподнялись поздравить шампанским Прохора Васильевича и Авдотью Селифонтовну.

Наш Прохор Васильевич утомился от поклонов и благодарностей, продолжавшихся несколько часов. Ужасно как все это ему надоело. Разряженный, по выражению Матвевны, *графчиком*, он сидел подле Авдотьи Селифонтовны, разбеленной, разрумяненной, в дымку и кружева разряженной и разукрашенной, жемчугом, брильянтами, изумрудами, яхонтами, опалами и всеми драгоценными каменьями, тысяч на пятьсот, обвешанной и усеянной.

Она сидела как восковая фигура с самой простой механикой движения глаз. Из недр ее вырывалось только: «Ах, перестаньте!» — когда наш Прохор Васильевич, со скуки, начнет напевать ей под музыку шепотом: «Душа моя, душечка! Распрекрасная Дунечка! Долго ли нам мучиться, за столом сидя чваниться, глупым людям кланяться?»

Иногда она произносила и по-французски: «Ох, ву!»[1] Тогда молодой в ответ шептал ей: «Ох ты, моя *амочка*!»[2]

Встав из-за стола, иллюминованного, кроме канделябров, по распоряжению самого Василия Игнатьича, двумя золочеными статуями, которые у прежнего хозяина стояли по углам залы, держа в руках по полпуду свеч, Авдотья Селифонтовна пошла переодеваться, а наш Прохор Васильевич свободно зевнул и сказал про себя: «Потеха!»

Конон стерег уже его.

— Пожалуйте в кабинет,— шепнул он ему.

— Зачем мне туда жаловать?

— Важное дело.

— Какое?

— Про то *он* знает.

— Хорошо.

Дмитрицкий хотел уже идти; но его обступили охотники поздравлять и свидетельствовать свое почтение, с расточительною щедростью на желания.

Особенно некоторые из молодежи, всматриваясь в бывшего закадычного друга, с недоверчивостью в собственные глаза, робко подходили к нему напоминать старую дружбу.

Мнимый Прохор Васильевич с восторгом ахал и с удивлением восклицал: «Как вы переменились! Ей-ей, не узнал! Скажите пожалуйста! В такое короткое время!»

— В самом деле, и его ни за что нельзя узнать! Так переменился! — шептали между собой бывшие приятели Прохора Васильевича.

— Нечего сказать, великолепный дом у вас, Прохор Васильевич!

— Изрядный,— отвечал нетерпеливо Дмитрицкий.

— Помилуйте! господский дом!

— Неужели?

— Ей-ей! Так-таки его со всем убранством и изволили купить?

— Вот как видите, кроме свечей; свечи особенно куплены.

— Так-с; уж конечно *стеариновые?*

— Старинные, древние.

— Так-с, стало быть оно и значит старинные. Совершенно справедливо-с: вот на памяти моей вологодские маненько чем уступали. Чем больше свеча вымерзла, тем белее, сударь, и крепче. Как зим пять прохватит ее морозом, так и повыжмет сок-то, не хуже тисков. А почем изволили брать пуд?

— Право, не знаю; а вот я сейчас спрошу.

И Дмитрицкий бросился из толпы, через ряд комнат, в свой кабинет, подле роскошной спальни, где сваха Матвевна, окру-

---

[1] Вы (*франц.* vous).

[2] Душечка (*от франц.* âme — душа).

женная толпой разряженных Игнатишен, Кузминишен, Панфиловен и Филипповен, играла важную роль.

Тут показывала она любопытным богатую постелю, огромное трюмо, в которое все охорашивались, разные убранства, разные вещи и оценяла их. Аханью не было конца.

Между тем как в пространных великолепных комнатах, где некогда хозяин чинно принимал гениальных русских актеров, разыгрывавших без платы, у себя и в гостях, от позднего утра до раннего, роли лордов и леди, маркизов и маркиз, а новые подражатели барства и господства расхаживали под гром музыки, покашливая, поглаживая бороды и рукава сюртуков и фраков, как будто говоря: «Каково сукнецо-с?» — поправляя перчатки, платки на шее и шали на плечах, натуживаясь, чтоб порастянуть узкий корсет, и нося перед собою обеими руками передний хвост платья, чтоб не наступить на него и не грохнуться,— Дмитрицкий заперся в своем кабинете и беседовал с Трифоном Исаевым.

— Ну, что? Какое важное дело?

— А вот какое! черт принес не вовремя настоящего Прохора Васильевича; чуть-чуть было не затесался к вам на свадьбу!

— Неужели? За чем же дело стало?

— К счастью, что я поймал его за хвост у самых ворот!

— Ах, дурень! Кто тебя просил?

— Кто просил! поставил бы он все наше дело вверх тормашками.

— Ах, Трифон! Все дело испортил! Какая бы славная была штука!.. Двойник! Ах, досада! экой ты урод!

— Шутите, шутите!

— Врешь, дурень, не шутки; это бы так затронуло мое самолюбие: пусть бы кто решил, который из нас чертово наваждение и который настоящий Прохор Васильевич... как ты думаешь, кого бы из нас «тятенька» признал за настоящего сына? а?..

— Вот время нашли черт знает о чем говорить!

— Спрашиваю, так говори! — крикнул Дмитрицкий.

— Что вы кричите!.. шутки, что ли? Того и гляди, беду наживешь... Право, вы черт!

— Молчи, шитая рожа! Если сам не видывал черта в глаза, так не смей сравнивать меня с его портретом... Ну, так которого же из нас тятенька признал бы за настоящего Прохора Васильевича?

— Разумеется, что настоящего и признал бы.

— Врешь, Трифон! По твоим рассказам настоящий Прохор Васильевич, несмотря на то, что настоящий, настоящая дрянь; так ли?

— Да оно так...

— А я золото?

— Кто говорит...

— Так каким же образом разумный человек, «тятенька», предпочел бы дрянь золоту?

— Дрянь, да своя.

— Ты — Тришка! а больше ничего. Где ж наш настоящий Прохор Васильевич? куда ты его девал?

— У меня на квартире...

— Хм! Что ж теперь делать с ним?

— А по-моему, вот что...

— Что?

— Да что... так, ничего то есть... знаете? — отвечал Трифон Исаев, зверски усмехаясь.

— Что-о? — крикнул грозно Дмитрицкий,— ах ты скаред! Тронь только волос на голове его, так знаешь куда ворочу?..

— Экая гроза! поди-ко-сь. Что ж... вместе!

— Молчать!.. Слушай, зверь, я и себя не поберегу!

— Да что, вправду, ругаться стал! Слуга, что ли, я достался!.. Сам-то что?

— А вот что!

Дмитрицкий схватил Трифона за ворот и встряхнул.

— О-о, дьявол! — прошипел он, задушив голос,— в самом деле дьявол!

— Прохор! а Прохор! Что ты тут делаешь, ушел от гостей? — раздался голос Василия Игнатьевича за дверьми.

Трифон Исаев побледнел с испугу, бросился было в двери.

— Куда, мерзавец, трус? Стой здесь! — крикнул Дмитрицкий, схватив его снова за ворот и оттолкнув от двери.

— Прохор, отвори!

— Сейчас, тятенька,— отвечал Дмитрицкий.

— На кого ты там кричишь?

— Да вот на этого мерзавца.

— Да что такое?

— Да ничего, тятенька; так себе кричу, переодеваюсь; ступайте, я сию минуту приду.

— Ну, смотри же, скорее.

— Сейчас.

— Фу! перепугался! — проговорил Трифон.

— Я тебе говорил, что ты и мерзавец и трус!

— Полноте уж браниться-то, лучше подумаем, что делать с Прохором Васильевичем.

— Где ты его отыскал?

— Сам нашелся,— отвечал Исаев и рассказал встречу свою с ним.

— Так он не в своем виде?

— Уж так-то не в своем.

— Иначе и быть не может; потому что я принял его вид... Ну, подавай его сюда.

— Это как?

— А так, просто: пусть его занимает свое место и у «тятеньки» и у Селифонтовны... надоело! Не хочу быть Прохором Васильевичем!

— Нет, уж это не приходится,— сказал Трифон Исаев, пожав плечами,— взявшись за гуж, не говори, что не дюж... Нет, уж извините, я хлопотал недаром!

— Послушай, брат, если мне что надоело, так ты со мной недолго разговаривай!.. Ты мошенник; а я помню заповедь и не желаю ни дома Прохора Васильевича, ни отца его, ни Авдотьи Селифонтовны, бог с ними! Покуда не было настоящего налицо, отчего не заменить; а если явился, так кончено!

— Эх, господин! Свяжешься и не рад: и видно, что не наш брат...

— Ну, не рассуждать! Ни слова! Видишь!

Дмитрицкий отпер бюро, выдвинул ящик и показал Трифону Исаеву пук ассигнаций.

— Ой ли? Так приданое-то за нами?

— Видел? Ну, и довольно; пошел же. Когда пришлю Конона,— привести моего двойника сюда, да снарядить как следует.

— Уж это-то пусть так, мы его поставим на место, да чур без меня ни шагу,— сказал Трифон Исаев, взглянув хищным ястребом на бюро, а потом на Дмитрицкого.

— Ступай, ступай!

— Все это комедия, господин; а уж куда комедии-то я ломать не мастер!

— Врешь, мошенник: недаром на тебе вместо человеческого лица плутовская рожа.

— Нет, право, не мастер: по-нашему бы... Э! да и квит с дубинкой! — сказал Трифон Исаев, выходя.

— Ну, счастлив, что ушел, каналья! — крикнул Дмитрицкий вслед ему.

— Виноват, виноват, не буду!.. «Да, не буду,— продолжал про себя Трифон Исаев, пробираясь на улицу.— Голова, да словно как будто недоделан, не выдерживает, то есть, характера... Уж я знаю, что он все равно, так или не так, а накутил бы... Оно будет лучше попридержаться настояшаго-то... обязать его, то есть, чтоб век добро помнил...»

Прохор Васильевич в каком-то бреду сидел на нарах, уставив глаза на нагоревший шапкой огарок, и разговаривал сам с собою. Он вздрогнул, когда вошел Трифон Исаев и крикнул:

— Прохор Васильевич! батюшко!

— Триша, это ты? — проговорил он, подняв на него мутный взор.

— Прохор Васильевич! Что это за чудеса такие на свете бывают!

— Что, Триша?

— Ох, дайте опомниться!.. своими глазами видел!.. Ей-ей, видел вас же... И там вы, и здесь вы же!.. Так я и ахнул... Господи, думаю, что это такое: два Прохора Васильевича!..

— Что ж это такое, Триша? — спросил Прохор Васильевич, дрожа всем телом.

— Прибегаю в дом к тятеньке вашему, пробился сквозь народ, к дверям... Возможное ли это дело, думаю, какой же еще Прохор Васильевич взялся? Верно, неправду говорят люди...

— Ох, Триша, Триша, верно правду говорят люди... верно, это божие наказание...

— То-то и беда, что правда,— прервал Трифон Исаев,— не выдумывать же мне... Господи, думаю, чудится мне, или это тень Прохора Васильевича?..

— Ох, что-то страшное ты говоришь, Триша!..

— Ей-ей!.. Должно быть, тень ваша... говорят же, что двойники бывают... Уж что-нибудь, да не так, недаром!.. Верно, думаю, свахи перессорились за Прохора Васильевича; а сваха Авдотьи Селифонтовны, чтоб поставить на своем, взяла да и наступила на тень вашу, сдернула ее с вас, и вышел двойник... Подкинула его вместо вас в дом к тятеньке, да теперь и женит на Авдотье Селифонтовне...

— Ох, страшно что-то ты говоришь, Триша!..— повторил Прохор Васильевич.— Что ж это будет такое, Триша, голубчик?.. Что ж я-то буду делать?.. Я-то так и пропал?..

— Избави бог, Прохор Васильевич,— отвечал Тришка,— уж чего я для вас не сделаю... Знаете ли что? Пойду я к ворожее да спрошу, как быть, нельзя ли извести вашего двойника... Право, пойду... а вы побудьте; да знаете, надо вам маленько покуражиться. И Трифон достал с полки полуштофик.

— Выпейте-ко,— сказал он, наливая в стакан и поднося Прохору Васильевичу,— это сладенькая.

Прохор Васильевич покачал головою.

— Выпейте, беспременно надо выпить; вишь совсем посоловели... Эх, да извольте пить!..

Прохор Васильевич выпил и потер голову.

— Пообождите же немножко, я сбегаю. Прилягте, поуспокойтесь...

Прохор Васильевич послушно прилег на нары, но не забылся сном. Смутные мысли бродили в его голове и воплощались в видения. С испугом приподнимая голову, он всматривался в них и снова ложился.

В час за полночь пришли Трифон Исаев и Конон.

— Прохор Васильевич, пойдемте скорей,— сказал Трифон, взяв его за руку.

— А? что такое? — спросил он, приподнимаясь.

— Пойдемте, сударь, уж чего я для вас не делал... если б вы знали, чего мне стоило...

— Ох, нет, Лукерьюшка, погоди, я подумаю,— отвечал Прохор Васильевич тихо, смотря неподвижными взорами на Трифона Исаева.

— Он что-то бредит! — сказал Конон на ухо Трифону.

— Ничего... Прохор Васильевич! очнитесь, сударь, да пойдемте...

— Ох, это ты, Триша?

— Порадуйтесь: ведь я выжил дьявольское-то наваждение из дому... ей-ей!.. вот уж теперь знаю, что двойники-то черти... Прибежал я к ворожее, говорю: бабушка, вот так и так, двойник явился, что делать? «Поймай, говорит, за хвост, да и стащи с него чужую-то шкуру — сгинет!» Я так и сделал: притаился за углом; только что он в двери, разряжен молодцом, во фраке, я и хвать за фалды. «Стой, друг! Сбрасывай-ко чужие перья! Вон из чужих хором!» Он туда-сюда: «Батюшка, говорит, что хочешь возьми, только пусти».— «Нет, брат, извини, ни за что... Полезай вон из кожи!» — «Возьми десять тысяч!..» — «Нет, проклятый, ничего мне от тебя не нужно; Прохор Васильевич наградит меня... двадцать даст...» Правда, Прохор Васильевич?

— Правда, Триша,— отвечал Прохор Васильевич.

— Вот, я как дерну его за хвост и сдернул, как сорочку, совсем с платьем. Вот оно; теперь надо на вас накинуть скорей... Эти лохмотья-то долой... Закройте глаза... Господи, благослови!

Трифон Исаев и Конон принялись одевать и холить Прохора Васильевича, который, закрыв глаза, дрожал, как под студеным водопадом, и ни слова.

— Ну, вот,— сказал, наконец, Трифон Исаев, причесывая всклокоченные кудри Прохора Васильевича,— недаром на вас лица не было; а теперь, смотрите-ко. Ах, жаль, зеркальца нет!.. Ну, с богом! пойдемте.

— Куда, Триша?

— К тятеньке в дом.

— Как же это, Триша: тятенька-то не убьет меня?

— Вот! он теперь спит; а завтра вы к нему придете: «Здравствуйте, тятенька!» — и как будто ни в чем не бывало.

— А он спросит — где я был? куда деньги девал?

— Не спросит, ей-ей не спросит, уж это дело кончено: чертов сын, двойник ваш, так славно все обработал... Ей-ей, уж не само ли счастье ваше наслало его: так укатал вам дорожку, что чудо! Вы уж о прошлом ни слова. Слышите, Прохор Васильевич?

— А как он скажет...

— Ах ты, господи! Да ничего не скажет, вы только ни слова не говорите.

— Да, тебе хорошо, Триша: ты не женился без воли родительской.. Жену-то не бросишь...

— Ну кто... ну что, ну где вы женились без воли тятеньки? Уж об этом не беспокойтесь; все шито да крыто; извольте себе только жить да поживать, да детей наживать.

— Ой ли? Ты правду говоришь, Триша?

— Ну-ну-ну, пойдемте скорей!

— Как же это мне идти, Триша? — проговорил Прохор Васильевич, силясь приподняться с места. Он привстал; но ноги его подкосились. Трифон и Конон повели его под руки.

В доме Василия Игнатьевича все уже спало крепким сном после радостного дня. Не спал только мнимый Прохор Васильевич. Он сидел в своем кабинете, в потемках, и беседовал сам с собою.

«Прощай, любезный друг, Прохор Васильевич,— говорил он задумчиво,— служил я за тебя службу по мере сил и способностей; лез, как говорится, из кожи, чтоб не положить хулы на твою голову... Легко кажется быть не тем, что есть; а в сущности дьявольский труд!.. Всякое двуногое существо без перьев, от человека до ощипанного петуха, зритель без платы, судья без оффиции... Кто спорит с разумными людьми, что каждый человек должен быть человеком; да ведь те же разумные люди сочинят роль человека, как их душе угодно, и изволь ее разыгрывать!.. Людям ужасно как не хочется быть тем, что есть: им хочется быть лучше. Прекрасное желание, истинно прекрасное желание! А все-таки из него следует, что бог не угодил на них. Вот и я вслед за другими не хочу быть тем, что есть, а хочу быть лучше, выхожу из себя, чтоб быть лучше. Быть Прохором Васильевичем действительно лучше: желаний мало, а средств тьма. А у меня черт знает сколько желаний!.. Да у меня ли?.. Кто я, что я? Слуга двух господ: барина да барыни. Хорошо бы было им служить, если б эти супруги были в добром здоровье да жили в ладу; а то такая бестолочь, что из рук вон: барин — предобрая, беззаботная скотина, без всяких претензий, все съест, все наденет, что ни подай, везде ему ловко; зато барыня моя такая беспокойная душа, что ужас! Ничем не угодишь; совершенная коза.

Охотница была коза резвиться,
На месте никогда козе не посидится...

Что делать? Вот и моей козе не посидится на месте; и то подай ей и другое подай: и ума, и учености, и любезности, и роскоши, и богатства, и всего, что не суждено каждому, а каждому хочется иметь. Где ж взять? Не досталось по наследству, надо приобретать, надо покупать; нет *купилок*, надо их добывать трудом и пóтом. Добыл — глядь, поздно, смерклось на дворе, и пошли все труды и подвиги под ноги!.. Вот, например, я трудился, исправлял чужую должность, как следует, готов сдать ее хоть по форме и получить аттестат... Приобрел то, что нужно в свете... Средства есть, а деваться с ними некуда: каким образом

возвратиться в себя? Поди, объяви, что вот, дескать, я, Дмитрицкий, честь имею явиться, прошел через огонь и воду, перегорел, выполоскан и ныне имею благое намерение быть тем, что есть. «А, а! — крикнут добрые люди,— так это ты-то, голубчик? Так это ты-то? Пожалуй-ко сюда, изволь отвечать, изволь сознаваться во всем!..» Поневоле со страху отречешься от самого себя, скажешь: «Нет, господа, я пошутил, ей-ей пошутил: я не я!..»

Беседа Дмитрицкого с самим собою прервана была чьим-то входом.

— Готов! — сказал кто-то шепотом. Нет. Лукерьюшка... Нет, голубушка... не пойду! — заговорил кто-то тихим, жалобным голосом,— тятенька убьет... Ступай ты... сама... скажи, что вышла за меня замуж... я ни за что не скажу тятеньке, что женился на тебе... он убьет меня...

В это время за дверьми в спальне раздался колокольчик и послышался чей-то звонкий голос.

Точно как петух подал голос, и бродившие по кабинету тени скрылись.

* * *

В роскошной спальне, озаренной лампадкой, под кисейными занавесами, которые ниспадали из-под молний золотого орла, как из громовых туч потоки, лежала в пуховых волнах Авдотья Селифонтовна. Она, казалось, очнулась с испугом, схватилась за тесьму колокольчика и громко вскрикнула: «Нянюшка, нянюшка!»

Никто не шел на зов ее. Побледнев, как белый батист, который обвивался вокруг нее, она продолжала звонить и звать нянюшку. Наконец нянюшка прибежала к ней.

— Что с тобой, сударыня моя! Что ты кричишь благим матом! режут, что ли, тебя?

— Нянюшка, мне страшно! мне страшно одной!

— Как одной? Где ж супруг-то твой?

— Я не знаю... нянюшка, не уходи!..

— Да где ж Прохор-то Васильевич?

— Я не знаю, его здесь нет...

— Как нет? Где ж это он?

— Он, верно, там... Меня оставили одну... Я ждала, ждала... мне стало вдруг страшно.

— Ах ты, господи! Прохор Васильевич, сударь!

Старая нянюшка прошла через уборную и постучала в дверь кабинета. Никто не отзывался.

— Прохор Васильевич, сударь! — крикнула она, приотворив дверь и взглянув в кабинет.

— Господи, что это он тут залег?.. Прохор Васильевич, сударь!.. Спит как убитый! Ах ты, господи, что это он? Прохор Васильевич, сударь!..

III

Сдав по надлежащей в подобном случае форме должность Прохора Васильевича, Дмитрицкий, как вы видели, пропал. Трифон Исаев, опасный товарищ и в добрых и в худых делах, способен был бог знает что сделать, чтоб вынуть у него из кармана вырученный капитал. Может быть, он *сжег* Дмитрицкого или утопил.

Но герой нашей повести в воде не тонет, в огне не горит, и покуда явится снова на сцену, посмотрим, что сталось с Платоном Васильевичем Туруцким после получения горестной вести о Саломее Петровне.

— Батюшка-барин, ваше превосходительство, не послать ли за доктором? Вам что-то не по себе! — вопил над ним Борис, не смея ни на что решиться без приказания.

Платон Васильевич как будто очнулся, посмотрел неподвижными взорами прямо перед собой и снова закрыл глаза.

— Батюшка-барин, ваше превосходительство! — начал снова Борис взывать к нему, желая удостовериться, не умер ли он.

Платон Васильевич дышит тяжело и ни слова; и Борис то постоит над ним, сложа руки как умоляющий о помиловании, с лицом, плачущим без слез, то побежит, нальет из графина воды и подержит над губами его, предлагая выкушать.

— Господи, господи! — повторяет он долго и потом крикнет снова: — ваше превосходительство!

Платон Васильевич откроет глаза, кажется смотрит, кажется слушает; долго смотрит, долго слушает; но утомленные неподвижностью веки его снова начинают слабеть, опускаться; закрылись, а голова вдруг упала на грудь.

— Умер, умер! — вскричал Борис и зарыдал во весь голос. Хотел бежать кликнуть людей; но ноги его подкосились, и он припал на колени, приполз к барину, схватил его руку и начал обливать горькими слезами.

— Отец родной! На кого ты нас покинул! Батюшка, Платон Васильевич!

— А? — произнес вдруг Платон Васильевич, очнувшись.— Что?

— Ах, господи! ничего, ваше превосходительство! — проговорил тихо Борис, с испугом,— я только хотел спросить, не будете ли раздеваться?

— Что, уж смеркается? — спросил Платон Васильевич, осматриваясь кругом.

— Да, скоро уж будет смеркаться.

— А!.. Одеваться скорей, одеваться!.. Все ли там готово?..

— Где, ваше превосходительство?

— Новую пару платья... лаковые сапоги...

— Вы бы прилегли, сударь... вам что-то нездоровится.

— Этот проклятый парик жмет мне голову, братец,— проговорил старик, взявшись за голову,— ужасно жмет...

— Лягте, батюшка-барин,— повторял Борис,— я вас раздену да доведу до постельки...

— Да, да, скорее!.. Уж смеркается... Сейчас приедут... скорее!

И Платон Васильевич протянул руку. Борис снял с него домашний шелковый сюртук, взял под руки.

— Пойдемте, сударь.

— Пойдем... пора... карету подали?.. Постой!.. какую заложили? На английских рессорах?.. а?

— Да, да, сударь... прилягте, батюшка...

— То-то.

Едва держась на ногах, Платон Васильевич, поддерживаемый Борисом, шел к постели. Больному воображению его она казалась каретой.

— Какие... высокие... подножки,— проговорил он, приподнимая ногу, и почти без чувств свалился на подушки; но все в нем сотрясалось, как будто от колебания и толчков экипажа.

— Заснул! слава богу! — произнес, наконец, Борис, долго и безмолвно стоя над барином. Едва дотрагиваясь до полу, он вышел в надежде, что сон лучше всякого лекарства поможет, и рассуждая сам с собою, от чего бы это так приключился обморок Платону Васильевичу? «Сроду с ним такого казуса не бывало, чтоб так огорчаться... Ох, что-то не в себе, сердечный! А вот с тех самых пор не в себе, как вздумал дом строить... словно кто обошел его... Право! И в клуб перестал ездить... Болен не болен, кажется; заболит что, бывало, пожалуется, пошлет за доктором. Бывало, всякий день порошки принимает; а тут и порошки перестал принимать... А что ты думаешь, ведь что-нибудь да недаром; вдруг ни с того ни с сего дом строить да заводить убранство такое... Уж не жениться ли вздумал на старости лет?.. Родители-то, чай, рады — мошна-то у нас, слава тебе господи, не нищенская... Ну, а невеста-то верно... да уж так! верно так!.. Тут бы ее к венцу, а она к молодцу!.. Эх, барин!»

На другой день Платон Васильевич проснулся как будто здоров, как будто все в обычном порядке. Встал, оделся, покушал бульону, спокойно прохаживался по комнате, брал газеты, читал... Но около трех часов пополудни проявилось вдруг в лице его какое-то беспокойство, он начал бодрее и поспешнее ходить взад и вперед, рассуждал руками, взор его углубился во что-то. Это продолжалось до тех пор, покуда Борис, накрыв в обычный час на стол, спросил, подавать ли кушанье?

— Да, да, хорошо! Поскорее! — отвечал Платон Васильевич и, как будто торопясь куда-то, наскоро перехватил кой-чего, приказал скорее убрать и идти в дом посмотреть, все ли в исправности и все ли люди на местах.

— Там все в исправности, ваше превосходительство,— отвечал Борис.

— То-то, смотри, чтоб все было в исправности,— заметил Платон Васильевич,— я сам приду... сам... только отдохну.

Эти слова произнес он уже в дремоте. Борис помог ему прилечь на постель.

Беспокойный сон, казалось, был новыми заботами для него; по судорожным движениям лица и всего тела можно было отгадать, что он о чем-то все хлопочет. Около полуночи Платон Васильевич очнулся, кликнул Бориса и протянул опять к нему руки. Борис приподнял его и повел к креслам.

— А что ж, Петр, не потрудился встретить меня и помочь выйти из кареты? а?

«Бредит со сна»,— подумал Борис.

— Устал немножко,— продолжал Платон Васильевич,— раздевай скорей, да в постелю.

И он снова ложился и засыпал крепким сном отдыха.

В продолжение нескольких месяцев почти каждый день был повторением этого дня, без малейшей перемены. Платон Васильевич просыпался только для каких-то заботливых дум и для принятия пищи. Иногда только, во время утренних его бдений, навещали его старые знакомцы, из приязни и по своим делишкам. Но Платон Васильевич решительно стал недоступен ни для приязни, ни для просьб.

— Извините,— говорил он одним,— я что-то расстроен немножко, голова кружится.— А другим: Не могу, никак теперь не могу!

Все знакомые и все нуждающиеся в его добром расположении отстали, наконец, от него, заключив, что старик спятил с ума и от него нечего больше ожидать.

Так бы, казалось, остальная жизнь Платона Васильевича продолжалась день в день до совершенного истощения сил; но один раз посетил его клубный знакомец Иван Иванович и так неотступно просил одолжить ему двадцать тысяч, что произвел в нем какой-то переворот.

— Борис,— крикнул он,— что ж, готова ли карета?.. Доложить мне, когда будет готова... да скорее... Извините, пожалуйста, мне надо ехать по делу.

«Экой старый хрен! — подумал Иван Иванович,— да я тебе покою не дам, покуда не дашь мне двадцать тысяч!.. Ведь я у тебя не подарка прошу!..»

— Готова карета, ваше превосходительство,— доложил Борис,— прикажете подавать?

— Подавай,— отвечал Платон Васильевич, извинившись и торопливо выходя.

— Прощайте, Платон Васильевич,— сказал Иван Иванович, следуя за ним.

— Куда прикажете ехать? — спросил Борис, подсаживая барина в карету.

— В дом,— отвечал он.

— Ступай к парадному крыльцу! — крикнул Борис кучерам.

Карета сделала полкруга по двору; Борис отпер дверцы и вместе с Петром высадил барина и повел под руки на крыльцо.

— Постой, постой,— сказал Платон Васильевич,— что ж это значит, что швейцар не одет?

— Он не знал, ваше превосходительство, что вы изволите быть сегодня.

— Как не знал? Как не знал? Я тебе не говорил с утра, что у меня будут гости и чтоб все было в надлежащей исправности к приему?.. Нет, этого я не люблю! Я не люблю этого!.. Ты должен стоять неотлучно у подъезда!.. слышишь? Во всей форме... с булавой в руках!.. поди сейчас надень перевязь!

Сделав строгий выговор швейцару, Платон Васильевич как свинцовый поднялся при помощи двух лакеев на лестницу. В передней заметил он также беспорядок. Нет ни одного человека официантов.

— Где ж официанты? — спросил он гневно, остановясь и колыхаясь, как на проволоке.

— Сейчас придут, ваше превосходительство,— отвечал Борис,— вы не изволили сказать, чтоб и сегодня все было готово к приему гостей.

— Я не сказал?.. Они будут уверять меня, что я не сказал!.. Вы разбойники! Вы острамите меня!.. Где они? Подай их сюда!..

Когда собрались все официанты, Платон Васильевич начал им читать наставление, чтоб они не совались за одним делом все вдруг, не смотрели, вылупив глаза, дураками; а когда понесут чай, чтоб глядели под ноги, не спотыкались с подносами и не наступали дамам на подол.

— Лампы подготовлены? — спросил он, проходя по комнатам.

— Подготовлены,— отвечал Борис, мигнув одному из лакеев.

— Чтоб не коптели, слышишь?

— Да как же можно, ваше превосходительство, чтоб лампы не коптели; ведь это не свеча: ту взял да сощикнул, так она и ничего, особенно восковая: а эти ночники, прости господи, черт выдумал! — отвечал Борис, окончив заключение вполголоса.

— Я не люблю умничанья; все умничают, это удивительно!.. Только умничают, а дела не делают!.. Это для чего заперто на ключ? — спросил Платон Васильевич, подходя чрез уборную к девичьей.

— Как же, ваше превосходительство, оставлять комнаты незапертыми; а в девичью ход с заднего крыльца.

— А где ж горничные?

— Должно быть, здесь.

— Где?

— А бог их знает, ведь они француженки, присмотру за ними нет; так они что хотят, то и делают: так хозяйничают, что боже упаси; перед большим зеркалом вздумали было одеваться... да навели каких-то кавалеров... так я уж сказал: нет, извините, сударыни мои, это не приходится!..

— Да где ж они? — повторил Платон Васильевич.

— Не могу знать; кто ж за ними смотрит, взяли извозчика, да и поехали.

— Ай, ай, ай! — проговорил Платон Васильевич,— без всякого присмотра! Куда хотят, туда и поедут!.. Это беспорядок, это беспорядок!.. во всем беспорядок! Надо было приискать какую-нибудь степенную француженку заведовать всем в доме. Где теперь вдруг найти? Где теперь найти такую француженку?..

Платон Васильевич, толкуя о необходимости поручить весь порядок в доме в заведование умной, степенной француженки, не заметил, как Иван Иванович снова явился перед ним, крикнув:

— Еще здравствуйте, Платон Васильевич! а я воротился сказать вам слово... Славный дом! О чем это вы хлопочете? Вам, слышал я, нужна француженка! Поручите, пожалуйста, мне, я для вас всё готов сделать; я отыщу, непременно отыщу... Верно, для вашей сестры? Вы, кажется, говорили, помните?

— Да, да,— отвечал Платон Васильевич,— очень благодарен, очень благодарен...

— Помилуйте, для вас я все готов сделать... а насчет того я обдумал и решился... Если вам нельзя теперь мне дать двадцати тысяч, так я оборочусь десятью. Десять-то тысяч вы, верно, не откажете.

— Не могу, не могу, право не могу,— отвечал Платон Васильевич, торопливо выходя.

— Ну, нет, уж это нельзя же, Платон Васильевич; как хотите, я от вас не отстану.

— Ах, боже мой, ну завтра, завтра, теперь я не могу, мне надо ехать...

— И, да долго ли это задержит; такие пустяки, десять тысяч! Минуту, не более; а мне такая крайность: сегодня же надо отвезть.

— Право, до завтра.

— Нет, пожалуйста! Что это для вас значит?.. Пустяки! Притом же взаимные одолжения: мне приятно угодить вам, вы не откажетесь для меня сделать маленькую послугу...

— Конечно, конечно; но теперь никак не могу!..

— Так я заеду к вам часа через два или попозже.

— Ах, нет, нет. Уж так и быть, лучше теперь...

— И прекрасно! — сказал Иван Иванович,— это короче всего.

Платон Васильевич торопился удовлетворить неотвязчивого Ивана Ивановича и рад был, что он, наконец, уехал, обещая непременно через неделю возвратить деньги с благодарностью.

Через неделю не возвратил он денег; но вы помните, что, встретив в клубе избавителя Саломеи Петровны из челюстей адского Цербера и узнав от него о француженке, которая ищет места, Иван Иванович, во взаимное одолжение Платону Васильевичу, тотчас вспомнил, что он ищет француженку,— и объявил об этом ее благодетельному ходатаю или адвокату Далину.

Далин на другой же день, перед обедом, отправился к Платону Васильевичу, который в это время был в сильном припадке забот об устройстве всего в доме для принятия ежедневно жданной гостьи — Саломеи Петровны с ее родителями. Только что Платон Васильевич кончил наставления официантам и начал допрашивать, не будут ли чадить лампы, вдруг стук экипажа.

— Боже мой, неужели так рано приехали? Борис, слышишь? — спросил он с испугом.

— Слышу, ваше превосходительство: кто-то приехал.

— Ах, боже мой,— повторил Платон Васильевич и побежал навстречу, к pente-douce.

— Дома Платон Васильевич? — раздался голос внизу.

— Как прикажете доложить?

— Скажи, что ... А! Да вот и сам Платон Васильевич.

— Давно вас не видал в клубе, слышал, что вы больны, и приехал навестить вас,— сказал Далин, вбежав на лестницу и протягивая руку к Платону Васильевичу, который смутился, встретив не того, кого ждал.

— Я болен? Извините меня, я, слава богу, здоров.

— А! Ну, тем приятнее для меня... С каким вкусом вы перестроили дом!..

— Да,— отвечал Платон Васильевич с досадой и не трогаясь с места,— да, перестроил.

— Можно посмотреть?.. А между тем мне нужно переговорить с вами об одном деле... Вот видите ли... Я слышал, что для вашей сестрицы нужна образованная, умная француженка в компаньонки?..

— Не знаю,— отвечал Платон Васильевич,— не знаю; она мне об этом ничего не писала.

— По крайней мере мне так сказали; это и заставило меня ехать к вам и удостовериться.

— Не знаю,— повторил Платон Васильевич.

— Странно!

— Француженка? — спросил Платон Васильевич после долгого молчания.

— Да. Меня просили позаботиться пристроить ее к хорошему месту. В гувернантки легко определить; но, как женщина с чувством собственного достоинства и по происхождению и по образованию, она не соглашается быть гувернанткой детей.

— Умная, степенная, женщина строгих правил?

— О, в этом я могу поручиться.

— Стало быть, ей можно поручить на руки хозяйство?

— Каким образом: то есть сделать ключницей?

— Нет, полное распоряжение хозяйством и порядком дома, чтоб самой хозяйке совершенно не о чем было беспокоиться.

— А, это дело другое; это прекрасно, особенно если хорошее содержание, помещение, экипаж и, разумеется, кушанье не со стола, а за общим столом. А для кого это, собственно?

— Собственно, для этого дома, который я хочу привести в полный порядок до прибытия хозяйки,— отвечал Платон Васильевич, пощелкивая по табакерке с какою-то особенною храбростью и уверенностью, что его счастие не за горами.

— А! прекрасно! — сказал Далин, посмотрев значительно на него,— а как вы думаете насчет вознаграждения? Тысячи четыре?

— Да, если эта дама степенная, образованная, женщина строгих правил. Я бы, впрочем, очень желал, чтоб она могла быть и для компании... Это бы не мешало... Хозяйка молодая женщина... пока будут дети... ну, иногда для выездов... одной не всегда прилично... В таком случае я бы дал и пять тысяч.

— О, будьте уверены, что она может быть другом умной женщины; притом же салон ей не новость. Вы увидите сами.

— Верю, верю; очень рад... помещение для нее будет прекрасное, я покажу вам комнаты... Но, который час... ах, мне пора...

Платон Васильевич торопливо повел Далина через уборную и спальню. Прямо — дверь вела в гардеробную и девичью; а вправо — в предназначенные детские покои.

— Бесподобное помещение, чего же лучше. Так это дело решено?

— Я уж совершенно полагаюсь на вашу рекомендацию.

— И будете довольны. Фамилия ее Эрнестина де Мильвуа.

— Де Мильвуа?

— Вы, я думаю, слыхали об известном французском поэте Мильвуа?

— Как же, как же; это приятно,— отвечал Платон Васильевич, смотря беспокойно на часы,— извините, мне надо... Борис!..

— Итак, до свиданья! Завтра она к вам явится.

Проводив гостя, Платон Васильевич сел в карету и возвратился в свой флигель.

— Борис,— сказал он,— я отдохну; через два часа разбуди меня, если неравно засплюсь, и чтоб все было готово, а в доме зажигали лампы.

Борис привык уже к этому ежедневному приказу. Не отвечая даже *слушаю-с,* он раздел барина, уложил, и Платон Васильевич предался своему обычному летаргическому сну, который после посещения дома изменил несколько свои симптомы.

Около семи часов проявлялось какое-то лихорадочное беспокойство; потом внутреннее волнение утихало, наружность оживлялась счастливой улыбкой молодости чувств; казалось, что все существо семидесятилетнего субъекта расцветало снова в видениях. Но вдруг набегала какая-то туча, лицо темнело, сжималось, и слышен был в груди глухой стон, как будто все более и более углубляющийся в подземелье; потом наступало болезненное онемение, продолжавшееся до полудня — обычного часа пробуждения Платона Васильевича.

На другой день после посещения Далина карета на английских рессорах остановилась подле ворот, лакей соскочил с козел и побежал сперва в людскую, потом во флигель.

— Доложите генералу,— сказал он, войдя в переднюю,— что приехала мадам, француженка.

— Какая француженка? — спросил мальчик, который тут был.

— Известное дело, какие француженки бывают. Ты только доложи генералу, что от господина Далина; а он уж знает.

— Да барин-то еще не одевался.

— Экая беда, поди-ко-сь! так он для нее одеваться и будет.

— Да; будет; уж наш генерал такой.

— Да что ж, скоро ли будет одеваться, а мне куда с ней деваться? Мне велено везти ее к генералу, я и привез; не на улице же стоять; карету-то барыня ждет: приказала скорей.

— Я скажу, пожалуй, дворецкому; а уж он как знает, так и доложит.

Борис, по докладу мальчика, вышел в переднюю и, переспросив, кто приехал, откуда, для чего и зачем, покачал головою и пробормотал про себя: «Эх, черт знает что! Подлинно барин-то с ума, верно, сошел: французской пансион заводит!»

— Кто там, Борис Игнатьич? — спросил его шепотом лакей, сметавший в зале пыль.

— Кто! Еще какая-то мадам француж̀анка.

— Зачем их несет сюда?

— Зачем! Известное дело, к нам же на пансион.

— Что ж это за пансион такой?

— Хм! Мода такая. Известное дело, французской пансион: соберут тощих да голых мамзелей, дадут им квартиру и все содержание, откормят, а потом и женятся на них. И наш, верно, барин тоже вздумал на старости лет: отделал дом, да вот уж третью берет на пансион. Смотри, если не добьет до дюжины. А пансион-то не то что по-нашему жалованье за службу; да и не то что одно жалованье: жалованье куда бы ни шло; а то — квартира со всем убранством, отопленье, свечи восковые да лампы, стол поварской, экипаж в полном распоряжении, что захочет — подай! И шляпку с перьями подай, и платье шелковое подай, и все подай, не смей отказать... и в театр или на бал захотела — вези! А не повез, так черт с тобой, меня другой по-

везет! Вот, брат, что значит пансион-то французской, это, брат, не то что по-нашему; нет, брат Вася, это уж не то; не то, брат Вася. Вот с тех самых пор не то, как мода вошла. Ну, да что тут говорить! не наше дело!

Вздохнув глубоко, Борис вошел в спальню и доложил Платону Васильевичу, что приехала какая-то француженка, мадам.

— Мадам? Какая мадам? — спросил Платон Васильевич.

— Прислал ее господин Далин, что вчера у вас был.

— А! Знаю, знаю,— сказал Платон Васильевич после долгой думы,— знаю!.. Проси ее в большой дом... погоди!.. Скажи, что я сейчас сам буду... Постой... Покажи ей комнаты вправо от уборной... она в них поместится...

— Ступай к большому подъезду,— сказал Борис лакею и пошел на парадное крыльцо встречать новую пансионерку своего господина.

— У, да какая! — промолвил он про себя, взглянув на даму, которая вышла из кареты и посмотрела вокруг, как владетельная особа, вступающая в хижину своих подданных.

Не вдруг можно было бы узнать на бледном, опавшем лице черты Саломеи; но спесивая, высокомерная осанка как будто наделась на нее снова вместе с шляпкой; едва только отогрелась ее душа и — зашипела по-прежнему.

В уборе ее головы, под полями, недоставало только любимых ее длинных локонов, кажется, à la Ninon. В довольно роскошном наряде, которым, без сомнения, снабдило ее радушное участие к судьбе несчастной француженки, она приехала в английской карете как будто с визитом и медленно шла на лестницу, ожидая почетной встречи.

Но парадные двери не отворились перед ней. Борис, отпирая ключом маленькую дверь вправо, сказал только:

— Пожалуйте сюда! — и, оборотясь к лакею, прибавил: — Что ж ты, брат, не несешь ее пожитки?

— Какие пожитки?.. Никаких нет,— отвечал лакей,— мне велели представить ее сюда, да и только. Росписку, что ли, пожалует генерал?

Саломея вспыхнула. Обиженное самолюбие и негодование резко выразились в заблиставшем взоре и взволновавшейся груди.

— Ну! — проговорила она повелительно, остановясь перед дверьми.

— Сюда пожалуйте, вот сюда,— повторил Борис,— барин, его превосходительство, сейчас сами будут; а вот эти покои для вас приказал отвести... Вот эти покои, изволите понимать, сударыня? Я ведь по-вашему не знаю... Вот эти покои, то есть, для вас... Нет, нет, вот эти только, а тут спальня да уборная господские...

Саломея, не обращая внимания на слова Бориса, окинула недовольным взором комнаты, меблированные просто и, заме-

тив сквозь отворенные двери роскошно обставленную, приютную уборную, вошла в нее, сбросила на бархатный диван против трюмо свою мантилью и села в глубокие кресла, грациозно положив локоть на извивающуюся позолоченную змейку и свесив небрежно кисть руки в палевой перчатке.

— Это уборная господская; а вот покои для вас! — повторил Борис; но Саломея, как будто не понимая мужицкого языка, смотрелась в зеркало и оправляла шарф на плечах.— Поди, что хочешь ей говори — как горох об стену! Экое племя!.. За руки и за ноги, что ли, тащить вон; забралась, разделась, да и права!.. Пусть сам генерал придет да говорит ей; а мне не сговорить! — ворчал про себя Борис.

Повторив еще несколько раз, что это уборная, он пошел докладывать барину, что вот так и так: я показал ей покои, которые ваше превосходительство назначили, а она села в уборной, да и сидит.

— Хорошо, давай мне одеваться,— сказал Платон Васильевич.

Туалет его требовал времени. Брадобрей Иван долго возился, пробривая складки морщин. Потом следовало умыванье, потом перемена белья, накладка парика, чашка бульону, потом периодический кашель, утомление и дремота; потом натягивание плисовых сапогов посредством крючков, хоть они влезали на ногу не труднее спальных, потом еще натягиванье, возложение подтяжек на плеча и ордена на шею. Все это продолжалось добрых два часа.

Заключив свое облачение несчастной верхней одеждой, называемой фраком, Платон Васильевич сел снова в кресла, забылся было; но вдруг очнувшись, спросил:

— Что ж, всё готово?

— Все, сударь,— отвечал Борис,— карета подана.

— Так поедем в дом, я посмотрю, все ли в надлежащем порядке.

Вступив на парадное крыльцо, он перевел дух и начал обычный осмотр всего с таким вниманием, как в первый день ожидания Петра Григорьевича с семейством. Передвигаясь из комнаты в комнату, заботливо вглядывался он во все предметы и обдумывал, нет ли какого-нибудь упущения; наконец, добрался до уборной.

Там наша Эрнестина де Мильвуа, разгневанная и истомленная долгим ожиданием, приклонясь на мягкий задок кресел, забылась. Вероятно, очарованная каким-нибудь сладким сном, она разгорелась; а румянец необыкновенно как хорошо ложится на бледное матовое лицо.

Вступив в уборную, Платон Васильевич, не заметив еще Саломею, хотел было что-то сказать Борису, и вдруг оторопел, остановился с раскрытым ртом; все слабые струны его чувств затрепетали без звука.

— Вот она, сударь,— начал было Борис.

— Тс!.. Ах, боже мой! — проговорил Платон Васильевич тихо, махая рукой, чтоб Борис молчал, и отступая боязливо, чтоб не шаркнуть.

Борис и несколько официантов, следовавшие за ним для получения разных приказаний, по примеру своего господина также выкрались на цыпочках из уборной.

Пораженный неожиданностью и взволнованный, Платон Васильевич взялся за руку Бориса и произнес:

— Это она!

— Она, ваше превосходительство! — отвечал Борис.

— Что ж ты мне не сказал?.. Никто не донес, что *она* приехала? а?

— Я докладывал, что *она* приехала, вы изволили сказать: хорошо.

— Когда? когда? Никто не докладывал. Врешь!.. Где ж Петр Григорьевич и Софья Васильевна?

— Не могу знать, они не приезжали! — сказал Борис. Но Платон Васильевич, откуда взялись силы, торопливо побежал по комнатам.

— Где ж они?

— Не могу знать, ваше превосходительство; приехала только вот эта француженка...

— Француженка! Дурак! ты переврал!

— Извольте хоть всех спросить: приехала одна-одинехонька, в карете...

— Одна? Не может быть!

— Ей-ей, сударь, одна.

— Что ж это значит?.. Боже мой, никто не сказал!.. Я не ожидал так рано... Кажется, я не звал к обеду?.. Поди, поди, скорей распорядись об обеде... Одна! Не может быть... люди проглядели... они, верно, прошли в спальню...

Платон Васильевич снова побежал к уборной. Тихонько вошел он и, едва переводя дыхание, остановился у дверей, не сводя глаз с *видения Саломеи.* Взор его пылал довольствием, чувства блаженствовали, и голос, как у чревовещателя, без движения уст, повторял: «Она! Боже мой, она!.. Она заснула!..»

Глубоко вздохнув, Саломея вдруг приподняла голову и проговорила с сердцем:

— Как это скучно!

— Mademoiselle! Mille pardons! [1] — произнес дрожащим голосом Платон Васильевич, благоговейно подходя к ней и сложив ладони, как пастор, в умилении сердца,— как я счастлив!.. Простите, что я не встретил вас!..

Саломею поразила что-то знакомая, но уже забытая и много изменившаяся, особенно в новом парике, наружность Платона

---

[1] Тысяча извинений, мадмуазель! *(франц.)*

Васильевича. Это уже был не тот дряхлый, но живой любезник гостиных, всеобщий запасный жених, существо, употребляющееся для возбуждения к женитьбе женихов нерешительных. Любовь успела уже изменить его из мотылька в ползающее морщинистое насекомое.

Саломея не старалась, однако ж, припомнить это знакомое ей лицо; но, верная роли Эрнестины де Мильвуа, встала и поклонилась.

— Прошу вас в свою очередь и меня извинить, что я несколько утомилась долгим ожиданием,— сказала она по-французски,— вам, я думаю, уже известно...

— О, знаю, знаю! — перервал ее Платон Васильевич,— вы были больны... это так перепугало меня! Сделайте одолжение!..

«Что он говорит?» — подумала Саломея.

— Прошу вас... позвольте и мне... Я так счастлив... немного взволновало меня... что мне не сказали...

И Платон Васильевич, не договоря, опустился в кресла подле Саломеи, провел рукой по лбу, собирая расстроенные свои мысли.

— А ваши родители? Батюшка и матушка? — продолжал он, переводя дух.

— Мои родители?..— повторила Саломея,— мои родители во Франции... их уже не существует на свете...

— Боже мой! Не существует на свете?.. да когда же... Ах, да! Верно, это с ними случилось несчастие... а мне сказали про вас...

«Это какой-то безумный!» — подумала Саломея.— Я вас не понимаю, я только что приехала из Франции...

— Из Франции... да когда ж это?.. Боже мой, сколько перемен!.. Приехали из Франции... одни приехали?

— О нет, я ехала с мужем; но он умер дорогой... и я осталась без призрения...

— Без призрения!.. Замуж вышли!..— проговорил пораженный Платон Васильевич.— Боже мой, сколько перемен!.. Саломея Петровна! — прибавил он по-русски.

Саломея вспыхнула, смутилась, услышав свое имя...

— Я вас не понимаю; я Эрнестина де Мильвуа,— отвечала она, подавив в себе смущение.

— Эрнестина де Мильвуа?..— повторил Платон Васильевич, смотря неподвижным взором на Саломею, как на призрак.

— Вам, я думаю, сказали уже...— начала было Саломея.

— Сказали, сказали... Боже мой, я считаю себя счастливым...— перервал Платон Васильевич.

— Так я желала бы знать ваше распоряжение насчет меня,— сказала Саломея, начиная припоминать знакомую наружность старика и с твердым намерением разуверить его.

— Распоряжение насчет вас?.. Боже мой, что вам угодно, все что вам угодно, все к вашим услугам... что только прикажете... все в вашем собственном распоряжении... Я так счастлив,

что могу вам служить, угождать... Я так счастлив, Саломея Петровна...

Слезы брызнули из глаз старика; и он не мог продолжать.

— Вы меня принимаете совсем за другую особу; но я не желаю в вашем доме пользоваться чужими правами и быть не тем, что я есть,— сказала Саломея, вставая с места.

— Виноват, виноват! — вскричал Платон Васильевич, вскочив с кресел и схватив Саломею за руку,— простите меня... сядемте... голова немножко слаба... Я все забываю, что вам неприятны горькие воспоминания... сядемте, пожалуйста... Я надеюсь, что вы со мной оставите церемонии и с этой же минуты будете здесь, как дома... это ваши комнаты... здесь ваша уборная... тут будуар... а вот спальня ваша... я, кажется, все обдумал, чтоб угодить вашему вкусу...

— Мне человек ваш сказал, что эти комнаты *господские;* а мне показал какие-то другие подле господских.

— Ах, он дурак! Он ничего не знает! он не знал, что это вы...

— Но... где ж комнаты хозяйки дома? — спросила Саломея.

— Вы и будете здесь хозяйка, весь дом в вашем распоряжении... Боже мой, я буду так счастлив!.. И какой странный случай! Судьба!.. Когда я строил этот дом, я хотел во всех мелочах сообразоваться с вашим вкусом... помните, я все спрашивал вас, какой род украшений вам нравится...

Это напоминание прояснило прошедшее для Саломеи.

«Боже мой, да это тот дряхлый жених, которого мне навязывали! У меня из головы вышла его фамилия! — подумала Саломея,— он совсем выжил из ума!.. Он, кажется, помешан!..»

— Помните,— продолжал Платон Васильевич с умилением сердца, забывшись снова,— помните, какое счастливое было время!.. Ах, сколько перемен!.. Когда же это?

Платон Васильевич остановился и задумался.

— Кажется, я вчера был у вас и говорил с батюшкой вашим, Петром Григорьевичем...

«Этот старик расскажет всем, кто я!» — подумала Саломея.

— Еще раз повторяю вам, что мне непонятны ваши слова! Может быть, я на кого-нибудь похожа из ваших знакомых, в этом я не виновата, и прошу вас принимать меня не иначе, как за то, что я есть, за француженку Мильвуа...

— Виноват, виноват! Не сердитесь!.. я все забываю, что обстоятельства... так... переменились...— сказал Платон Васильевич, совершенно потерянный,— ваш супруг... был... кажется... известный поэт Мильвуа... Какой удивительный поэт! Мой любимый французский поэт!.. И умер... как жаль!.. Не сердитесь... это меня встревожило... я счастлив, что могу быть вам полезным... не обижайте меня!.. Не лишайте...

«Как нестерпимо несносен этот безумный старик!» — подумала Саломея.

— Я вам очень благодарна за ваше внимание,— сказала

она обычным тоном светского приличия, прервав сердечное излияние участия Платона Васильевича и вставая с места, как хозяйка, которой наскучила болтовня гостя.

— Не лишайте счастия...— договорил Платон Васильевич, приподнявшись также с кресел.

— Я так рано встала сегодня, утомилась и желала бы отдохнуть,— сказала Саломея, не обращая внимания на слова его.

— Сейчас, сейчас велю кликнуть к вам горничных... Француженки... я очень помню, что вы не любите русских служанок... Если вам вздумается читать, то вот шкаф с избранными произведениями французской литературы... Извольте посмотреть, ваш любимый автор, Руссо, занимает первое место. Занд не удостоена чести быть в числе избранных. Я очень помню наш разговор об ней... оковы Гименея для вас священные оковы...

Саломея невольно вспыхнула. В самом деле, она ненавидела Жоржа Занда и не безотчетно: гордость ее не выносила защиты женщин; ей казался унизительным процесс, затеянный этим незваным адвокатом прекрасного пола. По понятиям Саломеи, умной женщине, *с характером,* самой природой дан верх над мужчиной и право оковать его своей властью: не женщина рабыня, думала она, но тот, которому предназначено ухаживать за ней, просить, умолять, лобзать руки и ноги и считать себя счастливым за один взор, брошенный из сожаления.

Платон Васильевич долго бы еще показывал Саломее все принадлежности будуара и спальни, придуманные им в угоду ее вкусу, но она поклонилась и вышла в спальню.

Как ни бодрились все чувства старика, но он изнемог, и, едва переставляя ноги, поплелся вон. А не хотелось ему идти: тут же при *ней* отдохнул бы он от своей усталости, надышался бы ее дыханием, помолодел бы донельзя! Ни шагу бы теперь из дому своего, да нельзя! в доме есть уже хозяйка, от которой зависит дозволение быть в нем и не быть.

«Кажется, ничего не упущено»,— рассуждал он сам с собой в заключение новых распоряжений и новых заботливых дум об угождении и предупреждении желаний Саломеи, которая никак не могла скрыться от него под личиною Эрнестины де Мильвуа.

«Странно! не хочет, чтоб ей даже напоминали ее имя!.. Во Франции... замужем... когда ж это?..— допрашивал сам себя и рассуждал сам с собою Платон Васильевич. Смутные думы роились в голове его, как пчелы, прожужжали всю голову; но ничего не мог он решить.— Саломея... предложение Петру Григорьевичу, ожидание... и вдруг Саломея не Саломея, а Эрнестина де Мильвуа... Нет, это сон!»

— Борис! что эта дама, там? в доме? — спросил Платон Васильевич, не доверяя сам себе.

— В доме, ваше превосходительство.

— Стало быть... это действительно... И одна ведь, одна?

— Действительно так, ваше превосходительство.

— Хорошо; постой!.. она, кажется, на креслах сидела? в уборной?

— В уборной, в уборной, ваше превосходительство.

— Хорошо; ступай!.. Нет, это не сон,— сказал довольный и счастливый Платон Васильевич по выходе Бориса и начал снова обдумывать, чего еще недостает в доме для полного хозяйства, а главное, для полного довольствия Саломеи. Ему хотелось, чтоб все, все так ей понравилось, так приковало ее к себе удобством и изящностью, что невозможно бы было ей ни с чем расстаться, ничего не желать лучше. Ревизуя в голове расположение комнат, мебель, вещи и все принадлежности дома, до тонкости, *входя во всё,* как говорится, *сам,* он более и более чувствовал недостаток волшебства. Если б волшебный мир существовал еще, то Платон Васильевич пригласил бы не архитектора, а чародея перестроить в одну ночь и убрать весь дом совершенно по вкусу Саломеи Петровны, так, чтоб не стукнуть, не разбудить ее, не тронуть с места ее ложа.

Припоминая ревниво даже кресла, на которых сидела Саломея, склоня голову на спинку, Платон Васильевич, вздохнув, привязался к неудобству этих кресел. «Что это за нелепые кресла! — подумал он,— подушка как пузырь, к стенке прислониться нельзя, не чувствуя ломоты в костях... Саломея Петровна, верно, проклинала их в душе!» И Платон Васильевич мысленно строил для Саломеи Петровны кресла из самого себя. Ему хотелось, чтоб в этих креслах ей так было хорошо, как на коленях *милого,* чтоб эти кресла ее обняли, а она обвила их руками.

Вздохнув еще раз, Платон Васильевич очнулся от сладкого усыпления, велел кликнуть повара, переспросил, что он готовит кушать, наказал, чтоб все было изящно изготовлено и подано, чтоб впредь он являлся для получения приказания к даме, которая живет в доме.

Борису также было повторено, что всем в доме распоряжается впредь Эрнестина Петровна и что всё в доме в ее распоряжении, люди, кухня, экипажи, всё без исключения.

— Слышишь? — спрашивал Платон Васильевич в подтверждение своих приказаний, двигаясь по комнате с озабоченной наружностью и покашливая. Пальцы его, как дети участвуя в общих хлопотах всех членов, вертели табакерку, захватывали щепоть табаку и, не спросясь носа, набивали его без милосердия.

— Где прикажете накрывать стол? — спросил его Борис.

— Где? Разумеется в столовой.

— На сколько кувертов прикажете?

— На сколько кувертов? — повторил Платон Васильевич. Этот вопрос смутил его и заставил задуматься.

— На сколько кувертов?.. Это зависит от ее желания: одна

она будет кушать или за общим столом... Поди, доложи Эрнестине Петровне, как ей угодно.

— Ну, нажили барыню! — проворчал Борис, отправляясь в девичью.

Одна из субреток, Юлия, русская француженка, знала очень хорошо по-русски. Она съездила в отечество свое, занялась было делом в Париже; но там показалось ей тесно после раздолья русского, жизнь слишком разменена на дрянную мелкую монету. Ей не нравились ни *су*, ни *франки*, ни положенная на все такса. Долго со слезами вспоминала она сладчайшее удовольствие назначать за toutes sortes des douceurs [1] цену какую угодно душе и находить в русских не только щедрых потребителей, но даже пожирателей всех живых и механических продуктов au regards fins и à la vapeur [2], всего что doublée, triplée и quadruplée [3]. Наконец, скопив маленький капиталец усиленным трудом, Юлия возвратилась в благодатную Русь, страну бессчетных рублей и безотчетной, доверчивой, жертвенной любви к Франции.

— Жули,— сказал Борис,— спросите, пожалуйста, как по-вашему, барыню, что ли,— угодно ей кушать с генералом или не угодно?

— А кто эта такая дама? — спросила в свою очередь Юлия,— генеральша?

— Как же, генеральша! — отвечал Борис,— француженки небойсь бывают генеральши?

— Вот прекрасно! какой ты глупый, Борис,— сказала, захохотав, субретка,— важная вещь генеральша. Завтра влюбится в меня генерал, и я буду генеральша.

— Конечно! Так и есть! Держи шире карман! Нет, сударыня моя, быть генеральшей, так надо уж быть сперва по крайней мере госпожой; а вы-то что?

— Ты дурак, вот что!

— Ну, ну, ну! Извольте-ко идти к своей барыне да сказать, что генерал будет с ней кушать.

— Сперва ты скажи мне, кто такая эта дама, а потом я пойду.

— Вот этого-то и не будет; а все-таки извольте идти.

— И не подумаю идти!

— Ну, не думайте, мне что: я исполняю господский приказ; взял, сел, да и сижу, покуда получу ответ.

— Фу, медведь какой, право! Ни за что не пойду замуж за русского, даже и за барина! Уж если слуга такой деревянный, что ж должен быть барин? никакого снисхождения к дамам.

— Небойсь, не женюсь на вас,— отвечал Борис вслед за

---

[1] Всякого рода услаждения (*франц.*).
[2] С нежными взорами и под парами (*франц.*).
[3] Удвоено, утроено, учетверено (*франц.*).

Юлией, которая отворила уже дверь, чтоб идти для доклада.

— Не женишься? — вскричала она, воротясь,— ты не женишься на мне, если я только захочу?..

— Ну, ну, ну! Не блажи, сперва службу служи!

— У-у! медведь!

— Да, да, медведь! да не твой, не ручной.

— Дама приказала сказать, что она не может принять генерала,— сказала живая субретка, воротясь из будуара.

— Давно бы так; продержала даром с полчаса!

— Я хотела доставить тебе удовольствие своей беседой.

— Покорно благодарю!

— Постой, постой, Борис! Что ж, хочешь на мне жениться?

— Покорно благодарю! слишком много чести: того и гляди, что к господам в родню попадешь.

— У-у! какой!

— Да, такой,— отвечал Борис, уходя.

И он доложил Платону Васильевичу, что госпожа дама не желает обедать с его превосходительством.

— Не желает? — повторил тихо Платон Васильевич,— так и сказала, что не желает?

— Так точно; сказала, что не может.

У Платона Васильевича как будто отлегло на сердце.

— Не может, это дело другое; так бы ты и говорил: это большая разница... дурак ты!

— Ведь я по-французски не знаю, ваше превосходительство, так они изволили сказать или иначе. Я посылал спросить Жули. От этого народу толку не добьешься.

— Поди переспроси! Ты, верно, переврал.

— Что ж тут переврать-то, ваше превосходительство. Я еще доложил вам поучтивее; она просто сказала, что эта госпожа дама не может принять генерала к себе. Я так и подумал, что если уж не может, так, стало быть, не хочет; и доложил вашему превосходительству как следует.

— Пошел вон!

— Как же изволите приказать: здесь или в столовой накрывать для вашего превосходительства?

— Так там еще не накрывали на стол?.. По сию пору не накрывали?.. Пошел! Чтоб сейчас же подавали кушать Саломее Петровне!.. Нет, не Саломее, Эрнестине Петровне... Слышишь?

— Слушаю-с.

— Да смотри за всем сам, и доложить мне, когда откушают.

Борис пошел исполнять приказание; а Платон Васильевич начал опять ходить по комнате, тревожимый беспокойным чувством боязни, что скверные людишки не будут уметь угодить Саломее.

— Ну, что? — спросил он с нетерпением, когда возвратился Борис.

— Изволили откушать. В столовой не захотели, а приказали подать к себе в комнату; там и кушали.

— Все было в исправности?

— Все как следует.

— Ты сам был при столе?

— Я докладывал вашему превосходительству, что они изволили кушать в своей комнате, а кушанье подавали девушки. Жули сказала, что они желают, чтоб и фортепьяны поставить в их комнату; а какие фортепьяны, я не знаю.

— Фортепьяно? Ах, боже мой! — вскричал Платон Васильевич,— у меня совсем из головы вышло!.. В целом доме нет ройяля! Запречь карету! да скорей! сию минуту! Ай-ай-ай! какое упущение! просто затмение ума! Забыть такую необходимую вещь в доме... И тем еще более, что Саломея Петровна играет и поет!..

Насилу дождался Платон Васильевич кареты: откуда взялась молодеческая бодрость; лакеи не успели догнать его и подсадить в карету, он сам прыгнул в нее и крикнул, чтоб скорее ехать на Кузнецкий мост, в музыкальный магазин. Сидя нетерпеливо в карете, он, казалось, напрягал все силы, чтоб подмогать лошадям, и сдвинул под собою подушку.

Вбежав по лестнице в магазин, он едва мог произнести от одышки:

— Самый лучший, новейшей конструкции... ройяль... Самый лучший, слышите? И сейчас же перевезти ко мне...

— Этого невозможно.

— Как невозможно?

— Его надо разобрать, уложить, перевезти, уставить, настроить, сегодня уже поздно.

— Как хотите, но сейчас же, сейчас, непременно сейчас!

— Как вам угодно; этого нельзя сделать, его теперь некому разобрать.

— Так прощайте, я куплю в другом магазине.

— Как вам угодно; такой конструкции ройялей ни у кого нет, кроме меня.

— Это ужасно! — проговорил Платон Васильевич,— так завтра чем свет чтоб ройяль был уже у меня!

С отчаянием в душе отправился он домой, но уже ослабел от напряжения сил. Без помощи людей не мог уже ни сесть в карету, ни выйти из нее.

Борис спросил было: не угодно ли его превосходительству кушать; но ему было не до пищи: его как будто убило раскаяние, что в числе необходимых вещей для Саломеи Петровны забыт ройяль. Страшное невнимание! Что подумает она?

С этими горестными размышлениями Платон Васильевич прилег, думал отдохнуть до десяти часов — до чаю; но забылся, заснул беспокойным сном: казалось, что за вину свою перед Са-

ломеей Петровной он сам обратился в ройяль новейшей конструкции, а она бесчеловечно играла на нем какую-то демонскую фантазию. Все члены его как молотки подскакивали и ударяли в нервы. Душа его всеми силами старалась звучать; но Саломея Петровна с неудовольствием повторяла: «Это барабан, а не ройяль! Ужас, как расстроен!»

Так прошла вся ночь. На другой день Платон Васильевич очнулся как больной в бреду горячки.

— Привезли из магазина фортепьяны,—доложил ему Борис.

— А! Другие?.. Хорошо! — проговорил он,— те не нравятся!.. Поставить их... да доложить, довольна ли будет Саломея Петровна... Постой! я ошибся... Эрнестина Петровна де Мильвуа... За стихотворца!.. Велика слава подбирать рифмы? Ройяль... жаль... Месяц... месяц... Как же это месяц... луна... Нет!.. месяц...

Платон Васильевич повторял то про себя, то вслух слово месяц, подбирая к нему рифму, покуда, снова истомясь, забылся.

В продолжение двух суток он решительно не мог навестить своей гостьи. А между тем Эрнестину де Мильвуа навестил ее благодетель Далин: он приехал к ней с своим знакомцем Чаровым... Это был молодой светский человек, наследовавший огромное состояние, демон гостиных, эпикуреец, возведенный в высшую степень современности, живший среди разливанного моря, в вихре страстей, не связанный, не обузданный ни душой, ни телом. Он видел мадам де Мильвуа в доме Далина как жертву горестной судьбы, восхитился ею, ахал, слушая рассказ ее несчастий, проклинал несправедливость судьбы ее вслух и благодарил эту же судьбу мысленно, что она так умно распорядилась насчет ее и привела в Москву, где он может заняться таким прекрасным существом, оценить и выкупить его из зависимости глупой судьбы. Узнав, что Далин хлопочет о приискании ей места, он подсел к ней с сердечным участием, насказал тьму успокоительных вещей, утоляющих горе бальзамов, возбуждающих дух эликсиров, и между прочим изъявил сожаление, что она хочет отдать себя в зависимость капризов какой-нибудь пошлой светской бабы.

— Это ужасно! — воскликнул он,— с вашей красотой, с вашими достоинствами жить в зависимости, в неволе!

— Что ж делать! — отвечала Саломея.

— Послушайте,— сказал он,— вы без сомнения женщина с характером и, как француженка, не имеете предрассудков... Я богат; я предлагаю вам свои услуги, свой дом, содержание и все что угодно...

Самолюбие и гордость Саломеи вспыхнули; она бросила презрительный взгляд и отвечала:

— Ваше предложение так велико, что за одно это предложение я уж не знаю, чем вас благодарить, и должна пожертвовать своей честью!..

«О-го! — подумал Чаров,— она действительно из Сен-Жерменского предместья!..» — Очень жаль, что мое предложение не велико, как вы говорите, а так ничтожно, что вы презираете его!

И Чаров оставил Саломею, как говорится, в покое. Но узнав от Далина об определении ее в доме к Туруцкому, ему захотелось взглянуть на нее, и он упросил взять его с собою.

Платон Васильевич был в забытьи. Борис не принимал никого, и потому Далин спросил у подъезда:

— А где та француженка, которую от меня привезли третьего дня?

— Она, сударь, живет в большом доме,— отвечал лакей.

— А сестра Платона Васильевича приехала?

— Сестрица? Никак нет-с, она уже лет пять не выезжает из своего поместья. Куда ж ей приехать: стара и больна.

— Какая же госпожа будет жить в доме? — спросил Далин, вспомнив слова Платона Васильевича о молодой хозяйке дома.

— Да вот эта госпожа дома и будет жить.

— Какая эта?

— Да вот что третьего дня, сударь, изволила приехать. Его превосходительство отдал весь дом в ее распоряжение. Она уж все и приказывает в доме.

— О-го! неужели?

— Да как же, сударь; как следует на полном пансионе, все равно что госпожа.

Далин и Чаров захохотали на замечание слуги.

— Поди же, доложи ей, что приехал Далин.

— Пожалуйте к большому подъезду, там официант доложит.

— Ты, mon cher [1], доставил ей выгодное место,— сказал Чаров, продолжая хохотать.

Официант доложил о приезде Далина; Саломея приказала просить; приняла в гостиной — и вспыхнула, увидев вошедшего с ним Чарова.

— Извините,— сказал он,— что я решился вас посетить; ваша судьба так интересует меня...

— Довольны ли вы вашим местом? — спросил Далин.

— Я, право, не знаю еще, что вам отвечать: господин Туруцкий болен, сестра его еще не приехала...

— Но во всяком случае вы очень мило помещены,— сказал Чаров, осматривая комнаты,— прекрасный дом, хоть в убранстве комнат виден старческий вкус хозяина... Досадно, что он перебил у меня право доставить вам вполне современные удобства жизни...

— Какое право? — спросила Саломея с самодостоинством,— я на себя никому не даю прав.

---

[1] Мой милый *(франц.)*.

— Но права благотворить и приносить в жертву даже самого себя, надеюсь, у меня никто не отнимет! — отвечал Чаров, привыкший ловко отражать самые строгие и резкие удары, наносимые самолюбию дерзкого волокиты. В неподкупность строгих физиономий он меньше всего верил: эти sancti sanctissimi [1], говорил он, любят, в дополнение к хвалам и лести, воскурение перед ними фимиама.

Не щадя ливана и мирра перед Саломеей, он успел затронуть и ее самолюбие настолько, что получил дозволение посещать ее.

— Я надеюсь,— сказал он как будто шутя,— что вы здесь не в отшельничестве и не под присмотром.

Когда Чаров вышел, Саломея задумалась.

«В самом деле, какую глупую роль буду я играть у этого отвратительного старика!.. За угол и за кусок хлеба терпеть смертельную скуку, прослыть его любовницей... Никогда!.. Слыть и быть для меня все равно, а если слыть, так лучше...»

Саломея не договорила, гордость ее не могла вынести сознания и самой себе. Ей, однако же, нравились это великолепие и пышность, посреди которых Платон Васильевич так неожиданно поместил ее как божество; ей по сердцу были угодливость и предупредительность, которыми он ее окружал; ей не учиться было повелевать, но она не испытывала еще такого уважения к себе даже в собственном доме, и чувствовала, что полной самовластной госпожой можно быть не у себя в доме, а в доме влюбленного старика. Самому себе часто отказываешь по расчетам, по скупости, а влюбленный старик отгадывает, предупреждает желания, не щадит ничего, чтоб боготворимая забыла страшный недостаток его — старость.

Когда Платон Васильевич, собравшись с силами, явился перед Саломеей, она очень благосклонно изъявила ему благодарность за внимание.

— Я, однако ж, желала бы знать,— прибавила она,— что̀ такое я в вашем доме?

Этот вопрос совершенно смутил и испугал Платона Васильевича.

— Боже мой,— отвечал он,— вы всё!.. Не откажитесь только располагать всем, как своею собственностью...

— Я на это не имею никакого права,— произнесла Саломея с беспощадною холодностью, но довольная в душе готовностью старика повергнуть к ее ногам не только все свое достояние, но и себя.

— О, если б я смел предложить это право!..— проговорил он, дрожа всем телом...

Какое-то чувство боязни заставило Саломею отклонить объяснение, в чем состоит это право.

---

[1] Святые из святых (*лат.*).

Как рак на мели, Платон Васильевич приподнимал то ту, то другую руку, расставлял пальцы, раскрывал рот, желая что-то произнести, но Саломея давно уже говорила о погоде.

Получив дозволение обедать вместе с ней, Платон Васильевич как будто ожил силами, помолодел: Саломея была так ласкова к нему.

В продолжение нескольких дней она не повторяла нерешенного вопроса. Казалось, довольная своим положением, она боялась изменить его. Но это была нерешительность, какое-то тайное затруднение, которое Саломея старалась опровергнуть необходимостью упрочить свою будущность и получить снова какое-нибудь значение в свете.

«Мне уже не быть Саломеей, не идти к отцу и матери с раскаянием»,— думала она, когда Платон Васильевич, долго не зная, как в дополнение всех ее потребностей предложить деньги, наконец, решился начать с изъявления надежды, что она будет смотреть на него, как на родного, и, верно, не откажет принять на себя вполне все распоряжения в доме и деньги на все необходимые расходы и на собственные ее потребности.

— Я вам еще раз повторяю,— сказала она, взглянув с улыбкой на старика,— что мне странно кажется мое положение в вашем доме, а еще страннее покажется, может быть, другим.

— Вы полная хозяйка... — произнес ободренный ласковым голосом Саломеи Платон Васильевич, целуя руку,— осчастливьте меня... принять это название.

— Мне должно подумать об этом,— сказала Саломея, закрыв лицо рукою и прислонясь на ручку кресел.

Платон Васильевич стоял перед ней, сложив на груди руки и с трепетом ожидая решения.

— Я согласна,— проговорила она, наконец, так тихо, что во всякое другое время Платон Васильевич спросил бы: «Что вы изволили сказать?» Но в эту минуту все чувства его были напряжены до степени цветущего своего состояния, в возрасте сил и здоровья, когда глаз видит *душку* на другом краю моря, ухо слышит все, что она мыслит, осязание воспламеняет всю кровь от прикосновения воздуха, который несет струю ее дыхания, вкус не знает ничего в мире слаще поцелуя любви.

Платон Васильевич припал перед нею на колени, взял ее руку, и в нем достало еще сил поцеловать эту руку и не умереть.

На другой день из всех магазинов Кузнецкого моста везли разной величины картонки в дом Платона Васильевича. Какие-то, к чему-то огромные приготовления подняли всех в доме на ноги. Платона Васильевича узнать нельзя. Он сам то из дому в магазины, то из магазинов домой, с пакетом под мышкой, прямо в уборную Эрнестины Петровны; поцелует у ней ручку и подаст свою покупку.

— Merci,— отвечает она ему каждый раз; потом позвонит в колокольчик, войдет Жюли или Барб: — послать за Лебур, послать к Матиасу, послать за Фульдом!..

И вот в один вечер сидит Саломея перед трюмо. Парикмахер убирает ей голову, накладывает чудный венок из fleurs-d'orange [1], в каждом цветке огромный брильянт, накалывает роскошный серебристый блондовый вуаль...

Любуясь на себя в зеркало, Саломея сама вдевает в ухо серьгу, такую блестящую, что, кажется, искры обожгут, а лучи исколют ей руки.

---

[1] Померанцевых цветов *(франц.)*.

Часть девятая

I

Кому любопытно знать дальнейшие приключения бедного Прохора Васильевича, Авдотьи Селифонтовны и Лукерьи Яковлевны, тому предстоит читать следующее:

Вы помните, что случилось с Авдотьей Селифонтовной? На другой день, чем свет, снова послышался визг Авдотьи Селифонтовны. Нянюшка всполошилась бежать к ней на помощь, но девушки остановили ее.

— Ну, куда вы бежите, Афимья Ивановна?

— Нянюшка, нянюшка! — раздалось из спальни, и вслед за этим криком послышался стук в двери девичьей.

— Сударыня, что с тобой? — спросила испуганная няня, отворив дверь.

Авдотья Селифонтовна, как полоумная, бросилась к няне.

— Господи, да что с тобой?

— Нянюшка,— проговорила Авдотья Селифонтовна, дрожа всем телом,— нянюшка! кто-то чужой лежит там, охает да стонет, говорит что-то страшное... Ах, я так и обмерла...

— Голубушка моя, Дунюшка, помилуй, бог с тобой! Откуда чужой взялся? Не узнала своего Прохора Васильевича!

— Ах, что ты это, какой там Прохор Васильевич! Это бог знает кто!..

— Пойдем, пойдем!..

— Нет, я ни за что не пойду!

— Кому же быть, как не Прохору Васильевичу?

— Да, да, посмотри-ко, ты увидишь.

— Ах, молодец, как он нализался... сам на себя не похож!.. кто бы подумал! — проговорила про себя старуха, посмотрев на лежащего Прохора Васильевича.

Он горел, как в огне; глаза навыкате, что-то шепчет да ловит кого-то руками.

— Вот тебе и графчик,— проговорила опять старуха про себя.

— Ох, надо сказать поскорей Василью Игнатьевичу.

— Куда? Нет, я тебя не пущу!

— Ах, мать моя, да что же мне делать? Надо позвать Василья Игнатьевича... Эй, девки!

— Нянюшка, поедем домой! Меня обманули!..

— Эй, девушки. Где тут слуга-то его. О, господи, божье наказание!

Старуха металась во все стороны, но ее дитятко, Авдотья Селифонтовна, повисла ей на шею и ни шагу от себя. Плачет навзрыд и молит, чтоб ехать домой.

— Помилуй, сударыня, что ты это, бог с тобой!

— Меня обманули! — вопит Авдотья Селифонтовна,— это какой-то оборотень.

— Ах, да вот, Матвевна! Матвевна, подь-ко сюда!

— Что это такое, сударыня, Авдотья Селифонтовна, что с вами? — сказала сваха, испугавшись,— в чем дело? О чем это вы?

— Меня обманули! — повторяла Авдотья Селифонтовна.

— Смотри-ко, какой грех, что делается с Прохором-то Васильевичем,— сказала старуха няня,— сам на себя не похож, так что барыня моя отказалась от него, твердит себе, что это не он.

— Да, таки не он: это черт, а не он. Ах, господи, господи! Что со мной будет!

— Что это с ним сделалось? — проговорила Матвевна, стоя над Прохором Васильевичем, скрестив руки.— Ох, кто-то испортил его, совсем таки не похож на себя!..

— Неправда! меня не обманете! Это не он! — повторила Авдотья Селифонтовна.

— Вот уж, кому ж другому быть, сударыня,— сказала Матвевна, покачивая головою.

— Ах, что-то ты страшное говоришь, Триша! — произнес вдруг Прохор Васильевич и повел кругом неподвижный взор.— Лукерьюшка... Тятенька не убьет меня?

— Бог его знает, что с ним сделалось, и не признаешь... Кажется, вчера был здоров,— сказала Матвевна, продолжая качать головою.

— Ну, уж, угостила графчиком, Матвевна! Уж я вчера догадалась, что он мертвую чашу пьет! Как тянул, как разносили шампанское-то... так и опрокинет в рот сразу... вот-те и графчик!

— Ах, мать моя, да я-то чем виновата? наше дело товар лицом показать; а кто ж его знает, какие художества за ним водятся,— отвечала Матвевна.

А между тем не прошло нескольких минут, около Прохора Васильевича набралась тьма народу. Сбежалась вся дворня посмотреть на испорченного. Конон стоял тут же, дивился, как будто ничего знать не знает, ведать не ведает. Начались толки шепотом, аханья, кто советовал вспрыснуть водицей с уголька, кто послать за Еремевной: она, дескать, отговаривает порчу, а дохтура-то, дескать, в этом деле ничего не смыслят; оно, дескать, не то что какая-нибудь простая болесть господская, мигрень, али что; нет, тут без заговору не обойдешься.

Авдотья Селифонтовна во все время ревом ревела и упрашивала нянюшку ехать домой; но нянюшка, как смышленый человек, говорила, что это не приходится.

Между тем ключница Анисья побежала к Василью Игнатьичу.

— Батюшка, Василий Игнатьич,— крикнула она, всплеснув руками,— с Прохором-то Васильевичем что-то приключилось.

— Что такое? — спросил он, уставив на нее глаза.

Василий Игнатьич только что протер глаза и сидел в своем *упокое*, в халате.

— А бог его ведает,— отвечала Анисья.

— Что ж такое? — повторил он.

— Подите-ко, посмотрите!

— Да ты говори! Что мне смотреть-то? Не видал, что ли, я его? — крикнул он,— ну, что тут могло приключиться?

— Ох, сударь... его испортили!

— Испортили?

— Как в огне лежит, и узнать нельзя. Страшно смотреть!

— Ой ли? Что ж это такое? — проговорил Василий Игнатьич, не двигаясь с места и снова уставив глаза на Анисью.

— Да что вы уставили глаза-то, прости господи! Подите к нему.

— Да пойду, пойду.

И Василий Игнатьич с некоторой досадой, что его потревожили, погладил бороду, крякнул и пошел.

— Это что за народ собрался? — крикнул было он, входя в спальню, где в самом деле набралось и своих и чужих смотреть на диковинку, как испортили молодого; но все перед ним расступились. Василий Игнатьич вздрогнул, взглянув на сына, и онемел: на его доброе здоровье и на воображение слова мало действовали, он понимал только то, что было очевидно.

Прохор Васильевич лежал, как пласт, с открытыми неподвижными глазами. Внутренний жар раскалил его.

— Что, брат Прохор,— начал было Василий Игнатьич, но остановился в недоумении: ему показалось, как говорится очень ясно по-русски: «что-то не тово». Но что такое это было, он сам не понимал.

— Что ж это такое? — проговорил он, продолжая всматриваться в Прохора Васильевича.

— Ох, испортили, испортили! — проговорила сваха Матвевна, положив голову на ладонку и подперев локотком,— да и Авдотья-то Селифонтовна что-то не в себе: словно полоумная вопит, что это вот не Прохор Васильевич, а чужой, говорит. Господи ты, боже мой, говорю я ей: грех так не признавать супруга своего; ты, сударыня моя, привыкла видеть его все в немецкой одеже, а в своей-то и не узнаёшь.

— Да и я говорила,— прибавила стоявшая подле Матвевны баба,— и я говорила: ступай, дескать, сударыня, поплачь лучше над ним; а то, вишь, к здоровому липла, а от больного прочь!.. Да еще кричит: домой да домой!

Долго Василий Игнатьич стоял над сыном в недоумении; наконец, наклонился над ним и сказал:

— Что с тобой, брат Проша? а?.. А где ж молодая-то? — спросил он, вдруг спохватившись.

— Да ушла, ушла в другие упокои, и быть здесь не хочет: боится, что ли, или одурела; говорит, вишь, что это не Прохор Васильевич, а чужой.

— Вот!.. что она, с ума спятила? Уж я сына не признàю!.. Черт, что ли, какой меняет лицо... вот родинка на груди... Ох, господи, да что ж это с ним такое?..

— Известно что!.. порча! — отвечала Анисья.— Послать бы еще за Еремевной, что ж это она нейдет?.. Расспросили бы вы, Василий Игнатьич, молодую-то, как это все вдруг приключилось: кому ж знать, как не ей.

— Где она! подавай ее!

— Где! ушла да вопит, ни за што сюда нейдет.

— Вот! — проговорил Василий Игнатьич,— где ж она?

— Да в девичей: домой да домой!

Василий Игнатьич пошел в девичью. Там Авдотья Селифонтовна сидела на коленях у своей нянюшки, обхватив шею ее руками и приклонив на грудь голову.

— Что ж это такое, Авдотья Селифонтовна? — сказал Василий Игнатьич.

Авдотья Селифонтовна, вместо ответа, всхлипывала.

— Василий Игнатьич пришел, сударыня,— сказала няня.

— Что ж это такое, Авдотья Селифонтовна, каким же это манером?..— повторил Василий Игнатьич.

— Да отвечай же, сударыня... Ох, да уж и не спрашивайте ее: она до смерти перепугалась; сама не знает, что приключилось Прохору Васильевичу.

— Как бы не так! — проговорила, всхлипывая, Авдотья Селифонтовна.

— Так изволь же сказать, что такое случилось с моим Прохором?

— Обманули меня, вот и все! — крикнула Авдотья Селифонтовна, приподняв голову с сердцем,— черта на подставу взяли, да меня не обманете!

— Что ты это говоришь, сударыня! Ох-о-хо, кто-то испортил свадьбу!

Василий Игнатьич почесал в голове и вздохнул.

— Наказание божеское! — проговорил он,— ох-о-хо! за кем бы послать?.. Послать разве за Селифонтом Михеичем и Марьей Ивановной?..

— Да за дохтуром-то бы послали,— сказала няня,— прописал бы лекарствица Дунюшке; сердце так и колотит, и голова словно горячий уголь.

— За дохтуром? — спросил Василий Игнатьич,— за дохтуром!.. Боюсь, совсем уморит!..

Василий Игнатьич был совершенно растерзан. Голова ли у него болела от заздравного вина на свадьбе сына, или перепугала его болезнь Прохора Васильевича, только он был весь не свой, и как назло, покуда послал за доктором и успел дойти до спальни, где лежал больной, случилась новая беда, точно как deus ex machina, столь обыкновенный в *море житейском.*

Мы уже сказали, что и домашняя челядь и все соседки, сбежавшиеся смотреть на свадебную порчу, решили общим советом послать скорее за Еремевной. Ее ждали с нетерпением.

— Поди-ко-сь кто-нибудь, посмотри, не идет ли Еремевна,— повторяли по очереди то Анисья, то Матвевна.

У ворот скопилась целая толпа посланных встречать ее.

— Вот, вот, не она ли идет, торопится? — крикнули девушки, увидав подходящую женщину в шелковом, но уже старепьком холоднике, с накрытою платком головой.

— А что, голубушки,— спросила она,— это, что ли, дом Василья Игнатьича Захолустьева?

— Это, это! — крикнули в голос девушки,— пожалуйте сюда!

— А сынок-то его, Прохор Васильевич, здесь?

— Здесь, здесь! Давно уже вас ждет.

— Ой ли? Ах, голубчик!

— Бог весть что сделалось с ним: говорят, порча.

— Ах, что вы это говорите!.. Что с ним? Где он, где, голубчик мой! — вскричала женщина, побледнев как смерть.

— Сюда, сюда пожалуйте.

— Где он, где? — повторяла женщина, вбегая в спальню.

Толпа раздалась перед нею.

— Прохор Васильевич! голубчик мой! — вскричала она и бросилась на больного почти без памяти.

Все стояли молча, как будто в ожидании чуда. Несколько мгновений продолжалась тишина.

— Что ж это такое она делает? — спросила, наконец, Анисья соседку Ивановну.

— А вот постой,— отвечала та.

— Еремевны-то нет дома,— сказал запыхавшись приказчик, Евсей Савельич, вбежав в спальню.

— Тс! Она уже здесь.

— Прохор Васильевич! душенька! — вскрикнула женщина, приподняв голову и взглянув на больного.— Душенька! ты ли это? Что с тобой? что с тобой? — И она снова обвила Прохора Васильевича и начала страстно целовать его, заливаясь слезами.

— Дарьюшка, что это она, с ума, что ли, сошла?

— А вот постой, постой, молчи!.. вишь, приласкать хочет сперва.

— Ах, мать моя, да это не Еремевна! Еремевну-то я знаю; это какая-то другая.

— Да ты знай молчи уж, послушай, что она причитывает.

Между тем Василий Игнатьич послал за доктором, который жил через дом.

Доктор немедленно явился.

— Пожалуйте,— повторял Василий Игнатьич, провожая его в комнату сына,— пожалуйте!

— Что такое сделалось с ним? — спросил медик, расталкивая толпу.

— Да вот,— проговорил Василий Игнатьич.

— Душенька! — вскрикнула снова женщина.

Прохор Васильевич пошевелил головою, открыл глаза и вздохнул.

— Позвольте! — сказал медик, подходя к постели,— позвольте! — повторил он, взяв женщину за руку.

— Эх, батюшка, Василий Игнатьич, к чему вы призвали лекаря-то,— сказала вполголоса Анисья,— ведь вот уже лекарка почти отговорила его, смотрите-ко, уж очнулся.

— Голубчик ты мой, душа моя, взгляни-ко ты на меня! Ведь я с тобой! Узнаешь ли ты свою Лукерьюшку?.. Прохор Васильевич!

— Позвольте! — повторил медик,— отведите, пожалуйста, эту женщину: она только тревожит больного.

— Да кто ж ее отведет? — сказала одна из соседок,— она, чай, свое дело знает; делает, что нужно... Не мешать бы ей, так лучше бы было... на порчу-то нет лекарства!..

— Позволь, милая!.. — сказал медик с сердцем.— Поди, пожалуйста, прочь!..

— Я прочь от него? Нет!..— сказала Лукерья Яковлевна, оглянувшись на медика, взором полным слез.

— Что это, жена больного? — спросил медик.

— Разумеется, что жена,— отвечала она жалобно,— кому ж быть-то мне, как не жене его? Кто будет умирать-то над ним, как не я?.. Прохор Васильевич, голубчик, душенька!

— Это что же такое,— спросил Василий Игнатьич, совсем растерявшись,— Матвевна! Это Авдотья Селифонтовна?

— Ох, бог с вами, что вы это, Василий Игнатьич!

— Это какая-то безумная, что ли; смотри, пожалуй! Величает себя женой Прохора Васильевича! Да кто ее привел сюда?

— А бог ее знает, кто-нибудь да привел.

— Позволь, моя милая,— начал опять медик,— ему надо поскорей помочь; а не то ведь он умрет.

— Умрет?.. Ах, господь с вами!..— вскрикнула Лукерья Яковлевна,— да вы кто такой? Лекарь, что ли?

— Лекарь, милая.

— Так помогите! помогите, пожалуйста, уж это не в первый раз с ним; о великом-то посте тоже с месяц без памяти пролежал...

— Да ты кто такая, голубушка? — спросил вдруг Василий Игнатьич, как будто очнувшись и дернув за рукав Лукерью Яковлевну.

— Да жена же его,— отвечала она смиренно, отирая рукавом глаза,— с год пролежал больной, поправился немного, да и вздумал идти сюда: пойду, говорит, к тятеньке; да и пошел... а я осталась; жду день, другой — нет! Я и перепугалась...

— Ах ты, господи! да это что такое! Поди-ко, поди, пошла вон!..— крикнул Василий Игнатьич,— вишь, со всех кабаков сюда сбежались!.. Вон! Гони, Евсей, всех их!

— Да что ты, господин, с чего ты взял, что я пойду от мужа?..

— Ну, ну, ну! вон! Евсей, вытолкай ее!

— Меня вытолкать? Да с чего ты взял, разбойник! Чтоб я оставила мужа на чужие руки!

— Смотри, пожалуй! Ах ты паскудная! Да откуда она взялась? Ведь это черт принес какую-то безумную! Смотри, пожалуй, что она говорит! Да вытолкайте ее!. Ну, ну! вон! — повторял Василий Игнатьич.

— Прохор Васильевич! голубчик! Смотри-ко, выгоняют меня!.. Нет, уж этого не будет! — И Лукерья Яковлевна, отбившись от Евсея, который потащил ее за руку, бросилась снова на кровать и обхватила больного.

— Да что ж это за женщина? — спросил медик.

— Безумная какая-то, черт ее принес!..— сказал Василий Игнатьич,— тащи ее, тащи ее, Евсей, вон!

— Да кто с ней сладит!.. Черт! потревожишь только больного Прохора Васильевича,— отвечал Евсей.

— Да ты сбегай скорей за будочником: скажи, что какая-то пьяная али безумная затесалась да подняла тревогу,— навела на ум Матвевна.

Лукерья Яковлевна, ни на что не обращая внимания, села на кровать и смотрела в глаза Прохору Васильевичу, обливаясь слезами. Только что он пошевельнется, охнет, откроет глаза и пыхнет внутренним одолевающим его жаром, «Родные мои, подайте водицы, испить ему!..— начнет молить она ко всем стоящим подле кровати,— ох, я бы сама побежала, принесла, да боюсь... отнимут тебя у меня!.. Дайте ему водицы во имя Христа господа!»

Но ее мольбы прерваны были приходом хожалого с будочниками.

— Где она?..— крикнул хожалый.

Напрасно Лукерья Яковлевна вцепилась в Прохора Васильевича: ее потащили вон из комнат, потом к воротам...

— Эй! извозчик! подавай сюда!

И вот взвалили беспамятную Лукерью Яковлевну на калибер [1], и повезли в часть.

— Господи, господи, что это такое творится в доме! — повторяли, скрестив руки, Матвевна и Анисья, рассуждая между собой и со всей остальной челядью.

Все ахали.

Медик решил, что у Прохора Васильевича воспаление, прописал рецепт, пожал плечами, выслушав рассказ, как все случилось; попробовал пульс Авдотьи Селифонтовны, сказал, что «ничего, просто испуг, пройдет!..», прописал успокоительное и уехал.

Василий Игнатьич долго ходил по комнатам, как потерянный, пришел было в себя, когда явился приказчик с деньгами с почты, занялся было счетами; но доложили, что пожаловали Селифонт Михеич и Марья Ивановна.

Начались рассказы, ужасы, аханья, слезы Авдотьи Селифонтовны, вопли, что ее обманули, что она не хочет здесь оставаться, что она умрет, если ее не возьмут домой.

Селифонт Михеич стоял, слушал, гладил бороду, потирал лоб и молчал, а перепуганная Марья Ивановна повторяла на вопли Дунечки: «Что ты, что ты это, Дунечка! Бог с тобой! Пригодно ли такие вещи говорить!»

Когда все пошли в комнату к больному, Авдотья Селифонтовна сказала, что ни за что не пойдет; но отец грозно проговорил:

— Это что?

— Ступай, сударыня, не гневи родителей,— сказала ей няня.

— Господи! как вдруг переменился! — проговорила Марья Ивановна, взглянув на Прохора Васильевича, который лежал в забытьи.

— Что ж, матушка, известное дело: болезнь хоть кого переменит,— сказал Селифонт Михеич.

— Вестимо, что здоровый не то, что больной; я сам как будто поусомнился, диво ли, что Авдотья Селифонтовна не признала.

— Вот, уж не признала; ведь она так только говорит, Василий Игнатьич; вы не извольте обижаться,— сказал Селифонт Михеич,— кто ж отрекается от живого человека.

— Да! отрекается!.. Черт это! — проговорила вполголоса

[1] Рессорные дрожки.

Авдотья Селифонтовна, спрятав свою голову почти под мышку матери.

— Тс!.. Полно!..— шепнула ей Марья Ивановна.— Ох, бедный, бедный!..— прибавила она вслух,— в самом деле словно другой человек!

— А я так рассуждаю,— сказал Василий Игнатьич,— что здоровый-то человек не то, что больной. Вот я теперь ведь и вижу, что это Прохор, вылитый Прохор; а как возвратился он из чужих краев да понабрался французского духу, так, признательно вам сказать, ей-ей, не узнал, поусомнился: Прохор, думаю, или нет? Вот что значит, сударь мой, манера-то французская! Совсем ведь другой человек! Истинно скажу! И походка-то не своя, и говорит-то как будто на чужой лад, и ходит-то не так, как люди; да словом, изволили бывать в театре?

— Никак нет, Василий Игнатьич,— отвечал Селифонт Михеич,— ох, уж до театра ли!

— А вы, Марья Ивановна?

— Не привел бог!

— Жена! сказала бы ты: избавил бог! Бог, что ли, водит смотреть на эту дьявольщину?

— Эх, Селифонт Михеевич! Да ведь это только так представляется. Ну, да что об этом! Так вот, я и говорю: и Проша-то словно актер; кажется, русский человек; а как нарядится да прикинется немцем али французом, и черт не узнает! Примерно сказать Живокини: как нарядится китайцем — китаец да и только! ей-ей!.. То же и с моим Прошей было; так подделался, собака, под французскую стать — графчик, да и всё тут. Я так рассуждаю: что человека-то меняет французская манера; а вот как болезнь-то прихватит, знаете, так оно и мое почтение-с! Куда денется и французская дурь. Так ли, Селифонт Михеич? как вы думаете?

Селифонт Михеич стоял и думал: «Что тут думать-то? Божеское наказанье, и тебе, да и мне тут же!»

— А? вот оно что: я и сам смотрю на Прохора да дивлюсь.

— Ох, Василий Игнатьич,— сказал Селифонт Михеич,— бог посылает и беду и недуг на исправление человеку. Дай-то бог, чтобы и Прохору Васильевичу послужило это в науку. Оно, знаете, и хорошо, павлиные-то перья, да... Что тут говорить! Не наряжали бы в них вы сынка, а я дочку, так дело-то было бы лучше... Да вот еще что, сударь: сынок-то ваш, проговорилась мне жена, купил французское поместье да хочет туда переселиться... Нет... уж, извините, я дочери не дозволю ехать туда, не дозволю!

— Что так, то так, Селифонт Михеич. Проша приценился к поместью, а я и деньги дал в задаток; поместье наше,— сказал Василий Игнатьич, поглаживая бороду,— французское поместье, сударь, не то что расейское. У нас степь, поле,— хорошо, как есть что посеять да бог уродит, а там, сударь, всякой

продукт сам собою родится; что год, то благодать и изобилие плодов земных; примерно, хоть виноград; а как явится комета с хвостом, так такой урожай, что удивление; да еще первого сорту, самое лучшее вино. Самим вам известно кометное шампанское — по сю пору тянется; а комета-то когда была? В одиннадцатом году! А по нашему календарю опять будет комета, да еще две; так оно и тово, сударь, выгодно купить французское поместьице; да еще, с вашего позволения, с графским достоинством!.. Нет уж, батюшка Селифонт Михеич: упустить такой благодати нельзя, да и не следует... А что вам дочку не угодно отпустить туда с сыном моим, так это мне крайне ощутительно, Селифонт Михеич!

Слова Василья Игнатьича были прерваны внезапным воплем Авдотьи Селифонтовны.

— Дунечка, Дунечка, душа моя, что с тобой? — спросила ее Марья Ивановна, крепко прижав к сердцу.

— Что ты, матушка моя, голубушка моя,— заговорила к ней и няня, гладя ее по голове и целуя в голову,— ну, о чем ты плачешь? Будет здоров твой Прохор Васильевич... Смотри-ко, смотри, он взглянул на тебя!..

— Убирайся ты с ним! — крикнула Авдотья Селифонтовна, оттолкнув няню, и еще горчее зарыдала, закинув голову назад.

— Христос с тобою! — проговорила испуганная Марья Ивановна, обхватив дочь обеими руками,— Дунечка, милочка, что с тобою?..

— Дуняша! не годится так реветь! что, тебя режут, что ли? — сказал Селифонт Михеич.

— Режут! — крикнула Авдотья Селифонтовна.

— Глупая, глупая! приходится ли так огорчаться, убивать себя! — сказала мать.

— Да, убивать себя,— проговорила Авдотья Селифонтовна, всхлипывая,— если бы я знала, лучше бы умерла!..

— Ох-о-хо, не гневи бога, Дунечка! — сказала, вздыхая, Марья Ивановна,— не отпевай до времени! Прохор Васильевич выздоровеет, даст бог.

— А что мне в том, что выздоровеет! — заговорила Дунечка,— тятенька не хочет отпускать меня в Париж ехать... а я не хочу здесь оставаться... Экая радость!.. Поди-ко-сь! Чтоб все смеялись надо мной: вот, хвалилась, дескать, хвалилась!..

— Дура!.. Ах ты, господи! Вот, воспоили, вскормили да вырастили горе! — сказал Селифонт Михеич и вышел по обычаю своему — удалиться от зла, от слез, от крику и глупостей.

Марья Ивановна не знала, что говорить; ей только больны были слезы дочери. Ей всегда казалось, что тот прав, кто плачет.

— Полно, полно плакать, Дунечка,— повторяла она,— все перемелется, мука будет.

— Успокойтесь, Авдотья Селифонтовна,— сказал и Василий Игнатьич,— уж будьте в том удостоверены, что будете графиней, дайте только Проше выздороветь... Доктур сказал, что это ничего, что скоро будет здоров. Вместе поедем, ей-ей вместе поедем!

— К чему ж тятенька говорит, что не пустит? — спросила Дунечка.

— Да мало ли что он говорит,— отвечала Марья Ивановна дочери,— ну, статошное ли дело не отпускать тебя? Власть-то теперь над тобой не наша, а мужнина; куда хочет, туда и везет.

Авдотья Селифонтовна, не хуже многих иных, жила чувствами, не размышляя; и потому что коснется до чувств приятным или неприятным образом, то и вызывает наружу радость или горе. Кстати или не кстати, умно или глупо, лепо или нелепо — это дело другое: дайте сперва накричаться, нажаловаться на судьбу, выплакаться хорошенько, всех собой перетревожить, а потом уж подумать... да и не подумать, а так, по новому впечатлению чувств, быть *довольной* или *недовольной*.

— Лекарство принесли,— сказала Анисья, входя со стклянкой в руках,— да я не знаю, как давать-то его; на ярлыке, вишь, написано.

— Прочти-ка, Дунечка.

Авдотья Селифонтовна помотала отрицательно головой, взглянув с содроганием на Прохора Васильевича.

— Поедемте, маменька,— сказала она матери.

— Куда это, куда тебе ехать?

— Я здесь ни за что не останусь,— отвечала Авдотья Селифонтовна.

Марья Ивановна прикрикнула на дочь, но это не помогло; она снова залилась слезами, завопила, что ее морочат, что подставили ей вместо Прохора Васильевича бог знает кого.

— Нет, уж вы этого не извольте говорить, Авдотья Селифонтовна,— сказал Василий Игнатьич,— не извольте говорить, что бог знает кого подставили! на подставку Прохору у меня нет никого; а я вот что смекаю: вас обоих испортили!..

— Ох, так, так! — проговорила, вздохнув глубоко, старая няня Авдотьи Селифонтовны,— кто-нибудь сглазил!

— Чего доброго! — прибавила Матвевна,— и сомнения никакого нет!..

— Ох, господи, что вы это говорите! — вскричала встревоженная словами Анисьи и Матвевны Марья Ивановна,— ужели Дунечку мою испортили? Да чем же, чем?.. Дунечка, душа моя, ты что ж такое чувствуешь, скажи мне? Головка, что ли, болит?

— А бог знает, что такое,— проговорила Дунечка жалобным голосом,— я ни за что здесь не останусь, в чужом доме.

— Какой же чужой, сударыня моя,— начал было Васи-

лий Игнатьич; но слова его были прерваны докладом, что в зале его ожидает квартальный.

— Какой квартальный? — спросил с испугом Василий Игнатьич.

— Нашей части.

Крякнув, Василий Игнатьич пошел в залу.

— Мое почтение, батюшка Иван Федотович... как вас бог милует?.. покорнейше просим!..

— Василий Игнатьич,— начал квартальный, присев вместе с хозяином,— дело-то не ладно...

— Что такое, батюшка Иван Федотович? — спросил с испугом Василий Игнатьич.

— Да вот что: ко мне привели женщину, которая доказывает, что она жена вашего сына.

— Помилуйте! да это, сударь, здесь ее и взяли; какая-то пьяная или полоумная... подняла такой крик...

— Я, конечно, сам поусомнился; подумал, что, может статься, Прохор Васильевич и имел с ней знакомство, так... когда-нибудь... понимаете? Обещал, может статься, и жениться на ней, да бросил потом, знаете... все это вещи обыкновенные... так она, может статься, и с ума сошла — бывает. Я слушал, слушал, вижу, очень не дурна собой; только гиль несет: говорит, что в Переяславле у нее брат, что там Прохор Васильевич познакомился с ней в прошедшем году.

— Помилуйте, Иван Федотович! — воскликнул снова Василий Игнатьич.

— Позвольте; это еще все возможное дело, все может статься...

— Да помилуйте, Иван Федотович, в прошлом году Прохор был в Немечине!..

— Позвольте, Василий Игнатьич, я ведь не говорю, чтоб это так точно и было, да ведь кто ж ее знает, может статься из всего этого возникнет *дело*...

— Господи! — проговорил Василий Игнатьич,— вот послал бог наказание со всех сторон!

— Позвольте; ведь как возьмешься за дело? Я, конечно, не поверю какой-нибудь бабе; притом же она говорит, что будто Прохор Васильевич в Рохманове лежал больной, а дня с четыре тому назад отправился к вам.

— Экой сумбур! Да что ж ее и слушать, Иван Федотович! мало ли что наговорит сумасшедшая; сами вы знаете, что Прохор уже месяц как возвратился из чужих краев, а вчера была свадьба. Женили, сударь, его на Авдотье Селифонтовне; да вдруг вот заболел, бог его знает...

— Оно так, действительно, Василий Игнатьич: да ведь мы обязаны снять допрос. Оно, может статься, и ничего, пустяки, мало ли мошенниц бывает; да дело-то пойдет в огласку... и вам запросцы и Прохора-то Васильевича на личную ставку по-

требуют... Так я уже и не знаю, как тут быть?.. Оно, конечно, может статься, что она в беспамятстве и не помнит, что говорит; да ведь хуже-то всего вот что...

Квартальный вынул из кармана бумагу.

— Извольте-ко посмотреть.

— Что это?.. паспорт Прохора?..

— Да-с; он у нее был.

— Ах ты, владыко, царь небесный! да она украла его! — вскричал Василий Игнатьич.

— Оно может статься; да кто ж ее знает; а ведь это все приложится к делу.

— Ну! уж этого я и не понимаю!..

— Прощенья просим! — сказал Селифонт Михеич, выходя из гостиной.

— Куда-ж это вы, Селифонт Михеич?

— В город, Василий Игнатьич; жена покуда останется здесь. Дунечка-то одурела.... Прощенья просим...

— Ох-о-хо! — проговорил Василий Игнатьич,— уж не знаю, что и делать! Прощайте покуда, Селифонт Михеич... Пойдемте-ко, Иван Федотович, ко мне, поговорить; а то здесь всё мешают...

— Я вам говорю, что это все чье-нибудь мошенничество,— сказал Василий Игнатьич, кончив совещание,— я так смекаю, что кто-нибудь подучил ее...

— Я сам то же думаю; да и без всякого сомнения,— отвечал квартальный выходя, а в таком случае что ж делать?.. Знаете, чтобы оправить правого, не грех и покривить душою, если нет другого средства.

— Так, так, сударь, так! — отвечал Василий Игнатьич, низко кланяясь.

Между тем Прохор Васильевич лежал без памяти, в сильной горячке. Марья Ивановна, растроганная слезами дочери, принуждена была взять ее домой на время болезни *молодого*. Рассказы дворни о женщине, которая, откуда ни возьмись, выдавала себя за жену Прохора Васильевича, дошли через няню со всеми выводами и заключениями и до Марьи Ивановны. Решено было, что что-нибудь да не так; что, верно, эта женщина полюбовница Прохора Васильевича; что она-то, подколодная змея, и испортила свадьбу.

— Нет, матушка, сударыня Марья Ивановна,— говорила няня,— мой совет таков, чтоб и из рук не выпускать Авдотью Селифонтовну... Беда! я вам говорю! Эта злодейка отравит ее!

— Ох, что ж ты будешь делать-то с нею? — воскликнула Марья Ивановна.

— Что делать? Да что ж делать-то, матушка: на смерть отдать ее, что ли? И сама-то она не пойдет туда ни за что, недаром опротивел ей Прохор-то Васильич.

— Ох, согрешили мы!.. — вздыхая, повторяла Марья Ивановна.

Спустя недели полторы Прохор Васильевич стал приходить в себя. Василий Игнатьич сидел подле него, когда он в первый раз открыл глаза, как будто после долгого сна.

— Что, брат Прохор? — сказал Василий Игнатьич.

Прохор Васильевич взглянул на отца, вздрогнул, отворотил голову и снова закрыл глаза.

Все время болезни за Прохором Васильевичем ухаживала Анисья. Приходя в память, он привык видеть ее около себя, но отвечал на ее вопросы только одним движением головы, как будто закаявшись говорить. Просить чего-нибудь он также не нуждался: Анисья предупреждала его во всем. Только что он откроет глаза или вздохнет: «Не прикажешь ли испить, Прохор Васильевич? Не хочешь ли чайку али супцу? а?... чайку? ну, хорошо, хорошо, сейчас; самовар ведь день и ночь не потухает, неравно спросишь».

Равнодушный, неразговорчивый или, может быть, торопливый медик также не требовал от своего выздоравливающего речей, а довольствовался расспросом Анисьи.

— Что, как спал?

— Хорошо, батюшко.

— А все исправно было?

— Как же, сударь.

— Ну, а что аппетит?

— Кушал, батюшко, овсяную кашку.

Потом подходил к больному и, пощупав пульс, командовал ему: «Язык!» Прохор Васильевич, высунув язык, ждал, покуда медик скомандует: «Хорошо, довольно!»

— Что, лекарство еще есть?

— Есть, батюшко, есть еще, довольно.

— Ну, я пропишу другое.

— Да уж не будет ли и того?

— Ну, уж это не твое дело.

— Ну, ин пропиши, батюшко, пропиши,— говорила Анисья,— да написал бы в аптеку-то, чтоб не брали, собаки, так дорого за лекарство: ведь что день, то красная бумага.

— Ну, уж это не мое дело,— отвечал медик и отправлялся.

Анисья садилась подле больного и, надвязывая чулки, беседовала сама с собою:

— Вишь ты, гладкой какой! «Не его дело!» А того не знает, что Василий Игнатьич сердится, что на лекарство денег много идет!.. Чем бы на меня-то кричать, лучше бы на него прикрикнул, право, ей-богу! Вот уж народец! не пожалеют небойсь чужого добра!.. Что, дескать, чужое-то, ведь это не свое... Разбойники! прости господи! Всякой своей правдой хочет жить, а что правда-то их?.. кривда!.. Что, не поднять ли подушки?.. али испить? испей-ко! Господи, благослови! Ах ты, сударик мой хо-

роший, чей это черный глаз тебя сглазил, или уж зелья какого поднесли? Лёгко ли, словно мертвый лежал ты девять дней!.. Чу! никак Василий Игнатьич идет?..

Только что Василий Игнатьич в двери, Прохор Васильевич закроет глаза и отвернет голову к стене.

— Что, Анисьюшка? Что, Проша?

— Слава богу! кажись, только слаб очинно; ни на что не жалуется. Сейчас прихлебнул чайку.

— Спит, стало быть?

— Уснул, верно; а сейчас, вот сейчас только глядел глазками.

— Ну, пусть его спит. Дохтур-то, чай, опять прописал «рецет»?

— Прописал, прописал.

— Ну, так! Ведь, ей-богу, не то чтобы жаль было денег, да жаль за дрянь-то такую платить! Разоренье, да и только! Я бы, право, плюнул на эти «рецеты»!

— Ну, уж, Василий Игнатьич, ведь и то сказать: кто ж помог Прохору Васильевичу, как не он.

— Ах ты дура, дура! Помог!.. Эка помощь! Как лежал пластом, так и теперь лежит!

В самом деле, прошло еще несколько дней, а Прохор Васильевич лежит как пласт и не думает вставать с постели. Всем бы, кажется, здоров: ночь спит крепко, напьется чайку с подобающею жаждою, похлебает овсяной кашки, съест кусочек курочки да пару печеных яблочков с надлежащим вкусом, заснет, опять проснется, покажет язык доктору, примет лекарство, послушает, о чем говорит сама с собою Анисья, отвернется к стене и закроет глаза, когда войдет отец,— все, кажется в исправности, а лежит себе да молчит: точно как будто боится выздороветь, чтоб тятенька не убил.

И бог знает, как вышел бы из этого положения Прохор Васильевич; без deus ex machina,— кажется, и не вышел бы. В один вечер пробралась на двор черница.

— Добрые люди,— сказала она, остановясь в дверях людской,— пустите, ради господа бога, переночевать богомолочку!

— Откуда ты, мать моя? — спросила ее стряпуха Ивановна.

— Ох, издалека, голубушка.

— Утомилась ты, я вижу. Войди, милости просим; переночуй, найдем порожний угол.

После долгих разговоров, взаимных расспросов и рассказов черница, когда дошло дело и до больного и до события на свадьбе, слушала, устремив на Ивановну неподвижные глаза, в которых копились слезы. Дыхание ее становилось тяжело, она, казалось, ничего не понимала.

— На свадьбе! Кто женился?

— Да Прохор же Васильевич, говорю я тебе.

— Голубушка! как женился? когда?

— Чай, уж недели две. На дочке Селифонта Михеевича... хорошо бы, кажись, да так, что-то не по сердцу; а тут еще такой случай... Что с тобою, мать моя?

— Ох, закружилась что-то голова,— проговорила черница, надвинув на лицо черный платок, которым покрыта была ее голова.— Господи, господи, согрешила я перед тобою! — воскликнула она невольно.

— Испей, мать моя, водицы... Что, али сильно ломит голову?

— Ох, болит, болит!.. мочи нет!

— Бедная! приляг!

— Ох, нет!.. Что тут об себе думать!.. Ваш больной-то, чай, умирает... Вот, снеси ему просвирку... скажи, что за его здоровье вынута... снеси, пожалуйста!

— Ладно, ладно; да ты-то тут не умри! — сказала испуганная Ивановна.

— Ах, нет; у меня так это бывает...

— То-то! пустишь чужого человека в дом, да после и валандайся; добро бы я хозяйка была, а то что!..

— Не бойся, пожалуйста; я говорю тебе, что это так у меня; вот и прошло... Ох, да как же я люблю ходить за больными; я бы походила и за вашим...

— Уж где тебе; ты и сама-то, вишь, слабая какая.

— Бог дает силы и слабым на добрые дела... Право, я бы походила за вашим больным... что-то так сердце говорит, что я бы ему помогла... молитвой помогла бы.

Ивановна посмотрела с участием на черницу.

— Да, хорошо, хорошо,— сказала она,— я вот пойду скажу Анисье Семеновне. Она еще и рада будет: истомилась бедная; сколько ночей не спала.

Ивановна, взяв просвирку, пошла наверх, а черница, оставшись одна в горенке, залилась горькими слезами, припав к столу. Ей так хотелось выплакать не одно только горе, а душу; но едва послышались шаги Ивановны, она встрепенулась и отерла слезы.

— Пойдем к Анисье Семеновне,— сказала Ивановна,— она еще как рада, сама все думала пригласить сиделку, да некого было.

— Ах, пойдем,— проговорила тихо черница,— я хоть век просижу подле больного, у меня сна совсем нет.

Вслед за Ивановной она пошла наверх. Анисья встретила ее в девичьей и истомила расспросами.

— Ну, как же я рада, что нашелся такой добрый человек, как ты! Пойдем к больному. Он забылся... тихохонько!

Входя в роскошный покой, где лежал Прохор Васильевич, черница, видимо, содрогнулась. Подойдя к постели больного, она схватилась за кровать, и взор ее, как прикованный, остановился на нем.

— Сядь, сядь, милая,— повторяла Анисья и наконец

насильно взяла ее за руку и посадила подле себя на стуле.

— Ах, потише говорите, он уснул,— сказала черница.

— И то шепотом говорю,— отвечала Анисья,— какая ты осторожная.

И Анисья начала снова расспросы про то, про се, откуда, куда, где бывала, что видела. Бедная черница как будто перезабыла все и отвечала рассеянно.

— Э, какая ты неговорливая,— сказала Анисья, начиная уже дремать,— фу, какая здесь духота!

— Вы бы пошли уснуть, Анисья Семеновна, я посижу.

— Ладно; да ты не заснешь? Сажала я в прошлые ночи Дуняшу да Машу, куда! Только отвернись, они уж и спят.

— Нет, я не усну.

— А как же быть-то, как он проснется да испугается тебя?

— Не испугается, отчего же испугаться? — проговорила черница.

— Как не испугаться: чужая женщина, вся в черном; хоть с головы-то сняла бы ты шапочку-то свою.

— Я сниму.

— Ну, ладно; смотри, как проснется, позови меня, я в девичей лягу.

Анисья вышла. Черница сбросила с головы платок и шапочку, упала на колена перед образами, и, заливаясь слезами, молилась.

Когда душа загорается во взорах и выступает на уста молящейся женщины, взгляните тогда на нее и сами молитесь.

После долгой молитвы она прислушалась вокруг, встала, подошла к кровати, сделала движение, чтоб прикоснуться к больному, но, казалось, не смела, боялась нарушить его сон.

— Прохор Васильевич! — произнесла она тихо и повторила несколько раз.

Больной вдруг вздрогнул, очнулся и устремил на нее глаза.

— Тс! Не пугайся, это я, твоя Лукерьюшка, узнаешь ли ты меня?..

Прохор Васильевич приподнялся, протянул к ней руки, но ни слова. Казалось, чувства его снова помутились.

— О, господи, что я сделала! — проговорила Лукерья Яковлевна, и она обхватила руками своего мужа.

— Лукерьюшка! — проговорил он, наконец.

— Узнал, узнал меня! Дай же мне теперь выплакаться! — произнесла она, задушив голос, и зарыдала.

— Что ты плачешь? — сказал Прохор Васильевич после долгого молчания.

— Тс, тише, тише!.. да! я плачу... ты забыл меня!.. ты...

Она не могла продолжать.

— Я забыл? Нет!..

— Тебя женили на другой!.. Погубил ты меня!..

— Ох, не говори!.. Неправда!..

— Как неправда?

— Неправда! я все тебе скажу... О, господи!.. Лукерьюшка! уйдем отсюда... я боюсь тятеньки; я боюсь на него смотреть... уйдем отсюда!

— Уедем, уедем, куда хочешь!.. Да как же это, говорят, что ты женился...

— Ох, не говори теперь... уйдем поскорей!..

— Куда ж теперь идти, как идти?

Прохор Васильевич задумался.

— Как уйти? — повторила Лукерья Яковлевна,— ты еще болен...

— Как-нибудь, Лукерьюшка.

— Да как же?

И задумались они оба, и ничего не могли придумать.

II

В гостеприимном караван-сарае, находящемся на перепутье из театра в собрание, есть тьма отделений, номеров, номерков, приютных для приезжих, проезжих, для скитальцев и путешественников, для странников вообще и для странников в особенности, для хаджей и даже для пилигримов с блондовой бородкой.

Одно из отделений этого караван-сарая только что занял какой-то приезжий: мужчина средних лет, статный, лицо худощаво, но румянец во всю щеку, глаза голубые, а волоса как смоль, одет по-дорожному, но сообразно форме, отдаваемой в ежедневных приказах моды, с тою только разницею, что вместо мешковатого пальто на нем была богатейшая бархатная венгерка, изузоренная снурками. По наружности, по всем приемам и по речи нельзя было определить, к какой, собственно, нации принадлежал он. Казалось, что это был воплощенный космополит, европеец неопределенного языка, vagabond [1], объехавший для препровождения времени весь свет и посетивший на закуску, pour la bonne bouche [2], Россию. С своим слугой, немцем, он говорил по-немецки, как француз; с французом-чичероне — по-французски, как англичанин; с половым — по-русски, как чех, и в дополнение пересыпал свои речи латинскими, итальянскими и даже турецкими восклицаниями; а распевал и бранился на всех земных языках.

На вопрос полового у камердинера, кто таков его барин, немец отдул отвислую губу и, подняв указательный палец, отвечал:

---

[1] Праздношатающийся, бродяга. *(франц.)*.

[2] На закуску *(франц.)*.

— Это магнат унгарски Волобуж, слышишь?

— Нет, брат, не слышу; кто такой?

— Это великий господин, магнат унгарски Волобуж, слышишь?

— Нет; ну-ко еще.

— Хе! — сказал немец, усмехаясь,— это тебе gross Kurios! eine wunderliche Sache! [1]

— Иоганн! — крикнул путешественник по-немецки, пыхнув дымом сигары и остановясь посреди комнаты,— здесь скверно пахнет! Как ты думаешь?

— Скверно пахнет? — спросил немец-отвислая губа,— позвольте, мейн-гер, я понюхаю.

И Иоганн, как легавая собака, вытянул шею, поднял нос и начал нюхать удушливую атмосферу отделения.

— Ну, понюхай еще,— сказал венгерский магнат,— а потом неси шкатулку и вещи назад в дормез. В этой «Москве» я не остаюсь. Гей, бир-адам! Seigneur serviteur [2], как твое имя?

— Мое имя Андре,— отвечал француз.

— Есть тут какой-нибудь «Лондон»?

— И очень близко отсюда, если только вам угодно.

— Очень угодно: только с тем, чтоб и в «Лондоне» не было такого же натурального запаху.

— Как это возможно! будьте спокойны; я пойду сейчас же займу лучший номер.

— Если невозможно, так едем в «Лондон».

— Что ж, ваше сиятельство, не понравился номер? мы вашей милости другой покажем,— сказал приказчик гостиницы.

— Что ты говоришь? — спросил его магнат.

— Да вот вашей милости, может быть, номер не понравился, так другой извольте посмотреть.

— Ты что, что говоришь? а? — спросил он снова, выходя из номера.

— Черт их разберет, этих немцев,— сказал приказчик, махнув рукой,— и сами ничего не понимают, и их не поймешь!

У подъезда стоял, хоть и не новомодный на лежачих рессорах, но славный дормез, со всеми удобствами для дороги, придуманный не хуже походного дормеза принца Пюклер-Мюскау. Немецкий человек Иоганн был уже наготове принять господина своего под руку и посадить в экипаж; но его задержал на крыльце какой-то отставной, низко поклонился ему, встал перед ним навытяжку, держа шляпу в левой руке, и начал излагать, запинаясь, свою покорнейшую просьбу помочь страждущему неизлечимой болезнью, погруженному в крайнюю бедность и имеющему жену и пятерых человек детей мал мала меньше.

---

[1] Большой курьез. Удивительная вещь (*нем.*).

[2] Господин слуга (*франц.*).

Венгерский магнат уставил на него глаза с удивлением, осмотрел с ног до головы, как чудо, какого еще не видывал, и, выслушав долгую речь, спросил:

— Жена?

— Так точно: жена-с... ваше сиятельство,— повторил отставной,— и пятеро человек детей...

— И пятеро детей?

— Так точно-с...

— Что-о, что вы говорите?

— Пятеро-с,— проговорил отставной, отступив с испугом.

— Жаль, мало; только пятеро!..— сказал магнат, вынимая кошелек,— вот вам по червонцу на человека; если б было больше, больше бы дал... считайте, пять?.. Только пятеро детей?

— Ваше сиятельство,— сказал отставной, у которого от радостного чувства тряслись руки и разбежались глаза, смотря на горсть золота,— жена на сносе, прибавьте на шестого...

— Хорошо; а может быть, жена ваша родит двойни?

— Всегда двойни родит, ваше сиятельство, всегда, вот и прошлый раз двойни родила...

— Ну, вот еще два.

— На родины, на крестины понадобятся деньги...

— Ну, об этом поговорим после; приходите-ко ко мне как-нибудь на днях; я буду стоять в «Лондоне».

— Слушаю, ваше сиятельство...

— Ну-ну-ну! ступайте себе, пока назад не отнял!..

Отставной опрометью бросился от магната Волобужа, который посмотрел ему вслед, пожав плечами.

Француз Андре также пожал плечами. Он пришел в ужас, заметив такую щедрость путешественника.

— Пропадшие деньги, совершенно пропадшие! — сказал он со вздохом,— я обязан предостеречь вас; вы думаете, что это в самом деле несчастный офицер? Это мошенник; их здесь тьма ходит... Они вас оберут, monsieur... le comte [1],— прибавил Андре, не зная, как величать путешественника.

— Оберут? неужели? какое горе!

— Ей-богу, оберут! как это можно давать столько! Им ничего не надо давать... этим бездельникам, попрошайкам! нищим!

— Тебя как зовут?

— Андре, monsieur.

— Вот видишь, Андре-monsieur, знаешь ли ты разницу между нищим и плутом?

— Non, monsieur [2].

— Так я тебе скажу: нищий напрашивается на деньги, а

---

[1] Господин граф *(франц.)*.
[2] Нет, сударь *(франц.)*.

плут на услугу. Понял? и прекрасно; довольно рассуждать. Что ж «Лондон»?

— Я уж был там; самый лучший номер готов.

— Умные ноги!

Венгерский магнат вскочил в дормез, Иоганн взлез на козлы, ямщик чмокнул, подернул вожжами.

Поехали. Андре бежал ли следом, или доехал на запятках, но у подъезда гостиницы «Лондон» он встретил и высадил магната из кареты и повел по длинному, довольно сальному коридору до номера.

— Господин покорнейший мой слуга, как бишь тебя зовут?

— Андре, monsieur.

— Ну, Андре-monsieur, лондонская атмосфера и чистота, кажется, не лучше московской?

— Номер прекрасный.

— Правда, номер лучше. Иоганн! как ты думаешь? Понюхай-ко, хорошо ли пахнет?

— Ха! — отвечал Иоганн, приподняв важно отвислую губу,— здесь всё recht und schön! [1] Всё как следует для одной такой Obrigkeit [2] как ваша высокородность. Ничего не можно сказать худого. По стенам бесподобнейшие картины... Занавесы прекрасные на окнах, ковры... ja! alles ist recht und schön! [3] Вот и клавиры, можно музыку играть... и все, как следует... и кабинет есть... стол письменный... Это немецкая работа!.. Тотчас видно!... Я тотчас узнаю немецкую работу!

Иоганн обратил особенное внимание на немецкую работу стола и распространился, рассматривая его со всех сторон и выдвигая ящики, о немецкой аккуратности.

— Что, хорош стол? — спросил магнат.

— О! — произнес Иоганн, приподняв отвислую губу.

— Ну, понюхай его и ступай выбирать все из кареты; да скорее мне одеваться!

— Нельзя же все вдруг, mein Herr; [4] надо все по порядку сделать, langsam und schön [5].

— Ну, ну, ну, готс-доннер-веттер! [6] — прикрикнул магнат Волобуж, раскинувшись на диване.— А ты, как бишь тебя?

— Андре.

— Андре, скажи, чтоб подали обедать, да мне нужна коляска на английских рессорах, да билет в театр, в собрание или в клуб, повсюду, где только можно убивать время позволительным образом. Слышишь?

— Слушаю.

---

[1] В порядке и красиво (*нем.*).
[2] Владетельной особы (*нем.*).
[3] Да, все в порядке и прекрасно (*нем.*).
[4] Сударь (*нем.*).
[5] Не торопясь и хорошо (*нем.*).
[6] Черт побери! (*нем.*)

— Ну, ступай!.. Я для скуки и уединения не создан,— продолжал про себя Волобуж, садясь обедать,— я и есть один не могу... Подай шампанского!.. И пить один не могу!.. Кругом тишина и спокойствие! очень весело: слышно, как собственный рот жует, а нос сопит!.. Иоганн, убирай!.. Роскошь, а не жизнь! блаженство посреди мук, волнений, треволнений, громов и молний!.. Итак, я вступаю в новый свет, как Колумб... Знакомлюсь с московскими дикарями... они, говорят, народ гостеприимный, любят и уважают всех иноземных пришельцев и мимошельцев, скитающихся мудрецов и бродящих артистов и художников. Иоганн! Готово?

Langsam und schön Иоганн привел все в порядок, подал барину одеваться, проводил его до коляски, сказал по-немецки: «господь с вами!» — и пошел совершенствовать устроенный порядок, перекладывать и переставлять вещи с места на место, всматриваться и вглядываться, действительно ли всё на месте и нет ли какого-нибудь упущения.

Магнат Волобуж отправился в театр и был вполне доволен тем впечатлением, которое произвело первое его появление в публике.

Взоры дам из лож сосредоточились на новое замечательное лицо, как лучи к фокусу зажигательного стекла.

— Это лучшие проводники ко всем земным благам,— говорил Волобуж почти вслух, обводя зрительную трубку по рядам лож.— Очень, очень милы! Прелесть! право, я ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Вене, ни в одной из европейских столиц не видал таких хорошеньких!..

— Вы, без сомнения, путешественник? — спросил его сосед, отжилой петиметр [1], которого взоры также блуждали по бенуару и бельэтажу, а улыбка проявляла внутреннее довольствие, что весь Олимп театра не сводил с него глаз.

— Я путешественник,— отвечал Волобуж,— и удивляюсь необыкновенной красоте здешних дам. Совершенно особенный тип! Тип оригинальный, какого я не видал в целой Европе!.. Ah! per mai fé! [2] Я не нагляжусь!

— Нам очень лестно это слышать; но вы изменяете вашим соотечественницам.

— Goddem! my heart goes pitt-a-patt! [3] Я изменяю своим соотечественницам?

— Вы англичанин?

— Gott bewahre! [4]

— Немец?

— И того меньше; я маджар.

---

[1] Щеголь *(франц.)*.

[2] Ах, честное слово *(итал.)*.

[3] Черт возьми! Мое сердце трепещет! *(англ.)*.

[4] Боже сохрани *(нем.)*.

— Ах, я что-то слышал; не вы ли ездили для исследования языка мещеряков?

— Нисколько.

— Говорят, что мещера и маджары составляли одно племя?

— Кажется; но мои предки происходят от славян.

— От славян? О, так недаром вам нравится русская красота.

— Родная! Не могу не восхищаться! Что за энергия во взорах, в чертах!..

— Посмотрите на даму в золотой наколке, во второй ложе.

— Ах, не отвлекайте меня от всех к одной; я не могу ни одной отдать предпочтения: каждая — красавица в своем роде.

— Помилуйте, посмотрите, какие рожи сидят в третьей ложе.

— Рожи? Что вы это! Вы, верно, присмотрелись к красоте ваших дам, или ваш вкус односторонен, или у вас мода на какую-нибудь условную форму лица?.. А эта дама кто такая?

— Это Нильская.

Поднявшаяся занавесь прервала разговор. По окончании театра собеседники расстались знакомцами.

— С этим приятелем не далеко уйдешь,— сказал магнат Волобуж, садясь в свой экипаж,— это, кажется, сам ищейная собака.

На другой день поутру Андре явился с билетом для входа в Московский музей.

— Музей редко открывается, и трудно достать билет,— сказал он,— но я на ваше имя выпросил у самого генерала, директора.

— Это умно; так ты покажешь мне его, я лично хочу поблагодарить за это одолжение.

В оружейной палате был общий впуск, и потому Андре с трудом провел магната сквозь непроходимые толпы народа к восковой фигуре ливонского рыцаря на коне.

— Фу, дурак, куда меня завел?.. Ну, говори, кто это такой?

— Это? это древний герой.

— Как его зовут?

— Вот я спрошу.

И Андре спросил у стоявшего подле фигуры солдата, как зовут этого человека, что на коне?

— Какой человек, это богатырь,— отвечал солдат.

— С кем же он воевал? И этого не знаешь? — спросил Волобуж.

— Нет, знаю, мосьё, он воевал с татарами,— отвечал Андре, отскочив от какого-то господина, который остановился подле и смотрел на проходящие толпы.

— Это кто?

— Это один из вельмож московских,— тихо отвечал Андре.

— А, прекрасно! — сказал магнат, подходя к довольно

плотному барину с спесивой наружностью.— Извините меня, если я вас обеспокою вопросом.

— Что прикажете?

— Я путешественник... Тут столько любопытного, но никто не может мне объяснить... Мне желательно знать, кто этот русской рыцарь на коне?

— Вы путешественник? — сказал барин, не обращая внимания на вопрос,— о, так вам надо познакомиться с директором... Я сам ищу его, но сквозь эти толпы не продерешься... Пойдемте вместе... Вы недавно приехали в Россию?

— Очень недавно, вчера.

— Откуда?

— Как вам сказать... я кружу по целому миру; любопытство видеть Россию завлекло меня на край света.

— В самом деле, мы живем на краю света; хоть бы немножко поближе к Европе! Скоро, однако ж, железная дорога сократит путь. Как вы нашли Россию? — проговорил вельможный барин, произнося невнимательно все слова.

— Чудная страна, удивительная страна! — отвечал Волобуж,— во всех отношениях не похожая на Европу!..

— Не правда ли, совершенная Азия?

— Но что за воздух! Живительный воздух! Надо отдать справедливость, здесь воздух гораздо прозрачнее всех стран, где я ни был.

— Да, да, да, на воздух пожаловаться нельзя; но климат убийственный.

— Климата я еще не знаю.

— Вы увидите,— сказал рассеянно вельможный барин, уставив лорнет на проходящих дам,— недурна, очень недурна! Кто это такая?

— Недурна, очень недурна! — повторил и магнат,— соблазнительное личико! впрочем:

Quelque lieu qu'on fréquente
Par tout on voit...
Quoi?
Homme qui trompe, femme qui tente [1].

— Ха, ха, ха, это мило!.. Вы долго пробудете здесь?

— Надеюсь.

— Мы, кажется, не отыщем директора, а мне надо ехать... Очень рад с вами познакомиться.

— Позвольте прежде рекомендовать себя,— отвечал Волобуж, вынув визитную карточку и отдавая барину.

— Ах! — произнес сеньор приветливо, взглянув на карточку,— я надеюсь, что вы не откажетесь меня посетить... позвольте узнать, где вы остановились?

---

[1] Какое бы ни посетил место, везде найдешь мужчину-обманщика, а женщину-искусительницу (*франц.*).

— В гостинице «Лондон».
— Я буду лично у вас.
— Приезжий предупредит эту честь.
Барин ласково пожал венгерскому магнату руку, сказал свой адрес и раскланялся.
— Ты знаешь, где живет этот господин?
— Знаю, знаю,— отвечал Андре.
— Так мне не для чего здесь больше толкаться. Seigneur Baranovsky [1], как называл Андре русского барина, с которым случай свел нашего путешественника, магната Волобужа, был человек в самом деле с наружностью сеньориальной: высок ростом, плотен, держал себя прямо, глядел свысока, речь министерская, словом, важен, важен, очень важен. Но он был не из вельмож, происходивших от тех мужей, которым Рюрик раздавал волости, овому Полтеск, овому Ростов, овому Белозеро; не происходил он также от великих мужей, которые бранились и бились за места в разрядах; ни от какого-нибудь мурзы татарского. Но во всяком случае он был богат, как Лукулл, который прославился роскошью одежд, мебели и стола. Римский Лукулл был умен и учен, съел собаку в познаниях, образовался у известнейших док красноречия и философии, имел огромную библиотеку, которою пользовался Цицерон, бывши еще мальчиком; а русский Лукулл, хоть и любил собак, но не съел ни одной по части отягощающей голову, а не желудок. Что ж касается до отделки дома à la renaissance [2] и до повара, то, в сущности, о нем, как о мертвом, нельзя было ничего сказать, кроме aut bene, aut nihil; [3] похулить нельзя было; такая угода чувствам во всех мелочах, что все чувства, кроме слуха, утопали в сладострастии созерцания, обоняния, осязания и вкуса. Слух же должен был довольствоваться басом хозяина и дискантом хозяйки. Была некогда и библиотека в доме, доставшаяся по наследию; до самого времени возрождения вкусов она занимала целую комнату; потому что в прошедшем столетии и даже в начале настоящего была и в России мода на библиотеки, и невозможно было не иметь коллекции французских писателей, in-folio, enrichis et ornés de figures, dessinés et gravés каким-нибудь Bernard Picard et autres habiles artistes [4]. Но со времени возрождения вкуса вельможный барин променял библиотеку, богатую роскошными изданиями и переплетами, на пару античных ваз и на сервиз саксонский; изгнал весь наследственный хлам и устроил дом как чудный косметический магазин, соединенный с мебельным и с вели-

---

[1] Господин Барановский *(франц.)*.
[2] В стиле Возрождения *(франц.)*.
[3] Или хорошо, или ничего *(лат.)*.
[4] Ин-фолио, обогащенные и украшенные картинками, рисованными и гравированными Бернаром Пикаром и другими искусными художниками *(франц.)*.

колепными залами богатейшей европейской ресторации, отапливаемой паром, освещаемой газом. После полного устройства и приведения в порядок всего, кроме счетов, он дал обед на славу, потом бал на славу — и прославился: заговорили, заахали о доме, об обеде, о бале; а о хозяине преравнодушно сказали:

— Дурак! Что он, удивить, что ли, хочет всех своими обедами и балами!

Но этим толки не кончились; тотчас же привели в известность доходы и расходы, поверили счеты, допытались, что взято и сделано в долг, что на чистые деньги, что на слово, что по подрядам, кому уплачено, кому нет.

Про супругу сеньора Baranovsky, как его называл Андре, ничего нельзя было сказать худого. Она была женщина добрая; понимала, что в важности и делах ее мужа было что-то глупое, смешное и бестолковое; но ей было трудно *против рожна прати,* а еще труднее предостеречь себя от тщеславия быть окруженной блеском и великолепием: все это было так хорошо, так ей к лицу. Будь муж ее управителем и стой почтительно в дверях, в ожидании приказания, салон madame Baranovsky [1], был бы второй салон мадам Рекамье, которою она бредила. Если муж ее жил пышно и давал обеды из славолюбия, то она давала балы чисто из великодушия и желания одолжить и потешить бедную Москву, а вместе с тем и подать всем пример гостеприимства, образованного тона и любезности хозяйки.

Приготовляясь к своему bal-paré [2], или, если позволите сказать по-русски, *чинному* балу, она была счастлива, счастлива как мать, которая радуется, что может потешить детей: «пусть их попрыгают и порезвятся от души». Но дети что-то не резвились, как будто под строгим присмотром чинности; тут как-то не было простору ни душе, ни телу: все что-то неловко; казалось, что все съехались из одного светского приличия и необходимости непременно быть на великолепном бале, на выставке модных одежд и тонов, на маневрах высшего круга и для того, чтоб после, если кто спросит: «Были на бале у мадам Baranovsky?» — отвечать равнодушно: «Как же». Лица хозяина и хозяйки так же ярко были освещены внутренним довольствием, как и весь дом солнечными и лунными лампами: они как будто всматривались во всех и каждого, удивляются ли великолепию зал, роскоши убранств, блеску освещения *и непроходимости* от бесчисленного множества приглашенных? В самом деле, какая-то благочинная тоска проникала всех, кроме нескольких записных лощеных танцоров и перетянутых стрекозами Терпсихор, которые перед каждым балом пляшут от радости: «Ах, бал, бал!»

С таким-то московским бояриной свел случай магната вен-

---

[1] Мадам Барановской *(франц.).*
[2] Парадный бал *(франц.).*

герского. На другой же день он явился в дом и был представлен хозяйке. У себя в номере, в халате или венгерке, заметна была в магнате какая-то странность, необразованность приемов, что-то оригинально-грубое; но также видно было, что от самой колыбели он не был ни робок, ни стыдлив, застрахован от всякого смущения и поражения чувств великолепием, блеском обстановки, величием. Как хамелеон, он внезапно отражал на себе все краски и свободно становился в уровень, на одну доску, с кем угодно. Поднимаясь на ступени лестницы, обращенной в благовонную аллею антиподных растений и цветов, он как будто вдруг напитался ими и явился в гостиную таким благорастворенным светским человеком, что сеньора была вне себя от удовольствия быть первой, которой представляется венгерский магнат. Она сама взялась познакомить его с лучшим обществом Москвы, предуведомив, что дом ее есть центр образованной и просвещенной сферы и что она — солнце, которое согревает всю Москву разными родами parties de plaisirs [1].

— Вы, без сомнения, были уже в Париже? — спросила она, зажмурясь немножко и нежно склонив голову на сторону.

— О, конечно, несколько раз,— отвечал Волобуж,— chavez-vous [2], быть в Европе и не видать Парижа, все равно, что быть в Париже и не видать Европы, потому что существенно Европа и заключается только в Париже: все прочее — продолжение Азии.

— Ах, это так; там центр образованности. Кто наследовал теперь славу гостиной мадам Рекамье?

— Никто, никто, решительно никто; да и возможно ли, скажите сами? Мадам Рекамье!.. Вы знаете, что это за женщина?..

— Ах, да, это справедливо; конечно, женщину такой любезности, такого образования трудно заменить. Так сблизить, соединить в своем салоне все чем-нибудь замечательное, все известности... это, это не так легко. Здесь не Париж; но вы не поверите, какое надо иметь искусство, чтоб быть амальгамой общества...

Сеньора с таким выражением утомления произнесла слова: *вы не поверите,* что невозможно было не поверить.

— О, верю, совершенно верю,— сказал магнат,— chavez-vous, я что взглянул на Москву, тотчас же понял, что это не Париж.

— Справедливое и тонкое замечание! — отозвался, наконец, сам хозяин.— Никакого сходства! Это удивительно! У нас так мало еще людей в кругу даже *нашем,* которые бы понимали истинное просвещение, что... но вы сами увидите у меня в доме все, что первенствует, даже не в одной Москве, но, можно ска-

---

[1] Развлечений *(франц.).*

[2] Знаете *(искаж. франц.— savez-vous).*

зать, в целой России... потому что tout ce qui excelle[1] не минует моего порога.

Только что вельможный барин кончил речь, как вошедший слуга доложил, что опять пришел подрядчик, да и каретник пришел.

— Ты видишь, что я занят, глупец. Что ж ты мне докладываешь о пустяках.

— Подрядчик просит ответа-с на письмо своего барина.

— Скажи, чтоб завтра пришел за ответом; а каретник пусть придет послезавтра.

После отданного таким образом приказания людям барин продолжал велеречиво суждение свое о том, что Москва нисколько не похожа на Париж и что это проистекает именно оттого, что русские не умеют жить; и присовокупил к тому очень дельное замечание, что Петру Великому следовало гораздо ранее заняться преобразованием России и что, если б он занялся этим заблаговременно, то просвещение и устроенное им регулярное войско предохранили бы Россию от нашествия монголов.

— Скажите! — воскликнул Волобуж,— всеобъемлющий гений сделал такое упущение, и этого никто до сих пор не заметил?

— Никто, решительно никто!

— Это удивительно! какая была бы разница!.. Chavez-vous, вот что хочется мне знать: приезжал ли пустынник Петр проповедовать в Россию крестовые походы?

— Пустынник Петр?..— повторил хозяин, припоминая.

— Кажется был, mon cher,— сказала хозяйка.

— Да! точно! именно был!.. позвольте, в котором это году?..

— Не трудитесь, пожалуйста, припоминать: хронология и в этом и во всяком случае пустяки. Мне желательно только знать, отчего Россия не согласилась участвовать в крестовых походах?

— Отчего! — воскликнул барин,— просто невежество, непросвещение и только. Участвуй Россия — о, дела бы взяли другой оборот: миллион войска не шутка.

— Dieu, dieu![2] — проговорил магнат, глубоко вздохнув и уставив глаза на русского сеньора,— сколько в мире странных людей и событий!..

— Ах,— сказала хозяйка, наскучив разговором об исторических событиях России,— посмотрите на мою Леди... elle a de l'esprit;[3] посмотрите, какие умные глаза.

— Чудные глаза! — сказал Волобуж, гладя Леди, и подумал: «На первый раз довольно!»

И он встал, раскланялся. С него взяли слово приехать на другой же день, на вечер.

---

[1] Все выдающееся *(франц.)*.

[2] Боже, боже *(франц.)*.

[3] Она умница *(франц.)*.

— Да это злодей, просто злодей! — сказал Волобуж, сбежав с благовонной лестницы к подъезду.

— Что, сударь, верно, и тебе денег не платит? — спросил один из стоявших у подъезда двух человек.

«А! это, верно, подрядчик и каретник,— подумал магнат, взглянув на две бороды в синих кафтанах,— да, да, не платит!»

— Из магазина, верно, взял что?

— Нет, просто за визит не платит: делай визит ему даром, каков?

— Ты говори! все норовит на даровщинку; а еще такой барин и богач! прости, господи! заел у меня без малого тысячу!..

— Скажи, пожалуйста! каков! — сказал Волобуж, садясь в коляску.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Куда?.. вот об этом мне надо кого-нибудь спросить...

— Домой прикажете?..

— Ну, домой!.. что ж делать дома?.. Дома люди обманывают самих себя, вне дома — обманывают других. Что лучше?.. Фу, какой умница этот вельможа! В самом деле, если б Петр Великий начал преобразование России со времен Рюрика, то Россия с ее рвением к просвещению ушла бы далеко на запад, дальше солнца, если б не проклятые столбы... Да! кстати о просвещении... Ступай на Кузнецкий мост, во французский книжный магазин! Надо принять к сведению современный интерес, надо стать в уровень с мосье Baranovsky.

Приехав на знаменитый мост, магнат вбежал в книжный магазин и спросил современных книг.

— Каких угодно?

— Все равно, каких-нибудь; я ведь не люблю читать и размышлять, что хорошо или худо: и то и другое зависит от моего собственного расположения духа...

Лучшие сочинения теперь, я думаю, романы; в них и жизнь, и настоящая наука, и философия, и политика, и индустрия, и всё.

— Не угодно ли выбрать по каталогу.

— Да я приехал к вам, мой милый, не для того, чтоб терять время на выбор... Вы француз?

— Француз.

— Ну и прекрасно; давайте мне что хотите,— все хорошо; мое дело платить деньги,— чем больше, тем лучше.

Француз улыбнулся и собрал несколько романов.

— Не угодно ли вам эти?

— Очень угодно.

— Вот еще новое, очень занимательное сочинение.

— Роман? давайте, давайте! Не мало ли? Ведь я не читаю, а пожираю.

Набрав десятка два романов, Волобуж отправился домой

и целый день провел в чтении. Но он читал, не разрезывая листов, не с начала, не от доски до доски, а так, то тот, то другой роман наудачу, как гадают на святках: *что вынется, то сбудется.* Это, говорил он, глупость, читать подряд; все равно, с краю или из середины; но главное, благоразумному человеку, посещающему свет, желающему говорить и рассуждать, нужны на ежедневный обиход карманные сведения, как карманные деньги. Почерпнув из книг или из журналов несколько блестящих, только что оттиснутых сведений, можно ехать с визитом, на обед, на бал,— куда угодно.

Когда Волобуж на другой день явился в гостиную русской Рекамье, для него уже было подготовлено знакомство, как для особенно интересного, высокообразованного путешественника и сверх того магната венгерского.

Каждый человек до тех пор ребенок, покуда не насмотрится на все в мире настолько, чтобы понять, что все в мире то же, что ein-zwei-drei, ander Stück Manier [1], и следовательно почти каждый остается навек ребенком.

Это правило можно было приложить и ко всем тем, которые наполняли гостиную супруги вельможного барина. Любопытство видеть интересного путешественника так раздражило нервы некоторых дам, что при каждом звуке колокольчика, которым швейцар давал знать о приезде гостей, пробегал по их жилкам испуг, головка невольно повертывалась к дверям, уста как будто зубками перекусывали нить разговора, и некоторые становились похожи на известное беленькое животное, которое, прослышав какой-нибудь звук, осторожно поднимает свои длинные ушки и прислушивается: что там за чудо такое?

Волобуж вошел и с первого взгляда поразил все общество; так взгляд его был смел и беспощаден, движения новы, а выражение наружности необычайно. Хозяин побежал к нему навстречу,— он взял хозяина за обе руки, как старого знакомого. Хозяйка встала поклониться ему,— он без поклона сел подле нее и тотчас же начал по-французски, несколько английским своим наречием, разговор о Москве.

— Chavez-vous, мне Москва так понравилась с первого взгляда, что я намерен остаться в Москве, покуда меня не выгонят.

Произнося эти слова мерно и громко, магнат обводил взорами всех присутствующих в гостиной.

Хозяйка, по праву на свободную любезность с гостем, премило возразила на его слова:

— Так вам не удастся возвратиться в свое отечество!

— О, я чувствую, что даже не приду в себя,— отвечал магнат.

— Сколько приятного ума в этом человеке,— сказала

[1] Раз, два, три — и на другой манер штука (*нем.*).

вполголоса одна молоденькая дама натуральному философу, но так, что магнат не пропустил мимо ушей этих слов, а мимо глаз того взора, который говорит: «Ты слышал?»

«А, это, кажется, та самая, которой восхищался мой собеседник в театре»,— подумал Волобуж, устремив на нее взор, высказывающий ответ: «Я не глух и не слеп».

— Я вам доставлю одно из возвышенных удовольствий,— сказала хозяйка после многих любезностей,— вы, верно, любите пение?.. Милая Адель, спойте нам.

Одна из девушек села за рояль и потрясла голосом своим стены. Это уж так следовало по современной сценической методе пения. Теперь те из существ прекрасного пола, которые одарены от природы просто очаровательным женским голосом, не могут и не должны петь. Сентиментальности, piacere и dolce [1] — избави бог! Теперь в моде мускулёзные арии, con furore и con tremore [2], с потрясением рояля от полноты аккордов, а воздуха от полноты выражения чувств.

— Каков голос! — сказал хозяин, подходя к магнату.

— Необыкновенный голос! — отвечал он,— это такой голос, каких мало бывает, да еще и редко в дополнение. Вот именно голос! Это Гера в образе Стентора возбуждает аргивян к бою!..

— Удивительный голос! Вы не сыграете ли в преферанс?

— С величайшим удовольствием: неужели здесь эта игра в моде? В Европе не играют уже в преферанс.

— Неужели? какая же там игра теперь в моде?

— Коммерческие игры перешли в коммерческий класс людей, там теперь преимуществует фараон.

— В самом деле?.. У нас не играют в азартные игры.

— И прекрасно. Я сам предпочитаю искусство случайности.

— Вы играете по большой или по маленькой?

— И по большой и по маленькой вместе: когда я выигрываю, мне всегда кажется, что десять червонцев пуан игра слишком мала.

— О, у вас, в Венгрии, верно, слишком дешево золото!

— Где его меньше, там оно всегда дешевле,— отвечал Волобуж, собирая карты и говоря вперед: — играю.

Хозяйка и вообще дамы надулись несколько, что у них отняли занимательного кавалера, и не знали, чем пополнить этот недостаток, на который рассчитан был весь интерес вечера. Не игравшие, собственные, ежедневные кавалеры как-то вдруг стали пошлы при новом лице, как маленькие герои перед большим, который, как Кесарь, venit, vidit, vicit [3] внимание всех

[1] Приятно и нежно (*итал.*).
[2] Бурно и тревожно (*итал.*).
[3] Пришел, увидел, победил (*лат.*).

дам. Они ходили около ломберного стола, за которым он сидел, становились по очереди за его стулом, прислушивались к его словам и возбудили досаду и даже ревность в некоторых присутствовавших тут своих спутниках.

Венгерский магнат не привык, казалось, оковывать себя светскими бандажами. Он нетерпеливо ворочался на стуле, как будто заболели у него плеча, руки, ноги, заломило кости, разломило голову. Дамы надоели ему своими привязками в промежутках сдачи карт, хозяин и два барина, которые играли с ним, надоедали ему то мертвым молчанием и думами, с чего ходить, то удивлением, какая необыкновенная пришла игра, то время от времени рассуждениями о том, что говорит «журнал прений» и что говорят в английском клубе.

Хозяин играл глубокомысленно: по челу его видно было, как он соображал, обдумывал ходы; но ходил всегда по общему правилу игры. Отступать на шаг от правил он не решался: приятно ли, чтоб подумали, что он не знает самых обыкновенных, простых правил игры. Какой-то сухопарый, которого грудь была «рамплирована» декорациями, все хмурился на карты, спрашивал поминутно зельцерской воды и несколько раз жаловался на обеды в английском клубе.

— Я всегда на другой день чувствую себя не по себе,— говорил он, не обращая ни к кому своих слов, как признак сознания собственного достоинства.

— А какая уха была, князь,— заметил хозяин, ударяя всею силою голоса на слово уха.— Какая уха была!

— О-о-о! Надо отдать справедливость,— прибавил тучный барин, сидевший направо от Волобужа.— Уха недаром «нам» стоила две тысячи пятьсот рублей!

— Как же, весь город говорил об ней! — сказал один молодой человек с усиками, в очках.

— Весь не весь, а все те, которые ели ее,— отвечал, нахмурив брови, тучный барин.

— Такому событию надо составить протокол и внести в летописи клуба,— заметил снова молодой человек с колкостью, отходя от стола.

— А вот наймем протоколиста,— сказал тучный барин,— какого-нибудь восторженного поэта,— прибавил он вполголоса.

— Браво, Иван Иванович,— сказал, захохотав, хозяин,— это не в бровь, а прямо в глаз.

— Нет, вы не жалуйтесь, князь, на стол в клубе. Для такого стола можно раз или два раза в неделю испортить желудок,— продолжал Иван Иванович прерванную речь свою.

— Ваш, однако же, нисколько, кажется, не портится,— сказал князь.

— Напротив, случается; но у меня есть прекрасные пилюли,

и я, только лишь почувствую «несварение», тотчас же принимаю, и оно... очень хорошо действует.

— Завтра я непременно обедаю в клубе,— сказал хозяин.

— И прекрасно! Знаете ли что: вот, как мы теперь сидим, так бы и завтра повторить партию. Как вы думаете, князь?

— Я согласен.

— А вы? Вы не откажетесь завтра обедать с нами в клубе? — спросил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу.

— С удовольствием,— отвечал Волобуж,— я так много и часто слыхал и за границей об английском московском клубе, что меня влечет туда любопытство.

— О, вы увидите,— сказал хозяин,— это удивительное заведение.

— Академия в своем роде! — прибавил молодой человек в очках, проходя мимо и вслушиваясь в разговор.

— Это несносно! — проговорил тихо хозяин, уплачивая проигрыш.

— Охота вам приглашать этого молокососа,— заметил так же тихо Иван Иванович.

— Хм, жена,— отвечал с неудовольствием хозяин, вставая с места.

— Разлад по́лов и поколений,— сказал тихо и Волобуж, обращаясь к молоденькой даме, которая польстила его самолюбию.

— Отчего же разлад?

— Разлад, а говоря ученым языком, разложение организма.

— Докажите мне, пойдемте по комнатам, вы насиделись.

— Пойдемте.

— Как прекрасно отделан дом, не правда ли?

— Для моего воображения недостаточно хорош.

— Для вашего воображения, может быть, все недостаточно хорошо, что вы ни встречаете?

— О, есть исключение: встретив совершенство, я покоряюсь, влюбляюсь в него без памяти.

— А часто вы встречали совершенства?

— Встречали! вы не вслушались, я говорю про настоящую минуту... Сядемте, вы находились,— сказал Волобуж, проходя с собеседницей уединенную комнату.

Они сели; но ревнивая хозяйка не дала развиться их разговору и увлекла в залу слушать, как один monsieur передразнивал Листа. Когда он кончил, венгерского магната уже не было в зале. Начались общие суждения и заключения об его оригинальности, уме, проницательных взглядах; дамы восхищались им; и одни только ревнивцы, вопреки наклонности своей к иноземному уму, понятиям, формам, условному изяществу, стали про себя корить соотечественниц своих, что они готовы обоготворить всякого беглеца с галер и позволить ему сморкаться в свои пелеринки.

На другой день Волобуж был у Ивана Ивановича с визитом и вместе с ним отправился в клуб. Около интересного путешественника, венгерского магната, тотчас же составился кружок. У нас необыкновенно как идет большая рыба на каждого порядочного иностранца. Он ловко справлялся с толпой, жаждущей наслушаться его речей, бросал запросы, как куски на драку, стравил всех на спор о современном состоянии Европы.

— Я еще не знаю России,— сказал он,— знаю Европу; но не понимаю ее, совершенно не понимаю!

— Удивляюсь! Европу не так трудно понять в настоящее время... выслушайте! — прервал тотчас же один говорливый господин и принялся было объяснять значение Европы; но его в свою очередь прервал другой.

— Помилуйте, обратите только внимание...

— Позвольте, я на все обращу внимание, примите только в соображение финансы и богатство Англии...

— Финансы Англии! Но вы посмотрите на Ирландию.

— На Ирландию? Это пустяки! на нее не должно смотреть, она в стороне.

— В стороне! и очень в стороне от благосостояния.

— Нисколько! Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии.

— Даже и голоду бы там не было.

— Без всякого сомнения!

— Ха, ха, ха, ха!

— Chavez-vous,— сказал Волобуж, которому надоела эта возня рассуждений о политике.

Все обратили на него внимание.

— Chavez-vous, я думаю, что дела сами собою показывают, на что должно обратить внимание... главное, земледелие.

— Так; но теперь главный факт есть то, что земледелие в Европе в ужасном упадке... разберем.

— Эту тему отложите,— сказал случившийся тут агроном,— я был в Европе и обращал на этот предмет внимание, исследовал все на месте.

— И видели возделанные оазисы посреди пустыни.

— Но какие оазисы!

— Ах ты, господи! Да что за штука золото обратить в золотые колосья!..

Это восклицание возбудило общий смех; но спор продолжался бы бесконечно, если бы не раздалось: «кушать подано!»

Мысли самых горячих спорщиков внезапно вынырнули из бездонной глубины, и все, как будто по слову: «марш!» двинулись в столовую.

Иван Иванович угощал московского гостя как будто у себя дома и возбуждал в нем аппетит своим собственным примером.

Магнат дивился и на Ивана Ивановича и на многих ему подобных, как на адовы уста, которые так же глотают жадно души au haut goût[1].

— Русский стол похож,— сказал он,— на французский.

— О, нисколько: это французский стол,— сказал Иван Иванович,— иногда, для разнообразия, у нас бывают русские щи, ватрушки и особенно уха.

— Ах, да, chavez-vous, мне еще в Вене сказали, что в России свой собственный вкус не в употреблении. Впрочем, в самом деле: stchstchi! vatrouschky! oukha! diable![2] Это невозможно ни прожевать, ни проглотить.

Гастрономическая острота возбудила снова общий смех и суждения о вкусах.

После обеда условленная партия преферанса уселась за стол в infernale, но Иван Иванович предуведомил, что в десять часов он должен ехать на свадьбу к Туруцкому.

— Сходят же с ума люди! Жениться в эти года и на ком! — сказал князь.

— Это удивительно! — прибавил seigneur,— неужели в самом деле Туруцкий женится на француженке, которая содержалась в тюрьме и которую взяли на поруки?

— Женится,— отвечал Иван Иванович,— но как хороша эта мадам де Мильвуа!

— Взята на поруки? выходит замуж, француженка? Мадам де Мильвуа? — спросил с удивлением Волобуж.

— А что? Неужели вы ее знаете?

— Статная женщина, не дурна собою, вместо улыбки какое-то вечное презрение ко всему окружающему.

— Именно так! Мне в ней только это и не понравилось. Так вы знаете ее? Да где же?

— Chavez-vous, это моя страсть, я потерял ее из виду и опять нахожу!.. выходит замуж, говорите вы?

— За одного богача.

— Браво!

— Где ж вы с ней встречались?

— Разумеется, в Париже.

— О, так ей приятно будет встретить вас здесь!.. И для Туруцкого, верно, будет это маленьким несчастием. Я скажу ей...

— Напрасно; она меня не знает. Впрочем, я бы очень рад был возобновить маскарадное знакомство; я у нее непременно буду. Где она живет?

Иван Иванович рассказал адрес дома Туруцкого и звал Волобужа ехать вместе с ним смотреть русский обряд венчания.

— Вместе не могу ехать,— отвечал он,— мне еще надо побывать дома; я приеду.

---

[1] С великим удовольствием *(франц.)*.

[2] Щи, ватрушки, уха, черт побери *(франц.)*.

Партия преферанса скоро кончилась, князь вызывал на другую.

Иван Иванович соглашался, но Волобуж отказался решительно.

— В другое время хоть сто; я охотник играть в карты.

— Так завтра ко мне,— сказал князь,— мне желательно хоть сколько-нибудь воспользоваться пребыванием вашим в Москве, тем более что вы, верно, долго у нас и не пробудете.

— Право, сам не знаю; это зависит от обстоятельств: от собственного каприза или от каприза судьбы. У такого человека, как я, только эти два двигателя и есть.

Распростившись с своими партнерами, Волобуж вышел из клуба, сел в коляску и велел ехать по сказанному адресу в дом Туруцкого.

— Так вот она где! Мадам де Мильвуа! Скажите, пожалуйста! — разговаривал он вслух сам с собою.— К ней, сейчас же к ней!.. Посмотрим, узнает ли она меня?... Выходит замуж!.. Это пустяки! Я ей не позволю выходить замуж!.. Это мечта!.. Несбыточное дело!

— Вот дом Туруцкого,— сказал наемный слуга, сидевший на козлах и облаченный в ливрею с галунами, на которых изображен был так называемый в рядах *общий дворянский герб.*

— На двор! к подъезду! — скомандовал магнат, и когда коляска подъехала к крыльцу, он выскочил из нее, не останавливаясь и не спрашивая у швейцара, дома ли господин, госпожа или господа, вбежал на лестницу, не оглядываясь ни на кого из дежурных слуг, вскочивших с мест, прошел переднюю, как доктор, за которым посылали нарочно, которого ждут нетерпеливо, который торопится к опасно больному и который знает сам дорогу в самые отдаленные и заветные для гостей покои дома.

В зале, однако ж, встретив лакея, он крикнул:

— Мадам тут?

— Сюда, сюда пожалуйте-с.

По указанию своротив направо, Волобуж вошел в дамский кабинет, остановился, осмотрелся.

— Теперь куда? Прямо или влево?.. здесь слышатся голоса...

Волобуж подошел к двери, хотел взять за ручку, но дверь вдруг отворилась и из нее вышел с картонкой в руках и с завитым хохлом что-то вроде французского петиметра.

— Мадам тут? — спросил Волобуж.

— Monsieur, она одевается.

— Хорошо!

И, пропустив парикмахера, он вошел в уборную, где сидела перед трюмо дама в пенюаре и, казалось, любовалась роскошной уборкой головы.

— Кто тут? — проговорила она по-французски, не огляды-

ваясь.— Я сказала, чтоб никто не смел входить, покуда я не позову!

— Madame, я не слыхал этого приказания и прошу извинения,— сказал Волобуж, преклонив почтительно голову.

— Кто вы, сударь?

— Madame de Milvoie[1], венгерский дворянин Волобуж осмеливается представиться вам...

— Что вам угодно? это странно, входить без спросу!

— Простите меня, я хотел только удостовериться, действительно ли вы та особа, которой я был некогда не противен... О, похожа... очень похожа!

— О боже! — вскричала дама, всмотревшись в лицо магната.

— О боже! она, она! — вскричал и Волобуж, приняв сценическую позу удивления,— это ты, ты!

Дама затрепетала, дух ее занялся, бледность выступила на лице ее сквозь румяны; она походила на приподнявшегося из гроба мертвеца в венке и саване.

Она хотела, казалось, кликнуть людей, взялась за колокольчик, но дрожащие губы не могли издать звука, поднявшаяся рука опала.

— Не тревожьтесь, не беспокойтесь,— сказал Волобуж,— прикажете кликнуть кого-нибудь? Сейчас же...

— Злодей! — проговорила она, задыхаясь.

— Так я запру двери.

И он повернул ключ в дверях.

— Чего ты хочешь от меня?..

— Успокойтесь, пожалуйста, я ничего не хочу от вас,— отвечал Волобуж, садясь на кресло,— ни вещественного, ни духовного блага. Я только приехал поздравить вас с счастливым обеспечением судьбы вашей и убедиться в ложном слухе, что будто вы выходите замуж... Я не поверил!..

— Мерзавец! Поди вон отсюда! Оставь меня.

И она в исступлении вскочила и, казалось, хотела боксировать.

— Знаете ли что,— продолжал спокойно Волобуж:

On vit un jour une cruelle guerre,
Entre la poule et le coq,
Pendant le choc,
La poule en colère
Faisait: coq, coq![2]

Драгоценные серьги, цветы, локоны, вся уборка головы прекрасной дамы трепетали, как от порывистого ветра листья

[1] Мадам Мильвуа *(франц.)*.

[2] Как-то раз была жестокая война между курицей и петухом. Во время столкновения курица в гневе закричала ко-ко *(франц.)*.

на дереве; она без сил упала на кресла, закрыла глаза, закинула голову на спинку и, казалось, замерла, как убитая тигрица, стиснув зубы от ярости.

Волобуж продолжал преравнодушно нараспев:

> Mais un silence heureux finit la paix aussitôt;
> Le coq chanta coqueriquo;
> Toujours la poule est contente
> Quand le coq chante [1].

— О боже мой, я бессильна, я не могу избавиться от этого человека! — проговорила, как будто внезапно очнувшись, дама,— оставьте, сударь, меня!

— Из чего, к чему горячиться? как будто нельзя сказать почеловечески всё то, что нужно? Все эти исступления доказывают только, что вы нездоровы, расстроены душевно и телесно. Ну, где ж вам выходить замуж, моя милая мадам де Мильвуа? Пустяки! Я вам просто не позволяю: и не извольте думать, выкиньте из головы эти причуды! Одного мужа вы пустили по миру, другого хотите просто уморить,— нельзя, моя милая мадам де Мильвуа, невозможно!..

— Милостивый государь! — сказала вдруг решительным голосом дама,— я вас не знаю, что вам угодно от меня? Кто вас звал? — И она бросилась к дверям, отперла их, крикнула: — Julie! позови людей! — И потом начала звонить в колокольчик.

— Все это пустяки вы делаете,— сказал равнодушно Волобуж, развалившись на креслах.

— Что прикажете? — спросила вбежавшая девушка.

— Позови...— начала было дама.

— Позвольте, не беспокойтесь, я сам прикажу,— прервал ее Волобуж, вскочив с места,— сидите! Я сам прикажу: поскорей воды, милая! барыне дурно! Постой, постой, возьми рецепт.

И он побежал к столику, схватил листок бумаги, черкнул несколько слов и отдал девушке.

— Скорей в аптеку! бегом!

Девушка убежала. Дама, как помешанная, опустилась на диван, водила пылающими взорами. Грудь ее волновалась, как в бурю.

— Ничего,— сказал Волобуж, смотря на нее,— это пройдет. Пожалуйста, примите, что я вам прописал... Adieu, madame! [2] Я тороплюсь посмотреть на жениха. Говорят, старикашка. Пожалуйста же, поберегитесь *выходить*. Я вам говорю не шутя! поберегитесь выходить замуж! на воздух же можете выходить когда угодно. Слышите? Adieu!..

Волобуж кивнул головой и вышел.

— Ступай в здешний приход! — крикнул он кучеру.

---

[1] Наступило счастливое молчание мира, как только петух пропел ко-ке-ри-ко; курица всегда испытывает удовольствие, когда петух поет *(франц.)*.

[2] Прощайте, мадам *(франц.)*.

Простой народ толпился уже около церкви; но простого народа не впускали.

— Уж чего, гляди, и на свадьбу-то посмотреть не пускают! — ворчала одна старуха на паперти,— поди-ко-с, невидаль какая!.. Вели, батюшка, пустить, посмотреть на свадьбу,— крикнула она, ухватив Волобужа за руку.

— Кто не пускает?

— Да вот какие-то часовые взялись!

— Что за пустяки! Впустить! — крикнул Волобуж, входя в церковь. Там было уже довольно любопытных, в числе которых не малое число старцев, сверстников и сочленов Туруцкого. Все они как-то радостно улыбались; внутреннее довольство и сочувствие доброму примеру, что ни старость, ни дряхлость не мешают жениться, невольно высказывались у них на лице.

— Я думаю, еще ему нет семидесяти,— говорил один из сверстников.

— О, помилуйте! и всех восемьдесят! Вы сколько себе считаете?

— Мне еще и семидесяти пяти нет.

— Неужели? Вы моложавы.

— Посмотрим, посмотрим на Туруцкого, как-то он вывезет! На француженке!.. Она уж у него давно!

— Вероятно.

— Ну, в таком случае понятно, для чего он женится... Ah, monsieur de Volobouge! [1] Вам также любопытно видеть свадьбу? Свадьба замечательная; эта чета хоть кого удивит: жениху за семьдесят лет.

— Что ж такое,— отвечал Волобуж,— savez-vous, лета ничего не значат; кому определено прожить, например, сто лет, тот в семьдесят только что возмужал; а кому тридцать, того в двадцать пять должно считать старше семидесятилетнего.

— А что вы думаете, это совершенная правда.

— Сейчас едет барин,— сказал торопливо вошедший человек в ливрее старосте церковному,— свечи-то готовы?

— Готовы.

— Что, брат, слово-то мое сбылось, что пансионерок-то заводят для того, чтоб жениться на них.

— Уж ты говори! — отвечал староста,— греха-то теперь на свете и не оберешься!

— Чу! едут.

Все оборотились к дверям.

Вслед за Иваном Ивановичем и толпою других *провожатых* вошел жених, Платон Васильевич Туруцкий, поддерживаемый человеком.

— Вот, вот он, вот! — раздался общий шепот.

— Э-э-э, какой сморчок!.. Да где ж ему... Ах ты, господи!..

---

[1] Ах, мосье Волобуж *(франц.)*.

— Ну, роскошь! — сказал сам себе наш магнат.

Платон Васильевич, бодрясь, на сколько хватило сил, подошел к налою, перекрестился, посмотрел вокруг, поклонился и спросил Ивана Ивановича:

— Поехали ли за невестой?

— Как же, как же!.. Ah, monsieur de Volobouge!.. Посмотрите-ко, каков?..

— Молодец!

— А вот увидите, невесту, также молодец, bel homme [1].

— Скоро будет?..

— А вот сейчас.

Насмотревшись на жениха, все снова устремили глаза ко входу в храм, в ожидании невесты. Чуть приотворится дверь...

— Вот, вот, верно она!..

Общий шепот затихнет.

— Нет, не она!

Долго длилось напрасное ожидание. Наконец, вошел запыхавшись Борис, и прямо к барину, сказал что-то ему на ухо. Но Платон Васильевич, верно, не расслыхал.

— А! едет? — проговорил он и побежал к дверям.

— Едет, едет! — повторилось посреди затишья. Снова все устремили глаза на двери.

Иван Иванович, разговаривавший с магнатом, побежал к дверям.

— Где же? Экой какой! Сам побежал высаживать из кареты!.. Что же?.. где Платон Васильевич?

— Да они поехали домой, сударь,— сказал бегущий лакей,— что-то случилось такое; невеста, говорят, заболела...

— Что-о? Вот чудеса! — сказал Иван Иванович,— слышите, господа? невеста заболела! да это, верно, просто дурнота... Невеста заболела! — повторил Иван Иванович, обращаясь к Волобужу,— я поеду, узнаю.

— Ну, какую наделал я суматоху! — сказал Волобуж, проталкивая народ, который стеснился в дверях с нерешимостью, ждать или выходить из церкви.

III

В море житейское впадают разные реки и потоки, вытекающие из гор, озер и болот, образующиеся из ливней и тающих снегов и так далее. У каждого народа свое море житейское. У одного оно *авксинское,* у другого *эвксинское,* белое, черное, красное, синее и т. д. Из числа случайных потоков, впадающих в описываемое нами море, потоков, которые текут не по руслу, а как попало, был Чаров, о котором мы уже упомянули.

---

[1] Красавец *(франц.).*

Помните, он предлагал свои услуги и приют в своем доме Саломее, в роли несчастной мадам де Мильвуа. Набравшись воды от разлива ли рек, или от ливней, он вздулся и туда же клубил мутные волны, впадал в море, как какая-нибудь знаменитая река. В древности, когда поклонялись еще рекам, какой-нибудь греческий герой-путешественник, верно, поставил бы при устье его жертвенник в честь глупой фортуны.

Как бы вам изобразить Чарова яснее? Представьте себе милую, прекрасную, очаровательную женщину, которая сидит скромно, нисколько не думая вызывать на себя искательные взоры и лукавое внимание, и вдруг неизвестный ей мужчина, с сигарой в зубах, руки в карманах пальто, проходя ленивою поступью мимо, смотря на всех, как начальник на подчиненных, заметил ее, остановился, пыхнул дымом, уставил ничего не говорящие даже не любопытные глаза и рассматривает преравнодушно с головы до ног, как турок продажную невольницу. Смущение ее для него нипочем; худое мнение, как о человеке дерзком, его не заботит: видал он и получше ее скромниц и притворщиц в обществе, для которых первый tête-á-tête[1] с порядочным человеком — полный роман с приступом, завязкой и развязкой. Все женщины, которые не были таковы, казались ему уродами; и потому, после первого осмотра с головы до ног или обратно, на них не стоило уже и смотреть: «c'est de la drogue»[2], говорил он и шел далее.

Чаров был статный мужчина, лет тридцати, среднего росту, с наклонностью растолстеть под старость; носил усы и козлиную бородку. Выражение лица неопределенное, немного с винегретной приправой, глаза тусклые, голос изнеженный, речь медленная: уста как будто воротом вытягивали каждое слово из кладезя его ума на язык. Это был упитанный и изнеженный и родителями, и воспитателями, и богатством, и слепым счастием женообразный баловень, без дум, без страстей, без особенных желаний, но полный причуд. Он привык с малолетства, чтоб за ним все ухаживало, потешало его обычай, смешило. Опасаясь, чтоб что-нибудь не потревожило слабого здоровья ребенка, мать боялась противоречить ему и умасливала его детское сердце всем, чем угодно, когда он топал ногою и кричал. Какой-то бежавший с галер невинный француз был его гувернером. Он не затмил его разума, как наставник-немец; но напротив, открыл ему глаза и поставил на точку, с которой все вещи и люди кажутся в карикатурном виде, и нельзя не кощунствовать над ними и не называть уродами.

Когда Чаров взрос, его записали на службу, но он служил, как обыкновенно служат все приписные к службе, являющиеся к должности только для получения жалованья или вышедших

---

[1] С глазу на глаз *(франц.)*.
[2] Это дрянь *(франц.)*.

наград. Не успев еще вступить в возраст мужа, Чаров приобрел уже право, на законном основании, расточать наследие. При этом условии все двери светских храмин перед ним были настежь, и у Чарова была тьма мимолетных друзей и приятелей во всяком роде, возрасте и звании, с которыми он обходился, как причудливый барин с своей подобострастной дворней; из каждого делал для потехи своей шута и без церемоний называл скотиной и уродом. Эта дружеская брань, как говорится: «на вороту не висла»; к ней точно так же привыкали, как к звуку mon cher. Он, правда, не говорил просто: «скотина», но протяжно и приязненно: ска-а-тина! — а известно, что le ton fait la musique [1].

Одевался он, не рассуждая, что к лицу, что нет; но все на нем было новомодно, тонко, мягко, гладко, бело, глянцевито. Во всем в нем было какое-то нравственное и физическое утомление, казалось, что и сам он давно бы на покой; но самолюбие было еще молодо, денег бездна, надо было куда-нибудь их девать; а между тем все прискучило, приелось. Бросать же деньги без позыва, без аппетиту, по прихоти чужой, он не любил, был скуп до скряжничества. Истощившись душевными силами, он, наконец, стал искать повсюду и во всем возбудительного. На женщин он тоже смотрел с этой целью и желал найти женщину энергическую, которая оживила бы и его собственную энергию.

Когда иные из близких его, замечая в нем хандру, просто, здорово живешь, или по наставлению какой-нибудь близкой или знакомой маменьки, думали поджечь его на женитьбу и спрашивали: «что он не женится?»

— Ска-а-тина! — отвечал Чаров, зевая,— тебе для чего понадобилась моя жена? С чего ты взял, что я заведу для тебя жену, когда она, собственно, для меня не нужна?

— Как будто я для себя, mon cher, прошу тебя жениться.

— Еще глупее, если для кого-нибудь другого.

— Для тебя собственно, чтоб ты не хандрил.

— Это еще глупее, ты у-урод, братец! Ты бы лучше придумал: женись сам; je te ferai cocu [2], ска-а-тина; это меня порассеет немножко.

Охотников угождать в этом случае, однако же, не находилось и предложения faire partie d'un mariage [3] не удавались.

У Чарова был великолепный дом со всеми причудами современной роскоши. Современную роскошь ни в сказках сказать, ни пером описать. Современная роскошь состоит из таких minuties [4], которые надо рассматривать в солнечный телескоп; состоит не из произведений искусств и художеств, а из произ-

---

[1] Тон делает музыку *(франц.)*.
[2] Я тебе наставлю рога *(франц.)*.
[3] Здесь — стать чьим-нибудь другом дома. *(франц.)*.
[4] Мелочей *(франц.)*.

ведений ремесленных. Таков век, по Сеньке и шапка, да еще и красная. Чаров употребил на реставрацию отеческого дома тысяч триста. Плафоны, карнизы, стены, все блистало, горело золотом, несмотря на то, что на весь этот блеск Крумбигель употребил только один пуд латуни.

Чаров жил в доме один: но ни в одном доме, набитом семьей, не было такой полноты и тесноты, когда хозяин был дома. Залы и гостиные пустели только во время его отсутствия; между тем в каждый миг дня кто-нибудь подъезжал к резным дверям, выкрашенным под бронзу, спрашивал: «Чаров дома?» — и вздыхал, когда отвечал швейцар: «Никак нет-с!» Но едва Чаров возвращался домой, усталый, одурелый или опьянелый, следом за ним откуда ни возьмется стая дышащих к нему страстной дружбой; так и валят один за одним, как на званый вечер.

— А! это ты? — говорил он первому приехавшему, зевая, отдуваясь или разглаживая распахнутую грудь,— как я устал! залягу спать!..

— Что ж, и прекрасно!

— У-урод! разумеется, прекрасно!

— А вечер, дома?

— Вечер? Что такое ввечеру сегодня?.. балет?.. да, балет.

— Так прощай, mon cher.

— Куда?

— Поеду к Комахину.

— Врешь! Сиди!.. Подайте ему сигару!..

И Чаров шел спать.

Первый посетитель, исполняя приказ Чарова сидеть, сидел, как дежурный, зевая, в ожидании других посетителей.

Ожидание было непродолжительно: первый стук экипажа по мостовой, верно, утихнет у подъезда дома Чарова. Смотришь, влетит в комнату на всех парусах какой-нибудь mannequin, только что ушедший из магазина француза портного, и проговорит автоматически:

— А! mon cher, что, Чаров дома?

— А! mon cher! дома.

— Eh bien [1], что, как?

— Где был?

— Черт знает где! фу, устал!

Третий, четвертый, пятый, десятый посетитель не спрашивал уже, дома ли хозяин, но спрашивал себе сигару. Гостиные наполнялись более и более дельным народом, образцовыми произведениями века и представителями его. Говор ужасный; рассказы, остроты, блеск ума, превыспренние суждения, политика, ха, ха, ха, и, словом, все роды звуков, которые издает звонкая голова.

Проснувшись, Чаров находит уже штаб свой готовым ко

[1] Ну *(франц.)*.

всем его распоряжениям, к дислокации около ломберных столов или к диспозиции похождений.

— Mon cher! Tcharoff! Что, спал, mon cher?

— Bête que tu est, mon cher [1], ты видишь, я зеваю спросонков? Что ж ты спрашиваешь? — отвечает Чаров, зевая, как ад, проходя без внимания мимо бросившихся навстречу, к толпе, окружающей оратора.— Что это? Какая-нибудь новая эпиграмма? Аносов, повтори вчерашнюю... как бишь?

— Ну, что,— отвечал Аносов, молодой поэт высшего тона.

— Да ну же, когда говорят, так повторяй; ты на то поэт, ска-а-тина!..

Жестокое приказание поддерживается в угождение Чарову общей просьбой.

— Повторяй, Аносов!.. C'est dèlicieux! [2]

— Как, как? — спрашивает Чаров, прислушиваясь к шепелявому языку поэта,— как?.. и дураку... какая шапка не пристала?.. Повтори еще! Я выучу наизусть и буду читать в клубе.

— Как это можно! Ни за что!

— Ха, ска-а-тина! боится!..

— Кто со мной в оперу?

— Ты едешь?

— Едешь.

— А нас звала с тобой Людинская на вечер; ты дал слово.

— Не поеду я к этой дуре!.. Это милая дура; она только очень умно предложила мне быть у нее... Я приехал, и вообрази: вдруг посылает звать своего мужа и знакомит меня с своим мужем... Очень нужно мне знать, что у нее есть муж, какая-нибудь ска-а-тина.

— Да, таки скотина, просто дурак! представь себе, я ангажировал ее у Кемельских на польку-мазурку, а он вдруг говорит ей, при мне: поедем, Леля, я худо себя чувствую,— и она должна была против воли ехать.

— Так ты думаешь, что он приревновал, струсил тебя, у-урод!

— Ну, этого я не хочу на себя брать; но как будто жена сиделка у больного мужа!.. Она мила, но бесхарактерна: она не должна была ехать, давши мне слово!..

— Ска-а-тина,— проговорил Чаров, надев на голову шляпу и смотрясь в зеркало.— Ну, едим!.. Мне хочется поспеть к третьему действию.

В театре Чаров никогда не обращал внимания на то, что играют, и, может быть, хорошо иногда делал. Он смотрел на сцену тогда только, когда являлась какая-нибудь танцовщица в виде *парашюта* и кружилась pied en l'air [3]. Все остальное вре-

---

[1] Ну, и дурак ты, мой милый *(франц.)*.
[2] Это восхитительно *(франц.)*.
[3] В воздухе, не касаясь земли *(франц.)*.

мя, вылупив глаза в *лупу*, он, как астроном, направлял свой телескоп на созвездия лож и наблюдал, нет ли какой-нибудь новой планеты.

Из театра Чаров отправлялся чаще всего в клуб; но если где-нибудь был бал, Чарову из приличия невозможно было *не заехать* на бал; но он не был из числа полотеров, он всегда становился где-нибудь на юру залы, как наблюдатель смотрел в лица танцующих и беседующих пар и кощунствовал и над зародышами любви, и над созревшею любовью, и над всем, что сквозило сквозь рядно бального костюма.

— Ecoutez, messieurs [1],— говорил он толпе молодежи, которая всегда его окружала,— замучьте, пожалуйста, эту пристяжную... Дрянь! как она манерится... Allez, allez! [2] Не давайте ей отдыху! Ах, жаль, что нет арапника!.. Ecoutez, честное слово: замучить до полусмерти, слышите? а завтра поедем все с визитом; если застанем еще в живых, так, верно, в горячке, в бреду от счастия, что на балу она была интереснее всех, всех собой очаровала и ей не давали ни на минуту покоя...

Настроив молодежь на какую-нибудь выходку или сплетни, Чаров отправлялся к делу. Счастливый в картах, он был несчастлив в любви, несмотря на то что был богат и очень недурен собою. Один только раз в жизни и предалось было ему непокупное сердце, да и то случайно, в минуту отчаяния, когда страждущая от любви женщина готова броситься из огня в полымя или на нож хирурга, с мольбою, чтоб он вырезал ей больное сердце.

В миг упоения, предшествующий полному забвению чувств, в Чарове разыгралось не сердце, а самолюбие.

— Ска-а-тина этот Рамирский,— сказал он,— думал отбить у меня мою Мери!..

— Тогда я не была твоею, ему не у кого было отбивать моего сердца! — произнесла вспыхнув Мери Нильская, вольный казак после смерти дряхлого мужа, не испытавшая еще блага любви.

— Полно! терпеть не могу притворства, а письмо? помнишь, ты мне написала: cher ami... [3] не помню о чем-то... тьму нежностей!

— Нежностей? в то время? Я припоминаю, что я о чем-то просила; но обыкновенные дружеские выражения принимать за нежности! Это странно!

— Однако ж и Рамирский не хуже меня понял, и этого достаточно было ему, чтоб излечиться от глупости волочиться за женщиной, которая уже любит другого, бежать, провалиться сквозь землю...

---

[1] Послушайте, господа *(франц.)*.
[2] Ну же, ну *(франц.)*.
[3] Дорогой друг *(франц.)*.

— И он... он понял это письмо по вашему смыслу?.. вы показывали это письмо... ему... как доказательство моей любви!..— проговорила Нильская с чувством негодования.

— Что ж такое? Он, у-урод, простофиля, вдруг вздумал сондировать мои отношения с тобою; я, говорит, не могу понять этой женщины, кокетствует ли она со мною, как и со всеми, или в ней есть чувства; я, говорит, в нее страстно влюблен. Мне, право, стало жаль, что его сердечные волны бьются о камень; mon cher, я говорю, об этом надо было подумать пораньше: на твое предложение она тебе скажет: engagée, monsieur [1], и только.

— О, боже мой, не говорите мне больше, довольно!

— Это что такое, ma chère?..— спросил удивленный Чаров.

— Ничего; как было ничего, так и есть ничего! — отвечала Нильская, бросив на него взгляд презрения и удаляясь.

— Хм! Скажите, пожалуйста! — проговорил Чаров с холодной усмешкой,— с каким громом рушились нежные оковы любви! Верно, под старой кожей, ma chére, которую ты сбрасываешь, наросла новая.

Чаров без особенного горя отретировался от Нильской, которая, встретив в Рамирском человека по душе и по сердцу, но вдруг, без всякой видимой причины, оставленная им, хотела заглушить страдание апатическим чувством к искателю, выйти снова замуж и растратить душу на суету внешней жизни. Богатство Чарова могло очень хорошо способствовать этому решению, и в то же время самолюбие внушило ей мысль, что она в состоянии будет сделать из него порядочного человека.

Сердце Чарова стояло всегда около градуса замерзания, и потому он не сочувствовал и не понимал в других быстрых переходов от тридцати градусов жару на тридцать холоду; но все-таки рассердился.

— Что ты не в духе сегодня? — спросил его первый встречный приятель.

— Отстань, у-урод!..— отвечал он.— Я не в духе! напротив, меня задушила эта проклятая Нильская!.. Это просто нечистый дух, понтинское болото!.. тьфу! Я не советую никому сближаться с ней!.. Поедем к Танюше!

В таборах глубоко уважали Чарова; встречали как благодетеля и милостивца. Табор, который удостоивал он своими посещениями, считал это явлением самого *дывела*. По всей улице высыплет египетское племя, как сыпь.

Чаров велит хору грянуть: «Моя миленькая!», и весь хор, обступив его, так и взрывает звуки, так и взбрасывает, так и вскидывает голоса в перебой, в перерыв, в перелив,— кипит ключом.

---

[1] Занята, мосье *(франц.)*.

Чаров сидит безучастно, развалясь на креслах, зевает; или, соскучившись, начнет топотать ногами, крикнет: баста! и едет со свитой своей в клуб.

В клубе почет ему не хуже табора. Там игрокам без него грустно, зевакам скучно. Там он игрок *инфернальный*. Когда Чаров играет, тогда из самых отдаленных стран, из *лектюрной*, из *детской* — отвсюду бегут смотреть, даже из *каминной* поднимаются с своих обычных мест три вечных сидня и идут в infernale. Риск Чарова, что называется, благороден, счастье Чарову везет, как машина в 777 тысяч сил.

Когда какая-нибудь карта дерзнет ему проиграть, он преравнодушно оглашает ее *скотиной*, рвет и бросает под стол. Наказывая так беспощадно виновные карты, он как будто нагоняет страх и на все прочие. Редкая проиграет ему, разве по неосторожности, без всякого намерения проиграть. Но он на эту неумышленность не смотрел, как законы Дракона на неумышленных преступников.

Невозможно, чтоб в каком бы то ни было человеке не было ровно ничего хорошего. Именно в Чарове вся светская пошлость дошла до изящества; на его изнеженность, которая достигла высшей степени развития и обратилась в *разгильдяйность*, нельзя было равнодушно смотреть: надо было хохотать или беситься; но в образованном кругу хохотать можно, а выходить из себя неприлично. Чаров был циник высшего круга. Все, что аристократизировало, было с ним знакомо, следовательно и верхолетные (de haute volée) ученые и литераторы. Он бывал на их утрах, обедах и вечерах; смотрел, зевая и потягиваясь в креслах, на их прения, покуда шел шум, а драки еще нет. Но едва прения принимали вид боя и декламирующие руки начинали уподобляться воздымаемым мечам на поражение врага, Чаров, в подражание философу-собаке, хамкнет, и разъяренные спорщики, как будто по манию волшебного жезла, заливаются громким смехом.

Чаров особенно терпеть не мог греческих богов и философов, римских добродетелей и героев и современных апофеозов силы ума и учености, даже терпеть не мог Наполеона и Гегеля. Едва имя Гегеля начинало чересчур греметь: «Ска-а-тина, у-урод, колбаса немецкая ваш Гегель! Мочи нет надоел!» — восклицал Чаров.

Подобное громкое определение заключало спор и смиряло воюющие партии.

Мы упомянули уже, что Чаров для возбуждения деятельности своих чувств искал женщины энергической. Русские дамы не нравились ему, особенно после неудачного романа с Нильской. Он возненавидел их и называл русское женское сердце «сиднем»: само собою не двигается, а двигать — с места не сдвинешь.

Когда ему возражали и доказывали, что образованную, прекрасную русскую львицу теперь невозможно уже отличить от парижской, что русские дамы имеют особенную способность постигать всю ловкость, утонченность и изящество тона сен-жерменских салонов, что это им делает честь...

— А тебе удовольствие, ска-а-тина? Подайте же ему полу-шампанского да сигару внутреннего производства из тютюну!

— Браво, браво! Ха, ха, ха, ха,— и рукоплесканияповещали по всем комнатам остроту Чарова. Но он был равнодушен к славе своего ума и, нисколько не одушевляясь общим восторгом, продолжал спокойно речь свою об отвращении ко всему поддельному и заключал ее словами: «А я за всех твоих дам гроша не дам!»

Новый хохот и рукоплескания прерывали его; но он продолжал:

— А как же иначе, у-урод? а?.. Если б, например, я вздумал жениться... не для тебя, ска-атина... а для себя... Если б я вздумал жениться на светской, образованной, милой женщине, то, разумеется, женился бы на француженке, так ли?

— Так, так, уж, конечно, так,— кричали одни.

— Да отчего же не на русской, mon cher,— вопрошал кто-нибудь, привыкший к возражениям; потому что возражая на все, можно также прослыть человеком умным, понимающим вещи, словом, мыслителем.

— У-урод! ты ничего не понимаешь!.. оттого, ска-а-тина, что я не хочу видеть какую-нибудь рожицу, на которой оттиснута чужая образина.

— Впрочем, что ж особенного и во француженках?

— Как что? Cette grace, ce je ne sais quoi... [1] Словом... ты, кажется, видел француженку у Далина?

— Нет, не видал; говорят, что не дурна.

— Не дурна!.. Да вот как не дурна: я бы женился на ней, если б хоть на грош имел способности быть глупым мужем. Право! Я бы взял ее к себе, да она какая-то гадина, каналья: какой-то выродок, старообрядка, с какой-то национальной гордостью, свинья!

— Кто с национальной гордостью?..— спросил, подходя, один из большесветских юных мужей, во фраке с круглыми фалдами, в пестрой жилетке, вроде кофты.— Кто с национальной гордостью? Что за гордость национальная? Скажите, messieurs, какая быть может гордость национальная? Например, я...

— Например, ты...— начал было Чаров.

— Нет, mon cher, не шутя, ты о чем говорил? скажи, пожалуйста, о какой нации?

— Да дай договорить! у-урод!..— крикнул Чаров.

---

[1] Это грация, что-то непостижимое *(франц.)*.

— Ну, говори, говори!

— Я хотел сказать, прежде всего, что ты, братец, ска-а-тина! Не выслушаешь и врешь.

— Non, vous badinez! [1] ведь я не знал, о чем вы тут рассуждали; я сказал только свое мнение... например, французская нация...

— Да молчи! Я пошлю за полицией, чтоб тебе рот заткнули!

— Ну, ну, говори! Что ты хотел сказать?

— Ты знаешь француженку, что у Далина?

— Какую это француженку, что в кондитерской, у... Файе? ah, une très jolie brune!..[2] Представь себе...

— Иван! — крикнул Чаров,— беги в часть, скажи, что вот у него в трубе загорелось.

— Да я не понимаю, о ком ты говоришь? Какая француженка?.. Ах, та, та, что у Далина... Madame, madame...[3] Черт ее знает... Знаю, знаю... я спрашивал у него, он говорит, что она теперь у Туруцкого в компаньонках.

— У Туруцкого? — прервал франтик в очках хриплым стариковским голосом,— Туруцкий — холостяк.

— Ну, что ж такое?

— Как, что ж такое?

— Ну, конечно, что за беда?

— Вот забавно, старикашка древнее Москвы.

— Стало быть, он был на пиру, который давал Святослав?

— Не знаю, братец; надо справиться в новой поэме в лицах.

— Послушай, тебе кто говорил? Сам Далин?

— Что, mon cher?

— Mon cher, ты ска-а-тина, ничего не слушаешь!.. Тебе кто говорил про француженку? Далин?

— Далин, Далин; он сам мне говорил... именно, кажется, мне сам...

— Не может быть!

— Вот прекрасно, помилуй!

— Да врешь, братец, ты, ска-а-тина, все перепутал!

Интересуясь француженкой, Чаров отправился сам к Далину и вместе с ним, вы помните, к Саломее. Узнав про ее странное, несколько двусмысленное положение в доме Туруцкого, а вскоре потом, что она выходит за него замуж, Чаров так озлился на всех француженок, что всю ненависть свою к русским взвалил на них, называя безнравственными куклами, которые приезжают только развращать русские невинные и неопытные женские сердца, и не только женские, но и мужские и даже старческие.

---

[1] Нет, вы шутите *(франц.)*.
[2] Ах, очень красивая брюнетка *(франц.)*.
[3] Мадам, мадам *(франц.)*.

— Ты что-то вдруг, mon cher, переменил свое мнение о француженках?

— Ну, врешь, у-урод, я не меняю своих мнений, может быть пьяный говорил другое... Знаете, messieurs, что теперь вся аристократия Франции перенимает тон и манеры у русских дам, приезжающих в Париж, ей-богу!

— Вот видишь, ты спорил, mon cher, со мною; положим, что грация принадлежит француженкам; но... ce je ne sais quoi [1] принадлежит именно русским дамам.

— А что ты думаешь,— сказал Чаров,— не следуй они глупой французской моде ходить в лоскутьях и не называй себя «дамами», тогда бы это je ne sais quoi объяснилось, ну, что за нелепое название dame, dame, dame! Ну, что — «дам»?

— Браво, браво, Чаров!..

Вошедший человек с письмом помешал расхохотаться как следует.

— От кого? — спросил Чаров.

— С городской почты.

— А!.. Что за черт... monsieur... Чья это незнакомая женская рука?..— Чаров пробежал письмо и вдруг, вскочив с места, крикнул: — Карету! одеваться!

— Куда ты взбеленился?

— Нужно; дело, неотлагаемое дело.

— Да доиграй, братец, партию.

— Мечта! некогда!.. adieu, enfants de la patrie, le jour de la gloire est arrivé! [2]

И Чаров, откуда взялась прыть, побежал в свою уборную, потому что и у него была уборная, которая годилась бы любой даме. Тут было трюмо, тут было все, все роды несессеров.

— Одеваться! — повторил он, бросясь на кушетку и читая следующие строки, писанные по-французски:

«Вы встретили меня у господина Далина как жертву несчастия и предлагали кров и покровительство. Я колебалась принять ваше предложение, потому что боялась ожить душою: мне хотелось быть где-нибудь погребенной заживо, не в столице, а в деревне. Предложение господина Туруцкого было сходнее с моим желанием. Но судьба послала мне новую беду. Старик влюбился в меня без памяти, предложил мне свою руку. Я чувствовала, что этому больному добряку нужна не жена, а заботливая нянька. Мысль, что я могу успокоить, усладить его старость нежными заботами, соблазнила меня, увлекла мое пылкое сердце, склонное к добру. Я решилась. Но когда пришла торжественная минута, во мне не стало сил посвятить жизнь на то, чтоб лелеять и баюкать труп. Я заболела. И те-

---

[1] Что-то непостижимое *(франц.)*.

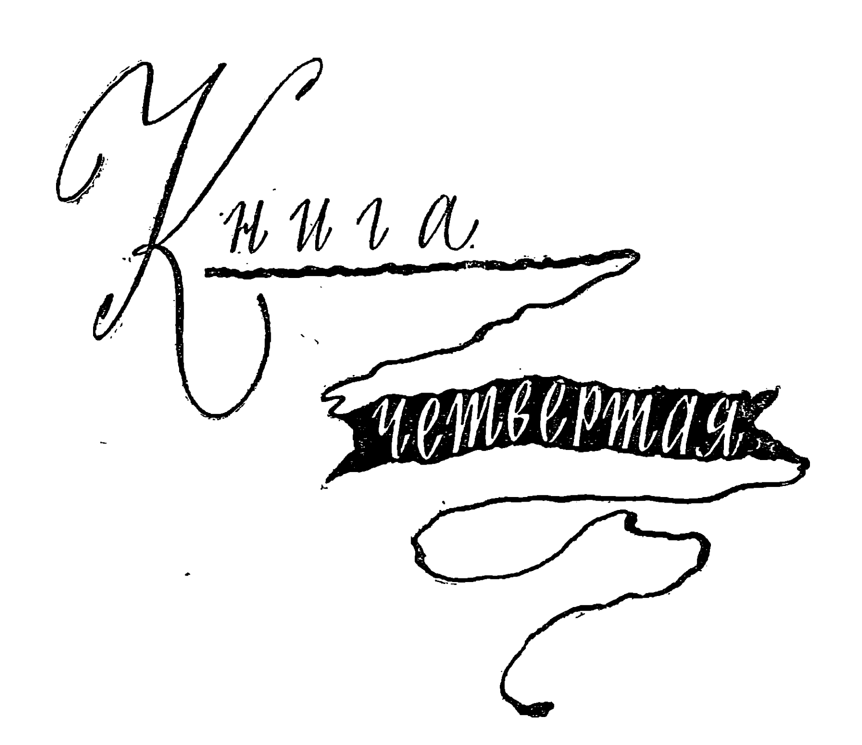
[2] «Прощайте, сыны отечества, день славы настал» *(франц.)* — первый стих марсельезы, в котором Чаров заменил лишь первое слово «идем» (allons) словом «прощайте» (adieu).

перь не знаю, что делать. Выведите меня из этого ужасного положения; приезжайте ко мне сейчас же по получении записки, мне необходимо с вами говорить... При первой встрече с вами я оценила вас...

Эрнестина»

— Эрнестина! Ах, какое имя! Эй! — крикнул Чаров.
— Чего изволите? — спросил вошедший камердинер.
— И я так худо понял ее!.. Ну, что ж, одеваться-то!
— Что изволите надеть?
— Ска-а-тина! карету скорей!..
— Карету подали-с.
— Шляпу!
— А одеваться-то-с?
— Пьфу, урод! Ничего не скажет! Давай.

Чаров, как ошалелый, торопясь влезть скорее в платье, то попадал не туда ногою, то рукою, разорвал несколько пар жилетов и фраков и, наконец, схватил шляпу и поскакал.


Книга
четвертая

Часть десятая

I

ак вот, брат, Борис Игнатьич, какой казус!

— Да, вот оно; поди-ко-сь, разбирай!

— Да!

— О-хо-хо!

— Ну, а он-то что?

— Он-то? постоял-постоял, да и пошел; а теперь и валандайся с ним.

— Ах ты, господи!.. Ну, а она-то что?

— А ей-то что? она ничего.

— Э, чу! — звонит барин.

— Слышу...

— Ступай!

— Так, брат, надоело ступать, что и не приведи господи... Что, кажется, за служба: «Эй! Борис!..» — «Что прикажете, ваше превосходительство?» — «Ну, что, как?» — «Да ничего, слава богу». А потом опять: «Эй, Борис! Ну, как, что?..» Вот-те и вся недолга. А поди-ко, вскочи с места раз сто в день, да столько же в ночь, да помайся маятником, так и узнаешь, как укатали бурку крутые сивки... пьфу! как укатали горку... Ну! замолола!.. Чего изволите?

— Что, как здоровье Эрнестины... Петровны?

— Я вам сейчас изволил докладывать... Ох, бишь, ваше превосходительство изволили спрашивать.

— Что спрашивать?

— Да о здоровье госпожи мадамы.

— Когда ж ты докладывал?

— Да вот, сейчас только.

— Сейчас!.. Ах, глупец!.. В час бог знает какие могут быть перемены! Поди!.. узнай... расспроси подробно... расспроси, как, что... да что ж доктор? а?

— Я докладывал, что Жюли говорит, что, дескать, вчера был их собственный доктор и прописал лекарство, порошки, а сегодня им неугодно доктора.

— Неугодно доктора?.. как же это можно!..

— Да так, верно просто нездоровы, а не то чтобы больны.

— Просто нездоровы! Ах, глупец!.. Ее надо уговорить... я ее уговорю... Это невозможно!.. Давай... ну!

— Что прикажете?

— Дай... руку... пойдем.

— К чему ж, ваше превосходительство, беспокоиться-то вам: ведь уж сколько раз вы вчера изволили беспокоиться, а она и принимать вас не хочет.

— Не хочет! Как не хочет?.. врешь! Не может принять: это дело другое.

— Я так и доложил.

— Врешь, не так. Поди, узнай: лучше ли; да скажи Жюли, чтоб она... уговорила ее... уговорила... понимаешь?.. что нельзя... лекарство необходимо... слышишь? лекарство необходимо!

— Слышу, ваше превосходительство; ведь я уж, как изволили приказывать, раза три говорил... какое три, раз пять говорил, а Жули говорит, что они не хотят, то есть не могут принимать лекарства.

— Не могут? как не могут? — проговорил с испугом Платон Васильевич, приподняв голову с подушки вольтеровских кресел...— Не могут! Что ж это значит?.. Что сделалось с ней?.. От меня, верно, скрывают опасность... верно, скрывают!..

— Кто ж скрывает, сударь! Я так точно, аккуратно докладывал, как все есть, без утайки. Что ж и таить-то: известно, что они не русские, так у них, стало быть, свои обычаи. Вот, ведь я по чести доложу вашему превосходительству, что сроду не видывал, чтоб какая-нибудь мадам лечилась. Примерно сказать, у Мускатовых была мадам: сроду не лечилась; да и больна-то никогда не бывала; да отчего и больной-то быть: кушают, так сказать, для виду, только слава, что кушают; а сидят всё дома, при детях; а на детей-то ветерок не пахни; так и простудиться-то нельзя...

Платон Васильевич смотрел на Бориса и, казалось, внимательно слушал его.

— А уж сами изволите знать,— продолжал Борис,— что все француженки на одну стать: здоровье-то и здоровьем нельзя назвать; а вся болезнь-то их — дурнота. Понюхают спирту — и прошло; не то, что у нас: уж если заболел, так и слег, а как слег, так не скоро подымешь...

Под говор Бориса Платон Васильевич забылся. Борис на цыпочках выбрался из спальни.

Только что Борис за дверь, вдруг снова колокольчик.

— Ах ты, господи! — проговорил Борис, воротившись в спальню.

— Что прикажете?

— Что, как?.. справлялся?

— Эх, ваше превосходительство,— заговорил Борис с досадой,— вот когда вы принимали пилюльки-то, так спокойнее и здоровее изволили быть; а как перестали принимать, так вот оно и не совсем хорошо, часто и не по себе. Ей-богу, изволили бы принять пилюльку, или за доктором бы послать, чтоб прописал свежих: те-то стали как сухой горох.

— Да, да, послать за доктором, послать скорей... она, должно быть, опасно больна!..

— Больна! — рассуждал Борис, выходя в переднюю,— видишь какую болезнь нагнала! Известное дело: просто раскапризилась... что-нибудь не по ней. А уж чего барин не накупил: одна шляпка с плюмажем чего стоит! двести рублей! Господи ты боже мой! Шляпка двести рублей! Пьфу!.. Платок — муха крылом пробьет, пятьсот рублей!.. Туфли — пятьдесят! Фу ты, пропасть! провались она сквозь землю! шпильки, булавки, все брильянтовые!.. Вот она, старость-то... Спустя лето в лес по малину!.. Ступай, брат Вася, к нашему доктору; скажи, что, дескать, барин оченно нездоров, так чтоб пожаловал скорее.

Покуда приехал доктор, Платон Васильевич успел раз десять взболтать в Борисе всю внутренность допросами о здоровье мадам Эрнестины.

— Божеское наказанье! Господи, когда это кончится! — взмолился Борис. Молитва его была услышана: только что он в двери, а доктор навстречу.

— Батюшка, Иван Федорович! — крикнул с радости Борис.

— Что барин? болен?

— Болен, сударь, верно.

— Опасно?

— А бог его знает, опасно ли, нет ли; обстоятельство-то такое, что бог его знает!.. Извольте посмотреть.

— Когда он заболел?

— Да вот уж давненько все так, не в себе, словно без памяти.

— Хм! Давненько! Для чего ж за мной тотчас не прислали?

— А каким же образом послать без господской воли? Прикажет, так и шлем.

— Что ж он теперь чувствует?

— А бог его знает... Тут ведь выходят такие обстоятельства... что не приходится говорить...

— Говори, говори.

— Ведь вам известно, чай, что у нас на пансионе мадам?

— Ну! — произнес доктор улыбнувшись,— так что ж такое?

— Хм! Как что? Ведь оно уж известно что...

— Что ж такое? говори.

— Известно, что барин вздумал на ней жениться.

— Неужели?

— Да-с, жениться; что ж бы, кажется, батюшка Иван Федорович, жениться не штука; да женись он на русской, так оно бы и ничего: знаешь, как за все приняться, и поговорить и объясниться можно; а то, сударь, вздумал жениться на француженке!.. Ну, признательно вам сказать, тут уж не до ладу, а как бы не до мату.

— Что ж такое сделалось?

— Что сделалось? оно, кажись, и ничего: все смирно, ни шуму, ни брани, тишина гробовая; да что ж из этого-то?.. Ты думаешь вдоль, а она поперек, ты так, а она так... и объяснения никакого нет!.. Будь она хоть мужичка, да русская, так и знал бы, как за нее взяться; а то... черт, прости господи, ее знает!.. Вчерась, примерно, назначили свадьбу; следовало бы уж в церковь ехать; а она, вдруг: «Ах! мне дурно! не могу!..» Ах ты, господи! Известное дело: какой невесте перед замужством дурно не бывает, а она: не могу, да и не могу! Вот тебе и раз!.. В церковь не поехала, барина к себе на глаза не пускает, больна не больна — уперлась, да и кончено; а барин-то... да извольте посмотреть, сами увидите. Такой стал, что жалостно взглянуть. Если бы еще пилюльки принимал, что вы изволили прописывать, так оно бы, может быть, и ничего; а то и на пилюльки смотреть не хочет. Говоришь, говоришь: ваше превосходительство! вы кушать-то кушаете, а пилюльки-то не принимаете; а еще сами изволили сказать, что желудок ваш не варит, а пилюльки-то способствуют сварению желудка,— куда!..

Доктор, считая необходимым знать обстоятельства, от которых проистекали недуги пациента, терпеливо выслушал Бориса и, наконец, вошел в спальню Платона Васильевича.

Платон Васильевич сидел в вольтеровских креслах в каком-то онемении, положив руки на бочки́. Он уже готов был взяться за колокольчик, когда вошел доктор.

— Борис! — начал было он,— ах, это вы, Иван Федорович! Что? были? Лучше?.. Прошла опасность?

— Здравствуйте, Платон Васильевич,— сказал доктор вместо ответа, садясь подле старика и всматриваясь в него.

— Прошла опасность? — повторил Платон Васильевич.

— Какая опасность?

— Стало быть, и не было опасности?

— Никакой... будьте спокойны.

— Ну, слава богу, слава богу!

— Вы несколько встревожены,— сказал доктор, взяв руку Платона Васильевича и щупая пульс.

— Очень натурально; нельзя же... Сон меня очень одолевает... Тут совсем бы не до спанья... а так и клонит...

— Это маленькая слабость. Я пропишу вам порошочки.

— Да, да, хорошо... крепительные... в мои лета не мешает подкрепиться иногда... мне же силы еще нужны...

— Конечно, конечно.

— Так никакой опасности нет, вы говорите?
— Ни малейшей.
— Слава богу; а меня так перепугало... Скажите, я по сию пору не понимаю, что за припадок... ведь это просто припадок был?
Доктор посмотрел на старика и отвечал:
— Да, просто припадок.
— Однако ж я боюсь, чтоб он не возвратился... Пожалуйста, Иван Федорович, вы побудьте при ней...
— А вот, я посмотрю ее,— сказал Иван Федорович, которого подстрекало любопытство взглянуть на невесту Платона Васильевича. «Старики,— думал он,— имеют вкус в выборе».
— Да, да, да, посмотрите,— сказал Платон Васильевич,— да придите сказать мне.
— Непременно.
И доктор, сопровождаемый Борисом, пошел в дом.
Подле подъезда стояла карета. Доктор не обратил на это внимания, но Борис спросил у кучера:
— Ты, брат, с кем приехал?
— Ни с кем.
— Как ни с кем?
— Да так, ни с кем.
— Да ты чей?
— Да ничей; экономической.
— Экая собака! Слова-то молвить добром не умеет! — сказал Борис сердито, торопясь за доктором, который, дорожа временем, ходил, всходил и нисходил не так, как те, которые растягивают свои шаги, слова и действия для сокращения времени.
— Пожалуйте сюда,— сказал Борис, отворяя двери, которые вели в комнаты, занимаемые Саломеей.
Доктор вошел.
Подле великолепного столика, уставленного всеми принадлежностями дамской канцелярии по департаменту сердечных сообщений, сидела дама в шляпке с пером, в бархатном бурнусе, перчатки на руках. По всему было видно, что она собралась уже куда-то ехать, но присела только затем, чтоб черкнуть коротенькую записочку — и марш по важному делу.
— Жюли!..— крикнула она, вложив записку в конверт и вставая с места.
Доктор поклонился ей.
— Что вам угодно?..— спросила она, несколько смутясь.
— Я доктор. Мосье Туруцкий просил меня посетить больную... можно к ней войти.
— Здесь никого нет, кроме меня, а я не нуждаюсь в докторе,— отвечала сухо Саломея.— Жюли, ты отдашь письмо господину Туруцкому. Проводи меня до кареты.
Поклонясь доктору, она вышла.

— Что ж это значит? — спросил изумленный доктор у Бориса.

— А бог ее знает, что! Изволите видеть сами? — отвечал Борис.— Вот она, француженка-то; изволите видеть? Делает, что хочет: здоровехонька, а говорит, что больна,— и ничего, как с гуся вода. Я говорил барину: какая, дескать, это болезнь, ваше превосходительство,— это просто причуда. Вот оно так и вышло. А барин с ума сходит, гоняет узнавать о здоровье. Ах ты, господи! Вот барыня-то!.. Жули! Куда ж это поскакала госпожа-то твоя?

— А я почему знаю! — отвечала Юлия, вбегая на лестницу,— она только велела мне отдать это письмо генералу и сдать ему все вещи в целости и сохранности.— На, отдай барину.

— Вот тебе раз!.. Это что за штука? — сказал Борис.

— Стало быть, она совсем уехала? — прибавил доктор.

— Да если бы совсем, черт с ней! Надо доложить барину...

— Постой, постой,— вскричал доктор,— это невозможно!.. Он не перенесет; надо его приготовить к этой неожиданности... Дай сюда письмо.

Слабо наложенная облатка сама собою отстала, и доктор прочел:

«Милостивый Государь! Благодарю вас за оказанное мне внимание и еще больше за честь, которую вы хотели мне сделать, предлагая мне супружество с вами. Но я не нахожу в себе довольно сил принять эту честь; а потому не могу долее и оставаться в вашем доме; тем более что это уже будет касаться до личной моей чести.

Эрнестина де Мильвуа

NB. Юлия вручит вам и деньги и вещи, которыми вы предлагали мне пользоваться».

— Это необыкновенная женщина! — вскричал доктор,— это редкий поступок! Иметь всю возможность воспользоваться безумием старика и не желать воспользоваться!..

— Что ж это такое, батюшка Иван Федорович? — спросил Борис.

— Она уехала совсем из дому,— отвечал доктор,— она благородно отказалась от предложения Платона Васильевича жениться на ней.

— Что вы говорите?

— По твоим рассказам, я бог знает за кого принял эту женщину, а теперь я видел и понимаю ее. Какая благородная гордость! какое достоинство и в поступке и в самой ее наружности!

— А кто ж ее знал, сударь; как отгадать: ведь не поймешь ее; явилась сюда бог знает откуда; смотрит свысока, словно настоящая госпожа, распоряжается и барином и всем барским... а тут вдруг: на! пьфу! черт с тобой! ничего мне не надо!.. Как тут понять-то что-нибудь?

— Нет, брат Борис; это скорее были причуды самого Платона Васильевича.

— А бог его знает! И его-то вот с некоторой поры не поймешь: все пошло у него на иностранный манер.

— Послушай же, Борис; ты не проговорись Платону Васильевичу, что она уехала, избави боже! Он не в таком положении. Я его подготовлю к этой новости: иначе он не перенесет.

— Слушаю, сударь; мне что говорить.

Доктор пошел к старику, который, казалось, дремал и старался переломить дремоту.

— Что? как здоровье Саломеи Петровны? — спросил он.

«Он в бреду»,— подумал доктор.— Ей лучше; но нужно, чтоб никто не беспокоил ее.

— Слава богу!.. А я могу теперь навестить ее?

— О нет! невозможно: это взволнует ее, и припадок может возобновиться.

— Припадок? У ней припадки?.. Ах, боже мой, что ж это мне не сказали? Какие припадки?..

— Нервические; это, впрочем, ничего.

— Может быть, от горьких воспоминаний... потеря родителей... и другие несчастия; она много перенесла несчастий!.. Я это все знаю, хоть она и старается скрывать... я все знаю!

— Вы засните, Платон Васильевич, не принуждайте себя бодриться: это не хорошо, это вас расслабит... Вот вам, через час по порошку... Вы теперь прилягте...

— Прилягу, прилягу... теперь я спокойнее,—отвечал Платон Васильевич.

Доктор прописал рецепт, наставил Бориса, когда и как давать лекарство барину, и уехал.

Платон Васильевич прилег; казалось, уснул..

— Слава тебе, господи! — сказал Борис, выходя.

Но вдруг снова звонок.

— Ах ты, господи! Что еще там? — крикнул опять Борис.— Чего изволите?

— Борис!.. Что? Как здоровье Эрнестины Петровны?

— Да ведь сам доктор сказал вашему превосходительству, что гораздо лучше.

— Лучше? Ну, слава богу!..— проговорил Платон Васильевич,— слава богу!..— повторил он,— я усну... истомился немножко. А ты, Борис, наведайся... и чуть что-нибудь — тотчас же разбуди меня... слышишь? Тотчас же!

— Слышу, сударь.

— То-то.

Проговорив это, Платон Васильевич в самом деле уснул крепким сном.

— Слава богу! — повторил опять и Борис,— сосну и я... мочи нет!.. Ну уж, была тревога!.. Экая вещь! Смотри, пожалуй, в генеральши не пошла!.. Вот казус! Гордыня какая!

Пава!.. Добро бы госпожа была... а то что?.. Ну, да черт с ней!.. и генералу спокойнее будет; да и мне... а то, поди, бегай да докладывай... что? как?..

Рассуждая таким образом, Борис, в надежде, что избавился от хлопот справляться о здоровье мадамы, сладко задремал, еще слаще заснул; вдруг — динь-динь-динь!

— Ах ты, господи! Что там еще?..— Чего изволите?

— Борис! Что? как здоровье?..— проговорил Платон Васильевич, приподнимая голову.

— Владыко ты мой, царь небесный!.. Да долго ли это будет!.. Да помилуйте, долго ли это будет? — повторял он на другой день, на третий, на четвертый, на пятый, на десятый, доктору,— долго ли мы будем обманывать барина?

— Что ж делать, любезный! На этом обмане висит его жизнь, как на волоске.

— Ох, уж вы, господа! — проговорил Борис с сердцем.

— Ну, скажи ему, убей его,— сказал доктор.

— Господи, да что вы это! Что я за злодей своему барину!.. Мне что: пилюли-то давать через час, не легче, все равно десять раз барин спросит: «Не пора ли?» — да десять раз сам побежишь посмотреть на часы... Что ж будешь делать: наше дело холопское; благо уж теперь в дом-то тысячу раз на день не побежишь справляться, здорова ли. Позвонит барин, спросит: что? как?.. Ну, сказал, что лучше, дескать, ваше превосходительство, да и кончено.

— То-то же, сам ты умная голова, да и сердце-то у тебя доброе,— сказал доктор.

— А с чего ж ему и злым-то быть? ведь что ж, если подумаешь: все люди, все человеки... прости, господи, согрешения вольные и невольные.

Этим здравым рассуждением кончились жалобы Бориса на тяготу докладывать барину тысячу раз на день об одном и том же. Ему стоило только понять, что для здоровья Платона Васильевича звуки: «Слава богу, получше» — заменяли самые благотворные пилюли.

Таким образом, предоставив Платона Васильевича заботам и попечению искусного доктора и верного слуги, мы обратимся к Чарову.

II

На другой день после полученного от Эрнестины де Мильвуа пригласительного письма знакомые и приятели Чарова выбили всю мостовую у подъезда его дома, поминутно останавливаясь с вопросом: а что, дома Чаров? — «Никак нет-с!» — отвечал всем швейцар. На третий день этот ответ заменился более положительным: «не принимает-с, нездоровы».

— Что с ним сделалось?

— Не могу знать-с.

Прошло несколько дней. Дом Чарова как будто обратился в кокон червя в человеческом образе.

Посмотрим, как он там изменяется в бабочку.

Вот он в кабинете, развалился на диване и жжет сигару. Не в духе. Но язык его как-будто развязался, во всех членах какое-то движение, глаза смотрят не наружу, а внутрь.

— У у-родина! — бормочет он сердито,— навязал себе на шею воплощенную добродетель!.. Недотрога, sensitive [1] проклятая!..

В гостиной послышался звук рояля. Меланхолические аккорды как будто потрясли душу Чарова. Он вскочил, бросился из кабинета прямо в гостиную к роялю.

— Эрнестина! Ange!.. [2] помиримся!

— Я с вами не ссорилась; к чему же мир?

— Ты такая странная!.. Голова идет кругом! Знаешь что? Поедем прогуляться со мной, в кабриолете, за город.

— Это что значит? Мне, ехать с вами?

— Ну да, ну что ж такое?

— Нет!

— Черт!..— проговорил Чаров отвернувшись,— это невыносимо!

— Точно невыносимо,— отвечала, вставая с места, Саломея,— и потому мы лучше расстанемся.

— Ни-ни-ни!.. Не сердись! Прости меня, не буду!.. Ну, embrasse! [3]

Саломея презрительно покачала головой.

— Если любишь?

— Вы прежде взвесьте свои собственные чувства, что они в состоянии сделать для того, кого любят.

— Я? я все в состоянии сделать для тебя; все, что только хочешь: говори, приказывай.

— Приказывай! приказывают рабу. Вы не раб мой; но и я не буду наемной вашей рабыней!

— А! Так вам угодно... понимаю...

— Ничего, ровно ничего мне не угодно!.. Я в вас ошиблась и вижу, что вы еще ребенок, для которого каждая женщина кукла!.. Позвольте мне послать вашего человека.

— Куда-с?

— Нанять мне дом.

— Дом? Вам угодно меня оставить?

— Непременно!

— Нет-с, я вас не выпущу отсюда!

— Хм! — произнесла Саломея с презрительной улыбкой.

---

[1] Недотрога *(франц.)*.
[2] Ангел *(франц.)*.
[3] Обними *(франц.)*.

— Не выпущу — и кончено!

— Странно! Кажется, я свободна, не жена ваша, чтоб позволить вам так располагать мною!

— Эрнестина!

— Monsieur!

— Фу, демон какой! — проговорил Чаров по-русски, заходив по комнате.

— Я повторяю вам мою просьбу,— сказала Саломея.

— Какую-с?

— Я не желаю здесь оставаться...

— А я желаю. Я женюсь на вас.

— Я не могу переносить ваших шуток, увольте меня от них!.. О, какое несчастное создание женщина!..

Саломея бросилась на диван и закрыла глаза платком.

— Ну, виноват, виноват! — вскричал Чаров, припав перед ней и схватив ее руку.

— Оставьте меня, сударь!

— Эрнестина!.. я, право, не понимаю тебя: чего же ты хочешь?.. Предлагаю все, что угодно, предлагаю себя... На, возьми!

— Мне ничего не нужно!

— Но я не могу без тебя жить... как хочешь, не могу!.. Мне, черт знает, все надоело!.. Только ты одна нужна мне...

— Позвольте, оставьте меня!.. Я не могу быть жертвой вашей прихоти...

— Ну, убей меня, а потом иди куда хочешь!.. Живой Чаров не пустит тебя от себя ни шагу!.. Слышишь?.. Ну, дай мне руку, дай, Эрнестина!

— Вы оскорбляете меня! вы злобно смеетесь надо мной!.. Вы думаете, что меня льстит ваше богатство?

— Ничего не думаю, ей-богу ничего. Мне только нужна твоя любовь, любовь твоя.

— Любовь покупается только любовью.

— Но ведь я люблю тебя.

— Это любовь! — проговорила Саломея с усмешкой.

— Да какую же еще любовь тебе нужно?.. Черт знает, право, женщины что-то воображают себе сверхъестественное в этой любви... Какая-то фантазия в голове; ну, не понимаю! Как тут понять?

— Кто не способен любить, тот и не способен понимать любви... Для вас нужна не любовь, а женщина... и все женщины для вас равны. Вы привыкли только утолять свои чувства, привыкли покупать наслаждение... Вы не способны любить!

— Я не способен любить?.. Нет, я прошу вас это доказать! — вскричал Чаров, вскочив с полу и заходив взад и вперед.

— Доказать! Любовь не требует доказательств,— проговорила спокойно Саломея.

— Ah, Dieu! — вскричал снова Чаров исступленно, остановясь перед Саломеей,— если я буду угождать женщине, ухаживать за ней, ни о чем не думать кроме ее,— что это значит?

— Волокитство,— отвечала Саломея равнодушно.

— Если я отдам ей все, что у меня есть,— что это будет значить?

— Это будет значить, что вы думаете купить ее любовь ценою вашего состояния.

— Только? А если я буду считать ее божеством, истязаться, исполнять все женские ее причуды? Что это будет значить?

— Вашу собственную, мужскую причуду.

— Больше ничего?

— Ничего.

— А если я предложу ей себя, свое имя, все, все, все, душу, жизнь... Ну, еще что?

— И все это будет значить, что вы хотите добиться только до права сказать бедной женщине: «Ступай! довольно! надоела!»

— Ууу! — вскрикнул Чаров, схватив себя за волосы и бросясь на диван ничком.

Молчание продолжалось несколько минут.

— Что ж, продолжайте ваши доказательства любви,— сказала Саломея насмешливым голосом.

— Довольно! — крикнул Чаров, вскочив с дивана.

Саломея вздрогнула.

— Grégoire! [1] —произнесла она тихим, смягченным голосом.

Чаров не отвечал. С какою-то стоическою твердостью он взял сигару, закурил и стал против окна.

— Теперь, я думаю, вы поняли себя и как отзываются в вас мои слова и чувства,— проговорила Саломея обиженным тоном, вставая с места,— теперь вы, надеюсь, позволите исполнить мое желание.

Ни слова не отвечая, Чаров продолжал смотреть в окно.

— Я вас просила позволить мне послать человека нанять мне дом.

— Извините, у меня нет человека для подобных рассылок.

— В таком случае... я обойдусь и без этого одолжения...

И Саломея вышла из гостиной.

Чаров пошел следом за ней в уборную.

Торопливо надела она шляпку, накинула на себя бурнус.

— Эрнестина! — вскричал Чаров, схватив ее за руку.

— Позвольте мне идти?

— Ни за что!.. Ты моя!..

— Я не ваша!

— Моя, во что бы ни стало!.. Ну, помиримся.

---

[1] Григорий! *(франц.)*.

— Я не ссорилась.

— Ну, повтори, как ты меня назвала, повтори тем же голосом: Grégoire!

— К чему это?

— Ну, повтори, умоляю тебя.

— Довольно того, что я один раз забылась!

— Какая ты странная: сомневаться в моей любви!.. Послушай! я не люблю долго думать; завтра же мы едем в деревню.

— Для чего?

— Для чего!..— проговорил Чаров, смотря страстно Саломее в глаза и целуя ее руку,— для того, чтоб ты не сказала, что тебе неприлично ездить со мной прогуливаться.

— Grégoire,— произнесла нежно Саломея,— велите запрягать кабриолет.

— Для чего? — спросил и Чаров в свою очередь.

— Поедем в парк; мне нужен воздух; у меня болит голова.

— Эрнестина! — вскрикнул в восторге Чаров.

Известно, что в природе все, что живет, что молодо, то растет; что в зрелом возрасте, то *добреет*. Москва по сию пору растет и добреет, хоть некоторые приращения и похожи на tubercule [1], грибы и тому подобные наросты, неизбежные при сгущении и застое соков. Например, давно ли еще между Тверской заставой и Петровским дворцом было чистое поле, и вдруг, посмотрите, как парк прирос к Москве.

Летом в городе душно, жарко, невыносимо. Пойдем подышать свежим деревенским воздухом, пойдем от пылу страстей подышать прохладой благодати. Да ты, душа моя, не утомишься ли от похода за деревенским воздухом? Ведь он теперь за тридевять поприщ от города: десять поприщ надо пройти по раскаленной каменке, да три в вихре пыли от тысячи колесниц, наполненных *легкими*, жаждущими свободного дыхания. Где ж деревенский-то воздух? В Сокольниках? что-то пахнет лазаретом. В Останкине? в Кунцове? в Петровском-Разумовском? что-то пахнет городом. Здесь еще не ходи нараспашку, душа моя, не раскидывайся на лужок: неприлично, лужков мять не приказано: читала ты, что на доске написано? Здесь не деревня, а дача. До деревни к восходу солнца не дойдешь, а нам к закату надо уж дома быть. Устала? Не ходить было из огня в полымя. Зато будет что порассказать.

Экипажей-то, экипажей! народу тьма-тьмущая! а пыль-то, пыль, господи! Дохнуть нельзя; родного перед носом в лицо не узнаешь!.. И музыка была, трубили, трубили... а как пошел дождь — ну, барыни-то все с славной фалбарой домой поехали!.. хохочут, и мы хохочем.

А какая пыль от Тверских ворот до парка и в парке. Вот пыль! такой пыли нигде нет, разве в Сахаре, когда поднимется

[1] Бугорки *(франц.)*.

самум. И что за роскошная картина смотреть вдоль шоссе на заходящее солнце: точно в Питер катит на паровозе, само воду в котле кипятит, раскалилось, как уголь, мчится себе, а следом огненная туча.

В один прекрасный вечер число пользующихся пылью парка было необыкновенно велико. Два ряда экипажей тянулись мимо воксала. Там раздавались песни цыган. Около перил, по тротуару, толкалась публика; преклонные лета сидели на скамьях и стульях под деревьями; цветущее юношество болтало. Иной мудрец сказал бы, что все это глупость, безобразие, и в справедливом гневе отправил бы публику, гуляющую под самумом Сахары, за лунный хребет на съедение африканским львам, тиграм и шакалам; но странен мудрец, который ропщет на *большой свет*. Где ж меньше простоты и больше мудрости, как не в большом свете?

Вот едущая публика глазеет на идущую, идущая на едущую, и удивляются друг на друга: для чего одна едет, а другая идет? Это удивление продолжалось бы непрерывно до окончания гулянья; но вдруг в ряду экипажей явилась неожиданность: конь мчит одноколку, в одноколке Чаров, с Чаровым дама, на даме шляпка, на шляпке вуаль.

Это так поразило многих, что многие остановились, а за многими и все.

— Чаров! Чаров! — раздалось беглым огнем по стезе гуляющих.

— С кем это он?

— Кто это такая дама?

— Что за чудеса! Чаров с дамой!

— Странно! Это, кажется... да нет, совсем нет!

— Regardez, mon cher [1], ведь это Чаров!

— Вижу.

— Экой шут! Кого это он посадил с собой?

— Понять не могу!

— Bonjour, Чаров! Bonjour, mon cher! Soyez heureux, mais ne m'oubliez pas [2].

— Bonjour, ска-а-тина!

— Что это вы кричите! — проговорила Саломея вспыхнув,— я не могу слышать этого!

— Виноват, ma chère! право, ведь это в самом деле ска-а-тина. Я ему дам такую oubliez [3] в рожу, что он будет знать.

— Хороши у вас приятели!

— Что ж делать: все избранная, образованная молодежь.

— Это кто такая дама, которая не отвечает на ваш поклон?

---

[1] Смотрите, мой милый *(франц.)*.

[2] Здравствуйте Чаров, добрый день, милый! Будьте счастливы да не забывайте меня *(франц.)*.

[3] Забывайте *(франц.)*.

— Это Нильская; она без памяти влюблена в меня и надеялась выйти замуж. Мне очень приятно ее побесить... Что ты, ma chère, закрылась вуалью? откинь, пожалуйста.

— Вот прекрасно! приятно дышать пылью.

— Ну, пожалуйста, сделай одолжение; посмотри, все без вуали.

— Мне до других дела нет; притом же я сюда приехала не напоказ!

— Ах, какая ты! Ну, сделай милость, откинь вуаль!

— Сделайте милость, поедемте назад!

— Вот забавно!

— Я вас прошу; я не могу выносить ни этой толпы, ни этой пыли.

— Нет, уж как хочешь, мы объедем несколько раз круг.

— Надеюсь, что вы насильно не будете меня возить.

— Ну, только один раз проедем парк.

— Если вам угодно; но это будет и первый и последний раз.

— Ах, какая ты несносная, Эрнестина! — крикнул Чаров с досадой, остановив вдруг лошадь и поворачивая назад, но так неосторожно, что дышло ехавшего позади экипажа ударило в кабриолет; лежачая рессора, несмотря на то, что на ней был английский штемпель, лопнула. Саломея вскрикнула, Чаров потерялся, испуганная лошадь взбеленилась, но, к счастию, какой-то мужчина, проходивший мимо, остановил ее и помог Саломее выйти из кабриолета.

— Чаров! вот не ожидал! — сказал он.

— Ах, Карачеев!.. это ты? Вот спасительная встреча!.. Перепугалась, ma chère?

— Ничего,— отвечала тревожно Саломея.

— Вот беда! как же тут быть? кабриолет сломан. У тебя здесь есть экипаж, mon cher?

— Я здесь живу на даче. Зайдите ко мне, отсюда недалеко; а между тем я велю заложить коляску... Вам же необходимо успокоиться от испугу,— прибавил Карачеев, обращаясь к Саломее.

Она кивнула головой в знак благодарности за участие; а Чаров, отдавая жокею лошадь, вскричал:

— И прекрасно! таким благодеянием нельзя не воспользоваться. Так пойдемте.

— Кто эта дама? — спросил Карачеев Чарова на ухо.

— Это... мадам де Мильвуа,— отвечал Чаров, подавая руку Саломее.

«Что за мадам де Мильвуа,— подумал Карачеев, всматриваясь в черты Саломеи, сколько позволяла прозрачность вуали. Черты как будто знакомы; но когда, где видал, он не мог припомнить.— Чудак! Верно, какая-нибудь актриса!»

Почти молча подошли они к даче.

— Вот мой эрмитаж,— сказал Карачеев.— А вот мой наследник,— продолжал он, подходя к палисаднику прекрасного домика, где на крыльце сидела кормилица с ребенком на руках.— Каков молодец?

— Славный, славный! Я также хочу позаботиться о наследнике,— сказал Чаров.

— Хм! Вы еще не женаты? — спросил Карачеев.

— Думаю скоро жениться.

Саломея отвернулась в сторону и прошла, не обратив ни малейшего внимания на ребенка.

— Madame! — проговорил Карачеев довольно сухо, досадуя на себя, что пригласил бог знает кого.— А где Катерина Петровна?

— Верно, в саду,— отвечала кормилица.

— Пожалуйста, стакан воды, мне дурно,— сказала Саломея Чарову, входя в залу и садясь на соломенный стулик.

— Сейчас я прикажу,— сказал Карачеев,— но вам здесь неудобно; не угодно ли сюда, в диванную... Тут вас никто не будет беспокоить.

— Отдохни, ma chère,— сказал Чаров, проводив Саломею в боковую комнату.

— Пожалуйста, скорей домой!.. Какая здесь духота!..— проговорила она утомленным голосом, припав на диван и откинув вуаль.

Между тем из саду вбежала в залу молоденькая женщина, хорошенькая собою, с простодушным веселым лицом.

— Как ты скоро воротился,— сказала она, взяв за руку Карачеева и приклонив голову к его плечу,— я думала, что ты будешь гулять до самого чаю.

— Я так и думал,— отвечал он, обнимая ее.

— Я рада, что ты пришел; maman такая грустная, разговорилась о прошлом, вспомнила о сестрице...

— Постой, Катенька; надо велеть запречь скорее коляску..

— Зачем?

— С одним моим знакомым в парке случилась беда, сломался экипаж... Он с какой-то дамой; я пригласил их к нам и обещал коляску доехать до Москвы.

— А где ж они?

— В диванной.

— А кто такие?

— Позволь, друг мой, я сейчас приду...

— Да скажи прежде.

— Ах, какая ты!.. Один петербургский знакомец, Чаров.

— Постой же, я прикажу.

— Нет, нет, я сам; а ты вели подать этой даме воды. Она немного перепугалась, ей дурно.

— Ах, боже мой, дурно! Что ж ты не сказал давно!

И молоденькая женщина бросилась было по порыву доброго чувства в диванную.

— Постой, постой, Катенька, не ходи... Черт знает, кто она такая... может быть, какая-нибудь дрянь... Ведь этот Чаров беспутная голова.

— Mon cher, нет ли сигары? Да воды бы скорей... Ах, извините! — сказал Чаров, выходя из боковой комнаты и увидя даму.

— Сейчас, сейчас, велел подать,— отвечал Карачеев.— Катенька, это мосье Чаров. Рекомендую вам мою жену.

— С вами случилось несчастие?—приветливо спросила она.

— Дышлом разбило кабриолет и чуть-чуть не убило мою даму,— отвечал Чаров.

— Ах, боже мой! Где ж она?

— А вот здесь.

— Не нужно ли ей чего-нибудь? спирту или одеколону?

— Воды, если можно.

— Воды? сейчас!

И миленькая хозяйка побежала сама за водой. Возвратясь с стаканом, она вошла в диванную.

Чаров вышел осмотреть разбитый свой кабриолет.

Саломея была одна в комнате; запрокинув голову на спинку дивана и свесив руки, она лежала в каком-то изнеможении.

— Вам дурно,— проговорила молоденькая хозяйка, подходя к ней осторожно.

— О боже мой! Катя! — вскрикнула Саломея, приподняв голову и взглянув на нее.

Все члены ее затрепетали.

— Сестрица! — вскричала и молоденькая дама.— Сестрица!

И она радостно бросилась было к Саломее, но Саломея удержала этот порыв, схватив ее за руку.

— Молчи! — проговорила она шепотом, но повелительно.

— Сестрица! — невольно повторила испуганная Катенька.

— Молчи, безумная!.. О, она меня погубит!.. молчи!.. Поди прочь!.. И никому ни слова, что я здесь, что ты меня видела!..

Катенька, сложив руки, стояла перед сестрой, не знала, что говорить, что делать. На глазах ее навернулись слезы.

— Поди, поди! Или ты меня погубишь! — повторила Саломея вне себя, задушив голос свой,— и ни слова обо мне, слышишь?..

— Сестрица... маменька здесь,— произнесла Катенька, отступив от нее.

— О, какая мука! она меня убьет!

— Сейчас коляска будет готова,— раздался в зале голос Карачеева.

— Ты слышала, что я тебе говорю! — прошептала Саломея исступленно, бросив страшный взгляд на сестру.

Катенька вздрогнула и вышла из комнаты бледная, встревоженная.

— Что с тобой, друг мой, Катенька? — спросил ее муж, заметив что-то необыкновенное во взглядах и движениях.

— Я... перепугалась,— проговорила она тихо, дрожащим голосом...

— Чего ты перепугалась?

— Она... ей дурно!..

— О боже мой! кто тебя просил входить туда! Что за заботливость бог знает о ком! Какая-то мерзавка, а ты ухаживаешь!..

— Ах, боже мой, как тебе не стыдно... так бранить... мою... сестру,— хотела сказать Катенька, но опомнилась, и у нее брызнули из глаз слезы.

— Да что с тобой, душа моя? — повторил Карачеев, обняв ее.— Чего тебе пугаться?..

— Сама... не знаю... я вошла, а она вдруг вскрикнула; я так и затряслась...

— Дрянь эта перепугала ее!..

— Ах, полно!.. Пойдем... она услышит.

— Вот беда!.. Ты знаешь ли, кто она?

— Ах, не говори...

— Да ты почему же знаешь эту француженку?

— Какую француженку?..

— Вот эту...

— Я ее не знаю...

— Да, это какая-то француженка... Жокей Чарова сказал мне, что она за птица... Вот пригласил!

— Ах... перестань!.. maman идет...

— Что ж за беда?

— Я боюсь... чтоб и она не перепугалась... пожалуйста, не впускай ее к ней...

— Да что ты, Катя, с ума, что ли, сошла?

Катенька бросилась навстречу матери.

— Пойдемте, маменька...

— Постой. Где эта дама? Мне сказала кормилица, что лошади разбили экипаж, ушибли какую-то даму и что она у нас...

— Нет, маменька, нет, не ушибли... у ней так, дурнота только... припадок... пожалуйста, не входите туда...

— Что ты меня держишь! Ах, боже мой, верно до смерти убили!

— Нет, не беспокойтесь, особенного ничего,— сказал Карачеев,— дышлом разбило кабриолет одного моего знакомого... Повеса ужасный! вообразите, приехал на гулянье с какой-то француженкой...

— С француженкой? Ах, бедная! Где она? я хочу ее видеть.

— Маменька! — проговорила Катенька, едва переводя дух от ужасу.

— Да пусти меня! Вы что-то от меня скрываете!..— сказала Софья Васильевна и хотела уже войти в диванную, но дикий крик дочери остановил ее.

Катенька упала на руки к мужу; перепуганная мать бросилась к ней.

— Боже мой, что с ней сделалось? — повторял Карачеев.

— Маменька... душенька,— произнесла Катенька, схватив руку матери,— дайте мне руку... дурно!

— Что с тобой, Катя?

— Не знаю сама... боль страшная... доведите меня в спальню...

— Пошлите скорее за доктором! — сказала Софья Васильевна, придерживая дочь.

— О боже, боже, ее как будто сглазила эта проклятая!.. Скорей отправить их и сказать, чтоб коляска заехала за доктором.

И Карачеев побежал сам в конюшню.

Между тем Саломея, припав лицом к шитой подушке дивана, судорожно вздрагивала, и взволнованная грудь ее издавала глухой стон.

Вдруг раздался в зале голос Софьи Васильевны и болезненное восклицание сестры.

Саломея вскочила с ужасом, бросилась к двери, но как будто полымя обожгло ее, и она, окинув испуганным блуждающим взором комнату, выпрыгнула в открытое окно, под навес крыльца, и сбежала на дорожку будущей аллеи, которую покуда заменяли тумбы и зеленые столбики огородки тротуаров. Удаляясь от гуляющих в сторону, она скоро очутилась около пруда и, утомленная, бросилась на скамью.

Осмотревшись кругом с боязнию и не видя никого, она свободно перевела дыхание.

За деревьями вдруг послышались голоса. Саломея вздрогнула, хотела снова бежать; но это были двое молодых людей. Она успокоилась и склонила голову на руку.

— Уединение от печали,— сказал один из них, проходя мимо ее.

— Нет, это, кажется, печаль от уединения,— сказал другой.— Ступай, пожалуйста, убирайся от меня.

— Ну полно, оставь; это что-то порядочное.

— Тем лучше; мне и хочется чего-нибудь comme il faut[1]. Ступай, ступай, mon cher.

— Дудки, любезный! — сказал первый, удаляясь.

Оставшийся молодой человек, очень приятной наружности, но с плутовскими глазами, подсел к Саломее.

— Как приятно уединение,— сказал он, вздохнув,— ах, как приятно!

---

[1] Порядочного (*франц.*).

Саломея приподняла голову, взглянула на молодого человека, и дух ее замер.

— Георгий! — проговорила она; но без звуку, так тихо, что, казалось, только дыхание ее разрешилось этим именем.

— Но совершенное уединение — несчастие,— сказал молодой человек, как будто сам себе, бросив на Саломею страстный взор.

— Георгий! — повторила Саломея столь же тихо,— «и это он!»

— Вы позволите мне разделить с вами здесь уединение? — спросил молодой человек, обращаясь к ней.

«О, какие скверные мужчины, даже в эти лета! и это он!» — подумала Саломея, удаляясь.

— Куда вы бежите от меня? Чего вы испугались?

Саломея пошла по дорожке, выходящей на шоссе.

Молодой человек следовал за ней.

— Барыня, а барыня! подавать, что ли? — крикнул с шоссе извозчик Ванька, приостановив свою клячу.— Ась? извольте садиться!

Кровь закипела в Саломее.

— Боже,— проговорила она сама себе,— что мне делать! куда я пойду!

— Что ж, барыня?—повторил извозчик,— подавать, что ль?

Саломея остановилась в отчаянии.

— Вы, кажется, заблудились? — сказал молодой человек, подходя к ней,— позвольте вас проводить?

— Georges! — вскричала Саломея вне себя.

Молодой человек вспыхнул, оробел от недоумения.

«Кто это такая? — подумал он,— она меня знает!»

— Georges!..— повторила Саломея смягченным голосом, откинув вуаль,— не стыдно ли тебе!

— Это вы, вы! — вскричал молодой человек, бросаясь к ней.

— Это я... Какая встреча!.. Как ты переменился!..— сказала взволнованная Саломея. И она забылась, обняла юношу, того самого Георгия, которого хотела образовать в пример всем мужчинам.

«О милый друг! Теперь с тобою радость;
А я один — и мой печален путь...» —

раздался голос товарища из-за куста.

— Ах, пусти! — проговорила Саломея, отталкивая от себя Георгия.

— Не бойтесь, это мой товарищ.

— Мне все равно; бог знает, что подумает он обо мне!.. Но... «Что мне делать?» — подумала Саломея.— Послушай, друг мой Георгий... ты сам, бог знает, за кого меня принял... Дай мне руку... я не знаю, где я найду теперь мужа...

— Вы замужем?..

— Замужем,— произнесла Саломея,— но, боже мой, найдет ли меня муж?.. У нас сломался экипаж, лошади понесли... во мне замерло сердце, и я не помню... не знаю, как очутилась здесь одна... Георгий, ты меня проводишь?..

— Как угодно. Ах, как вы переменились, как вы похорошели!

— Я утомилась, пойдем, сядем. Покуда разъедутся все и покуда смеркнется... мне совестно идти пешком с тобой.

— Как можно пешком такую даль, надо взять извозчика.

— Это страшно!.. Погодим... Расскажи мне, каким образом очутился ты здесь.

— История не долга. Батюшка прислал меня сюда к одному знакомому на руки, с тем чтоб он озаботился приготовить меня к университетскому экзамену для поступления на службу. Вот я и готовлюсь; но толку будет мало: я чувствую в себе призвание к музыке. Душа просит гармонических звуков, чтоб высказать чувства свои, отвечать голосу природы! Вы открыли во мне это призвание...

— О Георгий! как ты хорош! Я предвидела в тебе страстную душу, для которой нет иных выражений.

— А вы? скажите мне, куда вы исчезли вдруг? Это по сию пору тайна для всех нас. Батюшка стал еще угрюмее, привязчивее, скупее: только и знает, что считает деньги да жалуется, что скоро принужден будет идти по миру... Мне не высылает даже на необходимое, и я живу на чужой счет...

— Бедный!

— Право, мне совестно, я наделал кучу долгов... Скажите же, куда вы пропали?

— Мне невозможно было оставаться... А тебя это огорчило?

— Ах, если б вы знали!

— Бедный Георгий, мне только тебя одного и было жаль!

Георгий схватил руку Саломеи.

— Вы любили меня?

— О, любила!

— А теперь?

— Теперь?..

— Обнимите меня, как прежде обнимали.

— Я тебя любила и обнимала, как сына.

— Ну, хоть как сына.

— Полно, Георгий, полно!

«О милый друг! Теперь с тобою радость;
А я один — и мой печален путь...» —

раздался снова напев товарища в кустах.

Саломея оттолкнула от себя Георгия.

— Не бойтесь, это мой товарищ...

— Это все равно для меня!

— Quousque tandem abutere, o Catilina, patientia nostra! [1]— крикнул Георгий.

— Mea res agitur, paries cum proximi ardet [2],— отвечал товарищ, уходя.

Между тем совершенно уже смерклось.

— Боже мой, уж темно,— сказала Саломея,— пойдем, ты должен меня проводить до дому... Ты знаешь Чарова?

— Нет.

— Как же мы отыщем его дом?

— Трудно узнать! — отвечал Георгий, взяв Саломею под руку.

И они вышли на шоссе.

За извозчиками дело не стало.

— Прикажете подавать, господа, что ли? — крикнул один.

— Ах, поедем скорей. Я не знаю, что обо мне подумают. Что я скажу мужу?

— Что ж, господа, садитесь, довезу!

— Пошел ты, Ванька! — крикнул Георгий.

— Обознались! — отвечал извозчик.

— Как быть, пролеток нет; придется ехать на Ваньке.

— Ах, уж все равно,— отвечала Саломея.

— Эй! давай!

Георгий вскочил на калибер верхом.

— Подвинься, дурень.

— Да и то почти на хвосте у коня,— отвечал извозчик, прижавшись, как пласт, к передку.

С трудом усадил Георгий Саломею в ущелье между собой и Ванькой.

— О боже мой, я упаду! — вскрикнула она, когда извозчик хлыстнул вожжой по кляче.

Помчалась чалая к Тверской заставе.

— Держи меня, держи, Георгий, я упаду! — раздавалось и по шоссе и по мостовой.

III

Что делает Чаров?

Когда запрягли и подали коляску, Чаров вбежал в диванную комнату.

— Едем, ma chère!.. Где ж она?.. Ты не видала, милая, куда вышла дама? — спросил он у проходившей горничной девушки.

— Не видала-с.

— Что за чудеса!... Mon cher Карачеев!..

---

[1] Доколе ты будешь злоупотреблять нашим терпением, Катилина (фраза из речи Цицерона против Катилины) *(лат.)*.

[2] Мое дело идет, когда стена ближнего горит *(латинская поговорка)*.

— Ах, извините, пожалуйста, что я вас оставил на минуту,— отозвался Карачеев, выходя в залу,— жене моей дурно.

— Да что дурно,— прервал Чаров,— я не знаю, куда девалась мадам Мильвуа?

— Может быть, она в саду?

— Может быть.

Они пошли в сад.

— Нет!.. Пропала! — повторял Чаров, обходив все дорожки небольшого сада.

— Кто видел, куда пошла дама? — допрашивал Карачеев у людей.

Никто не видал.

— Что за чудеса!

— Верно, она вышла в парк.

— Не может быть! — сказал Чаров.

Но после долгих поисков и расспросов он побежал в парк, околесил все дорожки, всматривался во все лица...

— Нет!

— Чаров, Чаров!—кричали встречные приятели,— куда ты?

— Ах, пошел, ска-а-тина! — отвечал он, толкая от себя и приятелей, и знакомых, и незнакомых.

— Кого ты ищешь?

— Не тебя, у-у-род!

А Саломеи нет.

Чаров в отчаянии.

— Ах, проклятая! — повторял он сначала, с трудом переводя дух от усталости; но скоро его взяло горе. Смерклось уже, а он ходил взад и вперед по всему парку, останавливался, и чуть завидит вдали какое-нибудь уединенное существо, торопится к нему и всматривается в лицо, как будто забыв и наружность и одежду Саломеи, и подозревая, не приняла ли она на себя чужой образ.

Гуляющая публика стала редеть, разъезжаться; истомленный Чаров, как опьянелый, возвратился на дачу Карачеева.

— Что? Здесь она?

— Нет.

Чаров свистнул и бросился на крыльце на стул.

— Вам не нужен уже экипаж? — спросил Карачеев,— мне необходимо послать скорее за доктором.

— Что такое? — спросил Чаров.

— Коляска вам нужна?

— Коляска? Черт ли мне в коляске, когда ее нет!

— Так я отправлю,— сказал Карачеев.

— Кабриолет мой уехал? — спросил вдруг Чаров.

— Давно.

— Ну, так! верно, она удрала в изломанном кабриолете!.. Нелепые женщины!.. Одолжите, пожалуйста, коляски, я поеду.

— Я коляску отправил за доктором, жена больна... и потому нельзя было ждать...

— Да что, кого ждать,— сказал Чаров, совершенно растерянный.

— Я пошлю за извозчиком.

— Да, да, в самом деле.

Карачееву было не до гостя. К счастию его, извозчика скоро нашли, Чаров вскочил на дрожки и велел гнать и в хвост и в голову.

— Приехала домой эта дама?

— Какая-с?

— Дурак! Какая! спрашивает!..

— Никак нет-с.

— Как нет-с?

— Никто еще не изволил приезжать.

— Вот тебе раз... Что теперь делать?

И Чаров в отчаянии ходил по комнатам, свистел, распевал, закуривал сигару, бросал снова, прислушивался к стуку экипажей, смотрел в окно; но на улицах все притихло.

— Пропала! — проговорил он наконец,— ну, черт с ней! Авось сама отыщется.

Но беспокойное чувство одолевало Чарова; он велел запрячь коляску, бранился за медленность и, наконец, вскочил в нее и крикнул: «В парк!»

Подъезжая уже к Тверским воротам, он как будто очнулся и потер голову.

— Куда ж меня черт несет?.. Пошел к Аносову.

Поэт уже покоился крепким сном. Чаров поднял тревогу у ворот, перебудил весь дом, пробрался в спальню к поэту, крикнул:

— Ска-атина! спит! Вставай, у-у-урод!

Испуганный поэт вскочил.

— Что такое? — вскричал он спросонок.

— Вставай, ска-атина! Читай какие-нибудь стихи! Ну!

— Ах, Чаров, это ты?..

Аносов встал, надел халат, а Чаров бросился на его постель, растянулся и — ни слова; а наконец захрапел.

Часу в девятом утра по улице, на которой красовался дом Чарова, окрашенный модной краской, под цвет глины, ехала закрытая коляска. Не доезжая до дому, коляска остановилась.

— Прощай, мой Георгий! Боже мой, как я тебя люблю!

— Когда ж мы увидимся?

— Я тебя уведомлю.

— Прощай!

— Au revoir! [1]

---

[1] До свидания (*франц.*).

Молодой человек выскочил из коляски, поцеловал свои пальцы, сдунул поцелуй и исчез. Коляска продолжала путь к дому Чарова; из нее вышла Саломея.

Вскоре и Чаров возвратился домой. Он проспал до позднего утра у Аносова.

Как будто после тревожного сна, в котором он ловил за хвост счастье в виде очаровательного существа, и не поймал, Чарову тяжело зевалось.

— Барышня изволила приехать,— сказал ему швейцар.

— Какая барышня?

— Мамзель-то-с, или мадам то есть-с.

— Приехала? — вскричал Чаров, очнувшись от онемения чувств,— где она?

И он вбежал на лестницу, шагая против обыкновения через три ступеньки на четвертую.

— Эрнестина! — раздалось по всему дому.— Эрнестина! где ты была?

— Ах, оставьте меня! Дайте мне отдохнуть от всего, что я перенесла!

— Ну, отдохни, и я отдохну в ногах у тебя!

Чаров бросился на ковер, припал головой к коленям Саломеи.

— Истомился! Всю ночь проискал тебя по парку,— продолжал Чаров,— да скажи же, пожалуйста, где ты пропадала?

— Пропадала!.. Вы не понимаете, какому страму вы меня подвергали. !.. Для вас честь женщины ничто!

— Да чем же я виноват, Эрнестина? Я виноват, что какой-то черт наехал дышлом на кабриолет?.. Но ведь только маленький испуг... Но каково мне было, когда я хватился тебя, а тебя вдруг нет!.. Ищу, ищу, нет... Где ты была?

— Где? Я бежала оттуда; если бы вы слышали, что говорили про меня без вас в зале хозяева...

— Что?

— Странно! Вы спрашиваете!.. Я не могла перенести этого, я ушла... Я бежала не помня себя, не знаю куда... упала без памяти... подле какого-то дому, на дороге... К счастью, хозяйка дома приняла во мне участие... Иначе бог знает, что бы могло со мной случиться...

— Мерзавец этот Карачеев!..

— Он, кажется, женат... я слышала в зале женские голоса? — спросила Саломея.

— Женат на Брониной. Да! постой! надо приказать, чтоб никого не принимали... Я было с отчаяния поручил звать к себе всех приятелей... А лучше всего поедем сейчас же в деревню... нечего медлить! Правда, Эрнестина? — ты на меня не сердишься?

Саломея подала в знак примирения руку.

Несколько часов спустя у подъезда дома Чарова напрасно звонили и стучали в двери его приятели и знакомцы. Никто не отзывался, Чаров был уже в дороге.

В спокойной дорожной спальне Саломея, закрыв глаза, закинула голову в угол на подушку; а Чаров, приклонясь к ней, рассказывал историю про Петра Григорьевича Бронина.

Саломея безмолвно слушала, но часто содрогалось в ней сердце и судорожный вздох теснил грудь; особенно при рассказе про старшую дочь Бронина.

— Это, говорят, такой был зверь-девка, что ужас; с зубами родилась; у кормилицы отгрызла груди, а у няньки нос... je vous assure, ma chère!..[1] Говорят, ma chère, что мать ее в беременности испугалась бешеного волка... и это имело влияние на характер дочери. Она, говорят, не могла смотреть на людей без остервенения, так и скалила зубы, чтоб укусить.

— Какие пустяки вы рассказываете!

— Кроме шуток. Грызла, грызла отца и мать и, наконец, вышла замуж за какую-то собаку, переела мужу горло, да и бежала! Просто в лес ушла, и ни слуху ни духу... Я видел ее мужа: — пьянюга, таскается по улицам да просит то на родины, то на похороны жены.

— Ах, полноте, пожалуйста! Какие вы странные вещи рассказываете! — вскрикнула снова Саломея.

— Je vous assure, ma chère, вот еще недавно, докладывают мне, что пришел какой-то отставной офицер...

— Перестаньте! Я не могу слушать таких ужасов!..

— Какая ты, ma chère, слабонервная, право!

Не нужно говорить, что Чаров не Дмитрицкий, несмотря на то, что точно так же, как Дмитрицкий, ехал в дормезе вдвоем с Саломеей. Дмитрицкий был счастлив в любви, а Чаров в картах, и это составляло их главную разницу; между тем как по свойствам страсти каждого надо бы было им поменяться счастьем.

Имение Чарова было верстах в полутораста от Москвы. В нем еще не так давно жил его старый отец, вдовцом. Построив себе дом со всеми удобствами для старческой неги, этот седой филин оставил по себе память. Главным его занятием и заботой были свадьбы. Он ужасно как любил свадьбы.

Когда этому седому филину случалось догадываться, что ему желают все от чистого сердца смерти, воображая, что дряхлому старику жизнь уже в тягость, тогда он твердил всем: «Врете вы, собаки, не тогда умру, когда вам хочется, а тогда умру, когда сам захочу».

И действительно, жил-жил и дотянул канитель жизни почти до ста лет, сохранив все чувства, память и любовь к свадьбам. Наконец он умер.

---

[1] Уверяю вас, моя милая *(франц.)*.

Сын Чарова, как мы видели, был светский человек, не занимался устройством наследственного имения. Барский двор опустел. Сторожа стерегли дом снаружи, а внутри все само собою было в целости и сохранности; и управляющий и Трифон, на руках которого был дом, боялись входить в него: хозяин умер; но хозяйский страх все еще как будто расхаживал по пустым комнатам и грозил, чтоб никто ни до чего не смел дотрогиваться.

Прошло несколько лет; а известно, что все живо только духом человеческим. Без него тля истлила бы земной шар, не только что дом отца Чарова со всеми принадлежностями. Неожиданно приехал сын, и вдруг все зажило новой жизнью.

— Барин, барин молодой приехал! — кричали по селу от мала до велика; и вот ребятишки, бабы, девки, парни, мужики, десятские, староста бегут во двор боярский.

Там управляющий стоял уже подле кареты и помогал молодому барину выходить из нее, молодой барин высаживал молодую барыню, а домохранитель Трифон, запыхавшись, отпирал дом, ставни...

— Это-то батюшкины палаты? — спросил Чаров, посмотрев на поседелый дом. Крыша заросла мохом и местами березовым кустарником, стены несколько похилились.

— Это развалины! — проговорила Саломея, смотря на все с отвращением,— куда вы меня привезли?..

— Это все мигом устроится, ma chère,— отвечал Чаров.

— Боже мой, какая сырость, духота, мертвенность! Все истлело!.. Это гроб; тут недостает только трупа! — повторяла Саломея.— Мне страшно!

Люди бросились вытирать пыль с мебели; но, увы, вместе с пылью стирается, как прах, и истлевшая шелковая материя. Дотронулись до занавесей — занавеси распались клочками.

Но новая жизнь, хотя с ужасом и отчаянием, а водворилась кое-как на развалинах старой.

Отказавшись навеки от своего имени, звания и своей собственной судьбы, Саломея как будто век была Эрнестиной де Мильвуа, несчастной вдовой, которая имеет право располагать своей рукою. Никогда и никто не внушал ей никаких правил и законов, которые бы связывали и обуздывали ее волю. Следовательно, воля ее была вполне свободна; а вследствие этого также свободно и независимо ни от какой любви сердце. В отношении отдачи руки она также не затруднялась: у ней было две руки. Отдав которую-то из них Яликову, она решилась отдать другую Чарову, и... но оставим покуда эту нить рассказа и обратимся к другой, которая также входит в основу нашей узорчатой и волнистой ткани.

IV

За несколько времени до приезда Чарова в свое поместье в селении Притычине стоял полковой штаб. Штаб по новому расписанию был переведен на новые квартиры, а полковой медик и хирург Иван Данилович Увалень по болезни остался на старой. Чтоб дать понятие о человеке, который впоследствии избавит нашу героиню от спазмов, мы почерпнули из моря житейского следующие об нем сведения.

По собственной охоте, или по воле родительской, или так, ни с того ни с сего, Иван Данилович Увалень, как говорится, пошел по медицине. На казенный кошт изучил он, чем кормить и поить человека, провинившегося против искусства быть здоровым; как *отнимать* у него все, что мешает ему существовать на белом свете, и был определен в полковые медики. Тут было ему житье. Его «гигиена для военных» нравилась всем: он говорил, что так как вредная сырость в воздухе происходит от недостатка электричества, то и необходимо пополнять его в организме приемом алкоголя в чистой воде. Во время же жаров, для уравновешивания внутреннего жара с наружным, тот же прием, но в обратном приготовлении, и именно: не напоение алкоголя водой, но насыщение воды алкоголем.

При операциях он эфиризировал субъект свой для притупления чувствительности нервов стаканом чистого алкоголя. Он говорил: «Чтоб удачно *отнять* что-нибудь у человека, отними сперва у него память», и все операции его были необыкновенно счастливы. Субъект, которому он отнял, например, ногу, очнувшись, думал, что нога тут, а только на нее Иван Данилович наложил успокоительный пластырь.

Действуя предохранительными средствами, он ввел в употребление, чтоб каждый больной, кроме халата, имел непременно ларец с уравновешивающим температуру лекарством.

— Здоровье,— говорил он каждому из своих пациентов,— есть самая лучшая вещь в свете, а болезнь самая скверная, и потому надо избегать болезни. Если заболеешь — и не присылай за мной: залечу, ей-богу залечу. Медицина не дошла еще до совершенства; сам Гуфланд за нее не ручается; а я-то с какой стати буду за нее ручаться?

В самом деле, Иван Данилович терпеть не мог больных и жестоко бранил их.

— Эх, брат, подлинно дрянь! От болезни не умел предостеречь себя; а, кажется, простое дело: соблюдай температуру. Ну, что пропишу я тебе из латинской кухни, когда и русскую-то желудок не варит?

Иван Данилович славная был душа; но когда заляжет спать, то уж не проси у него помощи. От кого бы ни пришли, ни прибежали, ни приехали за ним, денщик Филат, смотря по своему благоусмотрению, отвечал: «Дома нет!.. Уехал, да не бывал

еще; и сам не знаю где». Или: «Нездоров Иван Данилович; сам на лекарстве». Исключение было только для полкового командира или, лучше сказать, для полковницы. В таком случае Филат не только не сердился, но будил его без церемоний: «От полковника вестовой. Извольте вставать, Иван Данилович!» Когда же Иван Данилович сердился, что его беспокоят из каких-нибудь пустяков, тогда Филат уговаривал его и смирял его сердце здравым рассуждением, что «нельзя же, Иван Данилович, ведь это полковница. Прислал бы хоть адъютант полковой или баталионный командир, да я и сам разве бы только с боку на бок перевернулся. Ну, а тут нельзя».

Филат заведовал не только всем хозяйством Ивана Даниловича, но даже домовой аптекой. «Подай-ко сюда,— скажет барин,— как бишь ее...» — «Что? акву сатурновну?» — спрашивал он, так только, по привычке спрашивать и чтоб показать, что мы, дескать, знаем, что кому из больных потребно. Он в самом деле применился к обычным недугам каждого из больных.

Филат был золотой человек: славно стряпал, славно умел заплатать дырочку, бесподобно штопал чулки, отлично стирал белье.

— Велика мудрость стирать! — говорил он,— что, хуже я какой-нибудь прачки выстираю?.. Взял, отпарил в щелоку, выстирал в корыте, выполоскал на пруде, выжал хорошенько да развесил, и прав; а выкатать не штука!

Из всего этого следовало, что, имея такого денщика, Ивану Даниловичу существенно не нужно было ни жены, ни дворни. Филату и в голову не приходило никогда, чтоб барин его женился; да и Ивану Даниловичу не шла на ум женитьба, тем более что ему сроду не случалось лечить девушек. От дамских болезней он также отказывался, частию по природной застенчивости, а главное потому, что, бог знает, с чего вообразил он, что «женские болезни не суть болезни; следовательно и неизлечимы: слабость нервов, например,— говорил он,— какая ж это болезнь? Это не болезнь, а просто слабость нервов. От раздражительности, от причуды, от вынь-да-выложи также в медицине нет лекарств: медицина не отец, не мать, не муж и не возлюбленный: ни платья не сошьет, ни шляпки не купит, ни на бал не повезет, не приласкает и не прижмет к пламенному сердцу. Что ж тут делать?»

Так рассуждал часто Иван Данилович сам с собою, вслух, возвращаясь домой от полковницы, и, боясь женских болезней, закаялся жениться. Но так как клянутся и заклинаются всегда люди, которые ни за что бы не клялись, если б оковы, налагаемые клятвами, были немножко пожелезнее и не так легко разрывались и сбрасывались, то настал же таков *момент*, что и Иван Данилович поклялся бы снова, что он пошутил, что глупо давать клятвы в том, в чем сам от себя не зависишь, словом,

он «умно отрекся от глупого отречения, и таким образом возвратился в самого себя».

Это происходило следующим образом:

Полковой штаб, при котором состоял Иван Данилович, расположен был в одной *коалиции* деревянных строений, получившей название города, но не вступившей еще на степень *конкретирования* городской *особенности*. Вместо колес там служили еще ноги; на улицах раздавалась еще национальная поэзия; по праздникам можно было водить хоровод и выходить на кулачный бой, а весной и осенью охотиться на главной площади за дикими утками и куликами, потому что момент потребления *дичи* еще не настал для этого города, носившего все признаки захолустья. В невежественном состоянии, там не знали еще болезней, но знали только «голова болит, худо можется, нездоровится» и утешали друг друга словами: «Велика беда, что голова болит: поболит, поболит, да и пройдет». Прикинется ноготоеда, обрежет кто-нибудь палец,— «ну, не плачь, до свадьбы заживет!..» У женщин проявлялась одна только *болесть*, да и то, говоря словами Ивана Даниловича, не болезнь, а естественный момент органического развития.

Первый момент неизвестных дотоле болезней, требующих медицинских пособий, проявился у Машеньки, дочери одного мелкопоместного отца огромного семейства, который приезжал в город на ярмарку.

Причиною болезни Машеньки был чисто нравственный момент сильного, необычного впечатления на чувства, привыкшие к обычному. Приехав совершенно здоровою в город, здоровехонька легла почивать Машенька, вдруг разбужена была поутру странным стуком и какими-то чудными звуками. С испугом вскочила она с постели, а в это самое время, к несчастию, вбежала в комнату ее старая няня и вскрикнула: «Барышня, барышня! посмотри-ко, сударыня, что на улице-то деется!»

Машенька бросилась к окну, взглянула, и все жилки ее затрепетали, кровь приступила к сердцу, дыхание заняло: это был начальный, безотчетный момент *инфлюэнции* гражданственности на нежные чувства и на национальное неопытное еще сердце; первый момент страха видеть убийственное оружие не в руках каких-нибудь чудовищ, а в руках каких-то нежных существ, которые, проходя мимо окна, так умильно глядели на Машеньку и как будто говорили ей: «Душенька! ангельчик! Как ты хороша! Позволь тебя убить!»

Просвещенные читатели без сомнения догадаются, что на улице было ученье и развод. Вещи очень обыкновенные; но для такого нежного и неопытного существа, как Машенька, которая не только сроду не видывала солдат, но и не слыхивала даже сказки про солдатскую душу,— все это показалось ужасом.

Грохот барабанов, треск труб, блеск и темп оружия, возгласы волшебных слов: «Марш!» «Стой!» «Стройсь!», которыми приводилась в движение толпа людей, их особенная походка, особенные приемы, стройный стан так поразили Машеньку, что она *взяла да и покатилась*. Никто не заметил этого, кроме нянюшки. Смотря в окно через головы сбежавшейся толпы домашних и восклицая: «Господи, страсти какие! ведь это они на войну идут!», она обратилась к своей барышне с предостережением от недоброго глаза офицера, который построил свой взвод против окна, взял на перевес шпагу, устремил глаза на Машеньку и ожидал команды.

— Барышня,— вскричала няня,— поди ты от окна! Что он уставился на тебя! — Но Машенька была уже почти без чувств.

— Господи! Что с тобой! — проговорила с испугом няня и, схватив ее на руки, отнесла от окна. Но инфлюэнция уже совершилась. Машенька слегла. Всем, казалось бы, здорова, но слабость такая во всех членах, что не может встать с постели, да и только.

— Бог ее знает, что с ней сделалось? — говорили отец и мать.

— Сглазил, сглазил! — кричала няня,— вот этот, как его, солдатской-то офицер сглазил!

Сглазил, сглазил — и водица с уголька не помогла.

Против новой болезни старые средства — плохая надежда. И вот, после долгих споров с няней и сбежавшимися смотреть эту болезнь бабами, Машенькина маменька решила, наконец, послать за полковым лекарем, несмотря на то, что папенька говорил, что так пройдет. И послали просить Ивана Даниловича пожаловать к Ивану Абрамовичу. Филат, как будто предчувствуя, что что-нибудь да не так, долго стоял на том, что барина нет дома; потом, когда прислали в десятый раз, сказал, что барин почивает; но, наконец, умилился на слезную просьбу посланного слуги: «Доложи, брат, сделай милость, доложи! ведь меня загоняют, что не привез лекаря. Целый день вот бегаю к вам, говорю, что, дескать, нет дома; так барыня говорит: хоть умри, да жди, покуда приедет домой!»

Филат доложил, что вот, так и так, просят пожаловать.

— Скажи, что дома нет.

— Я сто раз говорил; да так пристали, что не отделаешься. Сидит тут, плачет; а нейдет домой, да и все тут. Говорит, барышня умирает.

— Дз! Эх, терпеть не могу! — сказал Иван Данилович.

— Да что ж делать-то, Иван Данилович, побывайте; жалко на человека-то глядеть; всю ночь здесь ждал, да вот и день прошел; а у него еще во рту куска не было; уж я сжалился да накормил его; а дома и есть не дают, покуда доктор не приедет; а барышня, говорит, такая распрекрасная.

— Ну, уж эти мне распрекрасные! — сказал Иван Данилович,— я знаю, что какие-нибудь пустяки; а если не пустяки, так уж, верно, послали за мной тогда, как нужно посылать за дьячком читать отходную.

— Ну, да вы побывайте, да и скажете просто, что со смертного одра и крюком не подымешь на ноги.

— Терпеть не могу! — повторил Иван Данилович.— Давай мундир! — Надел мундир, воткнул шпагу и отправился с человеком в дом родителя Машеньки.

Она забылась легким сном, когда привели Ивана Даниловича к ее постели.

— Помогите, пожалуйста! бог знает что с ней приключилось,— шептала ему мать; а отец, и вся семья, и все люди, и вся дворня стояли тут же толпой в каком-то ожидании чуда.

Чудо действительно совершилось, но невидимо, в недрах Ивана Даниловича.

Когда он, пораженный субъектом, дрожащими руками пощупал пульс Машеньки, Машенька открыла глаза, взглянула на Ивана Даниловича, вздрогнула, лицо обдалось пламенем, проговорила едва слышно самой себе: «Ах, боже мой! офицер!..», хотела закрыть лицо одеялом, а в эту минуту рефлекция, или воздействие пораженных ее чувств совершило обратную инфлюэнцию на Ивана Даниловича, и он, как окаменевший, безмолвно, бездыханно держал руку Машеньки.

Все окружавшие смотрели и благоговейно молчали в ожидании от него слова; но Иван Данилович еще думал. Возмущенные мысли его перемешались, и он продолжал стоять неподвижно в положении медика, наблюдающего пульс.

— Что, батюшка? — спросила мать.

— Я женюсь на ней! — отвечал Иван Данилович, не помня сам себя и посмотрев на мать взором, показывающим, что болезнь опасна.

— Что такое, батюшка? — спросила мать, не поняв слов Ивана Даниловича.

— Пожалуйте поскорей бумажки,— продолжал Иван Данилович,— медлить опасно... пожалуйте скорей бумажки.

— Господи!..— проговорила мать,— что ж это такое значит? Иван Абрамович, есть у тебя бумага?

— Нет, матушка, какая ж у меня бумага!

— Как же быть-то! никакой бумаги у нас нет.

— Послать скорее ко мне,— сказал Иван Данилович,— или позвольте, я сам принесу.

И Иван Данилович, схватив свою треугольную шляпу, побежал домой. А между тем смущение лекаря и его торопливость перепугали мать. Выбежав в другую комнату, она ломала себе руки.

— Господи! Что такое сказал он, я, право, не расслыхала; Иван Абрамович, что он сказал о болезни-то Машеньки?

— Право, не расслышал; бог его знает, верно что-нибудь по-латыни.

— Да уж я тебе говорю... Вот те Христос!..— раздалось в толпе баб у дверей.

— Что, что такое? Лукерья, что такое? — крикнула Машенькина мать.

— Да вот, сударыня, Фетинья говорит, что слышала, будто лекарь-то сказал, что я, говорит, женюсь на Марье Ивановне.

— Что-о?..

— Ей-ей так, сударыня,— отвечала Фетинья,— так-таки и сказал! Что ж мне лгать-то, уши-то у меня не чужие.

— Женится?

— Ох ты, вострое ухо! — проговорила няня,— все-то ты слышишь!

— Да с чего ж это ему вдруг сказать так!

— Ни с того ни с сего вдруг: женюсь! Скажи пожалуйста!

— Да уж я и не знаю, как это вы не изволили слышать.

— Ох, право, и мне что-то теперь сдается, сударыня, что он это сказал; а уж к чему, бог его ведает,— проговорила, вздыхая, прачка Настасья.

— Сказал, сказал,— прибавила баба с соседнего двора,— да я все думала, не обслышалась ли я? С чего ж это, думаю, вдруг говорить-то ему!

— Иван Абрамович, слышишь, что бабы говорят?..

— Что, душа?

— Говорят, будто лекарь-то сказал, что он женится на Маше.

— Экой вздор!

— Нет, не вздор, сударь; я истинную правду говорю... мне что выдумывать... что мне клепать-то на человека!.. Извольте, я хоть у него самого спрошу при вас...

— Ах ты, дура, пошла вон!..

Иван Абрамович разгневался, но дело не решилось. Приход Ивана Даниловича заставил всех замолчать.

— Вот,— сказал он запыхавшись,— я принес из полковой аптеки лекарство: пожалуйте рюмочку.

— Ах, как мы вам благодарны! — вскричала мать, побежав сама за рюмкой.

— Водицы пожалуйте да ложечку.

— Сейчас, сейчас!

Когда Ивану Даниловичу подали все,— «по пятнадцати капель через два часа»,— сказал он, отсчитал дрожащей рукой из пузырька капли и подошел к больной.

Она лежала, закрыв глаза, румянец так и играл на щеках.

— Уснула,— сказала няня шепотом,— не трогать бы ее.

— Мы подождем,— отвечал тихо Иван Данилович.

Рюмка тряслась у него в руках.

— У нее сильный жар,— прошептала мать ему на ухо.

Он кивнул головой и приложил руку к пульсу.

Горячая его рука как будто обожгла Марью Ивановну: она вздрогнула, взглянула, закрыла снова глаза и еще больше разгорелась.

— Машенька, прими, душенька, лекарство.

Машенька вздохнула и закрыла лицо рукой.

— Выпейте, сударыня,— сказал Иван Данилович, поднося к ее губам рюмку.

Она приподняла немного голову.

— Господи, благослови! — проговорила мать.

Принимая лекарство, Машенька взглянула мельком на Ивана Даниловича, Иван Данилович вздрогнул и чуть-чуть не выронил из рук рюмки: так этот взор, напитанный электричеством, встряхнул его, несмотря на то, что стекло не проводник живой силы. Машенька опустила головку и, казалось, снова забылась.

— Пожалуйста, чтоб никто не беспокоил ее,— сказал Иван Данилович.

— Ступайте, ступайте отсюда,— сказала мать Машеньки шепотом, махнув рукою на баб.— Скажите, батюшка Иван Данилович,— продолжала она, выходя в другую комнату,— что ж это за болезнь такая у Маши?

— Расстройство нервическое,— отвечал Иван Данилович.

— Что ж это за расстройство такое, Иван Данилович? Желудок, что ли, расстроен?

— Нет, нервы, вообще.

— Нервы... Иван Абрамович, поди-ко сюда... я уж понимаю: это, стало быть, вся внутренность? Ах ты, господи! да отчего же это?

— Может быть, какой-нибудь испуг,— сказал Иван Данилович.

— Испуг? да какой же? Она, кажется, ничего не испугалась; да и чего же ей пугаться-то...

— Ах, матушка Анна Федоровна, а намедни-то, как вот они изволили проходить по улице,— отозвалась няня, которая не утерпела, чтоб не прислушаться, что говорит доктор барыне насчет ее нещечка Машеньки.

— Ах, да, в самом деле, именно, вдруг что-то ей тогда померещилось, что ли...

— С самого того вот времени, как вы, батюшка, проходили мимо нашего дому-то,— продолжала няня,— она так и обомлела.

«Я проходил? — подумал Иван Данилович в недоумении,— когда же это я проходил?.. и не заметил...»

И он глубоко вздохнул от сладостного ощущения.

— Так обомлела,— продолжала няня,— что я на руках ее донесла до постельки!.. говорю: родное ты мое дитятко, что с тобою?..

— Ну, ну, ну, ступай уж,— крикнула Анна Федоровна,— сама я сумею рассказать как следует... Ты поди сядь подле Маши, да не отходи и прибеги сказать, как очнется.

Няня неохотно повиновалась приказанию барыни: ей хотелось послушать, что скажет доктор.

Она присела подле постели Машеньки и начала что-то бормотать про себя.

Машенька глубоко вздохнула и открыла глаза.

— Ах, сударыня, а мы думали, что ты соснула.

— Няня,— проговорила Машенька,— какой это офицер здесь был?

— Это, сударыня, вишь, доктор.

— Доктор? какой же это доктор, это офицер со шпагой.

— При шпаге, при шпаге; у полковых-то, верно, такой обычай: кому-нибудь из них надо править и докторскую должность...

— Ах, как страшно, нянюшка! Он меня шпагой-то не убьет?

— Христос с тобой! вот еще придумала. Ты посмотрела бы, что за добрейший человек, да какой ласковый, тихой; я не знаю, для чего он и шпагу-то носит? разве что вот против французов, чтоб не напали... Ах, да, ведь барыня велела мне доложить, как ты проснешься, сударыня; доктор-то хочет посмотреть на тебя.

— Ах, нет, нет, няня! не говори!..— вскрикнула Машенька обычным своим звонким голоском.

— Боже мой, что с ней! — вскрикнула Анна Федоровна и побежала к дочери.

Иван Данилович бросился вслед за ней, вообразив, что с больной сделался припадок. Но когда он вошел в двери, Машенька лежала уже спокойно, закрыв глазки.

— И не думала кричать, сударыня,— шептала няня на вопрос Анны Федоровны, отчего вскрикнула Машенька,— и не думала.

— Ох, врешь!

— Ей-ей! она спросила только про доктора.

Анна Федоровна присела подле постели и знаком просила садиться и Ивана Даниловича.

Он сел против нее; ему хотелось бы, не сводя глаз, смотреть на больную, наблюдать, как она вдыхает обыкновенный душный воздух комнаты, а выдыхает из себя как будто благовония счастливой Аравии; но странно, что-то мешает ему взглянуть на нее.

Иван Данилович не мог отдать себе отчета, что мешает ему смотреть на больную; но, наконец, понял.

«Зачем она тут сидит, мешает только мне!» — подумал он.

Иван Данилович уселся и сидит, молчит, забыл о своей обязанности посетить полковницу и двух больных офицеров, забыл

о квартире, о денщике, о всем забыл, у него в голове одно: «Хоть бы на одну минуту вышла она!..»

Анна Федоровна совсем другое думает: «Какой попечительный человек!»

Но ей ужасно как хотелось поговорить с Иваном Даниловичем, как с новым человеком, о разных разностях, а как с доктором о некоторых своих недугах.

— Она, кажется, уснула,— прошептала она,— не оставить ли ее? Пойдемте в залу.

— Ах, нет,— отвечал Иван Данилович тихо,— я посижу тут; вы извольте идти, может быть вам нужно по хозяйству...

— Нисколько,— сказала Анна Федоровна — я уж всем с утра распорядилась.

Иван Данилович глубоко вздохнул.

— Приготовить бы свеженькой водицы,— сказал он.

— Есть; вот только сейчас принесли.

Иван Данилович еще тяжелее вздохнул.

— Да, позвольте,— сказал он,— это какая вода? сырая?

— Как сырая?

— То есть не отварная?

— Нет.

— Так, пожалуйста, прикажите отварной принести из самовара.

— Сейчас, сейчас велю вскипятить.

Анна Федоровна вышла приказывать, а Иван Данилович с трепетным сердцем устремил было пытательный взор на больную, но Машенька вдруг взглянула.

Иван Данилович вздрогнул, смутился, схватил скляночку с лекарством, начал отсчитывать в пустую рюмку капли; но нет возможности: одна, две, три... и вдруг как плюхнет.

«Ах, господи! кажется, тут будет десять!» — думает он; впился глазами в горлышко пузырька, чтоб отсчитать еще пять капель. Но перед глазами как будто залетали мухи, руки дрожат, капли как будто исчезли из пузырька, перелились в него самого и каплют с лица.

«Господи! — думает он,— зачем я прописал капли!..»

И Иван Данилович опять с усилием смотрит на горлышко пузырька, но руки ослабели от напряжения, опустились.

— Вода, вода,— шепнула под ухо ему Анна Федоровна.

Он вздрогнул.

— Нет, уж позвольте,— сказал он,— я пойду принесу пилюльки...

И он, забыв свою шляпу, бросился почти бегом домой. К счастию, у калитки навстречу ему Филат.

— Ах, барин, это вы! — крикнул Филат, которого он сбил было с ног,— полковница прислала, пожалуйте!.. А шляпа-то, сударь?

— Ах!..— проговорил Иван Данилович, схватившись за голову,— я и забыл.

Заботливый Филат вбежал в дом и добыл барскую шляпу.

Иван Данилович стоял у ворот и думал, в каком виде прописать лекарство вместо капель.

«Пилюли? — думал он,— нет! избави боже! остановится еще в горле... Порошочки? горькой, неприятный вкус... Микстурку? еще хуже: неравно поднимет рвоту...»

Взяв шляпу из рук Филата, Иван Данилович ни с места, продолжает думать, какое бы лекарство прописать больной, чтоб оно было ей приятно.

— Лучше всего в виде прохладительного питья...

— Что ж вы, сударь, к полковнице-то?

— Ох, уж эта мне... надоела! — крикнул Иван Данилович,— не хочу, ну, не пойду, черт с ней!

— Да как же это можно, Иван Данилович! — сказал Филат,— ведь это невозможно, сударь: полковница требует вас к себе, а вы не пойдете.

— Причуды только одни! Брось больных для нее, да беги!.. Да я не хочу, ну, не хочу, вот и все! — продолжал Иван Данилович, идя задумавшись к себе на квартиру.

— Да ведь что ж, Иван Данилович, хоть бы и причуда, вам-то что за дело! — продолжал Филат,— в службе-то, говорят, не рассуждай. Если полковница требует лекарства, что вам жаль, что ли, его? Да хоть всю полковую аптеку выпей, эка беда!.. Да куда ж вы идете? Извольте идти к полковнице.

— А! — произнес Иван Данилович с сердцем, махнув рукой, и пошел на квартиру полкового командира.

Полковница в самом деле была неисповедима в своих причудливых болезнях. Кроме настоящей тягости, у нее поминутно проявлялись какие-то побочные тягости: то тягость в голове, то под ложечкой, то тягость в руках и в ногах, то тягость во всей; то какие-то тягостные мысли мучили ее, словом, она тяготилась всем; то «как это несносно, поминутно в глазах офицеры!», то «как это скучно, никто не хочет прийти! своих офицеров надо звать! никакой преданности!..», то «к чему это все навытяжку!», то вдруг «какая вольность! садится без приглашения!..»

Полковник был славный человек, но жена его сбила с толку, и он стал как маятник: то добр, ласков и внимателен, то угрюм, привязчив и груб.

По наружности полковница была премиленькое существо, воплощенная доброта и приятность, как говорится: невозможно не любить такого ангела! Но, хорош конь, конь, каких мало бывает, да с норовом: прямо, ровным шагом идет, славно идет; но чуть вожжой направо, а он налево; чуть нукнешь, а он на дыбы или стал Архимедовым рычагом, с места не сдвинешь.

Такова была и полковница: против собственного побуждения и желания она не умела ходить; ни обстоятельства, ни приличие, ни дружба, ни любовь, ни необходимость — ничто не смей ей понукать, тотчас на дыбы, а потом в слезы и в постелю.

И вот бегут за Иваном Даниловичем. Бывало, Иван Данилович бежит сам, а теперь Филат насилу его уговорил.

Приходит. Видит: лежит полковница почти без чувств, бледная, страждущая, тяжело дышит.

— Что такое-с? — спрашивает он у полковника.

— А бог ее знает,— отвечает полковник, пожимая плечами.

Иван Данилович щупает пульс — пульс так и колотит.

Но вот вылетел глубочайший вздох, вот открыла глаза.

— Что вы чувствуете? — спрашивает Иван Данилович. Страждущая молчит, тяжело дышит, прикладывает руку к голове.

— Вы чувствуете боль в голове?

— Да! — отвечает она наконец.

— Под ложечкой у вас не болит?

— И под ложечкой,— произносит полковница слабым голосом, и вдруг слезы, всхлипыванье.

«Хм!» — подумал с досадой Иван Данилович, торопливо выходя в другую комнату писать рецепт.

— Что? — спросил полковник.

— Ничего, полковник; это маленький нервный припадок, спазмы. Я пропишу капельки...

— Да помилуйте, все ничего,— крикнул полковник.— Это ничего всякой день повторяется! Нервное расстройство! да ведь это болезнь?

— Конечно-с.

— Ну, так что ж тут ваши капельки? Черта ли в ваших капельках! Вы мне лечите ее фундаментально.

Иван Данилович знал полковника; рассуждать с ним в минуты сердца нельзя, все равно что на огонь лить масло. Капельки не нравились полковнику, капельки пустяки, сказал он. И Иван Данилович прописал порошки.

— Вот-с, через час по порошку.

— Да это до меня не касается,— сказал полковник,— вы как знаете, так и давайте.

«Ах ты, господи! — подумал Иван Данилович,— сиди тут как привязанный».

— Вот-с, легонькие порошочки,— сказал он, подходя к страждущей,— когда принесут, сделайте одолжение принимайте через час; а я сейчас возвращусь.

— Куда вы? Нет, нет, нет...

— Мне нужно навестить одну опасно больную.

— Нет, нет, нет! Сядьте!.. Покуда я приду в себя... Здесь... нет человека, который бы позаботился обо мне... Все думают только о самих себе да о своем спокойствии. Я хоть умирай!

— Не расстроивайте себя такими мыслями...— начал было увещевать Иван Данилович.

— Не расстроивайте!.. Поневоле расстроишься!.. Никто не хочет принять участия!..

— Помилуйте, возможное ли это дело... как не принимать участия...

— Ах, не говорите, пожалуйста!.. Женщина несчастное создание! на ее долю только страдания да болезни... и больше ничего! Мужчина свободен, мужчина что хочет делает, никому не дает отчету, живет да наслаждается жизнью... а женщина, я, например, что я такое? прикованная невольница... поят, кормят... и будь довольна, считай это счастием!

— Помилуйте, зачем же так думать.

— А как же, по-вашему, думать?

— У мужчины свои обязанности; служба, ответственность...

— Служба! Ах, какая трудная вещь!

— Помилуйте-с,— начал было Иван Данилович.

— Да нет, полноте, не противоречьте мне! Я не могу переносить пустых противоречий!.. Ах, господи, какая боль!.. За лекарством целый день проходят! И приказать некому, чтоб прибавили шагу!.. Только учебный шаг и в голове!..

Иван Данилович закусил язык и молчал. И от нетерпения скорее отделаться от полковницы думал: «Господи, что не несут так долго лекарство!»

Но вот принесли. Он схватил порошок, всыпал в рюмку воды, размешал.

— Не угодно ли выкушать?

— Ах, терпеть не могу лекарства! — проговорила полковница, приподнимая голову.— Фу! какая гадость!.. я этого не могу принимать!.. Нет, нет, нет! Подите вы прочь с этим... тошно!.. Дайте скорей воды!.. Ах, боже мой, боже мой! Никакого нет участия к человеку!..

«Вот, поди лечи фундаментально!» — говорил сам себе Иван Данилович, стоя подле полковницы и не зная, что говорить, что делать.— Так позвольте, я принесу капельки,— проговорил он, наконец.

— Те горькие-то?

— Нет-с, я пропишу сладенькие, вроде сыропцу.

— Сладкое лекарство, фу!.. Слушать, так тошно...

— Так какое-нибудь наружное средство...

— Катаплазмы? нет, пожалуйста, избавьте от них!

— Нет, просто можно... припарки... согреть полотенце.

— Ну, хорошо.

«Слава тебе господи!» — подумал Иван Данилович.

Он думал этим отделаться. Но припарки то горячи, то холодны; вот и сиди, слушай докучную сказку да пригоняй теплоту.

Терпение Ивана Даниловича лопнуло. «Ой-ой-ой! — подумал он,— попадет такая жена! Избави бог! не женюсь!»

И с этой мыслью вдруг исчезла в нем сила тяжести, и ему стало легко. Невидимая нить, которою тянуло его к больной Машеньке, как будто порвалась, он вздыхал, зевал, но по обычаю терпеливо уже сидел, как сестра милосердия, у причудливой полковницы.

Поздно уже его отпустили. Утомленный, он отправился домой. Только что он в двери:

— Иван Данилович,— сказал ему Филат,— от Волиных раз десять присылали, я все говорил, что полковница при смерти больна, так вам нельзя; так и барышня-то, говорит человек, умирает.

— Нет, спасибо! Эти мне умиранья вот здесь сидят.

И Иван Данилович показал на затылок.

— Ну, как изволите, в самом деле не растянуться: от полковницы-то вы всегда приходите словно в мыле. Жаль только эту барышню-то; говорят, что такая ангельская душа... да что ж делать: на то воля божья. Умрет так умрет.

— Постой,— сказал Иван Данилович Филату, который уже насилу стянул с него один, точно смоченный водою рукав мундира,— постой... я пойду.

— Да вы хоть бы отдохнули сперва.

— Нет, пойду.

— Эге, вот он стучит опять.

— Скажи, что я сейчас приду.

И Иван Данилович натянул снова рукав, схватил шляпу и бросился в двери.

— Батюшка, сударь, помилуйте,— начал было умоляющим голосом присланный человек.

— Иду, иду, любезный!

Через несколько минут Иван Данилович утирал уже лицо платком, входя в покой, где лежала Машенька.

— Иван Данилович! — прошептала мать, встретив его,— умерла было без вас!

Иван Данилович подошел к больной, взял ее за руку, и все жилки забились в нем, когда она вздохнула, очнулась и взглянула на него.

— Что вы чувствуете? — спросил он.

— Ах... теперь ничего,— произнесла тихим чудным голосом Машенька.

— Не противно ли вам лекарство, я пропишу другое?..— сказал Иван Данилович, напуганный неугодой вкусу полковницы.

— Ах нет, оно такое приятное,— отвечала Машенька, не сводя томного взора с Ивана Даниловича,— как приму, так и лучше мне...

У Ивана Даниловича забилось сердце: в Машеньке встретил он первого пациента, которому угодил вкусом лекарства. Приятно ли в самом деле медику видеть, как морщатся да еще и плюют на подносимую чашу здравия. В словах: лекарство приятно, по душе — заключалось торжество Ивана Даниловича, его профессии и всей науки.

— Ангел! — произнес он невольно про себя; но известно, что при напряжении нервов чувства ужасно чутки; Машенька слышала, что он сказал, взглянув на нее с умилением сердца.

И вот Иван Данилович почти не отходит от ложа Машеньки. Ей все лучше и лучше; ей только дурно тогда, когда долго задерживает его у себя полковница.

— Ах, как вас долго не было,— говорит она ему,— я было без вас умерла.

В самом деле болезнь Машеньки была особенного роду: редкому медику случается понимать ее. Каждый стал бы пичкать лекарством; но Иван Данилович понял, что болезнь ее есть именно та болезнь, которую из пассивной должно обращать в хроническую, и постоянно, неутомимо, неотлагаемо наблюдать за нею.

Эта болезнь по глазам виднее всего. Иван Данилович и не сводил своих глаз с глаз Машенькиных. Ей как будто самой хотелось, чтобы он проник по глазам в глубину ее души и понял, чем она страдает. Взаимное строгое молчание и взаимная неподвижность были бы непрерывны, если б никто не мешал своим присутствием, участием и беседою некстати. Иногда только и Иван Данилович и Машенька глубоким вздохом переводили дух.

Право сидеть в этом положении по целым дням казалось Ивану Даниловичу таким правом, которого ни одна профессия, кроме профессии мужа, не может доставить.

Он благословлял уже медицину, что она доставила душе его блаженство постигать болезнь Машеньки. Вдруг приказ: имеет такой-то полк выступить немедленно в поход. Это просто ужас в подобных обстоятельствах. Иван Данилович пришел как убитый, ни слова не говорит.

Машенька, взглянув на него, затрепетала.

— Что с вами, Иван Данилович? — спросила мать ее.

— Полк идет в поход. Завтра выступать,— проговорил он.

Машенька вскрикнула и обмерла.

— Машенька! — вскричала и мать, бросаясь к ней.

— Марья Ивановна! — проговорил и Иван Данилович,— о, господи! скорей... чего бы? что тут есть?.. Ах, она умирает!

И он схватил ее руку, стал на колени, и голова его, как срубленная, упала на руку Машеньки.

Вошел отец:

— Что такое?

Вбежала няня, всплеснула руками и онемела.

— Машенька! — вскрикнула снова мать.

— Что такое, душа моя? что с ней? — проговорил отец.

— Матушка, голубушка ты моя! — завопила няня, бросаясь на постелю к ногам Машеньки.

Но вот она стала приходить в себя.

— Спирту!.. воды! — проговорил осиплым голосом Иван Данилович...— Выпейте, Марья Ивановна.

— Не хочу! Я умру! — проговорила измолкшим голосом больная.

— Иван Данилович, помогите! — вскричала мать, схватив его за руки.

— Что я теперь сделаю! Завтра поход! — проговорил Иван Данилович.

Машенька вдруг тяжело задышала, спазматическое рыдание стеснило ей грудь, слезы катились градом.

— Иван Данилович, что мы будем делать, как вы уедете? — сказала, залившись слезами, и мать.

— Я не поеду! я хоть в отставку! Мне нельзя оставить Марьи Ивановны,— отвечал Иван Данилович, не помня себя.

— Марья Ивановна, выпейте воды.

— Ах, дайте! — произнесла она.

Хлебнув воды, она схватила руку Ивана Даниловича и, всхлипывая от волнения в груди, проговорила:

— Не уезжайте, я умру без вас!

— Не уезжайте, Иван Данилович,— повторила и мать.

Отец, стоявший, повеся голову, подле кровати, как будто очнулся; заложив руки назад и задумавшись, он прошелся по комнате.

— Глупо выходить в отставку,— сказал он сам себе.— Послушай, душа моя,— продолжал он, позвав жену,— ну, каким образом Иван Данилович выйдет для нас в отставку?.. Он по доброте, пожалуй, на все готов, да чем же мы ему заплатим?

— Ах, мои батюшки, да что ж делать-то? уморить Машу? Он сам видит, что нельзя ее оставить так.

— Да чем же мы заплатим-то за это?

— Чем? Уж он будто такой человек, что будет с нас требовать платы.

— Хм! Из каких же доходов он бросит службу?

— Из каких!.. Ох уж не люблю, как такие вещи говорят!.. Да и до того ли теперь; дочь умирает, а он думает, чем расплачиваться с доктором! Право!

— Ох, вы!

Машенька поуспокоилась. Но отец ее все еще продолжал беспокойно ходить по комнате; вызвал потихоньку Ивана Даниловича и, откашлянувшись, сказал ему:

— Иван Данилович, я вам признательно вперед должен сказать, что мне нечем платить за заботы ваши о Маше... Вы же сказали, что готовы и службу оставить, лишь бы не оставить ее без помощи...

— Нельзя оставить ее в таком положении,— сказал смущенный Иван Данилович.

— Чем же мы заплатим вам за такую жертву?

— Мне ничего не надо.

— Ну, мое дело было сказать.

На другой день полк выступил; а Иван Данилович взял на две недели отпуск.

Он спокоен, и Машенька спокойна, встает уже с постели весела; но время отпуска прошло. Иван Данилович задумался.

Машенька что-то опять припала.

Несмотря на материнскую прозорливость, мать ее нисколько не понимала ее болезни. Она думала, что, слава богу, Машеньке гораздо лучше; но отец, спроста, понял, в чем дело.

— Иван Данилович,—сказал он ему,— вы подняли Машу из гроба... а мы вам обязаны по гроб... чем заплатить вам за добро!.. Маша у нас одно богатство... берите хоть ее, если по сердцу.

У Ивана Даниловича слезы выступили из глаз от радости, он бросился на шею к отцу.

В это время вошла мать Машеньки.

— Душа моя, я говорил тебе, что с Иваном Даниловичем придется расплачиваться за вылечку Маши... он просит многонько... словом, все, что у нас есть за душой.

Она испугалась.

— Иван Данилович,— проговорила она,— вы знаете, что мы не имеем состояния, рады отдать вам все, да ведь у нас дочь невеста...

— Вот то-то и есть, что дочь невеста,— сказал отец.

— Так вы сами подумайте...

— Он уж думал об этом.

— Что думал?

Иван Данилович, смущенный, безгласный, бросился к руке.

— Осчастливьте!

— Господи!

И так далее. Машенька вспрыгнула от радости три раза: на шею отца, на шею матери и на шею Ивана Даниловича. Денщик Филат надулся: он думал, что вот тебе раз! Пойдет хозяйство! Да какова-то еще!

V

Женитьба — прекрасная вещь: спросите у всех, которые женились и вышли замуж по душе и живут себе припеваючи в любви и согласии. Но это, говорят, просто счастье: чужая

душа, говорят, потемки. Ну, засветите фонарь: друга и посреди белого дня надо искать со свечой.

Иван Данилович женился. Марья Ивановна, несмотря на страшное впечатление, которое производила на нее шпага, висящая у боку его, вышла за него замуж с условием, чтоб он никогда не обнажал этого убийственного орудия и не ходил на войну.

— Помилуй, Машенька, чего ты боишься! — говорил ей Иван Данилович,— ведь это больше ничего, как оффиция.

— Ну, ну, ну, оффиция! Бог с ней! Поставьте ее в угол, Иван Данилович, я боюсь ее.

— Эх, сударыня-барынька, вот этим только вы изволите быть не хороши, что шпагу не любите,— заметил Филат, который всегда вмешивался в беседу молодых супругов,— сами вы посудите, как же барину быть без шпаги?.. Не приходится, сударыня; ведь он не арестованной... Видите ли что...

— Ну, разговорился, ступай себе! — прервал его Иван Данилович, который, однако же, привык к радушной бесцеремонности Филата.

— А вот как пошлете за чем, так и пойду. Что ж мне так-то ходить,— отвечал Филат,— на кухне у меня все в исправности; там я сам за собой хожу; а вот здесь барынька-то еще порядков не знает, так и надо присмотреть, не равно что спросите.

Ивану Даниловичу надоедает присутствие Филата, а Марья Ивановна рада ему; ей все кажется, как будто опасно оставаться одной с мужчиной.

— Не гоните его, Иван Данилович,— упрашивает она, когда Иван Данилович скажет: «Ну, ступай, ступай себе!»

Женившись и отправляясь на новоселье полка, Ивану Даниловичу неудобно было взять с собою женскую прислугу, и потому решили до приезда на место обойтись без нее.

— Да и зачем,— говорил Иван Данилович,— у меня Филат и кухарка и прачка; вот только разве девка будет нужна одевать Машеньку.

— Вот какие пустяки! — возражала Машенька,— как будто я сама не могу одеться!

— Она у меня с малолетства так приучена, что уходов больших за ней не нужно,— прибавляла мать.

Таким образом молодые супруги и отправились в полк, в сопровождении только одного Филата, а *Филат тому и рад;* потому что он уже начинал горевать и задумываться: уж как заведутся где, думал он, бабы, так там порядка не ожидай!.. это уж такая порода. Удостоверившись же, что все должности остаются при нем, да еще сверх должностей кухарки и прачки возлагается на него должность горничной,— Филат ожил.

— Да что они думают,— бормотал он под нос,— велик труд прислужить барыне? Подать умыться или на шею платочек-то подать? Поди-ко-сь! Нет уж, сударыня-барынька, вы не извольте

насчет меня беспокоиться; я видел всю прислугу-то девичью; вот только разве манишечек не разглажу... Не разглажу, так выкатаю, так еще и лучше будет, ей-богу, сударыня.

— Манишечку я сама разглажу,— говорила Марья Ивановна.

— Так вот оно и все. А вот что я скажу вам по долгу обязанности. У барина-то теперь вы будете справлять, что я справлял; примерно: чай разливать, вы, сударыня-барынька, взяли на свою ответственность, а не знаете еще, как распоряжаться. Давеча изволили налить и барину в чашку; он и пил, ни слова не сказал вам, верно посовестился сказать на первых порах, что он терпеть не может пить в чашке. Так уж вы извольте ему в стакан наливать. Да и сливок-то простых он не любит, а вы налили ему.

— Ах, боже мой,— вскричала Марья Ивановна,— что ж ты мне давеча не сказал?

— Думал, что сам барин скажет, а он, верно, посовестился... Да еще, вот давеча, я побежал за щеткой, а вы подали барину сами мундир; а порядку-то не знаете, мундир-то он надел, а портупею-то вы не подали. Вот я и отвечай; сами слышали, как он прикрикнул: что ж ты, говорит, шпагу подаешь, а портупея-то где? а?

— Ах, боже мой, я, право, этого не знала.

— То-то же, сударыня-барынька. Так вы не извольте не за свое дело браться; а я уж свое знаю: слава богу, не какая-нибудь служанка — орешки на уме.

Таким образом Филат учил свою барыньку порядкам в доме и был так исправен и по части горничной, что не только Иван Данилович, но и Марья Ивановна, приехав на место, забыли о женской прислуге: нет в ней ни малейшей необходимости.

Так прошел год. Ивану Даниловичу бог дал наследника. Вы подумаете, может быть, что прислуга неизбежно увеличилась? Что завелись на квартире Ивана Даниловича няньки и кормилицы? Нимало! этих должностей Марья Ивановна сама никому не уступила. Она довольствовалась только помощью Ивана Даниловича и Филата. Честолюбие и способность Филата распространялись и на обязанность няньки.

— Экой труд,— говорил он,— нянчиться с ребенком — да еще как весело-то: агу! Васенька!.. вишь какого славного молодца дал нам бог!.. Пеленочка-то, сударыня-барынька, немножко мокренька, надо посушить, позвольте-ко я сбегаю посушу перед печкой.

— Нет, лучше чистую; посмотри-ко, чтоб не упал!

— Не беспокойтесь уж. Васенька! агу!.. Право, спать-то ему не хочется... не сварить ли кашки?..

На другой год Ивану Даниловичу бог дал дочку. Васенька поступил на полное попечение Филата. Филат и на базар сбе-

гай, и свари, и подай, и вычисти, и вымой, и убаюкай Васеньку, и накорми его кашкой, и понянчи его, и везде Филат, и на все ему время: Васенька, как будто по щучьему веленью, спит себе крепко, покуда Филат сбегает за провизией, пока исправляет прочие должности.

Иван Данилович Увалень просто блажен и женой и денщиком. Придет от должности, жена бежит навстречу с Лизанькой.

— На-ко поиграй этой игрушечкой.

— Нет уж, извините, мой-то Васенька получше,— говорит Филат, сидя на разостланном ковре подле Васеньки.— Извольте-ко посмотреть, как мы будем маршировать да выкидывать темп.

И он возьмет красное деревянное ружьецо, начнет выкидывать темп; Васенька, подражая ему, взмахнет ручонками и зальется смехом.

— Ну-ко, ну, сам.

И Филат даст Васеньке в руки ружье; Васенька схватит — хлоп по голове учителя и снова захохочет.

— Молодец!.. Славно!.. Извольте-ко, Иван Данилович, посмотреть за ним, а я подам кушать.

Еще не с большим через год в команду Филата поступила и Лизанька. Иван Данилович на службе, Марья Ивановна кормит и нянчит и убаюкивает Леночку; Филат обложит Васеньку на ковре подушками и игрушками, даст в руки морковку, а сам укачивает на руках Лизаньку. Только-что она уснула, он ее в люльку, да и марш.

— Извольте, сударыня-барынька, смотреть, чтоб не убился Васенька, а я сбегаю за молоком.

И сбегает.

Проходит еще год, семья Ивана Даниловича увеличивается, то же самое жалованье растягивается на все потребности; все надо прикрыть; а между тем то там, то сям голо. Но что делать!

К счастию или к несчастию Ивана Даниловича, или ни к тому, ни к другому, полк был переведен на новые временные квартиры. Под штаб назначено было село Притычино. Иван Данилович с семейством своим также прибыл в село Притычино и вскоре заболел было горячкою. Полк отправился в поход, а он остался на несколько дней на месте, чтоб собраться с силами.

В это-то время прибыл в свое имение Чаров. Так как это событие нисколько, казалось бы, *не касалось* до Ивана Даниловича, то он, поднявшись на ноги, тотчас же сказал Марье Ивановне.

— Поедем, душа моя, пора!

Марья Ивановна убедительно просила подождать денька два-три, покуда посаженная ею курица на яйца высидит цыплят; Иван Данилович согласился.

— Эх, сударыня-барынька, болтуны будут, а не цыплята: и наседке-то не сидится что-то на месте,— сказал Филат, как будто по какому-то предчувствию.

Прошли три дня. Оказалось, что Филат прав, вышли болтуны.

— Ну! едем, господи, благослови! — сказал Иван Данилович, усаживая жену и детей в бричку.

— Да уж поздно.

Только что Филат уселся на козлы, а Иван Данилович занес ногу на подножку брички, вдруг бежит дворовый человек сломя голову.

— Стой! стой!

— Что такое?

— Сделайте милость, сударь, пожалуйте в дом. Барин приказал просить вас Христом богом: госпожа заболела.

— Да, братец... видишь,— сказал Иван Данилович.

— Сделайте милость, хоть на минутку! Уж там не моя будет вина, как вы сами откажетесь.

— Ах ты, господи! — проговорил Иван Данилович с досадой.

— Что ж делать, душа моя! — сказала Марья Ивановна,— нельзя же, люди помощи просят.

— Уж конечно,— пробормотал с досадой и Филат,— как поймали за хвост, так не уйдешь!

— Ну, нечего делать, схожу на минуту,— сказал Иван Данилович.

Навстречу ему другой посланец, третий, наконец сам Чаров.

— Сделайте одолжение, помогите жене моей,— сказал он, взяв руку Ивана Даниловича и ведя его в покой, где Саломея лежала в постели и стонала.

— Ernestine!.. вот доктор.

Иван Данилович посмотрел на нее, взял руку, считает биение пульса, качнул головой.

Чаров испугался.

«Пустяки!» — думает Иван Данилович.

— Сделайте милость, помогите, я вам буду благодарен по гроб.

— Я принесу лекарства из своей аптечки, это ничего, пройдет,— сказал Иван Данилович.

Нечего делать, надо было вытаскивать из брички чемодан, из чемодана аптечку, из аптечки пузырек.

— Подожди, душа моя, я сейчас,— сказал Иван Данилович жене,— между тем уложите опять все в бричку.

— Да, сейчас! — сказал Филат,— что у барыни-то, верно, спазмы?

— Спазмы.

— Ну, будет такой же час, как у полковницы.

Филат отгадал. Капли поуспокоили чуть-чуть Саломею; но Чаров решительно сказал Ивану Даниловичу, что он его не пустит, покуда жена его не почувствует себя вполне здоровою, и тут же, что называется, с *оника* дал ему сто рублей серебром. Иван Данилович не из денег, но по доброте сердца и по усиленной просьбе дал слово остаться еще на день, уверяя, что *это пройдет само собою.* Но когда Иван Данилович возвратился на квартиру, объявил жене, что остается до завтра, вынул из кармана ассигнацию и развернул — Машенька ахнула, а он остолбенел.

Деньги... но кто не знает, что только дай деньги в руку, воображение тотчас же начинает писать бюджет необходимых расходов и так займется этим делом, что все забыто.

Филат повесил голову.

— Что ж, сударь, кушать, что ли, готовить? — спросил он Ивана Даниловича поутру, когда тот торопился навестить больную.

— Нет, нет, мы поедем сейчас же! — отвечал Иван Данилович, уходя.

— Да! поедем! Барыньке-то голодом просидеть, покуда поедем?

И он начал готовить суп из той самой курицы, которая высидела болтунов.

— Что, как чувствует себя ваша супруга?

— Не совсем еще... вот не угодно ли войти.

— Что, сударыня?

— Скажите ему, что спазмы утихли... но вот здесь болит,— отвечала Саломея по-французски, указывая на бок.— И голова очень дурна.

«Хм! придется составить микстурку...» — подумал Иван Данилович.— Я пришлю вам микстурку, так извольте давать через час по ложке, и все пройдет; а уж меня извините, мне, ей-богу, надо ехать.

— Нет, как вам угодно, я вас убедительно прошу пожертвовать мне несколькими днями,— сказал Чаров.

— Он хочет ехать? — спросила Саломея,— пожалуйста, не отпускай, я здесь умру без помощи... Я чувствую страшное расслабление.

— Я ни за что не пущу его,— отвечал Чаров и уговорил Ивана Даниловича остаться еще на день, потом еще на день.

— Да помилуйте, я не могу,— сказал, наконец, решительно Иван Данилович,— я служу, остался здесь без отпуска, мне надо непременно ехать.

— Ска-а-тина! — сказал по привычке Чаров, но про себя.— Послушайте, Иван Данилович, угодно вам будет принять мое предложение?

— Какое?

— Быть медиком при моих именьях, с двумя тысячами руб-

лей жалованья. Квартира здесь в доме, во флигеле, экипаж, прислуга, провизия и, наконец, все, что вам угодно?

Иван Данилович задрожал от неожиданного счастья. Прослужив определенный срок в полку, он давно уже рассуждал с женой о затруднениях походной жизни с семейством и желал получить какое-нибудь оседлое местечко с хорошим жалованьем.

— Я поговорю с женой,— сказал он Чарову и тотчас же побежал на квартиру, и вместо всех разговоров и совещаний крикнул: — Маша! Я выхожу в отставку.

Марья Ивановна побледнела, не понимая, что это значит.

— Поздравь, душа моя, и меня и себя: две тысячи рублей жалованья, квартира, прислуга, экипаж, провизия!..

Марья Ивановна всплеснула руками от радости. Он рассказал ей о сделанном предложении, и тут же вместе сочинили они счастливую свою будущность; решили, и Иван Данилович пошел в дом, объявил Чарову, что он согласен и тотчас же подаст в отставку.

— Очень рад,— сказал Чаров.

Филат, готовя кушанье в задней избе, ничего не знал и не ведал об этом решении.

— Филат! Филат! — закричала Марья Ивановна, когда он пришел накрывать на стол,— знаешь ли что?

— Что, сударыня?

— Ведь мы остаемся здесь.

— Как?

— Иван Данилович выходит в отставку.

— Владыко ты мой, царь небесный! что это он вздумал?

— Да как же,— продолжала Марья Ивановна,— он будет медиком при этом именье, будет получать две тысячи в год жалованья, квартиру, экипаж, прислугу...

— Ооо! Господи ты мой! — завопил Филат, хлопнув тарелку об землю.

— Что это ты, Филат, бог с тобой! — вскрикнула Марья Ивановна, вздрогнув,— ты испугал Леночку.

— Ничего,— отвечал Филат, выходя из комнаты.

Вышел он, остановился посреди двора и зарыдал. Это были первые слезы Филата после того, как ему забрили лоб. Солдатская душа даром не плачет.

Выплакался, постоял на месте, задумавшись, вздохнул, пошел, споткнулся на камень...— пьфу!..— да как схватит его, хлоп об стену...

— Собака проклятая!

Снова вздохнул и побрел на кухню. Но тут словно как запретили ему заботиться обо всем, словно как не его уж дело быть *кухмистером,* чумичкой, прачкой, слугой. Постоял, постоял — пошел к воротам, сел на завалинку.

Вот Иван Данилович торопится что-то домой.

Филат и не думает вставать перед ним.

— Филат! — кричит издали Иван Данилович. Филат не отвечает.

— Филат! — повторяет Иван Данилович, озабоченный каким-то душевным довольствием,— собирай сейчас все, да переносить в дом... там покажут тебе комнаты...

— А обедать-то когда? — спросил Филат, вставая.

— Не нужно, там будет у нас и стол поварской.

— Иван Данилович! — проговорил Филат упрекающим голосом и качая головой.

— Ну?

— Иван Данилович! Бог с вами! Что вы делаете?

Как ни крепился Филат, а слезы брызнули, и он, закрыв лицо руками, зарыдал.

Иван Данилович как будто вдруг очнулся от очарования, понял упрек, остановился, смотрит на Филата, задумался.

— Иван Данилович! — начал снова Филат,— кого вы это слушаетесь, сударь, такие дела делать!.. Барыньки, что ли, послушались? Молода еще Марья-то Ивановна советы вам давать выходить в отставку... На деньги польстились: жалованья стало мало... Поди-ко-сь! много человеку нужно: до сей поры жили же!.. а тут вдруг, ни с того ни с сего... Ну, мало, возьмите и мое, какое ни на есть, все-таки деткам-то вашим на молочко да на кашку достанет... С меня и пайка довольно...

— Иван Данилович! — раздался из окна голос Марьи Ивановны.

Филат умолк. Иван Данилович, повесив голову, вошел в избу. Марья Ивановна сидела у окна и заливалась слезами.

— Машенька, душа моя, о чем ты плачешь? — спросил Иван Данилович, испугавшись.

Он привык к слезам полковницы и всегда смотрел на них равнодушно, но слезы Марьи Ивановны как будто канули ему на сердце.

— О чем ты плачешь, друг мой? — повторил он.

— Ни о чем,— проговорила Марья Ивановна и еще горчее залилась слезами.

Не понимая причины, Иван Данилович насилу унял слезы ее.

— О чем же ты плакала?

— Мне показалось, что вы передумали... Филат вам, бог знает, что наговорил...

— Помилуй, я буду слушать Филата! Вот тебе раз!.. Что я, Вася, что ли, которому он сказки рассказывает... Филат! — крикнул Иван Данилович,— укладывай! да переносить все в дом!

— Да что, Иван Данилович, я уж вам не слуга: я служил вам, покуда вы на царской службе были; а теперь у вас там, чай, есть целая дворня...

— Как ты смеешь грубиянить?

— Я не грубияню, а правду говорю.

Иван Данилович вспыхнул гневом и заходил по комнате.

— Я сама уложу все,— сказала Марья Ивановна и бросилась все прибирать.

— Уж не извольте беспокоиться, сударыня,— сказал Филат,— не ваше дело.

В это время вошел человек, присланный от Чарова.

— Барыня приказала просить вас поскорее к себе,— сказал он,— а если что нужно переносить из поклажи, так я привел с собой двух человек.

— Вот кстати,— сказал Иван Данилович,— распорядись, душа моя, а я пойду.

— Хорошо,— отвечала Марья Ивановна с веселым взором и велела было пришедшему человеку нести чемодан.

— Куда нести? — крикнул Филат,— нет уж, я не дозволю чужому человеку дотронуться до господского: я за все отвечаю. Ступай, брат! на руках-то тебе ничего не достанется нести: у нас есть бричка. Всякое дело хозяина знает. Ступай!

— Как прикажете? — спросил лакей у Марьи Ивановны, воображая, что Филат, верно, пьян.

Затронутое самолюбие взволновало ее, но, боясь грубого Филата, она проговорила:

— Ступай! он сам уложит и перевезет.

Ни слова не говоря, надутый, как мышь на крупу, Филат исполнил свое дело; уложил все в бричку, запряг лошадей и донес Марье Ивановне, что все готово.

Переезд был не далек. Флигель по ветхости неудобен был для жительства. Ивану Даниловичу с семьей отвели две комнаты в доме; две комнаты, проникнутые насквозь тлением; но потолок еще держался, стены стояли; обои прикрывали смертные недуги их; но гноище проросло грибами из-за подполья. Их очистили, и комнаты, уставленные прочной старинной мебелью, показались для Марьи Ивановны, после черных и душных изб, роскошью, какой лучше желать нельзя.

Для прислуги дан был дворник и его единородная дщерь Татьяна. О завтраке, обеде, ужине, самоваре нечего было беспокоиться: в определенное время все это являлось, как в волшебных сказках. Толстый буфетчик придет, молча раскинет скатерть, поставит приборы, принесет кушанье, доложит: «Готово кушать, самовар готов!» — и дай бог только хороший аппетит.

Филату негде уже приткнуться, не о чем похлопотать. Ходит, повеся голову, посмотрит на все да вздохнет. Ивану Даниловичу некогда обращать на него внимание. Иван Данилович написал уже прошение об отставке, отослал с нарочным в город на почту и стережет здоровье Саломеи, которая что-то расхворалась. Марья Ивановна и позабыла о Филате. Она еще восхищается всеми удобствами новой жизни.

Ходит Филат как убитый; сначала звали его на кухню обедать; «убирайтесь вы, с вашим обедом!» — отвечал он. Оставался еще запас черного хлеба, испеченного им для господ и для себя. Отрежет ломтик, съест, запьет водицей и сядет на крылечке или пойдет к воротам, как дождевая туча. Там никто не видит, как он утирает слезы.

Пройдет мимо его Иван Данилович, он встанет и стоит, повеся голову, покуда он пройдет. Но что-то у него на душе, что-то он сказал бы ему, да язык не поворотится. Вот вышел запас хлеба, провианту нет, неоткуда получать, а просить куска хлеба Филат не станет. Денег у него ни копейки.

Думает Филат думу, и надумался. Вошел к Ивану Даниловичу, который занят был составлением лекарства.

— Иван Данилович,— сказал он тихо.

— Что тебе?

— Извольте уж отпустить меня в полк, что мне здесь делать?

И с этими словами Филат утер рукой слезу, выступившую из глаз.

Иван Данилович взглянул на него, и хрустальная ступочка выпала у него из рук, разлетелась надвое; невольным движением столик, на котором он разложился с своей аптечкой, грохнулся; стклянки, пузырьки разлетелись вдребезги.

Марья Ивановна вскрикнула от испугу.

— Иван Данилович, что вы наделали! — вскричал и Филат, бросясь подбирать все с полу.

Иван Данилович всплеснул руками и онемел.

— Это все ты, проклятый! — крикнул он наконец,— пришел тут толковать мне под руку!

— Да, кто ж как не я... Я, Иван Данилович!.. До сей поры служил верой и правдой, худого слова от вас не слыхал; а тут... ну, да уж что говорить! Позвольте мне идти в полк.

— Ступай, убирайся!.. Вот тебе и все... Что я теперь буду делать без аптеки?.. Господи!..

— Так так-то, Иван Данилович, на прощанье-то... Бог с вами!.. Прощайте, Марья Ивановна!.. Васенька!..— И Филат зарыдал, выбежал вон, схватил свою амуницию, накинул сумку на плечи, перекрестился и пошел.

В это самое время Саломея лежала на диване и охала. Чаров ходил в каком-то недобром духе по комнате.

— Долго ль я буду ждать его? этого коновала!

— Послал, ma chère... Сам пойду.

И Чаров, нахмурив брови и плюнув, так, чтоб больная не слыхала, пошел к Ивану Даниловичу. Иван Данилович сидел, повеся голову, а Марья Ивановна, приклонив голову к нему на плечо, утирала слезы. Перебитая вдребезги аптечка стояла перед ними на столике, как ящик Пандоры, из которого вышли все их несчастия.

— Что ж, Иван Данилович,— крикнул Чаров, входя,— скоро ли вы?

Иван Данилович и Марья Ивановна вздрогнули от неожиданного его появления и строгого голоса.

— Беда случилась,— проговорил робко Иван Данилович, вставая со стула.

— Что такое?

— Вот... разбилась...— отвечал Иван Данилович, приподнимая с полу отбитое горлышко пузырька.

— Что ж вы будете делать теперь? лечить без лекарства?

— Я напишу рецепт... можно послать в аптеку...

— В какую аптеку? в город: почти сорок верст? Через час понадобится новое лекарство — опять посылай? Десять раз на день будете переменять лекарство, и все посылай?

— Что ж делать... свойство болезни такое...

— Скажите пожалуйста! Больной виноват, что вы не отыщете в своей медицине, чем его вылечить!..

— Нет-с, это не то... Если бы, собственно, болезнь... так на болезнь есть лекарство,— начал было Иван Данилович, но доброе сердце его и робость не договорили правды.

— Позвольте,— сказал он,— я сам съезжу в город, пополню аптечку... поутру я возвращусь...

— У-урод! — проговорил Чаров про себя.— Извольте ехать! да прошу вас скорей!

Приказав запрячь немедленно же тройку в повозку, Чаров, задумавшись и в тревожном духе, сам отправился на конюшню, простоял безмолвно, покуда запрягали лошадей, потом начал ходить по двору; казалось, что он боялся войти к Саломее до возвращения доктора из города.

— Ох! уж мне эти болезни! — проговорил он, наконец, направив стопы к дому.— Оханья, стоны, жалобы... Урод! говорит, что это не болезнь!.. Здоровая скаатина! По нем все притворяются страждущими, выдумывают разные боли, чтоб только иметь удовольствие пить его поганое лекарство!.. Какая скука!.. Фу! черт! Навязал на шею тоску!..

Между тем Саломея очень грациозно лежала на диване. Когда Чаров вышел торопить доктора, боли как будто утихли в ней; она о чем-то задумалась.

Сильное впечатление боязни быть узнанной матерью и в то же время возгоревшаяся страсть к Георгию, который так хорошо, так вполне созрел для любви, подействовали болезненно на Саломею. Приехав в Притычино с Чаровым и решаясь на полную роль мадам де Мильвуа, Саломея не могла покорить в себе тяжких впечатлений собственной судьбы. Нервы ее были потрясены, дряхлый дом и мрачные комнаты, наводящие уныние и думу о невозвратном прошедшем, о бренности настоящего и неизвестности будущего, развили в ней страх и отвращение ко всему. Присутствие Чарова ей было тягостно; ласк его она не

могла переносить; решительность упрочить судьбу свою в лице мадам де Мильвуа исчезла. И вот к расстроенному духу присоединилось притворное страдание то головной болью, то внутренним жаром, то расстройством желудка. Притворство входит в привычку, мнимая болезнь вызывает настоящую, воображаемую беду можно накликать; и все это обращается в боязнь за себя; а медицина за все отвечай. В этом положении была Саломея по приезде в Притычино. Желая восстановить в себе дух, она потребовала доктора.

Доктор на беду его нашелся под руками. Назначил диету, дал лекарства. А лекарства, говорят, из притворной болезни решительно рождают настоящую или, по крайней мере по системе Ганнемана, все признаки. Саломея больна, имеет все права жаловаться на болезнь. Но она чувствует, что от лекарства Ивана Даниловича все хуже и хуже.

Когда послышались шаги Чарова, который, не зная, как сказать ей о несчастии, постигшем аптечку Ивана Даниловича, шел медленно, придумывая успокоительные речи вместо успокоительных лекарств, Саломея вдруг почувствовала снова боль и заохала.

— Боже мой, я страдаю,— проговорила она,— и никто не поторопится подать помощь!..

— Ма chère,— сказал Чаров,— успокойся, сейчас привезут лекарство... Вот видишь что: этот Иван Данилович думал продовольствоваться своей глупой аптечкой... но я послал его в город за лекарством, необходимым для тебя... он сейчас же возвратится...

— Ах, он меня уморит!.. Я это чувствую!..

— Так лучше всего ехать в Москву, ma chère Ernestine. Поедем в Москву; там все лучшие доктора к твоим услугам. В самом деле, я также не очень полагаюсь на этого полкового лекаришку.

— В Москву!..— проговорила Саломея, задумавшись.

— Когда твое здоровье поправится, мы возвратимся тотчас же сюда; а между тем здесь все будет возобновлено к нашему приезду, и мы проведем лето в блаженном уединении,— сказал Чаров, взяв руку Саломеи.

Саломея не отвечала ни слова, глубоко вздохнула.

— Так ли?

— Ах, постойте! Я не могу переносить принуждений.

Чаров встал с места, также вздохнул и начал ходить по комнате.

Между тем Иван Данилович распростился с Марьей Ивановной и помчался в город пополнять свою аптечку.

Марья Ивановна была в отчаянии. Она не испытала еще горя разлуки. Ей страшно было отпустить Ивана Даниловича в дорогу без себя; бог знает, что может случиться. Со слезами на глазах она проводила Ивана Даниловича, простояла до

сумерек на крыльце, смотря на дорогу, возвратилась в комнату как убитая, не спала целую ночь, просидела целое утро у окна и в этом положении забылась, несмотря на крик и шум детей.

Но вот около полудня возвратился благодатный. Соскочив с повозки, Иван Данилович вбежал в комнату, крикнул: «Машенька!», бросился к жене и так перепугал ее, что она, очнувшись, задрожала, насилу пришла в себя и, вместо радости, залилась слезами.

Успокоив ее, Иван Данилович принялся составлять микстуру; составил и побежал на другую половину. Двери заперты; никого нет.

Он в переднюю, и в передней пусто. Он опять к дверям, постучал легонько — никто не отвечает.

— Что ж это значит?

Вышел на крыльцо. Видит, что Трифон запирает ставни.

— Трифон, где люди?

— Какие?

— Да вот... ваши,— проговорил Иван Данилович.

— Какие наши? Господские-то? Уехали с барином.

— Как уехали?

— Да так, как уезжают. Барин поехал в Москву, и они за ним.

— А госпожа?

— А госпоже-то здесь, что ли, остаться одной?

— Да ведь она больна.

— Ага; ее так-таки сам барин под руки в карету посадил.

— Да скажи пожалуйста... Как же это...— продолжал расстроенный этой новостью Иван Данилович.

— Как, как?

— Да скажи пожалуйста... ведь... да что ж барин сказал, уезжая?

— Ничего не сказал. Он такой был, что-то не в духе. Чуть-чуть было не прибил кучера за то, что лошади дернули, как он сажал госпожу-то в карету.

— Хм! — произнес Иван Данилович, задумавшись и возвращаясь в свои комнаты.— Машенька, помещик-то уехал в Москву; что ж ты мне ни слова не сказала?

— Да и я не знала, мне только сейчас сказала Татьяна; я спросила, что ж не подают чай, а она говорит: «да кому ж подавать-то: буфетчик уехал с барином».

У Ивана Даниловича руки опустились.

— И все уехали, и повар уехал, и обеда не готовили... я не знаю, что ж мы будем обедать?..— сказала смущенная Машенька, смотря на Ивана Даниловича.

— Что ж это такое,— проговорил он,— я уж этого и не понимаю?.. Верно, она опасно заболела... Он, верно, сделал какие-нибудь распоряжения... Пошли Татьяну за управляющим Васильем.

— Ох, подите вы! пойду я к этому озорнику! — отвечала Татьяна.

Иван Данилович отправился сам.

Управляющий Василий был не что иное как дворовый человек, которому поручено было собирать и доставлять к барину оброк с именья.

— Барин уехал? — спросил Иван Данилович.

— Уехал,— отвечал Василий, который привык только с барином и при барыне говорить по-человечески.

— Он... говорил насчет меня что-нибудь? — продолжал Иван Данилович.

— Что такое-с?

— Насчет положенья... обо мне?

— Об вас? Никак нет, ничего не говорил,— отвечал Василий, посмотрев искоса на Ивана Даниловича.

— Это странно!

— Да вам подводу, что ли, ехать отсюда?

— Какую подводу, когда барин твой предложил мне быть медиком при этом именье.

— При этом именье? — повторил Василий подозрительно. Ему тотчас же пришло в голову опасение, чтоб Иван Данилович не сделался в имении господским глазом.

— Да, при этом именье. Он сказал, что мне будет доставлено здесь все необходимое.

— Не знаю; тут у нас ничего нет.

— Каким же это образом? Мне нужна провизия, и по крайней мере кухарка.

— Этого уж я не знаю.

— Но, вероятно, барин забыл отдать тебе приказ.

— Не знаю; у нас провизии никакой тут нет, ни заведений нет никаких,— пробормотал Василий под нос себе, зевая.

— Я напишу к барину, а между тем мне нужно что-нибудь есть,— сказал взволнованный Иван Данилович.

— Этого уж я не знаю,— повторял Василий с убийственным равнодушием.

В отчаянии и недоумении что делать, Иван Данилович возвратился в дом.

— Забыл распорядиться насчет меня! Это ни на что не похоже! — крикнул он, хлопнув фуражку на стол,— что мы будем делать?.. Это ужас!.. Наконец, что-нибудь есть надо, а тут никакой даже провизии!..

Но Марья Ивановна кое-как распорядилась уже о чае и обеде. Сама поставила чайник, Татьяну послала купить на селе курицу, масла, молока, каких-нибудь овощей.

— Что ж ты беспокоишься, что за беда такая, что забыл,— говорила Марья Ивановна в утешение мужу,— и ты, я думаю, забыл бы все, если б я, избави бог, опасно заболела. Напиши

к нему, вот и все. Он и пришлет приказ управляющему отпускать нам все, что нужно.

— Напишу,— проговорил Иван Данилович,— да это... все-таки неприятно... сесть на мели!.. Если б знал... черт бы меня принудил подавать в отставку!.. да еще и Филата отпустили...

— Полно, пожалуйста, как тебе не стыдно говорить такие вещи!..

— Да, говорить!..

Утолив свой голод стряпаньем Марьи Ивановны, Иван Данилович успокоился.

— И в самом деле,— сказал он,— с таким капризным чертом, как его жена, не трудно все забыть. Я ему напишу.

Иван Данилович написал что следует к Чарову, послал письмо к управляющему, чтоб отправить к барину, но управляющий отвечал, что ему не с кем посылать.

Иван Данилович принужден был нанять посланца.

Ждет ответа неделю, две. А между тем настали сильные дожди. Стены отсырели, текут, холод в комнатах ужасный.

— Любезный, здесь жить нельзя,— сказал Иван Данилович, призвав Трифона,— отведи, пожалуйста, другие комнаты.

— Об этом уж извольте написать барину: без его приказу я не смею,— отвечал Трифон.

И вот новое письмо к Чарову.

Проходит месяц, ни ответа, ни привета. А между тем деньги на исходе, а жалованья не из полку ждать.

Иван Данилович и Марья Ивановна в отчаянии. Начинают уже припоминать счастливое житье-бытье в полку, вспоминать Филата и его слова.

— Вот оно, душа моя,— повторяет Иван Данилович,— Филат-то правду сказал, что выйдет болтун.

У Марьи Ивановны часто уже слезки на глазах.

Написал Иван Данилович еще и еще письмо к Чарову; но Чарову не до него: у Чарова на руках нещечко Саломея. К тому же в докторе ему уж нет необходимости.

— Скаатина! Что он тут городит? Ведь я дал ему сто рублей серебром за визит, чего ж ему больше?.. Написать к нему, что медик при именье уж не нужен: может опять поступить на службу, в полк.

Часть одиннадцатая

I

Нашему мнимому магнату Дмитрицкому очень хорошо было жить в Москве. Действительный магнат пользовался бы одной стороной жизни, а он обеими: направо брал счастьем, налево — искусством. Дни и ночи нашего магната проходили как следует, в полном рассеянии посреди большого света, по известным обрядам, клонящимся, по мнению Ира, к убийству золотого времени, а по мнению Креза, к убийству свинцового времени. Существенная страсть Дмитрицкого удовлетворялась в клубе как нельзя больше, сердечное честолюбие также; он был взыскан блистательными светилами гостиных и осыпан почестями: воспеваемые поэтами звезды первой величины и звезды восьмой величины, производимые астрономами на вакансию планет, только что не вешались к нему на шею, как ордена. Казалось бы, чего еще желать самому взыскательному светскому человеку: только что раскрыл рот, как птенец — сладкий кусок готов; только что распахнул сердце, пылающее как ад — грешница готова; только что зевнул — явились *игры* и *смехи;* устал от приятных волнений души, надоело сладостное щекотанье чувств — бездонное лоно сна нежнее пуха, мягче воды.

Но всех этих удовлетворений мало. Не двигаясь с места, не возносясь от земли, можно еще жить без горя; но предаваться волнам и ветрам без горя нельзя: оно балласт и для корабля и для аэростата; нет существенного — надо заменить воображаемым, чтоб что-нибудь тяготело на душе.

Всякое существенное горе нашему магнату было нипочем. Он играл им, как какой-нибудь *геркулес* пудовиками, взбрасывал как мяч и подставлял шею. Устроив себе вполне беззаботную участь, надо же было иметь хоть какую-нибудь заботу.

Есть люди, созданные для страстной любви друг к другу, на взаимное счастье. В противоположность им есть люди, рожденные для страстной ненависти один к другому, на взаимную беду. Вы помните, как страстно возненавидел Дмитрицкий Саломею. Эта страсть в нем не потухала.

— Дрянь! нарумянилась! не понимает, что бледность идет ей к лицу! — повторял Дмитрицкий в тот же вечер и после того вечера, когда, явясь перед Саломеей как привидение, ни с того ни с сего напомнил ей, что нельзя выходить не только от живого молодого мужа замуж за старика, но и от живого, дряхлого и никуда не годного мужа замуж за цветущего молодостью и силами.

После этого распоряжения судьбой Саломеи ни она сама, ни судьба ее не выходили из головы Дмитрицкого. На другой день, задумавшись об ней, он опоздал на званый обед к мосье Baranovsky.

— Желательно знать, что она теперь поделывает?.. Понимай эта женщина сама себя, будь она с сердцем, не становись выше лесу, чтоб не упасть ниже травы... я, ей-богу, без памяти любил бы ее... так бы любил... ух! кости бы затрещали!.. Андре! мосье Андре!

Андре явился на зов как из-под земли. Магнат скомандовал ему немедленно отправиться в дом Туруцкого, узнать о здоровье мадам де Мильвуа.

— Там спросишь горничную Julie[1] и от нее узнаешь. Марш!.. Меня беспокоит это здоровье... О, вторая природа! ты скверная природа! На первую свою природу не могу пожаловаться: душа хоть куда, славная, рабочая душа! а эти чувства — просто ужас! Покуда успел подняться на два с половиною аршина от земли, весь механизм маленького мира перепорчен: сперва потешались им папенька и маменька; потом учителя, потом благодетели. Милый ты мой! на потеху ли создан ты себе и другим? Земной шар на драку, что ли, брошен вам, господа? На, дескать, пиль! становись в ряды, выбирай любую сторону: одна идет змеем, другая зверем; чьему миру быть — змеиному или звериному. Одна сторона кричит: «Внимай!», другая кричит: «Молчи!» Одна не хочет внимать, другая молчать не хочет. Начинается бой. С одной стороны отдают земле, что от земли взято; с другой — отдают богу душу!.. Утомились, ничья не взяла, вздохнули, а потом снова: «Внимай! молчи!» — и снова свалка. И это люди!

Возвратившийся Андре застал нашего магната в беседе с самим собою.

— Мосье,— сказал он,— мадам де Мильвуа, которая жила в доме господина Туруцкого, переехала на другую квартиру, но неизвестно куда.

---

[1] Юлию *(франц.)*.

— Переехала! — крикнул Дмитрицкий,— ты должен мне отыскать ее, слышишь?

— Постараюсь,— отвечал Андре.

— Сейчас же! сию минуту! марш! в галоп!

Андре побежал исполнять приказание.

— Впрочем для чего это? что мне в ней? — продолжал Дмитрицкий. Будь она по моему вкусу, я бы съел ее, право, съел бы... а она... О, да я и теперь готов съесть ее! Она не дает мне покою, мешает мне жить, мешает любить... Чем Амелия Костанская не чудо? мила, хороша, мягка как воск, тает передо мною... да нет: чего-то нет, не по мне, не по душе; сердце, размененное на мелкую монету. Таких можно нанять за три французских восклицания: «Ah! je vous aime! je vous adore!..[1] Это не Саломея, перед которой надо выйти из себя от любви, заклясть свою душу... не Саломея — проклятый северный полюс! ледовитое море!.. А Нильская?.. эта еще милее... ей ужасно как хочется любить и блаженствовать; но кажется, что она *непонятый* кем-нибудь *талант* любви. Ей нужен только *слушатель* жалоб на неверность и непостоянство мужчин; делитель тайного горя, запавшего ей в душу; человек, который не дерзал бы извлечь занозу, но сочувствовал бы ее страданию... Да, это не Саломея, которая фыркнет — и решено. Однако ж; во всяком случае, поеду к Нильской... Я сам теперь что-то в духе бранить женщин. Она будет бранить скверный пол, а я буду бранить прекрасный пол; но из учтивости вместо *женщины* буду говорить *мужчины;* это нас сблизит с ней: единство чувств и понятий удивительно как сближает людей. Я скажу ей: «Мужчины? о, боже мой! посмотрите, как они исковерканы, как в них мало чувства, как мало в душе тишины, спокойствия, любви!.. Скажите сами, видели ли вы в них эту покорность сердца, эту заботливость угождать, это попечение о доме, о хозяйстве, наконец о детях, если хотите... Есть ли в них эта материнская любовь, и так далее...» прекрасно!

Заключив этим восклицанием свой монолог, Дмитрицкий отправился к Нильской. Ей доложили о приезде магната Волобужа. Она вспыхнула, взглянула в зеркало и вышла в гостиную. Нильская была миленькое существо, уволенное самой судьбой от всех существенных женских обязанностей, но сохранившее вполне истинные достоинства женщины. Ее нельзя было не любить; ее и любили все, не только свободные сердцем, но и не свободные, не говоря уже о закованных в кандалы, потому что она являлась всегда как будто образцовым созданием женской природы.

Мария, но мы назовем ее по моде, Мéри,— Мéри была единственная дочь очень добрых и благовоспитанных родителей. Отец ее имел крошечное наследственное состояние; служил,

---

[1] Ах, я вас люблю! я вас обожаю *(франц.)*.

служил, выслужил множество чинов и орденов; но не умел сделать службу ремеслом для приобретения достатка. Мéри расцвела и, к несчастью, стала единственной надеждой родителей поддержать свое состояние выгодным замужеством дочери. Ее выдали замуж за нижеследующего чиновника.

Поэты и вообще писатели ужасно как много насочинили стихов и прозы о несчастных чиновниках и за примерную честность их и благородство души поместили на открывшиеся вакансии героев поэм. Судя, однако же, по оригинальным творениям современной литературы, на несчастных чиновников не стоит обращать и внимания; вдохновение поэтов должно бы было обратиться на счастливых чиновников и, взирая на них, воспеть совершенствование благосостояния этого разряда человечества; воспеть, как быстро претворяется нанятая квартирка в райке дома в собственный бельэтаж, как в пустом кармане образуется капитал, как *бездельный крючок* плодит дела, как бездушное существо набирается духу, безгласное — голосу, как тупая голова начинает остриться, как самая прискорбная образина обращается в *известное лицо* и так далее.

Из какого звания Степан Ануфриев сын Нильский поступил в звание чиновника, нам неизвестно, тем более что Степан Ануфриевич терпеть не мог даже вспоминать, не только говорить о своих родителях, о детском возрасте и юношестве: без сомнения, какой-нибудь злой волшебник похитил его еще в младенчестве, посадил в бочку, засмолил, бросил в житейское море, и он плавал, плавал и приплыл к какому-то острову, называемому в сказках канцелярией. Волны выбросили бочку на берег, дно выскочило, и вот Степан Ануфриевич произошел на свет из дубового яйца, в цвете лет, во всей красоте. Один благодетельный гений острова, по имени коллежский секретарь, принял его, неизвестно по чьей просьбе, на свое попечение, доложил кому следует, что вот, дескать, на острове необходим лишний канцелярист, и потому не благоугодно ли будет поместить в это звание такого-то, праздношатающегося Степана Ануфриева сына Нильского. Степана Ануфриевича и приняли в канцеляристы. Во всех графах его формуляра написано было: *не имеет:* родового и благоприобретенного не имеет, жены и детей не имеет, словом, ничего не имеет, кроме двадцати лет от роду. В графе о познаниях стояло: грамоте знает; в графе о способностях следовало бы написать: пить и есть умеет; в графе о качествах души отметить: примерной честности—ни на какую черноту не способен, даже не способен писать бумаги начерно.

Из всех этих данных решительно, казалось бы, ничего невозможно было вывести для будущности; но будь человек не человек, а так, бог его знает что такое, да будь у него только одна здоровая утроба — и этого довольно: он по инстинкту все переймет, все узнает, что необходимо для его утробы. Степан

Ануфриевич благородный ex officio [1] был в сущности благоутробным.

Ближайший начальник его Иван Федорович, человек, не терпящий ни низостей, ни высот в природе, проповедовавший всем равнину, любил, однако же, сам лезть в гору. Добравшись до вершины *стола* [2], он требовал, чтоб все подведомственное, стоя у подножия, смотрело ему в глаза, молчало и слушало, что он говорит, угадывало, что ему нужно, бросалось со всех ног исполнять и знало время, когда он в духе и когда не в духе.

Никто не был так способен понимать, угадывать и предупреждать его потребности, как Степан Ануфриевич. Несмотря на это усердие и даже постоянную чинку перьев для Ивана Федоровича, он никак не мог заслужить начальничьего внимания, потому что все это было не что иное, как *наружные услуги*, которые не могли проникнуть во внутренность Ивана Федоровича. Иван Федорович считал Степана Ануфриевича просто дрянью. Что было делать Степану Ануфриевичу? Оставалось попасть в несчастные чиновники, а потом в повесть. Но вдруг отношения начальника к подчиненному переменились: вместо обычного «дурак» сквозь зубы, Иван Федорович величает уже Степана Ануфриевича по имени и отчеству. Что за чудеса? Никто не заметил, каким образом и по какой причине совершился этот переворот, и кому бы пришло в голову, что Степан Ануфриевич приворожил начальничье сердце проклятым зельем.

Однажды, отправляясь в канцелярию, зашел он в ряды, купил табакерочку, купил проклятого зелья, положил в карман, и сидит себе, как будто ни в чем не бывало, да переписывает бумаги.

Приходит Иван Федорович в добром расположении духа, сидит, пересматривает подготовленные бумаги, преспокойно отмечает, видимо доволен усердием своих подчиненных; но вдруг приостановился, засунув руку в карман, потом перенес в другой, шарил, шарил, да как крикнет:

— Пьфу! забыл табакерку!.. Черт знает, что это такое!

— Прикажете оставить эту бумагу до получения сведения? — спросил невпопад один чиновник, подойдя к нему с какою-то бумагой.

— Какую бумагу? — прикрикнул Иван Федорович,— как оставить? Ну, где ж оставить? Ну, что вы говорите!.. пьфу! досада! этот свинья Иван никогда не напомнит, что я позабыл табакерку!

— Не прикажете ли моего табачку? — вызвался вдруг Степан Ануфриевич, вынув из кармана табакерку и приподнимаясь с места.

---

[1] По служебному положению *(лат.)*.

[2] До заведования определенным отделом канцелярии — столом.

— Поди ты с своим табаком! Я думаю, черт знает, что за табак!

— Костромской табак, самый лучший, зеленый.

— Э? неужели? покажи-ко...

И Иван Федорович сперва взглянул, потом взял щепоточку, сперва попробовал, потом нюхнул.

— В самом деле хорош табак... славный табак!..

Понюхав табаку, Иван Федорович чихнул, Степан Ануфриевич поклонился, и дело пошло своим чередом; а между тем проклятое зелье взяло свое, подействовало на мозг Ивана Федоровича в пользу Степана Ануфриевича.

На другой день Иван Федорович не забыл своей табакерки, но чувствовал уже какое-то влечение к Нильскому. Взглянув бегло в список чиновников, как его зовут, он протянул к нему руку и сказал:

— Дай-ко, Степан Ануфриевич, своего табачку!

У Степана Ануфриевича заходила душа в теле; от радостного чувства он вскочил, бросил перо, перо брызнуло на подписанную директором бумагу, внезапный испуг столкнулся с внезапною радостью, и душа замерла в Степане Ануфриевиче. Засунув руку в карман, он окаменел и установил неподвижные глаза на Ивана Федоровича, безмолвно, трепетно моргал, в ожидании молнии и грома, которые разразят его на части.

— Что, или забыл табакерку? — спросил Иван Федорович, держа уже два пальца клешней, наготове взять щепоть табаку.

— Никак нет-с... капнул немножко,— отвечал Степан Ануфриевич дрожащим голосом, вынимая табакерку.

— Эх, брат!.. Ну, да это ничего, можно подчистить,— сказал Иван Федорович, взглянув на кляксу и нюхая табак.

И вот первый успех Степана Ануфриевича по службе. Это значит подействовать на утробу человеческую.

В вознаграждение заслуг Иван Федорович рекомендовал его как надежнейшего чиновника для исправления должности заболевшего смотрителя строительных материалов.

Вступая в эту должность, он не за порядком смотрел, потому что для этого нужно быть человеком, а искал беспорядков, потому что для этого можно быть просто ищейной собакой. Старый смотритель был честный, добрый и знающий свое дело человек; исправлял свою должность не с математическою точностью, по которой не текут и светила небесные, но как бог велел; по совести, его не в чем было упрекнуть; но по притязанию в отступлении от точности можно было взвести на него горы. Этой-то точностью, которой нельзя отыскать в самой природе вещей, и ссадил его Степан Ануфриевич и — как говорится — «сокол с места, а ворона на место». Напуганная притязаниями команда его, по какому-то инстинкту, во избежание *черного глаза* Степана Ануфриевича, огородила себя от внезапности его

нашествий, как стадо журавлей сторожевым журавлем. Только что Степан Ануфриевич крадется из-за угла, махальный и подает голос: «Степка идет!» — и всё, как по команде: «смирно» принимает вид математической точности.

Но стоит ли долго толковать о Степане Ануфриевиче и рассказывать, каким образом он дослужился до значительного чина, как нажил состояние, и прочая, и прочая. Все это он сделал по известной форме, которая ведома всем, кто принимает жизнь за торговую площадь, отношения людей за торговые обороты, и не только золотую и серебряную монету, но и отчеканенные в ходячую монету совесть, честь, правду и справедливость — за товар, который можно выменять на все удобства жизни. Достигнув до почетного звания, Степан Ануфриевич озаботился жениться. Для этой вещи он также сделал надлежащие соображения. Изрядненький чинок есть, порядочное состояньице есть, чего ж недостает? Надлежащего почета в свете, связей, как говорится. Об этом и подумал Степан Ануфриевич и обратил особенное внимание на Мери, которой мать была урожденная княжна, а отец в некоторой зависимости от него по службе. Удвоив эту зависимость обязательным предложением небольшой суммы денег взаймы, Степан Ануфриевич сделал другое предложение.

Отец и мать Мери подумали: «Такой чин... занимает такое место... имеет состояние... кажется, такой хороший человек... отчего ж не отдать?»

Но Мери едва взглянула на него и только что не вскрикнула: «Ах, какой отвратительный!»

Покуда девушка не больна еще потребностью любить, она, как дитя, по инстинкту чувствует, кто добр, у кого светлая душа и кто чем-то страшен. Так и для Мери Степан Ануфриевич казался чем-то страшным, нечистым, тошным. Природу ее можно было назвать совершенством без малейшей порчи; светское образование украсило ее; но все это образование было подготовлено для счастливой жизни, для любви, для дружбы, для взаимности, для чувств отрадных, для сферы светской, а не для горя, не для лишений, не для зависимости от жестокой, грубой, беспощадной воли и себялюбивого невежества. Ее учили верить, и этой же верою воспользовались, чтоб победить в ней отвращение к жениху; ее же заманили к замужеству против сердца всеми приманками и соблазном чувств. Во все время, покуда она была невестой, ее воображение занимали роскошью нарядов, свободой покупать все на свой вкус, произволом делать все по-своему, угождением всем малейшим ее желаниям. Жених едет к ней с подарками, подруги ахают перед роскошными серьгами, браслетами, фермуарами. Мать ухаживает за ней; модистки поминутно приезжают с кордонками, примеривают на ней платья, чепцы, шляпки, наколки, мантильи; восхищаются ее талией, ее головкой; дивятся, как к ней все пристало, как все

к лицу, как все на ней très distingué[1]. Отец также похаживает около дочери, посматривает, похваливает; но есть в нем тайное чувство, которое отзывается что-то не весело на душе: жаль сбыть такую хорошенькую девочку за выходца из тьмы кромешной! Да что делать!

И мать часто посмотрит на жениха, да вздохнет и скажет мужу:

— Mais au moins, mon ami[2], она пристроена; все-таки богатый человек, имеет средства жить прилично званию. Как досадно, что он не говорит по-французски! Как это много значит в свете: он совсем бы другой человек был, совсем бы другой человек!

— Да!— отвечал муж,— конечно; ну, да что ж за беда!

— Ах, нет, беда. Я воображаю, когда Маша приедет с ним с визитом к княгине: я не знаю, о чем она будет с ним говорить?

— Да, конечно; ну, да что ж за особенная беда,— отзывался отец Мери, задумчиво похлопывая пальцами,— по крайней мере Маша хорошо пристроена; он дает мне деньги на уплату долга в Опекунский совет: все-таки именье уцелеет, и можно будет как-нибудь жить.

— Да! — прибавляет задумавшись мать Мери,— можно будет выкупить и мои брильянты.

И вот Мери выдана замуж, пристроена; но надежды родителей ее не исполнились. Ни радости, ни выгод.

Когда отец напомнил превосходительному зятю своему о выкупе именья из Опекунского совета, Степан Ануфриевич отвечал, что он непременно это исполнит.

— Только вы потрудитесь сперва переписать именье на мое имя или хоть на имя Машеньки.

— Для чего же это? Не все ли равно, после меня именье достанется дочери.

— Э, нет, не все равно: во-первых,— долг чуть не превышает стоимости именья... так уж лучше я куплю именье по вкусу; а во-вторых...

— Во-вторых,— прервал отец Мери,— об этом нечего уже и говорить! Прощайте!

Тут только понял он, что за человек Степан Ануфриевич и что за судьба ожидает Мери, которая слышала все и, безмолвная, бледная, вышла из другой комнаты проститься с отцом.

Степан Ануфриевич, с своей стороны, почитая себя вправе негодовать на тестя и считать, что он поступил с ним бесчестно, перестал к нему ездить в дом; с знатной родней жены он не мог сойтись по причинам понятным и очень естественным. Обманувшись сам в надеждах на связи, Степан Ануфриевич отстранил от дому своего всех родных, всех знакомых Мери.

---

[1] Весьма изящно *(франц.)*.
[2] Но по крайней мере, мой друг *(франц.)*.

Она осталась одна в новом для нее свете, как белая среди черных.

Какие-то политипажные чиновные лица, сослуживцы Степана Ануфриевича, являлись в дом, то на обед, то на вечер, на преферансик; знакомились с нею, просили позволения познакомить жен; жены приезжали с визитом, и Мери должна была, по настоятельному требованию мужа, принимать всех и каждую; но никак не могла угодить Степану Ануфриевичу, который понимал приличие подобострастием пред высшими и высокомерием пред низшими и приходил в исступление, смотря на жену свою, сохраняющую истинное достоинство женщины.

— Вы, сударыня, гордыня! — твердил он ей,— тайная советница делает вам честь своим посещением, а вы... обращения не знаете-с! аттенции не имеете-с! Думаете, что так важна ваша родня, что все прочее дрянь!.. А вы-то сами что-с? Дочь надворного советника и больше ничего-с! Я вам доставил вес в обществе не с тем, чтоб вы нарушали мои отношения с людьми-с!.. Да-с! Вы думаете, эмансипация будет у меня в доме? Нет-с!.. Никогда-с!

— Я вас не понимаю,— произнесла смиренно Мария.

— А я вас понимаю-с! Вы думаете, что все равны-с: и ее превосходительство Анна Григорьевна, которая вас удостаивает своим знакомством, и какая-нибудь Варвара Павловна, которая обязана изъявлять супруге начальника своего мужа достодолжное уважение?.. страм, сударыня: с женой моего секретаря вы за панибрата! прибежит Варвара Павловна, женщина без всякого приличия, болтунья, дерзкая, та-та-та, та-та-та, вы и сами вне себя, так и ходите за ней хвостом!.. А тут приедет какая-нибудь значительная особа, ни малейшей аттенции!.. А чуть Варвара Павловна — и угощения, и разговоры, и господи, боже мой!.. Придет, кивнет без всякой пристойности головой: «Здравствуй, Степан Ануфриевич!» — а потом та-та-та, по-французски, и плюх за фортопьяны; начнет барабанить, орать во все горло... Невежа! Я не для нее купил фортопьяны! Дерзость какая! Вдруг вздумала мне выговаривать, что я не даю балов!.. Вчера приехал Авдей Васильевич, сенатор, а она не только что с места не встает, да и поклониться не хочет: заняла, шлюха, первое место в гостиной, да и сидит! Почтенный человек, вельможа, должен был сесть на стуле! Дрянь! Я не для нее завел диваны!.. Нет, уж она мне надоела! Попробуй еще, та-та-та, потатакать у меня!

Горьки были для Марии эти нападки на Варвару Павловну, которая одна из всех знакомств и служебных отношений мужа пришлась и по образованию и по нраву ей по сердцу. Она не утерпела, чтоб не заступиться за нее.

— Что сделала вам эта добрая, милая, полная достоинств женщина? — сказала Мария.

— О! высоких достоинств! Секретарша! Это очень видно,

что она высоко о себе думает: кричит как у себя дома: человек! подай мне воды!.. приказывает моим людям! Для нее я держу людей!.. Пусть кто-нибудь попробует вперед исполнять ее приказания!.. Приведет целую ватагу своих девчонок, добро бы у нас были дети, так для компании; а то для чего, чтоб их здесь кормили да лакомили!

Мария отвечала на эти слова глубоким вздохом, но и вздох не остался без упреку.

— Можете вздыхать по ней-с! — сказал злобно и значительно Степан Ануфриевич.

Через несколько дней Варвара Павловна прибежала вся в слезах, с мольбой упросить Степана Ануфриевича пощадить ее мужа, не отрешать от должности, не лишать куска хлеба.

Не нужно было спрашивать о причине. Нильская поняла ее, поняла в первый раз и тяжкое чувство ненависти к мужу за вопиющую несправедливость, которая только ей одной была известна и которую она обязана была таить от всех. Но долг велел ей чтить и любить этого человека.

Чтоб любить воистину, говорят, надо любить всеми способностями бессмертной души и тленного тела; и надо любить взаимно умом, сердцем и всеми пятью чувствами. Только при этих условиях все существо человека здравствует и благоденствует; каждый атом, составляющий его, счастлив, каждый пор, как уста, впивается жарким поцелуем в сочувствующий ему. Это сочетание двух крайностей природы, это стихия духа, проникающая стихию материи и рождающая воистину жизнь, а не просто существование на белом свете.

Но это тримурти[1] любви, говорят, мечта. Мечта ли? Оно только распалось на три свои свойства — на союз по рассудку, на союз по сердцу и на союз по увлечению чувств. Для Нильской ни то, ни другое, ни третье не существовало. Что ж было ей делать? Надо было или проникнуться миром, или рассеяться в мире.

Соблазны света были ей не по душе, она не любила рассеянности, ей нужна была спокойная, согласная семейная жизнь, если и без счастливой взаимности чувств, то по крайней мере без притязаний. Но Нильская и дома ни хозяйка, ни гостья, как многие. Распоряжаться ей не дозволяли, не обходились и прилично, на условиях светской утонченной вежливости, которая не иначе называет жену, как мадам. Нильская не могла посвятить время по произволу никакому занятию. Займется ли она от скуки и тоски чтением, ей говорят: «У вас, сударыня, в голове только романы!» — «Это не роман, это историческая книга».— «А! вы в ученые хотите попасть, в академию-с!» Займется ли шитьем по канве: «Что здесь, фабрика, что ли-с, наставили своих пяльцев!» — «Где ж мне сесть шить?» — «Да это глупое дело-с вышивать ваши ковры, тратить только деньги на

[1] Троица (*санскрит*).

шерсть-с, по четырнадцати рублей фунт, да фунтов двадцать; а что выйдет? попона! Покорно вас благодарю! У меня нет такого богатства, чтоб платить несколько сот за попону; а в комнате я не позволю расстилать такую дрянь!»

Чем же заняться Нильской?

Покуда горе таилось в ней, она терпеливо изнывала под тягостью его. Но едва свет узнал о ее судьбе, все родные и знакомые занялись рассеянием ее горя, вырвали ее из этого онемения, влили насильно в душу ее опиум, учили находить в светском рассеянии замену счастия.

В доме княгини, тетки своей, она встречала известного уже нам Чарова. Молод, наследник богатого состояния, он только что вступил в общество, со всеми задатками паркетного честолюбия добиться до звания хищного зверя гостиных. Несмотря, однако же, на желание быть львом, он скорее по складке своей и приемам походил на кабана. Встретив Нильскую, хорошенькую, как газель, он тотчас же решился зарезать ее. По неопытности своей она не предвидела этого страшного намерения, но уклонилась от преследований по простому чувству своего достоинства.

Чаров не способен был затрагивать самолюбие, волновать душу. Нильская была вполне женщина: ей хотелось не покорять, а самой покоряться.

Между тем с Чаровым был знаком по дружеским отношениям отцов лейтенант Рамирский; очаровательный собой моряк, страстная, но вместе и глубокая душа, каких мало; умен, образован; чудак по движениям сердца, он не понимал волокитства; чем более нравилась ему женщина, тем благоговейнее было в нем чувство к ней, тем дальше становился он от нее, как будто боясь открыть недостатки. Но сердце его еще не было затронуто любовью.

Однажды пришел он к Чарову, закурил сигару и задумался. Чаров торопился ехать в Павловское, но не на столько был короток с ним, чтоб сказать без церемоний: ты, брат, кури и думай себе о чем хочешь, а я поеду. Он предложил ему ехать вместе.

— Поедемте, но что ж я буду там делать?

— Вот прекрасный вопрос? разумеется, *делать любовь.*

— Терпеть не могу.

— Ну, а я могу терпеть; потому что это очень хорошо, почтенно и благородно, питает ум и сердце, возвышает дух и, словом, бесподобное, самое лучшее дело.

— Ну, делайте вы это дело, а я буду просто зрителем.

— Так едемте же скорее, а не то я опоздаю на службу, могу получить выговор; вы еще не знаете, что значит миленький, капризный начальник.

— А вы на действительной службе? — спросил Рамирский улыбаясь,— извините нескромный вопрос.

— Хм! конечно, не сверх комплекта.

Приехав в Павловское, Рамирский и Чаров пустились по течению гуляющих вокруг филармонической беседки. Взоры Чарова суетливо перебегали по встречающимся лицам, но напрасно; вставной в глаз лорнет не помогал.

— Что за черт! Пойдемте-ка в галерею.

И там нет кого-то.

— Пойдемте-ка к подъезду.

И там нет.

— Пойдемте-ка опять к беседке.

— Это ужасная должность! — сказал Рамирский, уставший ходить за бросающимся во все стороны Чаровым.

— А! — вскричал, наконец, Чаров, встретив двух дам, подле которых шагало какое-то официальное, важно вздутое и пренеуклюжее эзопское лицо.

Рамирский взглянул на молоденькую даму, которая очень скромно, мановением головы, отвечала на поклон Чарова, окинув и его быстрым взором.

— Урод! Черт его принес! — проговорил Чаров с досадой,— allons, mon cher, в галерею пить чай.

— Я сейчас приду,— сказал Рамирский,— мне хочется послушать оркестр Германа; я сяду.

— Ну, я не филармон,— отвечал Чаров, уходя.

Рамирский несколько раз обошел круг, несколько раз встретил молоденькую даму, которая поразила его своей наружностью; ему казалось, что она явилась посреди людей из другого, лучшего мира.

«Это должны быть отец и мать ее,— думал Рамирский, смотря на чиновное лицо и пожилую женщину,— неужели Чаров женится на ней?»

Стало смеркаться; незнакомка исчезла, и Рамирский задумчиво пошел в галерею, где Чаров бушевал уже в кругу приятелей.

— Кто эта девушка, которую мы встретили и которой вы кланялись? — спросил Рамирский.

— Какая девушка? это не девушка,— отвечал Чаров, раскинувшись на диване с улыбкой самодовольствия.

— Не девушка? — проговорил Рамирский, взглянув на Чарова и невольно содрогнувшись.

— Какая же девушка! дама en forme [1]. Вот эта тухлятина, что с ней шел, ее муж... у-урод!..

Толпа молодежи захохотала. Подобные выходки Чарова тешили всех.

Рамирский невольно припомнил отвратительную наружность, высказывающую явно нечистую душу официального лица, представил себе судьбу молоденькой незнакомки, и ему стало страшно за нее.

---

[1] По всей форме *(франц.)*.

— Правда,— сказал он на слова Чарова,— посягать на счастие жизни то же преступление, что посягать на самую жизнь. Поражать кинжалом и напоять медленно действующим ядом — то же убийство.

— Ага! — крикнул Чаров,— что, правду я сказал?.. Поедем.

Во всю дорогу Чаров с досады и нескольких бокалов шампанского заносился на словах, и как ни желал Рамирский узнать его отношения с Нильской, но никак не мог извлечь смыслу из его апофегм [1].

— Не правда ли, что чудо? а?.. У-урод, черт его носит!..

— Премиленькая женщина,— задумчиво отвечал Рамирский.

— Воплощенная, братец, добродетель!.. а во всем прочем, чудо, братец, как бы тебе сказать... цветок, который посажен в навоз... Воплощенная добродетель... ничего с ней не сделаешь... Это ужасно как бесит каждого порядочного человека... Надо непременно пересадить ее.

«Тебе и пересадить,— подумал Рамирский,— на бесплодную свою почву».

Как ни отстранилось в нем внезапное чувство от быстро мелькнувшей надежды и прав на любовь, но он не мог отказаться от предложения Чарова познакомиться в доме княгини, тетки Нильской.

Стоит только прикоснуться друг к другу двум каплям воды — и они сольются непременно.

Без всякой цели, без всякого умысла привлечь к себе душу Нильской, Рамирский невольно вдавался в желание сблизиться с ней. Отношения ее с Чаровым, которых он не понимал, тревожили его.

«Я по крайней мере отвлеку ее от соблазна»,— думал он с чувством ревности к Чарову.

Быстрое сочувствие Нильской показалось ему странно, подозрительно: «Для нее все равны!» — подумал он.

Между тем Степан Ануфриевич заболел и волею божиею помре. Нильская свободна. В Рамирском родилась мысль о благе владеть этой женщиной; но вместе с этим усилилась ревность, как будто по какому-то уже праву. Он не мог забыть слов Чарова перед поездкой в Павловское. Они его смущали.

«Ангел она или демон? Кто ее узнает в этом обществе, в этом хаосе добра и зла. Как испытать?» — думал он и развил сам в себе чувство подозрения до отчаяния, стал примечать, следить, испытывать каждый взор, каждое слово, каждое движение, но ничего не мог понять. Видел все признаки любви; стоило только сказать слово, но он боялся решительных объяснений.

Рамирский не знал светской женщины, раздраженной, напу-

---

[1] Изречений *(греч.)*.

ганной чужими опытами коварства, которая, боясь и сама быть жертвой доверчивого своего сердца, придерживается за кого-нибудь, чтоб в случае, когда обманчивый, ложный друг отнимет руку, не упасть со стыдом и убитым самолюбием.

— Скажите мне, Чаров, правду,— сказал он мнимому сопернику своему.

— Что такое? — спросил Чаров.

— Мне необходимо знать ваши отношения к Нильской.

Чарову показался слишком несветским подобный вопрос. Он настолько уже занят был Нильской и по самолюбию уверился в ее взаимности, что взглянул на Рамирского, как на жалкого несчастного влюбленного, которого даже по чувству человеколюбия должен разочаровать в тщетных надеждах.

— Мои отношения с Нильской? — повторил он, изменив *к* на *с*,— довольно интересны.

— Вы можете быть уверены в моей скромности.

— Я понимаю, в чем дело; вы хорошо сделали: предосторожность вовремя — не худо.

— Вы говорите по совести?

— Хм! Прочтите,— сказал Чаров, вынув из шкатулки небольшую записку.

Рамирский, содрогнувшись, развернул и прочел несколько строчек, написанных по-французски:

«Вы меня так обрадовали, что я целую вас тысячу раз. Не забудьте, что сегодня ввечеру мы вместе у общей нашей приятельницы Варвары Павловны. Она вас хочет лично благодарить.

Ваш друг *М. Нильская*»

Эти все нежности были просты сами по себе и вызваны радостию, что Чаров, по просьбе Нильской, имел случай доставить место мужу Варвары Павловны. Но Рамирский не мог понять смысла этой записки иначе как ревнивым чувством. Он бросил ее на стол и сказал:

— Довольно, прощайте!

«Зачем же все это было? — спрашивал он сам себя, выезжая через несколько дней из Петербурга,— неужели для того, чтоб нарушить во мне навсегда веру в женское сердце?..»

Чтоб потушить в себе безнадежную страсть и обратить скорее в сон грустную действительность, Рамирский просил о переводе в черноморский флот, где прежде служил мичманом, а вскоре, по вызову престарелого отца, вышел в отставку и поселился в своем имении.

«Здесь,— думал он,— может быть возвратится здоровье моего сердца. Здесь, вдали от света, от искусственной жизни, посреди самой природы и простоты нравов, верно сохранилась и чистота нравов».

Между тем Нильская, которую уже лелеяло благотворное

чувство первой любви, не понимает, отчего нет Рамирского день, другой, третий; что с ним сделалось?

Ожидания сердца — мучительные ожидания. Оно все изобьется, дух возмущен, чувство настороже, мысли выбегают навстречу — и все нет, и все нет, и, наконец, не будет, никогда не будет!

У старой княгини, тетки Нильской, у которой она жила по смерти мужа, собрались на вечер обычные гости. Час съезда давно прошел; преферанс — аристократическое занятие от «нечего делать» и от «нечего говорить» — шел уже своим чередом. Нильской следовало бы занимать всех dames и messieurs, в которых душа была еще не усидчива, чувства искали иного выигрыша; но она жаловалась на головную боль, каждый проезжающий экипаж по улице сотрясал ее нервы, малейший стук у подъезда, топот и шорох шагов в зале приводил ее в содрогание; звонкий голос Чарова тревожил ее и как будто мешал вслушиваться в звонок, повещающий о приезде гостя. Несмотря на это, ее обступила толпа дам, жужжащих своими jolies paroles [1], и кавалеров, гремящих своими grossièretées aimables [2].

— Скажите пожалуйста,— раздался резкий голос княгини,— что сделалось с Рамирским? Его с неделю не видно. Monsieur Чаров, что сделалось с вашим приятелем?

— С каким, княгиня? — отозвался Чаров.

— С Рамирским.

— Право, не знаю.

— С Рамирским? Он третьего дня уехал из Петербурга, он переведен в черноморский флот,— сказал басом один барин, сидевший за другим столом,— я его знаю, уехал третьего дня.

— Неужели Рамирский уехал?— вскрикнула одна из дам.— Marie, entendez-vous? [3] Рамирский уехал!.. Ах, боже мой, ей дурно!..

— Marie, Marie!.. Дайте поскорее воды!

Все бросились к Нильской; она была уже без памяти.

— Ее надо расшнуровать; выйдите, пожалуйста.

Кавалеры вышли из маленькой гостиной; дамы остались помогать ей.

Все спрашивают друг у друга шепотом: что сделалось с ней?

— Она жаловалась на голову...

— Она несколько дней уже чувствует себя нездоровой.

— Этого я не замечала.

— Хм! Это можно было предсказать.

— О, как вы замечательны! но, к несчастию, замечательны в отношении того, что не касается до вас.

— Что делать! мало самолюбия.

---

[1] Красивыми словами *(франц.)*.

[2] Любезными дерзостями *(франц.)*.

[3] Мария, вы слышите? *(франц.)*.

— Имейте его больше.

— Внушите.

И прочая, и прочая, и прочая.

Через несколько дней Нильская уехала в Москву. Обманутое чувство невыносимо для светской женщины: в ней, кроме любви, страждет самолюбие; в ней двойное страдание, разрушены два кумира, два верования: в божественность любви и в личную свою божественность. Любовь просит у сердца слез и скорби, а гордость требует от рассудка презрения и забвения, восстановляет личный кумир ее на поклонение кому угодно.

Но Нильская не заразилась настолько самолюбием, чтоб вырвать из себя сердце, стать на нем, как на подножии, божеством, для которого нет уже ближнего, равного и дружного. Она исстрадалась, покуда душа не потребовала какого-нибудь прибежища сердцу.

И в Москве Чаров явился перед ней первый, с обычной настойчивостью светских зверей добиваться победы. Нильская приняла это за постоянство чувств. Она видела всю суетность и всю пустоту Чарова, но добрая природа проглядывала в нем. В Нильской родилось желание взять его под опеку, восстановить эту природу, а пустоту наполнить собою.

Но мнимая, принужденная любовь превращается в ненависть, когда что-нибудь затронет ее святыню. Едва только Чаров в полном самодовольствии похвалился перед ней в своих правах на нее, вообразил себя выше Рамирского в ее сердце и рассказал, как умно спас опрометчивого моряка от тщетных покушений на покоренное уже сердце, в Нильской хлынула кровь к сердцу и смыла нарисованную на нем любовь к Чарову. Но в ней была справедливость: она обвиняла в потерянном благе себя.

«Если б я не подала повода этому человеку, которого не люблю, надеяться на мою любовь, он бы не стал преградой между мной и Рамирским!»

И вот Нильская независима, свободна, но грустна. Сердце — живой челнок, должно быть «привязано» или управляться кормчим — любовью, чтоб ветры не занесли его, волны не разбили.

Судьба Рамирского не лучше. Если встретишь другого себя, этого другого себя не заменит ничья чужая душа, хоть разряди ее во все убранства цветущей юности и красоты, хоть напитай благовоннейшими свойствами нрава и всезнанием, хоть обставь горами золота и серебра, облей брильянтовыми, яхонтовыми, изумрудными водопадами, обрызгай жемчужной пеной...

Посмотрим на судьбу Рамирского. Он также не чужд нашему повествованию. После претерпенного кораблекрушения сердце его также носилось на обломке мачты по житейскому морю.

II

В маленькой приютной комнате, отделанной и меблированной причудливым современным вкусом, для уединения, для беседы с самим собою или с кем-нибудь близким сердцу, сидели безмолвно, как очарованные, два существа. Они как будто забылись в упоении; между тем как подле, за пределами этого маленького рая, в гостиной, не умолкал то частый *пас* преферанса, то хохотливые звонкие голоса, то шепчущие, как шорох листьев. Тут, за ломберным столом, сидели хозяин дома, хозяйка и почтенный гость с великолепной супругой; а близ дивана то говорили вслух, то шушукали две девушки: одна из них со взором, не отуманенным еще никакой грустью сердца, была гостья.

— Надина, где же они? — спросила она шепотом.

— Там сидят...

— Как я буду рада, когда Сонечка выйдет замуж!.. Выходить замуж по любви приятно.

«По любви!» — проговорила про себя Надина с злой усмешкой.

— Мне хочется пройти мимо, взглянуть на них.

— Ах, не ходи, пожалуйста! Оставь их!

— Он уж объявил свое намерение?

— Право, не знаю; это меня очень мало интересует.

— Пойдем ходить по комнатам.

Девушки встали и, взяв друг друга под руку, отправились ходить по комнатам. Живой, задорной гостье хотелось непременно заглянуть в маленькую комнату; но хозяйка, не доходя до двери, поворачивала налево кругом, произнося с досадой:

— Ах, оставь их, пожалуйста!

Таким образом, забытые всеми два существа, казалось, были в упоении чувств, которому невозможно было не позавидовать. Казалось, что их долгое молчание было предвестником решительной минуты.

Софи вздохнула, грудь ее взволнована, взор поник, глаза закрылись, душе хотелось забыться навек в очаровании мелькнувшей мысли, но глубокий вздох повторился и напомнил, что это мечта.

Еще глубже вздохнул задумавшийся подле нее Рамирский. Это был он. Не зная, чем заглушить в себе любовь, он решился жениться и жениться скорей. Молодой человек, наследник тысячи душ — клад для семейных соседей. Его ищут. Случайно или не случайно, но Рамирский скоро познакомился с одним из соседей; приехал по зову в гости, взглянул на младшую дочь его, Софью, в счастливую минуту, когда она была необыкновенно мила, одета к лицу и сверх того так очаровательно смутилась при неожиданном появлении прекрасного соседа, — и выбор был сделан. Хорошенькая Софи, несмотря на черные, пылкие глазки, была романическое, мечтательное, изнеженное

маменькой существо,— существо, любившее поэзию, вдохновение, очарования, восторг души, новые наряды, с чаем пуховые бисквиты, за обедом желе или безе. Все сердечные жалобы в стихах она выписывала в особую тетрадку и знала наизусть.

Старшая сестра ее, Надина, была существо совсем другого рода, без увлечений, без радостного взора, без радушной улыбки. Обе они были плоды одного дерева, но одна в отца, другая в мать; в них был один и тот же не совсем приятный климат, но Софи выражала собой ясную погоду, а Надина пасмурную. Очень естественно, что первая более нравилась. Светлый взор Софи, при каких-нибудь двух-трех градусах сердечного тепла, обманул и прозябшего от страданий Рамирского.

Сосед понял его намерение, запоил заветным вином; маменька двух невест закормила всем чем бог послал. Но в доме две невесты; Рамирский завидный жених — которую благоугодно будет ему взять за себя? Обе рядятся напоказ, обе что-то задумчивы. Софи, увлеченная общими отзывами о богатстве и достоинствах Рамирского, забыла о поэзии и никак не могла уступить сестре в желании обратить внимание на себя.

Самолюбие девушки торжествовало победу; за предпочтение, оказанное ей перед старшей сестрой, она платит готовностью отдать свою руку и сердце, а между тем в душе проявлялась какая-то грусть, воспоминание, и как будто что-то говорило: «Ах, это не он! В нем нисколько нет поэзии!» И вот, как мы видели, Софи задумалась не вовремя. Поздняя дума как по мертвом память. Но судьба творит свое. В решительную минуту, зараженный думою Софи, задумался и Рамирский.

«Жениться без любви! Что я делаю!.. Нет!..» — сказал он сам себе.

В это время шаги прогуливающихся по комнатам послышались близ самой двери; Софи очнулась и сказала:

— Пойдемте в залу.

— Ах, да! Вы еще не показали мне своего альбома.

— Зачем вам... в другой раз.

— Нет, пожалуйста, теперь; теперь я в особенном расположении духа читать стихи,— сказал, вздохнув, Рамирский.

— Вы их терпеть не можете.

— Нет, право, что-то вдруг захотелось чего-нибудь поэтического.

— Смейтесь.

— Пожалуйста!

— Я сказала, что в другой раз.

— А мне хочется непременно теперь.

— Это странно!

— Ничего странного; я не встану с места, покуда не принесете альбома,— решительно сказал Рамирский.

— Какие вы скучные! — произнесла Софи, стараясь подавить в себе досаду.

— Скучен так скучен, каков есть,— отвечал довольно сурово Рамирский, вставая с места и выходя в залу.

— Ну, я пойду принесу.

— Не беспокойтесь!

— Тут нет никакого беспокойства! — отвечала Софи и нехотя пошла за альбомом. Она бы никогда не вздумала показывать его жениху своему, если б однажды, в разговоре об альбомах, сестра ее не воскликнула с искусным простодушием: — «А вы видели альбом Софи? Посмотрите, какой альбом, прелесть!»

— О чем вы задумались? — спросила Надина, проходя мимо Рамирского, который сел на диване подле столика, скрестил руки на груди и смотрел в потолок.

— Я задумался? Нисколько! — отвечал он.

— Ну, так мне показалось.

— Благодарю вас по крайней мере за участие,— сказал Рамирский, преследуя взорами Надину.— «Как она сегодня мила! — подумал он,— сколько в ее наружности достоинства и степенности!.. Она лучше сестры».

— Вот вам мой альбом! — сказала Софи, бросила его на столике перед Рамирским и пошла ходить с сестрой и гостьей по зале.

Рамирский, как будто еще не кончив думы, долго смотрел на бархатный переплет лежащего перед ним альбома, но, наконец, взял его и стал почти без всякого внимания перевертывать листы, исписанные пошлыми стихами и изрисованные неопытной кистью. Вдруг внимание его остановилось на заглавии: «Море». Это словно напомнило ему цветущую его юность и любимую стихию. Он читал:

«Как же мне описать вам море? Может быть, и лучше, что вы его не знаете. Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него: то нежное, то страстное, то коварно-тихое, то бурно-прекрасное, неистощимое в любви и дарах, необузданное в гневе, нескончаемое в обольщениях, невообразимое в разнообразии, всегда одно, но как будто не то же, всегда ненаглядное, увлекающее.

В тихий жаркий полдень, когда нет ни малейшего колебания в воздухе, когда нет ни одного облачка в лазурном эфире, оно смотрит на вас такими небесно-голубыми нежными очами, что вы бы пожелали утонуть в его взоре!..

Но в бурную осеннюю ночь, когда взыграют волны над глубиной его, когда среди мрака горят они фосфорическим светом, когда при блеске молнии черная влага клокочет, бушует, дробится, о! тогда каждый вал его — могила, каждый стон — голос смерти.

Минует гроза, прояснится светлое утро, сгоняя с неба последние тучи и, во сретение золотым лучам, которые, мешаясь в атмосфере с синевою воздуха, отражаются в воде чудным цве-

том яри,— море облекается в великолепную мантию, а свежий ветерок, волнуя его поверхность, убирает каждую струю серебряною бахромою блестящих брызгов... Подобное зрелище, кажется, может только присниться! Взор следит за каждою рождающеюся волною, которая копится, извивается, дробится, чтоб дать жизнь другим бесчисленным волнам. И это стройное движение, эта чудная гармония, этот священный язык природы проникает вас неописанным восторгом!

Настает вечер. Жаркий закат утопающего в море солнца сквозь лазурное небо кажется фиолетовым; пламенея огненною краснотою зари, он отражается в воде великолепным аметистом. Резвые струйки, как будто оправленные тонкими ободочками золота, волнуясь отливами обьяри, сочетаются неизъяснимою красотою с окрестными берегами и цветущими деревьями, как будто столпившимися вокруг поговорить сладким шепотом листьев с гармоническими перекатами волн. Какое сердце не сочувствует этой прелести?

Но как мне описать вам море? Об нем можно напоминать только тому, кто привык его любить».

— Это душа писала, а не перо! — сказал Рамирский.

«Вспомните этого дивного великана, под сизыми крыльями туч, покрытого стальной бронею в алмазных искрах. Что за строгая, величественная красота!

Или море изумрудное, испещренное легкой эмалью белой пены...

Или в солнечный день, как будто покрытое золотой ризой бога...

Или в тихую лунную ночь, когда в него страстно смотрится полный месяц, когда, едва касаясь берегов, робкая незаметная волна чуть дышит...

А в пасмурную осень, когда воды и воздух принимают неопределенный цвет, проникающий сердце грустной думой, приходит на память мысль вдохновенного Данта, видевшего в туманной дали витание тоскующих теней, отрешенных от земли и не принятых небом...»

— Что вы там читаете с таким восторгом? — спросила Софи.

— Это так написано, с такой любовью, что мне кажется, собственные мои чувства вылиты на этот голубой листок! — проговорил Рамирский, не обращая внимания на вопрос Софи.

— Что такое?—спросила снова Софи, с чувством, несколько возмущенным его восторгом.

И она подошла к столу и повторила вопрос:

— Чем вы так восхищаетесь?

— «Морем!» — отвечал отрывисто Рамирский.

— Ах, не правда ли, прекрасно? Это писала одна дама,— сказала Надина.

— Есть чем восхищаться! Что ж тут такого особенного?

— Море и сочувствие тому, кто его написал — и больше ничего,— отвечал Рамирский.

— Где ж мне сочувствовать! — произнесла с оскорбленным чувством Софи.— Если б вы видели ту, которая писала это, вы, верно, забыли бы все от восторга и сочувствия.

— Без сомнения,— проговорил Рамирский колко.— Во всяком случае, надо было тонуть и в море и в глубине души своей, чтобы так написать!

— Очень жаль, что не могу представить вам сочинительницу! — сказала с язвительной усмешкой и резким голосом Софи, отходя от стола.

— Скажите, пожалуйста, кто она такая? — спросил Рамирский, не обращая внимания на колкость замечания.

— Не хотите ли вы искать ее? — спросила вместо ответа Софи.

— Непременно!

— Желаю благополучного пути и сожалею, что не могу дать вам ее адреса!

Эти слова потрясли до основания Рамирского. Прикусив губу, он перебросил несколько листов, взглянул на одни стишки и начал читать вслух:

Я не люблю своей свободы,
Своей сердечной пустоты!
Я не люблю красот природы.
Что ж я люблю? Поймешь ли *ты*,
Что я люблю?

Люблю блистательные взоры,
Живые, полные огня,
Когда они, как метеоры,
Вдруг с неба канут на *меня*,
Люблю, люблю...

Тебя,— любовь... ты приголубишь
Мои надежды, мне легко,
Когда мне молвят на ушко:
Мой милый друг, меня ты *любишь*?
Люблю, люблю!..

— Это очень, очень мило написано! С каким чувством! Жаль, что также без подписи... Позвольте узнать: это также писала какая-нибудь дама?

— Нет, не дама; это писал один очаровательный молодой человек! — отвечала Софи резко.

— Чудный акростих: «Я люблю тебя—ты меня любишь»,— как трудно было отыскать ключ к нему! Бесподобный акростих!

— Вы смеетесь над моим альбомом! — вспыльчиво вскрикнула Софи и, подбежав, вырвала альбом из рук Рамирского и скрылась.

Рамирский затянулся глубоким вздохом и пыхнул, как добрый турок, затянувшись табаком.

В это время преферанс кончился, гости стали собираться домой. Девушки побежали надеть шляпки в комнату Софи, а между тем Надина подошла к Рамирскому.

— Какой акростих нашли вы в альбоме Софи? Верно: «Я люблю тебя,— ты меня любишь?» Хм! это написал ей один поэт в Москве, с которым она познакомилась на водах.

«Предательница!» — подумал Рамирский.— А не знаете ли, кто написал «Море»?

— Nadine [1],— раздался голос матери.

— Сейчас! — отвечала она.— Куда ж вы?

— Пора.

— Что ж вы это уезжаете, не простясь с Софи?

— Я уж простился с нею! — произнес довольно значительно Рамирский.

III

В тот же вечер, возвратясь в свое поместье, которое лежало в четырех верстах от имения отца Софи, Рамирский приказал, чтоб к утру все было уложено в дорогу. В тревожном состоянии духа проходил он почти до рассвета по комнате; сжег с сотню лучших гаванских сигар,— все до одной скверно курятся; тяжкие думы перепортили их: иная вдруг высохла до того, что рассыпáлась в руках и прогорела сбоку; другая вдруг отсырела, разбухла и вместо дыму коптилась угаром. Рамирский швырнул последнюю на пол, бросился на диван, потер лоб, но сон не ведет дружбы с беспокойной душою.

— Море, море! ты меня образумило! — вскричал, наконец, как будто надумавшись вдоволь, Рамирский.— Сковать себя с первой встречной девушкой, для того только, что вздумалось жениться!.. Не сказать самому себе: «Возьми ее, да будет ли она твоя?.. Сядь с ней в один корабль, да попутна ли ее душа с твоей?..» Нет, прощай, Софи! прощайте маленькие семена капризов, вспышек, досад, ссор, равнодушия, холодности и всех противных ветров, бурь и, хуже всего, затишья посреди пучины!..

Ночь проведена тревожно; наступило утро; дворецкий пришел с пошлым вопросом:

— Не прикажете ли взять чего-нибудь съестного на дорогу?

— Куда ж я еду? — спросил сам себя Рамирский.— В Москву? Что я буду там делать? Разве искать от скуки сочинительницу «Моря»?..

— Так как же изволите приказать? — повторил дворецкий.

— Ничего не нужно! — крикнул Рамирский.

И через час он уже был на дороге к Москве с грустным чувством, что не несется по синему бурному морю на всех пару-

[1] Надя *(франц.)*.

сах, что пенистые волны не обдают его и не прохлаждают томящего его душу жара.

Приехав перед сумерками в гостиницу «Лондон», Рамирский послал человека занять номер; но долго дожидаясь его, с нетерпением выскочил из коляски и пошел сам.

Посланный слуга, сроду не бывавший в Москве, вошел в сени и, не видя никого, пробрался на лестницу и отворил двери.

— Кого тебе нужно? — спросил его, выходя навстречу, какой-то *динер* [1] с отвислой губой, в широкой куртке.

Человек, никогда не видавший немцев, сказал бы, что это немец.

— Где тут квартера Федора Павловича Рамирского?

— Какой Павлович? Нет тут Павлович! Ступай, ступай! Ты видишь, господин барин идет.

Из нумера вышел какой-то барин. Покрой, чистота, лоск, блеск, белизна одежды его, журнальная обстановка, взгляд, движения, все являло в нем человека рафинированного, имеющего вес, перед которым отступает челядь.

— Да ведь тут же должна быть квартера...— начал было слуга Рамирского.

— Что такое? — спросил барин.

— Да вот, сударь, не знаю у кого спросить, где тут квартера Федора Павловича Рамирского?

— Федора Павловича? Рамирского? Где он?

— Они вот там, у подъезда...

— Служил во флоте?

— Так точно, во флоте...

— Иван! — раздался голос Рамирского на лестнице.

— Вот они сами... Чего изволите?

— Где ж ты пропал?

— Рамирский! Федя! — вскричал барин, бросаясь навстречу к Рамирскому,— узнал?

— Извините, ей-богу, не узнаю.

— Меня не узнал? Дмитрицкого?..

— Господи, да кто ж узнает!

И они бросились друг к другу в объятия.

В военной службе знакомства сводят очень легко. «Славный малый, лихой малый» составляют лучшие титлы и рекомендации. О прочих титлах и достоинствах мало заботы, о роде и племени и помину нет. На вопросы: «Кто он такой? Честный человек? Не пьет? Не гуляет?» — отвечают: «А кто ж его знает!» или вернее: «А черт его знает! мне за него не замуж выходить». Таким же образом, без дальних вопросов, познакомился и сдружился в Николаеве мичман Рамирский с корнетом Дмитрицким. Разбитная, отчаянная голова, Дмитрицкий

---

[1] Слуга (*нем.*).

нравился всем, кто его знал. Живой, огненный, прямой, бьет везде напролом, как таран, с страстными позывами все знать, все видеть, он понравился Рамирскому — как крайность. А крайности сходятся.

— Как тебя узнать: совсем другое лицо, в парике! — сказал Рамирский, взглянув на Дмитрицкого.

— Ну, попал! Вот обрадовался-то... такую радость надо ценить... Allons, mon cher [1], в комнату, здесь сквозной ветер, кому-нибудь надует в уши.

И Дмитрицкий потащил Рамирского в номер.

— Послушай, Федя,— сказал он, заперев двери,— я должен тебе сказать с оника, что я от радости видеть тебя проговорился, проболтался.

— В чем? — спросил с удивлением Рамирский.

— А в том, что я уж не Дмитрицкий.

Рамирский посмотрел на него с удивлением.

— Корнет Дмитрицкий умер, а я душа Дмитрицкого, переселившаяся в венгерского магната, и потому вперед спрашиваю: угодно тебе знаться с душой Дмитрицкого в ее метаморфозе, я рад; а если нет, так скажи просто: извините, я ошибся, я принял вас за одного старого моего друга.

— Я, право, ничего из этого не понимаю,— сказал Рамирский.

— Я и сам существенно не понимаю, как это все сделалось, просто метампсихоз! Я сам не верил переселению душ, а теперь поневоле верю, хоть моя душа и не переходила в животных и насекомых. Но вот, после исключения из списков, ходит по мытарствам, живет на белом свете сверх штату... ей-богу, что делать!.. скитаюсь, как мертвец, покуда не уложат в могилу и не забьют кол в спину.

Заложив руки в карманы пальто, Дмитрицкий ходил взад и вперед по комнате как человек, проникнутый горем, но переносящий с твердостью свои несчастия. Рамирский смотрел на него с удивлением, слушал, пожимал плечами и молчал.

— Ты видишь теперь во мне венгерского магната Волобужа,— продолжал Дмитрицкий,— и оттого, разумеется, не узнал меня. Если б во всех метаморфозах, случившихся со мной, участвовала моя собственная воля, хоть настолько, сколько у Юпитера для его любовных похождений, ты бы мог подумать, что и у Дмитрицкого низкая душа, но я тебе даю честное слово, что все это совершается просто каким-то чудом: судьба завяжет мне глаза, хлопнет жезлом раз, два три! ну, говорит, теперь ты Матеуш, слуга, холоп и больше ничего. Матеуш так Матеуш! и примусь за исполнение данного мне назначения, без ропоту, с полным усердием. Только что войду в характер роли — ейн, цвей, дрей — ты граф! Нечего делать,

[1] Идем, мой милый (*франц.*).

граф так граф; я и от этого не отказываюсь. Не успею совершить какой-нибудь подвиг, достойный графского сана,— аттанде![1] Ты Прохор Васильич, купеческий сын! Пожалуй, для разнообразия буду купеческим сыном. Таким образом судьба вела меня через разные звания и состояния и привела на степень венгерского магната. Можешь спросить у всей знати здешней, у какого хочешь венгерца: унижаю ли я звание магната? Конечно, можно меня упрекнуть в незнании венгерского языка, но, судя по здешним магнатам, каждый магнат не нуждается в отечественном языке. Отечественный язык нужен только простому народу...

— Дмитрицкий,— сказал Рамирский,— ты такой же чудак и мистификатор, как был за десять лет!

— Помилуй, душа моя, какая тут мистификация,— я тебе говорю серьезно.

— Ну, полно, пожалуйста! Я очень рад, что встретил тебя здесь; но мне надо подумать о том, чтоб где-нибудь остановиться, здесь все номера заняты.

— Не хлопочи, я занимаю три номера. Один из них твой.

— Благодарен.

— Гей! Иоганн!

— Gleich![2] — отозвался Иоганн.

— Вещи этого господина внести в пятый номер! Hast du verstanden?[3]

— О, ja! gleich![4] — сказал Иоганн, но, заметив брошенное на стул пальто, взял было его, чтоб положить как следует.

Но магнат крикнул: «Марш!» — и он отправился, отдув губу и пробормотав: «Alles muss in Ordnung sein»[5].

— Давно ты вышел в отставку? — спросил Рамирский.

— И не думал выходить,— отвечал Дмитрицкий.

— Да каким же образом ты здесь, в партикулярном платье?

— Да так, внесли меня в список умерших. Это меня, разумеется, взбесило, да что ж делать! Каким образом умершему явиться живым? Невозможно, покойники не ходят; в старину утвердили бы в земле колом, а теперь совсем другое дело.

— Ты шутишь или не шутишь?

— Что за шутка! Вот видишь: отправился я из полка ремонтером в Подольскую губернию. Оставил пьяницу хохла денщика у одного знакомого пана в деревне, а сам разъезжаю себе из места в место. К несчастию, шайка мошенников напала на меня и просто зарезала самым бесчеловечным образом. Что было делать? Я написал пану, что вот так и так, зарезали, не вспрыснет ли он меня живой и мертвой водой? А между тем

---

[1] Стой *(франц.)*.
[2] Сейчас *(нем.)*.
[3] Ты понял? *(нем.)*
[4] О да! сейчас! *(нем.)*
[5] Все будет в порядке *(нем.)*.

пьяный мой хохол пришел к пану и говорит: что ж я, пане, буду делать! грошей у меня нет и пана нет. «А что ж тебе делать! — сказал ему пан,— пан твой пишет ко мне, что его зарезали».— «Ой ли,— крикнул хохол,— коли сам пишет, так стало быть, то верно?» — «А как же!» — «Хм!» — сказал хохол, покачал головой, да и пошел в полк, донес, что меня зарезали...

— Славная сказка!..

— Ей-ей, не сказка, слушай дальше,— продолжал Дмитрицкий,— из полка вместо меня прислали другого офицера; команда стояла в Бердичеве; обо мне слухов нет; убедились, что я действительно не существую уже на свете и вычеркнули из списков живых. Скверная вещь; мне следовало бы после этого в самом деле лишиться жизни, но я подумал, что это еще хуже; предаться лучше судьбе, что хочет, то пусть со мной и делает. И сделала она из меня магната венгерского следующим образом...

И Дмитрицкий подробно и откровенно рассказал Рамирскому все свои приключения.

— Ты задумался,— сказал он, кончив рассказ,— сделай милость, Федя, будь друг, не церемонься, не знай меня и кончено.

— Нет, я тебя знаю и буду знать,— отвечал Рамирский,— но для всех и каждого буду знать тебя как магната Волобужа, с которым я сегодня имел удовольствие познакомиться.

— Браво! обойми меня, неизменная, славная душа! Ты, брат, человек, Федя, ей-богу, человек! Если б в моей воле, я бы тебе непременно дал земное счастие.

— Мне его уж никто не может дать! — сказал, вздохнув, Рамирский.

— Почему?

— Я тебе расскажу со временем и свое горе.

— Ну, отдохни с дороги, а я должен ехать сегодня на литературный вечер; здесь теперь в большой моде литературные вечера. Это презанимательная вещь.

— А ты каким образом попал в литераторы?

— Ну, нет, вдруг не попадешь в это звание; я еще не литератор, но уж смотрю в литераторы. Все здешние известности, узнав, что я родом славянин, в восторге от меня, таскают по всем литературным вечерам, просят петь: *не зозуленька в лесу куковала,* и кричат: какое сходство с русской песнью: *не кукушечка в лесу куковала.* Я им обещал собрать песни моей родины. Как только соберу, тотчас же и литератор.

— Любопытно побывать на этих вечерах.

— За чем же дело стало? поедем завтра на великолепный литературный вечер к Звездову.

— И он литератор?

— А ты его знаешь?

— Как же, он служил в Петербурге.

— Так и прекрасно: я сегодня увижу его у мадам Recuell и скажу, что я познакомился с тобою и что завтра ты к нему будешь на вечер. Там вся московская поэзия и проза, славянофилы, скандинавофилы, франкофилы и простофили.

— В самом деле поеду. Может быть, я там встречу и одну сочинительницу, которая меня интересует.

— Не одну, а тьму встретишь. Ну, прощай.

«Чудак,— подумал Рамирский,— какой славный малый и как погиб безвозвратно!»

IV

На другой день Рамирский долго ждал пробуждения Дмитрицкого, который, по обычаю магнатов, началом дня считал не восход солнца, не любил утреннего ребяческого его света, но считал день, как следует, с первого часу. Не дождавшись этого часа, Рамирский уехал прежде всего посетить неизбежный Опекунский совет, потом некоторых дальних родных и давних знакомых и, между прочим, заехал к четвертого класса Звездову, который очень внимательно его принял, изъявил удовольствие, что он посвятил себя литературе, и пригласил на свой литературный вечер.

«Я занимаюсь литературой? — подумал с удивлением Рамирский,— ах, чудак этот Дмитрицкий! он без шуток и мистификаций не может шагу сделать! Посвятил меня в литераторы!»

— Жаль, что мне сейчас надо ехать по делу,— сказал Звездов,— а то я бы прочел вам на досуге стансы к Москве, которые я сию минуту только написал... Но еще, я думаю, можно будет... Это, собственно, десять слов к Москве... Сейчас принесу.

«О, господи! попал на муку»,— подумал Рамирский.

К счастию его, вошел какой-то господин с огромною тетрадью в руках, всматриваясь прищуренными глазами сквозь очки на окружающие предметы.

— Ваше превосходительство... Ах, извините,— сказал он, заметив свою ошибку; сел, положил тетрадь свою на стол и начал протирать платком и искусственные и настоящие свои глаза.

— Вот, это, собственно, десять слов,— раздался еще в дверях голос хозяина.

— Ах, ваше превосходительство! — проговорил пришедший господин, вскочив с места и схватив свою тетрадь.

— А! — проговорил хозяин с неудовольствием.— Вот это...

— По вашему желанию прослушать, я привез, ваше превосходительство,— перервал его господин в очках, развертывая свою тетрадь,— я сперва прочту вступление... Перевод такого писателя, как Гете, требует пояснений,— продолжал он, обратясь к Рамирскому.

— Я прошу у вас извинения,— начал было хозяин с досадой, желая отделаться от предлагаемого чтения.

— А как же вы полагаете, ваше превосходительство,— перервал его порывистый господин в очках,— неужели вы думаете, что не должно объяснять читателям дух писателя?.. Нет, должно, должно: это ключ к смыслу его сочинений, притом же каждый может понимать иначе.

Рамирский, не ожидая дальнейшего развития речи, встал.

— Куда ж вы?..— крикнул испуганный хозяин, что его оставляют одного на жертву прищуривающемуся господину в очках.

— Если позволите, я буду ввечеру.

— Какая досада, что не удалось мне прочесть вам... Вот, как видите, всякой день приходят ко мне на суд с своими кропаньями,—тихо сказал в зале Звездов, провожая Рамирского.— Итак, до вечера.

Возвратившись в гостиницу, Рамирский не застал уже дома Дмитрицкого. Он приехал часу в восьмом.

— А! дома! Не забыл, что сегодня едем на литературный вечер. Да теперь еще рано: часов в десять, даже в одиннадцать.

— Помилуй, к чему ты сказал Звездову, будто я сочинитель?

— Что ж такое? Разве это компрометирует тебя?

— Хм! Нисколько не компрометирует, да для чего ж это?

— Как для чего? Для того чтоб на тебя смотрели как на литератора. Литераторы теперь в ходу. Ты думаешь, что в салонах трудно быть ученым, поэтом, писателем, критиком? Пустяки! Ты послушай, как я заговорю об индейской и еврейской поэзии. Приехать в салон не то, что приехать к Солону и смотреть дураком да удивляться греческой премудрости: салон— страна малознающих, плохознающих и ничего не знающих, но желающих казаться всезнающими. Взаимное надувание, взаимная снисходительность, вот и все, и квит с дубинкой. Например, я в глаза не видал Европы, но имею же об ней понятие, и довольно. Спрашивают меня: вы, верно, были в Неаполе? Я отвечаю с живым восторгом воспоминания: «В Неаполе? Ах, это очарование! море, Везувий, извергающий пламя — этого рассказать нельзя!» И нечего рассказывать, довольно, восхищение возбуждено, чего же еще больше?.. Однако ж пора сбираться; одевайся, mon cher; впрочем, «запоздать» ничего не значит; неприлично «заранить».

К десяти часам туалет был кончен, и они отправились к Звездову. У подъезда швейцар звякнул в колокольчик. Они вошли. Зала была озарена стенными светилами, но еще пустынна; ломберные столы, как жертвенники, на которых убивалось время, стояли уже наготове; повсюду в доме еще тишина, от которой можно вздрогнуть.

— Не рано ли? — спросил Рамирский,— никого еще нет.

— Нет, в гостиной есть уже хоть безжизненные, но живые люди, voyez-vous? [1]

[1] Видите? *(франц.)*

На диване и подле него на креслах сидело несколько дам, как на сеансах: каждая приняла положение, выгодное для портрета. С одной из них, как с почетным членом заседания, разговаривала хозяйка; но так чинно, тихо и безмолвно, что казалось, они смотрят друг другу в глаза за спором, кто первый моргнет.

Около стен, на креслах, сидело несколько мужчин, как будто пришпиленных каких-то насекомых в коллекции натуральной истории. Все были в белых и желтых перчатках, все держали обеими руками свою шляпу, чтоб не выпала из рук от задумчивости, и все до одного, без сомнения, были, как говорится, свои или что-то вроде таких, которым делают особенную честь приглашением. Можно было принять их и за подчиненных в гостях у строгого начальника. Можно было принять их даже за нанятых, чтоб наполнять пустоту около стен. Хозяин как будто остерегался дать им какое-нибудь значение своим вниманием. Он сидел подле столика с лампой и просматривал газету. Заметив вошедших гостей, он встал довольно важно, взял Рамирского за руку и, обратясь к жене, проговорил:

— Ma femme![1] — Потом занялся разговором с магнатом.

Хозяйка взглянула на представленное ей новое лицо, без особенного значения в свете, качнула головой в знак приветствия, вытянула эластические губки в знак удовольствия и, снова придя в нормальное положение, обратилась к даме, сидящей на диване.

Рамирский, не зная, что с собой делать, опустился на кресла и заметил, что подле него сидит очень хорошенькое существо в задумчивом расположении духа. Матовое бледное личико, черненькие глазки заинтересовали его.

В старину сидеть подле незнакомой дамы и почтительно не нарушать взаимного молчания, хоть в продолжение целого века соседства бок с боком, считалось приличием, умом, образованностью и даже долгом. Теперь и времена и нравы переменились, теперь за молчание назовут истуканом.

Чтоб избежать этого названия, Рамирский обратился к соседке с мнением, что жизнь в Москве должна быть очень приятна.

— Напротив, очень скучна, монотонна, томительна! Какие здесь удовольствия? Никаких! Театр не стоит внимания; в собрание никто не ездит, балы — толкотня и больше ничего... Москва опустела! — отвечало многоречиво задумчивое существо, как будто в отмщение за долгое непривычное молчание.

— Если б Москва была приморский город,— начал Рамирский с целию проэкзаменовать незнакомку в отношении к сведениям о море.

---

[1] Моя жена *(франц.)*.

— Ах, боже мой! да что ж такое море? что бы оно придало Москве, кроме сырости. Я и Петербурга не люблю за то, что он на берегу моря.

«Конечно, моя милая!..» — подумал Рамирский, не дослушав речи и встав с кресел, очень довольный, что должен был уступить место приехавшим дамам.

— Вы составите партию в преферанс? — сказал хозяин, подходя к нему.

— Извините, не играю,— отвечал Рамирский.

Хозяин отошел от него, как от бесполезного человека.

Между тем гостиная вдруг наполнилась потоком гостей.

У Звездова *смесь* под названием *литературный вечер* составилась довольно сложная, по рецепту отношений светских, служебных, родственных, обязательных и, наконец, литературных. Некогда он пописывал стихи; но, вступив на службу и женившись, оставил было эту глупость, играл по вечерам в карты и был спокоен, счастлив; *игорные* его вечера были очень умны, собирались всё люди одного направления и одного верования, что карты спасительная вещь от треволнений мира сего. Но едва демон славолюбия посягнул на душу Звездова, едва вошли в моду литературные вечера — он тотчас же присел, написал стихи и назначил у себя день для литературных вечеров. Для этого надобно было знакомиться с писателями, поэтами, учеными, словом, с людьми не светскими, и выставить их напоказ светским людям. Для производителей необходимы были потребители. Но если уж принять и в одежде тела и в одежде духа иностранный покрой, то хоть подпиши над своей мастерской: «Федулов из иностранцев», каждый подражатель-потребитель не пойдет к подражателю-производителю. Это просто и понятно.

Рамирский отретировался к сторонке и всматривался на почтенных, пожилых, важных, осанистых и декорированных особ, за которыми ухаживал хозяин. Все они, не обращая внимания на отстой дам с одной стороны, и на отстой худощавых, бледных, испитых и юных лиц с другой стороны, усаживались за ломберные столы и таким образом составили что-то вроде гнезда в уксусе.

— Что ты так смущенно задумался, mon cher,— спросил Рамирского мимоходом Дмитрицкий,— не думаешь ли ты, что здесь пантеон русских литераторов и что за этим почетным ломберным столом сели для совещания тени Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина? Не бойся, mon cher, это не они. Не хочешь ли составить партию?

— Нет, благодарю, я не играю.

— И я никак не могу играть для препровождения времени. Если тебе скучно, так не хочешь ли потосковать немножко с дамами: посмотри, какая тоска возьмет тебя с ними. Пойдем.

— Ах, поди!

— Я пойду, мне хочется пить чаю; хозяйка сама наливает по глоточку и потчует французскими надуваньями; но я, как иностранец, полюбивший русский чай, не буду с ней церемониться, как русские, и выпью весь самовар, посмотри!

Дмитрицкий в самом деле подсел к хозяйке и сказал:

— Voyons, madame! [1] Мне ужасно как нравится этот напиток; угостите меня по-русски.

Хозяйке приятен был вызов магната, и она наливала ему чашку за чашкой. Смотреть, как венгерский магнат пьет чай по-русски, составило на добрый час занятия для всех дам.

Между тем Рамирский, после нескольких слов, обращенных к стоящему подле него молодому человеку поэтической наружности, спросил:

— Позвольте узнать, кто здесь из замечательных поэтов? Я недавно в Москве и совершенно никого не знаю.

— Здесь? Я вам скажу, кто здесь и что здесь,— отвечал молодой человек,— я сейчас только об этом думал.

Здесь суета бессмысленной толпы,
Здесь не поэты, а рабы,
Здесь много глупых, много чванных,
Здесь много призванных, да нет избранных.

— По крайней мере в вас я вижу уже поэта.

— Покорно благодарю,— отвечал поэт с улыбкой, покручивая усы,— но для кого и для чего быть поэтом? никто и ничто не одушевляет.

Рамирский посмотрел внимательно на молодого человека, зараженного уже разочарованием. Он был недурен собою, в глазах было много огня и вместе простодушия.

— Как для кого писать! Для прекрасного пола; и что ж лучше одушевляет поэта, как не красота?

— Но не бездушная красота.

— Например, вот эта, хорошенькая дама,— продолжал Рамирский,— сколько можно почерпнуть из нее вдохновений для поэзии.

— Вот эта? Хм! она недурна собою, но глупа; я просто был от нее в отчаянии: написал ей акростих:

Я не люблю своей свободы,
Своей сердечной пустоты...

— Извините, кажется вы писали этот акростих для Софи Луговской,— сказал Рамирский, посмотрев с удивлением на творца знакомого ему акростиха.

— Ах, да, в самом деле, я и забыл.

Я не люблю красот природы.
Что ж я люблю? Поймешь ли ты,
Что я люблю?

---

[1] Ну, мадам (*франц.*).

— Бесподобно! против таких стрел поэзии нельзя устоять: я это тотчас почувствовал; знаете ли, что Софи без памяти от вас?

— Неужели? Однако ж эти стансы слабо вылились,— продолжал поэт, пришедший в восторг от собственных стихов и не обращавший внимания на предметы, внушающие их, как на ненужные орудия, как на подмостки, которые отбрасывают после совершения поэтического здания,— я вам прочитаю написанные в альбом одной черноокой, чернобровой:

Черноокая, чернобровая,
Моя душечка, жизнь сердечная!
Не пленит меня ветвь лавровая,
Дай колечко мне подвенечное!

— Помилуйте, у вас целый гарем очаровательных существ, которым вы предлагаете не только вечную любовь в стихах, но даже и руку.

— Хм! — произнес поэт с самодовольствием и хотел было что-то сказать; но вдруг послышался быстрый однозвучный поток слов. Большая часть гостей двинулась в другую комнату, где подле стола сидел уже какой-то смиренный повествователь и читал свое произведение. От душевного волнения он был бледен; от невольного движения руки густые длинные волоса его стали копром, глаза стремительно мчались по строчкам, как вагон по рельсам, слова сливались в гул поезда, предметы описания неслись мимо, как окрестности железной дороги в глазах несущегося по ней путешественника.

Как будто пригнанные на поденную работу, без присмотра, слушатели сидели задумавшись, зевали или попарно перешептывались.

Поэт не давал и Рамирскому слушать; как будто надумавшись, что сказать на слова Рамирского, он прошептал ему:

— Поэт должен любить всех, и все должны любить поэта. Поэт свободен! — и начал декламировать вполголоса:

Свободен я, но нет мгновений,
Вполне свободных для меня.
Я жрец богини вдохновений,
Я страж священного огня!

— Но это жестоко: насчет спокойствия несчастных сердец скопить том стихотворений,— сказал тихо Рамирский.

— Поэт, как пчела, собирает мед со всех цветов,— сказал поэт равнодушно, не затрогиваясь упреками.

— Бедная Софи Луговская! Как она должна страдать! Вы соблазнили ее чувства.

— Я соблазнил?

Нет, никогда с притворным чувством
Ни в чьи глаза я не смотрел,
И средством низких душ — искусством
Ничьей душой не овладел!

— Это все прекрасно; но вы погубили ее своими стихами. Она изнывает.

— А я? Я спокоен? Когда она уезжала, я написал...

— Браво, браво! прекрасно! — крикнули несколько голосов, как будто спросонок, когда повествователь, запыхавшись, достиг, наконец, до размаха пера, которым заключалась повесть, в виде закорючки.

— Я написал,— продолжал поэт:

Прощай! с тобой я все утрачу,
И благо дней и мир ночей.
О, как я плачу, плачу, плачу!
Какая грусть в душе моей!

— Я, однако ж, недоволен этими стихами. А вот, послушайте романс, который я написал Нильской на заданный сюжет: «Любила я, он не любил».

Сердце Рамирского замерло.

— Нильской? — спросил он.

Не успел еще поэт отвечать, как хозяин подошел к Рамирскому с каким-то пожилым человеком.

— Иван Карпович желает познакомиться с вами,— сказал он ему и, довольный, что сжил с своих рук неотвязчивого говоруна, а вместе с тем доставил новому гостю собеседника, без дальнейших церемоний пошел занимать более значительных гостей своих.

— Очень приятно, что имею удовольствие познакомиться с вами,— проговорил торопливо реченный Иван Карпович с каким-то не терпящим отлагательства побуждением окончить течение своей речи, которую он начал изливать перед хозяином дома.— Изволите ли видеть, вы, верно, согласитесь с моим мнением, что на русскую литературу надо смотреть особенными глазами; потому что, надо вам сказать, это не то, что литература западных народов,— положим французская,— совсем не то: другие начала, другое развитие, другие средства, другие побуждения, другой дух... например:

О ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек...

Возьмем что-нибудь во французском... например, сатира Vauquelin de la Fresnaye:

Connais tu ce facheux qui contre la fortune
Aboie imprudemment, comme un chien à la lune...[1]

— Изволите ли видеть, какая разница? Здесь бог, там судьба, фортуна... ясно? То же положение, но здесь обращение к богу, там к судьбе; оно кажется ничего, а на поверку совсем не ничего: тут только ропот, там исступление. Заметьте: aboie

---

[1] Знаешь ли ты таких несносных, которые бессмысленно лают на судьбу, как собака на луну *(франц.)*.

comme un chien à la lune...[1] Извольте понять... Не правда ли? Различие ужасно. Вследствие чего же оно родилось? Вследствие чего француз развязен, свободен, летуч в движениях и в речах? Вследствие того, что он не привязан ни к прошедшему, ни к будущему... а! понимаете? — И с этими словами оратор уставил палец кверху и, посмотрев значительно в глаза Рамирскому, повторил: — Ни к прошедшему, ни к будущему! Словом... вследствие религиозного émancipation![2]

Произнеся торжественно эти слова, как тайну великого открытия, он поднял еще выше указательный палец и молча не сводил выпученных глаз с Рамирского, как будто давая ему время прийти в себя от удивления.

Рамирский действительно был поражен потоком слов навязанного на него Ивана Карповича и не знал, как отделаться от беды. Глаза его следили за поэтом. К счастию, какая-то звезда, ходившая по комнате как будто с подставкой под бородой, вдруг подошла и спросила:

— О чем рассуждаете, Иван Карпович?

— А вот, изволите ли видеть,— начал Иван Карпович, то к звезде, то к толстой особе, которая также подставила внимательное ухо и которой необходимо было привязаться к кому-нибудь, чтоб не казаться ничтожным человеком до партии в преферанс,— изволите ли видеть...

Рамирский, не теряя времени, отступил шаг, другой от оратора; далее, далее; отыскал в толпе поэта, хотел у него что-то спросить, но поэт декламировал какому-то внимательному слушателю целую поэму наизусть.

«Мучитель!» — думал Рамирский, выжидая с нетерпением конца поэмы.

— Пойдем к дамам, mon cher,—шепнул ему Дмитрицкий,— спросим у них, кто превосходнее пишет: Сю или Занд? Это будет забавнее.

— Сейчас, сейчас,— отвечал Рамирский.

— О, да тебя можно кормить стихами! — сказал Дмитрицкий.

Поэт был в восторге, что нашелся добровольный слушатель. Он вышел из себя и начал громко декламировать.

— Что это такое? — раздалось со всех сторон.

И все двинулось с места и обступило его.

— А, вот это дело другое! — сказал Дмитрицкий,— на человека, который беснуется, любопытно смотреть, и я не прочь от других.

Разгоряченный поэт, кончив какой-то ропот на людей стихами:

---

[1] Лает, как собака на луну *(франц.)*.
[2] Свободомыслия *(франц.)*.

В который день вас создал бог?
Вы человеки или звери? —

окинул мрачным взором всех слушателей и стал стирать пот с своего лица.

— Браво! — вскричал Дмитрицкий.

— Это глупый сюрприз! — проговорила тихо хозяйка, пожимая плечами.

— Charmant! [1] — повторил Дмитрицкий,— посмотри, mon cher, как все допрашивают друг друга взорами: «В который день вас создал бог?..» Однако же не довольно ли на первый раз, не пора ли? Я думаю еще проехать отсюда в английский клуб.

— Сейчас, сейчас! — отвечал Рамирский, подходя к юному поэту, которого еще допрашивали некоторые, что он читал.

Но к нему не было доступа. Он снова начал декламировать стихи.

— О боже мой! о чем я хлопочу. Поедем! — сказал, наконец, Рамирский.

— Тебя, кажется, свел с ума этот пиит своими стихами.

— Ах, да, они мне напомнили...

— Что такое?

— Не спрашивай теперь,— грустно!

— Ну, перед тобой; будем говорить о посторонних вещах. Каков литературный вечер? Мы, впрочем, рано уехали. Там один заслуженный поэт, как мне сказала хозяйка, будет читать стихотворение под заглавием «Горы» или «Горе», она еще сама наверно не знает. По обычаю, всех потребителей литературы засадят за преферанс, а производители сами себя слушают и, по системе взаимного восхваления и должного приличия, вслух кричат: «Какой дар!», а про себя: «Господи! что за бездарность!» Таким образом ты видел образчики производителей и потребителей литературных: у одних дар даром, а другие пользуются даром... Ты, однако же, все молчишь, mon cher, не слушаешь моих острот. Спишь?

— Ах, нет!

— Полно, не отрекайся. Грусть, mon cher, то же сновидение, в котором, как ни одевайся, все гол. Ну, до свидания!

— До завтра? — сказал Рамирский, выходя из кареты.

— Уж, конечно, я ворочусь поздно.

Войдя в переднюю номера, Рамирский заметил стоящего у дверей отставного офицера жалкой наружности.

— Что вам угодно?

— Вы изволили приказать явиться к себе! — робко отвечал офицер.

— Я?.. Я не имею чести знать вас.

— Так я ошибся-с...

---

[1] Великолепно *(франц.)*.

— Впрочем, здесь стоит также господин Волобуж.

— Так точно-с, они, верно, и приказали.

— Но он возвратится поздно. Вы пожаловали бы завтра поутру.

— Очень хорошо-с! — сказал офицер, кланяясь.

Но вдруг на лестнице раздался звучный напев: «Ла, ла, ла, ла!» Магнат обыкновенно, проходя крыльца, сени, передние, подавал о себе голос какой-нибудь итальянской арией.

— А! это вы,— сказал он, заметив офицера,— очень рад! Что ж вы ждете меня в передней? Я ведь не такой большой господин, у которого для людей, имеющих в нем нужду, нет другого места, кроме как у порога. Милости просим! Так вам нужна помощь? У вас жена, дети?

— Жена, дети-с...

— Жена и дети? скажите пожалуйста!.. Здравствуй, mon cher!.. Я раздумал ехать в клуб. Забыл взять деньги, а это худой знак... Куда ж вы?

— Может быть, я беспокою? — сказал офицер.

— Э, нисколько. Так у вас жена и дети? Кажется, трое детей?

— Трое-с.

— Да нет, у вас четверо.

— Виноват, так точно-с!

— И жена на сносе?

— Так точно-с.

— А велики дети?

— Старшей девочке так уж лет шесть-с.

— Вы на службе женились?

— Нет, уж вышедши-с.

— Да вы, кажется, и в отставке-то недавно?..

— Не так давно-с, другой год...

— Другой год! а! И женаты, следовательно, также другой год. Стало быть, на первый же случай бог вам дал тройни, да и не то чтоб грудных младенцев, а уж так на возрасте... лет по пяти, не правда ли?

— Как-с? — проговорил офицер, смутясь.

— Да уж так, не иначе! Поверьте мне, что так! Вот, mon cher, как бедных людей преследует судьба: богатым совсем не дает детей; а тут человеку, который не знает, как сам себя прокормить, вдруг залпом троих подросточков... Э-эх, Федор Петрович, стыдно! Вот уж этого-то не ожидал от вас!

Офицер побледнел, задрожал как лист, приподнялся со стула как уличенный в преступлении.

— Стыдно, господин Яликов, промышлять таким обманом!

— Не погубите-с! — проговорил Яликов, готовый упасть на колени.

— Полноте, что вы это! Как ты думаешь, mon cher: у человека было огромное состояние, была жена,—образованная дама

высшего тона,— все с рук спустил! И вот теперь в каком положении!

— Кто, я с рук спустил? — проговорил жалобным голосом Яликов,— неправду вам сказали-с, ей-ей неправду! Вот вам Христос, что я ни душой, ни телом не виноват!

— Где ж ваше состояние? где жена? а?.. Да отвечайте же!

— Не могу-с!.. Горько-с!.. Бог с ней! — проговорил Яликов, зарыдав и закрыв лицо шляпой.

Сначала Рамирский смотрел с презрением на бедняка, которого обман Дмитрицкий вывел на чистую воду, но когда он горько зарыдал, сожаление глубоко проникло в душу Рамирского.

— Если б ты знал, mon cher, жену его,— вот истинный ангел! Не правда ли, Федор Петрович? — сказал Дмитрицкий.

— Да-с, ангел, точно ангел! — отвечал Яликов, отирая глаза.

— Я думаю, вам ужасно как жаль Саломеи Петровны?

— Как же-с... жаль!..

— Нельзя и не жалеть. Представь себе, mon cher, роскошнейшую женщину, красавицу, блестящего воспитания, полную чувств, музыкантшу, певицу — ну, просто очарование... вышедшую по любви замуж... вот за них. Великолепный дом на лучшей ноге, прислуга, экипажи, ну, словом все — роскошь! Не правда ли, Федор Петрович?

— Действительно так-с! — отвечал Яликов, вслушиваясь с грустью в описание своего прошедшего счастия.

— Не понимаю, каким же образом все это рушилось? — спросил Рамирский.

— Да поди, спрашивай виноватого; пожалуй, обвинят и зайца, который перебежал дорогу Федору Петровичу; а если посудить глубже, так вся беда-то, как говорится, в колыбели выкачана, на материнских руках вынянчена, родительским попечением взлелеяна, добрыми людьми откормлена. Отчего, напри-пример, я, Волобуж, иностранец, а не русский, не какой-нибудь Дмитрицкий? Я бы и был Дмитрицким, если б дома не научили меня играть роль смирного мальчика, тогда как я был шалун; если б в пансионе не научили меня играть роль прилежного, тогда как я был лентяй; а потом отчаянного и лихого малого, тогда как я был трус. Таким образом, разыгрывая чужие роли, можно забыть о своей собственной; под вечной маской сотрется собственное лицо, родной отец не узнает родного сына. Понятно? Кто, например, поручится, что и я не виноват, что Федор Петрович, также по привычке играть роли, вздумал разыграть перед нами отца семейства, удрученного бедностью; кто поручится, что бедная супруга его, Саломея Петровна, не разыгрывает теперь роли француженки и не заведывает каким-нибудь Чаровым.

— Да уж если правду говорить, так она и в девушках была еще француженкой! — сказал Яликов,— я это тотчас заметил, да каналья сваха надула.

Рамирский с грустным удивлением слушал слова Дмитрицкого; имя Чарова его поразило, но он невольно усмехнулся на замечание Яликова. Дмитрицкий не был смешлив и пресерьезно сказал:

— Без сомнения, должно быть так, Федор Петрович.

— Да уж душа никогда не обманет,— прибавил Яликов.

— Конечно, особенно ваша. Знаете что, Федор Петрович, ведь Саломея Петровна здесь.

— Где-с? — с испугом спросил Яликов.

— В Москве.

— У родителей-с?

— Нет, от роли дочери она отвыкла. Хотите, я вас с нею сведу?

— Нет уж... Бог с ней!.. Куда уж мне... Если б хоть отдала мне ломбардный билет... Если б вы изволили сделать милость попросить ее,— сказал Яликов, привставая с места и кланяясь.

— Вот задумали о ломбардном билете! Вы, мужчина, не умели беречь денег, где ж уберечь их слабому нежному существу! Ее самое, дело другое, можете получить: я об этом озабочусь.

— Нет уж, покорно благодарю! — проговорил Яликов, снова вставая,— я беспокоить не хочу Саломеи Петровны... Если б какое-нибудь местечко открылось... потому что за квартиру вот плачу целковый в месяц; пища также — уж все проешь в день гривенничек.

— С женой-то на сносе и с четырьмя детьми? Послушайте: мало!

— Это уж я так... проговорился,— сказал Яликов, стыдливо потупив глаза,— потому что на той же квартире живет одна очень хорошая женщина с детьми... так она пригласила меня в компанию, стол держать вместе.

— А! это дело другое, теперь понимаю; вы говорили: *жена с детьми,* я думал, что ваша собственная; но выходит, что не ваша, а просто жена с детьми, вместе с которой вы держите стол, вместе приходы и расходы, так?

— Так точно-с; я не умел объясниться хорошо сначала.

— То-то и беда: надо всегда хорошо объяснять все сначала, а не то люди подумают бог знает что. Так вам нужно только теплое местечко? Где ж бы нам найти его?

— Хотите ко мне в управляющие,— сказал Рамирский,— вы будете иметь все готовое и пятьсот рублей жалованья. Все ваше дело будет состоять в сборе и пересылке ко мне оброка.

— Ну, вот, хотите? — прибавил Дмитрицкий.

— Как не хотеть-с, я бы очень желал.

— Ну, так дело и кончено. Завтра вы явитесь к Федору Павловичу, а теперь можете отправиться домой. Вы где живете?

— В Зарядье.

— Охо-хо! Так вы не рассердитесь, если я вам предложу

вместо пары гнедых, чтоб доехать до квартиры, пару синих? Пожалуйста, не церемоньтесь, Федор Петрович, что за церемонии между приятелями.

Яликов в восторге поклонился чуть-чуть не до земли.

— Приходите завтра ко мне часов в девять утра, мы поговорим,— сказал Рамирский.

— Непременно-с!

Яликов еще раз поклонился и вышел.

— Доброе дело сделал, mon cher, ей-богу доброе! — сказал Дмитрицкий по выходе просителя.— Если б ты знал, что это за карась и что за щука жена его... Да ты, я думаю, догадался, что это за лицо?

— Право, нет.

— Ну, ты рассеян или спать хочешь.

Воображение Рамирского в самом деле было слишком занято собственным делом, и потому он мало интересовался чужими.

— О каком Чарове упомянул ты? — спросил он.

— Тут есть один Чаров, пустая голова, но богатое животное. А что?

— Так; я знал одного Чарова в Петербурге.

— Он-он-он-он! Это я верно знаю.

— Он женат?

— Кто, он? Да какой урод, как он и сам говорит, пойдет за него?

Смутное чувство затронуло Рамирского.

— Он богат, и этого довольно,— сказал он, вздохнув.

— Богат? Пустяки. У женщин есть такт и самолюбие; умный бедняк ничего, глупый богач также ничего. Но ни то ни се, ни ума, ни глупости — нельзя, mon cher: я говорю тебе, что у женщин есть такт: надо же любовь заменить хоть правом бросать деньги и свободой порхать на все четыре стороны; а это животное не дает ни денег, ни воли. Я только раз видел его и понял. Разве вот теперь нашла коса на камень... на Саломею... Она, может статься, распорядится им как следует. Саломея Петровна! Ах, Саломея Петровна! Да нет, извини, аттанде: он поставит мне и тебя на карту!.. Ты не поверишь, mon cher, что за страсть у меня к этой женщине. Она меня терпеть не может, а я не могу никому уступить ее — никому!.. Послушай, ты коротко знаком с Чаровым?

— Да, я был знаком, но не желаю продолжать знакомства.

— Нет, для меня: сведи меня с ним завтра же в английском клубе. Мне хочется видеть Саломею.

— Избавь, пожалуйста!.. Не могу! Не хочу!

— Ну, ты только позови его к себе, а уж я сойдусь с ним сам.

Рамирский подумал. Любопытство узнать от Чарова о Нильской подстрекнуло его, и он решился исполнить просьбу Дмитрицкого.

Часть двенадцатая

I

Когда ж ты, душа моя, расскажешь мне историю своего сердечного кораблекрушения? — спросил Дмитрицкий на другой день поутру, входя в номер Рамирского и взяв в руки лежавший на столе атлас естественной истории инфузорий.— Мне ужасно любопытно знать, что за несчастия такие и беды, от которых люди вешают нос? Мне кажется, mon cher, что микроскопическое воззрение на мир и людей и есть именно несчастие. Посмотри стеклянными глазами на воду чистую, как бриллиант, и в этой воде откуда-ни возьмутся вот эти чудовища с греческими и латинскими наименованиями. Жажда страшная, вода свежа, светла на глаз, а пить отвратительно: мысль о чистоте ее нарушена; так все и кажется, что проклятые зубастые дрожалки и коловратки изгрызут всю внутренность.

Точно так же взгляни только в увеличительное стекло в недра человеческие и на все обстоятельства — просто несчастье! Столько допотопных чудовищ, что поневоле отворотишься от любви и от дружбы.

Кто ж населил этими коловратками и дрожалками чистую, светлую природу? Дух человека, разбитый вдребезги; каждая частица его воплощается, живет, кусает, щиплет, просит пищи: ты, говорит, произвел меня, ты и питай. Ты отбросил меня от себя, а я все-таки от тебя не отстану. Так ли? Умно?

Но если человек расплодил грех, так пусть же и терпит от него, или находит свое счастье в несчастии, свою тишину посреди тревог и бурь, свою радость в печали, свою любовь в ненависти. Вот я, например, и наслаждаюсь ненавистью к некоей Саломее: мочи нет как хочется стереть рог ее гордыни, согнуть в дугу ее непреклонность. Не будь ее, я давно бы влюбился в кого-нибудь надлежащим образом; женился бы, сделался бы

отцом семейства и непременным членом английского клуба... Впрочем, не знаю, женился ли бы; может быть, я лгу: где взять настоящую virgo: [1] сколько ни смотрю, все virago [2], все мужественные девы.

Рамирский взглянул на Дмитрицкого и вздохнул.

— Ты также, верно, попал на какую-нибудь virago? Расскажи, Федя, от нечего делать свою автобиологию.

— Не хочется говорить.

— Ну, не говори; принуждение во всяком случае никуда не годится. Добрая воля — дело другое: у доброй воли есть и язык, и руки, и ноги, и тому подобные вещи, годные на дело. Чем же тебя рассеять? Такой славный малый, а хандришь. Знаешь что? Женись, ей-богу женись!..— Рамирский невольно улыбнулся.

— На какой-нибудь virago?

— Э, нет; я с досады забыл, что во всей природе есть исключения, и в этом случае есть. Ты был влюблен?

— Может быть.

— Ну, следовательно, во всяком случае, ты страдаешь от безнадежной любви. Здесь есть, братец, чудо, а не существо, которое также страдает от безнадежной любви, в этом я уверен. Вы будете пара. Ты будешь жаловаться ей на непостоянство женщин; а она тебе на непостоянство мужчин; оба будете сожалеть о первой любви и довольствоваться второю.

— Нет, любезный друг, погасли мечты о счастии жизни, их не возжешь снова.

— Дело! Ты стоик; человек, который что заберет в голову, того колом не выбьешь. А в отношении к счастию, mon cher, кроме стоицизма это значит и злопамятность.

— Не понимаю почему?

— А вот почему: судьба не дала тебе того, чего ты желал, так ты так на нее озлился, что плюнул, да и знать не хочешь того счастия, которое она сама тебе готовит.

— Желал! Что ж значит желание сердца? — вскричал Рамирский, вскочив с места,— не инстинкт ли потребности и желаний самой природы? Если у животных инстинкт не обман, за что же я в себе буду считать его ложным аппетитом к чему-нибудь? Нет! Не судьба отняла у меня мое, а люди! Доля моя отнята, другой не нужно! Чем заменю я потребность сердца? Просто женской фигурой? Золотом, почестями? Каким-нибудь опьянением светской жизни?

— Правда, mon cher, что это все вещи более существенные или, так сказать, благоразумные; но так как каждый человек без исключения есть поэт и не может существовать без утоления души, то есть именно без удовлетворения того, что ты называешь инстинктом, то я и кладу оружие перед тобой. В самом деле, про

---

[1] Девица *(лат.)*.
[2] Мужеподобная женщина *(лат.)*.

инстинкт я забыл... Что, например, я существенно желаю по инстинкту?.. Женой — Саломею с добрым, любящим сердцем вместо злого, тебя — другом, кусок земли на родине, да, кроме домашних забот, какую-нибудь службу. Не служить людям нельзя: мы все должны друг другу служить своей способностью. Способность — великая вещь; кто уродился барабанщиком или флейтщиком, тот и в должности фельдмаршала будет только барабанить в уши и просвистит победу.

Вошедший Иоганн прервал нравственные размышления Дмитрицкого докладом, что к нему приехали какие-то господа и желают непременно его видеть.

— Так мы едем сегодня в клуб? — сказал Дмитрицкий,— я распоряжусь, чтоб тебя записали.

— Пожалуй; но что я буду делать в клубе?

— Сегодня заказной обед на славу.

— Это для меня плохой соблазн.

— Не все ли равно скучать здесь или там? По крайней мере посмотришь на чудаков, которые откармливают себя для того только, чтоб их со вкусом съели черви. До свидания, mon cher.

Когда Дмитрицкий вышел, Рамирский занялся чтением французской сказки про блуждающего жида и читал до тех пор, покуда индейский принц Джальма и мадам де Кордевиль заснули вечным сном, а сам он задремал.

В это время собирался в клуб к обеду на славу Чаров. Приказав запрягать коляску, он, однако же, ходил молча по комнате в беспокойной нерешительности и посматривал на известную нам особу, которая раскинулась в креслах и, приложив руку к голове, также сидела молча и задумчиво.

— У тебя, верно, опять болит голова, Ernestine? Я съезжу посоветуюсь с доктором.

— Я вижу, что вам хочется куда-нибудь ехать; не сидится дома.

— Мне нужно сделать несколько визитов... Если я запоздаю, пожалуйста, не ожидай меня к обеду.

— Отчего же? я могу ждать, вы можете возвратиться в полночь.

— Вот прекрасно, в полночь; я возвращусь непременно часов в шесть.

— Это все равно для меня: я могу и не обедать.

— Фу, черт! Несносная баба! — проговорил про себя Чаров.

— Да для чего же не обедать, ma chère?

— Оттого что я не из куска хлеба у вас живу... Да сделайте одолжение, поезжайте; что вы обо мне заботитесь?

— Да нельзя же... Я не понимаю, за что тут быть в претензии.

— Какая претензия? Я вас не удерживаю.

— Нельзя же мне все дома сидеть... Я имею свои отношения,— проговорил Чаров с досадой.

— Я знаю, что во всех отношениях жена последняя. Но я еще не жена ваша, да и не наложница; вы это должны хорошо знать!

— Эй! — крикнул Чаров,— распречь! я не поеду.

Закурив сигару, он сел на диван, и тишина воцарилась.

— Я не знаю,— сказала́ Саломея смягченным голосом после долгого молчания,— для чего себя принуждать? Для чего вы не едете, когда вам хочется ехать? Если я высказываю чувства свои, кажется, не за что сердиться?.. Я могу перенести скуку быть одной... Поезжайте... я займусь музыкой...

С Чарова как будто спали оковы. Помявшись еще немного на месте, он как будто нехотя встал, велел подавать лошадей.

— Если б не нужно было, право бы ни за что не поехал,— сказал он, сев подле Саломеи и поцеловав ее в плечо.

— Пошлите, пожалуйста, за мосье Жоржем, я буду с ним играть в четыре руки.

— Не понимаю, Эрнестина, что тебе вздумалось взять этого мальчишку; ну, какой он артист? Я тебе рекомендовал лучшего фортепьяниста...

— Учителя? Мне учитель не нужен.

— Но он мог играть с тобой в четыре руки; а этот мальчишка только сбивает тебя. Вчера я прислушался: ты его поправляла на каждом шагу.

— Ах, оставьте, вы не понимаете музыки.

— Как хочешь, ma chére, мне только досадно, что всякое животное берется не за свое дело. Я не понимаю, как ты не замечаешь, что он просто играть не умеет.

— Да, я хочу переобразовать его игру по своей методе и приспособить для аккомпанемента; с каким-нибудь глупым виртуозом этого сделать нельзя.

— Не понимаю. Впрочем, как хочешь, я только так сказал.

— В котором часу вы возвратитесь? — спросила Саломея, когда Чаров, прощаясь, поцеловал у нее руку.

— Я постараюсь скорее возвратиться; я не хочу, чтоб ты без меня скучала. Во всяком случае, я возвращусь часам к шести, и мы будем обедать вместе.

— Но вы не располагали обедать дома.

— Но ты не любишь обедать одна.

— Со мной будет обедать мосье Georges.

— Приглашать бог знает кого с улицы обедать с собой! — сказал Чаров с досадой.— Нет уж, пожалуйста, Эрнестина, это мечта!.. Всякая ска-атина будет у меня в доме обедать! — прибавил он по-русски.

— За кого вы меня почитаете? За женщину с улицы, которая не знает приличий? — произнесла, гордо вскинув голову и презрительно усмехнувшись, Саломея.

— Помилуй, Эрнестина... Ты всем обижаешься,— сказал Чаров, всегда смирявшийся пред непреклонным высокомерным

взором ее. Он выражал для него всю полноту достоинства не только светской женщины высшего тона, но какой-то Юноны, нисшедшей для него с Олимпа. Как будто припоминая, что Эрнестина не простая смертная, Чаров тотчас же преклонял пред ней колена и молил о помиловании.

Вместо ответа на его слова Саломея очень спокойно отняла свою руку, которую он хотел взять.

— Ты меня не поняла, ma chère,— начал Чаров в оправдание,— мне все приятно, что ты желаешь... но иногда нельзя же... мне показалось, что ты рассердилась на меня и хотела затронуть этим мое самолюбие...

— Рассердилась! Что это за выражение? Я его не понимаю.

— Если не понимаешь, так и не сердись,— сказал Чаров, прилегая к плечу Саломеи.

— Пожалуйста, поезжайте; дайте мне успокоиться от неприятных чувств, которые вам так легко во мне возбуждать.

— Какая ты, Эрнестина, раздражительная,— хотел сказать Чаров, но побоялся.— Ну, прости,— сказал он ей вместо этого и помчался в клуб.

На душе у него стало легко. Есть тяжелая любовь, от которой истомленное сердце радо хоть вздохнуть свободно.

В клубе Чарова встретили с распростертыми объятиями. Он как будто ожил со всеми своими причудами и поговорками.

— Чаров! душа моя! Где ты, mon cher, пропадал? Можно с чем-нибудь поздравить?

— У-урод ты, душа моя! ты знаешь, что я поздравления с праздником принимаю у себя в зале, а не здесь.

— Нет, скажи правду,— сказал один из закадычных друзей, взяв его под руку и отведя в сторону.— Говорят, ты женился?

— Ска-атина! Что ж это — запрещенная вещь, что ли, что ты меня спрашиваешь по секрету?.. Аа! Рамирский! Ты как попал сюда? — вскричал Чаров, увидя Рамирского.

— Совершенно случайно,— отвечал, невольно смутясь от горьких воспоминаний, Рамирский.

— Помнишь еще или забыл свой malheur [1], братец? Я сам вскоре получил отставку; это уж такая служба: долго на месте не просидишь. Меня, братец, отставили за грубость.

— Тебя, mon cher? Какая служба? Когда же ты служил? Каким образом тебя отставили? — прервал приятель Чарова.

— Очаровательная служба, братец, по вздыхательной части; да я вздыхать не умею.

Рамирский не вынес, отвернулся к магнату Волобужу, который стоял подле и вглядывался в Чарова.

— Позови же этого ска-атину к себе,— сказал магнат, отходя с Рамирским на другой конец залы.

— Ах полно пожалуйста, я его терпеть не могу!

---

[1] Несчастье *(франц.)*.

— Я сам его терпеть не могу,— сказал и магнат,— это-то и причина, по которой я хочу с ним познакомиться покороче.

— Это кто такой? Что за новое лицо? — спросил Чаров у своего приятеля, показывая на магната.

— Это иностранец, венгерец Волобуж, магнат, богач и прелюбезный человек.

— Аа! Это-то он. Мой наследник у Нильской? Что, правда это, что он близок к ней?

— Говорят; впрочем, очень вероятно; он вскружил голову всем дамам.

— Ах, ска-атина!

— Скотина, скотина, а молодец; из первых магнатов Венгрии; говорят, что кремницкие золотые и серебряные рудники принадлежат ему... Какие, говорят, у него великолепные замки в горах!..

— Тем лучше; уу-род! Играет он в карты?

— О, еще как!

— Так я оберу у него всю золотую руду и все замки, поселюсь в Венгрии; мне Россия надоела!.. Уу-род! — сказал Чаров.

Хвастливая мысль как будто подожгла его.

— Честное слово оберу его! — прибавил он разгорячась.

— А что ты думаешь, накажи-ка его в самом деле; это славно! — сказал приятель Чарова.

Известно, что не столько собственные мысли, сколько люди любят поджигать друга на предприятия, где можно сломать голову: любопытное зрелище, весело смотреть, ахать и восклицать: каков!

— Рамирский! — сказал Чаров, схватив его за руку, так что он вздрогнул, пробужденный внезапно от задумчивости, — Рамирский, ты коротко знаком с этим венгерцем?

— Мы рядом живем в гостинице «Лондон», и вот все мое знакомство.

— Он, mon cher, говорят, интересный человек. Он у тебя часто бывает?

— Да, когда дома, мы проводим время вместе.

— Я к тебе приеду, познакомь меня с ним. Завтра звечеру я буду у тебя; пригласи его.

— Если хотите, я теперь же скажу ему, что вы желаете с ним познакомиться.

— Non, non, non, много чести!.. Лучше завтра у тебя,— сказал Чаров,— да! Что ты, mon cher, не ревнуешь его к Нильской?

— Это что за вопрос? — спросил Рамирский, вспыхнув.

— Хм! что за вопрос! Как будто тебе неизвестно.

— Что такое?

— Про Нильскую? Ты бываешь у нее?

Рамирский, не отвечая ни слова, с недоумением посмотрел на Чарова.

— Ну, ну, ну, ты что-то так странно посмотрел на меня; понимаю и умолкаю!.. Bonjour, mon cher! пойдем играть! — крикнул Чаров, обратясь к одному проходившему мимо толстяку, и ушел с ним; а Рамирский еще глубже задумался, прошел по зале, склонив голову, потом вышел в переднюю и уехал.

II

На другой день Дмитрицкий, по обычаю, вошел в номер к Рамирскому, который в тревожном расположении духа ходил по комнате.

— Здорово!

— Здравствуй,— отвечал Рамирский, не отводя глаз от полу.

— Что ты такой странный?

— Ничего.

— Если ничего, так слава богу. Представь себе, этот урод Чаров обыграл меня на двадцать тысяч... а? каково? Черт знает, что за счастье! С ним *просто* невозможно играть!.. Да какая страсть играть: так и лезет на нож... Он сказал, что сегодня ввечеру будет у тебя — даст реванжику... Но я боюсь с ним играть, право, боюсь! В первый раз в жизни оробел; но надеюсь на счастье!

— Несчастлив в картах, счастлив в любви! — сказал Рамирский, вздохнув.

— В любви? Какая, mon cher, любовь! И в эту игру не составишь теперь на счастье и пожизненного капиталу, не только что на вечность, чтоб, как говорится, и за гробом жить душа в душу, обнявшись, и составить, так сказать, единое, целое, нераздельное существо.

— Современность не требует этой вечности, по правилу, что в мире вечных измен надо и самому быть изменчивым.

— По-юпитеровски? следующим образом:

Enfin, renonçant aux amours,
Jupiter, devenu fidèle,
Pour sa moitié, depuis huit jours,
Brûlait d'une ardeur éternelle[1].

— Пустяки, душа моя! Уверяю тебя, что Юнона — или несносная баба, которая мешалась не в свои дела, или холодная баба, или истерическая женщина,— иначе быть не может: с чего Юпитеру от своей богини гоняться за весталками?

Да на это есть и факт: помнишь, в первой песне Илиады она так привязалась к нему из ревности к Фетиде, что он хотел ее

[1] Наконец, отказавшись от амурных похождений, Юпитер, ставший верным супругом, уже восемь дней пылал вечной страстью к своей половине *(франц.)*.

поколотить. Юпитер вышел из себя и хотел поколотить свою жену! Что ж делать с несносной бабой простому-то смертному? а? сам ты посуди! Жена будет пилить тебя: «Да это почему, да это для чего, да ты от меня скрываешь, да я знаю, почему ты вздумал помогать троянцам!» Поневоле скажешь, как Юпитер: «Послушай, душа моя, у тебя на каждом шагу подозренья, только и дела, что за мной примечать, только и занятия, что мешаться в мои дела да выпытывать, что и для чего я делаю; я тебе говорю, что этим ты ничего доброго не сделаешь, а только отвратишь от себя мое сердце!..» Ну, разумеется, и отвратила, и пошел добрый молодец на сторону; хорошо еще, что не запил.

— Хм! Ты славный чудак! — сказал Рамирский, рассмеявшись,— скажи, пожалуйста, любил ты когда-нибудь?

— Нет еще; если я влюблюсь, так женюсь; да влюбиться не в кого.

— Будто здесь нет ни одной женщины, которая бы могла тебе нравиться? — спросил Рамирский с пытающим ревнивым взором.

— Нравиться? Как не быть! особенно одна: Нильская.

— Что же? — проговорил тревожно Рамирский.

— Ничего; очень хороша собой, мила как нельзя больше, умна насколько нужно, добрушка.

— Ну, так что же?

— Ничего.

— Как ничего?

— Да так, все есть для кого-нибудь, да для меня-то чего-то недостает.

— Чего же?

— Я думаю, любви.

— Стало быть, она влюблена в кого-нибудь? В кого? — торопливо спросил Рамирский.

— В кого! чудак! Почему ж я знаю. Может быть, в тебя.

— Полно, Дмитрицкий! — сказал встревоженный Рамирский, вскочив с места и схватив Дмитрицкого за руку,— что за шутки!

— Это что ж такое? — спросил Дмитрицкий, посмотрев на него лукаво.

— Я не люблю таких шуток! — отвечал Рамирский.

— Да помилуй! откуда, какие шутки?

— Послушай, Дмитрицкий, ты мне должен сознаться, почему ты это сказал.

— Что? что такое?

— Про мои бывшие отношения с нею? Верно, тебе что-нибудь сказал Чаров?

— Э, душа моя! — вскричал Дмитрицкий,— никто мне не говорил, ничего я не знал, ничего еще не знаю, а все понимаю!.. Так вот она откуда истекает любовь к морю, к кораблям и фрегатам!.. Я думал, что она сбирается вступить в морскую службу.

— Дмитрицкий! послушай! — вскричал Рамирский, и глаза его заблистали.

— Рамирский! послушай! — крикнул и Дмитрицкий,— ты, верно, изменил ей?

— Я? ей? нет! — проговорил, горько усмехаясь, Рамирский.

— Ну, так не понимаю. Говори мне свою историю любви.

— Нет! прежде всего я хочу знать твои отношения к ней. Мне Чаров сказал... но что об этом говорить... я прошу у тебя всей правды.

— Тебе сказал Чаров?.. Хм! Ему можно, должно верить, нельзя не верить!

— Так... кажется, продолжать не нужно? — проговорил Рамирский, вскочив с места.

— Отчего же? — спокойно продолжал Дмитрицкий,— ведь тебе сказал Чаров?

— Об этом все говорят!

— А! ну, в таком случае опять-таки нельзя не верить; ведь это публика. Она все знает: знает даже, какие у меня имения в Венгрии, какие золотые рудокопни, сколько я получаю с них доходу, и даже говорят, что я происхожу от Атиллы, добивался престола великого своего предка; да Меттерних узнал... ну и все дело испорчено: никак не мог добиться и с досады уехал в Россию.

— Полно шутить!

— Говори-ка свою историю любви, говори!

— К чему?

— Да так, я хочу сделать из всего математический вывод. Говори, душа моя!

Рамирский, вздохнув глубоко, рассказал в коротких словах, как рушились пламенные надежды его сердца.

— Ты несчастный человек, Федя! — сказал Дмитрицкий, уставив глаза на Рамирского.

— Может быть! — отвечал он, вздохнув еще глубже.

— Совершенно несчастный, несчастнее быть нельзя! Ска-атина Чаров, у-урод! отбил влюбленную по уши невесту! Да что ж может быть этого несчастнее? Это, братец, муха слона проглотила, да желудок не сварил... ей-богу!

— Ах, оставь шутки! — вскричал Рамирский,— с такими понятиями, как твои, разумеется, ничего, что женщина одному отдает свою руку, а другому сердце!

— Да, да, да, именно: тебе руку, а Чарову сердце. Как ты думаешь, что это, естественное дело?

— Очень естественное!

— Ты сам своими глазами читал назначение свидания?

— Сам, своими глазами!

— Ее рука?

— Ее рука.

— Скверность какая!.. Где ж было назначено это свидание?

— У какой-то Варвары Павловны. «Мы вместе будем пить чай». Чего ж еще больше?

— Больше ничего и не нужно. Мы это все узнаем.

— Поздно.

— Ничего; десятилетняя давность не прошла.

— Нет уж, кажется, целый век прошел.

— Век влюбленных—гомеопатический век, неопределенный, смотря по величине тоски. Ты уж, пожалуйста, не беспокойся, вздыхай себе. Это ничего. Я бы тебе аккомпанировал, да не умею играть на этом духовом инструменте. Прощай покуда! мне сегодня надо сделать по крайней мере десять проклятых визитов!

И Дмитрицкий отправился по визитам. Как знаменитый иностранец, он тотчас *разлился в свете,* по направлению духа времени к вавилонскому смешению языков, и должен был, как и все, считать первым делом так называемую поддержку знакомства.

К вечеру он возвратился, отдуваясь.

— Ну, душа моя, замучили даром, из ничего, из одного приличия, из одной прекрасной наклонности к общению! Премило: хочешь не хочешь, есть время или нет, а изъявляй каждому встречному и поперечному, дальнему и ближнему, высокому и низкому свое почтение, рассыпайся с известными недосказываемыми фразами: «Ах, как я рад вас встретить... чтоб вас черт побрал!.. Куда ж вы торопитесь... черта ли вам здесь делать?» Ну, душа моя, только теперь я вижу вполне, что человек есть разумное животное!.. Что, Чаров еще не был? Покуда приедет, я отдохну.

Но Чаров вскоре прибыл.

Так как и Чарову и Дмитрицкому мало было дела до Рамирского, то они тотчас же и занялись друг другом, сели для прелюдии *по маленькой* в преферанс, вдвоем, прихлебывая счастье и несчастье вместо воды — вдовой Клико́.

— Нет, вот в Петербурге...— продолжал Дмитрицкий, завязав *холостой разговор,*—там прекрасно; там есть какая-то Варвара Павловна, к которой приезжаешь на чай, без церемонии, как к родной...

— Варвара Павловна? чиновница? — вскричал, не выдержав Чаров,— знаю, знаю! Ах, я скаатина! — прибавил он по-русски.

— Бесподобно!..— продолжал Дмитрицкий преравнодушно, нисколько не стараясь вытягивать любопытством язык Чарова.— Приедешь, как домой, наденешь татарскую одежду.

— Ах я скаатина! Не понять! пропустить такой случай!.. Ну! я теперь только постигаю, отчего на меня надулись!.. Представьте себе: одна премиленькая дама, разумеется, dame du grand monde[1], я не могу, однако ж, сказать ее имени, просила

[1] Дама великосветская *(франц.).*

меня похлопотать об месте одному чиновнику, мужу будто бы своей приятельницы... Я разумеется mais c'est drole...[1] доставляю ему место... и, comme de raison[2], получаю записку, в которой пишут мне, что облагодельствованная приятельница зовет меня к себе на чай и хочет лично благодарить... Я ничего не воображаю, ничего не понимаю, ничего не подозреваю... еду... как дурак... мне представляют мужа, детей... поят чаем...

— Рамирский,— прервал Дмитрицкий,— ты проиграл мне фунт конфект; пошли, mon cher, мне хочется их съесть теперь... eh bien?[3] ну?

— Ну, приехал и уехал дураком!.. недогадлив... скаатина! Но я не понимаю, как принимать к себе в дом такую женщину... diable![4] Как тут не обмануться? Очень образованная, милая женщина, играет на фортепьяно, прекрасно поет, в дополнение: муж, дети... Ну, как тут что-нибудь подумать?..

— Ну, нет, это совершенно не та Варвара Павловна, об которой я говорю,— сказал Дмитрицкий.— Та довольно простая женщина, живет одна и нисколько не мила и не образована... Коса или крива, не помню, на носу бородавка, рот на сторону...

— А! Ну, это не та! Ха, ха, ха, ха! Я пришел было в ужас! — крикнул Чаров, обрадовавшись, что не был в дураках.

— И я было пришел сначала в ужас; но ужасаться ничему не должно сначала, потому что многое ужасное — в сущности пшик и больше ничего. Je vous assure, mon cher[5] Рамирский.

Рамирского била лихорадка во время рассказа Чарова; он скрежетал зубами на Дмитрицкого, который равнодушным своим выпытываньем доводил его уже до отчаяния. Но вдруг отлегло на сердце у Рамирского, и он готов был броситься к Дмитрицкому на шею.

— Мосье Чаров, вам что-то не везет сегодня,— сказал Дмитрицкий,— не понизить ли тон?

— Удвоить, утроить, если хотите! — крикнул Чаров.

— Мне выгодно,— отвечал равнодушно Дмитрицкий,— я знаю, что я сегодня выиграю.

— Посмотрим!

— Увидите: я всегда предчувствую.

Счастье Чарову в самом деле не повезло; он выходил из себя, лицо его стало бледно, глаза впали, как после долговременной болезни.

— Эй! новых карт! — крикнул он, хлопнув колоду об стол так, что карты разлетелись по всей комнате.

— Чаров, здесь гостиница, а не собственный ваш дом,— сказал Рамирский, выходя с неудовольствием в другую комнату.

---

[1] Но это забавно *(франц.)*.
[2] Естественно *(франц.)*.
[3] Хорошо? *(франц.)*
[4] Черт возьми! *(франц.)*
[5] Я вас уверяю, мой милый *(франц.)*.

— Так завтра ввечеру ко мне, мосье de Volobouge! — проговорил Чаров, вынимая все наличные деньги и ломбардный билет.— Завтра я вам доплачу остальные сто...

— Сочтемся! — отвечал Дмитрицкий,— за эти выигранные двести с чем-то привезу к вам на проигрыш пятьсот с мазом — отвечаете?

— Отвечаю,— крикнул Чаров, но не обычным звонким голосом.

— Ты меня в ужас приводишь! — сказал Рамирский, когда Чаров уехал.

— Э, полно говорить об этих ужасах,— отвечал Дмитрицкий,— все это пустое дело, а не ужас.

— Это не хорошо, Дмитрицкий!

— Знаю, знаю, я очень хорошо знаю, что это не хорошо; да хуже разорит его Саломея: я дам ему отыграться; а от нее он не отыграется. Лучше поговорим о Нильской. Понимаешь теперь, что он больше ничего, как чеснок; а ты как железо отпал от магнита. Теперь, кажется, тебе нечего его бояться?

— Нет, это уж неисправимо.

— Почему знать, чего не знаешь; однако же пора спать! прощай!

Но Рамирскому было не до сна. Самообвинение хуже всякой казни.

III

Только с рассветом повеяли на истомленного Рамирского какие-то неопределенные, бессвязные, но успокоительные мысли; он заснул и встал очень поздно.

— Узнай, дома господин Волобуж? — спросил он прежде всего у человека.

— Только сию минуту уехали,— отвечал человек,— и приказали вам сказать, чтоб подождали его, что он сейчас будет назад.

Рамирский заходил беспокойно по комнате; присутствие человека, который стоял с рукомойником в руках, его тяготило.

— Что ж чаю? — сказал он.

— Да еще не умывались, сударь.

— Да! хорошо, давай умываться.

И Рамирский, умыв только одни руки, схватил полотенце, начал утирать лицо и приказал подавать чай.

Между тем Дмитрицкий сидел уже в уютной рабочей комнате Нильской, где был и письменный столик, и маленькая библиотека, и пяльцы, и ручные ее работы.

— А! это поэзия,— сказал он, сев подле стола и взглянув на тетрадку с заглавием: «Сочинения в стихах и прозе М. Н.» — Браво, это ваши?

— Совсем нет, не мои... Будто вы умеете читать по-рус-

ски? — спросила Нильская, покраснев немножко за произнесенную ложь.

— Я учусь,— отвечал Дмитрицкий,— и уже хорошо понимаю. Ну, признайтесь, ваши? Тут выставлено: М. и Н.

— Может быть.

— Знаете ли что: хотите, я переведу что-нибудь на венгерский язык? Право, можно взглянуть?

— Хорошо; но только это будет между нами: я пишу для себя и не хочу, чтоб кто-нибудь знал, что я пишу.

Дмитрицкий взял тетрадку, развернул.

— *Море?* Браво! Какие вы охотницы до моря! Отчего это?

Нильская вспыхнула.

— Так, мне нравится оно,— отвечала она, вздохнув.— Переведите вот эту статью.

— Хорошо. Как это грациозно: «Поймите море чувств в душе женщины и смотрите на него...» Как бы мне хотелось знать, к кому эти стихи? к Р.: «Любила я, он не любил...» Это для меня очень любопытно знать.

— Это?.. Пожалуйста, их не читайте: они скверно написаны.

— Не хотите, чтоб я читал? Ну, не буду читать,— сказал Дмитрицкий, положив тетрадку в карман.— Теперь позвольте мне сказать вам слово об одном серьезном деле.

— Что такое?

— По вашей наружности, по вашим словам, по всему, я знаю, что ваша судьба отравлена каким-то горем. Правда?

Нильская вспыхнула, вздохнула, опустила глаза.

— Для чего этот вопрос?

— Вот для чего: позвольте мне примирить вас с вашей судьбой... Пожалуйста, отвечайте просто: угодно вам это или нет?

— Странный вопрос!.. Вы меня так смутили им... я не могу вдруг отвечать...

— Нет, отвечайте теперь же: да или нет? Скажите, могу я примирить вас с судьбой или нет?

Нильская склонила голову на руку и задумалась. Нерешительность взволновала ее.

— Вы сами поняли, что жизнь моя отравлена горем...

Нильская остановилась.

— Продолжайте: откровенность лучше всего.

— Я, может быть, не в состоянии уже любить сама, а в состоянии еще требовать, чтоб меня любили... И эта любовь будет для меня успокоительный компресс на сердце... и больше ничего.

— Это значит, что вы любили первою и последнею любовью. Я это понимаю: у меня есть друг, которого судьба ни дать ни взять ваша судьба. Он также страстно любил, почти уверен был во взаимности; но есть люди, которых черт всегда подсунет, чтоб разделить союз истинной любви; подобный человек привязался к магниту, и мой друг отпал от него, как железо.

Нильская вздохнула.

— Скажите мне, виноват ли он в том, что *нечистый дух* имеет силу расторгать душевные связи истинной любви?

— О, боже мой, нет! — проговорила Нильская с глубоким вздохом, припоминая свою неосторожность и поступок Чарова,— я знаю, что нет!.. Это несчастие!

— Ваша судьба не похожа ли на судьбу моего друга? Вы магнит, но у вашего сердца уже нет пищи... и оно обратится в простой бессильный камень... Как бы я желал воскресить вас для взаимной любви!

— Это невозможно!.. Благодарю вас!.. Оставьте об этом говорить... по крайней мере теперь.

«По крайней мере теперь! — повторил Дмитрицкий про себя, смотря на Нильскую,— это что-то не сходится с «это невозможно». Бедные женщины: им хоть какие-нибудь нужны оковы, если нет оков любви!..» — Позвольте мне представить вам моего друга. Это достойный человек; вы его полюбите: его ум, образованность, сходство судьбы доставит вам приятную беседу с ним.

— Я очень рада,— сказала Нильская,— позвольте узнать его фамилию?

— Позвольте мне привести его сейчас же, потому что... Ну, словом, откладывать не для чего,— сказал Дмитрицкий и выбежал из кабинета.

Через десять минут он стоял уже в дверях номера, занимаемого Рамирским, и крикнул:

— Дома?

— Дома. Для чего ты просил меня подождать?

— Дело, важное дело; сейчас только решено, и я везу тебя к невесте.

— Это что такое?

— Все-таки то же; поедем, одевайся, нас ждут.

— Поздравляю; да для чего же мне-то?

— Да так, нужно в чем-то расписаться или свидетельствовать мою руку, право, не знаю, ну, словом, необходимо!.. я сказал, что тебя привезу... Одевайся!

— Ты мне ни слова не сказал о своем намерении... Кто такая? — спросил Рамирский.

— Премиленькое, преочаровательное, препоэтическое существо!.. вот и все!

— Послушай,— сказал Рамирский, задумавшись,— ты не знаешь, давно ли Нильская приехала из Петербурга?

— Давно ли? Да тебе это для каких соображений? Вот никак не могу понять!

— Так.

— Аа! так; это дело другое; следовательно, тебе это нужно непременно знать? Я непременно спрошу у нее.

— Ты часто у нее бываешь?

— Вот это вопрос, как вопрос: из ответа можно вывести какие-нибудь заключения... Ну, готов? шляпу!.. Все твои вопросы я удовлетворю после, а теперь едем... Ты не поверишь, как счастлив тот, кто после долговременных несчастий может, наконец, воскликнуть с Видостаном:

Там все приятства обретешь,
Невесту милую найдешь.

И особенно, душа моя, Федя, такую невесту! Невесту, которая пишет не только стихами, но и прозой... Послушай,— продолжал Дмитрицкий, вынув тетрадку из кармана,— например, *Море*, которое я хочу перевести на венгерский язык.— Послушай: «Как мне описать вам море? Может быть, и лучше, что вы его не знаете?..»

— Дмитрицкий! — вскрикнул Рамирский, прервав его,— неужели это сочинила твоя невеста?..

— Это что за вопрос? — спросил Дмитрицкий.— Ты нешто знаешь сочинительницу?

— Нет, но я читал это *Море* в одном альбоме. Знаешь ли ты, что это море спасло меня от женитьбы против сердца, против желания... Но я тебе рассказывал...

— Что ты говоришь? Это просто чудо! совершенное чудо!

— Странный случай! Твоей невесте я обязан...

— Ну, ты сам поблагодаришь сочинительницу.

— Приехали? — спросил Рамирский, когда карета остановилась.— Скажи же мне по крайней мере имя и фамилию...

Дмитрицкий выскочил из кареты, не отвечая на вопрос.

Рамирский вошел за ним в дом.

Они остановились в гостиной в ожидании хозяйки.

— Садись, Федя; ты можешь быть здесь как дома,— сказал Дмитрицкий.

— Да скажи же, пожалуйста, имя и фамилию твоей невесты.

— Какой моей невесты? С чего ты взял, что я женюсь?

— Это опять какая-нибудь мистификация! — сказал с неудовольствием Рамирский.— К какой же невесте ты меня привез?

— Скорее к твоей, нежели к моей.

— Барыня просит вас в кабинет,— сказала девушка, отворив двери и проходя в залу.

— Представляю вам моего друга,— сказал Дмитрицкий Нильской, сидевшей в креслах подле столика.

— Мосье Рамирский! — едва проговорила она, пораженная появлением неожиданного гостя.

Рамирский побледнел и бросил вопросительный взгляд на Дмитрицкого.

— Взаимная любовь, недоразумение, разлука, нежданная встреча, удивление и, разумеется, безмолвие; это так и сле-

дует,— сказал Дмитрицкий,— за всем этим следует объяснение, и потому я здесь лишний — и, как орудие судьбы, удаляюсь.

— Нет, mon cher, ты должен начать это объяснение,— сказал Рамирский, удержав его за руку.

— Не знаешь, с чего начать?.. Хм!.. С чего бы?.. Да! вот тебе море; начни с него, расскажи, как оно спасло тебя от женитьбы с отчаяния. Выслушайте его, мадам Нильская, это просто чудеса! До свидания! Я тороплюсь в клуб обедать; а потом...

Не договорив, Дмитрицкий вышел и поехал в клуб. Он думал, что там найдет Чарова, но Чаров не был. Чарову некогда. Возвратясь от Рамирского, он застал Саломею в слезах и отчаянии. Причиной слез ее был мосье Жорж, за которым она посылала и который, вместо того чтоб прибежать бегом и разыгрывать с ней моцартовскую сонату в четыре руки, уведомил ее, что приехал папенька и везет его с собой в Петербург.

— Господи! Что это такое опять, Эрнестина? — проговорил Чаров, взяв ее за руку.

— Выбросьте меня на двор, если вам несносны мои слезы! — крикнула Саломея, отдернув руку.

— Это просто ужас! — проговорил Чаров, махнув рукой,— ну, скажи, пожалуйста, к чему эти слезы, я, право, не понимаю!.. Эрнестина!.. Это с ума сойдешь!.. покою нет!..

— Пожалуйста, ступайте спать, оставьте меня!

— Хм! До сна мне!..

— Вы провели свое время весело, утомились от удовольствий — чего ж еще нужно! Остается: спать, собрать силы для новых удовольствий!..

— У меня удовольствия? Я провел время весело?.. Хм! Если б ты видела, что у меня на душе!

Чаров в самом деле был в отчаянии не хуже Саломеи. Его мучили спущенные *наличные,* и с лишком *сто,* которые во что бы ни стало ему надо было занять к вечеру следующего дня.

— Если б ты знала мое существенное горе,— продолжал он,— ты бы не стала томить и себя и меня своим... Бог знает чем!

— Только у вас и может быть существенное горе,— отвечала резко Саломея,— а каждое несчастие женщины причуда!

— Да какое несчастие?.. Откуда несчастие, что за несчастие?

— Хм! Счастие сидеть в четырех стенах одной — не находить ни в чьей душе приюта! Терзаться мыслию, что ожидает в будущности!

— Эрнестина! — вскричал Чаров, бросаясь к ногам Саломеи,— душа моя! Что ты хочешь? Чего ты желаешь? Я все для тебя сделаю!.. Твой приют у моего сердца... ты моя!..

Не отвечая ни слова, Саломея безмолвно, холодно смотрела на Чарова.

— Ты не веришь?... Ну, скажи мне, ты, верно, не веришь мне?

— Отчего ж не верить; если б я не верила вам, я бы не была здесь...

— О Эрнестина, обойми же меня!

— Ах, оставьте... я расстроена...

— Ну, успокойся же!

— Как будто так легко успокоиваться!.. Кто бы не желал спокойствия!..

— Ну, послушай; я буду сидеть дома, никуда ни шагу, я сделаю так, что тебе будет весело... ты увидишь. Только позволь уж мне распорядиться...

— Я, может быть, не пойму ваших удовольствий.

— Какие ж особенные удовольствия, ma chère? Просто препровождение времени, развлечение. Ко мне будут собираться приятели... музыка, пенье... ты будешь по крайней мере окружена образованными людьми, которые были во Франции... разговор с ними займет тебя...

— О, избавьте! Я не могу равнодушно вспоминать о Франции... я не могу видеть людей... в моем каком-то неопределенном положении!.. Избавьте, избавьте!

— Фу!.. Не знаю, что делать! — проговорил Чаров.

Тщетные убеждения и успокоения продолжались почти до рассвету; утомленный Чаров, несмотря то на взрывающую досаду, то на сердечное излияние самообвинения, что растревожил чувствительность нежной женщины каким-нибудь неприятным словом, начал зевать, но не решался идти спать, покуда сама Саломея, вскочив с кресел, ни слова не говоря, пошла в свою комнату.

— Фу! — проговорил Чаров, отправляясь в кабинет.

Несмотря на привычку спать до полудня, он велел разбудить себя в девять часов, не поленился встать в это назначенное время, велел запрягать лошадей и поскакал к своему заимодавцу.

Его заимодавец, Несеев, был какой-то таинственный человек и по наружности и по отношениям к обществу. Он почти везде бывал, и особенно в кругу молодежи; был очень обязателен, и заметно было, что не только Чаров, но и многие ему обязаны по части снабжения деньгами под залог; но, несмотря на это, все как-то невольно отклонялись в обществе от его внимания, бесед и короткого обхождения. Только Чаров, ровный, бесцеремонный со всеми, обходился с ним по-дружески и ласкал приязненными названиями: скаатина, уурод!

За это Несеев и предпочитал его всем, *одолжал* больше, нежели других, приходил к нему без церемоний обедать и, как всегдашний свой в доме, был представлен Саломее, как хозяйке дома; изъявляя ей полное уважение, совершенную преданность, удивление красоте, уму и достоинствам, он был для нее приятнее самого Чарова

Если б он даже волочился за Саломеей, Чаров не мог бы оказать ему своего неудовольствия. Чаров был обязан ему по горло, как увязнувший в болоте. Все именье было уже заложено, частью в Опекунском совете, а частью за долги через посредство Несеева; оставалось заложить дом, стоивший Чарову со всеми причудами убранства более пятисот тысяч. За эти пятьсот тысяч Несеев, как истинно готовый на всякую ему услугу, после долгих упрашиваний согласился, наконец, достать через несколько дней полтораста; но Чарову нужно было именно сегодня. Сегодня было другое дело: за эту неотлагаемую потребность он должен был согласиться на сто двадцать пять тысяч. Несеев обещал привезти деньги если не к обеду, то непременно тотчас же после обеда.

Неизбежные хлопоты по займу задержали Чарова; как ни желал он утаить свою поездку от Саломеи, чтоб избежать допросов, подозрений и неудовольствий, но возвратился домой, когда она уже встала и ходила взад и вперед по гостиной. Ее в самом деле тревожила необыкновенно ранняя отлучка Чарова из дому. Боясь охлаждения его страсти, она представила себе весь ужас положения своего, если он ее оставит, и упрекала себя за излишнюю свою жестокость к нему.

Ей казалось, что судьба ее уже на ниточке, она прислушивалась к стуку экипажей, подходила к окну, взволнованное сердце билось с болью, раздраженные нервы сотрясались, и она побледнела, когда коляска Чарова примчалась к крыльцу.

— Эрнестина, bonjour! — вскричал он, вбежав в комнату.

Саломея, продолжая ходить по комнате, мельком приподняла на Чарова глаза,— женский инстинкт донес ей: «ничего, все обстоит благополучно»,— и она прошла мимо его, не обращая ни малейшего внимания.

— Ты на меня продолжаешь сердиться?

— Кажется, имею право: уезжать не сказавшись!

В этих словах, хотя сказанных сурово, было какое-то помилование за проступок.

— Неужели ты думаешь, ma chère, что я уехал бы, не имея на то причин? — сказал Чаров нежно, чтоб не испортить чем-нибудь дня.

Ему необходимо было на этот день полное спокойствие; а сверх того надо было умилостивить Саломею, чтоб она не воспротивилась принимать ввечеру гостей.

— Какие это важные причины?

— Такая неприятная вещь, что ты представить себе не можешь: вышел срок векселям по долгу отца, а мне не привезли еще оброку. Я должен был хлопотать, доставать деньги. Сегодня ввечеру обещал заплатить... Они ко мне приедут... Сделай одолжение, прими их ласковее...

— С какой стати я буду присутствовать при ваших счетах?

— Но ведь не они же одни будут... я пригласил самых коротких своих знакомых... Неловко же тебе прятаться, когда я говорю всем, что я женат.

— Во всяком случае, в мужской компании мне неприлично быть. Притом же я не так здорова, я выходить не буду из своей комнаты; но вы можете мне представить кого угодно из ваших знакомых.

— Mersi, Ernestine! [1] — вскричал Чаров в восторге от Саломеи и достоинства, с которым она разрешила прием к себе гостей.

Ему казалось, что он сам поднялся выше, обладая женщиной, способной стоять свободно и величественно на бархатном подножии. Счастье его полно, только недостает Несеева с деньгами; но и он явился к обеду.

После обеда Чаров занялся, против обыкновения, сам некоторыми приготовлениями к приему гостей. Он уже смотрел заботливым хозяином, который распоряжается, где поставить ломберные столы, где поставить солнечную лампу, где механическую, а где просто свечи; который обходит все комнаты, поправляет криво стоящую мебель и пробует всюду пальцем, стерта ли пыль.

Между тем как Чаров хозяйничал, Несеев сидел в комнате Саломеи и, беседуя с нею, брался часто за голову, отдувался и вздыхал.

— Что, вы нездоровы? — спросила его Саломея.

— Ах, нет! — отвечал он, обводя глазами карнизы.

— Но вы что-то беспокойны?

— Только не насчет себя.

— Насчет кого же? — спросила Саломея с удивлением.

— Беспокоит меня положение одного человека.

— Чье? — спросила Саломея, устремив глаза на Несеева.

— Советы дружбы бесполезны; советы любви, без сомнения, будут надежнее.

— Пожалуйста, говорите яснее, я не понимаю.

— Если вы требуете откровенности, дело вот в чем... оно слишком касается до вас; но я говорю по участию к вам, и потому, надеюсь, вы меня не выдадите.

— Что такое? — спросила Саломея с беспокойством,— что такое до меня касается?

— Положение человека, который так близок сердцу вашему.

— Что такое? — повторила Саломея, взглянув испытующим взором на Несеева.

— Вот что... по дружбе, в некоторых делах его я должен был принять участие, чтоб помочь ему выходить из самых трудных обстоятельств. Его долги уже выше состояния. Он играет, и несчастливо... я это знаю, хоть он и скрывает от меня... Все

[1] Благодарю, Эрнестина! (*франц.*)

имение его уже в залоге, и скоро наступит бедовый срок... Сегодня заложил он последнее достояние, этот дом, со всем что в нем есть, за сто двадцать пять тысяч, на один месяц, тогда как дом сто́ит более пятисот!.. Деньги, я уверен, если не проиграны еще, то проиграет в несколько дней, и через месяц его попросят отсюда выйти. Вы, может быть, не поверите мне; но я готов вам привезти маклерскую книгу, где записан документ...

Несеев остановился в ожидании ответа; но Саломея молчала, взоры ее блуждали, пугливые мысли вспорхнули уже со всей окружавшей ее роскоши и носились стадом в мрачной, бесприютной будущности.

— Вы только одни можете подействовать на него влиянием вашей любви,— продолжал Несеев.

— И это все правда, что вы сказали? — спросила вдруг Саломея.

— Мадам Ernestine, скажите, для чего бы я стал говорить вам ложь? — спросил в свою очередь Несеев трогательным голосом участия.

— Что ж я буду с ним теперь делать? чем поможет теперь мое влияние?

Несеев пожал плечами.

В это время Чаров вошел и представил Соломее двух своих приятелей, которые, как светские люди, предупрежденные слухами о сомнительной женитьбе Чарова на какой-то таинственной героине романов, думали найти в ней легкую женщину; но, к удивлению своему, нашли тяжелую, женщину с весом. Несколькими взглядами и словами Саломея заставила их посмотреть друг на друга и сказать взорами: «Mon cher, mais c'est quelque chose de très distingué?» [1]

Как эти, так и вновь приведенные Чаровым представляться хозяйке дома не долго пользовались ее беседой: она жаловалась на головную боль, которая, однако же, не помешала Чарову торопливо предуведомить ее, чтоб она очаровала вниманием своим знаменитого иностранца — венгерского магната, которого он немедленно же представит ей.

— Что за знаменитый иностранец? какой магнат? — спросила Саломея Несеева.

— Ах! это какой-то знаменитый путешественник, венгерец, страшный богач!.. Позвольте... как бишь его!.. Только я подозреваю... как бишь... да, да, да, Волобуж...

— Боже мой! — вскрикнула Саломея по-русски, побледнев и вскочив с места.

Она хотела войти в свой будуар, но магнат стоял уже перед нею, бросив на нее взор, который как будто оковал ее.

— Рекомендую вам мою жену,— сказал Чаров.

---

[1] Мой милый, но ведь это нечто благородное? *(франц.)*

— Мадам Tcharoff, простите моему невольному удивлению! — сказал магнат,— такого сходства я не встречал; я не верю глазам!

Побледневшая Саломея, держась за ручку кресел, казалось, готова была упасть; но взор ее блеснул на магната; она овладела собой и села.

— Она не так здорова,— начал было Чаров, заметив необыкновенную бледность в лице Саломеи.

— Необычайное сходство с герцогиней де Мильвуа! — продолжал магнат, садясь и не обращая внимания на слова Чарова.— Еще раз прошу у вас извинения.

— Может быть, это сходство... и не обмануло вас! — проговорила дрожащим голосом Саломея, кусая губы и едва переводя дыхание от стесненного внутреннего волнения.

— Неужели! это вы? вы, герцогиня? — вскрикнул магнат.— Но каким же образом в такое короткое время... здесь, в Москве?..— продолжал он, смотря на Чарова, который стоял пораженный герцогским титулом своей chère Ernestine.

— Это... маленькая тайна и мое счастие,— сказал Чаров с самодовольством, взяв руку Саломеи.

— Иначе и не могло быть,— продолжал магнат,— тайна и счастие... Но ваши огромные имения, герцогиня? ваш великолепный за́мок, где я имел удовольствие познакомиться с вами во время путешествия инкогнито... Как понравился мне ваш за́мок! Помните, я просил вас продать мне его, а вы мне сказали, что никогда не продадите, никогда не оставите места своей родины.

— Обстоятельства,— отвечала Саломея, стараясь скрывать возмущенные свои чувства.

Несеев присел в углу за шифоньеркой и внимательно всматривался и в магната и в Саломею.

— Обстоятельства, мосье de Volobouge,— повторил и Чаров, двинувшись к двери, с тем, чтоб вывести за собою и гостя,— не хотите ли сесть в преферанс?

— Сейчас, сейчас приду, мосье Tcharoff,— мне так приятно встретить герцогиню... подготовьте партию!

Чаров поневоле вышел.

— Послушайте, герцогиня,— продолжал Дмитрицкий, сбросив с себя важность магната, придвинув стул к Саломее и не замечая Несеева,— послушайте...

— Что вам угодно? — проговорила она дрожащим голосом, бросив на него предостерегающий взор и стиснув его руку.

— Послушайте, герцогиня,— продолжал магнат по-русски, не обращая ни на что внимания,— вы теперь, я вижу, в полном довольствии, а супруг ваш Федор Петрович...

— Мосье Несеев! — вскрикнув, прервала Саломея,— мосье Несеев! позовите ко мне... велите подать там спирт!.. мне дурно!..

— Сию минуту! — отвечал Несеев, бросившись в двери.

— Хм! довольно неосторожно! — сказал Дмитрицкий, оглянувшись,— немножко погорячился! Черт дернул венгерца говорить по-русски!..

— Сейчас! — доложил возвратившийся Несеев.

— Хм! А я думал уже по-русски знаит мадам Чаров, а ничего еще не знаит,— сказал магнат, обращаясь к Несееву,— а я учу, учу, харашо русски язык... харашо гавару? а?

— Прекрасно! — отвечал Несеев.

— Трудный язык!..

— Seigneur de Volobouge, если вам угодно,— сказал торопливо вошедший Чаров,— партия готова.

— А! ну нечего делать... А мне так хотелось поразговориться, вспомнить общие знакомства в Париже... вы, верно, никого не забываете? — прибавил он, обращаясь к Саломее.

— О, разумеется! — отвечала она с видимым напряжением изнеможенных сил.

— Пожалуйста, не забывайте, не хорошо забывать! — прибавил Дмитрицкий, бросив на нее значительный взгляд.

— Боже мой, как мне дурно! — проговорила Саломея, когда он вышел.

— Это пройдет, мадам Ernestine,— сказал Несеев, зло усмехаясь и садясь подле нее,— я теперь могу поговорить с вами без церемоний; ваше положение вдвойне, кажется, непрочно. Но вы можете положиться на меня и на скромность мою.

— Это что такое? — спросила Саломея, приподняв голову.

— А вот что: ваши тайны и отношения к этому господину я могу поотсторонить, с уговором... Но насчет этого господина магната вы должны мне кое-что пообъяснить... Вы его коротко знаете, да и он вас.

Саломея с содроганием взглянула на Несеева. Она была между огнем и полымем и не знала, куда броситься.

— Ах, избавьте меня от этого злодея, который причина всех моих несчастий! — вскричала она прерывающимся голосом.

— Очень могу избавить,— продолжал Несеев значительно,— потому что этот господин, как я догадываюсь, мошенник.

— Он меня преследует... Я расскажу вам мою встречу с ним... Я должна была бежать из Франции с человеком, которого я любила...

— Вы эмигрировали, вероятно, во время революции? — спросил Несеев простодушно или с намерением, трудно было решить.

— Да, именно,— отвечала Саломея,— мы приехали в Киев... Там этот злодей под именем графа Черномского познакомился с моим мужем.

— Герцогом де Мильвуа?

— Мы путешествовали инкогнито...— отвечала Саломея неопределительно.

— У-хм!

— И обыграл его совершенно,— продолжала она.— Муж мой заболел с отчаяния и умер... Тогда этот злодей стал преследовать меня... Чтоб спасти себя от его преследований и не просить милостины, я решилась идти в гувернантки к одному помещику... Но он и там не оставил меня в покое; подкупил людей.... Однажды, ввечеру, я ходила одна по саду, вдруг меня схватили и повезли... От страшного испугу у меня сделалась горячка... Вероятно, это только и было причиною, что он меня бросил больную в каком-то городе... Там меня приняли бог знает за кого!..

— Это ужасно! — сказал Несеев, напрягая голос к выражению участия.

— О, если б вы видели мое положение тогда!.. Как иностранку, меня никто не понимал, и отправили сюда... Но я вам доскажу после; теперь нет сил!..

— Хм! Я тотчас узнал по полету, что это за птица! — сказал Несеев.— О каком же это супруге вашем Федоре Петровиче начал было он по-русски?..

Саломея невольно смутилась.

— Это он в насмешку мне говорил... мужа моего звали Теодором...

— Послушайте, мадам Ernestine,— сказал Несеев, я всему верю, что вы говорите мне, потому что нельзя не верить тому, кого страстно полюбишь... Но, однако ж, я верю на условиях... У меня квартира не так великолепна, но очень удобна... При вашем положении....

— А! да вы сами, сударь, злодей, в своем роде! — вспыхнув, вскричала Саломея,— злодей, который хочет пользоваться бедой несчастной женщины!..

— Да-да-да,— проговорил насмешливо Несеев,— так!.. за то, что я вам предлагаю приют от беды, которая вас ожидает, я — злодей?

— Подите вон! Не нужны мне ваши приюты!

— В таком случае, мадам la duchesse [1], вас будут завтра допрашивать: кто вы, сударыня, такие и какие сношения имеете с мошенниками?

Несеев встал, сделал несколько шагов к двери, остановился и кинул на Саломею вопросительный взгляд, согласна она или нет? Но она гордо вскинула голову и показала ему двери. Он вышел.

---

[1] Герцогиня (*франц.*).

IV

Возвратясь домой довольно поздно, Дмитрицкий уложил несколько пачек ассигнаций в шкатулку, надел длинный сюртук и бархатный фесик на голову и пошел к Рамирскому.

— Барин уж почивает,— сказал слуга.

— Дай мне взглянуть на него.

И Дмитрицкий, взяв свечу, тихо подошел к постели Рамирского.

— Сон спокоен и крепок... он улыбается во сне... он счастлив!.. И я счастлив, Федя, что доставил тебе этот сон. Спи с богом! — проговорил тихо Дмитрицкий, взглянув на Рамирского. И пошел к себе.

— Здесь он? — раздалось вполголоса, когда Дмитрицкий подходил слабо освещенным коридором к своему номеру.

— Здесь,— кто-то отвечал,— сейчас только приехал.

— Эгэ! Это что такое? — проговорил про себя Дмитрицкий, приостановясь и видя столпившихся у дверей его номера полицейских чиновников с жандармами.

— Ну, идем на приступ, Несеев.

— Э, нет я вперед нейду.

— Э, трус!

— Отворяй!

— Вы стойте у дверей, и никого не выпускать! — кто-то прокомандовал тихо жандармам.

— Несеев? а! нечаянный знакомец!.. Так это по милости Саломеи Петровны! — проговорил про себя Дмитрицкий и, поворотив в другую сторону коридора, поспешно пробежал на заднее крыльцо. Выбравшись на маленький дворик, он вышел на улицу и крикнул стоявшим у ворот извозчикам:

— Эй! в Тверскую-Ямскую!

— Садись, господин! три гривенника! — отозвались они в один голос.

— Не по деньгам! четвертак, да и того не дам.

— Садись, барин!

— Пошел живо!.. Поезжай прямо! — скомандовал Дмитрицкий, когда извозчик хотел поворотить по Тверской,— я еще заеду на минутку.

— Как же это: еще и заезжать за четвертак-то?

— Прибавлю!

Из улицы в улицу, из переулка в переулок, то вправо, то влево, Дмитрицкий подъехал, наконец, к воротам одного небольшого дома, соскочил с дрожек и вбежал в калитку. У входа в одно из надворных строений стояла тройка, запряженная в телегу.

В темных сенях Дмитрицкий столкнулся с кем-то, только что вышедшим из дверей.

— Это кто?

— Тришка, это ты?

— Кто ты такой?

— Поди сюда,— отвечал Дмитрицкий, взяв за руку встретившегося ему в дверях человека и отворяя двери.

— Ба, ба, ба,— проговорил, крякнув, известный уже нам Трифон Исаев, входя за Дмитрицким в покой, где какая-то старушонка, перекрестив лоб, ложилась уже спать.

— Узнал?

— Да это что за чудеса? откуда, господин?

— Теперь не время разговаривать,— отвечал Дмитрицкий,— поздно, я спать хочу, ступай, заплати моему извозчику у ворот три гривенника.

— Хм! Да это-то ничего, три гривенника,— сказал Трифон, поглаживая свою бородку и оглядывая Дмитрицкого,— да извозчик-то где взят: на ходу или на вороту?

— Это что такое? — спросил Дмитрицкий,— а! понимаю! На вороту, под носом у беды?..

— Э, господин, это не годится: на указке-то к воротам не подъезжают!.. Здесь оставаться тебе уж не приходится, а я еду по делам, тройка готова.

— Едешь? тем лучше, я с тобой!

— Со мной?.. В этой одежде-то? Нет, спасибо за такого попутчика!..

— Что ж ты, собака, кобяниться со мной стал? — вскричал Дмитрицкий.

— Ну, ну, ну, здесь не место кричать; кобяниться не кобяниться, а надо дело порядком делать, чтоб хвост не примерз... Прежде всего надо указку отвезти в сторону. Вот полтина серебра... Извольте-ко сесть, да уехать подальше, да у каких-нибудь чужих ворот расплатитесь, да сюда назад пешком; потом надо господскую-то одежу с плеч долой.

Дмитрицкий понял маневр.

— В самом деле,— сказал он и, взяв деньги, вышел на улицу.

— Вот тебе полтина серебра вперед, пошел скорей в Тверскую-Ямскую.

Извозчик, ощупав деньги, положил их за губу, нукнул и поехал.

«А что как мошенник Тришка меня надул?» — подумал Дмитрицкий. И с этой мыслью ловко соскочил с извозчика.

Извозчик, не заметив, что нет седока, мчался вперед; а Дмитрицкий воротился бегом к дому.

— Живо! Скорей! — раздался голос Трифона в отворенных уже воротах, из которых выезжала тройка.

— Пррр! — крикнул Дмитрицкий, вскочив сзади на телегу и обхватив Трифона,— что, далеко уехал от меня? надул?

— Виноват! струсил было! — проговорил Трифон, на которого Дмитрицкий, смяв под себя, сел верхом.

— Живо! по всем по трем! — крикнул он.

И тройка понеслась. Лихой рысак в корню, скакуны напристяжке.

Покуда Дмитрицкий был в дороге, не зная сам, куда его несет судьба, с ним ничего особенного не приключилось.

Между тем перепутанная узловатая участь Саломеи плохо разматывалась.

Проводив презрительным взором Несеева, она, однако ж, содрогнулась от его угроз. Ей представился весь ужас ее положения. Рушившаяся надежда на Чарова, внезапное появление ненавистного Дмитрицкого и предложенное унизительное покровительство отвратительным Несеевым, вдруг три невыносимых удара разбили душу Саломеи. Она едва дошла до своей спальни и бросилась в постель.

В это-то время наш магнат добивал Чарова. Как ни наказывал он карты, как ни трепал, как ни бранил их по-своему, они изменяли ему; обычное счастье как будто выбилось из сил — не везет. Чем его подгонишь? Приятели Чарова, обступив стол, радовались душевно, что нашелся человек, который распек их друга: «поделом! богат, каналья! слишком высоко нос подымает! не мешает понизить!»

Никому не приходило в голову, что последняя копейка идет ребром. Но сам Чаров знал это; приподняв пятью пальцами мужицкую прическу, бледный, он предложил противнику еще сыграть; но магнат хлопнул колодой по столу, встал с места и взял шляпу.

— Сегодня не играю, — сказал он, — скучно выигрывать... В котором часу утра принимает к себе мосье Tcharoff?

— С двух до обеда; обедайте у нас, — отвечал Чаров.

— Хорошо. Итак, до завтра.

— Ха, ека-атина! как он славно и счастливо играет, — сказал Чаров по выходе магната. — Bonne nuit, messieurs![1] — прибавил он, зевая и потирая лицо рукой.

Когда все убрались, Чаров долго еще ходил по комнатам, отдуваясь. Его взяло раздумье: надо опять доставать денег! У кого? Несеев без залогу не даст!.. заложить нечего!.. У кого же занять?

Перебирая в мыслях всех своих знакомых и приятелей, Чарову пришло, наконец, на мысль, что все они ему должны; но как собирать долги, напоминать об уплате? Стыдно, совестно, скверно!

Раздраженный и истомленный досадными и непривычными думами, Чаров намерен был уже идти спать и положиться на мудрость утра, как пришла девушка и позвала его к Саломее.

— Я думал, что она спит! — сказал Чаров с досадой.

— Оне в постеле, очень нездоровы, — отвечала девушка.

---

[1] Доброй ночи, господа (*франц.*).

Чаров привык уже к этой новости.

— Что с тобой, ma chère? — спросил он, входя в комнату Саломеи.

— Я больна!.. я очень больна!..

— Что ж делать? Послать за доктором?..

— Нет! Для меня необходимо путешествие... скорее!.. только воздух спасет меня, оживит...— проговорила Саломея слабым голосом, протягивая к нему руку.—Сделай для меня это, Grégoire! Поедем хоть в деревню... поедем завтра же, вели сбираться!..

— Помилуй, Эрнестина,— сказал Чаров, с ужасом взглянув на бледное, изменившееся лицо Саломеи,— это невозможно!..

— Grégoire! Не противоречь мне... Сделай это для меня! Исполни это мое желание!.. Я заплачу тебе за это страстной любовью, Grégoire!

— Я не могу, моя милая, этого сделать! — отвечал Чаров, пожав плечами,— как это можно, у меня дела!..

— Боже мой, у тебя дела? у тебя дела?

— Да! и очень важные... Я никак не могу их оставить, бросить все и ехать!

— Не можешь?..—проговорила дрожащим голосом Саломея.

Мутный, слабый взор ее вдруг вспыхнул и сверкнул на Чарова.

— Подите же вон отсюда!.. Или нет! Я лучше сама пойду вон!.. Marie!

Саломея позвонила в колокольчик.

— Помоги мне встать! — сказала она вошедшей девушке.

Чаров взглянул на болезненное, но вместе исступленное лицо Саломеи.

— Это новая сцена! — проговорил он про себя,— да нет, уж эти сцены мне надоели!

И махнув рукой, он вышел.

Дума о проигрыше и необходимости достать денег тревожила его более причудливого здоровья Эрнестины.

— Давай раздеваться! — крикнул он камердинеру.

Но Marie прибежала и сказала, что madame в беспамятстве, в бреду, что у ней горячка!

— Это ужас, эта баба! — вскричал Чаров,— послать за доктором, вот и все!.. Горячка!

Встревоженный Чаров беспокойно ходил по комнате, садился, вскакивал снова, спрашивал, приехал ли доктор, но не шел к Саломее.

Наконец приехал доктор, осмотрел больную и сказал Чарову, что у ней все признаки воспаления и жизнь ее в опасности.

— Что ж я буду делать с ней? dites moi, je vous en prie? [1] — вскричал Чаров.

---

[1] Скажите пожалуйста *(франц.)*.

— Как что? — спросил с удивлением доктор.

— Да, что? Черт меня дернул благодетельствовать, дать приют у себя в доме какой-то несчастной иностранке, а она тут у меня умрет!.. Нельзя ли ее отправить в больницу?

— Каким же образом? Кто ж она такая?

— А черт ее знает! Какая-то мадам Мильвуа... Я предложил ей жить у себя, покуда получит место... дал квартиру, стол, вот и все... Я не могу в таком положении держать ее у себя и отвечать за нее!..

— Есть у нее какие-нибудь бумаги?

— А кто ее знает?.. Вы знаете Далина? Он взял ее из тюрьмы на поруки и просил пристроить... Я сдуру и согласился!.. Да вы можете это сделать, чтоб ее приняли куда-нибудь в больницу... для меня!

— Хм! Теперь когда же?.. Завтра как-нибудь это можно будет сделать.

— А если она умрет до завтра?

— Ну, нет...

— Да нельзя ли теперь?

— Хм! мосье Tcharoff! это... не хорошо! — сказал доктор.

— Что ж тут нехорошего... Лучше ли подвергать себя...

Чаров не договорил.

— Вы бы прежде думали об этом.

— Да как тут думать, cher docteur?[1] кто ж мог думать?.. По крайней мере хоть завтра чем свет... для меня!

— Посмотрим... Может быть, завтра ей будет лучше, если удастся перервать болезнь.

— Да нет, бог с ней! Я не хочу, чтоб она оставалась у меня в доме! — сказал Чаров,— только одни тревоги да неудовольствия!..

И Чаров умолил, упросил, взял слово с доктора, что он похлопочет о том, чтоб больную француженку поместить в больницу.

V

В стороне от большой старой дороги, которую заменило шоссе, на краю леса, стоял уединенный постоялый двор. В ту самую ночь, когда Дмитрицкий нежданно, негаданно попал в сопутники Трифона Исаева, ехал с ним сам не зная куда и мало о том заботился, к воротам упомянутого постоялого двора прикатило несколько троек. Приезжие были всё народ налегке, не простой, а промышленный, мастеровой. Все они, соскочив с телег, вобрались в избу постоялого двора. Ямщики поехали шажком на дорогу проводить взмыленных коней.

---

[1] Дорогой доктор *(франц.)*.

В это время в задние ворота вышла женщина, таща за руку какого-то молодца.

— Поди-ко, поди сюда, Прохор Васильевич! — шептала она ему.

— Ну, что, зачем, Лукерьюшка? — спрашивал он.

— Ох, уйдем отсюда, голубчик Прохор Васильевич! Здесь разбойничий притон, уйдем, пожалуйста!

— С чего ж ты взяла это, Лукерьюшка?

— Да неужели ты не смекаешь, что тут за люди собираются?.. И Тришка-то твой мошенник, разбойничья голова!.. Уж я говорю тебе недаром: видала я таких!.. Пойдем, Прохор Васильевич!

— Куда ж мы уйдем, Лукерьюшка? Чем жить-то? А уж Триша за что возьмется, то сделает; я тебе говорю, что он примирит нас с тятенькой... Уж тятенька сказал, что не убьет меня, если я кинусь в ноги с повинной головой... Да Триша говорит, что уж лучше, говорит, обождать, покуда умрет тятенька... Он, говорит, уж очень нездоров.

— Ах, он злодей, нехристь! чему учит! Сколько выговорил он с тебя за мир-то? — продолжала женщина, торопливо удаляясь в поле от постоялого двора.

— Куда ж ты, Лукерьюшка?

— А вот тут деревня недалеко... Там мы переночуем у Ивановны, у которой я брала тальки... Да ты уж говори мне всю правду: за сколько уговор-то был? Что он, мошенник, хочет содрать с тебя?

— Что? Нет, Лукерьюшка, напрасно! Триша не такой человек; он говорит, что я служил, говорит, вашему тятеньке верою и правдой и вам, говорит, буду служить верой и правдой.

— Ах, ты! всему-то ты веришь! Такому мошеннику! Прохор Васильевич, послушай ты меня,— пойдем к отцу твоему да упадем в ноги!.. О господи! Что это? народ? Побежим в лес!..

Из-за кустарников показалось несколько верховых, отряд солдат и толпа народу, вооруженного дубинами. Все приближались тихо к постоялому двору.

Заметив бегущих к лесу двух человек, несколько верховых догнали их.

— Стой!.. держи их! Кто вы такие?

— Батюшки мои, мы прохожие, идем на богомолье,— отвечала с испугом женщина,— я веду слепенького...

— Врешь! — крикнул какой-то усатый чиновник в военной шинели, при сабле, соскочив с лошади и всматриваясь на спутника женщины, которого она держала за руку и который от ужасу в самом деле моргал глазами, как слепой,— говори, откуда?

— Из Переславля,— продолжала женщина,— зашли было на постоялый двор, да там такая тьма народу... мы из опаски, чтоб нас не обидели, и ушли оттуда.

— А много там? Кто такие?

— А бог их знает; приехали на тройках... всё такие удалые...

— А сколько их?

— Да человек с десяток будет...

— Ну, ступайте себе с богом,— сказал усатый чиновник, отпустив Лукерьюшку, которая вела слепенького Прохора Васильевича.— Тс! тише!.. продолжал он,— часть команды обходи справа! Я пойду слева... Понятые к задним воротам!.. тихо!

Распорядясь таким образом, военная команда с понятыми окружила постоялый двор и вдруг нагрянула в избу. Усатый чиновник с саблей в руках, с несколькими человеками солдат вбежал в избу и крикнул: «Бери их!»

Солдаты бросились на сидящих вокруг стола молодцов.

Пораженные страхом, они не успели рта разинуть, не только что взяться за ножи, которые торчали у некоторых на ремне под кафтаном. Их всех перевязали без сопротивления.

— Атаман! — крикнул чиновник в шинели, быстро окинув всех одним взглядом.

Все молчали.

— А! здесь еще нет главного молодца, заводчика! Где атаман? — крикнул он снова, обратясь к одному из разбойников, более всех побледневшему, с бритой бородой.

— Тебя я спрашиваю! слышал?

— Атаман еще не приезжал,— проговорил, дрожа всем телом, бритый.

— Да какой у нас атаман,— отвечал рыжий мужичина,— он со страху несет вашему благородию, какой же у нас атаман? Что мы, разбойники, что ли?

— Молчать! знаю я, кто вы!..

— Коли знаете, так нечего и допрашивать!

— Зажми ему горло! — сказал главный сыщик, выходя из избы.

И он расположил команду в засаду подле ворот.

— Надо обождать: тут еще не все! главного нет!

Вскоре послышались на дороге бубенчики.

— Чу! смотри, ребята!

Тройка неслась по дороге большой рысью.

Это ехал Трифон Исаев с своим спутником Дмитрицким.

Тройка поворотила с дороги влево.

— Это куда? — спросил Дмитрицкий.

— А вот,— начал было Трифон, всматриваясь зоркими глазами в окна постоялого двора; но, не докончив слов, он вдруг перекинулся назад с телеги, хлопнулся на землю и покатился с дороги в траву.

Кони примчались к воротам постоялого двора.

Только что Дмитрицкий соскочил с телеги и оглянулся, где Трифон,— вдруг со всех сторон накинулась на него толпа солдат и мужиков, свалили в грязь на землю и смяли под себя.

— Вот он, злодей! здесь! валяй его! вяжи его! Ага! попал, собака,— кричала вся толпа в один голос.

— Стой! не душить! давай его сюда! — крикнул главный сыщик.

— Вот он, самой-то знатный!.. Вот он, убийца-то!.. Душегубец! Вяжи его!

— Скрутим, не бойтесь!

— Давай его сюда!

Дмитрицкий не шелохнулся; его измяли, избили; он не понимал, что с ним делается.

Один сильный мужик, скрутив ему назад руки, в дополнение дал ему подзатыльник.

— На-ка, вот тебе милостинка!

— Давай его сюда! — повторил сыщик.— Что, брат, попал?

— Попал,— отвечал Дмитрицкий,— да не знаю куда.

— А вот увидишь, мошенник, разбойник!.. Взвалите его на ту же тройку, на которой приехал! Двое со мной, я сам его отвезу!.. Шайку его ведите сейчас же!..

— Попал в Тришкин кафтан! — проговорил Дмитрицкий про себя.

Приказание немедленно было исполнено: связанного Дмитрицкого взвалили на телегу; с начальствовавшим экспедицией сели двое солдат, и усталая тройка поскакала обратно в Москву.

— Фу, задушил, черт! — проговорил Дмитрицкий, ворочаясь под солдатом, который засел на него верхом.

— Молчи, собака!

— Кончен бал, Вася! — продолжал он про себя,— попал в мошенники, в Тришки, в разбойники, в воры, в душегубцы!.. Этого я не надеялся, не думал! Не хорошо, любезный друг! Не виноват? А кто ж тебя будет оправдывать? Сам? Пустяки, мой милый: и тебе не поверят! Ну! Бог с тобой! Погибай! Кому ты еще нужен? на что?.. Разве только на пугало людям посреди площади?.. Что ж делать, служи! служи и спиной своей человечеству... оно еще молодо, слов еще не боится... И что, если правду сказать, делал ты в своей жизни? *Резал* штос, *бил* карты, *душил* вино! Просто разбойничал!.. Фу! Солдат, в тебе пуд пять с амуницией! право!

— Что, собака, верно не легок показался тебе?

— Нет, ничего; я только так говорю; если ловко, так сиди; ты, брат, славный гнет!

— Молчать! — крикнул сыщик.

— В самом деле, молчать во всяком случае лучше,— продолжал Дмитрицкий.

— Ну! неугомонный пес! — прибавил сыщик, толкнув его ногой.

— Нет, уж угомонился, все надоело: и лежать свиной тушей в телеге надоело, и считать людей людьми надоело, и вы все

мне надоели, и проклятая эта ночь надоела... и что еще надоело?

— Молчи! — крикнул солдат.

— О, да ты, брат, продувная голова! — сказал, усмехнувшись, сыщик.

— Знакомый что-то голос!.. Где-то я слыхал? — сказал Дмитрицкий, оборачивая голову и всматриваясь в сыщика.

— Что такое? — спросил сыщик.

— Ничего, голос-то ваш как будто знаком мне.

— Мошенник! верно, уж был у меня в руках.

— Нет, не бывал,— отвечал Дмитрицкий, отворотясь,— а припомнил я одного Петруху Фадеева, по прозванью «забубенная голова», который взял меня в науку и учил резать; вот один раз напал он на одного. Мне стало жалко: «Послушай, Петруха,— сказал я,— грех! Его загубим, а жену и детей по миру пустим».— «Вот, смотреть на них,— отвечал Петруха, того не тронь, да другого не тронь, все будет жалко! Черт с ними!» — «Ну, брат Петруха, ты просто злодей, душегубец, знать тебя не хочу!» — сказал я, да с тех пор и не знался с ним.

— Экие страшные вещи рассказывает! — проговорил солдат.

— Разговорился, мошенник! молчать, бестия! — проговорил и чиновник, которого задели как будто за живое слова Дмитрицкого.— Убийца, подлец!..

— Петруха-то, чай, получше меня душегуб, а я бы вам указал на него: так бы уж нас вместе с ним в одну палату, на одну цепь.

Сыщик откашлянулся, как будто поперхнувшись, но не отвечал ни слова.

— Пошел! — крикнул он.

Тройка поскакала куда следует.

Сыщик в шинели представил Дмитрицкого по принадлежности.

— Честь имею представить самого атамана шайки, своими руками взял,— сказал он.

— Ух! какая рожа! — крикнул пристав, осматривая Дмитрицкого,— так и видно, что убийца!.. Что, скольких ты убил на своем веку?..

— Да изрядно-таки; считать не считал,— отвечал Дмитрицкий, смотря пристально в глаза поймавшему его сыщику,— вот, я думаю, они знают.

— Откуда ж мне знать,— проговорил сыщик смутясь.

Взор Дмитрицкого напомнил ему что-то, и он содрогнулся невольно.

— Злодейская рожа! — продолжал пристав.— Весело небось резать?

— Што-с? да как же, весело! *Зарежешь*, например, такого, как ваша милость,— бесподобное дело!

— Фу, бесчеловечное животное! в кандалы его! Да, покуда здесь, на цепь, в сибирку!

— Ну, кажется, уж теперь вырваться нельзя, Вася? Да и к чему?.. Сам себе приюта не нашел, добрые люди дадут приют. Прощенья просим,— продолжал Дмитрицкий вслух, обращаясь к усачу-сыщику.— Хм! счастье! Петруха, забубенная голова, попал в люди!

VI

— Что, матушка, у тебя чайку-то нет и денег нет? — говорила одна старушонка в чепчике, сидя подле постели больной, расслабленной женщины, которая только что очнулась от беспамятства и смотрела на высокую, чистую, но пустынную комнату, где стояла только железная кровать, на которой она лежала, зеленый столик подле и стул.

— Где я? — проговорила слабым голосом больная, в которой невозможно было уже узнать Саломеи, так переменились черты ее лица, огонь глаз потух, жизнь погасла.

— В больнице, матушка, в больнице,— отвечала старуха,— здесь ведь порция-то, знаешь... хоть бы чаек-то свой...

Саломея как будто вдруг почувствовала резкую внутреннюю боль, болезненное лицо ее сжалось; она закрыла глаза, и глухой стон раздался в груди.

— Вот и родных-то, верно, нет никого,— продолжала старуха разговаривать сама с собой,— в две недели никто не навестил... Послушай-ко, матушка, родные-то есть у тебя здесь?

Саломея покачала головою и глубоко вздохнула.

— Послушай-ко меня; если б ты смогла написать просительное письмецо к графским и княжеским сиятельствам... ей-богу! а я бы походила с ним по домам... Так-таки просто написала бы «что я вот такая-то капитанша или маиорша... выставишь чин-то, так лучше, знаешь... капитанша или маиорша; ну, а потом: ваше графское сиятельство, помогите от милости вашего благоутробного сердца, я, дескать, больная, в беспамятстве лежу, руками и ногами не владею... семейство на руках имею, а нахожусь в больнице, по бедности состояния... ваше, мол, превосходительство...»

— Перестань! — слабо проговорила Саломея, махнув рукой на старуху.

— Ничего, ей-богу, ничего; это уж так водится: хоть господин какой, хоть купец, все равно,— все ваше графское сиятельство и превосходительство; это ничего; никто не отказывается, что я, дескать, не граф... и подают,— иной гривенничек дает, и больше случается...

— О боже мой! перестань говорить!

— Хм! какая ты! Не верит! Добро бы я с бухты-барахты говорила!.. Ты уж верь мне. Я и чернилицу и бумаги достану, и скажу тебе, как писать... Не можешь? э-эх! Так вот что: я писаря попрошу написать... да надо будет дать ему, мошеннику, двугривенничек по крайней мере... а он уж так и напишет, что ты без ног, без рук лежишь... подписать только самой не мешает... да на это-то достанет, матушка, силы,— штука помакнуть перо, да и черкнуть — такая-то асессорша или чиновница, или как, бог тебя знает... говорят ведь, вишь, что ты француженка... Так это еще лучше для господ-то...

Саломея не в состоянии уже была переносить говора старухи; каждое слово ее как будто какое-нибудь отвратительное насекомое ползло по ней; сердце содрогалось от ужаса, чувства раздражались; но нет сил подать голоса, что она страдает, чтоб спасли ее от мучений....

— Что ты сморщилась, матушка, да машешь все рукой?..— продолжала старуха,— болит, что ли, что у тебя? Что ж делать-то?.. Терпи!.. Колотья, верно? Такие ли у меня бывали колотья: криком кричишь, бывало; а это еще что, как только поморщишься... это еще слава богу...

Глухой, продолжительный стон вырвался из груди больной.

— А! вот, верно, теперь посильнее? Ничего! пройдет!.. Так ли еще бывает... Вот если б чайку ты напилась, так как рукой сняло бы... Право! Вот кто-нибудь да положил же тебя в больницу, а никто не подумает проведать, не нуждаешься ли в чем... Или бы уж денег оставили тебе... Больничная-то порция, известное дело: с голоду не умрешь, а сыт не будешь — кашица да суп, вот и всё. Ну, а как поотляжет, так оно и того и сего... а чайку-то особенно... Я уж что за человек, а без чаю не могу обойтиться. Не могу, матушка, ей-богу не могу!.. Бывало, ничего, и горя мало, покуда не вышла замуж за станционного смотрителя; а уж известное дело, как побываешь в офицерском звании да поводишься с благородными, так и нельзя — и к себе на чашку чаю надо просить. Ведь, бог знает, не што такое,— трава, а приятно. Признательно, однако же, сказать, как поднесли в первый-то раз, пью я да морщусь; так бы и выплюнула в лахань, да совестно. На первый-то раз тошнило, а после-то как слюбилось — хлебом не корми!.. Бывало, десять раз в день поставишь для проезжих самовар — пью не напьюсь. Надо сказать, что и доход-то хороший был от чаю, особливо зимой: иной проезжий прозябнет — сам просит; а другого и призадержишь: «Лошадям-то, сударь, еще надо поотдохнуть, сейчас приехали, а покуда бы вы, сударь, чайку испили». Покобянится, да и нечего делать; а мне «лафа».

Да и то надо сказать, смотрителю в офицерском звании не приходится брать на водку, а как дадут на чай, так отчего не взять? Тут ничего нет неуважительного такого...

Саломея протянула руку к столу, чтоб подали ей кружку с водой, утолить жар, который пожирал ее; но старуха, надев очки, продолжала вязать чулок и мучить больную рассказами.

— Вот как вспомнила об чае, так и захотелось,— продолжала она, положив чулок на стол,—уж ты полежи, матушка, одна, а я пойду к фельдшерше, чай уж она пьет.

Старуха вышла. Саломея снова протянула руку к столу, но некому понять ее желания.

Медик посещал ежедневно больную, как официальный человек, заботясь единственно о существенной болезни. Он вывел Саломею из опасного положения, но не его дело было заботиться о ее душевной болезни; а тем менее об ее положении. Он приходил, щупал пульс, молча прописывал рецепт, или, кивнув головой, уходил. Слабость ее еще была велика; но слабость может долго продолжаться, слабость пройдет сама собой. Курс лечения кончился, термин для поправления сил прошел — на выписку!.. решил медик.

— Куда ж ее отправить? — спросил дежурный лекарь.

— Как куда?

— Ее поместили по приказанию главного доктора; бумаг никаких нет.

— Так спросить его; или лучше спросить ее самое.

Дежурный послал фельдшера объявить Саломее, что она назначена на выписку из больницы; а потому, куда угодно ей будет отправиться?

Саломея посмотрела на фельдшера, опустила голову и ни слова не отвечала.

— Она тебя не понимает, ведь она французинка. Постой-ко я ее спрошу,— сказала старуха сиделка.

— Ну, спроси, куда ее отправлять?

— Послушай-ко, матушка, вот пришел фельдшер сказать, что тебя следует на выписку; так говорит, куда отправлять-то тебя? Родные, что ли, есть?.. Или куда на квартиру? где ты жила-то? а?

— Ах, не мучайте меня! дайте мне умереть! — проговорила Саломея.

— Зачем умирать,— сказал фельдшер,— вас, сударыня, назначили на выписку... Вы теперь, слава богу, здоровы; а это так еще, от слабости вас тоска берет; да это ничего. Вы извольте, с богом, отправляться теперь домой; слабость сама собою пройдет... Это уж мы знаем.

И фельдшер вышел.

— Что? — спросил доктор.

— Объявил ей, что она теперь совершенно здорова, а потому может отправляться домой.

— Так в особую-то, на место ее, перевести больную, что давеча привезли.

— Слушаю,— сказал фельдшер, и вследствие этого приказания в комнату Саломеи вскоре внесли на руках больную.

— Э! что ж это, куда ж мы положим ее?.. Койка-то занята.

Призванный фельдшер снова объявил Саломее, что она совершенно здорова и назначена на выписку.

— Дайте мне умереть! — повторила в ответ Саломея.

— Никак нельзя-с,— сказал фельдшер,— мы за это в ответе будем.

После долгих недоразумений, что делать с назначенной в выписку иностранкой, доложили главному доктору. Главный доктор известил об этом доктора, чрез посредство которого она принята была в больницу.

«Что ж мне с ней делать? — подумал доктор,— куда мне ее девать? Чаров отрекся от нее!.. Разве похлопотать, чтоб приняли ее во вновь открытый приют?.. В самом деле!..»

И доктор отправился к одной из дам благотворительного общества, заботами которой открылся новый приют для бедных. К счастью, в приюте на двенадцать кроватей оставалось еще одно вакантное место, в отдельной комнате, где помещена была уже одна дряхлая старушка.

— Мавра Ивановна, вот и вам привезли сожительницу,— сказала старушке на другой день после этого женщина, прислуживавшая в приюте.

— Что, Дарьюшка?

— Привезли какую-то, на пустое место, к вам, Мавра Ивановна,— крикнула на ухо старушке женщина.

— А! Ну что ж, и слава богу, мне все-таки веселее будет... Чай, мой Васенька ей не помешает,— проговорила старушка, поглаживая старого кота, который лежал у нее на коленях.

— Вот сюда,— сказал вошедший доктор, за которым вели под руки Саломею,— вам будет здесь спокойнее... Об вас приложат все возможные заботы... Я буду навещать вас...

Саломею посадили на кровать; она обвела кругом взорами и молча прилегла на подушку. Доктор поклонился и вышел.

— Нездоровы, верно, сударыня? — сказала старушка, смотря с состраданием на Саломею,— дай бог здоровья добрым людям!.. Не покидают нас бедных!..

Воображая, что Саломея заснула от утомления, старушка замолкла, взяла со столика святцы, надела очки и стала всматриваться в буквы и читать про себя.

— Где это я? — вскрикнула Саломея, очнувшись вдруг из забывчивости.

— В приюте, сударыня,—отвечала старушка, положив святцы,— не привыкли еще; как быть-то!.. Бог дает, бог и отнимает, за грехи наши... Да не оставляет же он нас, милосердный отец, на совершенную гибель! посылает добрых людей в помощь... Помолимся ему!..

И старушка перекрестилась, обратясь к образам в углу. Саломея посмотрела на нее. Но из разбитой ее души испарился дух веры в жизнь. Мутный, погасший взор ее как будто спрашивал старушку: зачем?

— Охо-хо,— продолжала старушка,— вы, сударыня, верно жили в полном довольствии и всякой роскоши... Да вдруг наказал бог невзгодьем?.. Вот и я думала жизнь кончить, не потяготив собой людей... Да господь не судил!.. Бывало плохое время; сожителя своего, Ивана Леонтьевича, без копеечки похоронила; думала уж по миру идти; да по милости божией вышла царская милость — половина мужниной пенсии... сто рублев в год. Чего ж еще больше, особенно при милостях и при благорасположении добрых людей. Вот примером сказать, жаловала меня очень статская советница Софья Васильевна Бронина... Да две ее дочки: Саломея Петровна...

Раздавшееся глухое восклицание прервало рассказ старушки.

Сидевшая на кровати с склоненной головой Саломея упала без чувств на пол.

— Что с тобою, сударыня! — вскричала, испугавшись, старушка; и хотела было, по чувству сострадания, броситься на помощь, но не могла.— Господи! И сил-то уж нет привстать с места, помочь человеку!.. Дарьюшка!

— Что вы, Мавра Ивановна?

— Ох, помоги скорей! без памяти упала!

— Владыко ты мой! — привезли совсем больную женщину! — сказала Дарья, приподнимая Саломею на постель.— Скорей бы надо дать знать частному лекарю: он, чай, велит ее отправить в больницу.

— Больна, больнехонька! — проговорила старуха.

VII

Порочные чувства — болезненное состояние человека, сильная лихорадочная раздражимость сердца, которая во время внутреннего жару бросает его в воду, а во время озноба в огонь. Часто вместо того, чтоб подать помощь вначале, покуда привычка к потрясающим ощущениям не вошла в природу, вместо участия корят больного за болезнь. Он теряет надежду на участие и помощь; но как человек, он чувствует потребность в спасении и сам себя лечит по ганнемановой системе: similia similibus curantur; хочет изгнать клин клином и изгоняет недоброе чувство недобрым, злое злым. Клина из живого тела не выбьешь клином; вместо одного клина завязнет только другой клин; избегая одного проступка, бедняк впадает в другой проступок. Но часто болезнь, совершив круг, проходит сама собою, и сознание себя восстановляет силы; и часто болезнь,

истощив силы духа и тела, бросает человека на жертву отчаянию; но, бессильный, он еще хочет искупить жизнь и жаждет наказания — не искупит ли оно его.

Дмитрицкому надоело, тяжко стало жить скитальцем, бродить тенью, прятать себя от людей.

— Вот,— сказал он сам себе, сидя на нарах в подвале, окованный и по рукам и по ногам,— верно, этого не избежать никакому мудрецу в жизни: не железо, так болезнь прикует к нарам!.. Что, брат Вася? Ведь здесь ты на своем месте, причалил к берегу!.. Кто здесь свесит человеческую твою природу с наживной, звериной. Правда, что ты не диким был зверем, да и не дворовой скотиной. Но тебе, может быть, не нравится эта существенность? Ты, может быть, желаешь, чтобы оковы вдруг спали с тебя? хочешь свободы, воли, неги, роскоши гарема, толпы друзей и приятелей, рабов и рабынь, хочешь вина, хочешь поставить трильон на карту, обыграть всех беспутных, мотов, скряг и жил, чтоб облагодетельствовать все бедное человечество?.. Все это можно, Вася, только пожелай, усни крепким богатырским сном — во сне, чего хочешь, того просишь, и все дастся и удастся тебе. Спи, друг! Если не спится, то покати перед собою колесо или морские волны; вообрази, что ты опускаешься на дно добывать земное счастие, и ты непременно заснешь!

Дмитрицкий зевнул и в самом деле заснул крепким сном. Поутру его разбудили, чтоб вести к допросу. Он проснулся смутен.

— Фу! какой сон! — проговорил он,— хуже бессонницы в тюрьме и в оковах!..

— Ну, очнулся ли? марш! — крикнул солдат.

— Насилу очнулся!.. Прескверный, брат, сон!..

— Что, казнили, что ли, тебя во сне?..

— Нет, мне снилось, напротив, что я казню людей, да и спрашиваю: как же это так! ведь наперед меня надо казнить? «Ничего,— мне отвечают,— это так следует; придет и твой черед; явному явное, тайному тайное, наружному наружное, а внутреннему внутреннее; так уж следует по закону».

— Да, да, да, толкуй,— сказал солдат,— вот дадут тебе припарку!

— Что ж делать, брат, уж это, верно, так следует по закону,— сказал Дмитрицкий, приподняв оковы на ногах за привязанную к ним веревочку, чтоб они не волоклись по земле и не мешали идти.

Его привели в присутствие. Присутствующие взглянули на его одежду, на его наружность, которая не похожа была на разбойничью, подивились и стали допрашивать.

Странные, равнодушные ответы его еще более привели всех в недоумение.

— Кто ты такой?

— Право, сам не знаю теперь, кто я такой,— отвечал Дмитрицкий.

— Из каких мест ты родом?

— Я не на месте родился, а дорогой.

— Ты ли Трифон Исаев?

— Я ли Трифон Исаев? Хм! Ну, нет, Трифоном Исаевым я никогда не был,— отвечал он усмехаясь.

Не добившись из ответов Дмитрицкого толку, его поставили на очную ставку с пойманными разбойниками, но и они дивились, смотря на него, и не признали своим атаманом.

— Кто ж ты такой? — спросили его снова.

— Кто взял меня и представил сюда, тот, вероятно, должен знать это,— отвечал Дмитрицкий.

— Послать за Петром Фадеевичем Куминым.

Усатый сыщик, поймавший разбойников, явился.

— Господин Кумин, этот человек говорит, что вы знаете его,— сказал один из присутствующих.

Кумин смутился.

— Да, я узнал его,— отвечал он,— но не верю глазам своим... кажется, если не ошибаюсь, господин поручик Дмитрицкий, мы служили в одном полку.

Все присутствующие с новым удивлением взглянули и на Кумина и на Дмитрицкого, который равнодушно осматривал Кумина.

— Каким же образом вы представили этого человека за атамана пойманных разбойников?... Что это значит?

Кумин оробел от этого вопроса.

— Извините... Ей-ей, понять не могу, каким это образом случилась такая неосторожность... Ночью, в суматохе...

— Самым простым образом,— перервал Дмитрицкий,— схватили меня за атамана разбойников, вот и все.

— Ошибка... Простите меня! — прибавил Кумин, обращаясь к Дмитрицкому.

— Хм! если ошибка, так ошибка в фальшь не ставится,— отвечал Дмитрицкий.

— При вас были бумаги и имущество? — спросил один из присутствующих.

— Без сомнения, что все было; но я не знаю, куда это все девалось.

— Все это будет отыскано,— сказал Кумин,— вы, господин Дмитрицкий, имеете полное право на меня жаловаться начальству; я за ошибку буду отвечать... меня отрешат от должности, но по старому товариществу...

— О, не беспокойтесь, и не подумаю жаловаться, но я желаю знать, что вы будете со мной теперь делать? — спросил Дмитрицкий.

— Вы свободны,— сказали присутствующие, приказав снять оковы с Дмитрицкого,— вы так снисходительны к непрости-

тельной ошибке господина Кумина. Но каким же образом мы сделаем, чтоб это происшествие не дошло до начальства?..

— Если они не изъявляют претензии, так мне только стоит переменить рапорт,— сказал Кумин.

— А если это как-нибудь откроется? Кто ж нам поверит, что мы отпустили господина поручика Дмитрицкого, а не атамана разбойников? Нет, этого дела так решить нельзя.

— Если они прощают меня, за что же вы хотите меня погубить? — сказал Кумин.

— Каким же образом поступить иначе? Особенной ответственности, впрочем, нельзя вам ожидать, тем более что ответчик претензии не изъявляет... Доставьте только нам бумаги, а их возьмите на поруки.

— Странная путаница,— сказал Дмитрицкий,— но во всяком случае сам я распутывать не буду.

— Не угодно ли вам побыть покуда у меня, господин Дмитрицкий? — сказал Кумин.

— Отчего ж не так; готов быть там, где прикажут; мне все равно.

— Вы сердитесь на меня; но сами посудите: решился ли бы я сделать что-нибудь неприятное бывшему товарищу?

— О, помилуйте, я знал вас всегда за отличного человека,— отвечал Дмитрицкий.

— Что только вам нужно, я всем готов служить вам...

— Покуда ничего не нужно: разве только арестантскую порцию хлеба, мне хочется есть.

— Сделайте одолжение, не корите уж меня... сию минуту мы позавтракаем, как следует, и по старой памяти выпьем бутылочку шампанского.

— «Вот, нежданно негаданно, навязалась старая память!» — подумал Дмитрицкий, которого Кумин привез в свой дом, поместил в свой так называемый кабинет, нарядил вместо заскорузлого от грязи длинного сюртука в свое пальто и представил жене своей, как старого приятеля, которого спас от напавших на него разбойников.

— Ах, как это ужасно! — проговорила бледная луна, водруженная на тощий стан, приседая перед Дмитрицким и прося его садиться.

— Домна Яковлевна, надо чего-нибудь нам позавтракать, знаешь, питательного, да бутылочку упоительного.

— Прикажи, пожалуйста, сам,— отвечала торопливо супруга Кумина, всматриваясь в Дмитрицкого.— Ах, боже мой!— продолжала она,— как ваша наружность мне знакома!.. Никак не могу припомнить, где мы встречались?..

— Да, и мне знакома ваша наружность,— отвечал памятливый Дмитрицкий, узнав в Домне Яковлевне деву-поэта, которую он видел на литературном вечере у Михайла Памфило-

вича Лычкова,— позвольте... именно; мы встречались с вами в Тамбовской губернии! кажется, так?

— Ах, нет, я в Тамбовской губернии никогда и не бывала; я с малолетства жила все здесь.

— Здесь? Не понимаю: здесь я в первый раз. Но удивительное сходство с вами. Такая же счастливая наружность, которую нельзя забыть, такое же что-то поэтическое, восторженное в лице, во взорах, во лбу и даже вот в этих местах,— сказал Дмитрицкий, обводя рукою оконечности губ, которых у Домны Яковлевны совсем не было, но оконечности разреза рта склонились как у *нюни* книзу и, как известно, выражали желчную кислоту.

— Это удивительно! кто она такая?

— Одна девушка.

— Занимается поэзией?

— О, как же! удивительная способность писать стихи! Представьте себе: возьмет и напишет прямо из головы! Я и не видывал!

— Ах, да как же иначе; это и составляет доказательство таланта. Я сама пишу очень быстро, почти начисто, без поправок. Например, я написала целую поэму недели в две, не больше.

— Ай, ай, ай, какая у вас способность! и это просто как нипочем?

— Мне ужасно как легко достаются стихи.

— Ай, ай, ай,— повторил Дмитрицкий,— я не знаю, уж это век такой, что родятся непостижимые таланты; а если не век, так какая-нибудь особенная причина?

Домна Яковлевна не успела еще обдумать ответа, как появился ее муж с бутылкой в руках перед взводом лакеев и девочек, которые торжественно несли подносы, судки, блюда, блюдечки и все, что могло относиться к завтраку.

— Покорнейше просим, дорогой гость! — сказал он, распоряжаясь уставкой всего на стол и наливая кюммелю.

Дмитрицкий не заставил повторять просьбы.

— А ты что ж, душа моя? — сказал Кумин жене своей,— ты что-нибудь бы скушала?

— Ах, подите! — проговорила Домна Яковлевна, которая держала уже перед носом какую-то тетрадку и, прищурясь, всматривалась в написанное.

— Как она у меня пишет стихи, Василий Павлович, если б вы знали,— продолжал Кумин, поднося старому товарищу шампанского,— извольте-ка выкушать!.. каково?

— Я еще ничего не прочитала, а ты уж хвалишь! — проговорила Домна Яковлевна, читая что-то про себя.

— Я что-то читал ваше в печати. Кажется, поэма? Позвольте... начинается:

«В одной из деревень губернии Тамбовской...»

— Неужели? напечатано? — вскричал Кумин.

— Ах, я и сама не знала, что уже напечатано,— сказала, вспыхнув от удовольствия, Домна Яковлевна,— я давно послала в «Библиотеку для чтения»... и только теперь напечатали! Какая неисправность! Поезжай, пожалуйста, Петр Фадеевич, достань «Библиотеку».

— Сейчас, сейчас; кстати, мне надобно ехать отыскать их бумаги и вещи...

— В котором номере помещена моя поэма?

— Не припомню,— отвечал Дмитрицкий,— но мне кажется, что она помещена не в «Библиотеке для чтения», а в каком-то другом месте.

— Где же?.. Это удивительно! Пожалуйста, припомните!

— Право, не припомню.

— Петр Фадеевич, надо пересмотреть все журналы! я съезжу сейчас же сама в книжную лавку!..

И Домна Яковлевна крикнула, чтоб скорее подали ей шляпку и манто.

— Помилуй, душа моя, мне надо самому сию минуту ехать, отыскать их бумаги и вещи... по горячим следам...

— Я сию минуту ворочусь, успеете,— проговорила торопливо Домна Яковлевна, надевая шляпку.

— Помилуй!.. Мне никак теперь нельзя дать тебе лошадей!.. Мне самому нужно!

— Пустяки, пустяки!.. Подавай манто!

— Нет уж, ей-богу, извини! — крикнул Кумин, схватив фуражку,— пропадут их бумаги и вещи... я отвечаю!.. мне будет беда!..

— Это ужас! это ни на что не похоже! — вскричала Домна Яковлевна вне себя и, сорвав с себя шляпку, сбросив манто на пол, она кинулась в другую комнату, хлопнула дверьми, но вопли ее раздались по всему дому.

— Хм! — произнес, смутясь и испугавшись, Кумин,— если б вы знали, какая она прекраснейшая женщина! С какими чувствами, если б вы знали!.. Но вот только слово скажи не так насчет стихов — просто беда! Скажи чуть-чуть серьезно, что, «пора обедать, душа моя! ты записалась!» ну и беда: вспыхнет, в слезы, в упреки: и житья-то нет, и убийца-то я здоровья ее, и губитель таланта, и бог знает что... бац в постель! Вот тебе и пора обедать!.. И понять не могу... жалость! Ну, как тут иногда не скажешь: черт бы драл эти стихи!.. А только скажи это — да и посылай за доктором.

— Зачем же говорить такие вещи? — сказал Дмитрицкий, выслушав жалобы Кумина.

— Да нельзя; как можно остеречься на каждый час? Сам иногда в досаде; намоют голову, проголодаешься как собака, приедешь домой, а тут, бог ее знает, какая-то особенного рода чувствительность!.. Например, теперь: мне надо торопиться

ехать отыскать ваши бумаги и вещи, так нет! брось все! Сами вы видели.

— Что ж делать! домашнее спокойствие дороже всего,— сказал Дмитрицкий.

— Да как же быть-то, почтеннейший мой?

— Жена ваша поэтическое существо, с ней нельзя обходиться, как с простой женщиной.

— Кто ж говорит, я это очень знаю, это и по ее комплекции видно; да как же быть-то?

— Как быть? Я вам сказал, что домашнее спокойствие дороже всего; сохраняйте ее спокойствие, угождайте, предупреждайте все желания, окружите ее литераторами, поэтами, напечатайте ее стихотворения, и тогда известное дело: больше будет шуметь в свете, меньше будет шуметь дома.

— Ой, ой, ой,— проговорил в раздумье Кумин.— Оно конечно: женщина необыкновенная, сочиняет на удивление, могла бы блистать в свете... Да угоняешься ли за людьми?.. Когда мне заниматься всем этим? то на следствие, то туда, то сюда... Однако ж, кажется, она поуспокоилась. Я съезжу поскорей... я сейчас ворочусь...

Кумин поскакал для розыска бумаг и вещей Дмитрицкого, а Дмитрицкий пошел в отведенную ему комнату.

— *«Странная вещь, непонятная вещь!»* — проговорил он, прилегая на диван.— Однако ж все это и глупо и скучно или, лучше сказать, чересчур замысловато, так, что концов не найдешь!.. Очень нужно было судьбе спасать меня, чтоб после не знать, куда деваться со мной!.. Сам я и не пошевельнусь: все надоело!.. ни шагу! что угодно судьбе и людям, то пусть со мной и делают!..

И в самом деле, Дмитрицкий отложил попечение заботиться о себе. Преравнодушно слушал он отчаяние Кумина, который после неоднократных поисков объявил ему с ужасом, что ни вещей его ни бумаг нигде не отыскивается; что он не знает, как теперь быть, что просто — беда!

— Ничего,— отвечал Дмитрицкий,— как-нибудь обойдется.

— Да, обойдется!.. За вещи мне придется платить; а насчет пропавших бумаг надо напечатать объявление в газетах.

— Платы мне вашей не нужно; но со мной-то что вы будете делать, если век не найдутся мои бумаги? — спросил Дмитрицкий.

Кумин пожал плечами.

— Надо вам будет донести начальству, что вот так и так потерял аттестат, вам вышлют другой; а между тем можете ехать куда угодно.

— Нет, сам я об этом не буду беспокоиться; как хотите, так и делайте, а без бумаг я не поеду.

«Хм, молодец какой! верно, понравились стихи моей жены!..

хоть век вековать здесь!» — подумал Кумин, и он приложил все заботы, чтоб сбыть скорее с рук Дмитрицкого.

Легко или не легко было это сделать, но он исходатайствовал свидетельство о пропаже его бумаг и вид на свободное проживание повсюду, где ни пожелает, до истребования нового аттестата.

Доставив Дмитрицкому эти бумаги, Кумин предложил ему и необходимую сумму денег на дорогу, куда пожелает ехать.

— Взаймы, не иначе, Петр Фадеевич,— сказал Дмитрицкий.— Хоть шайку воров и разбойников наберу да награблю денег, а отдам вам долг; мне не в первый раз быть атаманом, да и литератором также: хоть накраду стихов, а сочиню поэму и посвящу Домне Яковлевне! Будьте здоровы, желаю вам счастия и тому подобных вещей!

Простившись с Куминым, Дмитрицкий отправился прямо в гостиницу «Лондон».

— Федя! я опять в живых! — вскричал он, вбежав в номер, занимаемый Рамирским.

— Дмитрицкий! Опять метаморфоза? Откуда ты? — вскричал и Рамирский, обнимая его.— Мне сказали, что тебя взяли? — прибавил он тихо.

— Взяли, да и сами не рады, что взяли! Ты собираешься в дорогу?

— В деревню, с Машей.

— Ууу, «странная вещь, непонятная вещь!» Неужели? Так я с вами.

— Душою рад; но скажи, пожалуйста, на каком ты теперь положении?

— На прежнем, допотопном. Теперь ты меня не бойся: у меня есть теперь что показать на заставе. Только одно на душе — Саломея; не знаю, что с ней делается.

— Ох, эта Саломея! — сказал Рамирский.— Оставь, пожалуйста, ее в покое!

— Нельзя, душа моя: чудная женщина! Если б не она, я бы век остался венгерским магнатом. Мне следует поблагодарить ее. Послушай, ты еще не скоро поедешь?

— Тотчас после обеда.

— О, так я успею.

— Куда ты? Пожалуйста, не езди никуда.

— Не могу; узнаю по крайней мере о здоровье. До свидания!

— Обедаем вместе?

— Очень натурально; я теперь на твоих хлебах: своих нет.

— Чудак, чудак! Деятельная душа, которая не знает, куда деваться с своей свободой! — проговорил Рамирский вслед Дмитрицкому.

Время обеда наступило; на стол накрыто; половой несколько уже раз спросил, подавать ли кушанье?

— Погоди немного,— отвечает Рамирский, выжидая Дмитрицкого и расхаживая по комнате с беспокойной думой об нем.

Дмитрицкий не возвращается.

Но вот слышно, кто-то вошел.

Рамирский бросился к дверям.

Вошел слуга с докладом что «Марья Михайловна Нильская изволили подъехать к воротам и ждут».

— Сейчас, сейчас,— сказал Рамирский,— доложи, что сию минуту... А его все нет. Где ж его искать? а так нельзя оставить: у него нет, я думаю, ни копейки...

— Кушать, стало быть, не будете? — спросил Иван, слуга Рамирского, готовый уже в дорогу.

— Нет!

— Портфель прикажете выносить в коляску?

— Погоди!.. Дай сюда!

И Рамирский, как будто наведенный на счастливую мысль Иваном, присел, написал письмо, вложил в него пачку ассигнаций, запечатал и кликнул Ивана.

— Ты останешься здесь и будешь ожидать Василия Павловича Дмитрицкого, которому отдашь это письмо. Он намерен ехать ко мне в деревню, так ты вместе с ним и приедешь. Если же в продолжение трех дней не дождешься его, то приедешь один и возвратишь мне это письмо. Номер остается за мной на три дня; ни шагу отсюда, слышишь?

— Слушаю-с,— отвечал Иван, провожая с горем барина.— Что это вздумалось Федору Павловичу сзывать к себе в деревню гостей? — продолжал он разговаривать сам с собою, возвращаясь в номер.— Да еще жди и вози их!.. Экая тоска тут одному!..

Насидевшись и нагрустившись вдоволь подле окна, посматривая на улицу, Иван стал дремать, повторяя про себя: «Экая тоска какая! жди поди! а еще черт знает, дождешься ли!..»

Только что он всхрапнул, как стук двери разбудил его.

— Кто там? — крикнул он.

— Уехал? Ах ты, досада какая!

— Вам, сударь, Федора Павловича?

— Уехал? — повторил Дмитрицкий, хлопнув себя по вздутым щекам,— вот тебе раз!

— Да вам, сударь, кого? Федора Павловича?

— Ну, да!

— Так они уехали, а мне приказали оставаться, ждать вас да отдать вам это письмо.

— Эх-ма! — проговорил Дмитрицкий, развертывая письмо,— я думал, что он меня подождет!.. Ах, дружище Федя! Как будто угадал!.. Ну, кланяйся же ты ему, скажи, что ехать мне никак нельзя; написал бы с тобой, да и то некогда. На днях напишу к нему. Прощай!

— Так как же, сударь, вы не поедете?

— Я тебе говорю, что не поеду, некогда; кланяйся барину, скажи, что я его целую... Прощай!

— Так мне прикажете ехать? — спросил в дополнение Иван.

— Поезжай, поезжай с богом!

— Экой торопливый! Словно родной брат вот тому немецкому барину, что здесь стоял с Еганом-то да что пропал-то вдруг... Или уж это он самый и есть?

Довольный, что избавился от долгого ожидания, Иван тотчас же отыскал в Охотном ряду попутчика и отправился на порожняке в деревню.

VIII

— Душка! друг мой! Мария! как я счастлив! — говорил на другой день Рамирский, возвратясь с своей молодой из церкви,— ты моя!

— Твоя, душка! — отвечала Мери.

— Как мы обязаны Дмитрицкому! Сам бог послал его на наше счастье, но где он, что с ним? Как беспокоит меня его судьба!

— Да, и меня также; он стоил бы лучшей участи.

— Все в нем есть: и ум, и прекрасное доброе сердце, и пылкие чувства, и все на беду; нет управы!.. Памятны мне слова отца: управляйся богом; ум, сердце и чувства — кони; только на вожжах идут дружно, везут к цели.

Молодые сгрустнулись о Дмитрицком; они содрогнулись при мысли, что без него никогда бы им не быть вместе.

В это время явился из Москвы Иван.

— Ты один? а Василий Павлович Дмитрицкий? Письмо отдал? — торопливо спросил его Рамирский.

— Отдал, сударь; они изволили сказать, что некогда им к вам ехать; дела, сударь, служба не позволяет; а как только возможно им будет, так они напишут к вам.

— Не понимаю! — вскричал Рамирский,— что его удержало? Какая служба? Так он и сказал?

— Так точно, сударь.

Рамирский пожал плечами.

— Не понимаю! Что он еще затеял!..

Прошел целый месяц, во время которого дозволяется все на свете забывать и ничего не чувствовать, кроме собственного счастия, вдруг Рамирский получает письмо.

— Мария! — вскричал он,— поди, друг мой, сюда! письмо от Дмитрицкого.

— Неужели? Что он пишет?

— Я без тебя не хотел читать.

— Читай скорее! — сказала Мери, приклонясь к плечу мужа.

«Здоров ли, Федя? — читал Рамирский.— Здорова ли твоя Маша? Спасибо тебе, любезный друг; угадал, что мне нужно; а уж как нужно-то было! Поверишь ли, пошел бы в воры, чтоб добыть денег. Ты, я думаю, удивился, прождавши меня напрасно? Что ж делать: по справкам оказалось, что и у меня есть сердце. Если б ты знал, как оно во мне перевернулось! Помнишь, как я ненавидел Саломею? Теперь совсем другое: подле Саломеи, умирающей в богадельне, я узнал, что эта ненависть левая сторона любви. Если б она умерла, и я бы умер; но Саломея мне обязана жизнию! мне! понимаешь ли ты, душа моя, это чувство? Она прошла сквозь чистилище, демон оставил ее. Сегодня в первый раз Саломея молилась, а я в первый раз понял, кто надежный кормчий посреди треволнений житейского моря и где маяк для погибающих».

— Ах, друг мой, и он, кажется, счастлив,— сказала Мери,— как бы мне хотелось видеть эту Саломею!

— Боюсь я, что это какие-нибудь новые фантазии, проказы и больше ничего!

— Дочитай же письмо.

«Уведомь, пожалуйста, про Яликова: доволен ли он управительской должностью, которую ты ему дал? Будь здоров, до свидания».

— Чудак! ничего не написал обстоятельно!..

— Какой Яликов? — спросила Мери.

— Муж этой Саломеи.

— Где ж он? Какую ты дал ему должность?

— Он и не являлся; взял деньги на дорогу и пропал.

Через несколько времени Рамирский получил второе письмо от Дмитрицкого и вздрогнул. Оно было писано из Сибири.

«Ты, друг Федя, предлагал мне денег, звал к себе на житье. Я сбирался уже к тебе; но увы! судьба сослала меня вместе с Саломеей в Сибирь...»

— Маша! — вскричал Рамирский,— я предвидел, что Дмитрицкому несдобровать!.. Слушай!

— О, боже мой! бедный Дмитрицкий,— вскричала и Мери с ужасом, когда Рамирский повторил первые строки письма.

«Да, душа моя,— продолжал читать Рамирский,— как это все случилось, по сю пору не пойму и не приду в себя. Помню только сквозь сон, что какой-то благодетельный гений посмотрел мне в лицо, узнал меня и крикнул: «А! говорит, тебя-то мне и нужно! Вот тебе пять тысяч на дорогу, десять тысяч в год жалованья, ступай в Сибирь, на мои золотые прииски!» Нечего было делать — поехал...»

— Ах! на душе отлегло! — проговорил Рамирский, вздохнув свободно.

Мери вместо слов поцеловала прослезившиеся его глаза и сама прослезилась.

— Ну?

«Надо было ехать, во-первых, потому, что я решительно предоставил распоряжаться мной судьбе или кому угодно; а во-вторых, необходимо было исполнить предсказание: оно у меня из головы не выходило: еще в малолетстве одна старая колдунья, которой я подставил ногу, сказала мне: «Сорванец, постреленок! быть тебе в Сибири». Вот я и в Сибири. И ты представить себе не можешь, как я счастлив, что выбрался из вашего житейского моря в пустыню, и конец приключениям».

— На долго ли-то конец приключениям?

— Ах, не сглазь! — сказала Мери.

ПРИМЕЧАНИЯ

Роман под названием «Приключения, почерпнутые из моря житейского» впервые печатался, с июня 1846 года по январь 1848 года, в журнале «Библиотека для чтения».

Критика сразу же откликнулась на новое произведение Вельтмана, писателя широко известного в те годы. Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», опубликованную в первом номере «Современника» за 1847 год, еще не дождавшись, когда роман будет закончен, писал: «Г. Вельтман обнаружил в новом своем романе едва ли еще не больше таланта, нежели в прежних своих произведениях, но вместе с тем и тот же самый недостаток уменья распоряжаться своим талантом... Большая часть... лиц изображены или очеркнуты с большим искусством. Ход романа очень интересен, в событиях много истины, но в то же время и много невероятностей. Когда автору нет средства естественно развязать узел завязки... Все делается по *щучьему велению...*» В этой статье великий критик указывал: «...все, что составляет слабые стороны Приключений, вышло из намеренного желания г. Вельтмана доказать превосходство старинных нравов перед нынешними».

Последнее замечание Белинского было вызвано тем, что Вельтман — славянофил по убеждениям — видел в старой патриархальной жизни свой общественный идеал и это нашло отражение в романе «Саломея».

В 1849 году роман вышел отдельным изданием в 2-х томах под названием «Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея». Вельтман внес много стилистических изменений в его редакцию, частично произвел сокращения текста. Этому изданию автор предпослал следующее предисловие: «Приключения, почерпнутые из моря житейского» печатались отдельными частями в «Библиотеке для чтения» в продолжение трех лет; 12 частей, составляющие приключения Саломеи и героя бывалых времен Дмитрицкого, предлагаем для многих не так, как новость, но как необходимое напоминание некоторых лиц, с которыми, может быть, встретятся читатели «Москвитянина» в продолжении Приключений. По самому заглавию книги можно понять, что это не собрание типов разных слоев общества; напротив, это очерки и характеры неопределенных личностей, резко отделяющихся от общества своею нравственною и физическою наружно-

стию, странностями и даже безобразием. Этому соответственен и вымысел самих приключений. Жизнь подобных лиц, как Саломея и Дмитрицкий, не могла иначе идти как не через невероятные мытарства».

В предисловии Вельтман, не называя Белинского, отвечает ему на те замечания, которые были высказаны критиком в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Писатель не хочет видеть в своих персонажах характеры, типические для своего времени, какими они действительно были, он уверяет, что «это... характеры неопределенных личностей, резко отличающихся от общества своею нравственною и физическою наружностию».

Свой замысел продолжить «Приключения» писатель выполнил. После «Саломеи» им были написаны и опубликованы романы: «Чудодей» (1849), «Воспитанница Сарра» (1862), «Счастье-несчастье» (1863).

После выхода «Саломеи» отдельным изданием в 1849 году в прессе появились статьи о романе. Передовая критика не изменила о нем своего мнения. На прежней позиции остался «Современник» (1851, т. XXV), который в статье «Обозрение русской литературы за 1850 год» дал следующий ответ на предисловие Вельтмана: «Ни критика, ни читатель не могут принять этих слов в оправдание невероятностей, которыми весь роман довольно обилен». До «Современника» выступили «Отечественные записки» (1849, т. 64), напечатавшие рецензию на отдельное издание романа. Рецензия начиналась признанием справедливости тех упреков, которые «и читатели и здравая критика давно уже повторяют его таланту... Упреки эти обращены на прихотливость, странность, причудливость его фантазии, на недостаток художественного такта, который указывал бы границы этой фантазии».

Критические замечания не помешали, однако, и критикам и читателям весьма положительно оценивать произведения Вельтмана. В той же рецензии «Отечественных записок» указывалось: «За то можно сказать, что в романе, по поводу которого мы распространились о характере дарования романиста, он является со всеми своими достоинствами, которые решительно берут перевес над недостатками».

В 1864 году роман «Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея» вышел вторым отдельным изданием. При подготовке его к печати автор лишь несколько осовременил язык романа — разбил роман на четыре книги.

Настоящее издание печатается по тексту этого последнего прижизненного издания, с исправлением опечаток и различных искажений по предыдущим публикациям.

Подстрочные примечания в тексте и переводы иноязычных слов принадлежат редакции.

Стр. 21. *Вахштаф* — немецкий курительный табак.

Ремонтерство — пресоблазнительное поручение для кавалериста... — Ремонтерством в дореволюционной русской армии называлась командировка офицеров для закупки лошадей.

Стр. 22. *...Разложат в грубе огонек...* — Грубой, или грубкой, называлась печь для комнатного отопления в отличие от кухонной печи для стряпни.

Стр. 25. ...*вариации Плейеля.*— Плейель Игнац (1757—1831) — немецкий композитор. Его квартеты для скрипки и фортепианные сонаты пользовались широким распространением.

Стр. 28. ...*штос, на две карты...*— Штос — азартная карточная игра.

Стр. 31. ...*а понаряднее флоранской тафты...*— Флоранская тафта — сорт легкой шелковой ткани преимущественно черного цвета.

Стр. 32. *Магазейная приставша* — жена пристава, надзирающего за магазинами.

Стр. 35. ...*как поет на сцене какой нибудь Mahometo...*— *«Mahometo» («Магомет»)* — малоизвестная опера итальянского композитора Россини Жоакомо-Антони (1792—1868).

Стр. 35. *Он воображался ей чем-то вроде Телемака...*— Телемак — сын Одиссея, героя одноименной древнегреческой поэмы.

...*она была неприступна, как Телемахида.*— «Телемахида» — стихотворный перевод романа «Les avantures de Télémaque» («Приключения Телемака») французского писателя Фенелона (1651—1715), сделанный Тредьяковским В. К. (1703—1769). Перевод выполнен так косноязычно, что был малодоступен для понимания; при дворе Екатерины II его заставляли читать в качестве наказания.

Стр. 36. ...*ездила... не иначе, как в шереметевскую.*— Имеется в виду домовая церковь графа Шереметева.

Стр. 42. ...*на уплату долга в Опекунский совет...*— Опекунский совет — учреждение по охране правовых и имущественных интересов лиц, не способных самостоятельно действовать по малолетству или психической неполноценности. С 1838 года функции Опекунского совета были расширены образованием при нем вдовьей и ссудной кассы, что превратило его в ссудно-сберегательное, выполняющее кредитные операции учреждение.

Стр. 43. ...*был... коллежским регистратором...*— то есть имел низший гражданский чин.

Стр. 57. ...*машина музыку играет.*— Имеется в виду музыкальный инструмент с заводом.

Стр. 61. ...*не хуже какого-нибудь краниолога понимала людей...*— Краниолог — специалист по изучению строения черепа человека. Некоторые из краниологов, предполагая, будто склад человеческого характера зависит от строения черепа, пытались строить характеристики людей на базе краниологического исследования.

Стр. 79. *«...если б она была Елена и явился вторично Парис...»* — По древнегреческому сказанию, причиной войны греков с троянцами было похищение жены греческого царя Менелая, красавицы Елены, Парисом, сыном Троянского царя Приама.

Стр. 80. ...*галицынской галереи.*— Имеется в виду голицынский музей в старой Москве с библиотекой и картинной галереей.

Стр. 84. *Similia similidus curantur* (лат.— подобное лечится подобным) — формула гомеопатической медицины.

Стр. 89. ...*похожими на крылья у шапки Меркурия.*— Меркурий в римской мифологии посланник богов, его изображали обычно с крылышками на ногах, иногда в шапочке с крыльями.

Стр. 90. *...от истоков Ипокрены...*— В древнегреческой мифологии Ипокрена — чудесный источник на горе Геликон, дающий вдохновение поэтам.

Стр. 94. *Глинка и Дмитриев...*— Глинка Ф. Н. (1786—1880) автор многих произведений в прозе и стихах. Его «Письма русского офицера» (1808) долгое время пользовались популярностью; в 20-х годах масон, примыкавший к правому крылу декабристов; с 40-х годов творчество Глинки приобрело религиозно-мистический характер.

Дмитриев И. И. (1760—1837) — поэт сентиментального направления Карамзинской школы. Особой известностью пользовались его басни и сатиры.

Стр. 97. *...вчера начитал: Пафос, что бы это значило? Думал, думал, наконец, догадался, что это тот же Бахус.*— Бахус — в древнеримской мифологии бог вина; Пафос в переводе с греческого означает сильно возбужденное, вдохновенное состояние человека. Белинский ввел это необычное для современной ему критики слово в литературный обиход. Заставляя Панфила Федосеича так нелепо мудрить со словом пафос, Вельтман подсмеивается над терминологическим новаторством Белинского.

Стр. 98. *Полевой Н. А.* (1796—1846) — журналист и беллетрист, издатель прогрессивного журнала «Московский телеграф» (1825—1834), закрытого по распоряжению министерства полиции.

Стр. 98. *Булгарин* Ф. В. (1789—1859) — редактор реакционной газеты «Северная пчела»; журналист и беллетрист, известен прямыми доносами в III Отделение на писателей прогрессивного лагеря. Имя его стало символом политической продажности, литературной полицейщины.

«Кот бурмосека» — повесть Ушакова В. П. (1789—1838), беллетриста 30-х годов.

Поль де Кок (1794—1871) — французский беллетрист; автор фривольных романов.

«Библиотека для чтения» — журнал «словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод», издававшийся с 1834 по 1865 год в Петербурге.

Стр. 100. *«Сто литераторов»* — название сборников, выходивших в издательстве А. Смирдина; первый том вышел в 1839, второй — в 1841, третий — в 1845 годах.

...купил несколько изданий... с политипажами...— Политипаж — старинное название гравюры на дереве, отпечатанной в книге.

Стр. 102. *Это не кислые щи?* — Кислыми щами в дореволюционное время назывался напиток вроде кваса.

Кастальскую воду пьют залпом, чтоб не выдохлась.— Кастальский источник, находившийся согласно греческой мифологии на горе Парнас, считался источником поэтического вдохновения. Здесь Кастальской водой названо шампанское.

Стр. 103. *...за хорошую игру в простых, сдам вам игру в сюрах.*— Игра в сюрах — козырная игра, игра наверняка.

...здесь играют преимущественно в палки.— Палки — старинная карточная игра.

Стр. 104. *Между окон бюро...*— Бюро — то же, что конторка, особый вид письменного стола, за которым обычно работали стоя.

Стр. 110. ...*цезура*...— пауза, остановка, делящая стих на два ритмически равных полустишия.

Стр. 119. ...*это стихи Дмитриева.*— См. прим. к стр. 94.

Стр. 121. ...*Михаил Панфилыч объяснил... что о том, как перебранились мужья с женами за лапоть, напечатано не в книге, а в журнале, называемом «Наблюдатель», и что повесть о том, как мужик лапоть сплел, сочинил Казак Луганский.*— Имеется в виду журнал «Московский наблюдатель» (1835—1840), где была напечатана повесть Казака Луганского «Иван-лапотник». Казак Луганский — псевдоним беллетриста и лексиколога Даля В. И. (1801—1872).

Стр. 128.— *Загоскин* М. Н. (1789—1852) — известный русский писатель, автор популярного, в свое время, романа «Юрий Милославский».

Стр. 133. ...*современницу того времени, когда во Франции все загуляло, перепилось, передралось и все перебило».*— Автор имеет в виду время французской буржуазной революции 1789—1794 годов. Он характеризует эту эпоху в выражениях, свидетельствующих о его резко отрицательном отношении к ней.

Стр. 137. ...*всех в городе обойдет рундом*...— Рунд (нем.) — военная поверка караулов.

Стр. 145.— *И мазу к ней пятьсот рублей*...— *Маз* — прибавка к ставке в карточной игре.

Стр. 148. ...*сердце каждого человека, как у Прометея, выклеванное днем, заживает во время ночи.*— В греческой мифологии Прометей — бог огня; вопреки воле высших богов он дал людям огонь, за что по повелению Зевса был прикован к скале, где орел каждый день выклевывал ему печень, вновь вырастающую за ночь.

Стр. 151. ...*что-то вроде Беллоны* — в греческой мифологии богиня войны.

Стр. 183. ...*велел кликнуть к себе хожалого.*— Хожалый — полицейский солдат на посылках.

Стр. 198. ...*еще в кампанию 1810 года*...— Имеется в виду Русско-турецкая война 1809—1812 годов, закончившаяся по бухарестскому мирному договору присоединением к России Бессарабии.

Стр. 203. ...*локоны так жидки, как борода Конфуция.*— Конфуций — китайский философ, живший в VI веке до н. э.

Стр. 221. ...*в славном Путивле, где некогда на городских забралах горько плакала Ярославна, молилась ветру*...— Здесь Вельтман излагает своими словами песенный плач Ярославны — героини из древнерусской повести «Слово о полку Игореве».

Стр. 238. ...*двери сибирки*...— Сибирка — арестантское помещение.

Стр. 243. ...*членом Английского клуба.*— В Москве Английский клуб возник во времена Екатерины II. Закрытый при Павле, он был в 1802 году восстановлен Александром I. Клуб носил замкнуто-дворянский, аристократический характер, избрания в члены клуба удостаивались лишь очень немногие дворяне.

Стр. 244. ...*воображала себя чем-то вроде Семирамиды.*— Семирамида — легендарная ассиро-вавилонская царица, дочь Истар,— богини войны и сладострастия.

Стр. 247. *Монферран* Огюст Рикар (1786—1858) — архитектор, строитель Исаакиевского собора и Александровской колонны в Ленинграде.

Стр. 252. *...непременно сделать опыт над солнечными... лампами.*— Речь идет об усовершенствованных масляных лампах с рефлектором и насосом, подающим масло к фитилю, которые существовали в России до 60-х годов, когда вошли в употребление керосиновые лампы.

Стр. 267. *...«Стряпчий... приехал!»* — то есть ходатай по судебным делам, судейский чиновник.

Стр. 272. *...пустился сам на Кяхту...*— Кяхта — город на китайско-русской границе, являвшийся в прошлом веке центром чайной торговли Китая с Россией.

Стр. 273. *...мастерская картина, изображающая Леду...*— *Леда* — в древнегреческом мифе возлюбленная бога Зевса, к которой он являлся в образе лебедя.

Стр. 278. *Ганеманн Самуэль* (1755—1843) — немецкий врач, основоположник гомеопатического направления в медицине.

Стр. 280. *...сколько кипрею-то в Москву-реку свалили.*— Кипрей — растение, более известное под названием «копорский чай» или «Иван-чай», сухие цветы которого в смеси с китайским чаем купцы продавали за натуральный чай.

Стр. 288. *С дороги потребовал себе галенок чаю...*— Галенок чаю — состоит из чайника с кипятком, чайника с заваркой и чашек; то же, что — «пара чаю».

Стр. 292. *Над воротами врезан медный окладень.*— Окладень — металлическое покрытие на иконах.

Стр. 303. *...говорила Матвевна, как Пифия...*— В древней Греции Пифиями назывались жрицы-прорицательницы при храме Аполлона.

Стр. 319. *...как Телемак, не мог обходиться без Ментора.*— Телемак — см. примеч. к стр. 35. Ментор — наставник Телемака.

Стр. 331, *...на полках штофы и полуштофы.*— Штоф — стеклянная четырехгранная бутыль в восьмую часть ведра.

Стр. 333. *...накрыла сурдиной свой резкий, скрипичный голос...*— то есть приглушила, ослабила голос. (*Сурдинка* — приспособление, приглушающее звучание музыкальных инструментов).

Стр. 354. *Мильвуа* Шарль (1782—1816) — французский поэт, автор сентиментальных элегий и дидактических поэм.

Стр. 375. *...deux ex machina...*— В античных трагедиях это выражение означало внезапное появление божества на сцену для разрешения трагических коллизий. Теперь оно обозначает всякую, не укладывающуюся в рамки естественного хода вещей случайность.

Стр. 375. *...женщину в ...стареньком холоднике...*— *Холодник* — платье из легкой материи.

Стр. 379.— *Живокини* В. И. (1807—1874) — комический актер Малого театра.

Стр. 388. *Гуфланд* Христоф (1762—1836) — немецкий врач и деятель в области медицинского образования и улучшения быта врачей, с 1809 года профессор Берлинского университета.

Стр. 388. ...*чичероне* (итал.) — проводник иностранцев по достопримечательным местам.

Стр. 389. *Пюклер-Мюскау* Герман (1785—1871) — немецкий путешественник, объехавший европейские страны, Северную Америку и берега Азии.

Стр. 395. ...*во всяком случае он был богат, как Лукулл...*— Лукулл — государственный деятель древнеримской республики во II—I веке до н. э. Славился колоссальным богатством и роскошью своего дома.

Стр. 395. *Цицерон* Марк Тулий (106—43 г. до н. э.) — знаменитый оратор и писатель древнеримской республики.

Стр. 396. *Рекамье* Жюли (1777—1849) — хозяйка одного из самых известных салонов во Франции времен империи и реставрации, жена банкира. В ее салоне собирались политические и литературные деятели.

Стр. 396. ...*перетянутых стрекозами Терпсихор...*— В греческой мифологии Терпсихора — богиня танца и хорового пения.

Стр. 401. *Это Гера в образе Стентора возбуждает аргивян к бою!* — Гера — в греческой мифологии богиня, покровительница брака, жена Зевса. Стентор — герой древнегреческой поэмы «Илиады», обладающий необычайной силы голосом; Аргивяне — греки.

Стр. 403. *Лист* Франц (1811—1886) — венгерский пианист и композитор.

Стр. 404.— *Если б не О'Коннель, мы бы ничего и не слышали об Ирландии.*— Даниэль О'Коннель (1775—1847) — либеральный деятель ирландского национального движения, лидер «ирландской бригады» в английском парламенте.

Стр. 405. ...*уселась за стол в infernale...*— Infernal (ад.— франц.) — в данном случае название комнаты для картежной игры.

Стр. 410. *У одного оно авксинское, у другого эвксинское...*— авксинским (гостеприимным), позднее эвксинским (негостеприимным), древние греки называли Черное море.

Стр. 411. *Какой-то бежавший с галер... француз.*— Галерами во Франции назывались суда, гребцами на которых были осужденные на тяжелую работу преступники. Позднее галерами стали называть все каторжные работы.

Стр. 417. ...*законы Дракона* — свод законов, составленный в VII веке до н. э. древнегреческим законодателем Драконом. По преданию законы эти отличались суровостью. Имя Дракона стало нарицательным при обозначении суровых мероприятий — «драконовские меры», «драконовы законы» и т. д.

Стр. 452. ...*Что? акеу сатурновну?* — Латинское название свинцовой примочки aqua saturnina в устах вельтмановского персонажа превратилось в акву сатурновну.

Стр. 475. ...*ящик Пандоры...*— Древнегреческий миф рассказывает, что Зевс подарил Пандоре ящик, в котором находились под замком все человеческие несчастья, наказав не открывать его; но разжигаемая любопытством Пандора отомкнула его, и беды обрушились на людей.

Стр. 481.— *Ир* — персонаж из поэмы «Одиссея», нищий, имя которого стало символом крайней степени бедности; *Крез* — легендарный царь Лидии, обладатель несметных богатств, имя которого стало символом высшей степени богатства.

Стр. 485. *...несмотря на это усердие и даже постоянную чинку перьев...* До появления стальных перьев писали гусиными, для чего их нужно было зачинивать перочинным ножиком.

Стр. 489. *Какие-то политипажные чиновные лица...*— В данном случае политипажные то же, что ординарные, стандартные.

Стр. 492. *...пренеуклюжее эзопское лицо.*— Эзоп — греческий баснописец, живший в VI веке до н. э. Предания изображают его человеком безобразной наружности.

Стр. 507. *...к четвертого класса Звездову...*— По введенной Петром I «табели о рангах» к четвертому классу относились лица, имевшие гражданский чин действительного статского советника, которому у военных соответствовал чин генерал-майора.

513. *...сатира Vauquelin de la Fresnaye* (1535—1607) — Воклен де ля Френе — французский поэт, автор идиллий и сатир.

Стр. 521. *Ты стóик...*— Стоики — одно из философских направлений в древней Греции; возникло в конце IV века до н. э. Основными чертами этики стоиков были проповедь покорности судьбе, бесстрастие, отказ от радостей жизни.

Стр. 522. *...занялся чтением французской сказки про блуждающего жида...*— Имеется в виду роман французского беллетриста Евгения Сю (1804—1857) «Вечный жид», весьма популярный в 40-х годах прошлого века.

Стр. 524. *...какой-то Юноны, нисшедшей для него с Олимпа.*— Юнона в древнеримской мифологии жена Юпитера, богиня неба, покровительница браков.

Стр. 529. *...прихлебывая счастье и несчастье вместо воды — вдовой Клико.*— Вдова Клико — прославленная марка шампанского.

Стр. 534. *—...может, наконец, воскликнуть с Видостаном...*— Видостан — персонаж из оперы «Днепровская русалка», пользовавшейся в 20-х и 30-х годах популярностью.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Фомич Вельтман

Приключения, почерпнутые из моря житейского.
Саломея

Редактор *В. Титова*. Художественный редактор *И. Жихарев*.
Технический редактор *М. Позднякова*. Корректор *Л. Чиркунова*.
Сдано в набор 26/II 1957 г. Подписано в печать 27/V 1957 г.
Бумага 60×92 1/16. 36 печ. л. Уч.-изд. л. 36,47+1 вкл.=36,52 л.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 245. Цена 10 р. 65 к.
Гослитиздат. Москва Б-66, Ново-Басманная, 19.

Министерство культуры СССР.
Главное управление полиграфической промышленности. Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова. Москва, Ж-54, Валовая, 28.